



ФРАНЦ КАФКА

ТРИ РОМАНА

СЕРИЯ «БОЛЬШАЯ КНИГА»

ФРАНЦ КАФКА

ТРИ РОМАНА

Замок

Процесс

Америка

МОСКВА



2008

УДК 82(1-87)  
ББК 84(4Авс)  
К 12

Franz Kafka  
DAS SCHLOß  
DER PROCESS  
AMERIKA

Перевод с немецкого *Р. Райт-Ковалевой* и *М. Рудницкого*

Оформление серии *Марии Суворовой*

**Кафка Ф.**

К 12 Три романа: Замок. Процесс. Америка / Франц Кафка; [пер. Р. Райт-Ковалевой, М. Рудницкого]. — М.: Эксмо, 2008. — 704 с. — (Большая книга).

ISBN 978-5-699-30548-3

Три несгоревшие рукописи, три безысходные сказки, три молитвы. Три романа Франца Кафки. Творчество стало для него самоистязанием и единственной возможностью не задохнуться. Он страшился самой жизни, но отваживался широко раскрытыми глазами глядеть в бездну бытия.

Это не внутренний мир несчастного, пугливого, вечно сомневающегося австрийца, изменившего облик литературы XX века, — это реальность, в которой мы живем, глазами провидца. Апокалипсис давно наступил.

УДК 82(1-87)  
ББК 84(4Авс)

© Перевод. Р. Райт-Ковалева. Наследники, 2008  
© Перевод. М. Рудницкий, 2008  
© ООО «Издательство «Эксмо», 2008

ISBN 978-5-699-30548-3

# ЗАМОК

## *Глава первая*

### Прибытие

**К.** прибыл поздно вечером. Деревня тонула в глубоком снегу. Замковой горы не было видно. Туман и тьма закрывали ее, и огромный Замок не давал о себе знать ни малейшим проблеском света. Долго стоял К. на деревянном мосту, который вел с проезжей дороги в Деревню, и смотрел в кажущуюся пустоту.

Потом он отправился искать ночлег. На постоялом дворе еще не спали, и хотя комнат хозяин не сдавал, он так растерялся и смутился приходом позднего гостя, что разрешил К. взять соломенный тюфяк и лечь в общей комнате. К. охотно согласился. Несколько крестьян еще допивали пиво, но К. ни с кем не захотел разговаривать, сам стащил тюфяк с чердака и улегся у печки. Было очень тепло, крестьяне не шумели, и, окинув их еще раз усталым взглядом, К. заснул.

Но вскоре его разбудили. Молодой человек с лицом актера — узкие глаза, густые брови — стоял над ним рядом с хозяином. Крестьяне еще не разошлись, некоторые из них повернули стулья так, чтобы лучше видеть и слышать. Молодой человек очень вежливо попросил прощения за то, что разбудил К., представился — сын кастеляна Замка — и затем сказал:

— Эта Деревня принадлежит Замку, и тот, кто здесь живет или ночует, фактически живет и ночует в Замке. А без разрешения графа это

никому не дозволяется. У вас такого разрешения нет, по крайней мере, вы его не предъявили.

К. привстал, пригладил волосы, взглянул на этих людей снизу вверх и сказал:

— В какую это Деревню я попал? Разве здесь есть Замок?

— Разумеется, — медленно проговорил молодой человек, а некоторые окружающие поглядели на К. и покачали головами. — Здесь находится Замок графа Вествеста.

— Значит, надо получить разрешение на ночевку? — переспросил К., словно желая убедиться, что ему эти слова не приснились.

— Разрешение надо получить обязательно, — ответил ему молодой человек и с явной насмешкой над К., разведя руками, спросил хозяина и посетителей: — Разве можно без разрешения?

— Что же, придется мне достать разрешение, — сказал К., зевнув и откинув одеяло, словно собирался встать.

— У кого же? — спросил молодой человек.

— У господина графа, — сказал К., — что же еще остается делать?

— Сейчас, в полночь, брать разрешение у господина графа? — воскликнул молодой человек, отступая на шаг.

— А разве нельзя? — равнодушно спросил К. — Зачем же тогда вы меня разбудили?

Но тут молодой человек совсем вышел из себя.

— Привыкли бродяжничать? — крикнул он. — Я требую уважения к графским служащим. А разбудил я вас, чтобы вам сообщить, что вы должны немедленно покинуть владения графа.

— Но довольно ломать комедию, — нарочито тихим голосом сказал К., ложась и натягивая на себя одеяло. — Вы слишком много себе позволяете, молодой человек, и завтра мы еще поговорим о вашем поведении. И хозяин, и все эти господа могут всё подтвердить, если вообще понадобится подтверждение. А я только могу вам доложить, что я тот землемер, которого граф вызвал к себе. Мои помощники со всеми приборами подъедут завтра. А мне захотелось пройтись по снегу, но, к сожалению, я несколько раз сбивался с дороги и потому попал сюда так поздно. Я знал и сам, без ваших наставлений, что сейчас не время являться в Замок. Оттого я и удовольствовался этим ночлегом, который вы, мягко выражаясь, нарушили так невежливо. На этом мои объяснения кончены. Спокойной ночи, господа! — И К. повернулся к печке.

— Землемер? — услышал он чей-то робкий вопрос за спиной, потом настала тишина. Но молодой человек тут же овладел собой и сказал хозяину голосом достаточно сдержанным, чтобы подчеркнуть уважение к засыпающему К., но все же достаточно громким, чтобы тот услышал: — Я справлюсь по телефону. — Значит, на этом постоялом дворе есть даже телефон? Превосходно устроились. Хотя кое-что и удивляло К., он, в общем, принял все как должное. Выяснилось, что телефон висел прямо над его головой, но спросонья он его не заметил. И если молодой человек станет звонить, то, как он ни стараться, сон К. обязательно будет нарушен, разве что К. не позволит ему звонить. Однако К. решил не мешать ему. Но тогда не было смысла притворяться спящим, и К. снова повернулся на спину. Он увидел, что крестьяне робко сбились в кучку и переговариваются; видно, приезд землемера — дело немаловажное. Двери кухни распахнулись, весь дверной проем заняла мощная фигура хозяйки, и хозяин, подойдя к ней на цыпочках, стал что-то объяснять. И тут начался телефонный разговор. Сам кастелян спал, но помощник кастеляна, вернее, один из его помощников, господин Фриц, оказался на месте. Молодой человек, назвавший себя Шварцером, рассказал, что он обнаружил некоего К., человека лет тридцати, весьма плохо одетого, который преспокойно спал на соломенном тюфяке, положив под голову вместо подушки рюкзак, а рядом с собой — суковатую палку. Конечно, это вызвало подозрение, и так как хозяин явно пренебрег своими обязанностями, то он, Шварцер, счел своим долгом вникнуть в его дело как следует, но К. весьма неприязненно отнесся к тому, что его разбудили, допросили и пригрозили выгнать из владений графа, хотя, может быть, рассердился он по праву, так как утверждает, что он землемер, которого вызвал сам граф. Разумеется, необходимо, хотя бы для соблюдения формальностей, проверить это заявление, поэтому Шварцер просит господина Фрица справиться в главной канцелярии, действительно ли там ожидают землемера, и немедленно сообщить результат по телефону.

Стало совсем тихо; Фриц наводил справки, а тут ждали ответа. К. лежал неподвижно, он даже не повернулся и, не проявляя никакого интереса, уставился в одну точку. Недоброжелательный и вместе с тем осторожный доклад Шварцера говорил о некоторой дипломатической подготовке, которую в Замке, очевидно, проходят даже самые незначительные люди вроде Шварцера. Да и работали там, как видно,

на совесть, раз главная канцелярия была открыта и ночью. И справки выдавали, как видно, сразу: Фриц позвонил тут же. Ответ был, как видно, весьма короткий, и Шварцер злобно бросил трубку.

— Как я и говорил! — закричал он. — Никакой он не землемер, просто гнусный враль и бродяга, а может, и похуже.

В первую минуту К. подумал, что все: и крестьяне, и Шварцер, и хозяин с хозяйкой — бросятся на него. Он нырнул под одеяло — хотя бы укрыться от первого наскока. Но тут снова зазвонил телефон, как показалось К., особенно громко. Он осторожно высунул голову. И хотя казалось маловероятным, что звонок касается К., но все остановились, а Шварцер подошел к аппарату. Он выслушал длинное объяснение и тихо проговорил:

— Значит, ошибка? Мне очень неприятно. Как, звонил сам начальник канцелярии? Странно, странно. Что же мне сказать господину землемеру?

К. насторожился. Значит, Замок утвердил за ним звание землемера. С одной стороны, это было ему невыгодно, так как означало, что в Замке о нем знают все что надо и, учитывая соотношение сил, шутя принимают вызов к борьбе. Но с другой стороны, в этом была и своя выгода: по его мнению, это доказывало, что его недооценивают и, следовательно, он будет пользоваться большей свободой, чем предполагал. А если они считают, что этим своим, безусловно, высокомерным признанием его звания они смогут держать его в постоянном страхе, то тут они ошибаются: ему стало немного жутко, вот и все.

К. отмахнулся от Шварцера, когда тот робко попытался подойти к нему, отказался, несмотря на уговоры, перейти в комнату хозяев, только принял из рук хозяина стакан питья, а от хозяйки — таз для умывания и мыло с полотенцем; ему даже не пришлось просить очистить зал, так как все уже теснились у выхода, отворачиваясь от К., чтобы он утром никого не узнал. Лампу погасили, и наконец его оставили в покое. Он уснул глубоким сном и, хотя его раза два будили шмыгавшие мимо крысы, проспал до самого утра.

После завтрака — и еду, и пребывание К. в гостинице должен был, по словам хозяина, оплатить Замок — К. собрался идти в Деревню. Но так как хозяин, с которым он, памятуя его вчерашнее поведение, говорил только по необходимости, все время молча, с умоляющим видом, вертелся около него, К. сжалился над ним и разрешил ему присесть рядом.



— С графом я еще не знаком, — сказал он, — говорят, он за хорошую работу хорошо и платит, верно? Когда уедешь, как я, далеко от семьи, хочется привезти домой побольше.

— Об этом пусть господин не беспокоится, на плохую оплату здесь еще никто не жаловался.

— Да я и не робкого десятка, — сказал К., — могу настоять на своем и перед графом, но, конечно, куда лучше поладить миром с этим господином.

Хозяин примостился напротив К. на самом краешке подоконника — усестся поудобнее он не решался — и не сводил с К. больших карих испуганных глаз. И хотя перед этим он сам все время ходил около К., но теперь, как видно, ему не терпелось сбежать. Боялся он, что ли, расспросов про графа? Или боялся, что «господин», которого он видел в К., — человек ненадежный? К. решил его отвлечь. Взглянув на часы, он сказал:

— Скоро подъедут и мои помощники, сможешь ли ты пристроить их тут?

— Конечно, сударь, но разве они не будут жить вместе с тобой в Замке?

Неужели он так легко и охотно отказывается от постояльцев, и от К. в особенности, считая, что тот непременно будет жить в Замке?

— Это не обязательно, — сказал К., — сначала надо узнать, какую мне дадут работу. Если, к примеру, придется работать тут, внизу, то и жить внизу будет удобнее. К тому же я боюсь, что жизнь в Замке окажется не по мне. Хочу всегда чувствовать себя свободно.

— Не знаешь ты Замка, — тихо сказал хозяин.

— Конечно, — сказал К., — заранее судить не стоит. О Замке я покамест знаю только то, что там умеют подобрать для себя хороших землемеров. Но возможно, там есть и другие преимущества. — И К. встал, чтобы освободить от своего присутствия хозяина, беспокойно кусавшего губы. Не так-то легко было завоевать доверие этого человека.

Выходя, К. обратил внимание на темный портрет в темной раме, висевший на стене. Он заметил его и раньше, со своего тюфяка, но издали не разглядел как следует и подумал, что картина была вынута из рамы и осталась только черная доска. Но теперь он увидел, что это был портрет, поясной портрет мужчины лет пятидесяти. Его голова была опущена так низко, что глаз почти не было видно и четко выде-

лялся только высокий выпуклый лоб да крупный крючковатый нос. Широкая борода, прижатая к груди подбородком, резко выдавалась вперед. Левая рука была запущена в густые волосы, но поднять голову кверху никак не могла.

— Кто такой? — спросил К. — Граф?

— Нет, — сказал хозяин, — это кастелян.

— Красивый у них в Замке кастелян, сразу видно, — сказал К., — жаль только, что сын у него неудачный.

— Нет, — сказал хозяин, притянул к себе К. и зашептал ему в ухо: — Шварцер вчера наговорил лишнего, его отец всего лишь помощник кастеляна, да и то из самых низших.

К. показалось, что в эту минуту хозяин стал похож на ребенка.

— Каков негодяй! — засмеялся К., но хозяину было, очевидно, не до смеха.

— Его отец тоже человек могущественный! — сказал он.

— Брось! — сказал К. — Ты всех считаешь могущественными. Наверно, и меня тоже?

— Тебя? — сказал тот робко, но решительно. — Нет, тебя я могущественным не считаю.

— Однако ты неплохо все подмечаешь, — сказал К. — Откровенно говоря, никакого могущества у меня действительно нет. Должно быть, оттого я не меньше тебя уважаю всякую власть, только я не так откровенен, как ты, и не всегда желаю в этом сознаваться.

И К. слегка похлопал хозяина по щеке — хотелось и утешить его, и снискать больше доверия к себе. Тот смущенно улыбнулся. Он и вправду был похож на мальчишку — лицо мягкое, почти безбородое. И как это ему досталась такая толстая немолодая жена — через оконце в стене было видно, как она, широко расставив локти, хозяйничает на кухне. Но К. не хотел сейчас расспрашивать хозяина, боясь прогнать эту улыбку, вызванную с таким трудом. Он только кивком попросил открыть ему двери и вышел в погожее зимнее утро.

Теперь весь Замок ясно вырисовывался в прозрачном воздухе, и от тонкого снежного покрова, целиком одевавшего его, все формы и линии выступали еще отчетливее. Вообще же там, на горе, снега как будто было меньше, чем тут, в Деревне, где К. пробирался с не меньшим трудом, чем вчера по дороге. Тут снег подступал к самым окнам избушек, навстречу тяжело нависали с низких крыш сугробы, а там,

на горе, все высилось свободно и легко — так, по крайней мере, казалось снизу.

Весь Замок, каким он виделся издалека, вполне соответствовал ожиданиям К. Это была и не старинная рыцарская крепость, и не роскошный новый дворец, а целый ряд строений, состоящий из нескольких двухэтажных и множества тесно прижавшихся друг к другу низких зданий, и, если не знать, что это Замок, можно было бы принять его за городок. К. увидел только одну башню, то ли над жилым помещением, то ли над церковью — разобрать было нельзя. Стаи ворон кружились над башней.

К. шел вперед, не сводя глаз с Замка, — ничто другое его не интересовало. Но чем ближе он подходил, тем больше разочаровывал его Замок, уже казавшийся просто жалким городком, чьи домишки отличались от изб только тем, что были построены из камня, да и то штукатурка на них давно отлепилась, а каменная кладка явно крошилась. Мельком припомнил К. свой родной городок; он был ничуть не хуже этого так называемого Замка. Если бы К. приехал лишь для его осмотра, то жалко было бы проделанного пути, и куда умнее было бы снова навестить далекий родной край, где он так давно не бывал. И К. мысленно сравнил церковную башню родного города с этой башней наверху. Та башня четкая, бестрепетно идущая кверху, с широкой кровлей, крытой красной черепицей, вся земная — разве можем мы строить иначе? — но устремленная выше, чем приземистые домишки, более праздничная, чем их тусклые будни. А эта башня наверху — единственная, какую он заметил, башня жилого дома, как теперь оказалось, а быть может, и главная башня Замка — представляла собой однообразное круглое строение, кое-где словно из жалости прикрытое плющом, с маленькими окнами, посверкивающими сейчас на солнце — в этом было что-то безумное, — и с выступающим карнизом, чьи зубцы, неустойчивые, неровные и ломкие, словно нарисованные пугливой и небрежной детской рукой, врезались в синее небо. Казалось, будто какой-то унылый жилец, которому лучше всего было бы запереться в самом дальнем углу дома, вдруг пробил крышу и высунулся наружу, чтобы показаться всему свету.

К. снова остановился, как будто так, не на ходу, ему было легче судить о том, что он видел. Но ему помешали. За сельской церковью, где он остановился, — в сущности, это была, скорее, часовня с пристройкой вроде амбара, где можно было вместить всех прихожан, —

стояла школа. Длинный низкий дом — странное сочетание чего-то наспех сколоченного и вместе с тем древнего — стоял в саду, обнесенном решеткой и утонувшем в снегу. Оттуда как раз выходили дети с учителем. Окружив его тесной толпой и глядя ему в глаза, ребята без умолку болтали наперебой, и К. ничего не понимал в их быстрой речи. Учитель, маленький, узкоплечий человечек, держался очень прямо, но не производил смешного впечатления. Он уже издали заметил К. — впрочем, никого, кроме его учеников и К., вокруг не было. Как приезжий, К. поздоровался первым, к тому же у маленького учителя был весьма внушительный вид.

— Добрый день, господин учитель, — сказал К.

Словно по команде, дети сразу замолчали, и эта внезапная тишина в ожидании его слов как-то расположила учителя.

— Рассматриваете Замок? — спросил он мягче, чем ожидал К., однако таким тоном, словно он не одобрял поведения К.

— Да, — сказал К. — Я приезжий, только со вчерашнего вечера тут.

— Вам Замок не нравится? — быстро спросил учитель.

— Как вы сказали? — переспросил К. немного растерянно и повторил вопрос учителя, смягчив его: — Нравится ли мне Замок? А почему вы решили, что он мне не понравится?

— Никому из приезжих не нравится, — сказал учитель.

И К., чтобы не сказать лишнего, перевел разговор и спросил:

— Вы, наверно, знаете графа?

— Нет, — ответил учитель и хотел отойти, но К. не уступал и повторил вопрос:

— Как, вы не знаете графа?

— Откуда мне его знать? — тихо сказал учитель и добавил громко по-французски: — Будьте осторожней в присутствии невинных детей.

К. решил, что после этих слов ему можно спросить:

— Вы разрешите как-нибудь зайти к вам, господин учитель? Я приехал сюда надолго и уже чувствую себя несколько одиноким; с крестьянами у меня мало общего и с Замком, очевидно, тоже.

— Между Замком и крестьянами особой разницы нет, — сказал учитель.

— Возможно, — согласился К. — Но в моем положении это ничего не меняет. Можно мне как-нибудь зайти к вам?

— Я живу на Шваненгассе, у мясника, — сказал учитель. И хотя он скорее просто сообщил свой адрес, чем пригласил к себе, но К. все же сказал:

— Хорошо, я приду.

Учитель кивнул головой и отошел, а дети сразу загалдели. Вскоре они скрылись в круто спускавшемся переулке.

К. не мог сосредоточиться — его расстроил этот разговор. Впервые после приезда он почувствовал настоящую усталость. Дальняя дорога его совсем не утомила, он шел себе и шел, изо дня в день, спокойно, шаг за шагом. А сейчас сказывались последствия сильнейшего переутомления — и очень некстати. Его неудержимо тянуло к новым знакомствам, но каждая новая встреча усугубляла усталость. Нет, будет вполне достаточно, если он в своем теперешнем состоянии заставит себя прогуляться хотя бы до входа в Замок.

Он снова зашагал вперед, но дорога была длинной. Оказалось, что улица — главная улица Деревни — вела не к Замковой горе, а только приближалась к ней, но потом, словно нарочно, сворачивала вбок и, не удаляясь от Замка, все же к нему и не приближалась. К. все время ждал, что наконец дорога повернет к Замку, и только из-за этого шел дальше, от усталости он явно боялся сбиться с пути, да к тому же его удивляла величина Деревни: она тянулась без конца — все те же маленькие домишки, заиндевевшие окна, и снег, и безлюдье, — тут он внезапно оторвался от цепко державшей его дороги, и его принял узкий переулочек, где снег лежал еще глубже и только с трудом можно было вытаскивать вязнувшие ноги. Пот выступил на лбу у К., и он остановился в изнеможении.

Да, но ведь он был не один, справа и слева стояли крестьянские избы. Он слепил снежок и бросил его в окошко. Тотчас же отворилась дверь — первая открывшаяся дверь за всю дорогу по Деревне, — и старый крестьянин в коричневом кожаном плаще, приветливо и робко склонив голову к плечу, вышел ему навстречу.

— Можно мне ненадолго зайти к вам? — сказал К. — Я очень устал. — Он не расслышал, что ответил старик, но с благодарностью увидел, что тот подложил доску, чтобы он мог выбраться из глубокого снега, и, шагнув по ней, К. очутился в горнице.

Большая сумрачная комната. Войдя со свету, сразу ничего нельзя было увидеть. К. наткнулся на корыто, женская рука отвела его. В одном углу громко кричали дети. Из другого валил густой пар, от кото-

рого полутьма сгущалась в полную темноту. К. стоял, словно окутанный облаками.

— Да он пьян, — сказал кто-то.

— Вы кто такой? — властно крикнул чей-то голос и, обращаясь, как видно, к старику, добавил: — Зачем ты его впустил? Всех, что ли, впускать, кто шляется по дороге?

— Я графский землемер, — сказал К., как бы пытаясь оправдаться перед тем, кого он все еще не видел.

— Ах, это землемер, — сказал женский голос, и сразу наступила полнейшая тишина.

— Вы меня знаете? — спросил К.

— Конечно, — коротко бросил тот же голос. Но то, что они знали К., как видно, не шло ему на пользу.

Наконец пар немного рассеялся, и К. стал постепенно присматриваться. Очевидно, у них был банный день. У дверей стирали. Но пар шел из другого угла, где в огромной деревянной лохани — таких К. не видел, она была величиной с двуспальную кровать — в горячей воде мылись двое мужчин. Но еще неожиданнее — хотя трудно было сказать, в чем заключалась эта неожиданность, — оказалось то, что виднелось в правом углу. Из большого окна — единственного в задней стене горницы — со двора падал бледный нежный свет, придавая шелковистый отблеск платью женщины, устало полулежавшей в высоком кресле. К ее груди прильнул младенец. Около нее играли дети, явно крестьянские ребята, но она как будто была не из этой среды. Правда, от болезни и усталости даже крестьянские лица становятся утонченной.

— Садитесь! — сказал один из мужчин, круглобородый, да еще с нависшими усами — он все время отдувал их с губ, пыхтя и разевая рот, — обдав ему все лицо теплой водой. На сундуке в сумрачном раздумье уже сидел старик, впустивший К., и К. обрадовался, что наконец можно сесть. Больше на него никто не обращал внимания. Молодая женщина, стиравшая в корыте, светловолосая, в расцвете молодости, тихо напевала, мужчины крутились и вертелись в лохани; ребята все время лезли к ним, но их отгоняли, свирепо брызгая в них водой, попадавшей и на К.; женщина в кресле замерла, как неживая, и смотрела не на младенца у груди, а куда-то вверх.

Верно, К. долго глядел на эту неподвижную, грустную и прекрасную картину, но потом, должно быть, заснул, потому что,

встрепенувшись от громкого окрика, он почувствовал, что лежит головой на плече у старика, сидевшего рядом. Мужчины уже вымылись и стояли одетые около К., а в лохани теперь плескались ребята под присмотром белокурой женщины. Выяснилось, что крикливый бородач не самый главный из двоих. Второй, хоть и ростом не выше и с гораздо менее густой бородой, оказался тихим медлительным широкоплечим человеком со скуластым лицом; он стоял, опустив голову.

— Господин землемер, — сказал он, — вам тут оставаться нельзя. Простите за невежливость.

— Я и не думал оставаться, — сказал К. — Хотел только передохнуть немного. Теперь отдохнул и могу уйти.

— Наверно, вас удивляет негостеприимство, — сказал тот, — но гостеприимство у нас не в обычае, нам гостей не надо.

Освеженный недолгим сном и снова сосредоточившись, К. обрадовался откровенным словам. Он двигался свободнее, прошелся, опираясь на свою палку, взад и вперед, даже подошел к женщине в кресле, ощущая, что он ростом выше всех остальных.

— Правильно, — сказал К. — Зачем вам гости? Но изредка человек может и понадобиться, например, землемер, такой, как я.

— Мне это неизвестно, — медленно сказал тот. — Если вас вызвали, значит, вы понадобились; наверно, это исключение, но мы, мы люди маленькие, живем по закону, вам за это на нас обижаться не следует.

— Нет-нет, — сказал К. — Я вам только благодарен, и вам лично, и всем присутствующим. — И неожиданно для всех К. буквально подпрыгнул на месте, перевернулся и очутился перед женщиной в кресле. Усталые голубые глаза поднялись на него. Прозрачный шелковый платочек до половины прикрывал лоб, младенец спал у нее на груди.

— Кто ты? — спросил К., и с пренебрежением к самому ли К. или к своим словам она бросила:

— Я служанка из Замка.

Но не прошло и секунды, как слева и справа К. схватили двое мужчин и молча, словно другого способа объясниться не было, с силой потащили его к дверям. Старик чему-то вдруг обрадовался и хлопал в ладоши. И прачка засмеялась вместе с загалдевшими вдруг ребятами.

К. так и остался стоять на улице, мужчины следили за ним с порога. Снова пошел снег, но как будто стало светлее.

— Куда вы пойдете? — нетерпеливо крикнул круглобородый. — Туда — путь к Замку, сюда — в Деревню.

Но К. спросил не у него, а у того, второго, который, несмотря на свою замкнутость, казался ему обходительнее:

— Кто вы такие? Кого мне благодарить за отдых?

— Я дубильщик Лаземан, — ответил тот. — А благодарить вам никого не надо.

— Прекрасно, — сказал К. — Надеюсь, мы еще встретимся.

— Вряд ли, — сказал мужчина.

И в эту минуту круглобородый, подняв руку, закричал:

— Здорово, Артур, здорово, Иеремия!

К. обернулся: значит, в этой Деревне все же люди выходили на улицу! По дороге от Замка шли два молодых человека среднего роста, оба очень стройные, в облегающих костюмах и даже лицом очень похожие. Цвет лица у них был смуглый, а острые бородки такой черноты, что выделялись даже на смуглых лицах. Несмотря на трудную дорогу, они шли удивительно быстро, выбрасывая в такт стройные ноги.

— Вы зачем сюда? — крикнул бородач.

— Дела! — смеясь, крикнули те.

— Где?

— На постоялом дворе!

— И мне туда! — закричал К. громче всех, ему ужасно захотелось, чтобы эти двое взяли его с собой. И хотя знакомство с ними ничего особенного не сулило, но они наверняка были бы славными бодрыми спутниками. Они услышали слова К., но только кивнули ему и сразу исчезли вдали.

К. все еще стоял в снегу, у него не было охоты вытаскивать оттуда ногу, чтобы тут же погрузить ее в сугроб; дубильщик с товарищем, довольные тем, что окончательно избавились от К., медленно протискивались в дом сквозь неплотно прикрытую дверь, то и дело оглядываясь на К., и К., наконец, остался один в глубоком снегу. «Пожалуй, была бы причина слегка расстроиться, — подумал К., — если бы я сюда попал случайно, а не нарочно».

Вдруг с левой стороны домишка открылось крохотное оконце; оно казалось темно-синим, пока было закрыто, — очевидно, при отблеске снега — и было таким крошечным, что сейчас в нем виднелось



не все лицо того, кто выглядывал, а только глаза — стариковские карие глаза.

— Вон он стоит, — услышал К. дрожащий женский голос.

— Это землемер, — сказал мужской голос. Потом мужчина подошел к окошку и добавил без враждебности, но все же так, словно был озабочен, как бы не нарушился порядок перед его домом: — Кого вы ждете?

— Жду, пока какие-нибудь сани меня не захватят, — сказал К.

— Тут сани не проезжают, — сказал мужчина, — тут дорога непроезжая.

— Но ведь это дорога в Замок?

— И все же тут дорога непроезжая, — повторил мужчина с какой-то настойчивостью. Оба замолчали. Но мужчина, очевидно, что-то решал, потому что не захлопывал оконца, оттуда шел дымок.

— Дорога скверная, — сказал К., поддерживая разговор.

Но тот только сказал:

— Да, конечно. — Помолчав, он все же добавил: — Если хотите, я вас довезу на санках.

— Пожалуйста, довезите! — обрадовался К. — Сколько вы с меня возьмете?

— Ничего, — сказал мужчина. К. очень удивился. — Вы ведь землемер, — объяснил мужчина, — вы имеете отношение к Замку. Куда же вы хотите ехать?

— В Замок, — ответил К.

— Тогда я не поеду, — сразу сказал мужчина.

— Но я же имею отношение к Замку, — сказал К., повторяя слова мужчины.

— Возможно, — уклончиво сказал тот.

— Тогда отвезите меня на постоянный двор, — сказал К.

— Хорошо, — сказал мужчина, — сейчас вывезу сани.

Видно, тут дело было не в особой любезности, а, скорее, в эгоистичном, тревожном, почти педантическом стремлении поскорее убрать К. с улицы перед домом.

Открылись ворота, и выехали маленькие санки для легких грузов, совершенно плоские, без всякого сиденья, запряженные тощей лошаденкой, за ними шел, согнувшись, малорослый хромой человечек с изможденным красным слезящимся лицом, которое казалось совсем крошечным в складках толстого шерстяного платка, накручен-

ного на голову. Человечек был явно болен и, очевидно, вышел на улицу только для того, чтобы отвезти К. Так К. ему и сказал, но тот отмахнулся. К. услышал только, что он возница Герстекер и взял эти неудобные санки потому, что они стояли наготове, а вывезти другие было бы слишком долго.

— Садитесь, — сказал он, ткнув кнутом в задок саней.

— Я сяду с вами рядом, — ответил К.

— А я пешком, — сказал Герстекер.

— Почему? — спросил К.

— Я пешком, — повторил Герстекер, и вдруг его так стал колотить кашель, что пришлось упереться ногами в снег, а руками — в край санок, чтобы не упасть. К., ничего не говоря, сел в санки сзади, кашель постепенно утих, и они тронулись.

Замок наверху, странно потемневший, куда К. сегодня и не надеялся добраться, отдалялся все больше и больше. И, словно подавая знак и ненадолго прощаясь, оттуда прозвучал колокол, радостно и окрыленно, и от этого колокольного звона на миг вздрогнуло сердце, словно в боязни — ведь и тоской звенел колокол, — а вдруг исполнится то, к чему так робко оно стремилось. Но большой колокол вскоре умолк, его сменил слабый однотонный колокольчик, то ли оттуда сверху, то ли уже из Деревни. И этот перезвон как-то лучше подходил к медленному скольжению саней и унылому, но безжалостному вознице.

— Слушай! — крикнул вдруг К.; они уже подъезжали к церкви, постоянный двор был недалеко, и К. немного осмелел. — Я все удивляюсь, что ты под свою ответственность решаешься меня везти, разве тебе это разрешено?

Но Герстекер не обратил никакого внимания и спокойно шагал рядом с лошадежкой.

— Эй! — крикнул К. и, собрав в санях горсть снега, угодил снежком прямо в ухо Герстекеру.

Тот остановился и обернулся назад; и когда К. увидел его так близко перед собой — санки проползли только шаг, — увидел эту согнутую, чем-то искалеченную фигуру, воспаленное усталое худое лицо с какими-то разными щеками — одна плоская, другая запавшая, — полуткрытый растерянный рот, где торчало всего несколько зубов, он повторил ехидный вопрос уже с состраданием: не достанется ли Герстекеру за то, что он отвез К.?

— Чего тебе надо? — непонятливо спросил Герстекер и, не ожидая объяснений, крикнул на лошаденку, и они поехали дальше.

Когда они — К. узнал знакомый поворот — уже почти добрались до постоянного двора, там была полнейшая темнота, чему К. очень удивился. Неужели он так долго отсутствовал? Всего час-другой, по его расчетам, да и вышел он с самого утра, и есть ему совсем не хотелось, и еще недавно стоял совсем светлый день, и вдруг такая тьма. «Коротки дни, коротки», — сказал он про себя и, соскользнув с сенок, пошел к постоянному двору.

К счастью, на верхней ступеньке крыльца стоял хозяин, светя ему навстречу высоко поднятым фонарем. Мимоходом вспомнив о возникше, К. приостановился, но кашель донесся откуда-то из темноты, — видно, тот уже ушел. Ничего, наверно, скоро они где-нибудь встретятся. Только поднявшись на крыльцо к хозяину, подобострастно поздравившемуся с ним, К. увидел по обеим сторонам двери двух человек. Он взял фонарь из рук хозяина и осветил на них: это оказались те двое, которых он уже видел, их еще называли Иеремия и Артур. Они откозыряли ему. К. вспомнил военную службу — самые счастливые годы жизни — и засмеялся.

— Кто вы такие? — спросил он, оглядывая их обоих.

— Ваши помощники, — ответили они.

— Да, помощники, — негромко подтвердил хозяин.

— Как? — спросил К. — Вы — мои старые помощники? Это вам я велел ехать за мной, это вас я ждал?

— Да, — сказали они.

— Это хорошо, — сказал К., помолчав, — хорошо, что вы приехали. Однако, — добавил он, немного помолчав, — вы сильно запоздали, вы очень неаккуратны.

— Дорога была дальняя, — сказал один из них.

— Дорога дальняя? — повторил К. — Но ведь я вас встретил, когда вы шли из Замка.

— Да, — сказали оба, но ничего не объяснили.

— А где у вас инструменты? — спросил К.

— У нас их нет, — ответили оба.

— Как? Инструменты, которые я вам доверил? — сказал К.

— У нас их нет, — повторили они.

— Ну что вы за люди! — сказал К. — Да знаете ли вы толк в землемерных работах?

— Нет, — сказали оба.

— Но если вы мои прежние помощники, вы должны все уметь, — сказал К. Они промолчали. — Ну пойдете! — сказал К. и втолкнул их в дом.

## Глава вторая Варнава

Они сели втроем у маленького столика в зале и молча стали пить пиво. К. сидел посередине, оба помощника — справа и слева. В зале, как и вчера вечером, только еще за одним столом сидели крестьяне.

— Трудно мне будет с вами, — сказал К., все время сравнивая лица своих помощников, — ну как мне вас отличать? Ведь вы только именами и отличаетесь, а вообще похожи, как... — Он запнулся и нечаянно добавил: — Похожи, как две змеи.

Помощники усмехнулись.

— Обычно нас легко различают, — как бы оправдываясь, сказал один.

— Верю, — сказал К., — сам был тому свидетелем, но у меня-то глаза свои, а мне вас никак не различить. Буду обращаться с вами как с одним человеком и звать обоих буду Артур, одного из вас ведь так и зовут, тебя, что ли?

— Нет, — сказал тот, — меня звать Иеремия.

— Неважно, — сказал К., — все равно буду обоих звать Артур. Пошлю куда-нибудь Артура — вы оба и пойдете, поручу Артуру работу — оба за нее возьметесь, конечно, мне очень невыгодно, что я не могу вас использовать на разных работах, но зато удобно: за все, что я вам поручу, будете нести ответственность вместе, нераздельно. Как вы работу поделите — мне безразлично, только никаких отговорок от каждого в отдельности я не приму, вы для меня — один человек.

Оба подумали и сказали:

— Нам это будет очень неприятно.

— Еще бы! — сказал К. — Конечно, вам должно быть неприятно, но так оно и будет!

Уже несколько минут К. наблюдал, как вокруг их столика, крадучись, бродит один из крестьян, и, вдруг решившись, он подошел к одному из помощников и хотел что-то шепнуть ему на ухо.

— Простите, — сказал К. и, хлопнув рукой по столу, встал, — это мои помощники, у нас сейчас совещание. Никто не имеет права нам мешать!

— Ох, виноват, виноват! — испуганно проговорил крестьянин и задом попятился к своим товарищам.

— Одно вы должны строго соблюдать, — сказал К., снова садясь на место, — ни с кем без моего позволения вы разговаривать не должны. Я здесь чужой, а раз вы — мои старые помощники, то и вы тут чужие. Поэтому мы, трое чужаков, должны держаться вместе. По рукам, что ли?

Оба с готовностью протянули ему руки.

— Лапы уберите, — сказал К., — а мой приказ остается в силе. Теперь я пойду сосну, да и вам советую лечь. Сегодня у нас пропал рабочий день, а завтра надо начинать пораньше. Достаньте сани, на них поедем в Замок, и чтобы к шести утра сани стояли перед домом.

— Хорошо, — сказал один, но второй вмешался:

— Ты говоришь «хорошо», а сам знаешь, что это невозможно.

— Тихо! — сказал К. — Вы, кажется, затеяли действовать вразнобой?

Но тут снова заговорил первый:

— Он прав, это невозможно, в Замок посторонним без разрешения доступа нет.

— А где брать разрешение?

— Не знаю, может, у кастеляна.

— Что же, будем звонить по телефону. А ну-ка, вы оба, звоните сейчас же кастеляну.

Оба бросились к телефону, вызвали номер — как они суетились, всем видом выражая послушание! — и спросили, можно ли К. с ними вместе завтра утром явиться в Замок.

— Нет! — прозвучало так громко, что донеслось до столика К. Ответ был еще решительнее, там добавили: — Ни завтра, ни в другой день.

— Сам поговорю, — сказал К., вставая.

И хотя и К., и его помощники до сих пор особого интереса не возбуждали — не считая случая с тем крестьянином, — его последние слова вызвали всеобщее внимание. Все встали вместе с К., и, хотя хозяин старался их оттеснить, все столпились вокруг телефона. Большинство высказывало мнение, что К. вообще никакого ответа не по-

лучит. К. должен был попросить их замолчать, их мнения он вовсе не спрашивал.

В трубке послышалось гудение — такого К. никогда по телефону не слышал. Казалось, что гул бесчисленных детских голосов — впрочем, это гудение походило не на гул, а, скорее, на пение далеких, очень-очень далеких голосов, — казалось, что это гудение каким-то совершенно непостижимым образом сливалось в единственный высокий и все же мощный голос, он бил в ухо, словно стараясь проникнуть не только в жалкий слух, но и куда-то глубже. К. слушал, не говоря ни слова, упершись левым локтем в подставку от телефона, и слушал, слушал...

Он не знал, как долго это длилось, но тут хозяин, дернув его за куртку, прошептал, что к нему пришел посыльный.

— Уйди! — не сдерживаясь, крикнул К., очевидно, прямо в телефонную трубку, потому что ему тут же ответили. И произошел следующий разговор.

— Освальд слушает, кто говорит? — крикнул строгий надменный голос.

К. послышался какой-то дефект речи, который старались выправить излишней напускной строгостью. Назвать себя К. не решался, перед телефоном он чувствовал себя беспомощным, на него могли наорать, бросить трубку; К. закрыл себе немаловажный путь. Нерешительность К. раздражала его собеседника.

— Кто говорит? — повторил он и добавил: — Я был бы очень обязан, если бы оттуда меньше звонили, только что нас уже вызывали.

К. не обратил внимания на эти слова и, внезапно решившись, доложил:

— Говорит помощник господина землемера.

— Какой помощник? Какой господин? Какой землемер?

К. вдруг вспомнил вчерашний разговор по телефону.

— Спросите Фрица, — отчеканил он.

К собственному его удивлению, это помогло. Но еще больше, чем этому, удивился он единству тамошней службы. Ему сразу ответили:

— Знаю. Вечно этот землемер. Да, да! А дальше что? Какой еще помощник?

— Йозеф! — сказал ему К. Ему очень мешало перешептывание

крестьян за спиной, они, очевидно, были против того, что он неправильно доложил о себе. Но ему некогда было с ними препираться, разговор поглощал все его внимание.

— Йозеф? — переспросили оттуда. — Но ведь помощников зовут... — Маленькая пауза, как видно, там справлялись у кого-то об именах, — Артур и Иеремия.

— Это новые помощники, — сказал К.

— Да нет же, это старые.

— Нет, новые, а вот я старый, я приехал сегодня вслед за господином землемером.

— Нет! — крикнули в трубку.

— Так кто же я такой? — спросил К. все с тем же спокойствием.

Наступила небольшая пауза, и тот же человек, с тем же недостатком речи, но совсем другим, глубоким и уважительным, голосом проговорил:

— Ты старый помощник.

Вслушиваясь в этот голос, К. чуть не пропустил вопрос.

— А что тебе нужно?

Охотнее всего он положил бы трубку. От этих переговоров он все равно ничего не ждал. Но тут он был вынужден что-то сказать и торопливо спросил:

— А когда моему хозяину можно будет прийти в Замок?

— Никогда! — прозвучал ответ.

— Хорошо, — сказал К. и повесил трубку.

Крестьяне, стоявшие сзади, придвинулись совсем вплотную. Помощники, искоса поглядывая на него, были заняты тем, чтобы не подпускать крестьян слишком близко. Но делалось это явно для виду, да и сами крестьяне, удовлетворенные исходом разговора, медленно отступали. Вдруг в их толпу сзади быстрыми шагами врезался какой-то человек и, поклонившись К., передал ему письмо. Держа письмо в руке, К. оглядел посланца — ему это показалось важнее. Между ним и помощниками было большое сходство, он был так же строен, в таком же облегающем платье, так же быстр и ловок в движениях, как они, и вместе с тем он был совершенно другой. Лучше бы он достался К. в помощники! Чем-то он ему напоминал женщину с грудным младенцем, которую он видел у дубильщика. Одет он был почти что во все белое, и хотя платье было не из шелка — как и все другие, он был в зимнем, — но по мягкости, по праздничности это

платье напоминало шелк. Лицо у него было светлое, открытое, глаза сверхъестественно большие. Улыбался он необыкновенно приветливо; он провел рукой по лицу, словно пытаясь стереть эту улыбку, но ничего не вышло.

— Кто ты такой? — спросил К.

— Зовут меня Варнава, — сказал тот. — Я посыльный.

Мужественно и вместе с тем нежно раскрывались и смыкались его губы, складывая слова.

— Тебе здесь нравится? — спросил К. и показал на крестьян, он еще не потерял интереса к ним с их словно нарочно исковерканными физиономиями — казалось, их били по черепу сверху, до уплощения, и черты лица формировались под влиянием боли от этого битья, — теперь они, приоткрыв отекавшие губы, то смотрели на него, то не смотрели, иногда их взгляды блуждали по сторонам и останавливались где попало, уставившись на какой-нибудь предмет; и еще К. показал Варнаве на своих помощников — те стояли обнявшись, щекой к щеке, и посмеивались, то ли застенчиво, то ли с издевкой, и К. обвел всех их рукой, словно представляя свою свиту, навязанную ему обстоятельствами, и ожидая — этого доверия и добивался К., — чтобы Варнава раз и навсегда увидел разницу между ними и самим К. Но Варнава с полнейшим простодушием — это сразу было видно — совсем не понял, что хотел сказать К.; он лишь воспринял жест К. как благовоспитанный слуга воспринимает каждое слово хозяина, даже непосредственно его не касающееся, и в ответ только послушно оглядел всех вокруг, помахал рукой знакомым крестьянам, обменялся несколькими словами с помощниками — и все это свободно, непринужденно, не держась ото всех особняком. И К., как бы поставленный на место, но не пристыженный, вспомнил о письме, которое он все еще держал в руках, и распечатал его. В письме стояло: «Многоуважаемый господин! Как вам известно, вы приняты на службу к владельцу Замка. Вашим непосредственным начальником является сельский староста, который сообщит вам все ближайшие подробности о вашей работе и об условиях оплаты, перед ним же вы должны будете отчитываться. Вместе с тем и я постараюсь не терять вас из виду. Податель сего письма, Варнава, будет время от времени справляться о ваших пожеланиях и докладывать об этом мне. Вы встретите с моей стороны постоянную готовность по возможности идти вам навстречу. Я заинтересован, чтобы мои работники были довольны».



Дальше шла неразборчивая подпись, но рядом печатными буквами стояло: «Начальник Н-ской канцелярии».

— погоди! — сказал К. склонившемуся в поклоне Варнаве и кликнул хозяина, чтобы ему отвели комнату, — ему хотелось наедине разобраться в письме. При этом он вспомнил, что при всей симпатии, какую он почувствовал к Варнаве, тот был всего лишь посыльным, и велел подать ему пива. К. проследил, как он это примет, но тот взял пиво с явным удовольствием и сразу выпил. К. пошел за хозяином. В этом домишке для К. не нашлось ничего, кроме чердачной каморки, да и это вызвало осложнения, потому что пришлось куда-то переселять двух служанок, спавших там до сих пор. Собственно говоря, там больше ничего не сделали, только выселили служанок; комната была не убрана, даже единственная кровать не постлана, на ней лежали лишь пара одеял да попона, оставшиеся с прошлой ночи. На стенах висело несколько религиозных картинок и фотографий солдат. Даже проветривать каморку не стали — видно, понадеялись, что новый постоялец надолго не задержится, и ничего не сделали, чтобы его удержать. Но К. был на все готов, он завернулся в одеяло, сел к столу и при свече стал перечитывать письмо.

Письмо было неодинаковое, в некоторых фразах к нему обращались как к свободному человеку, чью личную волю признают, — это выражалось в обращении и в той фразе, где говорилось о его пожеланиях. Но были такие выражения, в которых к нему скрыто или явно относились как к ничтожному, почти незаметному с высокого поста работнику, будто высокому начальству приходилось делать усилие, чтобы «не терять его из виду», а непосредственным его начальником оказался сельский староста, ему надо было даже отчитываться перед ним. И, чего доброго, его единственным сослуживцем станет сельский полицейский! Тут, безусловно, крылись противоречия настолько явные, что их, без сомнения, внесли в письмо нарочно. К. сразу отбросил безумную по отношению к столь высокой инстанции мысль, что у них были какие-то колебания. Скорее, он видел тут открыто предложенный ему выбор — ему предоставлялось сделать свои выводы из содержания письма: желает ли он стать работником в Деревне, с постоянно подчеркиваемой, но на самом деле только кажущейся связью с Замком, или же он хочет только внешне считаться работником Деревни, а на самом деле всю свою работу согласовывать с указаниями из Замка, передаваемыми Вар-

навой. К. не задумывался — выбор был ясен, он бы сразу решился, даже если бы за это время ничего не узнал. Только работая в Деревне, возможно дальше от чиновников Замка, сможет он хоть чего-то добиться в Замке, да и те жители Деревни, которые пока еще так недоверчиво к нему относились, заговорят с ним иначе, когда он станет если не их другом, то хотя бы их односельчанином, и когда он перестанет отличаться от Герстекера или Лаземана — а такая перемена должна наступить как можно скорее, от этого все зависело, — тогда перед ним сразу откроются все пути, которые были для него не только заказаны, но и незримы, если бы он рассчитывал на господ оттуда, сверху, и на их милость. Правда, тут таилась одна опасность, и в письме она была достаточно подчеркнута, даже с некоторым злорадством, словно избежать ее было невозможно. Это — положение рабочего. Служба, начальник, условия заработной платы, отчетность, работник — этими словами так и пестрело письмо, и даже когда речь шла о чем-то более личном, все равно и об этом говорилось с той же точки зрения. Если К. захочет стать рабочим, он может им стать, но уж тогда бесповоротно и всерьез, без всяких других перспектив. К. понимал, что никакой прямой угрозы тут нет, этого он не боялся, но, конечно, его удручала обстановка, привычка к постоянным разочарованиям, тяжелое, хоть и незаметное влияние каждой прожитой так минуты, и с этой опасностью он должен был вступить в борьбу. Письмо не обходило молчанием, что если этой борьбе суждено начаться, то К. уже имел смелость в нее вступить: сказано об этом было с тонкостью, и только человек с беспокойной совестью — именно беспокойной, а не нечистой! — мог это вычитать в трех словах, касавшихся его приема на работу: «как вам известно». К. доложил о себе, и с этого момента, говорилось в письме, он, как ему известно, был принят.

Сняв одну из картинок со стены, К. повесил письмо на гвоздик; в этой камерке ему жить, тут пусть и висит письмо.

Затем он спустился в зал. Варнава сидел с помощниками за столиком.

— Ага, вот ты где, — сказал К. без всякого повода — он просто обрадовался, увидев Варнаву.

Тот сразу вскочил. И все крестьяне тоже вскочили с мест при входе К. и стеснились вокруг него, видно, у них уже вошло в привычку ходить за ним по пятам.

— Чего вам от меня нужно? — крикнул К.

Они не рассердились и медленно вернулись на свои места. Отходя, один из них сказал, как бы в объяснение, мимоходом, с непонятной усмешкой, отразившейся и на других лицах:

— Того и гляди услышишь какую-нибудь новость, — и облизнулся, как будто новость можно было съесть.

К. воздержался от дружеского слова, ему нравилось, что он внушал к себе уважение, но стоило ему сесть рядом с Варнавой, как он почувствовал, что кто-то дышит ему в затылок: крестьянин сказал, что пришел взять соль. Но К. так на него топнул, что тот убежал без солонки. Было действительно нетрудно вывести К. из себя, стоило только напустить на него этих крестьян, их упрямое участие казалось еще хуже, чем замкнутость других, и кроме того, они были достаточно замкнуты: если бы К. сел к их столу, они бы немедленно поднялись и ушли бы. Только присутствие Варнавы мешало ему учинить скандал. Все же он угрожающе повернулся к ним, да и все они повернулись к нему. Но когда он увидел, как они все сидят, каждый на своем месте, не разговаривая друг с другом, без всякого видимого общения, связанные только тем, что все они не спускали с него глаз, ему показалось, что они преследуют его вовсе не из злого умысла; может быть, они и вправду хотели от него чего-то добиться, только сказать не умели, а может быть, все это было простым ребячеством, которое тут как будто всем было свойственно: разве не ребячливо вел себя сам хозяин — держа обеими руками стакан пива, предназначенный одному из посетителей, он уставился на К. и не слышал оклика хозяйки, высунувшейся из кухонного окошечка.

Уже спокойнее обратился К. к Варнаве. Он охотно удалил бы своих помощников, но не мог найти предлог. Впрочем, они молча уткнули глаза в свое пиво.

— Насчет письма, — сказал К. — Я его прочел. Ты знаешь содержание?

— Нет, — сказал Варнава, и его взгляд говорил больше, чем его ответ.

Может быть, К. ошибочно видел в нем слишком много хорошего, как в крестьянах — плохое, но ему было приятно его присутствие.

— Там и о тебе идет речь — тебе придется время от времени передавать сведения от меня начальству и обратно, потому я и решил, что ты знаешь содержание письма.

— Мне только поручили передать письмо, — сказал Варнава, — и дождаться, пока его прочтут; если тебе понадобится — отнести устный или письменный ответ.

— Отлично, — сказал К., — в письменном ответе нужды нет, передай господину начальнику — кстати, как его звать? Подпись я не разобрал.

— Кламм, — ответил Варнава.

— Так вот, передай господину Кламму мою благодарность за прием, а также за его исключительную любезность. Как человек, еще ничем себя не зарекомендовавший, я особенно это ценю. Я готов безоговорочно подчиниться его указаниям. Никаких особых желаний у меня нет.

Варнава выслушал все внимательно и попросил разрешения повторить поручение. К. разрешил, Варнава все повторил слово в слово. Потом он встал и хотел попрощаться.

К. все время всматривался в его лицо, а тут он посмотрел на него еще пристальней. Ростом Варнава был не выше К., и все же казалось, что смотрел он на него сверху, хотя и очень смиренно, — невысказанно было представить себе, чтобы этот человек хотел кого-нибудь унижить. Правда, он был только посыльным, не знал даже содержания письма, порученного ему, но в его взгляде, в улыбке, в походке крылась тоже какая-то весть, хоть он о ней и не подозревал. И К. протянул ему руку, что его явно удивило — он хотел ограничиться простым поклоном.

И как только он вышел — а прежде чем открыть двери, он еще на миг прислонился плечом к косяку и обвел комнату взглядом, ни к кому в отдельности не относившимся, — К. сказал помощникам:

— Сейчас принесу из комнаты свои записи, и обсудим план работы.

Они хотели было пойти с ним, но К. сказал им:

— Оставайтесь.

А когда они все же собрались идти за ним, он повторил приказ еще строже. В прихожей Варнавы уже не было. А ведь он только что вышел. Но и перед домом — снова пошел снег — К. его не увидел. Он крикнул:

— Варнава!

Никакого ответа. Может быть, он еще в доме? Это казалось единственной возможностью. Но все-таки К. изо всех сил окликнул его по

имени. Имя громом прокатилось в темноте. И уже издали слышался слабый отклик — так далеко ушел Варнава. К. снова позвал его к себе, и сам пошел ему навстречу; когда они встретились, постоялый двор уже не был виден.

— Варнава, — сказал К. и не мог сдержать дрожь в голосе. — Я хотел тебе еще кое-что сказать. По-моему, очень неудачно придумано, что моя связь с Заком зависит только от твоих случайных приходов. И если бы я сейчас тебя не догнал — а ты просто летаешь, я думал, что ты еще в доме, — то кто его знает, сколько мне пришлось бы ждать, пока ты снова появишься.

— Но ведь ты можешь попросить начальника, чтобы я приходил в определенное время, когда ты назначишь, — сказал Варнава.

— И этого недостаточно, — сказал К. — Может быть, мне целый год нечего будет передать, а потом вдруг через четверть часа после твоего ухода возникнет что-нибудь неотложное.

— Так что же, — сказал Варнава, — доложить начальнику, чтобы он наладил с тобой другую связь, не через меня?

— Нет-нет, — сказал К., — вовсе нет, это я так, мимоходом, ведь сейчас, к счастью, я тебя догнал.

— Не вернуться ли нам на постоялый двор, — сказал Варнава, — чтобы ты мне там дал новое поручение? — И он уже шагнул обратно ко двору.

— Не стоит, Варнава, — сказал К., — лучше я провожу тебя немного.

— Почему ты не хочешь вернуться туда? — спросил Варнава.

— Мне там народ мешает, — сказал К. — Ты сам видел, какие они назойливые, эти крестьяне.

— Можно пройти к тебе в комнату, — сказал Варнава.

— Да это каморка для прислуги, — сказал К., — там грязно, душно, для того я и пошел за тобой, чтобы там не сидеть. Только разреши мне, — продолжал К., стараясь побороть смущение, — разреши взять тебя под руку, ты идешь уверенней. — И К. взял его под руку. Было совсем темно, его лица К. не видел, вся его фигура неясно вырисовывалась в темноте, но К. постарался ошупью найти его руку.

Варнава не противился, и они пошли прочь от постоялого двора. Правда, К. чувствовал, что, несмотря на величайшие усилия, он не мог идти в ногу с Варнавой и задерживал его и что в обычной обстановке это незначительное обстоятельство могло бы все погубить,

особенно если бы они попали в те проулки, где днем плутал в снегу К. и откуда теперь Варнаве пришлось бы выносить его на руках. Но К. старался не думать об этом, утешенный, кстати, и тем, что Варнава молчал, а раз они не разговаривали, значит, и для Варнавы оставалась только одна цель — идти вместе вперед.

Так они шли, но куда именно — К. не понимал: он ничего не мог узнать. Он даже не знал, прошли они церковь или нет. Приходилось затрачивать столько усилий на ходьбу, что своими мыслями он уже не владел. Вместо того чтобы сосредоточиться на одном, мысли путались в голове. Непрестанно всплывали родные места, воспоминания переполняли его. И там на главной площади тоже стояла церковь, к ней с одной стороны примыкало кладбище, окруженное высокой оградой. Мало кто из мальчишек побывал на этой ограде, и К. еще не удалось туда забраться. Не любопытство гнало туда ребят — никакой тайны для них на кладбище не было. Не раз они туда заходили сквозь решетчатую дверцу, но им очень хотелось одолеть высокую гладкую ограду. И однажды днем — затихшая пустая площадь была залита солнцем, К. никогда ни раньше, ни позже не видел ее такой — ему неожиданно повезло: в том месте, где он так часто срывался, он с первой попытки залез наверх, держа в зубах флажок. Еще не осыпались камушки из-под ног, а он уже сидел наверху. Он воткнул флажок, ветер натянул материю, он поглядел вниз, и вокруг, и даже через плечо, на ушедшие в землю кресты, и не было на свете никого храбрее, чем он. Случайно проходивший мимо учитель сердитым взглядом согнал К. с ограды. Соскакивая вниз, К. повредил себе колено, с трудом доковылял до дому, но на ограду он все-таки взобрался. Ощущение этой победы, как ему тогда казалось, будет всю жизнь служить ему поддержкой, и это было не так глупо: даже сейчас, через много лет, в снежную ночь, об руку с Варнавой, пришло оно на память.

Он крепче оперся на Варнаву — тот почти тащил его, оба не прерывали молчания. О пройденном пути К. мог судить только по состоянию дороги; ни в какие переулки они не сворачивали. Он решил про себя, что любые трудности, даже страх обратного пути, не заставят его остановиться. Пусть его хоть волоком тащат — у него хватит сил выдержать и это. Неужели дороге нет конца? Днем Замок казался ему легкодоступной целью, а посыльный, наверно, знает самый короткий путь туда.

Вдруг Варнава остановился. Где они? Разве дальше ходу нет? Может быть, Варнава хочет распрощаться с К.? Нет, это ему не удастся. К. так крепко вцепился в руку Варнавы, что ему самому стало больно. Или, может быть, случилось самое невероятное и они уже пришли в Замок или стоят у его ворот! Но, насколько К. понимал, они совсем не подымались в гору. Или Варнава провел его по другой, пологой дороге?

— Где мы? — спросил К. больше про себя, чем вслух.

— Дома, — сказал Варнава так же тихо.

— Дома?

— Смотри не поскользнься, сударь, тут спуск.

— Спуск?

— Тут всего два-три шага, — добавил Варнава и уже стучал в дверь.

Им открыла девушка, и они очутились на пороге большой комнаты, почти в темноте — только над столом, слева в углу, висела крошечная керосиновая лампочка.

— Кто это с тобой, Варнава? — спросила девушка.

— Землемер, — ответил тот.

— Землемер, — громче повторила девушка, обращаясь к сидевшим за столом. Оттуда поднялись двое стариков — мужчина и женщина — и еще одна девушка. Они поздоровались с К. Варнава представил ему всех — это были родители и его сестры, Ольга и Амалия. К. едва взглянул в их сторону. С него сняли мокрое пальто и повесили сушить у печки; К. не сопротивлялся.

Значит, они вовсе не к цели пришли, просто Варнава вернулся к себе домой. Но зачем они зашли к нему? К. отвел Варнаву в сторону и спросил:

— Зачем ты пришел домой? Или вы живете в пределах Замка?

— В пределах Замка, — повторил Варнава, словно не понимая, что говорит К.

— Варнава, — сказал К., — ты же хотел из постоянного двора идти прямо в Замок.

— Нет, сударь, — сказал Варнава, — я хотел идти домой, я только утром хожу в Замок, я там никогда не ночую.

— Вот оно что, — сказал К., — значит, ты не собирался идти в Замок, ты шел сюда? — Улыбка Варнавы показалась ему бледнее, сам он — незначительней. — Почему же ты меня не предупредил?

— Да ты меня и не спрашивал, — сказал Варнава, — ты только хотел дать мне еще поручение, но не в общей комнате и не в своей камере, вот я и подумал, что тут, у моих родителей, тебе никто не помешает передать мне все, что надо. Сейчас они все выйдут, если ты прикажешь, а если тебе у нас больше нравится, ты и переночевать можешь тут. Разве я что-нибудь сделал не так?

К. ничего ответить не мог. Значит, все это обман, подлый, низкий обман, а К. так ему поддался. Околдовала его узкая шелковистая куртка Варнавы, а сейчас тот расстегнул пуговицы, и снизу вылезла грубая грязно-серая латаная и перелатанная рубаша, обтягивавшая мощную угловатую костистую грудь батрака. И вся обстановка не только ничему не противоречила, но еще ухудшала впечатление, и старый подагрик-отец, передвигавшийся скорее ощупью, при помощи рук, медленно шаркая окостеневшими ногами, и мать со сложенными на груди руками, еле-еле семенящая мелкими шажками из-за невероятной своей толщины. Оба они — и отец и мать — сразу, как только К. вошел, двинулись ему навстречу, но все еще никак не могли подойти поближе. Обе сестры — блондинки, похожие друг на друга и на Варнаву, только грубее чертами лица, высокие плотные девки — обступили пришедших, дожидаясь хоть какого-нибудь приветствия от К. Но он ничего не мог выговорить: ему казалось, что тут, в Деревне, каждый человек что-то для него значил, да наверно, так оно и было, и только эти люди никак его не касались. И если бы он мог самостоятельно найти дорогу на постоянный двор, он тотчас же ушел бы отсюда. Его никак не привлекала возможность пойти в Замок с Варнавой утром. Он хотел бы проникнуть туда вместе с Варнавой незаметно, ночью, да и с тем Варнавой, каким он ему раньше казался, с человеком, который был ему ближе всех, кого он до сих пор здесь встречал, и о котором он, кроме того, думал, будто он, вопреки своей скромной с виду должности, тесно связан с замком. Но с членом подобного семейства, с которым он так неотъемлемо был связан — он уже сидел с ним за столом, — с человеком, которому явно не разрешалось даже ночевать в замке, с ним об руку среди бела дня явиться в Замок было немислимо — смешное, безнадежное предприятие.

К. присел на подоконник, решив провести так всю ночь и вообще никаких услуг от этого семейства не принимать. Жители Деревни, которые его прогоняли или испытывали перед ним страх, казались



ему гораздо менее опасными: они, в сущности, предоставляли его самому себе и тем помогали внутренне собрать все свои силы, но такие мнимые помощники, которые, вместо того чтобы отвести его в Замок, слегка замаскировавшись, вели к себе домой, такие люди его сбивали с пути, волей или неволей подтачивали его силы. На приглашение сесть к семейному столу К. не обратил внимания и, опустив голову, остался на своем подоконнике.

Тогда Ольга, более мягкая из сестер, даже с некоторой девичьей робостью, встала и, подойдя к К., попросила его к столу. Хлеб и сало уже нарезаны, пиво она сейчас принесет.

— Откуда? — спросил К.

— Из трактира, — сказала она.

К. обрадовался случаю. Он попросил ее не приносить пива, а просто проводить его до постоянного двора, у него там осталась важная работа. Однако выяснилось, что она собирается идти не так далеко, не на его постоянный двор, а в другую, гораздо более близкую гостиницу «Господский двор». Но К. все же попросился проводить ее, быть может, подумал он, там найдется место переночевать: какое бы оно ни было, он предпочел бы его самой лучшей кровати в этом доме. Ольга ответила не сразу и оглянулась на стол. Ее брат встал, кивнул с готовностью и сказал:

— Что же, если господину так угодно!

Это согласие едва не заставило К. отказаться от своей просьбы: если Варнава соглашается, значит, это бесполезно. Но когда начали обсуждать, впустят ли К. вообще в гостиницу, и все высказали сомнение, К. стал настойчиво просить взять его с собой, даже не стараясь выдумать благовидный предлог для такой просьбы, — пусть это семейство принимает его таким, какой он есть, он почему-то их совсем не стеснялся. Немного сбивала его только Амалия своим серьезным, прямым, неуступчивым, даже чуть туповатым взглядом. Во время недолгой дороги к гостинице — К. вцепился в Ольгу, иначе он не мог, и она его почти тащила, как раньше тянул ее брат, — он узнал, что эта гостиница, в сущности, предназначена для господ из Замка, когда дела приводят их в Деревню, они там обедают, а иногда и ночуют. Ольга говорила с К. тихо и как бы доверительно, было приятно идти с ней, почти как раньше с ее братом. И хотя К. не хотел поддаваться этому радостному ощущению, но отделаться от него не мог.

## Глава третья

## Фрида

Гостиница была внешне очень похожа на постоялый двор, где остановился К. Видно, в Деревне вообще больших внешних различий ни в чем не делали, но какие-то мелкие различия замечались сразу — крыльцо было с перилами, над дверью висел красивый фонарь. Когда они входили, над ними затрепетал кусок материи — это было знамя с графским гербом. В прихожей они сразу натолкнулись на хозяина, обходившего, как видно, помещения: своими маленькими глазками то ли сонно, то ли пристально он мимоходом оглядел К. и сказал:

— Господину землемеру разрешается входить только в буфет.

— Конечно, — сказала Ольга, тут же вступаясь за К., — он только провожает меня.

Но неблагодарный К. отнял руку у Ольги и отвел хозяина в сторону. Ольга терпеливо осталась ждать в углу прихожей.

— Я бы хотел здесь переночевать, — сказал К.

— К сожалению, это невозможно, — сказал хозяин, — вам, очевидно, ничего не известно. Гостиница предназначена исключительно для господ из Замка.

— Может быть, таково предписание, — сказал К., — но пристроить меня на ночь где-нибудь в уголке, наверно, можно.

— Я был бы чрезвычайно рад пойти вам навстречу, — сказал хозяин. — Но, не говоря уже о строгости предписания, о котором вы судите как посторонний человек, выполнить вашу просьбу невозможно еще потому, что господа из Замка чрезвычайно щепетильны, и я убежден, что один вид чужого человека, особенно без предупреждения, будет им невыносим. Если я вам позволю тут переночевать, а вас случайно — ведь случай всегда держит сторону господ — увидят тут, то не только я пропал, но и вы сами тоже. Звучит нелепо, но это чистая правда.

Этот высокий, застегнутый на все пуговицы человек, который, уперев одну руку в стену, а другую в бок, скрестив ноги и слегка наклонившись к К., разговаривал с ним так доверительно, казалось, не имел никакого отношения к Деревне, хотя его темная одежда походила на праздничное платье крестьянина.

— Я вам вполне верю, — сказал К., — да и важность предписания

я никак не преуменьшаю, хотя и выразился несколько неловко. Но я хотел бы обратить ваше внимание только на одно: у меня в Замке значительные связи, и они вскоре станут еще значительнее, а это вас защитит от опасности, которая может возникнуть из-за моей ночевки тут, и мои знакомства вам порукой в том, что я в состоянии полностью отплатить за любую, хотя бы мелкую услугу.

— Знаю, — сказал хозяин и повторил еще раз: — Это я знаю.

К. уже хотел уточнить свою просьбу, но слова хозяина сбили его, и он только спросил:

— А много ли господ из Замка ночует сегодня у вас?

— В этом отношении сегодня удачный день, — сказал хозяин как-то задумчиво, — сегодня остался только один господин.

Но К. все еще не решался настаивать, хотя надеялся, что его уже почти приняли, и он только осведомился о фамилии господина из Замка.

— Кламм, — сказал хозяин мимоходом и обернулся навстречу своей жене, которая выплыла, шумя очень поношенным, старомодным платьем, — перегруженное множеством рюшей и складок, платье все же выглядело вполне нарядно, оно было городского покроя. Она пришла за хозяином — господин начальник что-то желает ему сказать. Уходя, хозяин обернулся к К., словно решать вопрос о ночевке должен не он, а сам К. Но К. ничего не мог ему сказать, он совершенно растерялся, узнав, что именно его начальник оказался тут. Не отдавая себе отчета, он чувствовал себя гораздо более связанным присутствием Кламма, чем предписаниями Замка. К. вовсе не боялся быть тут пойманным в том смысле, как это понимал хозяин, но для него это было бы неприятной бестактностью, как если бы он из легкомыслия обидел человека, которому он обязан благодарностью; вместе с тем его очень удручало, что в этих его колебаниях уже явно сказывалось столь пугавшее его чувство подчиненности, зависимости от работодателя и что даже тут, где это ощущение было таким отчетливым, он никак не мог его побороть. Он стоял, кусая губы, и ничего не говорил. Прежде чем исчезнуть за дверью, хозяин еще раз обернулся и взглянул на К. Тот посмотрел ему вслед, не двигаясь с места, пока не подошла Ольга и не потянула его за собой.

— Что тебе понадобилось от хозяина? — спросила Ольга.

— Хотел здесь переночевать, — сказал К.

— Но ведь ты ночуешь у нас? — удивилась Ольга.

— Да, конечно, — сказал К. и предоставил ей самой разобраться в смысле этих слов.

В буфете — большой, посредине совершенно пустой комнате — у стен около пивных бочек и на них сидели крестьяне, но совершенно другие, чем на постоялом дворе, где остановился К. Они были одеты чище, в серо-желтых, грубой ткани платьях, с широкими куртками и облегающими штанами. Все это были люди небольшого роста, очень похожие с первого взгляда друг на друга, с плоскими, костлявыми, но румяными лицами. Сидели они спокойно, почти не двигаясь, и только неторопливым и равнодушным взглядом следили за вновь пришедшими. И все же оттого, что их было так много, а кругом стояла такая тишина, они как-то подействовали на К. Он снова взял Ольгу под руку, как бы объясняя этим свое появление здесь. Из угла поднялся какой-то мужчина, очевидно, знакомый Ольги, и хотел к ней подойти, но К., прижав ее руку, повернул ее в другую сторону. Никто, кроме нее, этого не заметил, а она не противилась и только с улыбкой покосилась в сторону.

Пиво разливала молоденькая девушка по имени Фрида. Это была невзрачная маленькая блондинка с печальными глазами и запавшими щеками, но К. был поражен ее взглядом, полным особого превосходства. Когда ее глаза остановились на К., ему показалось, что она этим взглядом уже разрешила многие вопросы, касающиеся его. И хотя он сам и не подозревал об их существовании, но ее взгляд убеждал его, что они существуют. К. все время смотрел на Фриду издалека, даже когда она заговорила с Ольгой. Дружбы между Ольгой и Фридой явно не было, они только холодно обменялись несколькими словами. К. хотел их подбодрить и потому непринужденно спросил:

— А вы знаете господина Кламма?

Ольга вдруг расхохоталась.

— Чего ты смеешься? — раздраженно спросил К.

— Совсе я не смеюсь, — сказала она, продолжая хохотать.

— Ольга еще совсем ребенок, — сказал К. и перегнулся через стойку, чтобы еще раз поймать взгляд Фриды.

Но она опустила глаза и тихо сказала:

— Хотите видеть господина Кламма?

К. спросил, как это сделать. Она показала на дверь тут же, слева от нее.

— Тут есть глазок, можете через него посмотреть.

— А что скажут эти люди? — спросил К., но она только презрительно выдвинула нижнюю губку и необычайно мягкой рукой потянула К. к двери.

И через маленький глазок, явно проделанный для наблюдения, он увидел почти всю соседнюю комнату.

За письменным столом посреди комнаты в удобном кресле с круглой спинкой сидел, ярко освещенный висящей над головой лампой, господин Кламм. Это был толстый, среднего роста, довольно неуклюжий господин. Лицо у него было без морщин, но щеки под тяжестью лет уже немного обвисли. Черные усы были вытянуты в стрелку. Криво насаженное пенсне поблескивало, закрывая глаза. Если бы Кламм сидел прямо у стола, К. видел бы только его профиль, но, так как Кламм резко повернулся в его сторону, он смотрел прямо ему в лицо. Левым локтем Кламм опирался о стол, правая рука с зажатой в ней сигарой покоилась на колене. На столе стоял бокал с пивом, но у стола был высокий бортик, и К. не мог разглядеть, лежали ли там какие-нибудь бумаги, но ему показалось, что там ничего нет. Для пушей уверенности он попросил Фриду заглянуть в глазок и сказать ему, что там лежит. Но она и без того подтвердила ему, что никаких бумаг там нет, она только недавно заходила в эту комнату. К. спросил Фриду, не уйти ли ему, но она сказала, что он может посмотреть сколько ему угодно. Теперь К. остался с Фридой наедине. Ольга, как он заметил, пробралась к своему знакомому и теперь сидела на бочке, болтая ногами.

— Фрида, — шепотом спросил К., — вы очень хорошо знакомы с господином Кламмом?

— О да! — сказала она. — Очень хорошо.

Она наклонилась к К. и игриво, как показалось К., поправила свою легкую открытую кремовую блузку, словно с чужого плеча повпашую на ее жалкое тельце. Потом она сказала:

— Вы помните, как рассмеялась Ольга?

— Да, она плохо воспитана, — сказал К.

— Ну, — сказала Фрида примирительно, — у нее были основания для смеха. Вы спросили, знаю ли я Кламма, а ведь я... — И она невольно выпрямилась, и снова ее победный взгляд, совершенно не соответствующий их разговору, остановился на К. — Ведь я его любовница.

— Любовница Кламма? — сказал К., и она кивнула. — О, тогда вы для меня... — И К. улыбнулся, чтобы не вносить излишнюю серьезность в их отношения. — Вы для меня важная персона.

— И не только для вас, — сказала Фрида любезно, но не отвечая на его улыбку. Однако К. нашел средство против ее высокомерия.

— А вы уже были в Замке? — спросил он. Это не подействовало, потому что она сказала:

— Нет, не была, но разве мало того, что я работаю здесь в буфете? Честолюбие у нее было невероятное, и, как ему показалось, она хотела его удовлетворить именно через К.

— Верно, — сказал К., — вы тут в буфете, должно быть, работаете за хозяина.

— Безусловно, — сказала она, — а ведь сначала я была скотницей на постоялом дворе «У моста».

— С такими нежными ручками? — сказал К. полувопросительно, сам не зная, хочет ли он ей польстить или на самом деле очарован ею. Руки у нее и вправду были маленькие и нежные, хотя можно было их назвать и слабыми и невыразительными.

— Тогда на них никто не обращал внимания, — сказала она, — и даже теперь...

К. вопросительно посмотрел на нее, но она только тряхнула головой и ничего больше не сказала.

— Конечно, — сказал К., — у вас есть свои секреты, но не станете же вы делиться ими с человеком, с которым вы всего полчаса как познакомились, да и у него еще не было случая рассказать вам все о себе.

Но это замечание, как оказалось, было не совсем удачным: оно словно пробудило Фриду из какого-то оцепенения, выгодного для К. Она тут же вынула из кожаного кармашка, висевшего на поясе, круглую затычку, заткнула глазок и сказала К., явно стараясь не показывать ему перемену в отношении:

— Что касается вас, я все знаю. Вы землемер. — И добавила: — А теперь мне надо работать. — И пошла на свое место за стойкой, куда уже подходили то один, то другой из посетителей, прося ее наполнить пустую кружку.

К. хотел незаметно переговорить с ней еще раз, поэтому он взял со стойки пустую кружку и подошел к ней.

— Еще одно слово, фройляйн Фрида, — сказал он. — Ведь это необыкновенное достижение — и какая нужна сила воли, чтобы из про-

стой батрачки стать буфетчицей, — но разве для такого человека, как вы, этим достигнута окончательная цель? Впрочем, я зря спрашиваю. По вашим глазам, фройляйн Фрида, пожалуйста, не смейтесь надо мной, видна не только прошлая, но и будущая борьба. Но в мире столько препятствий, и чем выше цель, тем препятствия труднее, и нет ничего зазорного, если вы обеспечите себе помощь человека хоть и незначительного, невлиятельного, но тоже ведущего борьбу. Может быть, мы могли бы с вами поговорить спокойно, наедине, а то смотрите, как все на нас уставились.

— Не понимаю, что вам от меня нужно, — сказала она, и в ее голосе против воли зазвучала не радость жизненных побед, а горечь бесконечных разочарований. — Уж не хотите ли вы отбить меня у Кламма? О Господи! — И она всплеснула руками.

— Вы меня разгадали, — сказал К., словно ему наскучило вечное недоверие, — именно таков был мой тайный замысел. Вы должны бросить Кламма и стать моей любовницей. Что ж, теперь я могу уйти. Ольга! — крикнул К. — Идем домой!

Ольга послушно скользнула на пол с бочонка, но ее тут же окружили приятели и не отпускали. Вдруг Фрида сказала тихо, угрожающе посмотрев на К.:

— Когда же я могу с вами поговорить?

— А мне можно тут переночевать? — спросил К.

— Да, — сказала Фрида.

— Значит, можно остаться?

— Выйдите с Ольгой, чтобы я могла убрать этих людей. Потом можете вернуться.

— Хорошо, — сказал К., в нетерпении поджидая Ольгу.

Но крестьяне не выпускали ее, они затеяли пляску, окружив Ольгу кольцом; под выкрики, по очереди выскакивая из круга, крепко обнимали ее за талию и несколько раз кружили на месте; хоровод неся все быстрее, крики, жадные, хриплые, сливались в один. Сначала Ольга со смехом пыталась прорваться сквозь круг, но теперь, с растрепанными волосами, только перелетала из рук в руки.

— Вот каких людей ко мне посылают! — сказала Фрида, сердито покусывая тонкие губы.

— А кто они такие? — спросил К.

— Слуги Кламма, — ответила Фрида. — Вечно он приводит их за собой, а я так расстраиваюсь. Сама не знаю, о чем я сейчас с вами го-

ворила, господин землемер, и если что не так — простите меня, и все из-за этих людей. Никого хуже, отвратительнее я не знаю, и такому сброду я вынуждена подавать пиво. Сколько раз я просила Кламма оставлять их дома, уж если мне приходится терпеть слуг всех других господ, то хотя бы он мог бы меня уважать, но никакие просьбы не помогают, за час до его прихода они врываются сюда, как скотина в хлев. Но сейчас я их прогоню на конюшню — там им и место. Если бы вас тут не было, я бы сейчас же распахнула эти двери — пусть Кламм сам их выгоняет.

— А разве он ничего не слышит? — спросил К.

— Нет, — сказала Фрида. — Он спит.

— Как? — воскликнул К. — Спит? Но когда я заглядывал в комнату, он сидел за столом и вовсе не спал.

— А он всегда так сидит, — сказала Фрида. — Когда вы на него смотрели, он уже спал. Разве я иначе позволила бы вам туда заглядывать? Он часто спит в таком положении, вообще, эти господа много спят, даже непонятно почему. Впрочем, если бы он столько не спал, как бы он мог вытерпеть этих людишек? Теперь мне самой придется их выгонять.

Она взяла кнут из угла и одним прыжком, неуверенным, но высоким — так прыгают барашки, — подскочила к плясавшим. Сначала они решили, что прибавилась еще одна танцорка, и вправду было похоже, будто Фрида сейчас бросит кнут, но она его сразу подняла вверх.

— Именем Кламма! — крикнула она. — На конюшню! Все — на конюшню!

Тут они поняли, что с ними не шутят: в непонятном для К. страхе отступили назад, под чьим-то толчком там открылись двери, повеяло ночным воздухом, и все исчезли вместе с Фридой, которая, очевидно, загоняла их через двор на конюшню.

Во внезапно наступившей тишине К. вдруг услышал шаги в прихожей. Ища укрытия, К. метнулся за стойку — единственное место, где можно было спрятаться. Правда, ему не запрещалось находиться в буфете, но так как он тут собирался переночевать, то не стоило попадаться кому-нибудь на глаза. Поэтому, когда дверь действительно открылась, он нырнул под стойку. И хотя там ему тоже грозила некоторая опасность быть замеченным, но все-таки можно было довольно правдоподобно оправдаться тем, что он спрятался от разбушевавшихся крестьян. Вошел хозяин.



— Фрида! — крикнул он и стал ходить взад и вперед по комнате.

К счастью, Фрида скоро вошла, ни словом не упомянув о К., пожаловалась на слуг, а потом прошла за стойку, надеясь там найти К. Он дотронулся до ее ноги и почувствовал себя в безопасности. Так как Фрида ничего о К. не сказала, о нем заговорил хозяин.

— А где же землемер? — спросил он. По всей видимости, он вообще был человек вежливый, с хорошими манерами, благодаря постоянному и сравнительно свободному общению с вышестоящими господами, но с Фридой он говорил особо почтительным тоном, и это бросалось в глаза, потому что он продолжал оставаться работодателем, а она его служанкой, хотя, надо сказать, весьма дерзкой служанкой.

— Про землемера я совсем забыла, — сказала Фрида и поставила свою маленькую ножку на грудь К. — Наверно, он давным-давно ушел.

— Но я его не видел, — сказал хозяин, — хотя все время стоял в передней.

— А здесь его нет, — холодно сказала Фрида.

— Может быть, он спрятался, — сказал хозяин. — Судя по его виду, от него можно ждать чего угодно.

— Ну на это у него смелости не хватит, — сказала Фрида и крепче прижала К. ногой. Что-то в ней было веселое, вольное, чего К. раньше и не заметил, и все это вспыхнуло еще неожиданней, когда она внезапно проговорила со смехом: — А вдруг он спрятался тут, внизу? — Наклонилась к К., чмокнула его мимоходом и, вскочив, сказала с огорчением: — Нет, тут его нету.

Но и хозяин удивил К., когда вдруг сказал:

— Мне очень неприятно, что я не знаю наверняка, ушел он или нет. И дело тут не только в господине Кламме, дело в предписании. А предписание касается и вас, фройляйн Фрида, так же, как и меня. За буфет отвечаете вы, остальные помещения я обыщу сам. Спокойной ночи! Приятного сна.

Не успел он уйти из комнаты, как Фрида уже очутилась под стойкой, рядом с К.

— Мой миленький! Сладкий мой! — зашептала она, но даже не коснулась К.; словно обессилив от любви, она лежала на спине, раскинув руки; видно, в этом состоянии счастливой влюбленности время ей казалось бесконечным, и она скорее зашептала, чем запела ка-

кую-то песенку. Вдруг она встрепенулась — К. все еще лежал неподвижно, погруженный в свои мысли, — и стала по-ребячески теревить его: — Иди же, здесь внизу можно задохнуться!

Они обнялись, маленькое тело горело в объятиях у К.; в каком-то тумане, из которого К. все время безуспешно пытался выбраться, они прокатились несколько шагов, глухо ударились о двери Кламма и застухли в лужах пива и среди мусора на полу. И потекли часы, часы общего дыхания, общего сердцебиения, часы, когда К. непрерывно ощущал, что он заблудился или уже так далеко забрел на чужбину, как до него не забредал ни один человек, — на чужбину, где самый воздух состоял из других частиц, чем дома, где можно было задохнуться от этой отчужденности, но ничего нельзя было сделать с ее бессмысленными соблазнами — только уходить в них все глубже, теряться все больше. И потому, по крайней мере в первую минуту, не угрозой, а, скорее, утешительным проблеском показался ему глубокий, повелительно-равнодушный голос, позвавший Фриду из комнаты Кламма.

— Фрида, — сказал К. ей на ухо, словно передавая зов.

С механическим, уже как бы врожденным послушанием Фрида хотела вскочить, но тут же опомнилась, сообразив, где она находится, потянулась, тихо засмеялась и сказала:

— Да разве я к нему пойду, никогда я к нему больше не пойду!

К. хотел ее отговорить, хотел заставить ее пойти к Кламму, стал даже собирать обрывки ее блузки, но сказать ничего не мог — слишком он был счастлив, держа Фриду в объятиях, слишком счастлив и слишком перепуган, потому что ему казалось: уйди от него Фрида — и уйдет все, что у него есть. И, словно чувствуя поддержку К., Фрида вдруг сжала кулак, постучала в дверь и крикнула:

— А я с землемером! А я с землемером!

Кламм, конечно, сразу замолчал. Но К. встал, опустился возле Фриды на колени и оглядел комнату в тусклом предрассветном полумраке. Что случилось? Где его надежды? Чего мог он теперь ждать от Фриды, когда она так его выдала? Вместо того чтобы идти вперед осторожно, как того требовала значительность врага и цели, он целую ночь провалился в пивных лужах — теперь от вони кружилась голова.

— Что ты наделала? — сказал он вполголоса. — Теперь мы оба пропали.

— Нет, — сказала Фрида, — пропала только я одна, зато я тебя заполучила. Не беспокойся. Ты только посмотри, как эти двое смеются.

— Кто? — спросил К. и обернулся. На стойке сидели оба его помощника, немного сонные, но веселые; так весело бывает людям, честно выполнившим свой долг. — Чего вам тут надо? — закричал на них К., словно они во всем виноваты. Он оглянулся, ища кнут, который вечером был у Фриды.

— Должны же мы были найти тебя, — сказали помощники, — вниз к нам ты не пришел, тогда мы пошли искать тебя у Варнавы и наконец нашли вот тут. Пришлось просидеть здесь целую ночь. Да, служба у нас не из легких.

— Вы мне днем нужны, а не ночью, — сказал К. — Убирайтесь!

— А теперь уже день, — сказали они, не двигаясь с места.

И действительно, уже наступил день, двери открылись, крестьяне вместе с Ольгой, о которой К. совсем забыл, ввалились в буфет. Ольга была оживлена, как вечером, и, хотя и одежда и волосы у нее были в плачевном состоянии, она уже у дверей стала искать глазами К.

— Почему ты со мной не пошел к нам? — спросила она чуть ли не со слезами. — Да еще из-за такой бабенки! — добавила она и повторила эту фразу несколько раз.

Фрида, исчезнувшая на минутку, вошла с небольшим узелком белья. Ольга печально стояла в стороне.

— Ну теперь мы можем идти, — сказала Фрида. Было понятно, что она говорит о постоялом дворе «У моста» и собирается идти именно туда. К. встал рядом с Фридой, за ним — оба помощника. В таком порядке двинулись. Крестьяне с презрением смотрели на Фриду, что было вполне понятно — слишком строго она с ними обходилась до сих пор. Один даже взял палку и сделал вид, что не пропустит ее, если она не перепрыгнет через эту палку, но достаточно было одного ее взгляда, чтобы его отогнать. Выйдя на заснеженную улицу, К. облегченно вздохнул. Такое это было счастье — оказаться на свежем воздухе, что даже дорога показалась более сносной; а если бы К. снова очутился тут один, было бы еще лучше. Придя на постоялый двор, он сразу поднялся в свою каморку и лег на кровать, а Фрида постелила себе рядом, на полу. Вслед за ними в комнату проникли и помощники, их прогнали, но они влезли в окошко. К. слишком устал, что-

бы еще раз их выгнать. Хозяйка собственной персоной поднялась наверх, чтобы поздороваться с Фридой, та ее называла «мамашей»; начались непонятно восторженные приветствия с поцелуями и долгими объятиями. Вообще покоя в этой каморке не было, то и дело сюда забегали служанки, громко топая мужскими сапогами, что-то приносили, что-то уносили. А когда им нужно было что-то достать из битком набитой кровати, они бесцеремонно вытаскивали вещи из-под лежавшего там К. С Фридой они поздоровались как со своей. Все же, несмотря на беспокойство, К. пролежал весь день и всю ночь. Фрида ухаживала за ним. Когда он наконец встал на следующее утро, освеженный и отдохнувший, уже пошел четвертый день его пребывания в Деревне.

#### *Глава четвертая*

#### **Первый разговор с хозяйкой**

**О**н охотно поговорил бы с Фридой наедине, но помощники, с которыми, кстати, и Фрида то и дело перешучивалась и пересмеивалась, своим назойливым присутствием мешали ему. Спору нет, они были нетребовательными, пристроились в уголочке на двух старых женских юбках. Как они все время говорили Фриде, для них это дело чести — не мешать господину землемеру и занимать как можно меньше места, поэтому они все время, правда с хихиканьем и сюсюканьем, пробовали пристроиться потеснее, сплетались руками и ногами, скорчившись так, что в сумерках в углу виднелся только один большой клубок. К сожалению, днем становилось ясно, что они весьма внимательные наблюдатели и все время следят за К., даже когда они, словно в детской игре, приставляли к глазам сложенный кулак в виде подозрительной трубы и выкидывали всякие другие штуки или, мельком поглядывая на К., занимались своими бородами — они, как видно, очень ими гордились и непрестанно сравнивали, чья длиннее и гуще, призывая Фриду в судьи.

К. поглядывал, лежа на кровати, на возню всех троих с полным равнодушием.

Теперь, когда он почувствовал себя окрепшим и решил встать с постели, все трое наперебой начали за ним ухаживать. Но он еще не

настолько окреп, чтобы сопротивляться их услугам. И хотя он понимал, что это ставит его в какую-то зависимость от них и может плохо кончиться, он ничего не мог поделать. Да и не так уж неприятно было пить вкусный кофе, принесенный Фридой, греться у печки, которую истопила Фрида, и посылать полных рвения помощников неуклюже бегать взад и вперед по лестнице за водой для умывания, за мылом, гребенкой и зеркалом и даже, поскольку К. об этом обмолвился, за рюмочкой рому.

И вот в то время, когда его обслуживали, а он командовал, К. вдруг сказал, больше от хорошего настроения, чем в надежде на успех:

— А теперь уходите-ка вы оба, мне пока ничего не нужно, и я хочу поговорить с фройляйн Фридой наедине. — И, увидев по их лицам, что они особенно сопротивляться не станут, добавил им в утешение: — А потом мы все втроем отправимся к старосте, подождите меня внизу.

К его удивлению, они послушались, уходя, сказали:

— Мы могли бы и здесь подождать, — на что К. ответил:

— Знаю, но не хочу.

К. не понравилось, но в каком-то смысле и обрадовало то, что Фрида, сразу после ухода помощников севшая к нему на колени, сказала:

— Милый, а почему ты так настроен против помощников? У нас не должно быть от них секретов, они люди верные.

— Ах, верные! — сказал К. — Да они же все время за мной подглядывают, это бессмысленно и гнусно.

— Кажется, я тебя понимаю, — сказала она и крепче обхватила его шею, хотела что-то сказать, но не смогла, и, так как стул стоял у самой кровати, они оба, покачнувшись, перекатились туда. Они лежали вместе, но уже не в той одержимости, что прошлой ночью. Чего-то искала она, и чего-то искал он, бешено, с искаженными лицами, вжимая головы в грудь друг друга, но их объятия, их вскидывающиеся тела не приносили им забвения, еще больше напоминая, что их долг — искать; и как собаки неистово роются в земле, так зарывались они в тела друг друга и беспомощно, разочарованно, чтобы извлечь хоть последний остаток радости, пробегали языками друг другу по лицу. Только усталость заставила их благодарно затихнуть. И тогда снова вошли служанки.

— Гляди, как они тут разлеглись! — сказала одна и прикрыла их из жалости платком.

Когда К. немного погодя высвободился из-под платка и оглянулся, его ничуть не удивило, что в своем углу уже сидели его помощники и, указывая пальцами на К., одергивая друг друга, салютовали ему; кроме того, у самой кровати сидела хозяйка и вязала чулок; эта мелкая работа никак не шла к ее необъятной фигуре, почти затемняющей свет в комнате.

— Я уже долго жду, — сказал она, подняв широкое, изрезанное многими старческими морщинами, но все же при всей массивности еще свежее и, вероятно, в прошлом красивое лицо. В ее словах звучал упрек, совершенно неуместный по той причине, что К. ее сюда вовсе и не звал. Он ответил на ее слова коротким кивком и поднялся с кровати. Встала и Фрида и, отойдя от К., прислонилась к стулу хозяйки.

— А нельзя ли, госпожа хозяйка, — рассеянно сказал К., — отложить наш разговор; подождите, пока я вернусь от старосты. Мне с ним надо обсудить важные дела.

— Это дело еще важнее, поверьте мне, господин землемер, — сказала хозяйка, — там дело касается работы, а тут — человека, Фриды, моей милой служаночки.

— Ах так, — сказал К. — Ну тогда, конечно. Только не понимаю, отчего бы не предоставить это дело нам с нею.

— Оттого, что я ее люблю, забочусь о ней, — сказала хозяйка и притянула к себе голову Фриды: та, стоя, доставала только до плеча сидящей хозяйки.

— Раз Фрида так вам доверяет, — сказал К., — то придется и мне. И так как Фрида только сейчас назвала моих помощников верными людьми, значит, мы тут все друзья. Так вот, хозяйка, должен вам сказать, что, по-моему, лучше всего нам с Фридой пожениться, причем как можно скорее. Жаль, очень жаль, что я никак не смогу возместить Фриде то, что она из-за меня потеряла, — и место в гостинице, и покровительство Кламма.

Фрида подняла голову, глаза у нее наполнились слезами, от победного выражения не осталось и следа.

— Почему я? Почему именно мне это выпало на долю?

— Что? — в один голос спросили К. и хозяйка.

— Растерялась бедная девочка, — сказала хозяйка, — растерялась, столько счастья и столько горя сразу!

И словно в подтверждение ее слов, Фрида бросилась на К., осыпая его безумными поцелуями, будто в комнате никого не было, и, прижимаясь к нему, разрыдалась и упала перед ним на колени. И в то время, как К. обеими руками гладил Фриду по голове, он спросил хозяйку:

— Вы, кажется, меня оправдываете?

— Вы честный человек, — сказала хозяйка, тоже со слезами в голосе; вид у нее был расстроенный, и она тяжело дышала, однако нашла в себе силы добавить: — Теперь надо только обдумать, какие гарантии вы должны дать Фриде, ведь, как бы я вас ни уважала, все-таки вы чужой человек, сослаться вам не на кого, ваше семейное положение нам неизвестно. Значит, дорогой мой господин землемер, вы должны понять, что гарантии необходимы, ведь вы сами подчеркнули, как много Фрида все же теряет от связи с вами.

— Разумеется, гарантии, конечно, — сказал К. — И вероятно, правильнее всего будет заверить их у нотариуса, впрочем, в это, быть может, вмешаются и другие учреждения графской службы. Однако мне необходимо до свадьбы закончить еще кое-какие дела. Мне надо переговорить с Кламмом.

— Это невозможно! — сказала Фрида, привставая и крепче прижимаясь к К. — Что за странная мысль!

— Нет, это необходимо, — сказал К., — и если я сам не смогу этого добиться, то тебе придется помочь.

— Не могу, К., не могу, — сказала Фрида, — никогда Кламм с тобой разговаривать не станет. И как ты только можешь подумать, что Кламм будет с тобой говорить!

— А с тобой он станет разговаривать? — спросил К.

— Тоже нет, — сказала Фрида, — ни со мной, ни с тобой. Это совершенно невозможно. — Она обернулась к хозяйке, разводя руками: — Подумайте, хозяйка, чего он требует.

— Станный вы человек, господин землемер, — сказала хозяйка, и страшно было смотреть, как она вдруг выпрямилась на стуле, расставив ноги, и мощные колени проступили сквозь тонкую юбку. — Вы требуете невозможного.

— А почему это невозможно? — спросил К.

— Сейчас я вам все объясню, — сказала хозяйка таким тоном, словно она не последнее одолжение делает человеку, а уже налагает на него первое взыскание. — Сейчас я вам с удовольствием все объ-

ясню. Конечно, я не имею отношения к Замку, я только женщина, только хозяйка этого захудалого двора — возможно, что он и не из самых захудалых, но недалеко ушел, — так что вы, может статься, моим словам никакого значения не придадите, но я всю жизнь смотрела в оба, со всякими людьми встречалась, всю тяжесть хозяйства вынесла на своих плечах — хоть муж у меня и славный малый, но хозяин он никуда не годный, и ему никак не понять, что такое ответственность. Вот вы, например, только благодаря его ротозейству — я в тот день устала до смерти — сидите у нас в Деревне, тут, на мягкой постели, в тепле и довольстве.

— Как это? — спросил К., очнувшись от некоторой рассеянности и волнуясь скорее от любопытства, чем от раздражения.

— Да, только благодаря его ротозейству! — снова повторила хозяйка, тыча в К. пальцем.

Фрида попыталась ее успокоить.

— Чего тебе? — сказала хозяйка, повернувшись к ней всем телом. — Господин землемер меня спросил, и я должна ему ответить. Иначе ему не понять то, что нам понятно само собой: господин Кламм никогда не будет с ним разговаривать, да что я говорю «не будет», — он не может с ним разговаривать. Слушайте, господин землемер! Господин Кламм — человек из Замка, и это уже само по себе, независимо от места, какое Кламм занимает, очень высокое звание. А что такое вы, от которого мы так униженно добиваемся согласия на брак? Вы не из Замка, вы не из Деревни. Вы ничто. Но, к несчастью, вы все же кто-то, вы чужой, вы всюду лишний, всюду мешаете, из-за вас у всех постоянные неприятности, из-за вас пришлось выселять служанок, нам ваши намерения неизвестны, вы соблазнили нашу дорогую крошку, нашу Фриду, — и теперь ей, к сожалению, придется выйти за вас замуж. Но я вовсе вас не упрекаю. Вы такой, какой вы есть; достаточно я в жизни всего насмотрелась, выдержу и это. А теперь представьте себе, чего вы, в сущности, требуете. Такой человек, как Кламм, — и вдруг должен с вами разговаривать! Мне и то больно было слышать, что Фрида разрешила вам подсмотреть в глазок, видно, раз она на это пошла, вы ее уже соблазнили. А вы мне скажите, как вы вообще выдержали вид Кламма? Можете не отвечать, знаю — прекрасно выдержали. А это потому, что вы и не можете видеть Кламма как следует, нет, я вовсе не преувеличиваю, я тоже не могу. Хотите, чтобы Кламм с вами разговаривал, — да он даже с местными людьми



из Деревни и то не разговаривает, никогда он сам еще не заговаривал ни с одним жителем Деревни. Для Фриды было большой честью — и я буду гордиться за нее до самой смерти, — что он окликал ее по имени и что она когда угодно могла к нему обращаться и даже получила разрешение пользоваться глазком, но разговаривать он с ней никогда не разговаривал. А то, что он иногда звал Фриду, вовсе не имеет того значения, какое люди хотели бы этому придать, просто он окликал ее: «Фрида», а зачем — кто его знает? И то, что Фрида тут же к нему бежала, — это ее дело; а то, что ее к нему допускали без возражений, — это уж добрая воля господина Кламма, никак нельзя утверждать, что он звал ее к себе. Правда, теперь и то, что было, кончено навсегда. Может случиться, что Кламм когда-нибудь и скажет: «Фрида!» Это возможно, но уж пустить ее, девчонку, которая с вами путается, к нему никто не пустит. И только одно, только одно не понять бедной моей голове — как девушка, о которой говорили, что она любовница Кламма — хотя я считаю, что это сильно преувеличено, — как она позволила вам дотронуться до себя?

— Да, удивительное дело, — сказал К. и посадил Фриду к себе на колени, чему она не сопротивлялась, хотя и опустила голову, — но это, по-моему, только доказывает, что все обстоит совсем не так, как вы себе представляете. С одной стороны, вы, конечно, правы, утверждая, будто я перед Кламмом ничто; но если я теперь и требую разговора с Кламмом и даже все ваши объяснения меня не отпугивают, то этим еще не сказано, что я смогу выдержать вид Кламма, когда между нами не будет двери, вполне возможно, что при одном его появлении я выскочу из комнаты. Но такие, хотя и вполне оправданные, опасения — еще не основание для отказа от попытки добиться своего. И если мне удастся не оробеть перед ним, тогда вовсе не надо, чтобы он со мной разговаривал, достаточно будет и того, что я увижу, какое впечатление на него произведут мои слова, а если никакого или он меня совсем не станет слушать, так я, по крайней мере, выиграю одно — то, что я без стеснения, свободно высказался перед одним из сильных мира сего. А вы, хозяйка, при вашем большом знании людей, при вашем жизненном опыте, и Фрида, которая еще вчера была любовницей Кламма — я не вижу никаких оснований избегать этого слова, — вы обе, несомненно, можете легко найти для меня возможность встретиться с Кламмом, и если никак нельзя иначе, то надо пойти в гостиницу: может быть, он и сейчас еще там.

— Нет, это невозможно, — сказала хозяйка, — вижу, что вам просто соображения не хватает, никак не можете понять. Вы хоть скажите: о чем вы собираетесь говорить с Кламмом?

— О Фриде, конечно, — сказал К.

— О Фриде? — непонимающе повторила хозяйка и обратилась к Фриде: — Ты слышишь, Фрида? Он хочет о тебе говорить с Кламмом? С самим Кламмом?

— Ах, — сказал К., — вы такая умная, достойная уважения женщина, и вдруг вас пугает всякий пустяк. Ну да, я хочу поговорить с ним о Фриде, и ничего в этом чудовищного нет, наоборот, это само собой разумеется. Ведь вы и тут ошибаетесь, думая, что Фрида, с тех пор как я появился, потеряла для Кламма всякий интерес. Думать так — значит недооценивать его. Я отлично знаю, что с моей стороны большая дерзость — поучать вас, но все же приходится. Из-за меня отношения Кламма с Фридой никак измениться не могут. Либо между ними вообще никаких близких отношений не было — так, в сущности, считают те, которые отнимают у Фриды право на звание любовницы Кламма, — тогда и сейчас никаких отношений нет, или же, если такие отношения существовали, то можно ли думать, что из-за меня, из-за такого, как вы правильно выразились, ничтожества в глазах Кламма, они могли нарушиться? Только с перепугу, в первую минуту в это можно поверить, но стоит только поразмыслить, и все становится на место. Впрочем, дадим и Фриде высказать свое мнение.

Задумчиво глядя вдаль и прижавшись щекой к груди К., Фрида сказала:

— Матушка, конечно, во всем права. Кламм обо мне больше и знать не желает. Но вовсе не из-за тебя, миленький мой, — такие вещи на него не действуют. Мне даже кажется, что только благодаря ему мы с тобой нашли друг друга, тогда, под стойкой, и я не проклинаю, а благословляю этот час.

— Ну если так, — медленно проговорил К. (ему сладко было слушать эти слова, и он даже прикрыл глаза, чтобы они проникли в самую душу), — ну если так, значит, тем меньше у меня оснований бояться разговора с Кламмом.

— Ей-богу, — сказала хозяйка и посмотрела на К. сверху вниз, — иногда вы напоминаете моего мужа — такое же упрямство, такое же ребячество. Вы тут всего несколько суток, а уже хотите все знать луч-

ше нас, местных, лучше меня, старой женщины, лучше Фриды, которая столько видела и слышала там, в гостинице. Не отрицаю, может быть, иногда и можно чего-то добиться, несмотря на все законы, на все старые обычаи; сама я никогда в жизни такого не видела, но говорят, есть примеры, всякое бывает; но уж, конечно, добиваться этого надо не так, как вы, не тем, чтобы все время только и твердить: «Нет, нет, нет!» — только и пытаться жить своим умом и никаких добрых советов не слушать. Думаете, я о вас забочусь! Разве мне было до вас дело, когда вы были один? Кстати, лучше бы я тогда вмешалась, может быть, многого можно было бы избежать. Одно только я уже тогда сказала про вас своему мужу: «Держись от него подальше!» Я бы и сама вас избегала, если бы вы не связали судьбу Фриды со своей судьбой. Только ей вы должны быть благодарны — хотите или не хотите — за мою заботу, даже за мое уважение к вам. И вы не имеете права так просто отстранять меня, потому что передо мной, перед единственным человеком, который по-матерински заботится о маленькой Фриде, вы несете самую серьезную ответственность. Возможно, что Фрида права и что все совершилось по воле Кламма, но о Кламме я сейчас ничего не знаю, никогда мне с ним говорить не придется, это для меня совершенно недоступно. А вы сидите тут, обнимаете мою Фриду, а вас самих — зачем скрывать? — держу тут я. Да, я вас держу, попробовали бы вы, молодой человек, если я вас выставлю из своего дома, найти пристанище где-нибудь в Деревне хоть в собачьей будке.

— Спасибо, — сказал К. — Вы очень откровенны, и я верю каждому вашему слову. Значит, вот до чего непрочное у меня положение, и, значит, положение Фриды тоже.

— Нет! — сердито закричала на него хозяйка. — У Фриды совсем другое положение, ничего общего с вами тут у нее нет. Фрида — член моей семьи, и никто не смеет называть ее положение непрочным.

— Хорошо, хорошо, — сказал К. — Пусть вы и тут правы, особенно потому, что Фрида по неизвестной мне причине слишком вас боится и вмешиваться не хочет. Давайте поговорим только обо мне. Мое положение чрезвычайно непрочно, этого вы не отрицаете, наоборот, всячески стараетесь доказать. Вы и тут, как и во всем, что вы сказали, по большей части правы, однако с оговорками. Например, я знаю место, где я мог бы отлично переночевать.

— Где это? Где? — в один голос закричали Фрида и хозяйка с таким пылом, словно у обеих была одинаковая причина для любопытства.

— У Варнавы! — сказал К.

— У этих нищих! — крикнула хозяйка. — У этих опозоренных нищих! У Варнавы! Вы слышали? — И она обернулась к углу, но помощники уже вылезли оттуда и, обнявшись, стояли за хозяйкой, и та, словно ища поддержки, схватила одного из них за руку. — Слышали, с кем водится этот господин? С семьей Варнавы! Ну конечно, там ему устроят ночевку, ах да лучше бы он там ночевал, чем в гостинице! А вы-то где были?

— Хозяйка, — сказал К., не дав помощникам ответить, — это мои помощники, а вы с ними обращаетесь, будто они вам помощники, а мне сторожа. В остальном я готов самым вежливым образом обсудить все ваши мнения, но это никак не касается моих помощников, тут все слишком ясно. Поэтому попрошу вас с моими помощниками не разговаривать, а если моей просьбы мало, то я запрещаю моим помощникам отвечать вам.

— Значит, мне с вами нельзя разговаривать! — сказала хозяйка, обращаясь к помощникам, и все трое засмеялись: хозяйка — ехидно, но гораздо снисходительней, чем мог ожидать К., а помощники — с обычным своим выражением, которое было и многозначительным, и вместе с тем ничего не значащим и показывало, что они снимают с себя всякую ответственность.

— Только не сердись, — сказала Фрида, — и пойми правильно, почему мы так взволнованы. Если угодно, мы с тобой только благодаря Варнаве и нашли друг друга. Когда я тебя первый раз увидела в буфете — ты вошел под ручку с Ольгой, — то хотя я кое-что о тебе уже знала, но ты мне был совершенно безразличен. Вернее, не только ты мне был совершенно безразличен, почти все, да все на свете мне было безразлично. Правда, я и тогда многим была недовольна, многое вызывало злобу, но какое же это было недовольство, какая злоба! Например, меня мог обидеть какой-нибудь посетитель в буфете — они вечно ко мне приставали, ты сам видел этих парней, но приходили и похуже. Кламмовы слуги были не самые плохие, ну и обижал меня кто-нибудь, а мне-то что? Мне казалось, что это случилось сто лет назад, или случилось вовсе не со мной, а кто-то мне об этом рассказывал, или я сама уже все позабыла. Нет, не могу описать, даже не могу сейчас представить себе, как оно было, — настолько все переменилось с тех пор, как Кламм меня бросил.

Тут Фрида оборвала свой рассказ, печально склонила голову и сложила руки на коленях.

— Вот видите, — сказала хозяйка с таким выражением, будто говорит не от себя, а подает голос вместо Фриды; она пододвинулась поближе и села вплотную к Фриде. — Вот видите, господин землемер, к чему привели ваши поступки, и пусть ваши помощники — ведь мне не разрешается с ними разговаривать, — пусть и для них это будет наукой! Фрида была счастлива, как никогда в жизни, и вы ее вырвали из этого состояния, но вам это удалось только потому, что Фрида по-детски все преувеличила и пожалела вас — ей было невыносимо видеть, как вы вцепились в руку Ольги и, значит, попали в лапы к семье Варнавы. Вас она спасла, а собой пожертвовала. А теперь, когда так случилось и Фрида отдала все, что у нее было, за счастье сидеть у вас на коленях, теперь вы вдруг выкладываете как самый ваш главный козырь, что у вас, мол, была возможность переночевать у Варнавы! Видно, хотите показать, что вы от меня не зависите? Конечно, если бы вы и впрямь переночевали у Варнавы, так, уж наверно, перестали бы от меня зависеть — я бы вас вмиг, немедленно выставляла из моего дома.

— Никаких грехов я за семьей Варнавы не знаю, — сказал К. и, осторожно подняв Фриду, которая сидела как неживая, медленно усадил ее на кровать, а сам встал. — Может быть, тут вы и правы, но и я, безусловно, был прав, когда я просил вас предоставить нам с Фридой самим решать свои дела. Вы тут что-то упоминали о любви и заботе, но я-то их не заметил, больше тут было высказано ненависти, и насмешки, и угроз выставить меня из дому. Если вы задумали отпугнуть Фриду от меня или меня от Фриды, то вы ловко за это взялись, но думаю, что это вам не удастся, а если бы и удалось, то — разрешите и мне на этот раз, хоть и туманно, пригрозить вам — вы в этом горько раскаетесь. Что касается квартиры, которую вы мне предоставили, — ведь речь может идти только об этой отвратительной конуре? — то ничем не доказано, что вы это сделали по собственной воле, должно быть, вам были даны указания от графской канцелярии. Я туда и доложу, что вы мне отказали, а если мне укажут другое жилье, вы, наверно, вздохнете с большим облегчением, но я вздохну еще глубже. А теперь я отправляюсь к сельскому старосте — и по этому делу, и по другим делам; а вы, пожалуйста, хотя бы позаботьтесь о

Фриде — смотрите, в какое состояние ее привели ваши, так сказать, материнские речи!

И он повернулся к помощникам.

— Пошли! — сказал он, снял письмо Кламма с гвоздика и двинулся к выходу.

Хозяйка смотрела на него молча и только, когда он уже взялся за дверную ручку, сказала:

— Господин землемер, хочу еще дать вам совет на дорогу, потому что, какие бы речи вы ни вели, как бы вы меня, старую женщину, ни обижали, вы все же будущий муж Фриды. Только потому я и говорю вам: вы находитесь в ужасающем неведении насчет наших здешних дел, просто голова кружится, когда вас слушаешь, когда мысленно сравниваешь ваши слова и ваши утверждения с истинным положением вещей. Сразу ваше непонимание не исправишь, а может, и вообще тут ничего не сделаешь, но будет лучше во многих отношениях, если вы хоть немного доверитесь мне и будете знать, что вы ничего не знаете. Тогда вы, к примеру, станете гораздо справедливее ко мне и хоть немного поймете, какой страх мне пришлось пережить — я до сих пор от него не избавлюсь, — когда я узнала, что моя милая крошка оставила, можно сказать, орла и связалась со слепым кротом, причем ведь на самом деле все обстоит куда хуже, я только стараюсь об этом забыть, не то я не могла бы вымолвить ни слова. Ну вот вы опять сердитесь. Нет, не уходите, выслушайте хоть эту просьбу: куда бы вы ни пришли, помните, что вы тут самый несведущий человек, и будьте осторожны: тут, у нас, где вас защищает от беды присутствие Фриды, можете болтать сколько вашей душе угодно, например, здесь можете изображать перед нами, как вы собираетесь разговаривать с Кламмом, но на самом деле, на самом деле — очень, очень вас прошу — не делайте этого!

Она встала и, споткнувшись от волнения, подошла к К., схватила его за руку и умоляюще посмотрела на него.

— Хозяйка, — сказал К., — не понимаю, почему из-за такого дела вы унижаетесь, просите меня. Если, как вы говорите, мне с Кламмом поговорить невозможно, значит, я этого и не добьюсь, просите меня или не просите. Но если это все же возможно, почему бы и не воспользоваться такой возможностью, тем более что тогда отпадут все ваши основные возражения и всякие ваши страхи будут малообоснованны. Да, конечно, я нахожусь в неведении, это правда, и для

меня это очень печально, но есть тут и то преимущество, что человек в своем неведении действует смелей, а потому я охотно останусь при своем неведении и, пока есть силы, готов даже нести все дурные последствия, а их, наверно, не избежать. Но ведь эти последствия в основном коснутся только меня, вот почему мне особенно непонятны все ваши просьбы. О Фриде вы, несомненно, позаботитесь, а если я совсем исчезну из ее жизни, то, с вашей точки зрения, это для нее будет просто счастьем. Чего же вы тогда боитесь? Уж не боитесь ли вы, — К. открыл двери, — а при моей неосведомленности все кажется возможным, — уж не боитесь ли вы за Кламма? — Он торопливо сбежал по лестнице, за ним его помощники; хозяйка молча посмотрела ему вслед.

## *Глава пятая* У старосты

**К**его собственному удивлению, предстоящий разговор со старостой мало беспокоил К. Он это объяснял себе тем, что до сих пор, как показал опыт, деловые отношения с графской администрацией складывались для него совсем просто. Происходило это оттого, что, по-видимому, в отношении него была издана определенная, чрезвычайно для него выгодная инструкция, а с другой стороны, все инстанции были удивительным образом связаны в одно целое, причем это особенно четко ощущалось там, где на первый взгляд такой связи не существовало. Думая об этом, К. был готов считать свое положение вполне удовлетворительным, хотя при таких вспышках благодушия он спешил себе сказать, что в этом-то и таится главная опасность.

Прямой контакт с властями был не так затруднен, потому что эти власти, при всей их превосходной организации, защищали от имени далеких и невидимых господ далекие и невидимые дела, между тем как сам К. боролся за нечто живое — за самого себя, притом, пусть только в первое время, боролся по своей воле, сам шел на приступ; и не только он боролся за себя, за него боролись и другие силы — он их не знал; но по мероприятиям властей мог предположить, что они существуют. Однако тем, что власти до сих пор охотно шли ему на-

встречу — правда, в мелочах, о крупных вещах до сих пор речи не было, — они отнимали у него возможность легких побед, а одновременно и законное удовлетворение этими победами с вытекающей отсюда вполне обоснованной уверенностью, необходимой для дальнейших, уже более серьезных боев. Вместо этого власти пропускали К. всюду, куда он хотел, — правда, только в пределах Деревни, — и этим размагничивали и ослабляли его: уклоняясь от борьбы, они вместо того включали его во внеслужебную, совершенно непонятную, унылую и чуждую ему жизнь. И если К. не будет все время на чеку, то может случиться, что в один прекрасный день, несмотря на предупредительность местных властей, несмотря на добросовестное выполнение всех своих до смешного легких служебных обязанностей, обманутый той внешней благосклонностью, которую к нему проявляют, К. станет вести себя в остальной своей жизни столь неосторожно, что на чем-нибудь непременно споткнется, и тогда власти, по-прежнему любезно и мягко, как будто не по своей воле, а во имя какого-то незнакомого ему, но всем известного закона должны будут вмешаться и убрать его с дороги. А в чем, в сущности, состояла его «остальная» жизнь здесь? Нигде еще К. не видел такого переплетения служебной и личной жизни, как тут, — они до того переплетались, что иногда могло показаться, что служба и личная жизнь поменялись местами. Что значила, например, чисто формальная власть, которую проявлял Кламм в отношении служебных дел К., по сравнению с той реальной властью, какой Кламм обладал в спальне К.? Вот и выходило так, что более легкомысленное поведение, большая непринужденность были уместны только при непосредственном соприкосновении с властями, а в остальном нужно было постоянно проявлять крайнюю осторожность, с оглядкой во все стороны, на каждом шагу.

Встреча со старостой вскоре вполне подтвердила, что К. правильно представил себе здешние порядки. Староста, приветливый, гладковыбритый толстяк, болел — у него был тяжелый подагрический припадок — и принял К., лежа в постели.

— Так вот, значит, наш господин землемер, — сказал он, попробовал приподняться, чтобы с ним поздороваться, но не смог и снова опустился на подушку, виновато показывая на свои ноги. Тихая женщина, больше похожая на тень в сумеречном освещении от крохотных окон, к тому же затемненных занавесками, принесла для К. стул



и поставила его у самой постели. — Садитесь, садитесь, господин землемер, — сказал староста, — и скажите мне, какие у вас будут пожелания?

К. прочел ему письмо Кламма и добавил от себя кое-какие замечания. И снова у него появилось ощущение необыкновенной легкости общения с местной властью. Они буквально брали на себя все трудности, им можно было поручить что угодно, а самому остаться ни к чему не причастным и свободным. Староста как будто почувствовал в нем это настроение и беспокойно завертелся на кровати. Наконец он сказал:

— Я, господин землемер, как вы, вероятно, заметили, уже давно обо всем знаю. Виной тому, что я сам ничего еще не сделал, во-первых, моя болезнь, и потом, вы так долго не приходили, что я уже подумал: не отказались ли вы от этого дела? Но теперь, когда вы так любезно сами пришли ко мне, я должен сказать вам всю правду, и довольно неприятную. По вашим словам, вас приняли как землемера, но, к сожалению, нам землемер не нужен. Для землемера у нас нет никакой, даже самой мелкой работы. Границы наших маленьких хозяйств установлены, все аккуратно размежевано. Из рук в руки имущество переходит очень редко, а небольшие споры из-за земли мы улаживаем сами. Зачем нам тогда землемер?

В глубине души К., правда, того не ведая, уже был готов к такому сообщению. Поэтому он сразу и сказал:

— Это для меня полная неожиданность. Значит, все мои расчеты рухнут? Могу лишь надеяться, что тут произошло какое-то недоразумение.

— К сожалению, нет, — сказал староста, — все обстоит именно так, как я сказал.

— Но как же можно! — крикнул К. — Неужели я проделал весь этот долгий путь, чтобы меня отправили обратно?

— Это уже другой вопрос, — сказал староста, — не мне его решать. Но объяснить вам, как произошло недоразумение, — это я могу. В таком огромном учреждении, как графская канцелярия, может всегда случиться, что один отдел даст одно распоряжение, другой — другое. Друг о друге они ничего не знают, и хотя контрольная инстанция действует безошибочно, но в силу своей природы она всегда опаздывает, потому и могут возникнуть всякие незначительные недоразумения. Правда, обычно это сущие пустяки, мелочи вроде вашего

дела. Я еще никогда не слышал, чтобы делали ошибки в серьезных вещах, но, конечно, все эти мелочи — тоже штука неприятная. Что же касается вашего случая, то я не стану делать из него служебную тайну — я ведь совсем не чиновник, я крестьянин и крестьянином останусь, и я вам откровенно расскажу, как все вышло. Давным-давно — прошло всего несколько месяцев, как я вступил в должность старосты, — я получил распоряжение, уж не помню из какого отдела, где в самом категорическом тоне — эти господа иначе не умеют — было сказано, что в скором времени будет вызван землемер и что нашей общине поручается подготовить все необходимые для его работы планы и чертежи. Конечно, это распоряжение не могло вас касаться, это было много лет тому назад, да я сам и не вспомнил бы о нем, не будь я болен, — а когда лежишь в постели, времени много, тут всякая чепуха в голову лезет... Мицци! — перебивая себя, позвал он жену, которая в непонятной суете шмыгала по комнате. — Посмотри, пожалуйста, в том шкафу, может, найдешь распоряжение. — И, обращаясь к К., он объяснил: — Я тогда только начинал служить и сохранял каждую бумажку.

Жена тут же открыла шкаф. К. и староста взглянули туда. В шкафу было полно бумаг. При открывании оттуда вывалились две огромные кипы документов, перевязанных веревкой, как обычно перевязывают пучки хвороста, и женщина испуганно отскочила.

— Да они же внизу, посмотри внизу, — распорядился староста с постели. Обхватывая кипы обеими руками, жена стала послушно выбрасывать их из шкафа, чтобы добраться до нужных документов. Уже полкомнаты было завалено бумагами. — Да, — сказал староста, качая головой, — огромная работа проделана, тут только самая малость, главное спрятано у меня в амбаре, впрочем, большая часть бумаг давно затерялась. Разве возможно все сохранить! Но в амбаре всего еще много. Ну как, нашла распоряжение? — спросил он у жены. — Ты поищи папку, на которой слово «землемер» подчеркнуто синим карандашом.

— Темно тут, — сказала жена. — Пойду принесу свечку. — И, топчась бумаги, она вышла из комнаты.

— Жена мне большое подспорье во всей этой канцелярщине, — сказал староста, — работа трудная, а делать ее приходится только подходя. Правда, для писания у меня еще есть помощник, наш учитель, но все равно справиться трудно, вон сколько нерешенных дел, я их

складываю в тот ящик, — и он показал на второй шкаф, — а уж теперь, когда я болен, нас просто завалило. — И он утомленно, хотя и гордо, откинулся на подушки.

— Может быть, я могу помочь вашей жене искать? — спросил К., когда та вернулась со свечой и, встав на колени, начала искать документ.

Староста с улыбкой покачал головой:

— Я вам уже сказал, что служебных тайн у меня от вас нету, но допустить вас самих рыться в бумагах я все же не могу.

В комнате наступила тишина, слышен был только шорох бумаг, староста даже немного задремал. Негромкий стук в дверь заставил К. обернуться. Конечно, это пришли его помощники. Видно, что их уже немного удалось воспитать, они не ворвались в комнату и только прошептали в приотворенную дверь: «Мы совсем на улице замерзли».

— Кто там? — вздрогнул староста.

— Да это мои помощники, — сказал К., — не знаю, где бы им подождать меня, на улице слишком холодно, а тут они будут в тягость.

— Мне они не помешают, — любезно сказал староста. — Впусти-те их сюда. Ведь я их знаю. Старые знакомые.

— Они мне в тягость, — откровенно сказал К. и, переводя взгляд с помощников на старосту, а потом снова на помощников, увидел, что все трое улыбаются совершенно одинаковой улыбкой. — Ладно, раз вы уже тут, — сказал он, словно решившись, — оставайтесь и помогите-ка супруге старосты отыскать документ, на котором синим карандашом подчеркнуто слово «землемер».

Староста не возражал. Значит, то, что не разрешалось К., разрешалось его помощникам, и они сразу набросились на бумаги, но больше расшвыривали документы, чем искали, и, пока один по буквам разбирали надпись, второй уже выхватывал папку у него из рук. А жена старосты только стояла на коленях перед пустым ящиком, она как будто совсем перестала искать, во всяком случае, свеча была от нее очень далеко.

— Да, помощники, — сказал староста, самодовольно улыбаясь, как будто все делается по его распоряжению, только никто об этом даже не подозревает. — Значит, они вам в тягость, но ведь это ваши собственные помощники.

— Совсе нет, — холодно сказал К. — Они тут ко мне прибудились.

— То есть как это «приблудились»? — сказал староста. — Вы хотите сказать, они к вам были прикреплены?

— Ладно, пускай прикреплены, — сказал К., — но только с таким же успехом они могли свалиться с неба, настолько необдуманно их ко мне прикрепили.

— Необдуманно у нас ничего не делается, — сказал староста и, позабыв о больной ноге, сел и выпрямился.

— Ничего? — сказал К. — А как же мой вызов?

— И ваш вызов был, наверно, обдуман, — сказал староста, — только всякие побочные обстоятельства запутали дело, я вам это докажу с документами в руках.

— Да эти документы никогда не найдутся! — сказал К.

— Как не найдутся? — крикнул староста. — Мицци, пожалуйста, ищи поскорей! Впрочем, я могу рассказать вам всю историю и без бумаг. На распоряжение, о котором я вам говорил, мы с благодарностью ответили, что никакой землемер нам не нужен. Но этот ответ, как видно, вернулся не в тот же отдел — назовем его отдел А, а по ошибке попал в отдел Б. Отдел А, значит, остался без ответа, да и отдел Б, к сожалению, получил не весь наш ответ целиком: то ли бумаги из пакета остались у нас, то ли потерялись по дороге — но, во всяком случае, не у них в отделе, за это я ручаюсь, — словом, и в отдел Б попала только обложка. На ней было отмечено, что в прилагаемом документе — к сожалению, там его не было — речь идет о назначении землемера. Тем временем отдел А ждал нашего ответа, и хотя у них была заметка по этому вопросу, но, как это часто случается при самом точном ведении дел — вещь вполне понятная и даже неизбежная, — их референт положился на то, что мы им ответим, и тогда он либо вызовет землемера, либо, если возникнет необходимость, напишет нам снова. Поэтому он пренебрег всеми предварительными записями и позабыл об этом деле. Однако пакет без документов попал в отдел Б к референту, который славился своей добросовестностью, — его зовут Сордини, он итальянец, и даже мне, человеку посвященному, непонятно, почему он, с его способностями, до сих пор занимает такое незначительное место. Но прошло уже несколько месяцев, если не лет, с тех пор как отдел А впервые написал нам, и это понятно: ведь если бумага, как полагается, идет правильным путем, то она попадает в свой отдел самое позднее через день и в тот же день ей дается ход; но ежели она как-то пойдет не тем путем — а при такой отличной по-

становке дела, как в нашей организации, нужно чуть ли не нарочно искать не тот путь, — ну тогда, тогда, конечно, все идет очень долго. И когда мы получили запрос от Сордини, мы лишь смутно помнили, в чем дело, работали мы тогда только вдвоем с Мицци, учителя мне еще в помощники не назначили, копии мы хранили исключительно в самых важных случаях, — словом, мы могли дать только очень неопределенный ответ, что о таком предписании мы ничего не знаем и нужды в землемере не испытываем.

— Однако, — прервал себя староста, словно, увлекшись рассказом, он уже зашел слишком далеко или это вот-вот произойдет, — вам не скучно слушать эту историю?

— Нет, — сказал К., — мне очень занятно.

Староста сразу возразил:

— Я вам не для занятости рассказываю.

— Мне только потому занятно, — объяснил К., — что я смог заглянуть в эту дурацкую путаницу, от которой, при некоторых условиях, зависит жизнь человека.

— Никуда вы еще не заглянули, — сказал староста, — и я могу вам рассказать, что было дальше. Конечно, наш ответ не удовлетворил такого человека, как Сордини. Я перед ним преклоняюсь, хотя он меня и замучил. Дело в том, что он никому не доверяет: даже если он, к примеру, тысячу раз мог убедиться, что человек заслуживает полного доверия, он в тысячу первый раз опять отнесется к нему с таким недоверием, будто совсем его не знает, вернее, точно знает, что перед ним прохвост. Я-то считаю это правильным, чиновник так и должен себя вести; к сожалению, я сам, по своему характеру, не могу следовать его примеру. Сами видите, как я вам, чужому человеку, все выкладываю, но иначе не могу. А у Сордини по поводу нашего ответа сразу возникли подозрения. И началась долгая переписка. Сордини запросил, почему это мне вдруг пришло в голову сообщить, что не надо вызывать землемера. Я ему ответил — и тут мне помогла отличная память Мицци, — что первой подняла этот вопрос канцелярия (то, что мы получили тогда запрос из другого отдела, мы, конечно, совсем забыли); тогда Сордини поставил вопрос: почему и только сейчас упомянул о том первом запросе из канцелярии? А я ему: потому что только сейчас о нем вспомнил; Сордини: это чрезвычайно странно; а я: вовсе это не странно в таком затянувшемся деле; Сордини: все же это странно, потому что запрос, о котором я упоминаю,

вообще не существует; я: конечно, не существует, потому что документ утерян; Сордини: но должна же существовать какая-то отметка о том, что такой запрос был послан, а ее нигде нет. И тут я опешил, потому что я не осмеливался ни утверждать, ни даже предполагать, что в отделе Сордини произошла ошибка. Может быть, вы, господин землемер, мысленно упрекаете Сордини за то, что он мог бы из внимания к моим утверждениям хотя бы справиться в других отделах об этом запросе. Но как раз это было бы неправильно, и я не хочу, чтобы вы, хотя бы мысленно, очернили имя этого человека. Вся работа главной канцелярии построена так, что возможность ошибок вообще исключена. Этот порядок обеспечивается превосходной организацией службы в целом, и он необходим для наибольшей скорости исполнения. Поэтому Сордини не мог наводить справки в других отделах; впрочем, они не стали бы ему отвечать, потому что там сразу поняли бы, что дело идет о поисках возможной ошибки.

— Разрешите, господин староста, перебить вас вопросом, — сказал К., — кажется, вы раньше упомянули о каком-то отделе контроля? Хозяйство тут, как видно, такое, что при одной только мысли, что контроль отсутствует, человеку становится жутко.

— Вы очень строги, — сказал староста, — но будь вы в тысячу раз строже, и то вам не сравняться с той строгостью, с какой само управление относится к себе. Только совсем чужой человек может задать такой вопрос. Существует ли отдел контроля? Да тут повсюду одни отделы контроля. Правда, они не для того предназначены, чтобы обнаруживать ошибки в грубом смысле этого слова, потому что ошибок тут не бывает, а если и бывает, как в вашем случае, то кто может окончательно сказать, что это — ошибка?

— Ну это что-то совсем новое! — воскликнул К.

— А для меня совсем старое! — сказал староста. — Я не меньше, чем вы, убежден, что произошла ошибка, и Сордини из-за этого заболел от отчаяния, и первые контрольные инстанции, которым мы обязаны тем, что они обнаружили источник ошибки, тоже признали, что ошибка есть. Но кто может ручаться, что и вторая контрольная инстанция будет судить так же, а за ней третья и все последующие?

— Все возможно, — сказал К., — в эти рассуждения мне лучше не вдаваться, да и, кстати, о контрольных отделах я слышу впервые и, конечно, понять их еще не могу. Но, по-моему, тут надо разграничить две стороны дела: с одной стороны, то, что происходит внутри отде-

лов и что они могут официально толковать так или иначе, а с другой стороны, существует живой человек — я, который стоит вне всех этих служб и которому со стороны именно этих служб угрожает решение настолько бессмысленное, что я еще никак не могу всерьез поверить в эту угрозу. С первой стороной вопроса дело, очевидно, и обстоит так, как вы, господин староста, сейчас изложили с поразительным и необычайным знанием дела, но теперь я хотел бы услышать хоть слово о себе.

— И до этого дойду, — сказал староста, — но вам ничего не понять, если я предварительно не объясню еще кое-что. Я слишком преждевременно заговорил об отделах контроля. Вернемся к переписке с Сордини. Постепенно, как я вам уже говорил, я стал противиться ему все меньше и меньше. Но когда в руках у Сордини есть хоть малейшее преимущество перед кем-то, он уже победил; тут еще больше повышается его внимание, энергия, присутствие духа, и это зрелище приводит противников в трепет, а врагов этих противников — в восторг. И со мной иногда так бывало, потому я имею право говорить об этом. Вообще-то мне еще ни разу не удавалось видеть его в глаза, он сюда спускаться не может — слишком загружен работой; мне рассказывали, что в его кабинете даже стен не видно — везде громоздятся огромные груды папок с делами, и только с теми делами, которые сейчас в работе у Сордини, а так как все время оттуда то вытаскивают папки, то их туда подкладывают, и притом все делается в страшной спешке, эти груды все время обрушиваются, поэтому непрерывный грохот отличает кабинет Сордини от всех других. Да, Сордини работает по-настоящему, он и самым мелким делам уделяет столько же внимания, как и самым крупным.

— Вот вы, господин староста, все время называете мое дело мелким, — сказал К., — а ведь оно занимало время у многих чиновников, и если даже в той груде дел оно и было совсем мелким, так от усердия чиновников вроде господина Сордини оно уже давно переросло в большое дело. К сожалению, это так, причем совершенно против моей воли, — честолюбие мое не в том, чтобы ради меня вырастали и рушились огромные груды папок с моим делом, а в том, чтобы мне дали спокойно заниматься своей мелкой землемерной работой за маленьким чертежным столиком.

— Нет, — сказал староста, — ваше дело не из больших. В этом отношении вам жаловаться нечего, оно одно из самых мельчайших

среди других мелких дел. Объем работы вовсе не определяет степень важности дела. У вас нет даже отдаленного представления о нашей администрации, раз вы так думаете. Но если бы суть была и в объеме работы, то ваше дело все равно оказалось бы одним из самых незначительных, обычные дела, то есть те, в которых нет так называемых ошибок, требуют еще более усиленной, но, конечно, и более плодотворной работы. Кроме того, вы ведь еще ничего не знаете о той настоящей работе, которую пришлось из-за вас проделать, об этом я и хочу вам сейчас рассказать. Сначала Сордини меня ни во что не втягивал, но приходили его чиновники, каждый день в гостинице шли допросы самых видных жителей Деревни, велись протоколы. Большинство из жителей стояло за меня, кое-кто упирался; для каждого крестьянина измерение наделов — дело кровное, ему сразу чудятся какие-то тайные сговоры и несправедливости, а тут у них еще нашелся вожак, и у Сордини, по их высказываниям, должно было сложиться впечатление, что если бы я поставил этот вопрос перед представителями общины, то вовсе не все были бы против вызова землемера. Поэтому соображение, что землемер нам не нужен, все время как-то ставилось под вопрос. Особенно тут выделился некий Брунsvик — вы, должно быть, его не знаете, — человек он, может быть, и неплохой, но дурак и фантазер, он зять Лаземана.

— Кожевника? — спросил К. и описал бородача, которого видел у Лаземана.

— Да, это он, — сказал староста.

— Я и жену его знаю, — сказал К. скорее наугад.

— Возможно, — сказал староста и замолчал.

— Красивая женщина, — сказал К., — правда, бледновата, вид болезненный. Она, вероятно, из Замка! — полувопросительно добавил он.

Староста взглянул на часы, налил в ложку лекарства и торопливо проглотил.

— Вы, наверно, в Замке только и знаете что устройство канцелярий? — резко спросил К.

— Да, — сказал староста с иронической и все же благодушной усмешкой. — Это ведь самое важное. Теперь еще о Брунsvике: если бы мы могли исключить его из нашей общины, почти все наши были бы счастливы, и Лаземан не меньше других. Но в то время Брунsvик



пользовался каким-то влиянием, он хотя и не оратор, но зато крикун, а многим и этого достаточно. Вот и вышло так, что я был вынужден поставить вопрос перед советом общины — единственное, чего добился Брунsvик, потому что, как и следовало ожидать, большинство членов совета и слышать не хотели о каком-то землемере. И хотя все это было много лет назад, дело никак не могло прекратиться — отчасти из-за добросовестности Сордини, который самыми тщательными расследованиями старался выяснить, на чем основано мнение не только большинства, но и оппозиции, отчасти же из-за глупости и тщеславия Брунsvика, лично связанного со многими чиновниками, которых он все время беспокоил своими выдумками и фантазиями. Правда, Сордини не давал Брунsvику обмануть себя, да и как мог Брунsvик обмануть Сордини? Но именно во избежание обмана нужны были новые расследования, и не успевали их закончить, как Брунsvик опять выдумывал что-нибудь новое, он легок на подъем, при его глупости это неудивительно. А теперь я коснусь одной особенности нашего служебного аппарата. Насколько он точен, настолько же и чувствителен. Если какой-нибудь вопрос рассматривается слишком долго, может случиться, что еще до окончательного рассмотрения, вдруг, молниеносно, в какой-то непредвиденной инстанции — ее потом и обнаружить невозможно — будет принято решение, которое хоть и не всегда является правильным, но зато окончательно закрывает дело. Выходит так, будто канцелярский аппарат не может больше выдержать напряжения, когда его из года в год долбят по поводу одного и того же незначительного по существу дела, и вдруг этот аппарат сам собой, без участия чиновников, это дело закрывает. Разумеется, никакого чуда тут не происходит, просто какой-нибудь чиновник пишет заключение о закрытии дела, а может быть, принимается и неписаное решение, и невозможно установить, во всяком случае тут, у нас, да, пожалуй, и там, в канцелярии, какой именно чиновник принял решение по данному делу и на каком основании. Только отделы контроля много времени спустя устанавливают это, но нам ничего не сообщают, впрочем, теперь это уже вряд ли может кого-нибудь заинтересовать. Притом, как я говорил, все эти окончательные решения всегда превосходны, только одно в них нескладно: обычно узнаешь о них слишком поздно, а тем временем все еще идут горячие споры о давно решенных вещах. Не знаю, было ли принято такое решение по вашему делу, многое говорит за это, мно-

гое — против, но если бы это произошло, то вам послали бы приглашение, вы проделали бы весь долгий путь сюда, к нам, прошло бы очень много времени, а между тем Сордини продолжал бы работать до изнеможения, Брунsvик все мучил бы народ и оба мучили бы меня. Я только высказываю предположение, что так могло бы случиться, а наверняка я знаю только одно: между тем один из контрольных отделов обнаружил, что много лет назад из отдела А был послан в общину запрос о вызове землемера и что до сих пор ответа нет. Недавно меня об этом запросили, ну и, конечно, все тут же выяснилось, отдел А удовлетворился моим ответом, что землемер нам не нужен, и Сордини должен был признать, что в данном случае он оказался не на высоте и, правда, не по своей вине, проделал столько бесполезной работы, да еще с такой нервотрепкой. Если бы со всех сторон не навалилось бы, как всегда, столько новой работы и если бы ваше дело не было таким мелким, можно даже сказать — мельчайшим из мелких, мы все, наверно, вздохнули бы с облегчением, по-моему — даже сам Сордини. Один Брунsvик ворчал, но это уже было просто смешно. А теперь представьте себе, господин землемер, мое разочарование, когда после благополучного окончания всей этой истории — а с тех пор тоже прошло немало времени — вдруг появляется вы, и, по видимому, выходит так, что все дело надо начинать сначала. Но вы, конечно, понимаете, что, поскольку это от меня зависит, я ни в коем случае этого не допущу!

— Конечно! — сказал К. — Но я еще лучше понимаю, что тут происходят возмутительные безобразия не только по отношению ко мне, но и по отношению к законам. А себя лично я сумею защитить.

— И как же? — спросил староста.

— Это я выдать не могу, — сказал К.

— Приставать к вам не стану, — сказал староста, — но учтите, что в моем лице вы найдете, не буду говорить друга — слишком мы чужие люди, — но, во всяком случае, подмогу в вашем деле. Одного я не допущу — чтобы вас приняли в качестве землемера, в остальном же можете спокойно обращаться ко мне, правда, в пределах моей власти, которая довольно ограничена.

— Вы все время говорите, что меня обязаны принять на должность землемера, но ведь я фактически принят. Вот письмо Кламма.

— Письмо Кламма! — сказал староста. — Оно ценно и значительно из-за подписи Кламма — кажется, она подлинная, — но в осталь-

ном... Впрочем, тут я не смею высказывать свое личное мнение. Мицци! — крикнул он и добавил: — Да что вы там делаете?

Мицци и помощники, надолго оставленные без всякого внимания, очевидно, не нашли нужного документа и хотели снова все убрать в шкаф, но уложить беспорядочно наваленную груду папок им не удавалось. Должно быть, помощники придумали то, что они сейчас пытались сделать. Они положили шкаф на пол, запихали туда все папки, уселись вместе с Мицци на дверцы шкафа и теперь постепенно нажимали на них.

— Значит, не нашли бумагу, — сказал староста, — жаль, конечно, но ведь вы уже все знаете, нам, собственно говоря, никакие бумаги больше не нужны, потом они, конечно, отыщутся, наверно, их взял учитель, у него дома много всяких документов. А сейчас, Мицци, неси сюда свечу и прочти со мной это письмо.

Подошла Мицци — она казалась еще серее и незаметнее, сидя на краю постели и прижимаясь к своему крепкому, жизнеобильному мужу, который крепко обнял ее. Только ее худенькое лицо стало виднее при свете — ясное, строгое, слегка смягченное годами. Заглянув в письмо, она сразу благоговейно сложила руки. «От Кламма!» — сказала она. Они вместе прочли письмо, о чем-то пошептались, а когда помощники закричали «Ура!» — им наконец удалось закрыть шкаф, и Мицци с молчаливой благодарностью посмотрела на них, — староста заговорил:

— Мицци совершенно согласна со мной, и теперь я смело могу вам сказать. Это вообще не служебный документ, а частное письмо. Уже само обращение «Многоуважаемый господин!» говорит за это. Кроме того, там не сказано ни слова о том, что вас приняли в качестве землемера, там речь идет о графской службе вообще; впрочем, и тут ничего определенного не сказано. Только то, что вы приняты «как вам известно», то есть ответственность за подтверждение того, что вы приняты, возлагается на вас. Наконец, в служебном отношении вас направляют только ко мне, к старосте, с указанием, что я являюсь вашим непосредственным начальством и должен сообщить вам все дальнейшее, что, в сущности, сейчас уже мной и сделано. Для того, кто умеет читать официальные документы и вследствие этого еще лучше разбирается в неофициальных письмах, все это ясно как день. То, что вы, человек посторонний, в этом не разобрались, меня не удивляет. В общем и целом это письмо означает только то, что Клам

намерен лично заняться вами в том случае, если вас примут на графскую службу.

— Вы, господин староста, так хорошо расшифровали это письмо, — сказал К., — что от него ничего не осталось, кроме подписи на пустом листе бумаги. Неужели вы не замечаете, как вы этим унижаете имя Кламма, к которому вы как будто относитесь с уважением?

— Это недоразумение, — сказал староста. — Я вовсе не умаляю значения письма и своими объяснениями ничуть его не снижаю, напротив! Частное письмо Кламма, несомненно, имеет гораздо большее значение, чем официальный документ, только значение у него не то, какое вы ему приписываете.

— Вы знаете Шварцера? — спросил К.

— Нет, — ответил староста, — может, ты знаешь, Мицци? Тоже нет? Нет, мы его не знаем.

— Вот это странно, — сказал К., — ведь он сын помощника кастеляна.

— Милый мой господин землемер, — сказал староста, — ну как я могу знать всех сыновей всех помощников кастеляна?

— Хорошо, — сказал К., — тогда вам придется поверить мне на слово. Так вот, с этим Шварцером у меня вышел неприятный разговор в самый день моего приезда. Но потом он справился по телефону у помощника кастеляна по имени Фриц и получил подтверждение, что меня пригласили в качестве землемера. Как вы это объясните, господин староста?

— Очень просто, — сказал староста. — Вам, видно, никогда еще не приходилось вступать в контакт с нашими канцеляриями. Всякий такой контакт бывает только кажущимся. Вам же из-за незнания всех наших дел он представляется чем-то настоящим. Да, еще про телефон: видите, у меня никакого телефона нет, хотя мне-то уж немало приходится иметь дел с канцеляриями. В пивных и всяких таких местах телефоны могут еще пригодиться хотя бы вроде музыкальных ящичков, а больше они ни на что не нужны. А вы когда-нибудь уже отсюда звонили? Да? Ну тогда вы меня, может быть, поймете. В Замке, как мне рассказывали, телефон как будто работает отлично, там звонят непрерывно, что, конечно, очень ускоряет работу. Эти беспрестанные телефонные переговоры доходят до нас по здешним аппаратам в виде шума и пения, вы, наверно, тоже это слышали. Так вот, единственное, чему можно верить, — это шуму и пению, они насто-

ящие, а все остальное — обман. Никакой постоянной телефонной связи с Замком тут нет, никакой центральной станции, которая переключала бы наши вызовы туда, не существует; если мы отсюда вызываем кого-нибудь из Замка, там звонят все аппараты во всех самых низших отделах, вернее, звонили бы, если бы, как я точно знаю, почти повсюду там звонки не были выключены. Правда, иногда какой-нибудь чиновник, переутомленный работой, испытывает потребность немного отвлечься — особенно ночью или поздно вечером — и включает телефон, тогда, конечно, мы отсюда получаем ответ, но, разумеется, только в шутку. И это вполне понятно. Да и у кого хватит смелости звонить среди ночи по каким-то своим личным мелким делишкам туда, где идет такая бешеная работа? Я не понимаю, как даже чужой человек может поверить, что если он позвонит Сордини, то ему и в самом деле ответит сам Сордини? Скорее всего, ответит какой-нибудь мелкий регистратор совсем из другого отдела. Напротив, может выпасть и такая редкость, что, вызывая какого-нибудь регистратора, вдруг услышишь ответ самого Сордини. Самое лучшее — сразу бежать прочь от телефона, как только раздастся первое слово.

— Да, так я на это, конечно, не смотрел, — сказал К., — такие подробности я знать не мог, но и особого доверия к телефонным разговорам у меня тоже не было, я всегда сознавал, что значение имеет только то, о чем узнаешь или чего добьешься непосредственно в самом Замке.

— Нет, — сказал староста, уцепившись за слова К., — телефонные разговоры тоже имеют значение, как же иначе? Почему это справка, которую дает чиновник из Замка, не имеет значения? Я ведь вам уже объяснил в связи с письмом Кламма: все эти высказывания прямого служебного значения не имеют, и, приписывая им такое служебное значение, вы заблуждаетесь; однако их частное, личное значение, в смысле дружеском или враждебном, очень велико, по большей части оно даже куда значительней любых служебных отношений.

— Прекрасно, — сказал К., — допустим, что все обстоит именно так. Но тогда у меня в Замке уйма добрых друзей: если смотреть в корень, то возникшую много лет назад в одном из отделов идею — почему бы не вызвать сюда землемера? — можно считать дружественным поступком по отношению ко мне, впоследствии все уже пошло одно за другим, пока наконец — правда, не к добру — меня не заманили сюда, а теперь грозятся выкинуть.

— Некоторая правда в ваших словах, конечно, есть, — сказал староста, — вы правы, что никакие указания, идущие из Замка, нельзя принимать буквально. Но осторожность нужна везде, не только тут, и чем важнее указание, тем осторожнее надо к нему подходить. Но мне непонятны ваши слова, будто вас сюда заманили. Если бы вы внимательнее слушали мои объяснения, вы бы поняли, что вопрос о вашем вызове слишком сложен, чтобы в нем разобраться нам с вами в такой короткой беседе.

— Значит, остается один вывод, — сказал К., — все очень неясно и неразрешимо, кроме того, что меня выкидывают.

— Да кто осмелится вас выкинуть, господин землемер? — сказал староста. — Именно неясность всего предыдущего обеспечивает вам самое вежливое обращение; по-видимому, вы слишком обидчивы. Никто вас тут не удерживает, но ведь это еще не значит, что вас выгоняют.

— Знаете, господин староста, — сказал К., — теперь вам все кажется слишком ясным. А я вам сейчас перечислю, что меня тут удерживает: те жертвы, которые я принес, чтобы уехать из дому, долгий трудный путь, вполне обоснованные надежды, которые я питал в отношении того, как меня тут примут, мое полное безденежье, невозможность снова найти работу у себя дома и, наконец, не меньше, чем все остальное, моя невеста, живущая здесь.

— Ах, Фрида, — сказал староста без всякого удивления. — Знаю, знаю. Но Фрида пойдет за вами куда угодно. Что же касается всего остального, то тут, несомненно, надо будет кое-что взвесить, я сообщу об этом в Замок. Если придет решение или если придется перед этим еще раз вас выслушать, я за вами пошлю. Вы согласны?

— Нет, ничуть, — сказал К., — не нужны мне подачки из Замка, я хочу получить все по праву.

— Мицци, — сказал староста жене, которая все еще сидела, прижавшись к нему, и рассеянно играла с письмом Кламма, из которого она сложила кораблик; К. в перепуге отнял у нее письмо, — Мицци, у меня опять заболела нога, придется сменить компресс.

К. встал.

— Тогда разрешите откланяться? — сказал он.

— Конечно! — сказала Мицци, готовя мазь. — Да и сквозняк слишком сильный.

К. обернулся: его помощники с неуместным, как всегда, служебным рвением сразу после слов К. распахнули настежь обе половинки

дверей. К. успел только кивнуть старосте — он хотел поскорее избавиться больного от ворвавшегося в комнату холода. И, увлекая за собой помощников, он выбежал из дома, торопливо захлопнув двери.

### Глава шестая

#### Второй разговор с хозяйкой

У постоянного двора его ждал хозяин. Он сам не решался заговорить первым, поэтому К. спросил, что ему нужно.

— Ты нашел новую квартиру? — спросил хозяин, уставившись в землю.

— Это тебе жена велела узнать? — сказал К. — Наверно, ты очень от нее зависишь?

— Нет, — сказал хозяин, — спрашиваю я от себя. Но она очень волнуется и расстраивается из-за тебя, не может работать, все лежит в постели, вздыхает и без конца жалуется.

— Пойти мне к ней, что ли? — спросил К.

— Очень тебя прошу, — сказал хозяин, — я уже хотел было зайти за тобой к старосте, постоял у него под дверью, послушал, но вы все разговаривали, а она меня к себе не пустила, вот и пришлось тебя тут дожидаться.

— Тогда пойдем к ней скорее, — сказал К., — я ее быстро успокою.

— Хорошо, если бы удалось, — сказал хозяин.

Они прошли через светлую кухню, где три или четыре служанки в отдалении друг от друга, занятые каждой своей работой, буквально оцепенели при виде К. Уже из кухни слышались вздохи хозяйки. Она лежала в тесном закутке без окна, отделенном от кухни тонкой фанерной перегородкой. Там помещались только большая двуспальная кровать и шкаф. Кровать стояла так, что с нее можно было наблюдать за всей кухней и за теми, кто там работал. Зато из кухни почти ничего нельзя было разглядеть в закутке. Там было совсем темно, только белые с красным одеяла чуть выделялись во мраке. Лишь войдя туда и дав глазам немного привыкнуть, можно было разглядеть подробности.

— Наконец-то вы пришли, — слабым голосом сказала хозяйка. Она лежала на спине, вытянувшись, дышать ей, как видно, удавалось

с трудом, и она откинула перину. В постели она выглядела гораздо моложе, чем в платье, но ее осунувшееся лицо вызывало жалость, особенно из-за ночного чепчика с тонким кружевом, который она надела, хотя он был ей мал и плохо держался на прическе.

— Как же я мог прийти, — сказал К. мягко, — вы ведь не велели меня звать.

— Вы не должны были заставлять меня ждать так долго, — сказала хозяйка с упрямством, свойственным всем больным. — Садитесь, — и она указала ему на край постели, — а вы все уходите! — Кроме помощников, в закуток проникли и служанки.

— Я тоже уйду, Гардена, — сказал хозяин, и К. впервые услышал имя хозяйки.

— Ну конечно, — медленно проговорила она и, словно думая о чем-то другом, рассеянно добавила: — Зачем тебе оставаться?

Но когда все вышли на кухню — даже помощники сразу послушались, впрочем, они приставали к одной из служанок, — Гардена все же вовремя сообразила, что из кухни слышно все, о чем говорится за перегородкой — дверей тут не было, — и потому она всем велела выйти из кухни. Что и произошло тотчас же.

— Прошу вас, господин землемер, — сказала Гардена, — там, в шкафу, поблизости висит платок, подайте его мне, пожалуйста, я укурюсь, перину я не выношу, под ней дышать тяжело. — А когда К. подал ей платок, она сказала: — Взгляните, правда красивый платок?

Похоже, что это был обыкновенный шерстяной платок, К. только из вежливости потрогал его еще раз, но ничего не сказал.

— Да, платок очень красивый, — сказала Гардена, кутаясь в него. Теперь она лежала спокойно, казалось, все боли прошли, более того, она даже заметила, что у нее растрепались волосы от лежания, и, сев на минуту в постели, поправила прическу под чепчиком. Волосы у нее были пышные.

К. вышел из терпения:

— Вы, хозяйка, велели узнать, нашел ли я себе новую квартиру?

— Я велела? Нет-нет, это ошибка.

— Но ваш муж только что меня об этом спросил.

— Верю, верю, — сказала хозяйка, — у нас вечно стычки. Когда я не хотела вас принять, он вас удерживал, а когда я счастлива, что вы тут живете, он вас гонит. Он всегда так делает. Вечно он выкидывает такие штуки.



— Значит, — сказал К., — вы настолько изменили свое мнение обо мне? И всего за час-другой?

— Мнение свое я не изменила, — сказала хозяйка ослабевшим голосом, — дайте мне руку. Так. А теперь обещайте, что будете говорить со мной совершенно откровенно, тогда и я с вами буду откровенна.

— Хорошо, — сказал К., — кто же начнет?

— Я! — сказала хозяйка.

Видно было, что она не просто хочет пойти К. навстречу, но что ей не терпится заговорить первой.

Она вынула из-под одеяла фотографию и протянула ее К.

— Взгляните на эту карточку, — попросила она.

Чтобы лучше увидеть, К. шагнул на кухню, но и там было нелегко разглядеть что-нибудь на фотографии — от времени она выцвела, пошла трещинами и пятнами и вся измялась.

— Не очень-то она сохранилась, — сказал К.

— Да, жаль, — сказала хозяйка, — носишь при себе годами, вот и портится. Но если вы хорошенько взглянете, вы все разберете. А я могу вам помочь: скажите, что вы разглядели, мне так приятно поговорить про эту карточку. Ну что же увидели?

— Молодого человека, — сказал К.

— Правильно, — сказала хозяйка. — А что он делает?

— По-моему, он лежит на какой-то доске, потягивается и зевает.

Хозяйка рассмеялась.

— Ничего похожего! — сказала она.

— Но ведь вот она доска, а вот он лежит, — настаивал на своем К.

— А вы посмотрите повнимательней, — с раздражением сказала хозяйка. — Разве он лежит?

— Нет, — согласился К., — он не лежит, а, скорее, парит в воздухе, да, теперь я вижу — это вовсе не доска, скорее, какой-то канат, и молодой человек прыгает через него.

— Ну вот, — обрадованно сказала хозяйка, — он прыгает, это так тренируются курьеры из канцелярии. Я же знала, что вы все разглядите. А его лицо вам видно?

— Лица почти совсем не видать, — сказал К., — видно только, что он очень напрягается, рот открыл, глаза зажмурил, волосы у него растрепались.

— Очень хорошо, — с благодарностью сказала хозяйка, — тому, кто его лично не знал, трудно разглядеть еще что-нибудь. Но мальчик

был очень красивый, я видела его только мельком и то не могу забыть.

— А кто же он был? — спросил К.

— Это был, — сказала хозяйка, — это был курьер, через которого Кламм в первый раз вызвал меня к себе.

К. не мог как следует слушать — его отвлекало дребезжание стекол. Он сразу понял, откуда идет эта помеха. За кухонным окном, прыгая с ноги на ногу по снегу, вертелись его помощники. Они старались показать, что они счастливы видеть К., и радостно указывали на него друг другу, тыча пальцами в оконное стекло. К. им погрозил пальцем, и они сразу отскочили, стараясь оттолкнуть друг друга от окна, но один вырвался вперед, и оба снова прильнули к стеклу. К. юркнул за перегородку — там помощники не могли его видеть, да и ему не надо было на них смотреть. Но тихое, словно просительное дребезжание оконного стекла еще долго преследовало его и в закуске.

— Опять эти помощники, — сказал он хозяйке, как бы извиняясь, и показал на окно. Но она не обращала на него внимания; отняв фотографию, она посмотрела на нее, расправила и снова сунула под одеяло. Движения ее стали замедленными, но не от усталости, а, как видно, под тяжестью воспоминаний. Ей хотелось все рассказать К., но она позабыла о нем, перебирая в памяти прошлое. Только через некоторое время она очнулась, провела рукой по глазам и сказала:

— И платок у меня от Кламма. И чепчик тоже. Фотография, платок и чепчик — вот три вещи на память о нем. Я не такая молодая, как Фрида, не такая честолюбивая, да и не такая чувствительная — она у нас очень чувствительная; словом, я сумела примириться с жизнью, но должна сознаться: без этих трех вещей я бы тут так долго не выдержала, да что я говорю — я бы и дня тут не выдержала. Может быть, вам эти три подарка покажутся жалкими, но вы только подумайте: у Фриды, которая так долго встречалась с Кламмом, никаких сувениров нет, я ее спрашивала, но она слишком о многом мечтает, да и все недовольна; а вот я — ведь я была у Кламма всего три раза, больше он меня не звал, сама не знаю почему, — я принесла с собой эти вещички на память, наверно, предчувствовала, что мое время уже истекает. Правда, о подарках надо было самой позаботиться — Кламм от себя никогда ничего не даст, но, если увидишь что-нибудь подходящее, можно у него выпросить.

К. чувствовал себя неловко, слушая этот рассказ, хотя все это непосредственно его касалось.

— А когда это было? — спросил он со вздохом.

— Больше двадцати лет назад, — сказала хозяйка, — куда больше двадцати лет тому назад.

— Значит, вот как долго сохраняют верность Кламму, — сказал К. — Но понимаете ли вы, хозяйка, что от ваших признаний, особенно когда я думаю о будущем своем браке, мне становится очень тяжело и тревожно?

Хозяйке очень не понравилось, что К. припутал сюда свои дела, и она сердито покосилась на него.

— Не надо сердиться, хозяйка, — сказал К. — Я ведь слова не сказал против Кламма, но силой обстоятельств я все-таки имею к нему какое-то отношение, это-то даже самый ярый поклонник Кламма оспаривать не станет. Так что сами понимаете. Оттого я и начинаю думать о себе, как только упомянут Кламма, тут ничего не поделаешь. Но знаете, хозяйка, — и К. взял ее за руку, хотя она слабо сопротивлялась, — вспомните, как плохо кончился наш последний разговор, давайте хоть на этот раз не ссориться.

— Вы правы, — сказала хозяйка, склонив голову, — но пощадите меня. Ведь я ничуть не чувствительней других людей, напротив, у всех есть много больных мест, а у меня одно-единственное.

— К сожалению, это и мое больное место, — сказал К., — но я постараюсь взять себя в руки, только объясните мне, уважаемая, как я смогу вынести в семейной жизни эту потрясающую верность Кламму — если, конечно, предположить, что Фрида в этом похожа на вас?

— Потрясающая верность? — сердито повторила хозяйка. — Да разве это верность? Я верна своему мужу, при чем тут Кламм? Кламм однажды сделал меня своей любовницей, разве я когда-нибудь могу лишиться этого звания? Вы спрашиваете, как вы перенесете такую верность со стороны Фриды? Ах, господин землемер, ну кто вы такой, чтобы осмелиться это спрашивать?

— Хозяйка! — предостерегающе сказал К.

— Знаю, — сдалась хозяйка, — только мой муж таких вопросов не задавал. Мне непонятно, кого можно считать несчастнее — меня тогда или Фриду теперь? Фриду, которая бросила Кламма по своей воле, или меня, которую он больше к себе не звал? Может быть, все-та-

ки Фрида несчастнее, хотя она еще не знает всей глубины своего несчастья. Но тогда это горе занимало все мои мысли, потому что я непрестанно себя спрашивала и, в сущности, до сих пор спрашивать не перестала: почему оно так случилось? Трижды Кламм велел тебя позвать к себе, а в четвертый не позвал! Четвертого раза так никогда больше и не было! А о чем другом я могла думать в то время? О чем еще могла я разговаривать со своим мужем, за которого я вскоре вышла замуж? Днем у нас времени не было, этот постоянный двор достался нам в жалком состоянии, надо было как-то его поднять, — но по ночам? Годами мы разговаривали ночью только о Кламме, о том, почему он переменил свои чувства ко мне. И если мой муж во время этих разговоров засыпал, я его будила, и мы снова продолжали тот же разговор.

— Тогда, — сказал К., — я, с вашего разрешения, задам вам один очень невежливый вопрос.

Хозяйка промолчала.

— Значит, спрашивать нельзя, — сказал К. — Что же, мне и так все понятно.

— Да, конечно, — сказала хозяйка, — вам и так все понятно, это дело особенное. Вы все толкуете неправильно, даже молчание. Иначе вы не можете. Хорошо, я позволю вам задать вопрос.

— Если я все толкую неправильно, — сказал К., — так, может быть, я и свой вопрос неправильно толкую, может быть, он вовсе не такой уж невежливый. Я хотел только знать: где вы познакомились со своим мужем и как вам достался этот постоянный двор?

Хозяйка нахмурила лоб, но ответила вполне равнодушно:

— Это очень простая история. Отец мой был кузнец, а Ханс, мой теперешний муж, служил конюхом у одного богатого крестьянина и часто заходил к моему отцу. Это было после моей последней встречи с Кламмом, я почувствовала себя очень несчастной, хотя оснований для этого не было: все произошло как положено, и то, что меня больше не пускали к Кламму, было решением самого Кламма, значит, и тут было все как положено. Только причины такого решения были неясны, и мне пришлось о них размышлять, но чувствовать себя несчастной я права не имела. И все-таки я была несчастна, не могла работать и целыми днями сидела в нашем палисадничке. Там меня увидел Ханс, иногда он ко мне подсаживался, я ему не жаловалась, но он и так знал, в чем дело, а так как он добрый малый, то он, быва-

ло, и всплакнет вместе со мной. И вот тогдашний хозяин постоянного двора — он потерял жену и решил прикрыть дело, да он уже и сам был стариком — однажды проходил мимо нашего садика и увидел, как мы сидим вдвоем, он остановился и тут же предложил нам свой постоянный двор в аренду, даже денег вперед брать не захотел — сказал, что он нас знает, и цену за аренду назначил совсем маленькую. Быть в тягость своему отцу я не хотела, все на свете мне было безразлично, потому я стала думать о постоянном дворе, о новой работе, которая хоть немного поможет мне забыть прошлое, потому я и отдала свою руку Хансу. Вот и вся история.

Наступило недолгое молчание, потом К. сказал:

— Владелец постоянного двора поступил великодушно, но неосторожно, или у него были особые причины доверять вам обоим?

— Он хорошо знал Ханса, он ему дядя, — сказала хозяйка.

— Ну тогда конечно, — сказал К., — наверно, семья Ханса была очень заинтересована в вашем браке?

— Возможно, — сказала хозяйка, — не знаю, я этим никогда не интересовалась.

— Нет, наверно, так оно и было, — сказал К., — раз семья пошла на такие жертвы и решила передать вам постоянный двор без всяких гарантий.

— Никакой тут неосторожности с их стороны не было, как выяснилось позже, — сказала хозяйка, — я взялась за работу, ведь я дочь кузнеца, сил у меня много, мне не нужны были ни служанки, ни батраки, я везде сама попевала — и в столовой, и на кухне, и на конюшне, и во дворе, а готовила я так вкусно, что переманивала посетителей у гостиницы. Вы еще наших столовников не знаете, а тогда их было куда больше, с тех пор многих недосчитаешься. И в конце концов мы смогли не только вовремя выплатить аренду, но через несколько лет купить все хозяйство, и теперь у нас почти нет долгов. Но случилось и то, что я себя окончательно доконала, сердце у меня сдало, и я стала совсем старухой. Вы, наверно, думаете, что я гораздо старше Ханса, а на самом деле он всего на два-три года моложе меня. И он никогда не постареет при его работе — выкурит трубку, послушает разговоры, потом выбьет трубку, подаст пива, — нет, от такой работы не состаришься.

— Конечно, ваши старания заслуживают всяческой похвалы, — сказал К., — тут и сомнения нет, но ведь вы говорили о временах до

вашей свадьбы, и мне немного странно, что семья Ханса так старалась поженить вас, шла на денежные жертвы или, по крайней мере, брала на себя такой риск, отдавала вам постоянный двор, если у них вся надежда была только на ваше трудолюбие, о котором они вряд ли знали, тогда как нетрудолюбие Ханса им было хорошо известно.

— Ну да, — устало сказала хозяйка, — понимаю, куда вы целите, но вы промахнулись. Кламм во всех этих делах совершенно ни при чем. Почему это он должен был обо мне заботиться, вернее, как он мог заботиться обо мне? Он же ничего обо мне не знал. Раз он меня больше к себе не вызывал, значит, он обо мне забыл; когда он к себе человека не зовет, он забывает его начисто. При Фриде я не хотела говорить об этом. Но он не просто забывает, тут дело серьезнее. Если человека забудешь, можно с ним опять познакомиться. Но для Кламма это невозможно. Если он тебя не вызвал, значит, он забыл не только прошлое, но забыл тебя и впредь навсегда. При желании я могу встать на вашу точку зрения; может быть, она и правильна там, на чужбине, откуда вы приехали, но здесь такие мысли совершенно нелепы. Может быть, вы и до такой бессмыслицы дойдете, что решите, будто Кламм нарочно дал мне моего Ханса в мужа, чтобы мне ничто не мешало прийти к нему, если он когда-нибудь решит меня позвать. Ну ничего бессмысленней и придумать нельзя. Где тот человек, который мог бы мне помешать броситься к Кламму по первому же его знаку? Чепуха, полнейшая чепуха, тут совсем себя с толку собьешь, если дать волю таким мыслям.

— Нет, — сказал К., — с толку мы не собьемся, и до того, о чем вы говорите, я пока еще не додумался, хотя и был близок к этой мысли. Пока что меня только удивило, что родственники возлагали такие большие надежды на ваш брак и что эти надежды на самом деле сбылись — правда, ценой вашего сердца, вашего здоровья. Конечно, мысль о связи всех этих событий с Кламмом приходила мне в голову, но не совсем или пока еще не совсем в таком грубом виде, как вы изобразили, вероятно, для того, чтобы опять напасть на меня, как видно, это вам доставляет удовольствие. Что ж, пожалуйста! А мысль моя заключалась вот в чем: прежде всего, Кламм явно был причиной вашего брака. Не будь Кламма, вы бы не стали такой несчастной, не сидели бы в палисаднике; не будь Кламма, вас бы там не увидел Ханс, а если бы вы не грустили, робкий Ханс никогда не решился бы заговорить с вами; не будь Кламма, вы бы никогда не плакали вмес-

те с Хансом; не будь Кламма, добрый дядюшка, хозяин двора, никогда не увидел бы вас рядышком; не будь Кламма, у вас не было бы такого безразличия ко всему на свете и вы не вышли бы замуж за Ханса. Вот видите, я бы сказал, что тут Кламм очень при чем. Но это еще не все. Если бы вы не хотели его забыть, вы бы так не изнуряли себя работой и не подняли бы хозяйство на такую высоту. Значит, и тут Кламм. И кроме того, Кламм — виновник вашей болезни, потому что еще до вашего замужества сердце у вас пострадало от несчастной любви. Остается только один вопрос: чем этот брак так соблазнил родичей Ханса? Вы сами как-то сказали, что быть хоть когда-нибудь любовницей Кламма — значит навсегда сохранить это высокое звание. Что ж, может быть, это их и соблазнило. Кроме того, по-моему, у них была надежда, что та счастливая звезда, которая привела вас к Кламму — если только она, как вы утверждаете, была и в самом деле счастливой, — эта звезда будет вам всегда сопутствовать и не изменит, как Кламм.

— И вы все это говорите всерьез? — спросила хозяйка.

— Конечно, всерьез, — быстро сказал К., — только я считаю, что родственники Ханса были и правы в своих надеждах, и вместе с тем неправы, и мне кажется, что я даже понял ошибку, которую они совершили. Внешне как будто все удалось. Ханс хорошо устроен, у него видная супруга, его уважают, хозяйство свободно от долгов. Но, в сущности, ничего не удалось, и, конечно, он был бы куда счастливее с простой девушкой, которая полюбила бы его первой, настоящей любовью, и если, как вы его упрекаете, он иногда сидит в буфете с потерянными видом, так это потому, что он и вправду чувствует какую-то потерянную, хотя несчастным он себя, несомненно, не считает — настолько-то я его уже знаю, — но несомненно и то, что такой красивый неглупый малый был бы счастливее с другой женой; я хочу сказать, он стал бы самостоятельнее, усерднее, мужественнее. Да и вы сами ничуть не счастливее, и, по вашим же словам, без этих трех сувениров вам и жить неохота, да и сердце у вас больное. Что же, значит, родственники надеялись понапрасну? Нет, не думаю. Счастливая звезда стояла над вами, но достать ее они не сумели.

— А что же мы упустили? — спросила хозяйка. Она лежала на спине, вытянувшись во весь рост, и смотрела в потолок.

— Не спросили Кламма, — сказал К.

— Опять мы вернулись к вашему делу, — сказала хозяйка.

— Или к вашему, — сказал К. — Наши дела тесно соприкасаются.

— Чего же вам нужно от Кламма? — спросила хозяйка. Она села на кровати, взбила подушки, чтобы можно было на них опереться, и посмотрела прямо в глаза К. — Я вам откровенно рассказала всю свою историю — в ней для вас немало поучительного. Скажите мне так же откровенно: о чем вы хотите спросить Кламма? Ведь я с большим трудом уговорила Фриду уйти наверх и посидеть в вашей комнате, — я боялась, что при ней вы так откровенно говорить не станете.

— Мне скрывать нечего, — сказал К. — Но сначала я хочу обратить ваше внимание вот на что. Кламм сразу все забывает — так вы сами сказали. Во-первых, по-моему, это очень неправдоподобно, во-вторых, совершенно недоказуемо, должно быть, это просто легенда, которую сочинили своим женским умом очередные фаворитки Кламма. Удивляюсь, как вы могли поверить такой плоской выдумке.

— Нет, это не легенда, — сказала хозяйка, — это доказано на нашем общем опыте.

— Значит, и опровергнуть это может дальнейший опыт, — сказал К. — И кроме того, между вашей историей и историей Фриды есть еще одна разница. Собственно говоря, тут не то чтобы Кламм Фриду к себе не позвал, наоборот, он ее позвал, а она не пошла. Возможно даже, что он ее ждет до сих пор.

Хозяйка промолчала и только испытующе оглядела К. с ног до головы. Потом сказала:

— Я готова спокойно выслушать все, что вы хотите сказать. Лучше говорите откровенно и не шадите меня. У меня только одна просьба. Не произносите имя Кламма. Называйте его «он» или как-нибудь еще, только не по имени.

— Охотно, — сказал К. — Мне только трудно объяснить, чего мне от него надо. Прежде всего, я хочу увидеть его вблизи, потом — слышать его голос, а потом узнать, как он относится к нашему браку. А о чем я тогда, быть может, попрошу его, это уж зависит от хода нашего разговора. Тут может возникнуть много всякого, но для меня самым важным будет то, что я встречусь лицом к лицу с ним. Ведь до сих пор я ни с одним настоящим чиновником непосредственно не говорил. Кажется, этого труднее добиться, чем я предполагал. Но теперь я обязан переговорить с ним как с частным лицом, и, по моему мнению, этого добиться гораздо легче. Как с чиновником я могу с ним



разговаривать только в его, по всей видимости, недоступной канцелярии, там, в Замке, или, может быть, в гостинице, хотя это уже сомнительно. Но как частное лицо я могу говорить с ним везде: в доме, на улице — словом, там, где удастся его встретить. А то, что одновременно передо мной будет и чиновник, я охотно учту, но главное для меня не в этом.

— Хорошо, — сказала хозяйка и зарылась лицом в подушки, словно в ее словах было что-то постыдное. — Если мне удастся через моих знакомых добиться, чтобы Кламму передали вашу просьбу — поговорить с ним, — можете ли вы обещать, что ничего на свой страх и риск предпринимать не будете?

— Этого я обещать не могу, — сказал К., — хотя я охотно выполнил бы вашу просьбу или прихоть. Да ведь дело не ждет, особенно после неблагоприятного результата моих переговоров со старостой.

— Это возражение отпадает, — сказала хозяйка. — Староста — человек совершенно незначительный. Неужели вы этого не заметили? Да он и дня не пробыл бы на своем месте, если бы не его жена — она ведет все дела.

— Мицци? — спросил К.

Хозяйка утвердительно кивнула.

— Она была при разговоре, — сказал К.

— А она сказала свое мнение? — спросила хозяйка.

— Нет, — сказал К. — У меня создалось впечатление, что у нее никакого своего мнения нет.

— Ну да, — сказала хозяйка, — вы у нас все видите неверно. Во всяком случае, то, что при вас решил староста, никакого значения не имеет, а с его женой я сама при случае поговорю. А если я вам еще обещаю, что ответ от Кламмы придет не позднее чем через неделю, то никаких оснований идти мне наперекор у вас уже не будет.

— Все это несущественно, — сказал К. — Я твердо решил и все равно исполню свое решение, и исполнил бы его, даже если бы пришел отказ. А раз я так решил заранее, как же я могу перед этим просить о встрече? То, что без просьбы будет смелым, но никак не злонамеренным поступком, в случае отказа превратится в явное неповиновение. А это, пожалуй, будет похуже.

— Похуже? — переспросила хозяйка. — Да тут вы все равно проявите неповиновение. А теперь делайте как хотите. Подайте-ка мне юбку.

Не стесняясь К., она надела юбку и поспешила на кухню. Уже давно из зала слышался шум. В окошечко то и дело стучали. Один раз помощники К. приоткрыли окошко и крикнули, что они голодны. Другие лица тоже заглядывали туда. Издали доносилось тихое многоголосое пение.

И действительно, из-за разговора К. с хозяйкой обед задержался, он еще не был готов, а посетители уже собрались. Однако никто не отваживался нарушить запрет хозяйки и выйти на кухню. Но когда наблюдатели у оконца доложили, что хозяйка уже вышла, все служанки сразу прибежали на кухню, и, когда К. вошел в общую комнату, туда, чтобы занять место у столиков, хлынула неожиданно большая толпа посетителей — более двадцати мужчин и женщин, одетых скорее по-провинциальному, чем по-крестьянски. Занят пока был только один угловой столик, там сидела супружеская пара с несколькими детьми. Отец, приветливый голубоглазый человек с растрепанной седой шевелюрой, стоял, наклонясь к детям, и дирижировал ножиком в такт их пению, стараясь немножко его приглушить; быть может, он хотел, чтобы пение заставило их забыть о голоде. Хозяйка равнодушно извинилась перед гостями, хотя никто ее и не упрекал. Она поискала глазами хозяина, но тот, как видно, уже давно сбежал, чтобы выпутаться из затруднительного положения. Потом она неторопливо прошла на кухню. На К., который поспешил к Фриде в свою комнату, она и не взглянула.

## *Глава седьмая* Учитель

Наверху К. застал учителя. К его радости, комнату почти нельзя было узнать, так постаралась Фрида. Она хорошо ее проветрила, жарко натопила печку, вымыла пол, перестелила постель, исчезли вещи служанок, весь этот отвратительный хлам, даже их картинки, а стол, который раньше, куда ни повернись, так и пялился на тебя своей столешницей, заросшей грязью, теперь был покрыт белой вязаной скатеркой. Теперь можно было и гостей принимать, а скудное бельишко К., спозаранку, как видно, перестиранное Фридой и теперь сушившееся на веревке у печки, никому не мешало. Учитель и Фрида

сидели за столом и встали, когда К. вошел. Фрида встретила К. поцелуем, учитель слегка поклонился. К., рассеянный и все еще растревоженный разговором с хозяйкой, стал извиняться перед учителем, что до сих пор не зашел к нему. Выходило, будто он считает, что учитель, не дождавшись К., не выдержал и сам пришел к нему. Но учитель со свойственной ему сдержанностью как будто только сейчас припомнил, что он с К. когда-то договаривался о каком-то посещении. «Ведь вы, господин землемер, — медленно сказал он, — тот незнакомец, с которым я дня два тому назад разговаривал на площади у церкви!» «Да», — коротко бросил К. Теперь у себя в комнате он не желал терпеть то, что тогда приходилось терпеть ему, брошенному всеми. Он повернулся к Фриде и стал советоваться с ней: ему предстоит важная встреча, и он хотел бы одеться для нее как можно лучше. Ни о чем не спрашивая К., Фрида тотчас же окликнула помощников — те занимались рассматриванием новой скатерти, — велела им немедленно вычистить во дворе костюм и башмаки К., и тот сейчас же стал раздеваться. Сама она сняла с веревки рубашу и побежала вниз, на кухню, гладить ее.

Теперь К. остался наедине с учителем, тихо сидевшим у стола; немного подождав, К. снял рубашку и начал мыться в тазу. И только тут, повернувшись к учителю спиной, он спросил, зачем тот пришел к нему.

— Я пришел по поручению господина старосты, — сказал учитель.

К. ответил, что готов выслушать это поручение. Но так как плеск воды заглушил его слова, учителю пришлось подойти поближе, и он прислонился к стенке около К. К. извинился за то, что умывается при нем и вообще волнуется из-за предполагаемой встречи. Учитель не обратил на это внимания и сказал:

— Вы были невежливы со старостой, с таким пожилым, заслуженным, опытным, достойным уважения человеком.

— Не помню, чтобы я был невежлив, — сказал К. — Но верно и то, что я думал о более важных вещах и мне было не до светских манер, ведь речь шла о моем существовании, оно под угрозой из-за безобразного ведения дел, впрочем, зачем мне об этом рассказывать вам, вы же сами деятельный член этой канцелярии. А что, разве староста на меня жаловался?

— Кому же он мог жаловаться? — сказал учитель. И даже если бы было кому, разве он стал бы жаловаться? Я только под его диктовку

составил небольшой протокол о ваших переговорах и получил достаточно сведений и о доброте господина старосты, и о характере ваших ответов.

Иша гребешок — Фрида, очевидно, куда-то его засунула, — К. сказал:

— Что? Протокол? Да еще составленный без меня человеком, даже не присутствовавшим при разговоре? Неплохо, неплохо! И зачем вообще протокол? Разве то был официальный разговор?

— Нет, разговор был полуофициальный, — сказал учитель, — но и протокол тоже полуофициальный, он составлен только потому, что у нас во всем должен быть строжайший порядок. Во всяком случае, теперь протокол существует и чести вам не делает.

К. наконец нашел гребешок, упавший на кровать, и уже спокойнее сказал:

— Ну и пусть существует, вы затем и пришли, чтобы мне об этом сообщить?

— Нет, — сказал учитель, — но я не автомат, я должен был сказать вам, что я думаю. Поручение же мое, напротив, является доказательством доброты господина старосты. Подчеркиваю, что его доброта непонятна и что только из-за своего служебного положения и глубокого уважения к господину старосте я был вынужден взяться за такое поручение.

К., умытый и причесанный, сел к столу, в ожидании рубашки и верхнего платья; ему было ничуть не любопытно узнать, что ему должен передать учитель, да и пренебрежительный отзыв хозяйки о старосте тоже на него повлиял.

— Наверно, уже первый час? — спросил он, думая о предстоящем ему пути, но тут же спохватился и спросил: — Вы, кажется, хотели передать мне поручение от старосты?

— Ну да, — сказал учитель, пожимая плечами, словно хотел стряхнуть с себя всякую ответственность. — Господин староста опасается, как бы вы при долгой задержке ответа по вашему делу недуманно не предприняли чего-нибудь на свой страх и риск. Со своей стороны, я не понимаю, почему он этого боится, я считаю, что лучше всего вам поступать, как вы хотите. Мы вам не ангелы-хранители и не брали на себя обязательств бегать за вами, куда бы вы ни пошли. Впрочем, ладно. Господин староста другого мнения. Конечно, ускорить решение он не в силах — это дело графских канцелярий. Одна-

ко в пределах своего влияния он собирается предварительно сделать вам поистине великодушное предложение — от вас зависит, принять его или нет. Он предлагает вам пока что занять место школьного сторожа.

Сначала К. пропустил мимо ушей, что именно ему предлагали, но сам факт того, что такое предложение было сделано, показался ему не лишенным значения. Все говорило за то, что, по мнению старосты, К. был способен ради своей защиты предпринять кое-что; чтобы оградить от неприятностей общину, староста готов был пойти на некоторые затраты. И как серьезно тут отнеслись к его делу! Наверно, староста форменным образом погнал к нему учителя, и тот терпеливо ждал его, а перед этим писал целый протокол.

Увидев, что К. задумался, учитель продолжал:

— Я ему высказал свои возражения. Указал на то, что школьный сторож до сих пор нам не был нужен — жена церковного служки изредка убирает школу, а наша учительница, фройляйн Гиза, за этим присматривает. Мне же и так хватает возни с ребятами, и никакой охоты мучиться со школьным сторожем у меня нет. Господин староста возразил, что ведь в школе страшная грязь. Я указал на то, что, по правде говоря, дело обстоит не так уж плохо. И присовокупил: а разве станет лучше, если мы возьмем этого человека в сторожа? Безусловно, нет. Не говоря уж о том, что он в такой работе ничего не смыслит, надо помнить, что в школе всего два больших класса, без всяких подсобных помещений, значит, сторожу с семьей придется жить в одном из классов, спать, а может быть, и готовить там же, и уж, конечно, чище от этого не станет. Но господин староста напомнил, что это место для вас — спасение и поэтому вы изо всех сил будете работать как можно лучше, а кроме того, сказал господин староста, мы вместе с вами заполучим рабочую силу в лице вашей жены и ваших помощников, так что можно будет содержать в образцовом порядке не только школу, но и пришкольный участок. Но я легко опроверг все эти соображения. В конце концов господин староста ничего больше в вашу пользу привести не смог, только рассмеялся и сказал, что, раз вы землемер, значит, сможете аккуратно и красиво разбить клумбы в школьном саду. Ну на шутки возразить нечего, пришлось идти к вам с этим поручением.

— Напрасно беспокоились, господин учитель, — сказал К., — мне и в голову не придет принять это место.

— Прекрасно, — сказал учитель, — прекрасно, значит, вы отказываетесь без всяких оговорок. — И, взяв шляпу, он поклонился и вышел.

Вскоре пришла Фрида — лицо у нее было расстроенное, рубаху она принесла неглаженую, на вопросы не отвечала; чтобы ее отвлечь, К. рассказал ей об учителе и о предложении старосты; не успел он договорить, как она бросила рубашку на кровать и убежала. Она быстро вернулась, но не одна, а с учителем, который сердито хмурился и молчал. Фрида попросила его запастись терпением — как видно, она по дороге сюда уже несколько раз просила его об этом — и потом потянула К. за собой в боковую дверцу, о которой он и не подозревал, на соседний чердак и там наконец, задыхаясь от волнения, рассказала ему, что произошло. Хозяйка возмущена тем, что она унизилась до откровенничания с К. и, что еще хуже, уступила ему в том, что касалось переговоров с Кламмом, не добившись при этом ничего, кроме холодного, как она говорит, и притом неискреннего отказа, поэтому она теперь решила, что больше терпеть К. у себя в доме не желает; если у него есть связи в Замке, пусть поскорее использует их, потому что сегодня же, сию минуту он должен покинуть ее дом. И только по прямому приказу и под давлением администрации она его примет опять; однако она надеется, что этого не будет, так как и у нее в Замке есть связи и она сумеет пустить их в ход. И к тому же он и попал к ним на постоянный двор только из-за ротозейства хозяина, а теперь он в этом не нуждается, еще сегодня утром он похвалялся, что ему готов другой ночлег. Конечно, Фрида должна остаться: если Фрида уйдет именно с К., хозяйка будет глубоко несчастна, при одной мысли об этом она разрыдалась там, на кухне, опустившись на пол у плиты, бедная женщина с большим сердцем! Но как она могла поступить иначе, если все это, по крайней мере по ее представлениям, грозит запятнать ее воспоминания о Кламме. Вот в каком состоянии теперь хозяйка. Конечно, Фрида пойдет за ним, за К., куда он захочет, хоть на край света, тут и говорить не о чем, но сейчас они оба в ужасающем положении, поэтому она с большой радостью приняла предложение старосты, и хотя оно для К. не подходит, но ведь место временное — это надо подчеркнуть особо, — тут можно будет выиграть некоторое время и легко найти другие возможности, даже если окончательное решение будет не в пользу К.

— А в крайнем случае, — воскликнула Фрида, бросаясь на шею К., — мы уедем, что нас тут держит, в этой Деревне? А пока что, миленький, давай примем это предложение, ладно? Я вернула учителя, ты только скажи ему «согласен», и мы переедем в школу.

— Нехорошо все это, — сказал К. мимоходом; его не очень интересовало, где они будут жить, а сейчас он замерз в одном белье, на чердаке, где не было ни стен, ни окна и дул пронзительный ветер. — Ты так славно убрала комнату, а теперь нам из нее уходить. Нет, неохота, очень неохота мне принимать это место, уж одно унижение перед этим училищкой чего стоит, а тут он будет моим начальством. Если бы еще побыть здесь хоть немного, а вдруг мое положение за сегодняшний день изменится? Хоть бы ты тут задержалась, тогда можно было бы выждать и ответ учителю дать неопределенный. Для себя-то я всегда найду где переночевать, хоть бы у Варна...

Но тут Фрида закрыла ему рот ладонью.

— Только не там, — испуганно сказала она, — пожалуйста, не повторяй таких слов. Во всем другом я готова тебя слушаться. Хочешь, я останусь тут одна, как это мне ни грустно. Хочешь, откажемся от этого предложения, как это ни ошибочно, по моему мнению. Видишь ли, если ты найдешь другие возможности, да еще сегодня же к вечеру, то тут, само собой понятно, мы сразу откажемся от места при школе и нам никто препятствовать не станет. А что касается унижения перед учителем, так я постараюсь, чтобы ничего такого не вышло, я поговорю с ним сама, а ты только стой рядом и молчи, мы и потом тоже так сделаем; если ты захочешь, ты с ним никогда и разговаривать не будешь, на самом деле подчиняться ему буду только я одна, хотя, впрочем, и этого не будет, слишком хорошо я знаю все его слабости. Значит, мы ничего не потеряем, если примем эту должность, зато много потеряем, если откажемся, — прежде всего, если ты сегодня ничего не добьешься в Замке, то ты действительно нигде, нигде даже для себя одного не найдешь ночлег, я говорю о таком ночлеге, которого мне, твоей будущей жене, не пришлось бы стыдиться. А если тебе негде будет ночевать, как же ты сможешь от меня потребовать, чтобы я спала тут, в теплой комнате, зная, что ты бродишь по улице ночью, на морозе?

К., обхватив себя руками и все время похлопывая себя по спине, чтобы хоть немного согреться, сказал:

— Тогда ничего другого не остается, надо принять. Пойдем.

В комнате он сразу подбежал к печке и на учителя даже не взглянул. Тот сидел у стола; вынув часы, он сказал:

— Становится поздно.

— Зато мы теперь окончательно договорились, господин учитель, — сказала Фрида, — мы принимаем место.

— Хорошо, — сказал учитель, — но ведь место предложено господину землемеру. Пусть он сам и выскажется.

Фрида пришла на помощь К.

— Конечно, — сказала она, — он принимает место, правда, К.?

Таким образом, К. мог ограничиться коротким «да», которое было обращено даже не к учителю, а к Фриде.

— В таком случае, — сказал учитель, — мне остается только изложить вам ваши служебные обязанности, чтобы договориться в этом отношении раз и навсегда. Вам, господин землемер, надлежит ежедневно убирать и топить оба класса, самому делать все мелкие починки школьного и гимнастического инвентаря, чистить снег на дорожках, выполнять все поручения, как мои, так и нашей учительницы, а в теплые времена года обрабатывать весь школьный сад. За это вы получаете право жить в одном из классов, по вашему выбору, но, конечно, когда уроки идут не в обоих классах одновременно, и если вы находитесь в том классе, где начинаются занятия, вы должны тотчас же переселяться в другой класс. Готовить еду в школе не разрешается, зато вас и вашу семью будут кормить за счет общины здесь, на постоялом дворе. О том, что вы не должны ронять достоинства школы и особенно не делать детей свидетелями нежелательных сцен вашей семейной жизни, я упоминаю только вскользь, вы, как человек образованный, сами это знаете. В связи с этим должен еще заметить, что мы вынуждены настаивать, чтобы ваши отношения с фройляйн Фридой были как можно скорее узаконены. Эти пункты и еще некоторые мелочи мы запишем в договоре, который вы должны будете подписать при переезде в школьное помещение.

Все это показалось К. настолько незначительным, словно он не имел к этому никакого отношения и это его не связывало, но важничанье учителя его раздражало, и он небрежно сказал:

— Да, это обычные условия.

Чтобы змять его слова, Фрида спросила о жалованье.

— Вопрос оплаты будет решен только после месячного испытательного срока, — сказал учитель.



— Но ведь для нас это большое затруднение, — сказала Фрида, — значит, нам надо пожениться без гроша, заводить хозяйство из ничего. Неужели, господин учитель, нам нельзя обратиться с просьбой в совет общины, чтобы нам сразу назначили хоть небольшое жалованье? Как вы посоветуете?

— Нет, — сказал учитель, по-прежнему обращаясь к К. — Такие просьбы удовлетворяются только по моему ходатайству, а я этого не сделаю. Место вам предоставлено как личное одолжение, а если знаешь свою ответственность перед общиной, то без конца делать одолжения нельзя.

Но тут К., хоть и против воли, решил вмешаться.

— Что касается одолжения, господин учитель, — сказал он, — так, по-моему, вы ошибаетесь. Скорее я вам делаю одолжение, чем вы мне!

— Нет, — сказал учитель и улыбнулся: наконец-то он заставил К. заговорить! — Тут у меня есть точные сведения. Школьный сторож нам нужен не больше, чем землемер. Что землемер, что сторож — одна обуза нам на шею. Мне еще придется поломать голову, как оправдать расходы перед общиной. Лучше и естественней всего было бы просто положить заявление на стол, никак его не обосновывая.

— Я и хотел сказать, что вам приходится принимать меня против воли. Хотя для вас это тяжкая забота, все равно вы должны меня принять. А если кого-то вынуждают принять человека, а этот человек дает себя принять, значит, он и делает одолжение.

— Странно, — сказал учитель, — что же может нас заставить принять вас? Только доброе, слишком доброе сердце нашего старосты заставляет нас пойти на это. Да, вижу, что вам, господин землемер, придется расстаться со множеством всяких фантазий, прежде чем стать мало-мальски сносным сторожем. И уж, конечно, такие высказывания мало способствуют тому, чтобы вам назначили жалованье в скором времени. К сожалению, я замечаю, что ваше поведение доставит мне немало хлопот: вот и сейчас вы со мной беседуете — я смотрю и глазам не верю — в рубахе и кальсонах!

— Да-да! — воскликнул К. со смехом и хлопнул в ладоши. — Ах, эти скверные помощники, куда же они запропастились?

Фрида побежала к дверям; учитель, увидев, что К. с ним больше разговаривать не склонен, спросил Фриду, когда они переберутся в школу.

— Сегодня же, — ответила Фрида.

— Утром проверю, — сказал учитель, махнул на прощанье рукой и уже хотел выйти в дверь, которую отворила Фрида, но столкнулся со служанками — те уже пришли с вещами, чтобы снова занять свою комнату. Пришлось ему протиснуться между ними — дороги они никому не уступили, — и Фрида тоже проскользнула мимо них.

— Однако вы поторопились, — сказал К. служанкам, на этот раз вполне благожелательно. — Мы еще тут, а вы уже явились?

Они ничего не ответили и только растерянно теребили свои узелки, из которых выглядывали все те же грязные лохмотья.

— Видно, вы никогда свои вещи ни стирали! — сказал К. без всякой злобы, скорее даже приветливо. Они это заметили, и обе сразу рзинули грубые рты и беззвучно засмеялись, показывая красивые, крепкие, звериные зубы. — Ну заходите, — сказал К., — устраивайтесь, это же ваша комната. — И так как они все еще не решались войти — видно, комната им показалась совсем не похожей на прежнюю, — К. взял одну из них за руку, чтобы провести ее вперед. Но он тут же выпустил руку — с таким изумлением обе посмотрели на него и, переглянувшись между собой, уже не спускали с него глаз.

— Хватит, чего вы на меня уставились! — сказал К., преодолевая какое-то неприятное ощущение, и, взяв одежду и башмаки у Фриды, за которой робко вошли и оба помощника, стал одеваться. Он и раньше и теперь не понимал, почему Фрида так терпима к его помощникам. Ведь, вместо того чтобы чистить платье во дворе, они мирно обедали внизу, где их после долгих поисков и нашла Фрида; нечищенные вещи К. лежали у них комком на коленях, и ей пришлось самой все чистить; несмотря на это, она, умевшая так здорово справляться с мужичьем в трактире, даже не бранила помощников, и рассказывала об их вопиющей небрежности как о маленькой шутке, и даже слегка похлопывала одного из них по щеке. К. решил потом сделать ей за это замечание.

— Помощники пусть останутся, — сказал К., — и помогут тебе перебраться.

Но те, конечно, были против этого: наевшись досыта и повеселев, они с удовольствием размяли бы ноги. Только после слов Фриды: «Нет, оставайтесь тут!» — они подчинились.

— А ты знаешь, куда я иду? — спросил К.

— Да, — ответила Фрида.

— И ты меня больше не удерживаешь? — спросил К.

— Ты встретишь столько препятствий, — сказала Фрида, — разве тут помогут мои слова? — Она поцеловала К. на прощанье и, так как он не обедал, дала ему с собой пакетик с хлебом и колбасой, напомнила, чтобы он возвращался уже не сюда, а прямо в школу, и, положив ему руку на плечо, проводила до дверей.

### *Глава восьмая*

### В ожидании Кламма

С начала К. был рад, что ушел из душной комнаты, от толкотни и шума, поднятого служанками и помощниками. Немного подморозило, снег затвердел, идти стало легче. Но уже начало темнеть, и он ускорил шаги.

Замок стоял в молчании, как всегда; его контуры уже таяли; еще ни разу К. не видел там ни малейшего признака жизни; может быть, и нельзя было ничего разглядеть из такой дали, и все же он жаждал что-то увидеть, невыносима была эта тишина. Когда К. смотрел на Замок, ему иногда казалось, будто он наблюдает за кем-то, а тот сидит спокойно, глядя перед собой, и не то чтобы он настолько ушел в свои мысли, что отключился от всего, — вернее, он чувствовал себя свободным и безмятежным, словно остался один на свете и никто за ним не наблюдает, и хотя он и замечает, что за ним все-таки наблюдают, но это ни в малейшей степени не нарушает его покоя; и действительно, было ли это причиной или следствием, но взгляд наблюдателя никак не мог задержаться на Замке и соскальзывал вниз. И сегодня, в ранних сумерках, это впечатление усиливалось: чем пристальнее К. всматривался туда, тем меньше видел и тем глубже все тонуло в темноте.

Только К. подошел к еще не освещенной гостинице, как в первом этаже открылось окно, и молодой, толстый, гладко выбритый господин в меховой шубе высунулся из окна. На поклон К. он не ответил даже легким кивком головы. Ни в прихожей, ни в пивном зале К. никого не встретил, запах застоявшегося пива стал еще противнее, чем раньше; конечно, на постоялом дворе «У моста» этого бы не допустили. К. сразу подошел к двери, через которую он в прошлый раз смот-

рел на Кламма, осторожно нажал на ручку, но дверь была заперта, он попытался на ощупь отыскать глазок, но заслонка, очевидно, была так хорошо пригнана, что на ощупь ее найти было нельзя, поэтому К. чиркнул спичкой. Его испугал вскрик. В углу, между дверью и стойкой, у самой печки, прикорнула молоденькая девушка, которая при вспышке спички сонно уставилась на него, с трудом открывая глаза. Очевидно, это была преемница Фриды. Но она скоро опомнилась, зажгла электричество, лицо у нее все еще было сердитое, однако тут она узнала К.

— А, господин землемер! — сказала она с улыбкой, подала ему руку и представилась: — Меня зовут Пепи. Это была маленькая краснощекая цветущая девица, ее густые, рыжевато-белокурые волосы были заплетены в толстую косу и курчавились на лбу, на ней было какое-то очень не подходящее для нее длинное гладкое платье из серой блестящей материи, внизу оно было по-детски неумело стянуто шелковым шнуром с бантом, стеснявшим ее движения. Она спросила о Фриде, скоро ли та вернется. Вопрос этот звучал довольно ехидно.

— Сразу после ухода Фриды, — добавила она, — меня вызвали сюда — нельзя же было звать кого попало! — а я до сих пор служила горничной, и вряд ли я удачно сменила место. Работа тут вечерняя, даже ночная, это очень утомительно, мне не вынести, не удивляюсь, что Фрида ее бросила.

— Фрида была тут очень довольна всем, — сказал К., чтобы наконец Пепи поняла разницу между собой и Фридой, — она, как видно, об этом не думала.

— Вы ей не верьте, — сказала Пепи. — Фрида умеет держать себя в руках, как никто. Чего она сказать не хочет, того не скажет, и никто не заметит, что ей есть в чем признаться. Сколько лет мы тут с ней служим вместе, всегда спали в одной постели, но дружить со мной она так и не стала; наверно, сейчас она обо мне и вовсе позабыла. Наверно, ее единственная подруга — старая хозяйка двора «У моста», и это тоже что-то значит.

— Фрида — моя невеста, — сказал К., тайком пытаясь нащупать глазок в двери.

— Знаю, — сказала Пепи, — поэтому и рассказываю. Иначе для вас это никакого значения не имело бы.

— Понимаю, — сказал К. — Вы полагаете, мне можно гордиться, что завоевал такую скрытную девушку.

— Да, — сказала Пепи и радостно засмеялась, как будто теперь у нее с К. состоялось какое-то тайное соглашение насчет Фриды.

Но, собственно говоря, К. занимали не ее слова, несколько отвлекавшие его от поисков глазка, а ее присутствие, ее появление тут, на том же самом месте. Конечно, она была гораздо моложе Фриды, почти ребенок, и платье у нее было смешное, наверно, она и оделась так потому, что в своем представлении преувеличивала важность обязанностей буфетчицы. И по-своему она была права, потому что это совсем для нее не подходящее место досталось ей случайно и незаслуженно, да и к тому же временно, — ей даже не доверили тот кожаный кошелек, который всегда висел на поясе у Фриды. А ее притворное недовольство своей должностью было явно показным. И все же и у этого несмышлениша, наверно, были какие-то связи с замком; ведь она, если только это не ложь, была раньше горничной; сама не понимая своей выгоды, она теряла тут день за днем, как во сне; и хотя, обняв это полненькое, чуть сутулое тельце, К. никаких преимуществ не получил бы, но как-то соприкоснулся бы с этим миром, что поддержало бы его на трудном пути. Тогда, может быть, все будет так, как с Фридой? О нет, тут все было по-другому. Стоило только подумать о взгляде Фриды, чтобы это понять. Никогда К. не дотронулся бы до Пепи. Но все же ему пришлось на минуту закрыть глаза, с такой жадностью он уставился на нее.

— Свет зажигать нельзя, — сказала Пепи и повернула выключатель, — я зажгла только потому, что вы меня страшно напугали. А что вам тут нужно? Фрида что-нибудь забыла?

— Да, — сказал К. и показал на дверь, — там, в комнате, она забыла скатерку, вязаную, белую.

— Ага, свою скатерку, — сказала Пепи, — помню, помню, красивая работа, я ей помогала вязать, но только вряд ли она может окататься там, в комнате.

— А Фрида сказала, что может. Кто там живет? — спросил К.

— Никто, — ответила Пепи, — это господская столовая, там господа едят и пьют, вернее, комнату отвели для этого, но почти все господа предпочитают сидеть наверху, в своих номерах.

— Если бы я наверно знал, что в той комнате никого нет, я бы туда зашел и сам поискал скатерть, — сказал К. — Но заранее ничего не известно, например, Кламм часто там посиживает.

— Там его наверняка нет, — сказала Пепи, — он же сейчас уезжает, сани уже ждут во дворе.

Тотчас же, ни слова не говоря, К. вышел из буфета, но в коридоре повернул не к выходу, а в обратную сторону и через несколько шагов вышел во двор. Как тут было тихо и красиво! Двор, четырехугольный, охваченный с трех сторон домом, с четвертой стороны был отгорожен от улицы высокой белой стеной с большими, тяжелыми, распахнутыми настежь воротами. Тут, со стороны двора, дом казался выше, чем с улицы, по крайней мере, тут первый этаж был достаточно высок и выглядел внушительнее, потому что по всей его длине шла деревянная галерея, совершенно закрытая со всех сторон, кроме небольшой щелочки на уровне человеческого роста. Наискось от К., почти в середине здания, ближе к углу, где примыкало боковое крыло, находился открытый подъезд без дверей. Перед подъездом стояли крытые сани, запряженные двумя лошадьми. Никого во дворе не было, кроме кучера, которого К. скорее представил себе, чем видел издалека в сумерках.

Засунув руки в карманы, осторожно озираясь и держась у стенки, К. обошел две стороны двора, пока не приблизился к саням. Кучер — один из тех крестьян, которых он видел прошлый раз в буфете, — закутанный в тулуп, безучастно следил за приближением К. — так можно было бы смотреть на появление кошки. Даже когда К. уже остановился около него и поздоровался, а лошади, встревоженные неожиданным появлением человека, забеспокоились, кучер не обратил на него никакого внимания. К. это было на руку. Прислонясь к стене, он развернул свой завтрак, с благодарностью подумал о Фриде, которая так о нем позаботилась, и заглянул в низкий, но как будто очень глубокий проход, который шел наперерез, — все было чисто выбелено, четко ограничено прямыми линиями.

Ожидание длилось дольше, чем думал К. Он давно уже справился со своим завтраком, мороз давал себя чувствовать, сумерки ступились в полную темноту, а Кламм все еще не выходил.

— Это еще долго будет, — сказал вдруг хриплый голос так близко от К., что он вздрогнул. Говорил кучер; он потянулся и громко зевнул, словно проснувшись.

— Что будет долго? — спросил К., почти обрадовавшись этому вмешательству — его уже тяготило напряженное молчание.

— Пока вы не уйдете, — сказал кучер, но, хотя К. его не понял, он переспрашивать не стал, решив, что так будет легче заставить этого высокомерного малого сказать хоть что-нибудь. Ужасно раздражало, когда в этой темноте тебе не отвечали. И действительно, после недолгого молчания кучер сказал: — Коньяку хотите?

— Да, — сказал К. не задумываясь: слишком заманчиво звучало это предложение, потому что здорово знобило.

— Тогда откройте дверцы саней, — сказал кучер, — там, в боковом кармане, несколько бутылок, возьмите одну, отпейте и передайте мне. Самому мне слезать слишком трудно, тулуп мешает.

К. очень рассердило, что пришлось выполнять такое поручение, но, так как он уже связался с кучером, он все сделал, хотя ему грозило, что Кламм может его застигнуть у саней. Он открыл широкие дверцы и мог бы сразу вытащить бутылку из внутреннего кармана на дверце, но, раз уж дверцы были открыты, его так потянуло заглянуть в сани, что он не удержался — хоть минутку, да посидеть в них. Он шмыгнул туда. Теплота в санях была поразительная, и холоднее не становилось, хотя дверцы так и остались открытыми настежь — закрыть их К. не решался. Трудно было сказать, на чем сидишь, настолько ты утопал в пледах, мехах и подушках; куда ни повернись, как ни потянись — всюду под тобой было мягко и тепло. Разбросив руки, откинув голову на подушки, лежавшие тут же, К. глядел из саней на темный дом. Почему Кламм так долго не выходит? Оглушенный теплом после долгого стояния в снегу, К. все же хотел, чтобы Кламм наконец вышел. Мысль о том, что лучше бы ему не попасться Кламму на глаза в таком положении, весьма неясно, как слабая помеха, дошла до его сознания. И этому забытию помогало поведение кучера — ведь тот должен был понять, что К. забрался в сани, но оставил его там, даже не требуя, чтобы он подал коньяк. Это было трогательно с его стороны, и К. захотел ему услужить. Оставаясь все в том же положении, он неуклюже потянулся к карману, но не на открытой дверце, а на закрытой; оказалось, что никакой разницы не было: в другом кармане тоже лежали бутылки. Он вытащил одну из них, отвинтил пробку, понюхал и невольно расплылся в улыбке: запах был такой сладкий, такой привлекательный, словно кто-то любимый похвалил тебя, приласкал добрым словом, а ты даже и не знаешь, о чем, в сущности, идет речь, да и знать не хочешь и только счастлив от одного сознания, что именно так с тобой гово-

рят. «Неужели это коньяк?» — спросил себя К. в недоумении и из любопытства отпил глоток. Да, как ни странно, это был коньяк, он обжигал и грел. Какое превращение — отопьешь, и то, что казалось только носителем нежнейшего запаха, превращается в грубый кучерский напиток! «Неужели это возможно?» — спросил себя К. и выпил еще.

И вдруг — в тот момент, когда К. сделал большой глоток, — стало светло, вспыхнуло электричество на лестнице, в подъезде, в коридоре, снаружи, над входом. Послышались шаги — кто-то спускался по лестнице; бутылка выскользнула у К. из рук, коньяк пролился на полость. К. выскочил из саней и только успел захлопнуть дверцу со страшным грохотом, как тут же из дому медленно вышел человек. К. подумал: одно утешение, что это не Кламм, впрочем, может быть, именно об этом надо пожалеть? Это был тот мужчина, которого К. уже видел в окне первого этажа. Он был молод, хорош собой, белолицый и краснощекий и к тому же весьма серьезный. И К. посмотрел на него мрачно, но эта мрачность относилась, скорее, к нему самому. Лучше бы послать сюда своих помощников: вести себя так, как он, они тоже сумели бы. Человек стоял перед ним, словно даже в его широчайшей груди не хватало дыхания, чтобы выговорить то, что он хотел.

— Это возмутительно, — сказал он наконец и сдвинул шляпу со лба. Неужели господин ничего не знал о том, что К. сидел в санях, и ему что-то другое показалось возмутительным? Не то ли, что К. вообще проник во двор?

— Как вы сюда попали? — спросил человек уже тише и вздохнул, словно подчиняясь необходимости. Что за вопросы? Что за ответы? Неужели К. сам должен объяснять этому господину, что приход сюда, с которым он связывал столько надежд, оказался безрезультатным, бесплодным? Но вместо ответа К. повернулся к саням, открыл дверцы и достал свою шапку, которую он там забыл. Ему стало неловко, когда он увидел, как на подножку каплет коньяк.

Потом он снова повернулся к этому человеку: теперь он и не собирался скрывать от него, что сидел в санях, впрочем, не это было самым худшим; но если бы его спросили, он не стал бы скрывать, что сам кучер его подговорил, во всяком случае заставил его открыть сани. Гораздо хуже было то, что этот господин застал его врасплох и он не успел спрятаться от него и спокойно подождать Кламма, плохо, что



он растерялся и не сообразил, что можно было остаться сидеть в санях, захлопнуть дверцы и там, укрывшись мехами, дожидаться Кламма или хотя бы переждать, пока господин будет находиться поблизости. Правда, кто мог знать: а вдруг сейчас должен явиться Кламм собственной персоной, а в таком случае, конечно, было бы удобнее встретить его около саней. Да, многое надо было бы обмозговать заранее, но теперь делать было нечего, все кончилось.

— Пойдемте со мной, — сказал человек не то чтобы повелительно, приказ был не в словах, а в сопровождавшем их коротком, нарочито равнодушном взмахе руки.

— Но я здесь жду кое-кого, — сказал К., уже не надеясь на успех, но желая настоять на своем.

— Пойдемте, — повторил тот совершенно невозмутимо, словно хотел показать, что он и не сомневался, что К. кого-то ждет.

— Но я не могу пропустить того, кого жду, — сказал К. и весь передернулся.

Несмотря на все случившееся, у него было такое чувство, будто он уже что-то выиграл, добился какой-то удачи, и хотя ничего осязаемого в этом выигрыше не было, отказываться от него по любому требованию К. не собирался.

— Все равно вы его пропустите, уйдете вы или останетесь, — сказал господин, и хотя слова его по смыслу были резкими, но в них чувствовалось явное снисхождение к ходу мыслей самого К.

— Тогда мне лучше ждать его тут и не дожидаться, — упрямо сказал К.

Нет, он не допустит, чтобы этот молодой человек прогнал его отсюда пустыми словами. А тот, откинув голову, на миг сосредоточенно прикрыл глаза, словно после тупости К. хотел вернуться к своим разумным мыслям, потом облизнул губы кончиком языка и, обращаясь к кучеру, сказал:

— Распрягайте лошадей.

Кучер, повинувшись этому господину, сердито покосился на К., не хотя слез в своем тулупе с козел и, словно ожидая не отмены приказа, но какой-то перемены в поведении самого К., очень нерешительно стал отводить лошадей с санями задним ходом, поближе к боковому крылу дома, где за широкими воротами, очевидно, находился каретный сарай и конюшня. К. увидел, что остался один: в одну сторону уходили сани, в другую — туда, откуда пришел сам К., — уходил

молодой человек, все двигались очень медленно, как будто подсказывая К., что в его власти позвать их обратно.

Может быть, он и обладал этой властью, но пользы от нее никакой быть не могло: вернуть на место сани значило бы прогнать самого себя отсюда. И он остался стоять единственным обитателем двора, но эта победа никакой радости ему не сулила. Он переводил взгляд то на молодого господина, то на кучера. Господин уже дошел до дверей, откуда К. впервые вышел во двор, и еще раз оглянулся. К. показалось, что он покачал головой, осуждая его бесконечное упорство, потом решительным и бесповоротным движением круто отвернулся и исчез в глубине коридора. Кучер оставался на виду гораздо дольше — ему пришлось много возиться с санями, открывать тяжелые ворота, подавать туда сани задним ходом, распрягать лошадей, ставить их в стойло; все это он проделывал серьезно, уйдя в себя, не рассчитывая, как видно, на скорый отъезд; и эта молчаливая возня без единого взгляда в сторону К. была для него гораздо более жестоким упреком, чем поведение молодого человека. Закончив свою работу, кучер медленно, вразвалку, пересек двор, запер большие ворота, потом вернулся так же медленно, глядя на свои следы в снегу, прошел к конюшне и заперся там; и сразу везде потухло электричество — для кого оно сейчас могло светить? — и только наверху, в щелке деревянной галереи, мелькала полоска света, и тут К. показалось, словно с ним порвали всякую связь, и хотя он теперь свободнее, чем прежде, и может тут, в запретном для него месте, ждать сколько ему угодно, да и завоевал он себе эту свободу, как никто не сумел бы завоевать, и теперь его не могли тронуть или прогнать, но в то же время он с такой же силой ощущал, что не могло быть ничего бессмысленнее, ничего отчаяннее, чем эта свобода, это ожидание, эта неуязвимость.

### *Глава девятая*

#### **Борьба против допроса**

**И** он сорвался с места и пошел обратно в дом, но уже не прижимаясь к стенке, а прямо посередине двора, по снегу, встретил в коридоре хозяина, который молча поздоровался с ним и показал ему на

вход в буфет; К. туда и пошел, потому что промерз и хотел видеть людей, но он был очень разочарован, когда увидел у специально поставленного столика (обычно все довольствовались бочонками) того самого молодого человека, а перед ним — это особенно расстроило К. — стояла хозяйка постоянного двора «У моста». Пепи, гордо подняв голову, с той же неизменной улыбкой, безоговорочно чувствуя всю важность своего положения и мотая косою при каждом повороте, бегала взад и вперед, принесла сначала пиво, потом чернила и перо; молодой человек, разложив перед собой на столике бумаги, сравнивал какие-то данные, которые он находил то в одной бумаге, то в другой, лежавшей в дальнем углу стола, и собирался что-то записывать. Хозяйка с высоты своего роста, слегка выпятив губы, молча, словно отдыхая, смотрела на господина и его бумаги, как будто она ему уже сообщила все, что надо, и он это благосклонно принял.

— Господин землемер, наконец-то, — сказал молодой человек, бегло взглянув на К., и снова углубился в свои бумаги. Хозяйка тоже окинула К. равнодушным, ничуть не удивленным взглядом. А Пепи как будто и заметила К., только когда он подошел к стойке и заказал рюмку коньяка.

Прислонившись к стойке, К. прикрыл глаза ладонью, не обращая ни на что внимания. Потом попробовал коньяк и отставил рюмку — пить его было невыносимо.

— А все господа его пьют, — сказала Пепи, вылила остатки коньяка, сполоснула рюмку и поставила ее на полку.

— У господ есть коньяк и получше, — сказал К.

— Возможно, — ответила Пепи, — а у меня нету. — И, отвязавшись таким образом от К., она снова пошла прислуживать молодому господину, хотя тому ничего не требовалось, и все время ходила кругами за его спиной, почтительно пытаясь заглянуть через его плечо в бумаги, но это было лишь пустое любопытство и важничанье, и хозяйка, глядя на это, неодобрительно нахмурила брови.

Вдруг хозяйка встрепенулась и, вся превратившись в слух, уставилась в пустоту. К. обернулся — ничего особенного он не услышал, да и другие как будто ничего не слышали, но хозяйка большими шагами, на цыпочках, подбежала к той двери в глубине комнаты, которая вела во двор, заглянула в замочную скважину, обернулась к остальным и, выпучив глаза и густо покраснев, поманила их к себе пальцем, и они по очереди стали смотреть в скважину, хозяйка дольше всех, но и Пепи

не была забыта; равнодушнее всех отнесся к этому молодой человек. Пеппи с ним скоро отошли, и только хозяйка напряженно подглядывала, согнувшись, почти что стоя на коленях, и впечатление было такое, будто она заклинает эту замочную скважину впустить ее туда, потому что уже давно ничего не видно. Тут она наконец поднялась, провела руками по лицу, поправила волосы, глубоко вздохнула, как будто ей сначала надо было дать глазам привыкнуть к людям в комнате, а это ей было неприятно, и тогда К. спросил — не для того, чтобы услышать в ответ что-то определенное, а для того, чтобы предупредить возможное нападение, — он стал настолько легко уязвим, что сейчас боялся чуть ли не всего.

— Значит, Кламм уже уехал?

Хозяйка молча прошла мимо него, но молодой человек у столика сказал:

— Да, конечно. Вы перестали его подкарауливать, вот он и смог уехать. Просто диву даешься, до чего он чувствителен. Вы заметили, хозяйка, как он беспокойно озирался? — Но хозяйка как будто ничего не заметила, и молодой человек продолжал: — Но, к счастью, уже ничего не было видно, кучер замел все следы на снегу.

— А хозяйка ничего не заметила, — сказал К., не то чтобы преследуя определенную цель, а просто рассердившись на безапелляционный и решительный тон этого утверждения.

— Может быть, я в ту минуту не смотрела в замочную скважину, — сказала хозяйка; прежде всего она хотела взять под защиту молодого человека, но потом решила вступить и за Кламма и добавила: — Во всяком случае, я не верю в слишком большую чувствительность Кламма. Правда, мы за него боимся и стараемся его оберегать, предполагая, что Кламм чувствителен до невозможности. Это хорошо, и такова, вероятно, его воля. Но наверняка мы ничего не знаем. Конечно, Кламм никогда не будет разговаривать с тем, с кем не желает, сколько бы тот ни старался и как бы он назойливо ни лез, но достаточно того, что Кламм никогда с ним разговаривать не станет и никогда его к себе не допустит, зачем же думать, что он не выдержит вид этого человека? Во всяком случае, доказать это нельзя, потому что этого никогда не будет.

Молодой господин оживленно закивал:

— Да, разумеется, я и сам в основном придерживаюсь такого мнения; а если я выразился несколько иначе, то лишь для того, что-

бы господину землемеру стало понятно. Но верно и то, что Кламм, выйдя из дому, несколько раз огляделся по сторонам.

— А может быть, он меня искал? — сказал К.

— Возможно, — сказал молодой человек, — это мне в голову не пришло.

Все засмеялись, а Пепи, едва ли понимавшая, что происходит, захохотала громче всех.

— Раз нам тут всем вместе так хорошо и весело, — сказал молодой человек, — я очень попрошу вас, господин землемер, дополнить мои документы кое-какими данными.

— Много же у вас тут пишут, — сказал К., издали разглядывая документы.

— Да, дурная привычка, — сказал молодой человек и опять засмеялся: — Но может быть, вы и не знаете, кто я такой. Я — Мом, секретарь Кламма по Деревне.

После этих слов в комнате наступила благоговейная тишина; хотя и хозяйка и Пепи, наверно, знали этого господина, но их словно поразило, когда он назвал свое имя и должность. И даже самого молодого человека как будто поразила важность его собственных слов, и, словно желая избежать всякой торжественности, которую неминуемо должны были вызвать эти слова, он углубился в свои документы и снова начал писать, так что в комнате был слышен только скрип пера.

— А что это такое — «секретарь по Деревне»? — спросил К. после недолгого молчания.

Вместо Мома, считавшего, очевидно, ниже своего достоинства давать объяснения после того, как он представился, ответила хозяйка:

— Господин Мом — секретарь Кламма, как и другие кламмовские секретари, но место его службы и, если я не ошибаюсь, круг его деятельности... — Тут Мом энергично покачал головой над документами, и хозяйка поправилась: — Да, так, значит, только место его службы, но не круг его деятельности ограничивается Деревней. Господин Мом обеспечивает передачу необходимых для Деревни документов от Кламма и принимает все поступающие из Деревни бумаги для Кламма.

И тогда К. посмотрел на нее пустыми глазами — его эти сведения, очевидно, никак не тронули; хозяйка, немного смутившись, добавила:

— Так у нас устроено — у всех господ есть свои секретари по Деревне.

Мом, слушавший хозяйку куда внимательнее, чем К., добавил, обращаясь к ней:

— Большинство секретарей по Деревне работают только на одного из господ, а я работаю на двоих — на Кламма и на Валлабене.

— Да, — сказала хозяйка, очевидно, припомнив этот факт, — господин Мом работает на двух господ, на Кламма и на Валлабене, значит, он дважды секретарь.

— Даже дважды! — сказал К. и кивнул Мому, который, подавшись вперед, смотрел на него очень внимательно — так одобрительно кивают ребенку, которого похвалили в глаза. И хотя в этом кивке был налет презрения, но его либо не заметили, либо приняли как должное.

Именно перед К., который не был удостоен даже мимолетного взгляда Кламма, расхваливали приближенного Кламма с явным намерением вызвать признание и похвалу со стороны К. И все же К. не воспринимал это как следовало бы; он, добивавшийся изо всех сил одного взгляда Кламма, не ценил Мома, которому разрешалось жить при Кламме, он и не думал удивляться и тем более завидовать ему, потому что для него самым желанным была вовсе не близость к Кламму сама по себе, важно было то, что он, К., только он, и никто другой, со своими, а не чьими-то чужими делами мог бы подойти к Кламму, и подойти не с тем, чтобы успокоиться на этом, а чтобы, пройдя через него, попасть дальше, в Замок.

Тут К. посмотрел на часы и сказал:

— А теперь мне пора домой.

Обстановка тут же изменилась в пользу Мома.

— Да, конечно, — сказал тот, — вас зовет долг школьного служителя. Но вам все же придется посвятить мне минутку. Всего два-три коротких вопроса...

— А мне неохота, — сказал К. и хотел пойти к выходу.

Но Мом хлопнул папкой по столу и воскликнул:

— Именем Кламма я требую, чтобы вы ответили на мои вопросы!

— Именем Кламма? — повторил К. — Разве мои дела его интересуют?

— Об этом я судить не могу, — сказал Мом, — а вы, наверно, и недавно, так что давайте спокойно предоставим это ему самому. Однако

в качестве должностного лица, назначенного Кламмом, я вам предлагаю остаться и ответить на вопросы.

— Господин землемер, — вмешалась хозяйка, — я остерегаюсь давать вам еще какие-либо советы, ведь мои прежние советы, притом самые что ни на есть благожелательные, вы встретили неслыханным отпором, и скрывать нечего, я пришла сюда к господину секретарю только затем, чтобы, как и подобает, сообщить начальству о вашем поведении и ваших намерениях и оградить себя навсегда от вашего вселения в мой дом, вот какие у нас с вами отношения, их уже, как видно, ничем не изменить, и если я теперь высказываю свое мнение, то вовсе не затем, чтобы помочь вам, а для того, чтобы хоть немного облегчить господину секретарю трудную задачу — иметь дело с таким человеком, как вы. Но, несмотря на это, и вы можете, если захотите, извлечь какую-то пользу из моих слов благодаря моей полной откровенности, а иначе чем откровенно я с вами разговаривать не могу, и вообще мне противно разговаривать с вами. Так вот, прежде всего я должна обратить ваше внимание на то, что единственный путь, который может привести вас к Кламму, идет через протоколы. Не хочу преувеличивать — может быть, и этот путь не приведет вас к Кламму, а может быть, и этот путь оборвется, не дойдя до него, тут уж зависит от благожелательности господина секретаря. Во всяком случае, это единственный путь, который ведет вас хотя бы по направлению к Кламму. И от этого единственного пути вы хотите отказаться без всякой причины, просто из упрямства?

— Эх, хозяйка, — сказал К., — и вовсе это не единственный путь к Кламму, и ничего он не стоит, как и все другие пути. Значит, вы, господин секретарь, решаете, можно ли довести до сведения Кламма то, что я тут скажу, или нет?

— Безусловно, — сказал Мом и гордо поглядел направо и налево, хотя смотреть было не на что. — Зачем же тогда быть секретарем?

— Вот видите, хозяйка, — сказал К., — оказывается, мне надо искать пути вовсе не к Кламму, а сначала к его секретарю.

— Я вам и хотела помочь найти этот путь, — сказала хозяйка. — Разве я вам утром не предлагала передать вашу просьбу Кламму? А передать ее можно было бы через господина секретаря. Однако вы отказались, и все же вам другого пути, кроме этого, не останется. Правда, после вашей сегодняшней выходки, после попытки заставить Кламма врасплох, надежды на успех почти что не осталось. Но ведь,

кроме этой последней, ничтожной, исчезающей, почти не существующей надежды, у вас ничего нет.

— Как же так выходит, хозяйка, — сказал К., — сначала вы настойчиво старались меня отговорить от попытки проникнуть к Кламму, а теперь принимаете мою просьбу всерьез и даже считаете, что если мои планы сорвутся, то я пропал. Если вы раньше могли чистосердечно уговаривать меня ни в коем случае не добиваться встречи с Кламмом, как же теперь вы как будто с такой же искренностью просто-таки толкаете меня на путь к Кламму, хотя, может быть, этот путь вовсе к нему и не ведет?

— Разве я вас куда-то толкаю? — спросила хозяйка. — Разве это называется толкать на какой-то путь, если я вам прямо говорю, что все попытки безнадежны! Ну знаете, если у вас хватает нахальства сваливать всю ответственность на меня, то дальше ехать некуда. Может быть, присутствие господина секретаря вас так раззадорило? Нет, господин землемер, никуда я вас не толкаю. В одном только могу признаться: может быть, я вас на первый взгляд немного переоценила. Ваша молниеносная победа над Фридой меня испугала, я не знала, на что вы еще способны, хотела предотвратить еще какую-нибудь беду и решила: чем же еще можно попытаться вас прошибить, как не угрозами и не просьбами. Но теперь я уже научилась относиться ко всему спокойнее. Делайте все, что вам вздумается, может быть, от ваших попыток останутся там, во дворе, на снегу, глубокие следы, но больше ничего не выйдет.

— Свои противоречивые слова вы мне совсем не разъяснили, но я хотя бы указал вам на эти противоречия, и то хорошо. А теперь я прошу вас, господин секретарь, скажите мне, правильно ли утверждение хозяйки, что, дав показания, которые вы от меня требуете, я получу разрешение явиться к Кламму. Если так, то я готов ответить на любые вопросы. В этом отношении я вообще на все готов.

— Нет, — сказал Мом. — Никакой связи тут нет. Речь идет только о том, чтобы получить точное описание сегодняшнего дня для регистрации Кламма в Деревне. Описание уже готово, вам остается только для порядка заполнить два-три пробела; никакой другой цели тут нет и быть не может.

К. молча посмотрел на хозяйку.

— Чего вы на меня смотрите? — сказала она. — Разве я вам говорила что-нибудь другое? И так всегда, господин секретарь, всегда так.



Искажает сведения, которые получает, а потом говорит, что ему дают неверные сведения. Я ему твержу с самого начала, и сегодня и всегда буду твердить, что у него нет ни малейшей возможности попасть на прием к Кламму. Значит, раз никакой возможности нет, то и протоколы ему тут не помогут. Что может быть яснее и проще? Дальше я ему говорю: этот протокол — единственная служебная связь с Кламмом, которая ему доступна, и это совершенно ясно и неоспоримо. Но так как он мне не верит и настойчиво — не знаю, зачем и почему, — надеется проникнуть к Кламму, тогда, если следовать ходу его мыслей, ему может помочь единственная настоящая служебная связь, которая у него установится с Кламмом, то есть этот протокол. Вот все, что я сказала, а кто утверждает другое, тот нарочно искажает мои слова.

— Если так, хозяйка, — сказал К., — то прошу прощения: значит, я вас не понял, дело в том, что из ваших прежних слов я сделал ошибочный вывод, как теперь выяснилось, будто для меня все-таки существует какая-то малюсенькая надежда.

— Конечно, — сказала хозяйка, — я так и считаю, но вы опять переверкиваете мои слова, только уже в обратном смысле. Такая надежда для вас, по моему мнению, существует, и основана она, разумеется, только на этом протоколе. Но, конечно, дело не сводится к тому, чтобы приставать к господину секретарю.

— А если я отвечу на вопросы, можно мне тогда видеть Кламма?

— Если так спрашивает ребенок, то над ним только смеются, а если взрослый, то он этим наносит оскорбление администрации, и господин секретарь милостиво смягчил обиду своим тонким ответом. Но надежда, про которую я говорю, именно и состоит в том, что вы через этот протокол как-то связываетесь, вернее, быть может, как-то связываетесь с Кламмом. Разве такой надежды вам мало? А если вас спросить, какие у вас есть заслуги, за которые судьба преподносит вам в подарок эту надежду, то сможете ли вы хоть на что-нибудь указать? Правда, ничего более определенного об этой надежде сказать нельзя, и господин секретарь по своему служебному положению никогда ни малейшим намеком об этом не выскажется. Как он уже говорил, его дело — для порядка описать сегодняшние события, больше он вам ничего не скажет, даже если вы сейчас, после моих слов, его спросите.

— Скажите, господин секретарь, — спросил К., — а Кламм будет читать этот мой протокол?

— Нет, — сказал Мом, — зачем? Не может же Кламм читать все протоколы, он их вообще не читает. «Не лезьте ко мне с вашими протоколами», — говорит он всегда.

— Ах, господин землемер, — жалобно сказала хозяйка, — вы меня замучили вашими вопросами. Неужели необходимо или хотя бы желательно, чтобы Кламм читал этот протокол и подробно узнал все ничтожные мелочи вашей жизни, не лучше ли вам смиренно попросить, чтобы протокол скрыли от Кламма, хотя, впрочем, эта просьба была бы так же неразумна, как и ваша другая, — кто же сумеет скрыть что-нибудь от Кламма? Зато в ней хотя бы проявились хорошие стороны вашего характера. Но разве это нужно для поддержания того, что вы зовете вашей надеждой? Разве вы сами не сказали, что будете довольны, если вам представится возможность высказаться перед Кламмом, даже если он не будет на вас смотреть и вас слушать? И разве при помощи этого протокола вы не добьетесь хотя бы этого, а может быть, и гораздо большего?

— Гораздо большего? — спросил К. — Каким же образом?

— Хоть бы вы не требовали, как ребенок, чтобы вам все сразу клали в рот, как лакомство. Ну кто может вам ответить на такие вопросы? Протокол попадает в регистратуру Кламма тут, в Деревне, это вы уже слышали, а больше ничего определенного сказать нельзя. Но понимаете ли вы все значение протоколов господина секретаря и сельской регистратуры? Знаете ли вы, что это значит, когда господин секретарь вас допрашивает? Вероятно, он и сам этого не знает, все может быть. Он спокойно сидит здесь, выполняет свой долг порядка ради, как он сам сказал. Но вы только учтите, что назначен он Кламмом, работает от имени Кламма; хотя его работа, может быть, никогда до Кламма не дойдет, но она заранее получила одобрение Кламма. А разве что-нибудь может получить одобрение Кламма, если оно не исполнено духа Кламма? Я вовсе не собираюсь грубо льстить господину секретарю, да он и сам бы возражал против этого, но я говорю не о нем лично, а о том, что он собой представляет, когда действует как сейчас — с одобрения Кламма: тогда он орудие в руках Кламма, и горе тому, кто ему не подчиняется.

Угрозы хозяйки не испугали К., но ему наскучили разговоры, которыми она пыталась его подловить. Кламм был далеко. Как-то хозяйка сравнила Кламма с орлом, и К. тогда показалось это смешным, но теперь он ничего смешного в этом уже не видел: он думал о страш-

ной дали, о недоступном жилище, о нерушимом безмолвии, прерываемом, быть может, только криками, каких К. никогда в жизни не слышал, думал о пронзительном взоре, неуловимом и неповторимом, о невидимых кругах, которые он описывал по непонятным законам, мелькая лишь на миг над глубиной внизу, где находился К., — и все это роднило Кламма с орлом. Но, конечно, это не имело никакого отношения к протоколу, над которым Мом только что разломал соленую лепешку, закусывая пиво и осыпая все бумаги тмином и крупинками соли.

— Спокойной ночи, — сказал К. — У меня отвращение к любому допросу.

— Смотрите, он уходит, — почти испуганно сказал Мом хозяйке.

— Не посмеет он уйти, — ответила та, но К. больше ничего не слышал, он уже вышел в переднюю. Было холодно, дул резкий ветер. Из двери напротив показался хозяин; как видно, он наблюдал за передней оттуда через глазок. Ему пришлось плотнее запахнуть пиджак, даже тут, в помещении, ветер рвал на нем платье.

— Вы уходите, господин землемер? — поинтересовался он.

— Вас это удивляет? — спросил К.

— Да. Разве вас не будут допрашивать?

— Нет, — сказал К. — Я не дал себя допрашивать.

— Почему? — спросил хозяин.

— А почему я должен допустить, чтобы меня допрашивали, зачем мне подчиняться шуткам или прихотям чиновников? Может быть, в другой раз, тоже в шутку или по прихоти, я и подчинюсь, а сегодня мне неохота.

— Да, конечно, — сказал хозяин, но видно было, что соглашается он из вежливости, а не по убеждению. — А теперь пойду впускать господских слуг в буфет, их время давно пришло, я только не хотел мешать допросу.

— Вы считаете, что это так важно? — спросил К.

— О да! — ответил хозяин.

— Значит, мне не стоило отказываться? — сказал К.

— Нет, не стоило! — сказал хозяин. И так как К. промолчал, он добавил то ли в утешение К., то ли желая поскорее уйти: — Ну ничего, из-за этого кипящая смола с неба не прольется.

— Верно, — сказал К. — Погода не такая.

Оба засмеялись и разошлись.

## Глава десятая

## На дороге

**К.** вышел на крыльцо под пронзительным ветром и взгляделся в темноту. Злая, злая непогода. И почему-то в связи с этим он снова вспомнил, как хозяйка настойчиво пыталась заставить его подчиниться протоколу и как он устоял. Правда, пыталась она исподтишка и тут же отваживала его от протокола; в конце концов трудно было разобраться, устоял ли он или же, напротив, поддался ей. Интриганка она по натуре и действует, по-видимому, бессмысленно и слепо, как ветер, по каким-то дальним чужим указаниям, в которые никак проникнуть нельзя.

Только он прошел несколько шагов по дороге, как вдали замерцали два дрожащих огонька; К. обрадовался этим признакам жизни и заторопился к ним, а они тоже плыли ему навстречу. Он сам не понял, почему он так разочаровался, узнав своих помощников. Ведь они шли встречать его; как видно, их послала Фрида, и фонари, высвободившие его из темноты, гудевшей вокруг него, были его собственные, и все же он был разочарован, потому что ждал чужих, а не этих старых знакомцев, ставших для него обузой. Но не одни помощники шли ему навстречу, из темноты появился Варнава.

— Варнава! — крикнул К. и протянул ему руку. — Ты ко мне? — Обрадованный встречей, К. совсем позабыл неприятности, которые ему причинил Варнава.

— К тебе, — как прежде, с неизменной любезностью сказал Варнава. — С письмом от Кламма.

— С письмом от Кламма! — крикнул К., вскинув голову, и торопливо схватил письмо из рук Варнавы. — Посветите! — бросил он помощникам, и они прижались к нему справа и слева, высоко подняв фонари. К. пришлось сложить письмо в несколько раз — ветер рвал большой лист из рук. Вот что он прочел: «Господину землемеру. Постоялый двор «У моста». Землемерные работы, проведенные вами до настоящего времени, я одобряю полностью. Также и работа ваших помощников заслуживает похвалы. Вы умело приучаете их к работе. Продолжайте трудиться с тем же усердием! Успешно завершите начатое дело. Перебои вызовут мое недовольство. Об остальном не беспокойтесь — вопрос об оплате будет решен в ближайшее время. Вы всегда под моим контролем». К. не отрывал глаз от письма, пока помощ-

ники, читавшие гораздо медленнее, трижды негромко не крикнули «ура!», размахивая фонарями в честь радостных известий.

— Спокойно! — сказал К. и обратился к Варнаве. — Вышло недоразумение! — сказал он, но Варнава его не понял. — Вышло недоразумение, — повторил он, и снова на него напала прежняя усталость, дорога к школе показалась далекой, за Варнавой вставала вся его семья, а помощники все еще так напирали, что пришлось оттолкнуть их локтями; и как это Фрида могла послать их ему навстречу, когда он велел им остаться у нее. Дорогу домой он и сам нашел бы, даже легче, чем в их обществе. А тут еще у одного из них на шее размотался шарф, и концы развевались по ветру и уже несколько раз попали К. по лицу, правда, второй помощник тут же отводил их от лица К. своими длинными, острыми, беспрестанно шевелящимися пальцами, но это не помогало. Видно, им обоим даже нравилась эта игра, да и вообще ветер и тревожная ночь привели их в возбуждение.

— Прочь! — крикнул К. — Почему же вы не захватили мою палку, раз вы все равно вышли меня встречать? Чем же мне теперь гнать вас домой?

Помощники спрятались за спину Варнавы, но, как видно, не очень испугались, потому что ухитрились опереть свои фонари на правое и левое плечо своего начальника, правда, он сразу их стряхнул.

— Варнава, — сказал К., и у него стало тяжело на душе оттого, что Варнава явно его не понимал и что, хотя в спокойные часы его куртка приветливо поблескивала, но, когда дело шло о серьезных вещах, помощи от него не было — только немое сопротивление, то сопротивление, с которым нельзя было бороться, потому что и сам Варнава был беззащитен, и хоть он весь светился улыбкой, помощи от него было не больше, чем от света звезд в вышине против бури тут, на земле. — Взгляни, что мне пишет этот господин, — сказал К. и сунул письмо ему под нос. — Его неправильно информировали. Я никаких землемерных работ не производил, и ты сам видишь, чего стоят мои помощники. Правда, перебои в работе, которая не производится, никак невозможны, значит, даже неудовольствия этого господина я вызвать не могу, а уж об одобрении и говорить нечего. Но и успокоиться я тоже никак не могу.

— Я все передам, — сказал Варнава, который все время глядел поверх письма, прочесть его он все равно не мог, так как листок был слишком близко к его лицу.

— Эх, — сказал К. — Ты все время мне обещаешь, что все передашь, но разве я могу тебе действительно поверить? А мне так нужен надежный посланец сейчас больше, чем когда-либо. — К. в нетерпении закусил губу.

— Господин, — сказал Варнава и ласково наклонил голову, так что К. чуть было снова не поддался соблазну поверить ему. — Конечно, я все передам.

— Как? — воскликнул К. — Ты еще ничего не передал? Разве ты не был в Замке на следующий день?

— Нет, — сказал Варнава, — мой отец стар, ты ведь сам его видел, а работы там как раз было много, пришлось мне помогать ему, но теперь я скоро опять пойду в Замок.

— Да что же ты наделал, нелепый ты человек! — крикнул К. и хлопнул себя по лбу. — Не знаешь, что дела Кламма важнее всех других дел? Занимаешь высокую должность посланца и так безобразно выполняешь свои обязанности? Кому есть дело до работы твоего отца? Кламм ждет сведений, а ты, вместо того чтобы лететь со всех ног, предпочитаешь выгрести навоз из хлева.

— Нет, мой отец — сапожник, — невозмутимо сказал Варнава, — у него заказ от Брунсвика, а я ведь у отца подмастерьем.

— Сапожник, заказ, Брунsvик! — с ненавистью повторил К., словно навеки изничтожая каждое это слово. — Да кому нужны сапоги на ваших пустых дорогах? Все вы тут сапожники, но мне-то какое дело? Я тебе доверил важное поручение не затем, чтобы ты, сидя за починкой сапог, все позабыл и перепутал, а чтобы ты немедленно передал все своему господину.

Тут К. немного стих, вспомнив, что Кламм, вероятно, все это время находился не в Замке, а в гостинице, но Варнава, желая доказать, как он хорошо помнит первое поручение К., стал повторять его наизусть, и К. снова рассердился.

— Хватит, я ничего знать не желаю, — сказал он.

— Не сердись на меня, господин, — сказал Варнава и, словно желая бессознательно наказать К., отвел от него взгляд и опустил глаза в землю — впрочем, может быть, он просто растерялся от крика.

— Я на тебя вовсе не сержусь, — сказал К., уже пеняя на себя за весь этот шум. — Не на тебя я сержусь, но уж очень мне не повезло, что у меня такой посланец для самых важных дел.

— Слушай! — сказал Варнава, и казалось, что, защищая свою

честь, он говорит больше, чем следует. — Ведь Кламм не ждет никаких известий и даже сердится, когда я прихожу. «Опять известия!» — сказал он как-то, а по большей части он как увидит издали, что я подхожу, так встает и уходит в соседнюю комнату и меня не принимает. И вообще, нигде не сказано, чтобы я сейчас же являлся с каждым новым поручением; если бы было сказано, я бы уж непременно являлся, но об этом ничего не сказано; если бы я даже совсем не явился, мне бы и замечания не сделали. Если я и передаю поручения, то только по своей доброй воле.

— Хорошо, — сказал К., пристально наблюдая за Варнавой и стараясь не обращать внимания на помощников: те по очереди медленно, словно подымаясь откуда-то снизу, высовывались из-за плеча Варнавы и с коротким свистом, подражая ветру, быстро ныряли за его спину, словно испугавшись К., — так они развлекались все время. — Не знаю, как там полагается у Кламма, сомневаюсь, что ты все точно понимаешь, и даже если бы понимал, то мы вряд ли могли бы что-нибудь изменить. Но передать поручение ты можешь, об этом я тебя и прошу. Совсем короткое поручение. Можешь ты его передать завтра, с утра, и сразу, завтра же, принести мне ответ или, по крайней мере, сообщить, как тебя там приняли? Можешь ли и хочешь ли ты сделать это? Ты мне окажешь огромную услугу. А может быть, и у меня будет случай отблагодарить тебя как следует, может быть, я и сейчас могу выполнить какое-нибудь твое желание?

— Конечно, я выполню твое поручение, — сказал Варнава.

— И постарайся выполнить его как можно лучше; передай все самому Кламму, получи ответ от него самого, и все это поскорее, завтра, с самого утра. Скажи, постарайся?

— Постараюсь, как могу, — сказал Варнава, — но ведь я всегда стараюсь.

— Давай не будем сейчас спорить, — сказал К. — Вот мое поручение: землемер К. просит у господина начальника разрешения явиться к нему лично и заранее принимает все условия, связанные с таким разрешением. Он вынужден обратиться с этой просьбой, потому что до сих пор все посредники оказались несостоятельными; в доказательство достаточно привести то, что он до сих пор не выполнил ни малейшей землемерной работы и, судя по заявлению старосты, никогда выполнить ее не сможет, потому он со стыдом и отчаянием прочел последнее письмо господина начальника, и только личное

свидание с господином начальником тут поможет. Землемер понимает, насколько велика его просьба, но он приложит все усилия, чтобы как можно меньше беспокоить господина начальника, и согласен подчиниться любому ограничению во времени, а если сочтут необходимым, то пусть установят то количество слов, которое ему будет разрешено произнести при переговорах, он полагает, что сможет обойтись всего десятью словами. С глубоким почтением и чрезвычайным нетерпением он ожидает ответа. — В забывчивости К. говорил так, будто стоит перед дверью Кламма и обращается к дежурному у дверей. — Вышло куда длиннее, чем я думал, — сказал он, — но ты должен все передать устно, писать письмо я не хочу, оно опять пойдет по бесконечным канцеляриям.

И К. только нацарапал все на листке бумаги, положив его на спину одного из помощников, пока другой светил фонарем, но писал он уже под диктовку Варнавы — тот все запомнил и по-школярски точно все повторил, не обращая внимания на неверные подсказки помощников.

— Память у тебя великолепная, — сказал К. и отдал ему листок. — Пожалуйста, прояви себя так же великолепно и во всем остальном. А чего ты пожелаешь? Неужели у тебя никаких желаний нет? Скажу откровенно: я был бы спокойнее за судьбу своего поручения, если бы ты высказал какие-нибудь пожелания.

Сначала Варнава молчал, потом сказал:

— Мои сестры тебе кланяются.

— Твои сестры? — сказал К. — Ага, помню, такие крепкие высокие девушки.

— Обе тебе кланяются, — сказал Варнава, — но особенно Амалия, это она мне принесла сегодня письмо для тебя из Замка.

Ухватившись за эти слова — остальное ему было неважно, — К. спросил:

— А она не могла бы передать мое поручение в Замок? Может быть, вы пойдете вдвоем, попытаете счастья по очереди?

— Амалии не разрешается входить в канцелярию, — сказал Варнава, — а то она с удовольствием бы все сделала.

— Может быть, я завтра к вам зайду, — сказал К. — Только раньше ты приходи с ответом. Буду ждать тебя в школе. Кланяйся и ты от меня своим сестрицам.

Казалось, Варнава был просто осчастливлен обещанием К., и по-



сле прощального рукопожатия он еще мельком погладил К. по плечу. И словно стало все как прежде, когда Варнава во всем блеске появился среди крестьян на постоялом дворе; К., хотя и с улыбкой, принял этот жест как награду. И, смягчившись, он уже на обратном пути не мешал помощникам делать все, что им заблагорассудится.

### *Глава одиннадцатая*

#### **В школе**

**О**н подошел к дому, промерзнув насквозь; везде было темно, свечи в фонарях догорели, и он ощупью пробрался в школьный класс, следуя за помощниками, которые тут уже хорошо ориентировались.

— Теперь вас впервые можно похвалить, — сказал он им, вспомнив о письме Кламма.

Из угла раздался сонный голос Фриды:

— Дайте К. выспаться! Не мешайте ему! — Значит, К. был у нее в мыслях все время, хотя ее одолел сон и ждать его она не стала.

Зажегся свет; однако лампа горела слабо, керосину в ней было мало. У молодой пары вообще многого не хватало. Правда, печь была вытоплена, но большая комната, служившая также гимнастическим классом — гимнастические снаряды стояли по стенам и спускались с потолка, — поглотила весь запас дров, и хотя все уверяли К., что тут было очень тепло, но сейчас, к сожалению, все уже выстыло. В сарае лежал большой запас дров, но сарай был заперт, а ключ унес учитель, разрешив брать дрова только на топку во время занятий. Все было бы терпимо, будь тут кровати, куда можно было бы забраться. Но ничего тут не было, кроме единственного соломенного тюфяка, правда, очень чистого, накрытого Фридиным шерстяным платком, без пуховой перины, только с двумя грубыми жесткими одеялами, которые почти не грели. И даже на этот жалкий тюфяк помощники зарились с вождением, хотя, конечно, и не надеялись улечься на него. Фрида смотрела на К. испуганными глазами: она ведь доказала, что может навести уют даже в такой жалкой комнатенке, как там, на постоялом дворе «У моста», но здесь без денег ничего не могла устроить.

— Одно у нас украшение в комнате — гимнастические снаряды, — сказала она с вымученной улыбкой. Но Фрида обещала, что завтра же найдет выход и наверняка устранит главные недостатки — плохую постель и нехватку топлива, и потому просит К. потерпеть. Ни одним словом, ни одним намеком или жестом она не показала, что испытывает в душе хоть малейшую горечь против К., несмотря на то что он, по собственному признанию, увел ее сначала из господской гостиницы, а теперь и с постоянного двора. Потому К. и старался со всем примириться, кстати, ему это было не так уж трудно; он мысленно шел по следам Варнавы и слово в слово повторял свое поручение, но не так, как он твердил эти слова Варнаве, а так, как, по его мнению, их воспримет Кламм. Но при этом он искренне обрадовался, когда Фрида сварила ему кофе на спиртовке, и, прислонясь к остывающей печке, внимательно следил, как она ловкими, умелыми движениями постелила на учительскую кафедру обязательную белую скатерть, поставила цветастую чашку и рядом с ней — хлеб, сало и даже баночку сардин. Все было готово — оказывается, Фрида сама еще не ела и ждала К. Нашлось два стула, К. с Фридой сели к столу, а помощники — у их ног на подмостках кафедры, но они никак не могли усидеть спокойно и даже мешали есть. Хотя им всего уделили вполне достаточно и они еще не справились со своей порцией, но то и дело привставали и заглядывали на стол — много ли там еще осталось и дадут ли им еще чего-нибудь. К. совершенно их не замечал, и только Фридин смех заставил его обратить на них внимание. Он ласково прикрыл рукой ее руку на столе и тихо спросил, почему она им все спускает и даже к их выходкам относится снисходительно. Так никогда нельзя будет от них избавиться, а вот если бы отнестись к их поведению по заслугам, то они либо приутихнут, либо — и это еще вероятнее и еще бы лучше — так невзлюбят свою службу, что наконец сбегут. Очевидно, ничего приятного жизнь в школе не обещает, впрочем, долго это не протянется, но все недочеты были бы едва заметны, если бы только убрались помощники и они с Фридой остались вдвоем в тихом доме. Неужто она не замечает, что они становятся день ото дня нахальнее, выходит так, будто их подбодряет присутствие Фриды, видно, они надеются, что при ней К. не станет обходиться с ними так круто, как следовало бы. Должно быть, все-таки есть какие-то совсем простые средства, чтобы избавиться от них сию минуту, при любых обстоятельствах. Может быть, даже Фрида знает, как это осуществ-

вить, — ведь ей хорошо знакомы здешние условия. Да и самим помощникам будет лучше, если их прогонят: жизнь тут у них не особенно обеспеченна, а лениться, как они привыкли, им, во всяком случае, тут не придется, надо будет работать, потому что Фриде после всех волнений предыдущих дней нужно себя щадить, а он, К., будет занят поисками выхода из этого скверного положения. И все же, если помощники уйдут, у него на душе станет настолько легче, что он без труда сможет выполнять всю работу по школе наравне с другими делами.

Фрида, выслушав все очень внимательно, тихонько погладила его руку и сказала, что она того же мнения, но что он, по-видимому, принимает выходки помощников слишком всерьез: ребята они молодые, веселые и простоватые, впервые попали на службу к приезжему, вырвавшись из строгой дисциплины Замка, поэтому они и возбуждены и слегка огорошены и в этом состоянии делают много глупостей, и хотя вполне понятно, что они вызывают раздражение, но лучше бы над ними просто посмеяться. Она сама иногда не может удержаться от смеха. Однако она вполне согласна с К., что лучше всего было бы их отправить и остаться вдвоем, наедине: Она придвинулась к К. поближе и спрятала лицо у него на плече. И пробормотала так неразборчиво, что К. пришлось наклониться к ней, что, к сожалению, она никакого средства избавиться от помощников не знает и боится, что все предложения К. будут бесполезны. Насколько ей известно, К. сам попросил их прислать, теперь он их получил и должен держать. Лучше всего принимать их не всерьез, а такими, какие они есть, — легкомысленные ребята.

Но К. был недоволен таким ответом; полушутливо, полусерьезно он сказал, что Фрида, как видно, с ними в сговоре или, во всяком случае, очень к ним благоволит, конечно, они красавчики, но нет таких людей, от которых при желании немислимо избавиться, и он ей это докажет именно на помощниках.

Фрида сказала, что будет ему очень благодарна, если это удастся. Кстати, теперь она больше над ними смеяться не будет и ни одного лишнего слова им не скажет. Да и ничего смешного нет, и действительно, это не пустяк, когда за тобой все время наблюдают двое мужчин; теперь она все поняла и смотрит на них глазами К. И она вправду вздрогнула, когда один из помощников высунулся из-под стола, отчасти — проверить, есть ли в запасе еда, отчасти — чтобы понять, о чем они все время шепчутся.

К. воспользовался этим, чтобы отвлечь Фриду от помощников; он привлек ее к себе, и они окончили ужин, тесно прижавшись друг к другу. Теперь надо было ложиться спать, все очень устали, один из помощников уже заснул над куском, что очень рассмешило второго, он все пытался заставить своих господ полюбоваться на дурацкую физиономию спящего, но ему это не удавалось: К. и Фрида безучастно сидели за столом. Лечь они не решались — холод в комнате становился все невыносимее; наконец К. заявил, что необходимо протопить, иначе спать невозможно. Он спросил, нет ли топора, помощники знали, где его найти, тут же принесли топор, и все отправились к сараю. В скором времени легкая дверь была взломана, и помощники пришли в такой восторг, будто они никогда в жизни ничего лучшего не видели, и стали таскать дрова в комнату, толкаясь и обгоняя друг друга. Скоро там выросла целая груда, печку затопили, все расположились вокруг нее, помощникам было выдано одеяло, в него можно было завернуться, этого вполне хватало, потому что, по уговору, один из них должен был дежурить, поддерживая огонь, и скоро у печки стало так жарко, что и одеяло не понадобилось, лампу потушили, и, радуясь теплу и тишине, Фрида и К. уснули.

Но когда К. проснулся ночью от какого-то шума и сонным, нерешительным движением потянулся к Фриде, он почувствовал, что вместо Фриды рядом с ним лежит один из его помощников. Вероятно, от волнения, которое возникает, если человека внезапно разбудят, К. испытал такой ужас, какого он не испытывал с самого своего прихода в Деревню. С криком он приподнялся и бессознательно так двинул помощника кулаком, что тот заплакал. Но все быстро разъяснилось. Оказывается, Фриду разбудило ощущение — а может быть, ей показалось, — что какое-то животное, наверно кошка, прыгнуло к ней на грудь. Она встала и со свечой в руке обыскала всю комнату. Этим воспользовался один из помощников, чтобы хоть немножко полежать на удобном тюфяке, в чем он теперь горько раскаивался. Фрида так ничего и не нашла, возможно, ей все померещилось, она вернулась к К. и по дороге, словно забыв вечерний разговор, ласково погладила по голове плачущего помощника, прикорнувшего в углу. К. ничего на это не сказал, он только велел помощникам больше не топить — уже вышли почти все дрова и в комнате стало слишком жарко.

Утром все проснулись, только когда прибежали первые школьники и с любопытством обступили их постели. Это было очень неприятно, потому что к утру в комнате стало так жарко, что все разделись до белья, и как раз в ту минуту, когда они стали одеваться, появилась Гиза — учительница, белокурая, высокая и красивая, но немного чопорная девица. Очевидно, она уже знала о новом школьном слуге и, должно быть, получила от учителя указания, как себя с ним вести, потому что уже с порога сказала:

— Этого я не потерплю. Хорошие дела тут творятся. Вам разрешили ночевать в классе, но я-то не обязана вести занятия в вашей спальне. Фу, безобразие — семейство школьного сторожа до полудня валяется в кровати.

Конечно, ей можно было возразить, особенно насчет семейства и кроватей, подумал К., и так как от помощников никакого толку не было — те, лежа на полу, с любопытством глазели на учительницу и ребят, — К. с Фридой торопливо пододвинули брусья к коню и, завесив их одеялами, отгородили уголок, где, спрятавшись от взглядов школьников, можно было, по крайней мере, одеться. Но и теперь у них не было ни минуты покоя; сначала учительница бранилась, почему в умывальнике нет свежей воды, — К. только что собирался принести воды для себя и для Фриды, но решил обождать, чтобы не очень раздражать учительницу; однако и это не помогло: вдруг раздался страшный грохот — к несчастью, они забыли убрать с кафедры остатки ужина, учительница размахнулась линейкой, и все полетело на пол; ей и дела не было, что масло из-под сардинок и остатки кофе разлились лужей, а кофейник разбился вдребезги, — на это ведь был сторож, уборка — его дело. Но К. и Фрида, еще полураздетые, прислонясь к коню, смотрели, как гибнет их имущество; помощники, которые, очевидно, и не думали одеваться, выглядывали из-под одеял к великому удовольствию ребятишек. Больше всего, конечно, Фрида горевала над кофейником, и только когда К., ей в утешение, уверил ее, что немедленно пойдет к старосте и потребует замены и, конечно, получит ее, она взяла себя в руки и в одной рубашке и нижней юбке выскочила из-за загородки, чтобы хотя бы подобрать одеяло и не дать ему запачкаться. Это ей удалось, хотя учительница, желая ее отпугнуть, непрерывно колотила линейкой по кафедре, подымая оглушительный грохот. Фрида и К. оделись и взялись за помощников — те совсем обалдели от шума; пришлось не только угрозами

и толчками заставить их одеться, но и самим их одевать. Когда все были готовы, К. распределил обязанности. Первым делом он поручил помощникам принести дров и затопить в соседнем классе, оттуда грозила главная опасность, потому что там, вероятно, уже ждал сам учитель. Фрида должна была вымыть пол, а К. — принести воду и сделать общую уборку. О завтраке пока что и думать было нечего. Чтобы проверить настроение учительницы, К. решил выйти первым, а остальные должны были пойти за ним, когда он их позовет. Поступить так он решил, во-первых, потому, что не хотел ухудшать положение из-за глупости помощников, а во-вторых, он хотел как можно больше щадить Фриду: она была самолюбива, он — ничуть, она обижалась, он — нет, она думала только о тех мелких гадостях, которые сейчас происходили, а он был весь в мыслях о Варнаве и своем будущем. Фрида точно выполнила все его указания, не спуская с него глаз. Но как только он вышел из-за загородки, учительница под смех детей, который уже не прекращался, крикнула:

— Что, все наконец выпались? — И когда К., ничего не ответив — в сущности, к нему прямо и не обращались, — пошел к умывальнику, учительница спросила: — Что вы сделали с моей киской?

Огромная старая жирная кошка лениво растянулась на столе, и учительница осматривала ее слегка ушибленную лапу. Значит, Фрида была права, и хотя кошка на нее не прыгала — куда ей было прыгать! — но, видно, наткнувшись ночью на людей в обычно пустом доме, с перепугу повредила себе лапу. К. попытался спокойно объяснить все это учительнице, но ее интересовал лишь результат, и она сказала:

— Ну конечно, вы ее искалечили, вот с чего вы тут начали. Смотрите! — Подозвав К. на кафедру, она показала ему лапу, и не успел он опомниться, как она провела кошачьей лапой по его руке, и хотя когти у кошки были тупые, но учительница, не щадя на этот раз и кошку, надавила так сильно на ее лапу, что у К. выступили кровавые царапины. — А теперь ступайте работать! — нетерпеливо бросила учительница и снова наклонилась над кошкой. Фрида, выглядывавшая вместе с помощниками из-за загородки, вскрикнула, увидев кровь. К. показал свою руку ребятам.

— Смотрите, что со мной сделала злая, хитрая кошка! — сказал он это, конечно, не для ребят, они и без того кричали и смеялись вовсю и все равно ничего не слушали и ни на какие слова внимания не об-

рашали. Но так как и учительница в ответ на оскорбление только искоса взглянула на К. и снова занялась кошкой, очевидно, утолив гнев кровавым наказанием, то К. позвал Фриду и помощников, и работа началась.

К. уже вынес ведро с помоями, принес чистой воды и стал подметать пол, но тут встал из-за парты и подошел к нему мальчик лет двенадцати, коснулся его руки и сказал что-то, чего К. из-за страшного шума понять не мог. Вдруг шум прекратился, и К. обернулся. То, чего он все утро боялся, наконец случилось. В дверях стоял учитель, двумя руками он, этот маленький человечек, держал за шиворот обоих помощников, как видно, он поймал их у дровяного сарая, потому что мощным голосом, отчеканивая каждое слово, прогремел:

— Кто посмел взломать сарай? Подайте сюда этого негодяя, я его сотру в порошок!

Тут Фрида привстала с колен — она старательно мыла пол у ног учительницы, — бросила взгляд на К., словно ища поддержки, и сказала с оттенком прежней уверенности во взгляде и манере держаться:

— Это я сделала, господин учитель. У меня другого выхода не было. Раз надо было с утра топить классы, значит, пришлось открыть сарай; брать у вас ночью ключ и беспокоить вас я не осмелилась, мой жених в это время был в гостинице, он мог бы там и остаться переночевать, вот мне и пришлось самой решиться. Если я неправильно поступила, то лишь по неопытности, поэтому простите меня, мой жених меня уже бранил, когда увидел, что я наделала. Он мне запретил затапливать с утра, он подумал: раз вы заперли сарай, значит, хотели показать, что не надо топить, пока вы сами не явитесь. Стало быть, его вина, что тут не топлено, а в том, что взломали сарай, вина моя.

— Кто взломал дверь? — спросил учитель у помощников, которые тщетно пытались вырваться у него из рук.

— Этот господин, — сказали оба и ткнули пальцем в К., чтобы никаких сомнений не было. Фрида рассмеялась — этот смех говорил больше, чем все ее объяснения, и тут же стала выкручивать половую тряпку над ведром, как будто она уже разрешила все недоразумения и помощники только добавили что-то в шутку.

Опустившись снова на колени, чтобы продолжать мытье пола, она сказала:

— Наши помощники — просто дети, им бы еще сидеть за партой. Ведь я сама вечером открыла дверь топором, дело это простое, по-

мощники мне не понадобились, они только мешали бы. А потом, ночью, когда вернулся мой жених и вышел посмотреть, что я наделала, и починить дверь, помощники тоже увязались за ним, — видно, боялись остаться тут одни, и, увидев, как мой жених возится со взломанной дверью, теперь винят его, но ведь они еще дети...

Во время Фридиных объяснений помощники качали головой, и тыкали пальцем в К., и всячески старались мимикой показать Фриде, что она не права, но, так как им это не удавалось, они наконец сдались, приняли слова Фриды как приказ и на все вопросы учителя уже ничего не отвечали.

— Ага, — сказал учитель, — значит, вы мне лгали? Или обвиняли сторожа из легкомыслия?

Они промолчали, но по их боязливым взглядам и по тому, как они задрожали, учитель решил, что они и вправду виноваты.

— Вот я сейчас вас выпорю! — сказал он и послал одного из мальчиков в соседнюю комнату за розгой. Но когда учитель поднял розгу, Фрида вдруг крикнула: «Но ведь они говорили правду!» — и в отчаянии швырнула тряпку в ведро, так что полетели брызги; она убежала за брусью и спряталась в угол.

— Все они изолгались! — сказала учительница. Она уже кончила перевязывать лапу кошке и держала ее на коленях, где та еле-еле помещалась.

— Значит, остается господин сторож, — сказал учитель, оттолкнув помощников и обращаясь к К. Тот стоял, опершись на метлу, и молча слушал. — Тот самый сторож, который из трусости спокойно слушает, как за его мерзости несправедливо обвиняют других.

— Знаете что, — сказал К., заметив, что благодаря Фридиному вмешательству безудержный гнев учителя немного поостыл, — если бы моих помощников малость выпороли, я бы ничуть не пожалел, их раз десять прощали, когда они, по справедливости, того не заслуживали, а на этот раз, хоть и не по справедливости, пусть они получают свое. И кроме того, господин учитель, я был бы рад избежать непосредственного столкновения между мной и вами, полагаю, что и вам это будет весьма кстати. А так как сейчас Фрида ради помощников пожертвовала мной, — тут К. сделал паузу, и слышно было, как за одеялами рыдает Фрида, — то, конечно, надо всех вывести на чистую воду.

— Неслыханно! — сказала учительница.



— Вполне с вами согласен, фройляйн Гиза, — сказал учитель. — Вас, сторож, я, разумеется, немедленно увольняю за возмутительное нарушение служебных обязанностей, наказание для вас еще впереди, а сейчас немедленно убирайтесь отсюда со всем вашим скарбом. Для нас будет большим облегчением избавиться от вас и наконец начать занятия. Убирайтесь, и поскорее!

— А я с места не сдвинусь! — сказал К. — Вы мой начальник, но место это предоставлено не вами, а господином старостой, и увольнение я приму только от него. Но он предоставил мне это место вовсе не для того, чтобы я тут замерзал со всеми моими людьми, а для того, чтобы я в отчаянии не натворил необдуманно Бог знает что. И уволить меня так, вдруг, ни с того ни с сего, совершенно не входит в его намерения. И я никому не поверю, пока не услышу от него самого. Впрочем, вероятно, и вам пойдет на пользу, если я не послушаюсь ваших легкомысленных распоряжений.

— Значит, не слушаетесь? — спросил учитель, и К. только покачал головой. — Вы подумайте как следует, — продолжал учитель, — ведь вы не всегда удачно принимаете решения; вспомните хотя бы, как вчера вечером вы отказались от допроса.

— А почему вы именно сейчас об этом упоминаете? — спросил К.

— Потому, что мне так угодно! — сказал учитель. — А теперь я в последний раз повторяю: вон отсюда!

Но так как и эти слова никакого действия не возымели, учитель подошел к кафедре и стал вполголоса советоваться с учительницей, та что-то сказала про полицию, но учитель это отклонил. В конце концов они договорились, и учитель позвал детей из этого класса в свой класс на совместные занятия с его учениками. Ребята обрадовались перемене, со смехом и криком освободили комнату, учитель с учительницей вышли вслед за ними. Учительница несла классный журнал, а на нем во всей своей красе разлеглась совершенно безучастная кошка. Учитель охотно оставил бы кошку тут, но, когда он намякнул на это учительнице, она решительно отказалась, сославшись на жестокость К., и вышло так, что из-за К. учителю еще пришлось терпеть кошку. Очевидно, под влиянием этого учитель на прощанье сказал:

— Барышня вынуждена покинуть этот класс вместе с учениками, так как вы беспардонно не подчинились моему приказу об увольнении и так как никто не может требовать, чтобы молодая особа про-

водила занятия в вашей грязной семейной обстановке. Вы остаетесь в одиночестве и можете тут вести себя как угодно, ни один порядочный человек не будет вам мешать. Но ручаюсь вам, что долго это продолжаться не будет. — С этими словами он громко хлопнул дверью.

## Глава двенадцатая

### Помощники

Как только все ушли, К. сказал помощникам:  
— Вон отсюда!

Ошеломленные этим неожиданным приказом, они послушались, но, когда К. запер за ними дверь, они стали рваться назад, взвизгивать и стучать в дверь.

— Вы уволены! — крикнул К. — Больше я вас к себе на службу не возьму.

Но они никак не унимались и барабанили в двери руками и ногами.

— Пусти нас, господин! — кричали они, как будто К. — обетованный берег, а их захлестывают волны. Но К. был безжалостен, он с нетерпением ждал, пока невыносимый шум заставит учителя вмешаться. Так оно и случилось.

— Впустите своих проклятых помощников! — закричал учитель.

— Я их уволил! — крикнул в ответ К.; ему хотелось, кроме всего прочего, показать учителю, как оно бывает, когда у человека хватает сил не только объявить об увольнении, но и настоять на своем. Учитель попытался добром успокоить помощников — пусть подождут спокойно, в конце концов К. обязан будет впустить их. Потом он ушел. И может быть, все обошлось бы, если бы К. не стал снова кричать им, что он их окончательно уволил и пусть они ни минуты не надеются вернуться к нему на службу. Тут они опять подняли страшный шум. И опять пришел учитель, но теперь он их уговаривать не стал, а просто выгнал из дому, очевидно, с помощью своей страшной трости.

Вскоре они появились под окном гимнастического класса, стуча по стеклам и вопя, хотя ни слова нельзя было разобрать. Но и там они

пробыли недолго — стоять на месте они от волнения не могли, да и трудно было прыгать в глубоком снегу. Поэтому они побежали к ограде школьного двора, вскочили на каменный фундамент, откуда они могли, пусть издалека, видеть всю комнату. Они забегали вдоль ограды, держась за прутья, и остановились, умоляюще протягивая руки к К. Долго они так стояли, не замечая, что все их старания бесполезны; они словно ослепли и, должно быть, даже не заметили, как К. опустил занавеску, чтобы их не видеть.

В затемненной комнате К. подошел к параллельным брускам и взглянул на Фриду. Увидев его, она встала, поправила прическу, вытерла глаза и молча взялась варить кофе. Хотя она все слыхала, К. счел нужным сообщить ей, что он уволил помощников. Она только кивнула. К. сел за парту и стал следить за ее усталыми движениями. Только свежесть и непринужденность в обращении красили это тщедушное тельце, теперь вся его прелесть исчезла. За несколько дней, прожитых с К., с ней произошла такая перемена. Работа в буфете гостиницы была, конечно, нелегкой, но подходила ей больше. А может быть, разлука с Кламмом была истинной причиной такого спада? Близость к Кламму придавала ей безумное очарование, и К., поддавшись этому соблазну, привлек ее к себе, а теперь она увядала у него на руках.

— Фрида! — позвал К., и она тотчас же оставила кофейную мельницу и села рядом с ним за парту.

— Ты на меня сердись? — спросила она.

— Нет, — сказал К. — Наверно, ты иначе не можешь. Ты была довольна жизнью в гостинице. Надо было тебя там и оставить.

— Да, — грустно сказала Фрида, — надо было оставить меня там. Я недостойна жить с тобой. Будь ты свободен от меня, ты бы, наверно, мог достигнуть всего, чего ты хочешь. Из-за меня ты подчинился этому тирану — учителю, взял такую жалкую должность и стараешься изо всех сил добиться свидания с Кламмом. Все из-за меня, а чем я тебе за это отплатила?

— Нет, — сказал К. и обнял ее словно в утешение. — Все это мелочи, меня они не задевают, и Кламма я хочу видеть вовсе не из-за тебя. А сколько ты для меня сделала! Пока я тебя не знал, я тут блуждал как в потемках. Никто меня не принимал, а кому я навязывался, тот сразу меня отваживал. Если же я у кого-то мог найти приют, так то были люди, от которых я сам бежал, вроде семейства Варнавы.

— Ты от них бежал? Это правда? Милый ты мой! — живо перебила его Фрида, но, когда К. нерешительно сказал: «Да», она снова устало поникла. Однако и у К. больше не хватило решимости объяснять, в чем именно связь с Фридой все изменила для него в лучшую сторону. Он медленно высвободил руку и некоторое время просидел молча, и тут Фрида заговорила так, как будто его рука давала ей тепло, без которого ей сейчас было бы невозможно:

— Мне такую жизнь и не вынести. Если хочешь со мной остаться, нам надо эмигрировать куда-нибудь, в Южную Францию, в Испанию.

— Никуда мне уехать нельзя, — сказал К. — Я приехал жить сюда. Здесь я жить и останусь. — И наперекор себе, даже не пытаясь объяснить это противоречие, он добавил, словно думая вслух: — Что же еще могло заманить меня в эти унылые места, как не желание остаться тут? — Помолчав, он сказал: — Ведь и ты хочешь остаться тут, это же твоя родина. Только Кламма тебе не хватает, оттого у тебя и мысли такие горькие.

— По-твоему, мне Кламма не хватает, — сказала Фрида. — Да здесь от Кламмы не продохнуть, я оттого и хочу отсюда удрать, чтобы от него избавиться. Нет, не Кламму, а ты мне нужен, из-за тебя я и хочу уехать; мне никак тобой не насытиться здесь, где все рвут меня на части. Ах, если бы сбросить с себя красоту, пусть бы лучше мое тело стало непривлекательным, жалким, может быть, тогда я могла бы жить с тобой спокойно.

Но К. услышал только одно.

— Разве ты до сих пор как-то связана с Кламмом? — спросил он сразу. — Он тебя зовет к себе?

— Ничего я о Кламме не знаю, — сказала Фрида, — сейчас я говорю о других, например, о твоих помощниках.

— О помощниках? — удивленно спросил К. — Да разве они к тебе приставали?

— А ты ничего не заметил? — спросила Фрида.

— Нет, — сказал К., с трудом припоминая какие-то мелочи. — Правда, мальчики они назойливые, сластолюбивые, но чтобы они осмелились приставать к тебе — нет, этого я не заметил.

— Не заметил? — сказала Фрида. — Ты не заметил, как их нельзя было выставить из нашей комнаты на постоялом дворе «У моста», как они ревниво следили за нашими отношениями, как один из них,

наконец, улегся на мое место на тюфяке, как они сейчас на тебя наговаривали, чтобы тебя выгнать, погубить и остаться со мной наедине? И ты всего этого не заметил?

К. смотрел на Фриду, не говоря ни слова. Возможно, что все эти обвинения против помощников были справедливыми, но все можно было толковать куда безобиднее, понимая, насколько смешно, ребячливо, легкомысленно и несдержанно вели себя эти двое. И не отпадало ли обвинение, если вспомнить, как они оба все время стремились ходить по пятам за К., а вовсе не оставаться наедине с Фридой? К. что-то упомянул в этом духе, но Фрида сказала:

— Все это одно притворство! Неужели ты их не раскусил? Тогда почему ты их прогнал? Разве не из-за этого? — И, подойдя к окну, она немного раздвинула занавеску, выглянула на улицу и подозвала К. Помощники все еще стояли у ограды и то и дело, собравшись с силами, умоляюще протягивали руки к школе. Один из них, чтобы крепче держаться, зацепился курткой за острие ограды.

— Бедняжки, бедняжки! — сказала Фрида.

— Спрашиваешь, почему я их выгнал? — сказал К. — Конечно, непосредственным поводом была ты сама.

— Я? — спросила Фрида, не сводя глаз с помощников.

— Ты была с ними слишком приветлива, — сказал К., — прощала все их выходки, смеялась над ними, гладила их по головке, постоянно их жалела, вот и сейчас сказала: «Бедняжки, бедняжки!» — и, наконец, последний случай, когда тебе не жаль было пожертвовать мной, лишь бы избавить моих помощников от порки.

— В этом-то все и дело! — сказала Фрида. — Об этом я и говорю, оттого я и такая несчастная, это-то меня и отрывает от тебя, хотя для меня нет большего счастья, чем быть с тобой всегда, без конца, без края, когда я только о том и мечтаю, что раз тут, на земле, нет спокойного угла для нашей любви, ни в Деревне, ни в другом месте, так лучше нам найти могилу, глубокую и тесную, и мы с тобой обнимем друг друга крепче тисков, я спрячу голову на груди у тебя, а ты у меня, и никто никогда нас больше не увидит. А тут — ты только посмотри на помощников! Не к тебе, а ко мне протягивают руки!

— И не я на них смотрю, — сказал К., — а ты!

— Конечно, я, — сказала Фрида почти сердито, — об этом я и твержу все время. Иначе не все ли равно — пристают они ко мне или нет, даже если подосланы Кламмом.

— Подосланы Кламмом, — повторил К., удивившись этим словам, хоть они и показались ему убедительными.

— Ну конечно, подосланы Кламмом, — сказала Фрида, — ну и пускай, и все-таки они дурашливые мальчишки, их еще надо учить розгой. И какие они гадкие, черномазые! А как противно смотреть на их дурацкое ребячество, ведь лица у них такие взрослые, можно было бы их даже принять за студентов! Неужели ты думаешь, что я ничего этого не вижу? Да мне за них стыдно! В этом-то все дело, они меня не отталкивают, просто я за них стыжусь. Мне все время хочется на них смотреть. Надо бы на них сердиться, а я смеюсь. Когда их хотят выпороть, я их глажу по головке. А ночью я лежу с тобой рядом и не могу заснуть, все время через тебя смотрю, как один крепко спит, завернувшись в одеяло, а другой стоит на коленях перед печкой и топит, я даже чуть тебя не разбудила, так я перегнулась через тебя. И вовсе не кошки я испугалась — уж кошек-то я знаю, да и привыкла на ходу дремать в буфете, где мне вечно мешали, не кошка меня испугала, — я сама себя испугалась. Вовсе не надо было никакой кошки — этакой дряни! — я и так вздрагивала от каждого звука. То я пугаюсь, что ты вдруг проснешься и тогда всему конец, то я вскакиваю и зажигаю свечку, чтобы поскорей проснулся и защитил меня.

— Ничего этого я не знал, — сказал К., — только подозревал что-то, потому их и выгнал, а теперь, когда они ушли, может быть, все и уладится.

— Да, наконец-то они ушли, — сказала Фрида, но лицо у нее выражало не радость, а страдание, — а мы до сих пор и не знаем, кто они такие. Ведь я только в шутку, только про себя говорю, что они подосланы Кламмом, но, быть может, это и правда. Их глаза, такие глупые, но сверкающие, мне очень напоминают глаза Кламма, из их глаз меня иногда словно пронзает взгляд Кламма. И наверно, неправильно, когда я говорю, что я их стыжусь. Хорошо, если бы так. Правда, я знаю, что в другом месте, у других людей такое поведение мне показалось бы грубым и противным, а вот у них — нет. Я и на их глупости смотрю с уважением и восхищением. Но если они и вправду подосланы Кламмом, кто нас может от них избавить? Да и разумно ли тогда нам от них избавляться? Может, надо позвать их и радоваться, когда они вернутся?

— Ты хочешь, чтобы я их опять пустил сюда? — спросил К.

— Да нет же, — сказала Фрида, — вовсе я этого не хочу. И если бы они снова сюда ворвались, радуясь, что видят меня тут, стали прыгать, как дети, и протягивать ко мне руки, как взрослые мужчины, — нет, я бы этого не вынесла! Но стоит мне только подумать, что ты сам, отталкивая их, лишаешь себя доступа к Кламму, как мне хочется любым способом оградить тебя от таких последствий. И тут мне хочется, чтобы ты их впустил сюда. Ну, К., зови их сюда, и поскорее! А на меня не обращай внимания, что я значу! Буду защищаться от них, пока могу, а если проиграю — ну что ж, значит, проиграю, но зато с сознанием, что все делается ради тебя.

— Но ты только укрепляешь мое решение насчет помощников, — сказал К. — Никогда им с моего согласия сюда не войти. А то, что я их смог прогнать, только доказывает, что при некоторых обстоятельствах с ними вполне можно справиться, и, кроме того, это значит, что их, в сущности, ничто с Кламмом не связывает. Только вчера я получил от Кламма письмо, из которого видно, что Кламм совершенно неправильно осведомлен о помощниках, из чего опять-таки можно заключить, что они ему абсолютно безразличны; если бы не так, то он мог бы получить о них более точные сведения. А то, что ты в них видишь Кламма, тоже ничего не доказывает, к сожалению, ты все еще находишься под влиянием хозяйки, и тебе всюду мерещится Кламм. И ты все еще любовница Кламма, а никак не моя жена. Иногда я от этого впадаю в уныние, мне кажется, что я все потерял, и у меня такое чувство, будто я только сейчас приехал в Деревню, но не с надеждой, как было на самом деле, а с предчувствием, что меня ждут одни разочарования и что я должен испить эту чашу до самого дна. Правда, так бывает редко, — добавил К. и улыбнулся Фриде, увидев, как она поникла от его слов, — и, в сущности, только доказывает одну хорошую вещь, а именно: как много ты для меня значишь. И если ты сейчас предлагаешь мне выбирать между тобой и помощниками, то помощники уже проиграли. И вообще, что за выдумки — выбирать между тобой и ими? Нет, я теперь хочу окончательно от них избавиться и не думать и не говорить о них. И кто знает, может быть, мы поддались этой минутной слабости просто потому, что еще не завтракали?

— Возможно, — сказала Фрида с усталой улыбкой и принялась за работу. И К. тоже снова взялся за метлу.

## Глава тринадцатая

## Ханс

А через некоторое время в дверь тихо постучали. — Варнава! — вскрикнул К., бросил метлу и в два прыжка подскочил к двери. Фрида смотрела на него, испугавшись при этом имени, как никогда. У К. так дрожали руки, что он не сразу справился со старой задвижкой. «Сейчас открою», — бормотал он, вместо того чтобы узнать, кто стучит. Оторопев, он увидел, как в широко распахнутую дверь вошел не Варнава, а тот мальчик, который уже прежде пытался заговорить с К. Но К. вовсе не хотел вспоминать об этом.

— Что тебе тут нужно? — спросил он. — Занятия идут рядом.

— А я оттуда, — сказал мальчик, спокойно глядя на К. большими карими глазами и стоя смирно, руки по швам.

— Что же тебе надо? Говори скорее! — сказал К., немного наклонясь, потому что мальчик говорил совсем тихо.

— Чем я могу тебе помочь? — спросил мальчик.

— Он хочет нам помочь! — сказал К. Фриде и спросил мальчика: — Как же тебя зовут?

— Ханс Брунsvик, — ответил мальчик, — ученик четвертого класса, сын Отто Брунsvика, сапожного мастера с Мадленгассе.

— Вот как, значит, ты Брунsvик, — сказал К. уже гораздо приветливее. Выяснилось, что Ханс так расстроился, увидев, как учительница до крови расцарапала руку К., что уже тогда решил за него заступиться. И сейчас, под страхом сурового наказания, он самовольно, как дезертир, прокрался сюда из соседнего класса. Вероятно, главную роль сыграло мальчишеское воображение. Оттого он и вел себя с такой серьезностью. Сначала он стеснялся, но потом присмотрелся и к Фриде, и к К., а когда его напоили вкусным горячим кофе, он оживился, стал доверчивей и начал настойчиво и решительно задавать им вопросы, как будто хотел как можно скорее узнать самое важное, чтобы потом самому принять решение и за К., и за Фриду. В нем было что-то властное, но при этом столько детской наивности, что они подчинились ему наполовину в шутку, наполовину всерьез. Во всяком случае, он поглотил все их внимание, работа совсем остановилась, завтрак затянулся. И хотя мальчик сидел за партой, К. — наверху, на кафедре, а Фрида — рядом, в кресле, но казалось, будто Ханс, как учитель, проверяет и оценивает их ответы, а легкая улыбка



его мягкого рта как бы говорила о том, что он понимает, что все это только игра, однако он тем серьезнее вел себя при этом и, может быть, улыбался не игре, — просто детская радость озаряла его лицо. Позже он признавался, что уже видел К., так как тот однажды заходил к Лаземану. К. ужасно обрадовался. «Ты тогда играл у ног той женщины?» — спросил он. «Да, — сказал Ханс, — это моя мама». Тут его стали расспрашивать о его матери, но он рассказывал неохотно и только после настойчивых уговоров, сразу было видно, что он еще совсем мальчишка, хотя иногда, особенно по его вопросам, напряженным, встревоженным, слушателям казалось, что говорит энергичный умный прозорливый человек; может быть, они предчувствовали, что таким он станет в будущем, но Ханс тут же без всякого перехода опять превращался в маленького школьника, который многих вопросов вообще не понимал, другие истолковывал неверно и к тому же от детского невнимания к собеседникам говорил слишком тихо, хотя ему несколько раз на это указывали, и тогда он, словно из упрямства, вообще отказывался отвечать на многие настойчивые вопросы, причем умолкал без всякого стеснения, чего никак не сделал бы взрослый человек. Выходило так, будто, по его мнению, задавать вопросы позволено только ему, а вопросы других лишь нарушают какие-то правила и заставляют его терять время. Тогда он надолго умолкал и сидел, выпрямившись, опустив голову и выпятив нижнюю губу. Фриде это очень нравилось, и она часто задавала ему такие вопросы, которые, как она надеялась, заставят его замолчать, иногда ей это и удавалось, что очень сердило К. В общем, они мало что узнали. Мать часто болела, но какой болезнью — осталось неясным, ребенок, сидевший на коленях у фрау Брунsvик, — сестрица Ханса, зовут ее Фрида (Хансу, очевидно, не нравилось, что ее звали так же, как женщину, задававшую ему вопросы), жили они все в Деревне, но не у Лаземана, туда они только пришли в гости, купаться, потому что у Лаземана была большая лохань для купанья и малышам, к которым Ханс себя не причислял, доставляло особенное удовольствие там плескаться; о своем отце Ханс говорил с уважением или страхом и только когда его не спрашивали о матери; по сравнению с ней отец, как видно, для него мало значил, но, в общем, на все вопросы о семье, как ни старались К. и Фрида, ответа они не получили. О ремесле отца они узнали, что он самый лучший сапожник на Деревне, равных ему не было, Ханс повторял это, отвечая и на другие вопросы, — отец да-

же давал работу другим сапожникам, например, отцу Варнавы, причем в этом случае Брунsvик делал это из особой милости, о чем и Ханс заявил, особенно гордо вскинув голову, за что Фрида, вскочив, расцеловала его. На вопрос, бывал ли он в Замке, он ответил только после многих настояний, причем отрицательно, а на тот же вопрос про свою мать и вовсе не ответил. В конце концов К. устал, и ему эти расспросы показались бесполезными, тут мальчик был прав, да и что-то постыдное было в том, чтобы обиняком выпытывать у невинного ребенка семейные тайны, и вдвойне постыдно так ничего и не узнать. И когда К. наконец спросил мальчика, чем же он им хочет помочь, он не удивился, узнав, что Ханс предлагает помочь им тут, в работе, чтобы учитель с учительницей их больше не ругали. К. объяснил, что такая помощь им не нужна, учитель ругается из-за своего плохого характера, и даже при самой усердной работе от ругани не избавиться, сама по себе работа нетрудная, и сегодня только по чистой случайности она не доделана, впрочем, на К. эта ругань не действует, не то что на школьников, он ее не замечает, она ему почти безразлична, а кроме того, он надеется, что скоро и вовсе избавится от учителя. А раз Ханс хочет только помочь им против учителя, то большое ему спасибо, но пусть он лучше спокойно возвращается в класс, надо только надеяться, что его не накажут. И хотя К. вовсе не подчеркивал, а, скорее, бессознательно давал понять, что ему не нужна только такая помощь, Ханс отлично это понял и прямо спросил, не нужна ли К. помощь в чем-нибудь другом. А если сам он ничем помочь не может, то попросит свою мать, тогда все непременно удастся. Когда у отца бывают неприятности, тот всегда просит маму о помощи. А мама уже спрашивала про К., вообще-то она почти не выходит из дому, и то, что она была у Лаземанов, — исключение. Но сам Ханс часто ходит к Лаземанам играть с их детьми, и мать его однажды уже спрашивала, не приходил ли туда снова тот землемер. Но маму нельзя было зря волновать — она такая усталая и слабая, — поэтому он просто сказал, что землемера не видел, и больше о нем разговоров не было; но когда Ханс увидел его тут, в школе, он решил с ним заговорить, чтобы потом передать матери. Потому что мать больше всего любит, когда ее желания выполняют без ее просьбы. На это К., подумавши, отвечал, что никакой помощи ему не надо, у него есть все, что ему требуется, но со стороны Ханса очень мило, что он хочет ему помочь, и К. благодарит его за добрые намерения; конечно, мо-

жет случиться, что потом он в чем-то будет нуждаться, тогда он обратится к Хансу, адрес у него есть. А сейчас он, К., сам мог бы чем-нибудь помочь, ему жаль, что мать Ханса болеет, тут, как видно, никто ее болезни не понимает, а в таких запущенных случаях часто самое легкое недомогание может дать серьезные осложнения. Но он, К., немного разбирается в медицине и — что еще ценнее — умеет ухаживать за больными. Бывало, что там, где врачи терпели неудачу, ему удавалось помочь. Дома его за такое целебное воздействие называют «горькое зелье». Во всяком случае, он охотно навестит матушку Ханса и побеседует с ней. Как знать, быть может, он сумеет дать ей полезный совет, он с удовольствием сделает это, хотя бы ради Ханса. Сначала у Ханса от этих слов заблестели глаза, что побудило К. стать настойчивее, но он ничего не добился; Ханс на все вопросы довольно спокойно ответил, что к маме никому чужому ходить нельзя, ее надо очень щадить, и, хотя в тот раз К. с ней почти ни слова не сказал, она несколько дней пролежала в постели, что, правда, с ней случается довольно часто. А отец тогда даже рассердился на К., и уж он-то, конечно, никогда не разрешит, чтобы К. навестил мать, он и тогда хотел отыскать К. и наказать его за его поведение, однако мать его удержала. Но главное — то, что мать сама ни с кем не желает разговаривать, и К. тут вовсе не исключение, а наоборот, ведь она могла бы, упомянув его, выразить желание его видеть, но она ничего не сказала, подтвердив этим свою волю. Ей только хотелось услышать про К., но встречаться с ним она не хотела. Кроме того, никакой болезни у нее, в сущности, нет, она отлично знает причину своего состояния, даже иногда говорит об этом: она просто плохо переносит здешний воздух, а уехать отсюда не хочет из-за мужа и детей; впрочем, ей уже стало гораздо лучше, чем раньше. Вот примерно и все, что узнал К., причем Ханс проявил немалую изобретательность, ограждая мать от К. — от того К., которому он, по его словам, хотел помочь; более того, ради столь доброго намерения — оградить мать от К. — Ханс начал противоречить своим собственным словам — например, тому, что он прежде говорил о ее болезни. Все же К. и теперь видел, что Ханс к нему относится хорошо, но готов забыть об этом ради матери: по сравнению с матерью все оказывались неправы, сейчас это коснулось К., но, наверно, на его месте мог бы оказаться, например, и отец Ханса. К. захотел это проверить и сказал, что, разумеется, отец поступает очень разумно, ограждая мать от всяких помех, и, если бы К. об этом хотя

бы догадывался, он ни за что не посмел бы заговорить тогда с матерью и просит Ханса передать семье его извинения. Но вместе с тем он никак не поймет, почему отец, так ясно зная, по словам Ханса, причину болезни, удерживает мать от перемены места и отдыха, вот именно, удерживает, ведь она только ради него и ради детей не уезжает, но детей можно взять с собой, ей и не надо уезжать надолго, уже там, на Замковой горе, воздух совсем другой. А расходы на такую поездку никак не должны страшить отца, раз он лучший сапожник в Деревне; наверно, у него или у матери есть родные или знакомые в Замке, которые ее охотно приютят. Почему же отец ее не отпускает? Не стоило бы ему так пренебрегать ее здоровьем. К. видел мать только мельком, но именно ее слабость, ее ужасающая бледность заставили его заговорить с ней; он и тогда удивился, как отец мог держать больную женщину в таком скверном воздухе, в общей бане и прачечной, и сам все время кричал и разговаривал, ничуть не сдерживаясь. Отец, должно быть, не понимает, в чем тут дело; но если даже в последнее время и наступило какое-то улучшение, то ведь болезнь эта с причудами; в конце концов, если с ней не бороться, она может вспыхнуть с новой силой, и тогда уж ничем не поможешь. Если К. нельзя поговорить с матерью, может быть, ему стоит поговорить с отцом и обратить его внимание на все эти обстоятельства.

Ханс слушал очень внимательно, почти все понял, но в том, чего не понял, почувствовал скрытую опасность. И все же он сказал, что с отцом К. поговорить не сможет, отец его невзлюбил и, наверно, будет с ним обращаться как учитель. Говоря о К., он робко улыбался, но об отце сказал с горечью и грустью. Однако, добавил он, может быть, К. удастся поговорить с матерью, но только без ведома отца. Тут Ханс призадумался, уставившись в одну точку, совсем как женщина, которая собирается нарушить какой-то запрет и ищет возможности безнаказанно совершить такой поступок, и наконец сказал, что, наверно, послезавтра можно будет это устроить, отец уйдет в гостиницу, там у него какая-то встреча, и тогда Ханс вечером зайдет за К. и отведет его к своей матери, конечно, если мать на это согласится, что еще очень сомнительно. Главное, она ничего не делает против воли отца, во всем ему подчиняется, даже в тех случаях, когда и Хансу ясно, насколько это неразумно. Теперь Ханс действительно искал помощи у К. против отца; выходило так, что он себя обманывал, думая, что хочет помочь К., тогда как на самом деле хотел выпытать, не может ли

этот внезапно появившийся чужак, на которого даже мать обратила внимание, помочь им теперь, когда никто из старых знакомых ничего сделать не в состоянии. Каким, однако, скрытным и бессознательно лукавым оказался этот мальчик! Ни по его виду, ни по его словам нельзя было этого заметить, и только из последующих нечаянных признаний, выпитанных с намерением или мимоходом, можно было это понять. А теперь в долгом разговоре с К. он обсуждал, какие трудности придется преодолеть. При всех стараниях Ханса они были почти непреодолимы; думая о своем и вместе с тем словно ища помощи, он, беспокойно моргая, смотрел на К. До ухода отца он не смел ничего сказать матери, иначе отец узнает и все провалится, значит, надо будет сказать ей попозже, но и тут, принимая во внимание болезнь матери, придется сообщить ей не сразу, не неожиданно, а постепенно, уловив подходящую минуту; только тогда он может испросить у матери согласие, а потом привести к ней К.; но вдруг тогда будет уже поздно, вдруг возникнет угроза возвращения отца? Нет, все это никак невозможно. Но К. стал доказывать, что это вполне возможно. Не надо бояться, что не хватит времени на разговор, — короткой встречи, короткой беседы вполне достаточно, да и вовсе не надо Хансу заходить за К. Тот спрячется где-нибудь около дома и по знаку Ханса сразу придет. Нет, сказал Ханс, нельзя ждать у дома; тут снова сказало бережное отношение Ханса к матери, потому что без разрешения матери К. пойти туда не может, нельзя Хансу вступать с К. в какие-то соглашения, скрыв их от матери: Ханс должен зайти за К. в школу, но не раньше, чем мать обо всем узнает и даст разрешение. Хорошо, сказал К., но выходит, что это действительно опасно, возможно, что отец застанет его в доме, а если даже нет, то мать так будет бояться, что не разрешит К. прийти; значит, тут опять всему виной отец. Но Ханс стал возражать, и так они спорили без конца.

Уже давно К. подозвал Ханса к себе на кафедру, поставил его между колен и время от времени ласково поглаживал его по голове. И хотя Ханс иногда упрямылся, все же эта близость как-то способствовала их взаимопониманию. Наконец они договорились так: Ханс прежде всего скажет матери всю правду, но для того, чтобы ей было легче согласиться на встречу с К., ей скажут, что он поговорит с самим Брунsvиком, правда не о матери, а о своих делах. И это было правильно: во время разговора К. сообразил, что Брунsvик, каким бы злым и опасным человеком он ни был, собственно говоря, не может

быть его противником, потому что, судя по словам старосты, именно он был вожаком тех, кто, пусть из политических соображений, требовал приглашения землемера, и прибытие К. в Деревню было для Брунсвика желанным; правда, тогда не очень понятно, почему он так сердито встретил его в первый день и так плохо, по словам Ханса, к нему относится, но, может быть, Брунsvик был обижен именно тем, что К. в первую очередь не обратился за помощью к нему, и, может быть, тут произошло еще какое-нибудь недоразумение, которое легко исправить двумя-тремя словами. А если так случится, то К., несомненно, найдет в Брунсвике защиту против учителя, а может быть, против самого старосты, и тогда откроются все эти административные жульничества — как же их еще иначе назвать? — при помощи которых и староста, и учитель не пускают его к начальству в Замке и заставляют служить в школе; а если заново из-за К. начнется борьба Брунсвика со старостой, то Брунsvик, конечно, перетянет К. на свою сторону. К. станет гостем в доме Брунсвика, и все силы, которыми располагает Брунsvик, назло старосте окажутся в распоряжении К., и как знать, чего он этим сможет добиться, и уж, конечно, он тогда часто будет бывать около той женщины; такие мечты играли с К., а он играл с мечтами; между тем Ханс, думая только о своей матери, тревожно смотрел на молчащего К. — так смотрят на врача, думающего, какое бы лекарство прописать тяжелобольному. Ханс был согласен, чтобы К. поговорил с Брунсвиком насчет должности землемера, хотя бы потому, что тогда мать будет защищена от нападок отца, да и, вообще, речь шла о крайней необходимости, которая, надо надеяться, не возникнет. Ханс только спросил, каким образом К. объяснит отцу свой поздний приход, и в конце концов согласился, хотя и несколько насупившись, чтобы К. сказал, что его привели в отчаяние невыносимые условия работы в школе и унижительное обращение учителя и поэтому он забыл всякую осторожность.

Когда наконец все было обдуманно и появилась хоть какая-то надежда на удачу, Ханс, освободившись от тяжелых дум, повеселел и стал болтать по-ребячески, сначала с К., потом с Фридой — та все время была занята какими-то своими мыслями и только сейчас включилась в общий разговор. Между прочим она спросила Ханса, кем он хочет быть, и, недолго думая, тот сказал, что хотел бы стать таким человеком, как К. Но когда его начали расспрашивать, он не смог ничего ответить; а на вопрос, неужели он хочет стать сторожем

в школе, он решительно сказал «нет». Только после дальнейших расспросов стало ясно, каким окольным путем он пришел к этому желанию. Теперешнее положение К. — жалкое и презренное — было незавидным, это Ханс хорошо понимал, для такого понимания ему вовсе не надо было сравнивать К. с другими людьми, из-за этого он и хотел избавить свою мать от встречи и разговора с К. Однако он пришел к К., сам попросил у него помощи и был счастлив, когда К. согласился; ему казалось, что и другие люди так же отнеслись бы к К. — ведь мать Ханса сама расспрашивала о К. Из этого противоречия у Ханса возникла убежденность, что хотя К. и пал так низко, что всех отпугивает, но в каком-то, правда, очень неясном, далеком будущем он всех превзойдет. Именно это далекое в своей нелепости будущее и гордый путь, ведущий туда, соблазнили Ханса, ради такой награды он готов был принять К. и в его теперешнем положении. Самым детским и вместе с тем преждевременно взрослым в отношениях Ханса и К. было то, что он сейчас смотрел на К. сверху вниз, как на младшего, чье будущее еще отдаленней, чем будущее такого малыша, как он сам. И с какой-то почти грустной серьезностью он говорил об этом, вынужденный отвечать на настойчивые вопросы Фриды. И только К. развеселил его, сказав, что понимает, почему Ханс ему завидует, — он завидует чудесной резной палке, лежавшей на столе, — Ханс все время рассеянно играл с ней. А К. умеет вырезать такие палки, и, если их план удастся, он сделает Хансу палку еще красивее. Ханс до того обрадовался обещанию К., что можно было подумать, уж не из-за палки ли он вернулся, он и попрощался с ним весело, крепко пожав К. руку со словами: «Значит, до послезавтра!»

#### *Глава четырнадцатая* Упреки Фриды

**Е**два Ханс успел уйти, как учитель распахнул двери и, увидев К., спокойно сидящего за столом с Фридой, крикнул:

— Извините, что помешал! Скажите, однако, когда же вы тут наконец уберете? Мы там сидим, как сельди в бочке, занятия страдают, а вы тут прохлаждаетесь в гимнастическом классе, да еще выгнали помощников, чтобы вам было посвободнее! Ну а теперь вставайте-ка,

пошевеливайтесь! — И, обращаясь к К.: — А ты носи мне завтрак из трактира «У моста»! — Правда, кричал он свирепым голосом, но слова были относительно мирные, несмотря на грубое само по себе тыканье. К. уже готов был выполнить приказ и, только чтобы заставить учителя высказаться, спросил:

— Да ведь я, кажется, уволен?

— Уволен или не уволен, носи мне завтрак, — сказал учитель.

— Уволен или не уволен — вот что я хочу знать, — сказал К.

— Что ты тут болтаешь? — сказал учитель. — Ты же не принял увольнения?

— Значит, этого достаточно, чтобы не быть уволенным? — спросил К.

— Для меня — нет, — сказал учитель, — а вот для старосты, по непонятной причине, достаточно. Ну а теперь беги, иначе и вправду вылетишь.

К. был очень доволен: значит, учитель уже поговорил и со старостой, а может быть, и не поговорил, а просто представил себе, какого тот будет мнения, и это мнение оказалось в пользу К. Он уже собрался было идти за завтраком, но только он вышел в прихожую, учитель кликнул его назад. То ли он хотел испробовать, послушается ли К. его приказа, то ли ему пришла охота еще покомандовать, и он с удовольствием смотрел, как К. торопливо побежал, а потом по его приказу, словно лакей, так же торопливо вернулся назад. Со своей стороны, К. понимал, что слишком большая уступчивость превратит его в раба и мальчика для битья, но он решил до известного предела спокойно относиться к придирам учителя, потому что хотя, как оказалось, учитель и не имел права уволить его, но превратить эту должность в невыносимую пытку он, конечно, мог. Но именно за эту должность К. сейчас держался больше, чем когда-либо. Разговор с Хансом пробудил в нем новые, по всей видимости, совершенно невероятные, безосновательные, но уже неистребимые надежды, они затмили даже надежду на Варнаву. Если он хотел им следовать — а иначе он не мог, — то ему надо было собрать все силы, не заботиться ни о чем другом — ни о еде, ни о жилье, ни о местном начальстве, ни даже о Фриде, хотя основой всего была именно Фрида и его интересовало только то, что имело отношение к ней. Ради нее он должен стараться сохранить эту должность, потому что это устраивало Фриду, а раз так, значит, нечего было жалеть, что приходится терпеть от учи-



теля больше, чем он терпел бы в иных обстоятельствах. И все это было не так уж страшно, все это были будничные и мелкие жизненные неприятности — сущие пустяки по сравнению с тем, к чему стремился К., а приехал он сюда вовсе не для того, чтобы жить в почете и спокойствии.

И потому с той же поспешностью, с какой он побежал было в трактир, он по новому приказу так же торопливо готов был взяться за уборку комнаты, чтобы учительница со своим классом могла опять перейти сюда. Но убирать надо было как можно скорее, потом К. должен был все же принести завтрак учителю — тот уже сильно проголодался. К. уверил его, что все будет сделано по его желанию, учитель некоторое время наблюдал, как К. торопливо убрал постель, поставил на место гимнастические снаряды и моментально подмел пол, пока Фрида мыла и терла кафедру. Учителя как будто удовлетворило их рвение, он еще указал К., что за дверями лежат дрова для топки — к сараю он, очевидно, решил его не допускать, — и потом, пригрозив, что скоро вернется и все проверит, ушел к своим ученикам.

Фрида некоторое время работала молча, потом спросила К., почему он теперь во всем так слушается учителя. Спросила она явно из сочувствия, от хорошего отношения, но К., думая о том, что Фриде, хотя она раньше и обещала, не удалось избавить его от самодурства и команд учителя, ответил ей коротко, что, раз он взялся за эту работу, значит, он и должен делать все как полагается. Снова наступило молчание, но потом К., вспомнив именно после этого короткого разговора, что Фрида давно уже погрузилась в какие-то грустные мысли, особенно во время разговора с Хансом, внося дрова в комнату, спросил ее прямо, о чем она так задумалась. Медленно подняв на него глаза, она сказала, что ни о чем она определенно не думает, только вспоминает хозяйку и некоторые ее справедливые слова. А когда К. стал настаивать, она сначала отнекивалась и только потом ответила подробно, не бросая при этом работы, правда, не от излишнего усердия, потому что работа ничуть не двигалась вперед, а лишь для того, чтобы не смотреть К. в глаза. И она рассказала К., что сначала слушала его разговор с Хансом спокойно, но некоторые фразы К. заставили ее встрепенуться, глубоко вникнуть в суть его слов и как после этого его слова все время подтверждали те предостережения, которые ей делала хозяйка, хотя она никак не хотела верить в их справедливость. Рассердившись на эти общие фразы и ее плаксивый голос, ко-

торый больше раздражал, чем трогал его, а больше всего разозлясь на то, что хозяйка трактира снова вмешивалась в его жизнь уже через воспоминания Фриды, так как лично ей до сих пор это не удавалось, К. швырнул на пол охапку дров, уселся на нее и уже всерьез потребовал полной ясности.

— Очень часто, — начала Фрида, — уже с самого начала хозяйка пыталась вызвать у меня недоверие к тебе, хотя она вовсе не утверждала, что ты лжешь, наоборот, она говорила, что ты простодушен, как ребенок, но настолько отличаешься от всех нас, что, даже когда ты говоришь откровенно, мы с трудом заставляем себя поверить тебе, но если нас заранее не спасет добрая подруга, то горький опыт в конце концов выработает у нас привычку верить тебе. Она и сама поддавалась этому, хоть и видит людей насквозь. Но, поговорив с тобой в последний раз, тогда, в трактире «У моста», она наконец — тут я только повторяю ее злые слова — раскусила твою хитрость, и теперь тебе уже не удастся ее обмануть, как ты ни старайся скрыть свои намерения. Впрочем, ты ничего не скрываешь, это она твердит все время, а потом она мне еще сказала: ты постарайся при случае как следует вслушаться в то, что он говорит, — не поверхностно, мимоходом, нет, ты прислушайся всерьез, по-настоящему. Она и сама так сделала, и вот что она выведала насчет меня. Ты ко мне подобрался — она употребила именно это подлое слово — только потому, что я случайно попала тебе на пути, в общем, понравилась тебе, а кроме того, ты считал, что любая буфетчица заранее готова стать жертвой любого гостя, стоит ему только протянуть руку. Кроме того, как узнала моя хозяйка от хозяина гостиницы, ты хотел там переночевать, неизвестно почему, а это можно было сделать только благодаря мне. Одного этого уже было тебе достаточно, чтобы в ту же ночь стать моим любовником, но, чтобы наши отношения принесли для тебя еще больше пользы, нужно было что-то более значительное, и значительным был Кламм. Хозяйка утверждает, что ей неизвестно, чего тебе нужно от Кламма, она только утверждает, что еще до того, как ты со мной познакомился, ты так же настойчиво стремился к Кламму, как и сейчас. Разница была только в том, что раньше у тебя надежды не было, а теперь ты решил, что нашел во мне верное средство попасть к Кламму, причем скоро, и даже слишком скоро. И как я перепугалась — правда, только на минутку и без особых оснований, — когда ты сегодня сказал, что, если бы не наша встреча, ты бы совсем тут растерялся. Почти те-

ми же словами об этом говорила и хозяйка, она тоже считает, что только с тех пор, как ты со мной познакомился, у тебя появилась определенная цель. Вышло это потому, что ты решил, будто ты завоевал меня, любовницу Кламма, и тем самым как бы получил драгоценный залог, за который можно взять огромный выкуп. И ты стремился лишь к одному — сторговаться с Кламмом насчет этого выкупа. И так как я сама для тебя — ничто, а этот выкуп — все, ты в отношении меня пойдешь на любые уступки, но в отношении выкупа будешь упрямо торговаться. Поэтому тебе безразлично, потеряю ли я место в гостинице, безразлично, придется ли мне уйти с постоянного двора «У моста», безразлично, что мне надо будет делать всю черную работу при школе. Нет у тебя для меня ни ласки, ни даже свободной минутки, ты меня бросаешь на помощников, ревности ты не знаешь, единственное, что ты во мне ценишь, — это то, что я была любовницей Кламма, поэтому по своему недомыслию ты стараешься, чтобы я не забыла Кламма и не слишком сопротивлялась, когда настанет решающий момент; однако ты и против хозяйки сражаешься, считая, что она одна может отнять меня у тебя, потому ты и раздул вашу ссору до крайности, чтобы нас с тобой попросили покинуть постоянный двор, а то, что я, насколько это зависит от меня, останусь твоей собственностью при любых обстоятельствах, в этом ты ничуть не сомневаешься. Переговоры с Кламмом ты себе представляешь как коммерческую сделку на равных. Ты учитываешь все, лишь бы взять свое; захочет Кламм вернуть меня — ты меня отдашь; захочет, чтобы ты остался со мной, — ты останешься; захочет, чтобы ты меня выгнал, — ты и выгонишь; однако ты готов и ломать комедию; если окажется выгодным — ты притворишься, что любишь меня, постарайся побороть его равнодушные ко мне тем, что станешь себя унижать, чтобы устыдить его: вот какой, мол, человек занял его место, или тем, что передашь ему мои признания в любви к нему — ведь я тебе и вправду о нем так говорила — и попросишь его взять меня снова к себе, конечно, взяв с него сначала выкуп; а если ничего не поможет, ты просто начнешь клянуть от имени супругов К. Если же ты потом увидишь, сказала мне в заключение хозяйка, что ты во всем ошибся — и в своих предположениях, и в своих надеждах, и в том, как ты себе представлял и самого Кламма, и его отношение ко мне, — тогда для меня настанет сущий ад, потому что тогда я действительно стану твоей собственностью, с которой тебе не разделаться, и к тому же еще собственностью совер-

шенно обесцененной, и ты со мной начнешь обращаться соответственно, потому что никаких чувств, кроме чувства собственника, ты ко мне не питаешь.

Напряженно, стиснув губы, К. слушал Фриду, охапка дров под ним рассыпалась, и он почти что очутился на полу, но не обратил на это никакого внимания; только сейчас он встал, сел на подножке кафедры, взял Фридину руку, хотя она и сделала слабую попытку отнять ее, и сказал:

— В твоих словах я никогда не мог отличить твое мнение от мнения хозяйки.

— Нет, это только мнение хозяйки, — сказала Фрида. — Все, что она говорила, я выслушала, потому что я ее уважаю, но впервые в жизни я с ней никак не согласилась. Все, что она сказала, показалось мне таким жалким, таким далеким от всякого понимания наших с тобой отношений. Больше того, мне кажется, что на самом деле все прямо противоположно тому, что она говорила. Я вспомнила то грустное утро после первой нашей ночи, когда ты стоял подле меня на коленях с таким видом, словно все потеряно. И так оно потом и случилось: сколько я ни старалась, я тебе не помогала, а только мешала. Из-за меня хозяйка стала твоим врагом, и врагом могучим, чего ты до сих пор недооцениваешь. Из-за меня, твоей постоянной заботы, тебе пришлось бороться за свое место, ты потерпел неудачу у старосты, должен был подчиниться учителю, сносить помощников, и — что хуже всего — из-за меня ты, быть может, нанес обиду Кламму. Ведь то, что ты теперь упорно хочешь попасть к Кламму, — только бессильная попытка как-то его умиротворить. И я себе сказала: наверно, хозяйка, которая, конечно, все это знает лучше меня, просто хотела меня избавить от самых страшных угрызений совести. Намерение, конечно, доброе, но совершенно излишнее. Моя любовь к тебе помогла бы мне все перетерпеть, она бы и тебе в конце концов помогла выбиться если не тут, в Деревне, то где-нибудь в другом месте, свою силу моя любовь уже доказала — она спасла тебя от семейства Варнавы.

— Значит, тогда ты так думала наперекор хозяйке, — сказал К., — но что же с тех пор изменилось?

— Не знаю, — сказала Фрида, взглянув на руку К., лежавшую на ее руке, — может быть, ничего и не изменилось: когда ты так близко и спрашиваешь так спокойно, я верю, что ничего не изменилось.

Но на самом деле... — Тут она отняла руку у К., выпрямилась и заплакала, не закрываясь, открыто подняла она к нему залитое слезами лицо, словно плачет она не о себе и потому скрываться нечего, плачет она из-за предательства К., оттого ему и пристало видеть ее горькие слезы. — На самом деле, — продолжала она, — все, все изменилось с той минуты, как я услышала твой разговор с мальчиком. Как невинно начал ты этот разговор, расспрашивал о его домашних, о том о сем, казалось, словно ты снова вошел ко мне в буфет, такой приветливый, искренний, и так же по-детски настойчиво ищешь мой взгляд. Все было, как прежде — никакой разницы, — и я только хотела, чтобы хозяйка была тут же и, слушая тебя, все же попыталась бы остаться при своем мнении. Но потом вдруг, сама не знаю, как это случилось, я поняла, зачем ты завел разговор с мальчиком. Ты завоевал его доверие — а это было нелегко — своими сочувственными словами, чтобы потом без помехи идти к своей цели, а мне она становилась все яснее. Твоей целью была та женщина. С виду ты как будто тревожился о ней, но за этими словами скрывалась одна забота — о твоих собственных делах. Ты обманул эту женщину еще до того, как завоевал ее. Не только мое прошлое, но и мое будущее слышалось мне в твоих словах; мне казалось, будто рядом со мной сидит хозяйка и все мне объясняет, и хотя я изо всех сил стараюсь ее отстранить, но сама ясно вижу всю безнадежность своих усилий, причем ведь обманывали-то уже не меня — меня теперь и обманывать не стоило! — а ту чужую женщину. А когда я, собравшись с духом, спросила Ханса, кем он хочет быть, и он ответил, что хочет стать таким, как ты, то есть уже совершенно подпал под твою власть, разве тогда уже была какая-нибудь разница между нами — славным мальчуганом, которого обманывали тут, и мной, обманутой тогда, в гостинице?

— Все твои слова, — начал К., который, слушая привычные попреки, уже успел овладеть собой, — все твои слова в некотором смысле правильны, хотя они и нелогичны, только очень враждебны. Это же мысли хозяйки, моего врага, и это меня утешает, даже если ты думаешь, что они твои собственные. Очень это поучительно, от хозяйки можно многому научиться. Мне в лицо она этого не сказала, хотя в остальном меня не особенно щадила; видно, она поручила это оружие тебе, понадеявшись, что ты его применишь в особенно тяжелую или особенно решающую для меня минуту. И если я злоупотребляю

тобой, то она уж определенно тобой злоупотребляет. А теперь, Фрида, подумай сама: даже если бы было так, как говорит хозяйка, то все было бы очень плохо только в одном случае — если ты меня не любишь. Тогда, только тогда и вправду оказалось бы, что я завоевал тебя хитростью, с расчетом, чтобы потом торговать своей добычей. Может быть, я по заранее задуманному плану нарочно появился перед тобой под руку с Ольгой, чтобы вызвать в тебе жалость, а хозяйка, должно быть, забыла и это поставить мне в счет моих провинностей. Но если такого гнусного поступка не было, если не хитрый хищник тебя тогда рванул к себе, но ты сама пошла ко мне навстречу, как я — к тебе, и мы нашли друг друга в полном забвении, а если так, Фрида, что же тогда? Тогда, значит, я веду не только свое, но и твое дело, тут никакой разницы нет, только враг может нас разделять. Так оно и во всем, и по отношению к Хансу тоже. Но ты сильно преувеличиваешь разговор с Хансом из-за твоей большой обидчивости, ведь даже если наши с ним намерения не вполне совпадают, то все же особого противоречия между ними нет, кроме того, наши разногласия от Ханса не укрылись, и если ты так думаешь, то ты очень недооцениваешь этого осторожного человечка, но, даже если он ничего не понял, никакой беды, надеюсь, от этого не будет.

— Так трудно во всем разобраться, К., — сказала Фрида, вздыхая, — никакого недоверия к тебе у меня, конечно, не было, а если я чем-то и заразилась от хозяйки, то с радостью от этого откажусь и на коленях буду просить у тебя прощения — да я все время так и делаю, хоть и говорю злые слова. Правда только в одном: ты многое от меня скрываешь, ты уходишь и приходишь неизвестно откуда и куда. Помнишь, когда Ханс постучал, ты даже воскликнул: «Варнава!» О если бы ты хоть раз позвал меня с такой же любовью, с какой ты, неизвестно почему, выкрикнул это ненавистное имя! Если ты мне не доверяешь, как же тут не возникнуть подозрениям? Так я могу совсем подпасть под влияние хозяйки, ты словно подтверждаешь все ее слова своим поведением. Не во всем, конечно; я вовсе не хочу доказывать, что ты во всем подтверждаешь ее слова: прогнал же ты ради меня своих помощников. Ах, если бы ты знал, как жадно я ищу хорошее во всем, что ты говоришь и делаешь, как бы ты меня ни огорчал.

— Прежде всего, Фрида, — сказал К., — я от тебя совершенно ничего не скрываю. Но как меня ненавидит хозяйка, как она старается

вырвать тебя у меня, какими подлыми способами она этого добивается и как ты ей поддаешься! Скажи, в чем я скрытничаю? Что я хочу попасть к Кламму, ты знаешь; что ты мне в этом ничем помочь не можешь и что мне придется добиваться этого своими силами, ты тоже знаешь; а что мне до сих пор ничего не удавалось, ты видишь. Неужели мне надо рассказывать все бесполезные попытки, и без того слишком унижительные для меня, и тем самым унижаться вдвойне? Неужто хвастаться, как я мерзну на подножке кламмовских саней, без толку дожидаясь его целый день? Я спешу к тебе, радуясь, что не надо больше думать о таких вещах, а ты снова мне о них напоминаешь. А Варнава? Конечно же, я его жду. Он посыльный Кламма, и не я назначил его на эту должность.

— Опять Варнава? — крикнула Фрида. — Никогда не поверю, что он хороший посыльный.

— Может, и твоя правда, — сказал К., — но другого мне не дали, он единственный.

— Тем хуже, — сказала Фрида, — тем больше ты должен остерегаться его.

— К сожалению, он до сих пор мне не подавал повода, — с улыбкой сказал К. — Приходит он редко, все, что он приносит, ничего не значит, ценно только то, что это идет непосредственно от самого Кламма.

— Но послушай, — сказала Фрида, — выходит, что даже Кламм уже не цель для тебя, может быть, это и тревожит меня больше всего. Плохо было, когда ты все время стремился к Кламму, минуя меня, но гораздо хуже, если ты сейчас как будто отходишь от Кламма, этого даже хозяйка не могла предвидеть. По словам хозяйки, моему счастью, весьма сомнительному, но все же настоящему, придет конец в тот день, когда ты поймешь, что твоя надежда на Кламма напрасна. А теперь ты даже и этого дня не ждешь, вдруг появляется маленький мальчик, и ты начинаешь бороться с ним за его мать не на жизнь, а на смерть.

— Ты правильно восприняла мой разговор с Хансом, — сказал К. — Так оно и было. Неужели ты настолько забыла всю свою прежнюю жизнь (конечно, кроме хозяйки, от этой никуда не денешься), что не помнишь, как приходится бороться за всякое продвижение, особенно когда поднимаешься из самых низов? Как надо использовать все, в чем кроется хоть малейшая надежда? А та женщина — из Замка, она

сама так сказала в первый день, когда я заблудился и попал к Лаземану. Что могло быть проще, чем попросить ее совета или даже помощи; и если хозяйка с такой точностью видит все препятствия, мешающие попасть к Кламму, то эта женщина, наверно, знает туда дорогу, она же сама пришла по ней сюда.

— Дорогу к Кламму? — спросила Фрида.

— Конечно, к Кламму, куда же еще? — сказал К. и вскочил с места. — А теперь уже давно пора принести завтрак.

Но Фрида с настойчивостью, вовсе не соответствующей такому пустяковому поводу, стала умолять его остаться, как будто только своим присутствием он мог подтвердить все утешительные слова, сказанные ей. Однако К. напомнил ей об учителе, указав на дверь, которая ежеминутно могла с грохотом распахнуться, и обещал вернуться как можно скорей, ей даже затапливать печь не надо, он все сделает сам. В конце концов Фрида молча сдалась. Во дворе, утопая в снегу — дорожку давно надо было расчистить, удивительно, до чего медленно шла работа! — К. увидел, что один из помощников, полумертвый от усталости, все еще стоял, вцепившись в ограду. Только один, а где же второй? Может быть, К. хоть одного из них, наконец, вывел из терпения? Правда, у этого еще запала было достаточно, это сразу стало ясно, когда он при виде К. пуще прежнего стал размахивать руками и закатывать глаза. «Вот примерная выдержка! — сказал себе К. и тут же добавил: — Но так можно и замерзнуть у забора!» Однако К. не подал виду и погрозил помощнику кулаком, чтобы тот не вздумал подойти, и помощник испуганно отскочил подальше. Но тут Фрида распахнула окно, чтобы проветрить комнату, прежде чем затопить, как она договорилась с К. Помощник немедленно перенес на нее все внимание и стал подкрадываться к окну, словно его неудержимо тянуло туда. С растерянным лицом, явно терзаясь жалостью к помощнику и с беспомощной мольбой глядя на К., Фрида протянула руку из окна, но трудно было разобрать, звала ли она или отгоняла помощника, так что тот не поддавался искушению и ближе не подошел. Тут Фрида торопливо захлопнула наружную раму, но осталась у окна, держа руку на задвижке с застывшей улыбкой, склонив голову набок и не отводя глаз. Понимала ли она, что скорее привлекает, чем отталкивает этим помощника? Но К. больше не стал оборачиваться, лучше было сделать все как можно скорее и сразу вернуться сюда.



*Глава пятнадцатая*  
*У Амалии*

К вечеру, когда уже стемнело, К. наконец расчистил дорожку и крепко утрамбовал снежные навалы по обе ее стороны — на этот день работа была закончена. Он стоял у ворот в одиночестве, вокруг не было видно ни души. Помощника он давно выставил и отогнал подальше; тот скрылся где-то за садиками и домишками, найти его было невозможно, и с тех пор он не появлялся. Фрида осталась дома, то ли она уже взялась за стирку, то ли все еще мыла кошку Гизы: со стороны Гизы это было проявлением большого доверия — поручить Фриде такую работу, правда весьма неаппетитную и неподходящую; и К., наверно, никогда не позволил бы Фриде взяться за нее, если бы не приходилось после их служебных промашек налаживать добрые отношения с Гизой. Гиза одобрительно следила, как К. принес с чердака детскую ванночку, как согрели воду и, наконец, осторожно посадили кошку в ванну. Затем Гиза оставила кошку на Фриду, потому что пришел Шварцер, тот, с которым К. познакомился в первый вечер, поздоровался с К. отчасти смущенно из-за событий, случившихся в тот вечер, а отчасти — весьма презрительно, как и полагалось здороваться со школьным служителем, после чего удалился с Гизой в соседнюю комнату. Там они до сих пор и сидели. В трактире «У моста» К. слышал, что Шварцер, хоть он и сын кастеляна, давно поселился в Деревне из-за любви к Гизе; он по протекции добился у общины места помощника учителя, но выполнял свои обязанности, главным образом присутствуя на всех уроках Гизы, причем либо сидел за партой среди школьников, либо у ног Гизы на кафедре. Он никому не мешал, дети давным-давно к нему привыкли, что было вполне понятно, так как Шварцер детей не любил и не понимал, почти с ними не разговаривал, заменяя Гизу лишь на уроках гимнастики, а в остальном довольствовался тем, что дышал одним воздухом с Гизой, ее близостью, ее теплом. Самым большим наслаждением для него было сидеть рядом с Гизой и править школьные тетрадки. И сегодня они занимались тем же. Шварцер принес большую стопку тетрадей — учитель отдавал им и свои, — и, пока было светло, К. видел, как они работают за столиком у окна, сидя неподвижно, щека к щеке. Теперь виднелось только мерцание двух свечей за стеклом. Серьезная молчаливая любовь связывала этих двоих; тон задавала Гиза; хотя она са-

ма при всей тяжеловесности своего характера иногда могла сорваться и выйти из границ, от других в другое время она не потерпела бы ничего подобного, и Шварцер, живой и подвижный, должен был подчиняться ей — медленно ходить, медленно говорить, подолгу молчать; но видно было, что за это его сторицей вознаграждает присутствие Гизы, ее спокойная простота. Причем Гиза, может быть, вовсе и не любила его, — во всяком случае, никакого ответа на этот вопрос нельзя было прочесть в ее круглых серых, в полном смысле слова немигающих глазах, где как будто вращались одни зрачки. Видно было, что она терпит Шварцера без возражений, но чести быть любимой сыном кастиеляна она не признавала и спокойно носила свое пышное, полное тело независимо от того, смотрел на нее Шварцер или нет. Напротив, Шварцер ради нее приносил себя в жертву, живя в Деревне; посланцев своего отца, приходивших за ним, он выставлял с таким возмущением, словно вызванное их приходом беглое напоминание о Замке и о сыновнем долге уже наносило чувствительный и непоправимый урон его счастью. А ведь, в сущности, свободного времени у него было предостаточно, потому что Гиза, в общем, показывалась ему на глаза только во время уроков и проверки тетрадей, причем не из какого-либо расчета, а потому, что она любила свои удобства и предпочитала одиночество, чувствуя себя счастливее всего, когда могла дома в полной свободе растянуться на кушетке рядом с кошкой, которая не мешала, потому что почти не могла двигаться. И Шварцер большую часть дня шатался без дела, но и это было ему по душе, так как всегда была возможность — и он широко ею пользовался — пойти на Левенгассе, где жила Гиза, подняться до ее мансарды, постоять у всегда запертой двери, послушать и торопливо удалиться, установив, что в комнате неизменно царит необъяснимая и полная тишина. Все же иногда — но только не при Гизе — последствия этого странного образа жизни сказывались на нем в нелепых вспышках внезапно проснувшегося чиновничьего высокомерия, хотя и весьма неуместного в его теперешнем положении; да и кончалось это обычно не очень хорошо, чему и К. был свидетель.

Удивительно было только то, что многие, во всяком случае на постоялом дворе «У моста», говорили о Шварцере с некоторым уважением, даже когда речь шла скорее о смешных, чем о значительных поступках, причем эта уважительность распространялась и на Гизу. И все же было неправильно со стороны Шварцера думать, что он как

помощник учителя стоит много выше, чем К., — такого преимущества у него вовсе не было: для учителей в школе, особенно для учителя вроде Шварцера, школьный сторож — очень важная персона, и нельзя было безнаказанно пренебрегать им, а если уж причиной пренебрежения было чье-то служебное положение, то, во всяком случае, надо было дать возможность и другой стороне свободно проявлять свое отношение. При первом удобном случае К. собирался это обдумать, а кроме того, Шварцер еще с первого вечера был перед ним виноват, и вина эта ничуть не уменьшалась оттого, что все события следующих дней, в сущности, подтвердили правоту Шварцера в том, как он принял К. Никак нельзя было забыть, что этот прием, может быть, и задал тон всему последующему. Из-за Шварцера все внимание властей уже с первых минут было обращено на К., когда он, совсем чужой в Деревне, без знакомых, без пристанища, измученный дорогой, беспомощный, лежал там на соломенном тюфяке, беззащитный против нападков любых чиновников. А ведь пройди та ночь спокойно, все могло бы обойтись почти без огласки; во всяком случае, о К. никто ничего не знал бы, никаких подозрений он не вызывал бы, и каждый, не задумываясь, приютил бы его у себя, как и всякого другого путника; все увидели бы, что он — человек полезный и надежный, об этом заговорили бы в округе, и, наверно, он вскоре устроился бы где-нибудь хотя бы батраком. Разумеется, власти узнали бы об этом. Но тут была бы существенная разница: одно дело, когда переполошили из-за него среди ночи Центральную канцелярию или того, кто оказался там у телефона, потребовали немедленного решения — правда, с притворным подобострастием, но все же достаточно назойливо, да еще через Шварцера, не пользующегося особым благоволением верхов, а другое дело, если вместо всей этой суматохи К. пошел бы на следующий день в приемные часы к старосте, постучал бы, как положено, представился бы в качестве странника, который уже нашел пристанище у одного из местных жителей, и, возможно, завтра с утра отправился бы в путь, если только, что маловероятно, не нашел бы здесь работу — разумеется, всего на несколько дней, дольше он оставаться ни в коем случае не намерен. Примерно так все обошлось бы, не будь Шварцера. Администрация занялась бы тогда его делом, но спокойно, по-деловому, без того, чтобы заинтересованное лицо проявляло нетерпение, что особенно ей ненавистно. Правда, К. тут ни в чем виноват не был, вся вина лежала на Шварцере, но Шварцер был

сыном кастеляна и внешне держался вполне корректно, значит, вина падала на К. А какой смехотворный повод вызвал все это? Быть может, немилостивое настроение Гизы, из-за которого Шварцер без сна шатался в ту ночь и потом выместил свои неприятности на К.? С другой стороны, однако, можно было сказать, что К. очень многим обязан такому поведению Шварцера. Только благодаря этому стало возможным то, чего К. самостоятельно никогда бы не достиг и что, со своей стороны, вряд ли бы допустило начальство, — а именно то, что К. с самого начала без всяких ухищрений, лицом к лицу, установил прямой контакт с администрацией, насколько это вообще было возможно. Однако выиграл он от этого немного, правда, К. был избавлен от необходимости лгать и действовать исподтишка, но он становился почти беззащитным и, во всяком случае, лишался какого бы то ни было преимущества в борьбе, так что он мог бы окончательно прийти в отчаяние, если бы не сознался себе, что между ним и властями разница в силах настолько чудовищна, что любой ложью и хитростью, на какие он был способен, все равно изменить эту разницу хоть сколько-нибудь существенно в свою пользу он никогда не смог бы. Впрочем, эти мысли служили К. только для самоутешения, Шварцер по-прежнему оставался у него в долгу, и, может быть, повредив ему тогда, он теперь мог бы ему помочь, а такая помощь понадобится К. в любых мелочах на первых же шагах — вот и сейчас, когда и Варнава, по-видимому, снова от него отступился.

Из-за Фриды К. весь день не решался навести справки у Варнавы в доме; для того чтобы не принимать его в комнате при Фриде, он все время работал в саду, задержавшись там и после работы в ожидании Варнавы, но тот не пришел. Теперь оставалось хоть на минутку зайти к его сестрам, хотя бы спросить у порога и сразу вернуться назад. И, воткнув лопату в снег, он побежал бегом. Задыхаясь, он добежал до дома Варнавы, коротко постучав, рванул дверь и, не замечая, что делается в горнице, спросил: «А Варнава все еще не вернулся?» — и только тогда увидел, что Ольги нет, а старики снова сидят в другом конце у стола в каком-то оцепенении, еще не понимая, что происходит у дверей, они только медленно повернули головы; Амалия, лежавшая у печи под одеялами, при появлении К. испуганно привскочила и, схватившись рукой за лоб, словно старалась прийти в себя. Если бы Ольга была дома, она сразу ответила бы на вопрос и К. смог бы тотчас же уйти, а тут ему пришлось подойти к Амалии, протянуть

ей руку, которую она молча пожала, и попросить ее успокоить встревоженных родителей, удержать их на месте, что она и сделала, бросив им несколько слов. К. узнал, что Ольга колет дрова на дворе, Амалия очень устала — она не сказала, по какой причине, — и потому прилегла, а Варнава хотя еще и не пришел, но скоро должен прийти, он никогда не остается ночевать в Замке. К. поблагодарил за сведения, теперь ему можно уйти. Но Амалия спросила, не хочет ли он подождать Ольгу, однако у него, к сожалению, не было времени. Тогда Амалия спросила, говорил ли он уже сегодня с Ольгой; он с удивлением ответил «нет» и спросил, хочет ли Ольга сообщить ему что-нибудь особенное. Амалия с некоторым раздражением поджала губы, молча кивнула К., явно желая с ним попрощаться, и снова улеглась. Лежа, она оглядела его, словно удивляясь, что он еще тут. Взгляд у нее был холодный, ясный, неподвижный, как всегда; и направлен этот взгляд был не прямо на то, что она рассматривала, но скользил чуть-чуть, почти незаметно, однако достаточно определенно мимо того, на что она смотрела; это очень мешало, и казалось, что причиной тому была не слабость, не застенчивость, не притворство, а постоянная, вытесняющая все другие чувства тяга к одиночеству, которую она не скрывала. К. припомнил, что его как будто взгляд ее удивил и в первый вечер, более того, все нехорошее впечатление, которое на него тогда произвела эта семья, зависело от взгляда Амалии, хотя в самом этом взгляде ничего плохого не было, он только выражал гордость и ясную в своей откровенности отчужденность.

— Ты всегда такая грустная, Амалия, — сказал К. — Что тебя мучает? Ты можешь рассказать? Никогда я еще не видел такой деревенской девушки. Только сегодня, только сейчас мне это пришло в голову. Ведь ты родом из Деревни? Ты родилась тут?

Амалия ответила утвердительно, словно К. задал ей только последний вопрос, потом сказала:

— Значит, ты все же подождешь Ольгу?

— Не знаю; зачем ты все время спрашиваешь одно и то же, — сказал К. — Остаться я не могу, меня дома ждет невеста.

Амалия приподнялась на локте — о невесте она ничего не слышала. К. назвал имя. Амалия ее не знала. Она спросила, знает ли Ольга про обручение. К. думал, что знает, ведь Ольга видела его с Фридой, и, кроме того, такие вести быстро распространяются по Деревне. Однако Амалия уверила его, что Ольга ничего не знает и что она будет

очень несчастна, потому что она, кажется, влюблена в К. Открыто она об этом не говорила, потому что она очень сдержанная, но любовь всегда выдает себя невзначай. К. был уверен, что Амалия ошибается. Амалия улыбнулась, и эта улыбка, хоть и печальная, озарила ее мрачно нахмуренное лицо, превратила молчание в слова, отчужденность — в дружелюбие, словно открыв путь к тайне, открыв какое-то скрытое сокровище, которое хотя и можно снова отнять, но уже не совсем. Амалия сказала, что она не ошибается, больше того, ей хорошо известно, что и К. питает склонность к Ольге и что, приходя сюда под предлогом ожидания каких-то известий от Варнавы, он на самом деле приходит только ради Ольги. Но теперь, когда Амалия все знает, он уже не должен себя ограничивать и может приходить чаще. Только об этом она и хотела ему сказать. К. покачал головой и напомнил, что он обручен. Но Амалия вовсе не хотела вникать в историю обручения, тут решающим было непосредственное ее восприятие — ведь К. пришел к ним один; она только спросила, где К. познакомился с той девицей, — он же всего несколько дней живет в Деревне. К. рассказал о вечере в гостинице, на что Амалия коротко заметила, что она возражала против того, чтобы Ольга повела его туда. И она призвала в свидетели саму Ольгу — та вошла с вязанкой дров, свежая, раскрасневшаяся от морозного воздуха, такая бодрая и сильная, словно работа возродила ее после обычного тяжелого сидения в комнате. Она бросила дрова, непринужденно поздоровалась с К. и сразу спросила про Фриду. К. обменялся взглядом с Амалией, но та как будто не хотела сознаться, что ошиблась. Слегка задетый таким отношением, К. стал рассказывать о Фриде гораздо подробнее, чем собирался, описал, в каких трудных условиях она старается вести хозяйство в школе, и так забылся, торопясь все рассказать — ведь он хотел поскорее вернуться домой, — что на прощание даже пригласил обеих сестер к себе в гости. Конечно, он тут же с перепугу запнулся, в то время как Амалия, не дав ему вымолвить больше ни слова, заявила, что принимает приглашение; тут к ней невольно присоединилась и Ольга. Но мысль о том, что нужно уйти как можно скорее, неотступно сверлила К., ему было беспокойно от пристального взгляда Амалии, и потому он решился, не таясь, сознаться, что пригласил он их необдуманно, из личной симпатии, но, к сожалению, должен это отменить, так как между семьей Варнавы и Фридой существует какая-то непонятная, но сильная вражда.

— Вовсе это не вражда, — сказала Амалия, встав с постели и отшвырнув одеяло, — и не так уж это серьезно, просто она подлаживается к общему мнению. А теперь уходи, иди к своей невесте, я вижу, как ты торопишься. И не бойся, что мы придем в гости, я с самого начала говорила об этом в шутку, со зла. Но ты можешь ходить к нам чаще, тебе никто не помешает, а предлог у тебя найдется — скажешь, что ждешь вестей через Варнаву. А я тебе еще облегчу задачу, объяснив, что, если Варнава даже и принесет для тебя какие-нибудь известия, все равно он не сможет прийти в школу, чтобы тебе их передать. Не может он столько бегать, бедняга, придется тебе самому прийти сюда и справиться.

К. еще ни разу не слышал, чтобы Амалия так много и связно говорила, да и слова ее звучали по-другому, было в них какое-то высокомерие, и это ощутил не только К., но и Ольга, хотя она и привыкла к сестре. Ольга стояла в стороне, по-прежнему неуклюже расставив ноги и слегка сутулясь; она не спускала глаз с Амалии, смотревшей только на К.

— Но ты ошибаешься, — сказал К., — ты сильно ошибаешься, считая, что для меня ожидание Варнавы — только предлог. Уладить отношения с властями — самое главное, да, в сущности, и единственное мое желание. И в этом мне должен помочь Варнава, на него я возлагаю почти все надежды. Правда, один раз он уже очень разочаровал меня, но тут я больше виноват, чем он, потому что поначалу я был настолько сбит с толку, что решил, будто все можно уладить просто небольшой прогулкой, а когда выяснилось, как невозможно невозможное, я во всем обвинил его. Это повлияло на меня даже в моем суждении о вашей семье, о вас. Все это прошло, мне кажется, что я и вас теперь лучше понял, и вы... — К. запнулся, ища подходящее слово, но, найдя его не сразу, удовольствовался первым попавшимся: — Вы как будто гораздо доброжелательнее, чем другие жители Деревни, насколько мне пришлось с ними сталкиваться. Но ты, Амалия, опять сбиваешь меня с толку, хоть для тебя служба твоего брата что-то и значит, но его значение для меня ты преуменьшаешь. Может быть, ты не посвящена в дела Варнавы, тогда это хорошо, но, может быть, посвящена — а у меня именно такое впечатление, — тогда это плохо, потому что тогда это значит, что твой брат меня обманывает.

— Успокойся, — сказала Амалия, — ни во что я не посвящена, я ни за что не соглашусь, чтобы меня посвящали в эти дела, ни за что

не соглашусь, даже ради тебя, хотя я многое для тебя готова сделать, ведь, как ты сам сказал, мы люди доброжелательные. Но дела моего брата только его и касаются, и знаю я о них только то, что случайно, против воли, где-нибудь услышу. Зато Ольга может дать тебе полный отчет, он ей все поверяет. — Тут Амалия отошла, пошепталась с родителями и вышла на кухню; она даже не попрощалась с К., словно знала, что ему придется надолго тут остаться и прощаться с ним не надо.

### *Глава шестнадцатая*

Слегка растерявшись, К. остался, и Ольга, подсмеиваясь над ним, потянула его к скамье у печки — казалось, что она и вправду рада, что может посидеть с ним вдвоем, но радость эта была тихой и уж, конечно, ничуть не омрачена ревностью. Именно благодаря такому полному отсутствию ревности, а потому и всякого напряжения К. почувствовал удовольствие; приятно было смотреть в эти голубые глаза, не влекущие, не властные, а полные робкого спокойствия, робкой настойчивости. Казалось, что все предостережения Фриды и хозяйки не только не насторожили его, но заставили быть внимательнее ко всему, что сейчас происходило, и разбираться лучше. И он рассмеялся вместе с Ольгой, когда она спросила, почему он именно Амалию назвал доброжелательной, у Амалии много качеств, но уж доброжелательности в ней нет. На это К. возразил, что похвала, конечно, относится к ней, к Ольге, но Амалия такая властная, что не только присваивает себе все хорошее, что говорится в ее присутствии, но и каждый готов ей добровольно отдать пальму первенства.

— Это правда, — сказала Ольга уже серьезнее, — тут больше правды, чем ты думаешь. Амалия моложе меня, моложе Варнавы, но в семье все решает она, и в хорошем и в дурном; правда, ей приходится нести и хорошее и дурное больше, чем другим.

К. сказал, что это преувеличение, ведь только что Амалия сама сказала, что она, к примеру, совершенно не интересуется делами брата, зато Ольга все о них знает.

— Ну как бы тебе объяснить? — сказала Ольга. — Амалии нет дела ни до Варнавы, ни до меня, в сущности, ей нет дела ни до ко-



го, кроме родителей, за ними она ухаживает день и ночь, вот и сейчас она спросила, чего им хочется, и пошла на кухню готовить для них, ради них заставила себя встать, а ведь она с обеда нездорова, все лежала тут на скамье. Но хотя ей до нас и нет никакого дела, мы от нее зависим, как будто она старшая в доме, и, если бы она нам захотела дать совет в наших делах, мы бы непременно послушались ее, но она не вмешивается, мы ей чужие. Вот ты, видно, в людях разбираешься, и пришел ты со стороны, разве ты не заметил, до чего она умная?

— Я заметил, до чего она несчастная, — сказал К., — но как тут согласовать ваше уважение к ней с тем, что Варнава, например, бегаёт с поручениями, тогда как Амалия этого не одобряет? Более того, презирает.

— Да если бы он знал, что сможет делать что-нибудь еще, он давно бросил бы работу посыльного, она ему совсем не по душе.

— Разве он не обучен ремеслу сапожника? — спросил К.

— Конечно, обучен, — сказала Ольга, — попутно он и работает у Брунсвика, и, стоит ему захотеть, у него и работы будет вдоволь, и заработок отличный.

— Ну вот, — сказал К., — значит, ему это и заменит службу посыльного.

— Заменит службу посыльного? — удивилась Ольга. — Да разве он стал посыльным ради заработка?

— Возможно, — сказал К., — но ведь ты только что упомянула, что эта служба его не удовлетворяет?

— Да, не удовлетворяет, и по очень многим причинам, — сказала Ольга, — но все же это служба при Замке, во всяком случае, так можно предполагать.

— То есть как это? — сказал К. — Вы даже в этом сомневаетесь?

— Как сказать, — проговорила Ольга, — в сущности, нет. Варнава бывает в канцеляриях, со слугами встречается как равный, видит издали некоторых чиновников, ему поручают сравнительно важные письма, дают всякие устные поручения — все это немало, и мы можем гордиться тем, чего он достиг в такие молодые годы.

К. утвердительно кивнул, о возвращении домой он уже не думал.

— У него и ливрея особая? — спросил он.

— Ты про куртку? — сказала Ольга. — Нет, куртку ему сшила Амалия еще до того, как он стал посыльным. Но тут мы затронули боль-

ное место. Ему уже давно следовало бы получить не ливрею — их в Замке не выдают, — однако, во всяком случае, одежду из канцелярии ему давно обещали, но в таких делах Замок всегда тянет, и хуже всего, что не знаешь, почему они тянут; может быть, это значит, что дело оформляется, а может быть, это значит, что оформление еще и не начиналось, что, скажем, Варнава все еще проходит испытательный срок, а может случиться, что оформление давно закончено, но по каким-то причинам получен отказ и Варнава никогда никакой одежды не получит. А узнать точно ничего нельзя, во всяком случае, узнаешь не сразу, а через много времени. Тут в ходу поговорка, может, ты ее слышал: административные решения робки, как молоденькие девушки.

— Это неплохо подмечено, — сказал К., восприняв эти слова с большей серьезностью, чем Ольга. — Неплохо подмечено. У этих решений, наверно, можно найти сходство с девушками и в другом.

— Возможно, — сказала Ольга, — правда, я не понимаю, о чем ты говоришь. Может, ты это даже сказал одобрительно. Но Варнава очень беспокоится насчет этой формы, а так как мы с ним все заботы делим, то беспокоюсь и я. Почему же ему не выдают на службе форму? — тщетно спрашиваем мы себя. Но все это далеко не так просто. Например, у чиновников как будто вообще нет никакой служебной формы. Насколько нам известно и судя по рассказам Варнавы, чиновники ходят в обычных, правда очень красивых, костюмах. Впрочем, ты и сам видел Кламма. Конечно, Варнава не чиновник, он даже не чиновник самой низшей категории, да он и не мечтает стать им. Но даже старшие слуги, которых мы, правда, тут, в Деревне, почти не видим, по словам Варнавы, формы не носят. Можно было бы сказать, что это тоже утешение, но ведь и оно обманчиво, разве Варнава из высших слуг? Нет, даже при самом лучшем к нему отношении этого не скажешь, он вовсе не старший слуга; уже одно то, что он возвращается в Деревню и даже живет здесь, доказывает обратное, ведь старшие слуги еще больше держатся особняком, чем чиновники, и, может быть, это правильно, может быть, они даже важнее некоторых чиновников, этому тоже есть подтверждения: работают они меньше, по словам Варнавы, приятно смотреть, когда эти отборные, высокие и сильные мужчины медленно проходят по коридорам. Варнава точно вьется около них. Словом, и речи нет, что Варнава — один из старших слуг. Правда, он мог бы считаться одним

из низших слуг, но те носят служебную форму, во всяком случае, когда спускаются в Деревню, да и то на них не настоящая ливрея; к тому же в одежде у них много всяких различий, но все же по платью сразу узнаешь, что это — слуга Замка, впрочем, ты их сам видал в гостинице. Самое заметное в их одежде то, что она очень плотно облегает тело, ни крестьянин и ни ремесленник такой одежды носить бы не мог. А вот у Варнавы такой одежды нет, и это не то чтобы стыдно или унижительно, нет, это можно было бы перенести, но нас, особенно в грустные часы — а их у нас с Варнавой бывает немало, — нас это заставляет сомневаться во всем. Служит ли он на самом деле в Замке? — спрашиваем мы себя; да, конечно, он бывает в канцеляриях, но являются ли канцелярии частью Замка? И даже если канцелярии принадлежат Замку, то те ли это канцелярии, куда разрешено входить Варнаве? Он бывает в канцеляриях, но они — только часть канцелярий, потом идут барьеры, а за ними другие канцелярии. И не то чтобы ему прямо запрещали идти дальше, но как он может идти дальше, раз он уже нашел своих начальников, и они с ним договорились и отправили его домой. Кроме того, там за тобой постоянно наблюдают, по крайней мере, так всем кажется. И даже если бы он прошел дальше, какая от этого польза, если у него там никаких служебных дел нет и он там будет лишним? Но ты не должен представлять себе эти барьеры как определенные границы. Варнава всегда твердит мне об этом. Барьеры есть и в тех канцеляриях, куда он ходит, но есть барьеры, которые он минует, и вид у них совершенно такой же, как у тех, за которые он еще никогда не попадал, поэтому вовсе не надо заранее предполагать, что канцелярии за теми барьерами существенно отличаются от канцелярий, где уже бывал Варнава. Но в грустные часы именно так и думается. И тогда одолевает сомнение, и никуда от него не денешься. Да, Варнава разговаривает с чиновниками, Варнаве дают поручения. Но какие это чиновники, какие это поручения? Теперь он, по его словам, прикреплен к Кламму и получает поручения от него лично. А ведь это очень много, даже старшие слуги так высоко не поднимаются; может быть, это даже слишком много, вот что пугает. Подумай только — иметь дело непосредственно с самим Кламмом, говорить с ним лично! Ведь это так и есть. Ну да, так оно и есть, но почему тогда Варнава сомневается, что чиновник, которого называют Кламмом, действительно и есть Кламм?

— Слушай, Ольга, — сказал К., — ты, видно, хочешь пошутить, ну разве можно сомневаться, как выглядит Кламм, ведь его внешность всем знакома, я сам его видел.

— Нет, конечно, К., — сказала Ольга, — вовсе это не шутки, а серьезная моя тревога. Но рассказываю я тебе об этом вовсе не для того, чтобы облегчить душу и переложить тягость на тебя, а потому, что ты спрашивал о Варнаве и Амалия поручила мне все тебе рассказать, да я и сама считаю, что тебе это будет полезно. И еще я это делаю ради Варнавы, чтобы ты не возлагал на него слишком больших надежд, не то потом ты в нем разочаруешься, а он от этого будет страдать. Он такой чувствительный, обидчивый: например, сегодня он не спал всю ночь оттого, что ты вчера вечером был им недоволен, ты как будто сказал, что для тебя очень плохо иметь только такого посыльного, как Варнава. От этих слов он совсем лишился сна. Ты-то сам, наверно, не заметил, как он был взволнован, посыльные из Замка обязаны владеть собой. Но ему нелегко, даже с тобой ему трудно. Ты, конечно, считаешь, что требуешь от него немногого, ты к нам пришел со своими сложившимися понятиями о службе посыльного и по ним ставишь свои требования. Но в Замке совсем другие понятия о службе посыльных, они никак не вяжутся с твоими, даже если бы Варнава целиком жертвовал собой ради службы, а он, к сожалению, иногда готов и на это. Конечно, надо было бы подчиниться, тут и возразить ничего нельзя, если бы мы не сомневались, действительно он служит посыльным или нет. Разумеется, при тебе он никак не смеет высказывать сомнение, для него это значило бы подорвать свое собственное существование, грубо нарушить законы, которым он, по его мнению, еще подчиняется, и даже со мной он не может говорить свободно, я и ласками, и поцелуями выманиваю у него все мысли, да и то он сопротивляется, никак не хочет сознаться, что он и вправду сомневается. В чем-то он кровно похож на Амалию. Никак мне всего не скажет, хоть я одна у него в поверенных. И о Кламме мы иногда говорим, я-то Кламма еще не видела, сам знаешь — Фрида меня недолюбливает и никогда не позволила бы мне на него взглянуть, но, конечно, в Деревне его с виду знают, кое-кто и видел, все о нем слышали, и из этих встреч, из этих слухов, а также из всяких непроверенных косвенных свидетельств создалось представление о Кламме, и в основном, наверно, оно соответствует действительности. Но только в основном. Это представление непрестанно меняется, наверно, даже

больше, чем меняется сама внешность Кламма. Он выглядит совершенно иначе, когда появляется в Деревне, чем когда оттуда уходит; иначе — до того, как выпьет пива, и совсем иначе потом; когда бодрствует — иначе, чем когда спит; иначе — в беседе, чем в одиночестве, и, что, конечно, вполне понятно, он совсем иначе выглядит там наверху, в Замке. Но даже в Деревне его описывают по-разному: по-разному говорят о его росте, о манере держаться, о густоте его бороды, вот только его платье все, к счастью, описывают одинаково — он всегда носит один и тот же длиннополый сюртук. Но в этих разногласиях ничего таинственного, конечно, нет; и понятно, что разное впечатление создается в зависимости от настроения в минуту встречи, от волнения, от бесчисленных степеней надежды или отчаяния, в которых находится тот, кому, правда, лишь на минуту, удастся видеть Кламма. Я тебе пересказываю только то, что мне так часто объяснял Варнава, и, в общем, если человек лично и непосредственно не заинтересован, то он на этом может успокоиться. Но мы успокоиться не можем — для нас жизненно важный вопрос: говорил ли Варнава с самим Кламмом или нет.

— Для меня тоже не меньше, чем для вас, — сказал К., и они еще ближе пододвинулись друг к другу на скамье.

Хотя невеселый рассказ Ольги и расстроил К., однако ему было на руку, что тут он соприкоснулся с людьми, судьба которых хотя бы внешне очень походила на его судьбу, поэтому он мог примкнуть к ним, мог найти с ними общий язык во многом, а не только в некоторых вещах, как с Фридой. И хотя постепенно у него пропадала всякая надежда на успешный исход миссии Варнавы, однако чем хуже приходилось Варнаве там, наверху, тем ближе становился он ему тут, внизу. К. и предполагать не мог, чтобы в самой Деревне у людей могла возникнуть такая тоска и неудовлетворенность, как у Варнавы и его сестры. Правда, все было далеко не так ясно и в конце концов могло оказаться совсем не так, нельзя было сразу поддаваться внешней наивности Ольги или доверять искренности Варнавы.

— Варнава хорошо знает все, что говорится о внешности Кламма, — продолжала Ольга, — он собрал для сравнения много, пожалуй, даже слишком много, всяких высказываний о внешности Кламма, даже однажды сам видел Кламма в Деревне, через окно кареты, и все же — как ты это объяснишь? — когда он пришел в одну из канцелярий Замка и ему показали среди множества чиновников одного, ска-

зав, что это Кламм, он его не узнал и долго потом не мог привыкнуть, что это и был Кламм. Но если спросить Варнаву, чем тот человек отличается от обычного представления о Кламме, Варнава тебе ничего не сможет ответить, вернее, он ответит, даже опишет того чиновника в Замке, но его описание во всем совпадет с тем, как обычно нам описывают Кламма. «Ну послушай, Варнава, — говорю я ему, — чего же ты сомневаешься, чего ты мучаешься?» И тогда он в явном смущении начинает перечислять все особые приметы того чиновника в Замке, но кажется, будто он их скорее выдумывает, чем описывает, да кроме того, все это такие мелочи — ну например, это касается особой манеры кивать головой или расстегнутых пуговиц на жилете, так что невозможно принимать эти мелочи всерьез. Но по-моему, гораздо важнее, как Кламм общается с Варнавой. Варнава очень часто мне это описывал, обрисовывал. Обычно Варнаву проводят в огромную канцелярию, но это не канцелярия Кламма, вообще, это не чья-то личная канцелярия. Это комната, разделенная по длине от стенки к стенке общей конторкой, причем одна часть комнаты так узка, что два человека с трудом могут разминуться, — и там размещаются чиновники, а в другой части, в широкой, находятся просители, зрители, слуги и посыльные. На конторке лежат раскрытые большие книги, за ними стоят чиновники и читают. Причем они читают не одну и ту же книгу, а обмениваются, но не книгами, а местами, и Варнаву больше всего удивляет, как им приходится при таком обмене протискиваться мимо друг друга из-за тесноты помещения. Впереди, вплотную к конторке, приставлены низенькие столики, и за ними сидят писари, которые по желанию чиновников пишут под их диктовку. Варнава всегда удивляется — как это происходит? Никакого точного приказа чиновник не отдает, да диктует он негромко, даже почти нельзя заметить, что идет диктовка, скорее кажется, что чиновник читает по-прежнему, только при этом что-то нашептывает, а писарь слушает. Часто чиновники диктуют так тихо, что писарь с места никак расслышать не может, и ему приходится все время вскакивать, выслушивать диктовку, быстро садиться и записывать, а потом снова вскакивать, и так без конца. Как это все странно! Даже понять трудно. Правда, у Варнавы времени для наблюдения сколько угодно, он ведь иногда часами, даже целыми днями стоит там, в половине для посетителей, и ждет, пока его заметит Кламм. Но даже когда Кламм его увидит и Варнава вытянется во фронт, это еще ничего не значит,

потому что Кламм может снова отвернуться от него к своей книге и забыть о нем. Часто так и бывает. Но что же это за должность посыльного, если она не имеет никакого значения? Меня тоска берет, когда Варнава с утра заявляет, что идет в Замок. И поход этот, вероятно, никому не нужен, и день, вероятно, будет потерян, и все надежды, наверно, напрасны. К чему все это? А тут накапливается сапожная работа, никто ее не делает, а Брунsvик торопит.

— Ну хорошо, — сказал К., — пусть Варнаве приходится долго ждать, пока он получит поручение. Это понятно. Там, как видно, излишек служащих, не каждому удастся получать поручения ежедневно, на это вам жаловаться не стоит, с каждым такое бывает. Но ведь в конце концов Варнаве дают поручение, мне самому он уже доставил два письма.

— Может быть, мы и не правы, — сказала Ольга, — и зря жалуемся, особенно я, ведь я-то знаю все только понаслышке, и мне, девушке, не понять всего, что понимает Варнава, а он к тому же многое, очень многое скрывает. Но ты послушай, что делается с этими письмами, например, с письмами к тебе. Эти письма Варнава получает не от самого Кламма непосредственно, а от писаря. В любой час, в любой день — потому-то эта служба, хоть и кажется легкой, на самом деле очень утомительна — писарь вспоминает о нем и подзывает к себе. Кажется, что Кламм тут ни при чем, он спокойно читает себе свою книгу; правда, иногда в ту минуту, как входит Варнава, Кламм протирает пенсне — впрочем, он это делает и так довольно часто — и, может быть, смотрит на Варнаву, если только он вообще что-нибудь видит без пенсне, в чем Варнава очень сомневается; обычно Кламм при этом замуривает глаза, кажется, что он заснул и протирает стеклышки во сне. В это время писарь ищет у себя под столом в грудe писем и документов письмо, адресованное к тебе, так что письмо вовсе не написано сию минуту, наоборот, судя по состоянию конверта, письмо очень старое и уже давно там завалилось. Но если письмо старое, зачем они заставляли Варнаву ждать так долго? Да и тебя тоже? И письмо ждало долго и, должно быть, уже устарело. А из-за этого про Варнаву идет худая слава, будто он плохой, медлительный посыльный. Писарю, конечно, легко, он просто дает Варнаве письмо, говорит: «От Кламма для К.» — и отпускает Варнаву. И тогда Варнава мчится домой, задыхаясь, спрятав под рубаху, ближе к телу, долгожданное письмо, и мы с ним садимся вот тут, на эту скамейку, как

сейчас, и он мне все рассказывает, и мы обсуждаем каждую подробность, расцениваем, чего же он достиг, и в конце концов устанавливаем, что достиг он немногого, да и это немногое сомнительно; у него пропадает желание передавать письмо по адресу, но и спать ему неохота, тогда он берется сапожничать и просиживает за верстаком всю ночь. Вот какие дела, К., вот в чем моя тайна, теперь ты уже не станешь удивляться, что Амалия об этом ничего знать не хочет.

— А как же с письмом? — спросил К.

— С письмом? — переспросила Ольга. — Ну через некоторое время, если я буду очень наседавать на Варнаву — а ведь проходили дни, недели, — он наконец возьмет письмо и отправится передавать его по назначению. В таких внешних делах он очень от меня зависит. Ведь мне легче взять себя в руки, после того как забудется первое впечатление от его рассказа; а он не в состоянии это сделать, наверно, оттого, что знает больше меня. А тогда я могу ему сказать: «Что же ты, в сущности, хочешь, Варнава? О какой карьере, о какой цели ты мечтаешь? Неужто ты дойдешь до того, что ты нас — а главное, меня — должен будешь совсем покинуть? Уж не к этому ли ты стремишься? И не зря ли я об этом думаю, но ведь иначе мне никак не понять, почему ты так ужасно недоволен тем, чего ты уже достиг? Оглянись же вокруг, посмотри: разве кто-нибудь из наших соседей поднялся так высоко? Правда, у них положение другое, чем у нас, и нет никаких оснований стремиться выйти за пределы своего хозяйства, но даже без всяких сравнений надо признать, что у тебя все идет отлично. Препятствий, конечно, много, много сомнений, разочарований, но ведь это только и значит — и нам это давно известно, — что тебе ничего не достается даром, что ты должен каждую мелочь брать с бою, но тем больше у тебя оснований гордиться, а не впадать в уныние. А кроме того, ведь ты борешься и за нас! Разве это тебе безразлично? Разве это не придает тебе новых сил? А что я стала счастливой, нет, даже немного высокомерной оттого, что у меня такой брат, разве это не придает тебе уверенности? Честное слово, ты меня разочаровываешь, но не в том, чего ты добился в Замке, а в том, чего я добились в отношении тебя! Ты имеешь право заходить в Замок, ты постоянный посетитель канцелярий, проводишь целые дни в одном помещении с Кламмом, тебя официально считают посыльным, ты рассчитываешь получить форменное платье, тебе поручают передачу важных документов, — вот кто ты такой, вот что тебе разрешено, а ты приходишь



ломой, и, вместо того чтобы нам с тобой обняться, плача от счастья, ты при виде меня как будто совсем падаешь духом, во всем ты сомневаешься, тебя только и тянет к сапожному верстаку, а письмо, этот залог нашего будущего, ты откладываешь в сторону. Все это я ему говорю, и бывает, что после ежедневных уговоров он со вздохом берет письмо и уходит. Но должно быть, мои слова тут ни при чем, просто его снова тянет в Замок, а, не выполнив поручения, он туда явиться не смеет.

— Но ведь ты во всем права, ты ему все говоришь правильно, — сказал К. — Ты на удивление верно все схватила. Поразительно, до чего ты ясно мыслишь.

— Нет, — сказала Ольга, — ты обманываешься, и, может быть, я так же обманываю и его. Чего он, в сущности, достиг? Пусть ему позволено заходить в какую-то канцелярию, но это даже и не канцелярия, скорее, прихожая канцелярии, может быть, даже и не прихожая, а просто комната, где велено задерживать всех, кому нельзя входить в настоящие канцелярии. Да, он говорит с Кламмом, но Кламм ли это? Может быть, это кто-нибудь похожий на Кламма? Может быть, если уж до того дошло, это какой-нибудь секретарь, который немножко похож на Кламма и старается еще больше походить на него, напускает на себя важный вид, подражая сонному, задумчивому виду Кламма. Этим чертам его характера подражать легче всего, тут его многие копируют; правда, в остальном они благоразумно воздерживаются от подражания. А человек, которого так часто жаждут видеть и который так редко доступен, принимает в воображении людей самые разные облики. Например, у Кламма тут, в Деревне, есть секретарь по имени Мом. Да? Ты его знаешь? И он тоже держится всегда в стороне, но все же я его уже видела не один раз. Молодой плотный господин, верно? И на Кламма, по всей вероятности, совершенно не похож. И все же тебе могут попасться в Деревне люди, которые станут клясться, что Мом и есть Кламм, и никто другой. Так люди сами создают себе путаницу. А почему в Замке все должно быть по-другому? Кто-то сказал Варнаве, что вон тот чиновник и есть Кламм, и действительно, между ними можно найти какое-то сходство; однако Варнава постоянно сомневается: есть ли это сходство? И все подтверждает его сомнения. Чтобы Кламм толкался тут, в общей комнате, заложив карандаш за ухо, среди всяких чиновников? Ведь это так невероятно! Иногда Варнава — конечно, при хорошем настроении —

говорит как-то по-детски: да, этот чиновник очень похож на Кламма, и, если бы он сидел в своем кабинете и на двери стояло его имя, я бы вовсе не сомневался. Конечно, это ребячество, но понять его можно. Разумеется, еще понятнее было бы, если бы Варнава, придя туда, наверх, расспросил бы побольше людей, как все обстоит на самом деле, ведь, по его словам, там, в комнате, людей достаточно. И если даже на их сведения нельзя положиться так, как на слова того, кто без всякой просьбы указал ему на Кламма, то, по крайней мере, среди множества этих сведений можно было найти какую-то зацепку, как-то сравнить их. Это не я придумала, это придумал сам Варнава, но он не решается выполнить этот план из страха, что он вдруг невольно нарушит какие-то неизвестные ему предписания и потеряет из-за этого место, он не решается ни с кем заговорить, настолько он неуверенно чувствует себя, и вот эта, в сущности, жалкая неуверенность проливает для меня больше света на его служебное положение, чем все его рассказы. Каким угрожающим, каким неустойчивым ему все должно там казаться, если он боится открыть рот даже для самого безобидного вопроса. Стоит мне только об этом подумать, и я себя обвиняю в том, что пускаю его одного в эти незнакомые мне помещения, где происходит такое, от чего он, человек скорее храбрый, чем трусливый, начинает дрожать от страха.

— Вот тут, как мне кажется, ты коснулась самого главного, — сказал К., — в этом-то и дело. После твоего рассказа я, по-моему, ясно понял все. Варнава слишком молод для такой должности. И ничего из его рассказов нельзя принимать всерьез без оговорок. Оттого, что он там, наверху, пропадает от страха, он ничего толком рассмотреть не может, а когда его все-таки заставляют здесь отчитываться, то ничего, кроме путаных выдумок, не слышат. И я ничуть не удивляюсь. Трепет перед администрацией у вас тут врожденный, а всю вашу жизнь вам его внушают всеми способами со всех сторон, и вы этому еще сами способствуете, как только можете. Однако по существу я тут не возражаю: если администрация хороша, почему бы и не относиться к ней с трепетом и уважением? Только нельзя такого неученого малого, как Варнава, который никогда не выезжал за пределы своей Деревни, сразу посылать в Замок, а потом требовать от него правдивых сообщений и каждое его слово толковать как откровение, да еще от этого толкования ставить в зависимость всю свою судьбу. Ничего ошибочнее быть не может. Правда, и я тоже не хуже тебя впал

из-за него в заблуждение и не только стал на него надеяться, но и терпел от него разочарования, а ведь все было основано лишь на его словах, то есть, в сущности, и вовсе безосновательно.

Ольга промолчала.

— Мне нелегко, — сказал К., — подрывать твое доверие к брату, ведь я вижу, как ты его любишь, чего ты от него ждешь. Но приходится так говорить хотя бы ради твоей любви и твоих ожиданий. Ты пойми: ведь тебе все время что-то мешает — хоть я и не знаю что, — именно мешает увидеть как следует если не достижения, каких Варнава добился, то по крайней мере то, что ему подарено судьбой. Ему разрешено бывать в канцеляриях или, если хочешь, в прихожей. Пусть это будет прихожая, но ведь там есть двери, и они ведут дальше, есть загородки, и за них можно пройти, если хватит сноровки. А вот для меня, например, и эта прихожая, по крайней мере, пока что, совершенно недоступна. С кем Варнава там разговаривает, я не знаю; может быть, тот писарь и самый ничтожный из служащих, но даже если он и самый ничтожный, он может провести к вышестоящему, а если не может провести, то хотя бы может назвать его имя, а если даже имени назвать не может, то хотя бы укажет на кого-нибудь, кто это имя знает. Мнимый Кламм, вероятно, не имеет ничего общего с настоящим Кламмом, и только ослепленный волнением Варнава находит какое-то сходство. Возможно, что это самый мелкий из чиновников, а, скорее, даже и вовсе не чиновник, но ведь какое-то задание у своей конторки он выполняет, что-то из своей большой книги вычитывает, что-то шепчет писарю, что-то думает, когда, пусть изредка, его взгляд останавливается на Варнаве, и даже если все это одна видимость и сам чиновник и его деятельность решительно никакого значения не имеют, то все же кто-то его туда поставил, и с определенной целью. В общем, я хочу сказать: что-то тут есть, что-то Варнаве предоставлено, во всяком случае, хоть что-то ему дано, и только сам Варнава виноват, если он из этого не может извлечь ничего, кроме сомнений, страхов и безнадежности. А ведь я тут исхожу из самого неблагоприятного положения, которое даже маловероятно. Есть же у нас на руках письма — правда, я им доверяю мало, но все же больше, чем словам Варнавы. Пусть это будут письма старые, ненужные, никакой цены не имеющие, вынутые наугад из кучи таких же старых писем, именно наугад, так же бессознательно, как канарейки на ярмарке для кого угодно вынимают наугад билетки с «судьбой», но ес-

ли это даже так, то все же письма имеют какое-то отношение к моей работе, они явно адресованы мне, как подтвердили староста и его жена, письма эти написаны Кламмом собственноручно, хотя, может быть, и не в мою пользу. И пусть эти письма, опять-таки по словам старосты, и частные и малопонятные, но все-таки они имеют серьезное значение.

— Это тебе сказал староста? — спросила Ольга.

— Да, он так сказал, — ответил К.

— Непременно расскажу Варнаве, — торопливо проговорила Ольга, — его это очень ободрит.

— Но ему вовсе не нужно никакого ободрения, — сказал К., — ободрить его — значит сказать ему, что он прав, что пусть он продолжает делать все по-прежнему, но ведь именно так он ничего и не достигнет. Можешь сколько угодно подбадривать человека с завязанными глазами — пусть смотрит сквозь платок, все равно он ничего не увидит, и только когда снимут платок, он увидит все. Помощь — вот что нужно Варнаве, а вовсе не подбадривания. Ты только подумай: все эти учреждения там, наверху, во всем их недоступном величии, — я-то думал до своего приезда, что хоть приблизительно представляю их себе, какая наивность, — значит, там эти учреждения, и с ними сталкивается Варнава, никто, кроме него, только он один, жалкий в своем одиночестве, и для него еще много чести, если он так и сгинет там, проторчав всю жизнь в темном углу канцелярии.

— Ты только не думай, К., — сказала Ольга, — что мы недооцениваем всю трудность задачи, которую взял на себя Варнава. Уважения к властям у нас предостаточно, ты сам так говорил.

— Да, но это не уважение, — сказал К., — ваше уважение не туда направлено, а относиться так — значит унижать того, кого уважаешь. Какое же это уважение, если Варнава зря тратит дарованное ему право посещения канцелярий и в безделье проводит там целые дни или, спустившись вниз, бесславит и умаляет тех, перед кем он только что дрожал, или если он, то ли от усталости, то ли от разочарования, не относит тотчас же письма и не выполняет без задержки доверенные ему поручения. Нет, тут уж никакого уважения нету. Но мало упрекать его, я и тебя должен упрекнуть, Ольга, этого не избежать. Ты сама, несмотря на весь свой трепет перед администрацией, все же послала в Замок Варнаву — такого молодого, такого слабого и одинокого, во всяком случае, ты его не удержала.

— Твои упреки, — сказала Ольга, — я повторяю себе уж издавна. Конечно, не за то я себя упекаю, что я послала его туда, не я его посылала, он сам туда пошел, но я, вероятно, должна была любимыми средствами — силой, хитростью, уговорами — удержать его от этого. Да, я должна была его удержать, однако, если бы сегодня снова настал тот день, тот решающий день, и если бы я чувствовала горе Варнавы, горе нашей семьи, как тогда и как чувствую сейчас, и если бы Варнава, ясно представляя себе всю ответственность и опасность, снова, с ласковой улыбкой, осторожно отвел бы мои руки и ушел бы, я бы и сегодня не смогла его удержать, несмотря на все, что случилось с тех пор, да и ты бы на моем месте вел себя так же. Ты не знаешь нашего горя, поэтому ты так несправедлив к нам, и особенно к Варнаве. Тогда мы надеялись больше, чем сейчас, но и тогда очень большой надежды у нас не было, только горе было большое, таким оно и осталось. Разве Фрида ничего тебе о нас не рассказывала?

— Только намеками, — сказал К., — ничего определенного. Но при одном вашем имени она начинала волноваться.

— И хозяйка тебе ничего не рассказывала?

— Нет, ничего.

— И никто не рассказывал?

— Никто.

— Ну конечно, как же они могли хоть что-нибудь рассказать толком. Каждый про нас что-то знает, то ли правду, насколько она людям доступна, то ли какие-то распространившиеся, а по большей части выдуманные слухи, люди нами занимаются больше чем надо, но рассказать все прямо никто не расскажет, люди боятся и рот открыть про такое. И тут они правы. Трудно выговорить все это даже перед тобой, К., и ведь может так случиться, что ты, выслушав меня, уйдешь и знать нас больше не захочешь, хотя как будто тебя это и не должно касаться. И тогда мы тебя потеряем, а ведь ты, должна сознаться, теперь значишь для меня чуть ли не больше, чем служба Варнавы в Замке. И все же меня весь вечер мучают сомнения, все же ты должен знать, иначе ты никак не поймешь наше положение и по-прежнему — что мне больнее всего — будешь несправедлив к Варнаве, да и у нас с тобой не будет полного понимания, а это необходимо, не то ты ни нам помочь не сможешь, ни нашей очень важной помощи не получишь. Остается один вопрос: хочешь ли ты вообще все знать?

— Почему ты спрашиваешь? — сказал К. — Если это необходимо, то я хочу знать все, но почему ты так спрашиваешь?

— Из суеверия, — сказала Ольга, — ты будешь с головой втянут в наши дела, хоть ты и ни в чем не виноват, как не виноват и Варнава.

— Да рассказывай же скорее! — сказал К. — Ничего я не боюсь. От твоих женских страхов все кажется хуже, чем оно есть.

### Глава семнадцатая

#### Тайна Амалии

Суди сам, — сказала Ольга. — Впрочем, все как будто очень просто, сразу и не понять, как это может иметь такое большое значение. В Замке есть один важный чиновник, его зовут Сортини.

— Слышал я о нем, — сказал К. — Он имел отношение к моему вызову.

— Не думаю, — сказала Ольга. — Сортини почти никогда официально не выступает. Не перепутал ли ты его с Сордини, через «д»?

— Ты права, — сказал К., — то был Сордини.

— Да, — сказала Ольга, — Сордини все знают, он один из самых деятельных чиновников, о нем много говорят. Сортини же, напротив, держится особняком, его никто не знает. Года три назад, а то и больше, я видела его в первый и в последний раз. Это было третьего июля, в праздник пожарной команды, и Замок тоже принял участие, оттуда прислали в подарок новый насос. Сортини, как говорят, отчасти занимается пожарными делами (впрочем, может быть, он кого-то замещал, обычно чиновники замещают друг друга, поэтому так трудно определить должность того или другого). Так вот, Сортини принимал участие в передаче насоса, ну конечно, из Замка пришло много народу — и чиновников и слуг, — и Сортини, как можно было ожидать от человека с его характером, держался совершенно в стороне. Он мал ростом, щедущен, сосредоточен на себе, но что особенно бросалось в глаза тем, кто его вообще замечал, так это его морщины, их у него было множество, хотя ему, наверное, было не больше сорока, и все они шли веером со лба к носу, я никогда в жизни ничего подобного не видела. Ну вот, значит, наступил этот праздник. Мы с Амалией уже за несколько недель радовались, переделали свои пра-

здничные платья по-новому, особенно красивое платье было у Амалии: белая блузка, спереди вся пышная, кружева на ней в несколько рядов, матушка отдала ей все свои кружева, я ей тогда позавидовала и проплакала полночи. Только тогда хозяйка постоянного двора «У моста» пришла посмотреть на нас...

— Хозяйка «У моста»? — спросил К.

— Да, — сказала Ольга, — она тогда очень дружила с нами, вот она и пришла, признала, что Амалия одета куда лучше меня, и, чтобы меня успокоить, одолжила мне свои бусы из богемских гранатов. А когда мы уже были готовы и Амалия стояла передо мной и все на нее залюбовались и отец сказал: «Наверное, Амалия сегодня найдет жениха!» — я вдруг, сама не знаю почему, сняла с себя бусы, мою гордость, и уже без всякой зависти надела на Амалию. Я преклонялась перед ее победой и считала, что все должны перед ней преклоняться; может быть, всех нас поразило, что она выглядит совсем не так, как всегда, ведь, в сущности, красивой ее назвать нельзя, но сумрачный взгляд, сохранившийся у нее с тех пор, витал где-то высоко над нами и невольно заставлял и в самом деле чуть ли не преклоняться перед ней. Это заметили все, даже Лаземан с женой, которые пришли за нами.

— Лаземан? — переспросил К.

— Да, Лаземан, — сказала Ольга. — Ведь мы были окружены почетом, и праздник, например, без нас никак не мог бы начаться, потому что отец был третьим инструктором пожарной команды.

— Неужели отец тогда был еще настолько бодр? — спросил К.

— Отец? — переспросила Ольга, словно не понимая. — Да ведь три года назад он был сравнительно молодым человеком — например, во время пожара в гостинице он вынес бегом на спине одного чиновника, Галатера, весьма тяжелого человека. Я сама была при этом, правда, настоящего пожара не было, только сухие дрова у печки занялись и задымили, но Галатер перепугался, закричал из окна: «Помогите!», приехали пожарные, и отцу пришлось его вынести, хотя огонь уже потушили. Но Галатер — весьма неподвижный мужчина, и в таких случаях ему приходилось соблюдать осторожность. Все это я рассказываю только из-за отца, но с тех пор прошло не больше трех лет, а ты посмотри, каким теперь он стал.

Только тут К. увидел, что Амалия уже вернулась в комнату, но она была далеко, около стола родителей, и там кормила мать с ложки —

та из-за ревматизма не могла шевелить руками — и при этом уговаривала отца потерпеть с едой, сейчас она и к нему подойдет и его тоже накормит. Но отец, не обращая внимания на ее уговоры, с жадностью старался подобраться к супу, и, пересиливая свою слабость, он то пробовал хлебать суп ложкой, то пить его прямо из тарелки и сердито ворчал, когда ему ни то ни другое не удавалось: суп выливался, пока он подносил ложку ко рту, а в суп попадали лишь его свисающие усы и брызги летели во все стороны, только не ему в рот.

— И до этого его довели за три года? — спросил К., все еще испытывая к старикам и ко всему, что было у стола, не жалость, а отвращение.

— Да, за три года, — сказала Ольга, — вернее, за те несколько часов, что длился праздник. Праздник шел на лугу, близ Деревни, у ручья; когда мы пришли, была уже страшная давка, собралось много народу из соседних деревень, от шума кружилась голова. Сначала, конечно, отец подвел нас к новому насосу, он засмеялся от радости, когда увидел его, так он был счастлив, что прислали новый насос, он стал его ощупывать и объяснять нам его устройство, сердился, если другие вмешивались и перебивали его, а когда ему хотелось показать нам что-то под насосом, он заставлял нас нагибаться и чуть ли не залезать вниз, он даже отшлепал Варнаву, когда тот не захотел лезть туда. Только Амалия никакого внимания на этот насос не обращала, она стояла в своем красивом платье не двигаясь, и никто не смел сделать ей замечание, иногда я подбегала к ней, брала ее под руку, но она молчала. Я до сих пор никак не могу понять, почему вышло так, что мы долго стояли у насоса, и только когда отец наконец отошел, мы увидели Сортини, хотя он, очевидно, все это время стоял позади насоса, прислонясь к рукоятке. Правда, вокруг был ужасный шум, и не просто такой, какой всегда бывает на праздниках. Дело в том, что из Замка прислали в подарок пожарникам еще и несколько духовых инструментов, совсем особенных, из таких труб даже ребенок без малейших усилий может извлекать самые дикие звуки, услышишь их — и кажется, что нагрянули турки, и привыкнуть к этой музыке было невыносимо, при каждом звуке так и вздрагиваешь. И оттого, что трубы были новые, каждому хотелось их попробовать, а раз это был народный праздник, то всем и разрешали в них дуть. Вокруг нас теснилось несколько таких трубачей, может быть, их привлекла Амалия, собраться с мыслями было просто невозможно, а тут еще отец



приказывал внимательно осматривать насос, оттого и Сортини, которого мы раньше и не знали, так долго оставался для нас незамеченным. «Вон стоит Сортини», — шепнул наконец отцу Лаземан, я стояла рядом. Отец низко поклонился и сделал нам знак — поклониться Сортини. Отец хотя и не знал его раньше, но глубоко уважал как знатока пожарного дела и часто говорил об этом дома, потому для нас было большой неожиданностью и большим событием, что мы вдруг увидели живого Сортини. Но Сортини не обратил на нас внимания — не по личной прихоти, а как все чиновники, он выказывал полное безразличие к людям. Кроме того, он очень устал, и только служебный долг удерживал его тут, внизу; иным представительство бывает в тягость, но это вовсе не значит, что они — из самых плохих чиновников; другие чиновники и слуги, раз они пришли сюда, смешиваются с толпой, с народом, но Сортини стоял у насоса, и всякого, кто пытался подойти к нему с какой-нибудь просьбой или лестью, он отпугивал своим молчанием. Поэтому он нас заметил еще позже, чем мы его. И только когда мы почтительно поклонились и отец стал извиняться за нас, он посмотрел на нас, взглянул на всех по очереди усталыми глазами; казалось, он вздыхает оттого, что мы подходим друг за другом, пока его взгляд не остановился на Амалии, на которую ему пришлось поднять глаза, потому что она куда выше его. Тут он опешил, перескочил через рукоятку насоса, чтобы подойти поближе к Амалии, и мы, не разобрав, в чем дело, все, во главе с отцом, двинулись было ему навстречу, но он остановил нас, подняв руку, а потом махнул, чтобы мы уходили. Вот и все. Мы стали ужасно дразнить Амалию, что она наконец нашла жениха, и очень веселились весь день, ничего не подозревая. Но Амалия стала молчаливее, чем обычно. «Видно, она по уши влюбилась в Сортини», — сказал Брунsvик; ведь он человек грубый и таких людей, как Амалия, никак не понимает; но на этот раз нам показалось, что он почти прав, вообще, мы весь день дурачились, и все, даже Амалия, были словно оглушены сладким вином из Замка, когда за полночь вернулись домой.

— А Сортини? — спросил К.

— Да, Сортини, — сказала Ольга. — Несколько раз я видела Сортини мимоходом во время праздника: он сидел на рукоятке насоса, скрестив руки на груди, и не двигался, пока за ним не приехал экипаж из Замка. Даже на маневры пожарных он не пошел, а наш отец,

надеясь, что Сортини на него смотрит, превзошел всех мужчин своего возраста.

— И вы больше о нем ничего не слышали? — спросил К. — Ведь ты, кажется, очень его почитаешь?

— Да, почитаю, — сказала Ольга, — а услышали мы о нем скоро. На следующее утро нас, с похмелья, разбудил крик Амалии, все тут же заснуло снова, только я проснулась окончательно и подбежала к Амалии. Она стояла у окна, держа в руках письмо — его подал через окошко какой-то мужчина, он ждал ответа. Амалия уже прочла письмо — оно было короткое — и держала его в опущенной руке; я всегда любила ее, когда видела такой усталой! Я встала на колени и прочла письмо. И только я успела его прочесть, как Амалия, взглянув на меня, подняла руку с письмом, но не смогла заставить себя перечитать его и разорвала на клочки, бросила в лицо мужчине, ждавшему за окном, и захлопнула окошко. Это утро оказалось решающим. Я называю его решающим, хотя весь предыдущий день, каждая его минута были не менее решающими.

— А что было в письме? — спросил К.

— Да я же еще об этом ничего не сказала, — ответила Ольга, — письмо было от Сортини, адресовано девушке с гранатовыми бусами. Передать содержание я не в силах. Это было требование явиться к нему в гостиницу, причем Амалия должна была идти туда немедленно, так как через полчаса Сортини уезжал. Письмо было написано в самых гнусных выражениях, я таких никогда и не слышала и поняла их лишь наполовину, по догадке. Кто не знал Амалии, тот, наверно, счел бы обесчещенной девушку, которой смеют так писать, даже если бы до нее никто и не дотрагивался. И письмо было не любовное, без единого ласкового слова, наоборот, Сортини явно злился, что встреча с Амалией так его задела, оторвала от его обязанностей. Мы потом сообразили, что Сортини, вероятно, хотел уже с вечера уехать в Замок и только из-за Амалии остался в Деревне, а утром, рассердившись, что ему и за ночь не удалось забыть Амалию, написал ей письмо. Такое письмо возмутило бы любую девушку, даже самую хладнокровную, но потом, быть может, другую, не похожую на Амалию, одолел бы страх из-за гневного, угрожающего тона письма, а вот у Амалии оно вызвало только возмущение, страха она не знала — ни за себя, ни за других. И когда я снова забралась в кровать, повторяя про себя отрывок фразы, которой кончалось письмо: «...и чтобы ты немедленно

явилась, не то...» — Амалия все стояла у окна и выглядывала во двор, словно ждала других посланцев и готова была со всеми обойтись как с первым.

— Так вот они какие, чиновники, — нерешительно сказал К., — значит, есть среди них и такие экземпляры. А что же сделал твой отец? Надеюсь, он пожаловался на Сортини в соответствующие инстанции, если только он не предпочел более короткий и верный путь — прямо пойти в гостиницу. Но самое отвратительное во всей этой истории совсем не обида, которую нанесли Амалии, обиду легко исправить, не понимаю, почему ты именно этому придаешь такое преувеличенное значение; почему это Сортини навек опозорил Амалию своим письмом, а так можно подумать по твоему рассказу, но ведь это совершенно нелепо, и вовсе не трудно было добиться для Амалии полного удовлетворения, и через два-три дня вся история была бы забыта; Сортини вовсе не Амалию опозорил, а себя самого. И меня пугает именно Сортини, пугает самая возможность такого злоупотребления властью. То, что не удалось в этом случае, потому что было высказано слишком ясно и отчетливо и нашло у Амалии решительный отпор, то в тысяче других случаев, при других, менее благоприятных, обстоятельствах, могло бы вполне удалиться, причем незаметно для всех, даже для пострадавшей.

— Тише, — сказала Ольга, — Амалия сюда смотрит.

Амалия уже накормила родителей и теперь стала раздевать мать; она только что развязала ей юбку, закинула руки матери себе на шею, слегка приподняла ее, сняла с нее юбку и осторожно посадила на место. Отец, всегда недовольный тем, что мать обслуживали раньше, чем его, — конечно, потому, что мать была гораздо беспомощнее его, — попытался раздеться сам, очевидно, намереваясь попрекнуть дочь за ее воображаемую медлительность, но, хотя он начал с самого легкого и второстепенного, ему никак не удавалось снять громадные ночные туфли, в которых болтались его ступни; хрипя и задыхаясь, он наконец отказался от всяких попыток и снова застыл в своем кресле.

— самого важного ты не понимаешь, — сказала Ольга, — может быть, в остальном ты прав, но самое важное то, что Амалия не пошла в гостиницу; то, как она обошлась с посыльным, еще сошло бы, это можно было бы замять, но тем, что она не пошла, она навлекла проклятие на нашу семью, а при этом и ее обращение с посланцем

сочли непростительным, более того, официально это обвинение и было выдвинуто на первый план.

— Как! — крикнул К. и сразу понизил голос, когда Ольга умоляюще подняла руку. — Уж не хочешь ли ты, ее сестра, сказать, что Амалия должна была послушаться Сортини и побежать к нему в гостиницу?

— Нет, — сказала Ольга, — упаси меня Бог от такого подозрения, как ты мог даже подумать? Я не знаю человека, который во всех своих поступках был бы более прав, чем Амалия. Правда, если бы она пошла в гостиницу, я бы и тут оправдала ее, но то, что она туда не пошла, я считаю ее геройством. Но насчет себя скажу тебе откровенно: если бы я получила такое письмо, я пошла бы туда непременно. Я не вынесла бы страха перед тем, что мне грозило, это могла только Амалия. Однако выходов было много: другая, например, нарядилась бы, потратила на это какое-то время, потом отправилась бы в гостиницу, а там узнала, что Сортини уже уехал, — ведь могло быть и так, что, отослав письмо, он тут же и уехал, это вполне возможно, у господ настроение переменчивое. Но Амалия поступила иначе, совсем не так, слишком сильно ее обидели, оттого она и ответила без раздумья. Но если бы она для видимости послушалась и перешагнула бы тогда порог гостиницы, то можно было избежать, отвести все обвинения, тут у нас есть умнейшие адвокаты, они умеют любую мелочь употребить на пользу, но ведь в этом случае даже такой благоприятной мелочи не было. Напротив, тут было и неуважение к письму Сортини, и оскорбление посыльного.

— Но при чем тут какие-то обвинения, при чем тут адвокаты? Неужто из-за преступного поведения Сортини можно было в чем-то обвинить Амалию?

— Конечно, можно, — сказала Ольга. — Разумеется, не по суду, да и наказать ее непосредственно не наказывали, но все же и ее, и всю нашу семью наказали другим способом, а насколько это наказание сурово, ты, наверно, уже стал понимать. Тебе это кажется чудовищным и несправедливым, но так во всей Деревне считаешь только ты единственный, для нас такое мнение очень благоприятно, оно бы нас очень утешало, если бы не покоилось на явных заблуждениях. Это я могу легко доказать тебе, извини, если при этом я заговорю о Фриде, но между Фридой и Кламмом тоже вышла — не считая конечного результата — очень похожая история, совсем как между Амалией и

Сортини, однако ты, хотя сначала и перепугался, теперь считаешь, что все правильно. И это не значит, что ты ко всему привык, нельзя так огупеть, чтобы ко всему привыкнуть. Производя оценку, ты просто отказываешься от прежних ошибок.

— Нет, Ольга, — сказал К., — Не понимаю, зачем ты втягиваешь Фриду в это дело, там случай совсем другой, перестань путать такие разные вещи и рассказывай дальше.

— Прошу тебя, — сказала Ольга, — не обижайся, если я буду настаивать на сравнении, ты все еще заблуждаешься, и по отношению к Фриде тоже, когда думаешь, что надо защищать ее, не позволяя никаких сопоставлений. Да ее и защищать не приходится, ее надо хвалить. И если я сравниваю эти два случая, то вовсе не говорю, что они похожи, они все равно что черное и белое, и белое тут — Фрида. В худшем случае над Фридой можно посмеяться — я сама тогда, в пивном зале, так невоспитанно смеялась и потом об этом жалела, впрочем, тут у нас если кто смеется, значит, злорадствует или завидует, но все же над ней можно посмеяться. Но Амалию — если ты только с ней кровно не связан — можно только презирать. Потому что оба случая хоть и разные, как ты говоришь, но вместе с тем они и похожи.

— Нет, они не похожи, — сказал К., недовольно покачав головой. — Оставь ты Фриду в покое. Фрида не получала таких милых писулек, как Амалия от Сортини, и Фрида по-настоящему любила Кламма, а кто не верит, пусть спросит у нее самой, она его и сейчас любит.

— Да разве это большая разница? — спросила Ольга. — Неужели, по-твоему, Кламм не мог написать Фриде такое же письмо? Когда эти господа отрываются от своих письменных столов, они все становятся такими, им никак не приладиться к жизни, они тогда могут в рассеянности и нагрубить, правда, не все, но многие. Может быть, письмо к Амалии он набрасывал рассеянно, совершенно не размышляя над тем, что выходило на бумаге. Откуда нам знать мысли господ? Разве ты сам не слышал или тебе не рассказывали, каким тоном Кламм разговаривает с Фридой? Всем известно, какой Кламм грубиян, говорят, что он часами молчит и вдруг скажет такую грубость, что оторопь берет. Про Сортини ничего такого не известно, потому что он сам никому не известен. В сущности, про него только то и знают, что его имя похоже на Сордини, и, если бы не это сходство в именах, его вообще никто не знал бы. Да и как специалиста по пожарному де-

лу его, наверно, тоже путают с Сордини, тот и есть настоящий специалист и сам пользуется сходством их имен, чтобы свалить на Сордини представительские обязанности, а самому спокойно работать. А когда у такого неопытного в обыденной жизни человека, как Сордини, вдруг вспыхивает любовь к деревенской девушке, чувство, конечно, принимает иную форму, чем когда влюбляется какой-нибудь столяр-подмастерье. И кроме того, надо помнить, что между чиновником и дочкой сапожника — огромная пропасть и через нее надо как-то перебросить мост, вот Сордини и пытался сделать это по-своему, другой, может быть, поступил бы иначе. Правда, считается, что мы все принадлежим Замку, и никакой пропасти нет, и никаких мостов строить не надо; может быть, в обычных условиях это и так, но, к сожалению, у нас была возможность убедиться, что, когда с этим столкнешься, все обстоит иначе. Во всяком случае, теперь тебе поведение Сордини должно стать понятнее и не казаться таким уж чудовищным, да это и на самом деле так; по сравнению с поведением Кламма все куда понятнее, а заинтересованному лицу перенести его гораздо легче. Если Кламм напишет самое нежное письмо, оно будет неприятней, чем самое грубое письмо Сордини. Пойми меня правильно, ведь я не смею судить о Кламме, я только их сравниваю оттого, что ты противишься всякому сравнению. Ведь Кламм — командир над женщинами, он приказывает то одной, то другой явиться к нему, никого долго не терпит, и как приказал явиться, так приказывает и убраться. Ах, да Кламм и труда себе не даст писать письма. И неужто по сравнению с этим тебе еще кажется чудовищным, когда такой живущий в полном уединении человек, как Сордини, чье отношение к женщинам вообще никому не известно, вдруг садится и своим красивым чиновничьим почерком пишет письмо, хотя и отвратительное. А если доказано, что Кламм ничуть не лучше Сордини, а, скорее, наоборот, так неужели любовь Фриды может что-нибудь изменить в пользу Кламма? Поверь, отношение женщин к чиновникам определить очень трудно или, вернее, всегда очень легко. В любви тут недостатка нет. Несчастной любви у чиновников не бывает. Поэтому ничего похвального нет, если про девушку скажут — и я говорю далеко не только о Фриде, — что она отдалась чиновнику только потому, что любила его. Да, она его любила и отдалась ему, так оно и было, но хвалить ее за это нечего. Но Амалия-то не любила Сордини, скажешь ты. Ну да, она его не любила, а может быть, и любила, кто разберет.

Даже она сама не разберется. Как она может решить, любила она или нет, когда она сразу его так оттолкнула, как еще ни одного чиновника никогда не отталкивали? Варнава говорит, что ее и сейчас иногда дрожь берет, стоит ей вспомнить, как она тогда, три года назад, захлопнула окошко. И это правда, вот почему ее ни о чем нельзя спрашивать. Она покончила с Сортини и больше ничего не знает, а любит она его или нет — ей неизвестно. Но мы-то все знаем, что женщины не могут не любить чиновников, когда те вдруг обратят на них внимание; более того, они уже любят чиновников заранее, хоть и пытаются отнекиваться, а ведь Сортини не только обратил внимание на Амалию — он даже перепрыгнул через рукоять насоса ногами, онемевшими от сидения за письменным столом, он перепрыгнул через рукоять! Но, как ты сказал, Амалия — исключение. Да, она это подтвердила, когда отказалась пойти к Сортини. Уж это ли не исключение? Но если бы она, кроме того, и не любила Сортини, то тут исключение стало бы из ряда вон выходящим, это и понять было бы невозможно. Конечно, в тот день на нас нашло какое-то затмение, но и тогда, словно в тумане, мы как будто углядели в Амалии какую-то влюбленность, и это показывает, что мы хоть немного, но соображаем. И если теперь все сопоставить, какая же разница останется между Амалией и Фридой? Только та, что Фрида сделала то, от чего Амалия отказалась.

— Возможно, — сказал К., — но для меня главная разница в том, что Фрида — моя невеста, Амалия же в основном интересует меня только потому, что приходится сестрой Варнаве, посыльному из Замка, и судьба ее, быть может, связана со службой Варнавы. Если бы какой-то чиновник нанес ей такую вопиющую обиду, как мне сначала показалось по твоему рассказу, меня бы это очень затронуло, но и то больше как общественное явление, чем как личная обида Амалии. Но теперь, по твоему же рассказу, картина совершенно изменилась, правда, не совсем для меня понятным образом. Тебе как рассказчику я доверяю и потому охотно готов совсем пренебречь этой историей, тем более что я не пожарник и меня Сортини никак не касается. А вот Фрида меня касается, потому мне и странно, что ты, кому я так доверял и всегда готов доверять, все время какими-то косвенными путями, ссылаясь на Амалию, пытаешься нападать на Фриду, вызвать во мне подозрения. Не хочу думать, что ты это делаешь с умыслом, тем более со злым умыслом, иначе мне давно следовало бы уйти. Нет, тут

у тебя никакого умысла нет, просто обстоятельства тебя к этому вынуждают: из любви к Амалии ты хочешь возвысить ее, вознести над всеми женщинами, а так как для этого ты в самой Амалии ничего особо похвального найти не можешь, то выручаешь себя тем, что унижаешь других женщин. Поступила Амалия всем на удивление, но чем больше ты об этом поступке рассказываешь, тем труднее решить; значителен он или ничтожен, умен или глуп, героичен или труслив, потому что Амалия глубоко в душе затаила причину своего поступка, никому у нее ничего не выведать. Фрида же, напротив, ничего удивительного не сделала, она только последовала зову сердца, что ясно всякому, кто подойдет к ее поступку доброжелательно, каждый может это проверить, сплетням тут места нет. Но я-то не желаю ни унижать Амалию, ни защищать Фриду, я только хочу тебе разъяснить, каковы наши с Фридой отношения и почему всякое нападение на Фриду, всякая угроза Фриде угрожает и моему существованию. Я прибыл сюда по доброй воле и по доброй воле тут остался, но все, что произошло за это время, и особенно мои виды на будущее — хотя они и туманны, но имеются, — всему этому я обязан Фриде, чего и оспаривать никак нельзя. Меня, правда, приняли в качестве землемера, но все это одна видимость, со мной ведут игру, меня гонят из всех домов, со мной и сегодня ведут игру, но насколько теперь это делается обстоятельнее; видимо, я для них стал чем-то более значительным, а это уже что-то значит, теперь у меня есть хоть и невзрачный, но все же дом, служба, настоящая работа, есть невеста, она берет на себя часть моих обязанностей, когда я занят другими делами, я на ней собираюсь жениться, стать членом общины, у меня, кроме служебных отношений, есть и личная, правда, до сих пор не использованная, связь с Кламмом. Разве этого мало? А когда я прихожу к вам, кого вы приветствуете? Кому рассказываете историю своей семьи? От кого ты ждешь возможности, пусть мизерной, пусть маловероятной возможности получить какую-нибудь помощь? Уж конечно, не от меня, того самого землемера, которого, например, еще неделю тому назад Лаземан и Брунsvик силой вынудили покинуть их дом, нет, ты надеешься на помощь человека, который уже в состоянии что-то сделать, а этим я обязан Фриде, Фриде настолько скромной, что попробуй спроси ее, так ли это, и она наверняка скажет, что знать ничего не знает. И все же выходит, что Фрида в своем неведении больше сделала, чем Амалия при всей своей гордости: видишь ли,



мне кажется, что помощи ты ищешь для Амалии. И у кого же? Да, в сущности, разве не у той же Фриды?

— Неужто я так нехорошо говорила о Фриде? — сказала Ольга. — Я вовсе этого не хотела, думаю, что и не говорила, хотя все возможно, ведь положение у нас такое, что мы со всем светом в раздоре, а начнешь жаловаться — и тебя заносит бог знает куда. Конечно, ты и в этом прав, теперь между нами и Фридой огромная разница, и ты правильно подчеркнул это еще раз. Три года назад мы были дочками бургера, а Фрида — сиротой, служанкой в трактире, мы проходили мимо; даже не глядя на нее; конечно, мы вели себя слишком высокомерно, но так нас воспитали. Однако в тот вечер, в гостинице, ты уж мог заметить, какие теперь сложились отношения: Фрида с хлыстом в руках, а я — в толпе слуг. Но дело обстоит еще хуже. Фрида может нас презирать, это соответствует ее положению, это вызвано теперешними обстоятельствами. Но кто нас только не презирает? Те, кто решает презирать нас, сразу попадают в высшее общество. Знаешь ли ты преемницу Фриды? Ее зовут Пепи. Только позавчера вечером я с ней познакомилась, раньше она служила горничной. Так вот, она превзошла Фриду в презрении ко мне. Она увидела в окно, что я иду за пивом, побежала к двери и заперлась на ключ, мне пришлось долго просить ее, обещать ей ленту, которой я завязываю косу, пока она наконец не открыла мне. А когда я ей отдала эту ленту, она швырнула ее в угол. Что ж, пусть презирает меня, все-таки я как-то завишу от ее хорошего отношения и она работает в буфете гостиницы, правда, только временно, нет в ней тех качеств, которые нужны для постоянной службы. Достаточно послушать, как хозяин разговаривает с этой Пепи, и сравнить, как он разговаривал с Фридой. Но это вовсе не мешает Пепи презирать Амалию, ту Амалию, от одного взгляда которой эта самая Пепи со всеми своими косичками и бантиками вылетела бы из комнаты во сто раз скорей, чем ее могли бы унести ее толстые ноги. А какую возмутительную болтовню про Амалию мне пришлось снова выслушать от нее вчера вечером, пока посетители не вступились за меня, хоть и вступились они так, как ты тогда вечером видел.

— До чего ты напугана, — сказал К. — Ведь я только поставил Фриду на подобающее ей место, но вовсе не собирался вас принимать, как ты себе представляешь. Конечно, и я чувствую к вашей семье что-то необычное, но почему это может стать поводом к презрению — я не понимаю.

— Ах, К., — сказала Ольга, — боюсь, что ты еще поймешь почему. Неужели тебе никак не понятно, что поступок Амалии был причиной того, что все стали презирать нас?

— Это было бы слишком странно, — сказал К. — Можно восхищаться Амалией или осуждать ее, но презирать? А если даже по непонятным мне причинам Амалию действительно презирают, то почему же это презрение распространяется на всех вас, на вашу ни в чем не повинную семью? То, что тебя, например, презирает Пеппи, — просто безобразие, и, если я когда-нибудь попаду в ту гостиницу, я ее проучу!

— Нелегкая была бы у тебя работа, К., — сказала Ольга, — если бы ты взялся переубеждать всех, кто нас презирает, ведь все исходит из Замка. Мне хорошо помнится утро следующего дня. Брунsvик — он тогда был у нас подмастерьем — пришел, как всегда, отец выдал ему работу и отправил его домой, и все сели завтракать, мы с Амалией тоже, нам было весело, отец, не умолкая, рассказывал о празднике, у него были всякие планы насчет пожарной дружины, ведь в Замке своя пожарная дружина, они прислали на этот праздник и свою команду, с ними вели всякие переговоры, а господа, присутствовавшие там, видели учения нашей команды и очень лестно отозвались о ней, сравнивали с выступлением команды из Замка, и сравнение было в нашу пользу, начался разговор о реорганизации команды из Замка, им понадобились бы инструкторы из Деревни, тут речь пошла о нескольких людях, но отец понадеялся, что выбор падет на него. Об этом он и рассказывал, и по своей добродушной привычке — расслаживаться за столом — он сидел, раскинув руки, обхватив стол во всю ширь, и, когда он подымал глаза к окну и смотрел в небо, лицо у него было такое молодое, такое радостное и полное надежды, каким мне с тех пор уже не суждено было видеть его. И тут Амалия с непривычной для нее сосредоточенностью сказала, что господским речам особенно доверять не стоит, в подобных обстоятельствах господа любят говорить что-нибудь приятное, но все это имеет мало значения или вовсе ничего не значит, они только скажут и тут же забудут навсегда, правда, в следующий раз можно попасться на эту же приманку. Мать запретила ей такие разговоры, отец посмеялся над ее скороспелыми мудрствованиями, но вдруг запнулся, казалось, он что-то ищет, словно вдруг чего-то хватился, но тут же вспомнил: Брунsvик ему рассказывал про какого-то посылного, про какое-то разорванное письмо, и отец спросил, знаем ли мы об этом, и кого это касает-

ся, и что произошло. Мы промолчали. Варнава — он тогда был проказлив, как молодой барашек, — сказал что-то совершенно глупое или дерзкое, мы заговорили о другом, и все позабылось.

### *Глава восемнадцатая*

#### Наказание для Амалии

**Н**о вскоре на нас со всех сторон посыпались вопросы насчет письма, стали приходить друзья и враги, знакомые и чужие, но никто не задерживался, и лучшие друзья больше всех торопились распрощаться. Лаземан, обычно такой медлительный и важный, вошел, как будто хотел проверить, какого размера наша комната, окинул ее взглядом, и все похоже было на страшную детскую игру, когда Лаземан стал уходить, а отец, отмахиваясь от обступивших его людей, поспешил было за ним до порога и потом остановился. Пришел Брунsvик и отказался от работы, сказал совершенно честно, что хочет работать самостоятельно. Умная голова, сумел использовать подходящий момент. Приходили заказчики, выискивали у отца в кладовой свою обувь, которую отдали ему в починку; сначала отец пробовал отговаривать заказчиков — и мы его поддерживали, как могли, — но потом он отступился и молча помогал людям разыскивать обувь, в книге заказов вычеркивалась строчка за строчкой, запасы кожи, сданные нам, выдавались обратно, долги выплачивались, все шло без малейших пререканий, все были довольны, что удалось так быстро и навсегда порвать отношения с нами, и даже если кто-то терпел убыток, это ни во что не ставилось. И наконец, как можно было предвидеть, появился Зеeman, начальник пожарной дружины, вижу, как сейчас, всю эту сцену: Зеeman, огромный, сильный, но слегка сгорбленный из-за болезни легких, всегда серьезный — он совсем не умел смеяться, — стоит перед моим отцом, которым он вечно восхищался и даже в дружеской беседе обещал ему должность заместителя начальника пожарной дружины, а теперь пришел объявить, что дружина освобождает его и просит вернуть диплом пожарника. Все, кто был в нашем доме, побросали свои дела и столпились вокруг этих двух мужчин. Зеeman не может выговорить ни слова, только все хлопывает отца по плечу, будто хочет выколотить из него те слова, ка-

кие он сам должен сказать, но найти не может. При этом он все время смеется — видно, хочет этим успокоить и себя, и всех других, но, так как он смеяться не умеет и люди никогда не слышали, чтобы он смеялся, никому и в голову не приходит, что это смех. А наш отец за этот день уж так устал, так расстроился, что ничем помочь не может, и кажется, что он до того утомился, что вообще не соображает, что тут происходит. И все мы тоже были расстроены не меньше его, но по молодости мы никак не могли поверить в полный крах, мы все время думали, что среди посетителей наконец найдется человек, который прикажет всем остановиться и повернет все обратно. Нам, по нашему недомыслию, казалось, что Зеeman особенно подходит для такой роли. С напряжением ждали мы, что сквозь этот непрерывный смех наконец прорвется разумное слово.. Над чем же и можно было смеяться, как не над глупейшей несправедливостью по отношению к нам. Господин начальник, господин начальник, думали мы, да скажите же вы наконец этим людям все, и мы теснились поближе к нему, но от этого он только нелепо топтался на месте. Наконец он все-таки заговорил, хотя и не для исполнения наших тайных желаний, а повинувшись подбодряющим или недовольным возгласам окружающих. Мы все еще надеялись на него. Он начал с высоких похвал отцу. Он назвал его украшением дружины, недостижимым примером для потомков, незаменимым членом общества, чья отставка пагубно отзовется на дружине. Все было бы прекрасно, если б он на этом закончил! Но он продолжал говорить. Если теперь члены дружины все же решились просить отца, конечно, временно уйти в отставку, то надо понять серьезность причин, заставивших их сделать это. Если бы не блестящие достижения отца на вчерашнем празднике, дело не зашло бы так далеко, но именно эти его блестящие достижения особенно привлекли к нему внимание властей; теперь на дружину направлены все взгляды, и еще больше, чем прежде, она должна охранять свою незапятнанную репутацию. Однако случилось так, что обидели посольного из Замка, и теперь дружина не нашла другого выхода, а он, Зеeman, взял на себя тяжкую обязанность объявить об этом отцу. И пусть отец не затрудняет ему выполнение этой тяжелой обязанности. И как же Зеeman был рад, что наконец все выложил; в уверенности, что все сделано, он отбросил излишнюю щепетильность и, указывая на диплом, висевший на стене, пальцем поманил отца к себе. Отец кивнул и пошел снимать диплом, но руки у него так дрожали,

что он не мог снять его с гвоздя, тогда я забралась на стол и помогла ему. С этой минуты все было кончено, отец даже не вынул диплома из рамки, а так целиком и отдал Зееману. Потом сел в угол и больше не шевелился, ни с кем не разговаривал, так что мы сами, как умели, рассчитались со всеми клиентами.

— Но в чем же ты тут видишь влияние Замка? — спросил К. — Пока что никакого вмешательства оттуда не видно. Пока что по твоему рассказу виден только бессмысленный страх людей, их злорадство по поводу неудач ближнего, ненадежность их дружбы, а это встречается всюду. Твой отец, как мне кажется, проявил некоторую мелочность: что такое, в сущности, этот диплом? Только подтверждение его способностей, но их-то он не лишился. Если эти способности сделали его незаменимым, тем лучше, и этот начальник попал бы в весьма неловкое положение, если бы твой отец при первых же его словах просто швырнул ему диплом под ноги. Но самым существенным мне кажется то, что ты даже не упомянула об Амалии, а сама Амалия, которая все это наделала, наверно, стояла спокойно в стороне и смотрела на все это опустошение?

— Нет, — сказала Ольга, — упрекать никого нельзя, никто не мог поступить по-другому, тут уже действовало влияние Замка.

— Влияние Замка, — повторила Амалия, незаметно вошедшая со двора; родители давно легли спать. — Рассказывает всякие сказки про Замок? Все еще сидите тут вместе? Ведь ты, К., хотел сразу распрощаться с нами, а сейчас уже десятый час. Разве тебя вообще волнуют все эти истории? Тут есть люди, которые такими историями просто питаются, сядут рядком, вот как вы сейчас сидите, и угощают друг дружку рассказами; но ты, по-моему, к таким людям не принадлежишь.

— Вот именно, — сказал К., — принадлежу, а люди, которых такие истории не волнуют и которые предоставляют другим волноваться, меня никак не интересуют.

— Да, конечно, — сказала Амалия, — но заинтересованность у людей тоже бывает разная, я слыхала об одном молодом человеке, который день и ночь думал только о Замке, все остальное забросил, боялись за его умственные способности, потому что все его мысли были там, наверху, в Замке. Но в конце концов выяснилось, что думал он вовсе не обо всем Замке, а о дочке какой-то уборщицы из канцелярий, наконец он заполучил ее, тогда все стало на место.

— Думаю, что этот человек мне бы понравился, — сказал К.

— Сомневаюсь, чтоб этот человек тебе понравился, — сказала Амалия. — Вот его жена — возможно! Ну не стану вам мешать, пойду спать, и огонь придется потушить из-за родителей: обычно они сразу засыпают очень крепко, но через час настоящему сну уже конец, и тогда им мешает даже самый слабый отсвет. Спокойной ночи!

И действительно, сразу стало темно. Амалия, очевидно, постлала себе где-то на полу, поближе к родительской кровати.

— А что это за молодой человек, про которого она говорила? — спросил К.

— Не знаю, — сказала Ольга, — может быть, Брунsvик, хотя ему это не совсем подходит, может быть, и кто-то другой. Ее не так легко понять, потому что часто не знаешь, с насмешкой она говорит или всерьез. Чаще всего она говорит серьезно, а звучит, как насмешка.

— Оставь этот тон! — сказал К. — И как ты попала в такую зависимость от нее? Неужели так уже было и перед всеми несчастьями? Или стало потом? Разве у тебя никогда не бывает желания стать независимой от нее? И наконец, имеет ли эта зависимость какие-то разумные основания? Она ведь младшая, сама должна слушаться старших. Виновата она или не виновата, но все несчастье на семью навлекла именно она. И вместо того, чтобы изо дня в день просить прощения у каждого из вас, она задирает голову выше всех, ни о чем не беспокоится, разве что из милости о родителях, не желает, как она выражается, чтобы ее посвящали во все эти дела, а когда она наконец достаивает вас разговором, так хоть и говорит она серьезно, а ее слова звучат насмешкой. Может быть, она забрала власть своей красотой, о которой ты так часто упоминаешь? А ведь вы, все трое, очень похожи, однако то, чем она от вас обоих отличается, во всяком случае, говорит не в ее пользу: уже с первого раза, как только я ее увидел, меня отпугнул ее тупой неласковый взгляд. А потом, хоть она и младшая, но по ее внешности это никак не заметно, у нее вид безвозрастный, свойственный женщинам, которые хотя почти и не стареют, но и никогда, в сущности, не выглядят молодыми. Ты видишь ее каждый день, и ты едва ли замечаешь, какое у нее жесткое лицо. Поэтому, если хорошенько подумать, я никак не могу принять всерьез влюбленность Сортини; может быть, он этим письмом хотел ее только обидеть, а вовсе не позвать к себе?

— Про Сортини я разговаривать не хочу, — сказала Ольга, — от этих господ из Замка всего можно ожидать и самой красивой, и самой безобразной девушке. Но во всем остальном насчет Амалии ты совершенно ошибаешься. Пойми, у меня нет никаких оснований располагать тебя в пользу Амалии, и если я пытаюсь это сделать, то только ради тебя же. Амалия каким-то образом стала причиной всех наших несчастий, это верно, но даже отец, который тяжелее всех пострадал от этого, он, никогда не умевший выбирать слова и сдерживаться, особенно у себя дома, даже он в самые худшие времена никогда ни единым словом не попрекнул Амалию. И не потому, что одобрял ее поведение, — разве он, такой поклонник Сортини, мог это одобрить? — он и отдаленно не мог ее понять: он бы охотно пожертвовал для Сортини и собой, и всем, что у него было, правда, не так, как оно на самом деле случилось, когда Сортини, вероятно, очень разгневался. Говорю «вероятно», потому что мы больше ничего о Сортини не слышали, и если он до сих пор жил замкнуто, то теперь как будто его и вовсе не стало. Но ты бы посмотрел на Амалию в те времена. Все мы знали, что никакого определенного наказания нам не будет. От нас все просто отшатнулись. И здешние люди, и весь Замок. Но если отчужденность здешних людей для нас, разумеется, была явной, то о Замке мы ничего не знали. Ведь Замок не причинял нам раньше никаких забот, как же мы могли заметить перемену? Но это молчание было хуже всего. Совсем не то, что отчужденность здешних людей, они же отошли от нас не по какому-то убеждению; может быть, ничего серьезного против нас у них и не было, тогда такого презрения, как нынче, никто еще не проявлял, они только из страха и отошли, а потом стали ждать, как все пойдет дальше. И нужны нам пока что бояться было нечего, все должники с нами расплатились, расчеты были в нашу пользу; если нам не хватало продуктов, нам тайком помогали наши родичи, это было нетрудно, только что собрали урожай, правда, у нас своего поля не было, а помогать в работе нас никто не звал, и мы впервые в жизни были вынуждены почти что бездельничать. Так мы и просидели всей семьей при запертых окнах и дверях всю июльскую и августовскую жару. И ничего не случилось. Никаких вызовов, никаких повесток, никаких известий, никаких посещений, — ничего.

— Ну знаешь, — сказал К., — раз ничего не случилось и никакое наказание вам не грозило, чего же тогда вы боялись? Что вы за люди!

— Как бы тебе это объяснить? — сказала Ольга. — Мы ведь боялись не того, что придет, мы уже страдали от того, что было, мы и теперь жили под наказанием. Ведь люди в Деревне только того и ждали, что мы к ним вернемся, что отец снова откроет мастерскую, что Амалия, которая прекрасно шила платья, снова станет брать заказы, разумеется, у самых знатных, ведь все люди сожалели о том, что они наделали: когда такое уважаемое семейство вдруг совершенно исключают из жизни в Деревне, каждый от этого что-то теряет, но они считали, что, отрекаясь от нас, они только выполняют свой долг, мы на их месте поступили бы точно так же. Они даже точно не знали, в чем дело, только тот посыльный вернулся в гостиницу, держа в кулаке клочки бумаги. Фрида видела, как он уходил, потом — как он пришел, перекинулась с ним несколькими словами и сразу разболтала всем то, что узнала, но опять-таки вовсе не из враждебных чувств по отношению к нам, а просто из чувства долга, на ее месте каждый счел бы это своим долгом. Но, как я уже говорила, людям больше всего пришлось бы по душе счастливый конец всей истории. Если бы мы вдруг пришли и объявили, что все уже в порядке, что, к примеру, тут произошло недоразумение, и оно уже полностью улажено или что хотя тут и был совершен проступок, но он уже исправлен, больше того: людям было бы достаточно услышать, что нам, благодаря нашим связям в Замке, удалось замять эту историю, — тогда нас наверняка приняли бы с распростертыми объятиями, целовали, обнимали, устраивали бы праздники, так уже не раз на моих глазах случалось с другими. Но даже и такие сообщения были не нужны; если бы мы только сами вышли к людям, решились бы восстановить прежние связи, не говоря ни слова об истории с письмом, этого было бы вполне достаточно, с радостью все отказались бы от всяких обсуждений, ведь тут, кроме страха, всем было ужасно неловко, потому от нас так и отшатнулись, чтобы ничего об этом деле не слышать, ничего не говорить, ничего не думать, чтобы не иметь к нему никакого касательства. Когда Фрида выдала все это дело, то сделала она так не из злорадства, а для того, чтобы и себя, и других оградить от него, обратить внимание всей общины, что тут произошло нечто такое, от чего надо было самым старательным образом держаться подальше. Не мы как семья имели тут значение, а наша причастность ко всей этой постыдной истории. И если бы мы снова вышли на свет, оставили прошлое в покое, показали всем нашим видом, что мы замаяли это дело — неваж-



но, каким именно способом, — и убедили бы общественное мнение, что обо всей этой истории, в чем бы она ни заключалась, больше никогда не будет и речи, тогда все могло бы уладиться, люди поспешили бы нам навстречу с прежней готовностью, и даже, если бы та история и не была окончательно забыта, люди поняли бы и это, помогли бы нам ее забыть. А вместо этого мы все сидели дома. Не знаю, чего мы дожидались! Наверно, какого-то решения Амалии; с того утра она захватила главенство в семье и без особых обсуждений, без приказаний, без просьб, одним молчанием крепко за него держалась. Правда, мы, все остальные, должны были о многом советоваться, мы шептались с утра до вечера, а иногда отец, внезапно испугавшись, подзывал меня к себе, и я полночи сидела на краю его кровати. А иногда мы забивались в угол с Варнавой, который сначала очень мало понимал и в беспрестанном запале требовал объяснений, всегда одних и тех же; видно, он уже знал, что беспечной жизни, ожидавшей его сверстников, ему уже не видать, и мы сидели вдвоем — точно так же, как сейчас с тобой, К., — не замечая, как проходила ночь и наступало утро. Мать была самой слабой из нас, должно быть потому, что она не только делила общее горе, но и страдала за каждого из нас, и мы со страхом видели в ней те изменения, которые, как мы предчувствовали, ждут всю нашу семью. Любимым ее местом был уголок дивана — теперь этого дивана давно уже у нас нет, он стоит в большой горнице у Брунсвика, — она сидела там, и мы не всегда знали, спит она или, судя по движению губ, ведет сама с собой бесконечные разговоры. Было вполне естественно, что мы непрестанно обсуждали историю с письмом вдоль и поперек со всеми известными нам подробностями и неизвестными последствиями и, непрестанно соревнуясь друг с другом, придумывали, каким путем благополучно все разрешить, это было естественно и неизбежно, но и вредно, потому что мы без конца углублялись в то, о чем хотели позабыть. Да и какая польза была от наших, хотя бы и блестящих, планов? Ни один из них нельзя было выполнить без Амалии, все это была лишь подготовка, бессмысленная уже хотя бы потому, что до Амалии наши соображения никак не доходили, а если бы и дошли, то не встретили бы ничего, кроме молчания. К счастью, я теперь понимаю Амалию лучше, чем тогда. Она терпела больше нас всех. Непонятно, как она все это вытерпела и до сих пор осталась жива. Может быть, мать страдала за всех нас, столько напастей обрушилось на нее, но страдала она не-

долго; теперь уже никак нельзя сказать, что она страдает, но и тогда у нее уже мысли путались. А Амалия не только несла все горе, но у нее хватило ума все понять, мы видели только последствия, она же видела суть дела, мы надеялись на какие-то мелкие облегчения, ей же оставалось только молчать, лицом к лицу стояла она с правдой и терпела такую жизнь и тогда, и теперь. Насколько легче было нам при всех наших горестях, чем ей. Правда, нам пришлось покинуть наш дом, туда переехал Брунsvик, нам отвели эту хижину, и на ручной тележке мы в несколько приемов перевезли сюда весь наш скарб. Мы с Варнавой тащили тележку, отец с Амалией подталкивали ее сзади; мать мы перевезли прежде всего, и она, сидя на сундуке, встречала нас тихими стонами. Но я помню, как мы, даже во время этих утомительных перевозок — очень унижительных, так как нам навстречу часто попадались возы с полей, а их владельцы при виде нас отворачивались и отводили взгляд, — помню, как мы с Варнавой даже во время этих поездок не могли не говорить о наших заботах и планах, иногда останавливаясь посреди дороги, и только окрик отца напоминал нам о наших обязанностях. Но и после переселения никакие разговоры не могли изменить нашу жизнь, и мы только постепенно стали все больше и больше ощущать нищету. Помощь родственников прекратилась, наши средства подходили к концу, и как раз в это время усилилось то презрение к нам, которое ты уже заметил. Все поняли, что у нас нет сил выпутаться из истории с письмом, и за это на нас очень сердились. Они правильно расценивали тяжкую нашу судьбу, хотя точно ничего и не знали; они понимали, что сами вряд ли выдержали бы такое испытание лучше нас, но тем важнее им было отмежеваться от нас окончательно; преодолей мы все, нас бы, естественно, стали уважать, но, раз нам это не удалось, люди решились на то, что до тех пор только намечалось: нас окончательно исключили из всех кругов общества. Теперь о нас уже не говорили как о людях, нашу фамилию никогда больше не называли, и если о нас заговаривали, то упоминали только Варнаву, самого невинного из нас, даже о нашей лачуге пошла дурная слава, и, если ты проверишь себя, ты знаешь, что и ты, войдя сюда впервые, подумал, что презрение это как-то оправданно; позже, когда к нам иногда стали заходить люди, они морщились от самых незначительных вещей, например, от того, как наша керосиновая лампочка висит над столом. А где же ей еще висеть, как не над столом, но им это казалось невыносимым.

А если мы перевешивали лампу, их отвращение все равно не проходило. Все, что у нас было и чем мы были сами, вызывало одинаковое презрение.

### *Глава девятнадцатая*

#### Прощение

Что же мы делали все это время? Самое худшее, что только можно было делать, то, за что нас справедливее можно было презирать, чем за все другое. Мы предали Амалию, мы нарушили ее молчаливый приказ, мы больше не могли так жить; жизнь без всякой надежды стала невозможной, и мы начали каждый по-своему добиваться, чтобы в Замке нас простили, вымалить прощение. Правда, мы знали, что нам ничего не исправить, знали, что единственная обнадеживающая связь, которая у нас была с Замком, — связь с Сортини, чиновником, благоволившим к отцу, — стала для нас недоступной, но все же мы принялись за дело. Начал отец, начались его бессмысленные походы к старосте, к секретарям, к адвокатам, к писарям; обычно его нигде не принимали, а если удавалось хитростью или случаем пробиться — как мы ликовали при каждом таком известии, как потирали руки, — то его моментально выставляли и больше не принимали никогда. Да им и отвечать отцу было до смешного легко. Замку это всегда легко. Что ему, в сущности, надо? Что с ним случилось? За что он просит прощения? Когда и кто в Замке замахнулся на него хоть пальцем? Да, конечно, он обнищал, потерял клиентуру и так далее, но ведь это — явления повседневной жизни, все дело в состоянии рынка, в спросе на работу, неужели Замок должен во все вникать? Конечно, там вникают во все, но нельзя же грубо вмешиваться в ход жизни с единственной целью — соблюдать интересы одного человека. Что же, прикажете разослать отсюда чиновников, прикажете им бегать за клиентами вашего отца и силой возвращать их к нему? Да нет же, прерывал их тогда отец, дома мы заранее с ним все обсудили и до его походов, и после, обсуждали в уголке, словно прятались от Амалии, а она хоть и все замечала, но не вмешивалась. Да нет же, говорил им отец, он ведь не жалуется, что мы обнищали: все, что он потерял, он легко наверстает, это все несущественно, лишь бы толь-

ко его простили. Но что же ему прощать? — отвечали ему. Никаких доносов на него до сих пор не поступало, во всяком случае, в протоколах ничего такого нет, по крайней мере, в тех протоколах, которые открыты для общественности. Значит, насколько можно установить, ни дела против него никто не возбуждал, ни намерений таких пока нет. Может быть, он скажет, были ли приняты против него какие-нибудь официальные меры? Или, быть может, имело место вмешательство официальных органов? Об этом отец ничего не знал. «Ну вот видите, раз вы ничего не знаете и раз ничего не случилось, то чего же вы хотите? Что именно можно было бы вам простить? В крайнем случае только то, что вы зря утруждаете власти, но это как раз и непростительно». Однако отец не сдавался, тогда у него было еще много сил, и вынужденное безделье оставляло ему много свободного времени. «Я восстановлю честь Амалии в самое ближайшее время», — говорил он Варнаве и мне по нескольку раз в день потихоньку, потому что Амалия не должна была это слышать, хотя говорилось это лишь для Амалии, потому что на самом деле он ни о каком восстановлении чести и не думал, а думал только о том, чтобы выпросить прощение. Но для этого ему надо было сначала установить свою вину, а в этом власти ему отказывали. И он напал на мысль, доказавшую, как ослабел к тому времени его ум, что от него скрывают его вину, потому что он мало платит, — дело в том, что мы до сих пор платили только причитающиеся с нас налоги, довольно большие по нашим тогдашним обстоятельствам. Теперь же он решил, что ему надо платить больше, что, конечно, было ошибкой: хотя наши власти — чтобы избежать лишних разговоров, для простоты — и берут кое-какие взятки, но добиться этим ничего нельзя. Но раз отец на это надеялся, мы ему мешать не хотели. Мы продали все, что у нас оставалось — по большей части самое необходимое, — чтобы обеспечить отца средствами для его ходатайств, долгое время испытывали по утрам удовлетворение, когда он, отправляясь спозаранку в путь, мог позвякивать несколькими монетками в кармане. Правда, мы из-за этого целыми днями голодали, а единственное, чего мы действительно добивались благодаря этим деньгам, — это поддерживали у отца какие-то светлые надежды. Однако и это едва ли принесло пользу. Он измучился в своих походах, и то, что из-за отсутствия денег вскоре само собой пришло бы к концу, растянулось на долгое время. За деньги, конечно, никто ничего из ряда вон выходящего все равно сделать не мог, разве что ка-

кой-нибудь писарь иногда пытался создать видимость, будто что-то делается, обещал кое-что узнать, намекал, будто нашлись какие-то следы и он по ним начнет распутывать дело уже не по обязанности, а исключительно из любви к нашему отцу, и отец, вместо того чтобы усомниться, верил еще больше. Он возвращался домой после таких явно бессмысленных обещаний, как будто нес в дом благополучие, и мучительно было видеть, как он, с вымученной улыбкой, широко открыв глаза, кивая на Амалию, хотел дать нам понять, как близко спасение Амалии — что поразило бы ее больше всех! — но сейчас это еще секрет, и мы должны строго соблюдать молчание. Так тянулось бы еще долго, если бы мы в конце концов не лишились всякой возможности доставать для отца деньги. Правда, тем временем после долгих упрашиваний Брунsvик взял Варнаву к себе в подмастерья, но только с условием, чтобы он приходил за заказами вечером, в темноте, и приносил работу тоже затемно, — надо принять во внимание, что Брунsvик из-за нас подвергал свое дело некоторой опасности, но платил он Варнаве гроши, хотя работал Варнава безукоризненно, и этой платы хватало только на то, чтобы нам не умереть с голоду. Очень бережно, после долгой подготовки, мы объявили отцу, что денежная наша поддержка прекращается, но он принял это очень спокойно. Умом он уже был не способен понять бесперспективность всех своих походов, но постоянные разочарования все же его утомили.

Иногда он говорил — но его речам уже не хватало прежней отчетливости, раньше он говорил даже слишком отчетливо, — что ему понадобилось бы еще совсем немного денег, завтра или даже сегодня он все узнал бы, а теперь все пошло прахом, все рушилось только из-за денег и так далее, но по тону его разговоров было ясно, что он сам уже ничему не верит. К тому же у него тут же, с ходу, зародились новые планы. Так как ему не удалось установить свою вину и потому он и дальше ничего не достиг бы официальным путем, но теперь он решил обратиться к чиновникам с просьбами лично. Среди них наверняка есть люди с добрым, сострадательным сердцем, и хотя на службе они не имеют права слушаться голоса сердца, но если застать их врасплох вне службы, в подходящую минуту, дело обернется по-другому.

Тут К., который до сих пор слушал, совершенно поглощенный рассказом Ольги, перебил ее вопросом:

— И ты считала, что это неправильно? — И хотя он получил бы ответ из дальнейшего рассказа, но это он хотел узнать немедленно.

— Нет, — сказала Ольга, — ни о каком сострадании тут и речи быть не могло. При всей нашей молодости и неопытности мы это знали, да и отец, конечно, знал, только позабыл, как и многое другое. Он составил себе план: встать неподалеку от Замка, у дороги, где проезжают коляски чиновников, и, если удастся, изложить им свою просьбу о прощении. Откровенно говоря, план был совсем неразумный, даже если бы случилось невозможное и просьба дошла бы до ушей какого-нибудь чиновника. Разве один чиновник может простить? В крайнем случае это дело всего руководства, но даже и оно не может прощать, а может только осуждать. Да и вообще, может ли чиновник, даже если он выйдет из коляски, составить себе полное представление о деле по тем словам, которые пробормочет несчастный, измотанный, постаревший человек, наш отец? Чиновники — народ очень образованный, но односторонний, по своей специальности каждый из одного слова может вывести целый ряд мыслей, но ему можно часами объяснять то, что касается другого отдела, и он будет только вежливо кивать головой, но не поймет ни слова. И это вполне понятно: попробуй только сам разобраться в каких-нибудь служебных мелочах, которые тебя непосредственно касаются, в каких-нибудь пустяках, которые любой чиновник может разрешить одним мановением руки, — попробуй только в них разобраться досконально, и уж ты всю жизнь провозишься, а до сути так и не доберешься. Но даже если отец и попадет на какого-нибудь нужного чиновника, все равно тот ничего без предварительной документации сделать не смог бы, а уж на проезжей дороге он никак не сумеет простить отца, разобраться во всем он сможет только на службе, поэтому он снова посоветует идти обычным путем, по инстанциям, но именно на этом пути отца уже постигла неудача. До чего дошел отец, если уж он решил хоть как-то пробиться таким способом! Если бы существовала хоть отдаленная возможность чего-то достичь этим путем, то дорога кишмя кишела бы просителями, но даже школьники младших классов знают, что такие вещи невозможны, и, разумеется, на дороге было совершенно пусто. Впрочем, быть может, в отце это еще больше укрепляло надежду, и он всячески поддерживал ее. Ему это было необходимо, но для этого человеку не нужно было даже пускаться в сложные рассуждения — ему и с первого раза становилось ясно, на-

сколько все это безнадежно. Ведь когда чиновники едут в Деревню или возвращаются в Замок, они не на увеселительную прогулку отправляются: и в Деревне, и в Замке их ждет работа, оттого и едут они со всей возможной быстротой. Им и в голову не приходит выглядывать из окна коляски и смотреть, нет ли на дороге просителей; в коляске полно бумаг и документов, чиновники их изучают.

— А я, — сказал К., — заглядывал в сани чиновника, и там никаких документов не было. — В рассказе Ольги перед ним открывался такой огромный, почти неправдоподобный мир, что он не мог удержаться, чтобы как-то не соприкоснуться с ним, хотя бы вспоминая о своих мелких переживаниях, чтоб убедиться не только в существовании этого мира, но и отчетливее ощутить, что и сам он тоже существует.

— Все может быть, — сказала Ольга, — но это еще хуже: значит, у чиновника дела настолько важные, а документы настолько ценные или объемистые, что брать их с собой нельзя, и тогда чиновники вообще мчатся галопом. Во всяком случае, никто из них не смог бы выкроить время для отца. Более того: к Замку ведет множество дорог. То одна из них в моде, и тогда по ней едет большинство, то другая — и туда устремляются все. По каким правилам происходят эти перемены, установить еще не удалось. Один раз в восемь утра все едут по одной дороге, через десять минут — по другой, потом — по третьей, а быть может, через полчаса снова по первой, и уж тут едут весь день, но в любую минуту возможны изменения. Правда, у Деревни все дороги сходятся, но там коляски летят как бешеные, тогда как у Замка они еще замедляют ход. И если порядок езды по дороге не установлен и разобраться в нем трудно, то это относится и к числу колясок. Бывают дни, когда ни одной коляски не увидишь, а потом их проезжает великое множество. Теперь представь себе нашего отца в этой неразберихе. В лучшем своем костюме — вскоре у него ничего другого не останется — выходит он каждое утро с нашими благословениями из дому. С собой он берет маленький значок пожарника — в сущности, он уже не имеет права его носить — и прикрепляет его, выйдя из Деревни: в самой Деревне он боится его показывать, хотя значок такой крошечный, что его и за два шага еле видно, но, по мнению отца, именно этот значок может привлечь внимание чиновников. Недалеко от входа в Замок расположено садоводство, оно принадлежит некоему Бертуху, он поставляет овощи в Замок, и там, на небольшом

каменном выступе у ограды, отец выбрал себе местечко. Бертух не возражал, потому что раньше они с отцом были приятели, и, кроме того, Бертух был одним из самых постоянных заказчиков отца; у него одна нога немного искалечена, и он считает, что только отец может шить подходящую для него обувь. Вот там отец и сидел изо дня в день, осень была пасмурная, дождливая, но погода была ему безразлична; с утра в один и тот же час он открывал дверь и кивал нам на прощание, вечером возвращался, промокший насквозь, — казалось, он с каждым днем горбился все больше и больше — и забивался в угол. Сначала он нам рассказывал все свои мелкие приключения — то Бертух из жалости, по старой дружбе бросал ему через решетку одеяло, то ему померещилось, что он узнал в проезжающей коляске того или иного чиновника, то вдруг какой-нибудь из кучеров его узнавал и в шутку стегал кнутом. Потом он совсем перестал рассказывать, видно, уже не надеялся чего-нибудь добиться и только считал своим долгом, своей унылой, бесполезной обязанностью отправляться туда и просиживать там целый день. Тогда и начались у него ревматические боли: подходила зима, снег выпал рано, у нас зима настаёт очень быстро, а он все сидел там, на мокрых камнях, — то под дождем, то под снегом. По ночам он стонал от боли, утром иногда сомневался, идти ему или нет, но пересиливал себя и все-таки уходил. Мать цеплялась за него, не хотела отпускать, и он, очевидно, уже напуганный тем, что ноги его не слушались, позволял ей идти с ним, и тогда у матери тоже начались боли. Мы часто к ним туда ходили, носили еду или просто навещали, уговаривали вернуться домой; как часто мы заставляли их, сторбленных, прижимавшихся друг к другу, на узеньком выступе, закутанных в тонкое одеяльце, которое едва их прикрывало, а вокруг ничего, кроме серого снега и тумана, и нигде ни души, по целым дням ни экипажа, ни пешехода. Какое зрелище, К., какое зрелище! Кончилось тем, что в одно утро отец не смог встать с постели — ноги не держали, он был безутешен, в каком-то полубреду он видел, как именно сейчас коляска останавливается у ограды Бертуха, из нее выходит чиновник, ищет глазами отца у ограды и, с досадой покачав головой, снова садится в свою коляску. При этом отец так кричал, словно хотел отсюда обратить на себя внимание чиновника там, наверху, и объяснить ему, что он отсутствует не по своей вине. А отсутствовал он долго, больше он уже туда не возвращался, много недель ему пришлось отлежать в постели. Амалия



взяла на себя все обслуживание, уход, лечение, в сущности, до сегодняшнего дня с небольшими перерывами ей приходится этим заниматься. Она знает целебные травы, утоляющие боль, ей почти не нужно спать, ничто ее не пугает, ничего она не боится, никогда не геряет терпения, — словом, всю работу для родителей делает она. В то время как мы, ничем не умея помочь, только суетились вокруг, она оставалась спокойной и молчаливой. Но когда самое плохое кончилось и отец уже мог осторожно, при поддержке с двух сторон, спускать ноги с кровати, Амалия сразу отступилась и предоставила его нам.

## Глава двадцатая

### Планы Ольги

Теперь надо было найти для отца какое-нибудь занятие по силам, что-то такое, что хотя бы поддерживало в нем веру, будто он содействует снятию вины с семьи. Найти что-нибудь в этом роде было нетрудно; в сущности, все могло служить этой цели не хуже, чем сидение у садоводства Бертуха, но я нашла то, что даже мне подавало какую-то надежду. Обычно, если поминались разговоры о нашей вине среди чиновников, среди писарей или еще где, все сводилось лишь к тому, что был обижен посыльный Сортини, и дальше никто не шел. Значит, если все общественное мнение, хотя бы только по видимости, касается лишь обиды, нанесенной посыльному, можно, опять-таки хотя бы только для видимости, все уладить, если помириться с посыльным. Ведь, как нам объясняли, никаких заявлений ниоткуда не поступало, значит, ни одна канцелярия этим не занимается, и потому посыльный волен от себя лично — а больше ни о чем и речи не было — простить обиду. Все это, конечно, не могло иметь решающего значения, все было лишь видимостью и никаких последствий иметь не могло, но отцу это доставило бы радость, а всех посредников, которые так его мучили, можно было бы, к его удовлетворению, загнать в тупик. Разумеется, прежде всего надо будет найти посыльного. Когда я рассказала о своем плане отцу, он сначала очень рассердился, он стал необычайно упрямым; к тому же он был уверен — и во время болезни это очень обострилось, — что мы ему все время ме-

шали успешно завершить дело, сначала тем, что лишили его денежной поддержки, теперь тем, что держали его в постели, кроме того, он вообще потерял способность полностью воспринимать чужие мысли. Не успела я все рассказать ему до конца, как мой план был отвергнут; по его мнению, он должен был и дальше ждать у сада Бертуха, и так как сам он, конечно, будет не в состоянии ежедневно подыматься туда, то мы должны возить его на тачке. Но я не сдавалась, и постепенно он примирился с этой мыслью, мешало ему только то, что тут он всецело зависел от меня, потому что я одна видела в то утро посыльного, отец же его не знал. Правда, один слуга похож на другого, и полной уверенности, что я того посыльного узнаю, у меня не было. Мы стали ходить в гостиницу и искать его среди слуг. Хотя он и был слугой Сортини, а Сортини больше в Деревне не появлялся, но господа часто меняют слуг, и его вполне можно было найти среди челяди других господ, и если не удалось бы найти его самого, то, быть может, удалось бы собрать сведения о нем от других слуг. Для этой цели необходимо было каждый вечер бывать в гостинице, а нас везде принимали неохотно, особенно в таком месте; оплачивать свои посещения мы, конечно, тоже не могли. Однако выяснилось, что мы все-таки можем и там пригодиться; ты знаешь, как Фрида мучилась с этой челядью; по существу, они народ спокойный, избалованный легкой службой, отяжелевший. «Пусть тебе живется, как слуге» — вот обычная присказка чиновников, и действительно, говорят, что слуги себе обеспечивают хорошую жизнь в Замке, они там полные хозяева и умеют это ценить, притом в Замке они ведут себя по тамошним правилам, держатся спокойно, с достоинством — мне это много раз подтверждали, — да и тут иногда видишь у слуг остатки таких манер, именно остатки, а в общем, благодаря тому, что законы Замка в Деревне уже неприменимы, эти люди словно перерождаются — становятся дикой, беспардонной оравой, для которой уже не существует законов, а только их ненасытные потребности. Нет предела их бесстыдству, счастье для Деревни, что им разрешено покидать гостиницу только с особого разрешения, но уж в гостинице с ними хлопот не оберешься. Фриде это было очень трудно, и она обрадовалась, когда смогла использовать мои услуги, чтобы утихомирить челядь; вот уже больше двух лет, как я, по крайней мере, дважды в неделю, провожу ночь со слугами на конюшне. Раньше, когда отец еще мог ходить со мной в гостиницу, он ночевал где-нибудь в буфете и ждал известий,

которые я ему приносила утром. Но толку было мало. Того посыльного мы до сих пор не нашли; говорят, что он все еще служит у Сортини и последовал за ним, когда Сортини перешел в более отдаленные канцелярии. Почти никто из слуг не видел его с тех пор, как и мы, а если кому-то и казалось, что он его видел, то, вероятно, он ошибался. И хотя, по существу, мой план не удался, все же это не совсем так: правда, посыльного мы не нашли, а отца совсем dokonали эти походы и ночевки в гостинице, а может быть, и жалость ко мне, насколько он на нее был еще способен, и вот уже два года, как он находится в том состоянии, в каком ты его видел, причем ему еще не так плохо, как матери, — тут мы с минуты на минуту ждем конца, и только нечеловеческие старания Амалии оттягивают этот конец. Но все же мне удалось установить в гостинице некоторые связи с Замокком; не презирай меня, если я тебе скажу, что ничуть не жалею о том, что я сделала. Вряд ли наладились такие уж значительные связи с Замокком, подумаешь ты, наверно, и будешь прав; связи эти совсем незначительны. Правда, я теперь знаю почти всех слуг тех господ, что приезжали в последнее время к нам в Деревню, и если теперь я когда-нибудь попаду в Замок, то не буду там чужой. Конечно, слуг я знаю только по Деревне, в Замке они совсем другие и, должно быть, даже никого не узнают, а уж тех, с кем встречались в Деревне, и подавно, хотя на конюшне они сто раз клялись, что будут счастливы увидеться со мной в Замке. Впрочем, я уже узнала, как дешево стоят их обещания. Но и это не самое главное. Не только через слуг у меня установилась какая-то связь с Замокком, но возможно, и надо на это надеяться, что кто-нибудь, наблюдавший за мной и за моим поведением — а управление этой многочисленной челядью — очень важный и значительный отдел служебной работы, — может быть, тот, кто за мной наблюдал, составил обо мне более снисходительное суждение, чем другие, может быть, он признает, что я тоже, хоть и самым недостойным образом, борюсь за нашу семью и продолжаю усилия отца. Если так на это посмотрят, то, может быть, мне простят и то, что я беру у слуг деньги и трачу их на нашу семью. И еще я добилась кое-чего, хотя, наверно, ты мне и это поставишь в вину. От слуг я узнала многое о том, как обходными путями, не проходя трудного, длящегося иногда годами официального оформления, попасть в служащие Замка, правда, тут ты еще не официальный служащий, тебя допускают тайком, никаких прав и никаких обязанностей у тебя нет, и хуже всего,

что нет обязанностей, зато есть одно: все-таки ты при деле. Можно уловить благоприятный случай и воспользоваться им, и хотя ты не служащий, но случайно может выпасть какая-нибудь работа, а служащих рядом не окажется, тебя окликнут, ты подбежишь и сразу станешь тем, кем ты за минуту еще не был, — настоящим служащим. Ну конечно, когда еще выпадет такой случай? Бывает, что сразу не успеешь появиться, не успеешь оглянуться, как случай уже подвернулся, тут не у каждого новичка достанет присутствия духа сразу за этот случай ухватиться, тогда уж приходится ждать годами, дольше, чем при официальном оформлении на работу, но оформиться на работу по всем правилам такому неофициально допущенному человеку совсем невозможно.

Значит, тут сомнений возникает немало, но все они отпадают перед тем соображением, что при официальном приеме на работу отбор очень строг, и члена семьи, который себя чем-то запятнал, отвергают заранее. Он может проходить процедуру оформления годами, трястись в ожидании результата, все удивленно спрашивают его, как он посмел предпринять столь безнадежную попытку, а он все надеется, иначе как же ему жить; однако через много лет, быть может, уже в старости, он узнает об отказе, узнает, что все потеряно и жизнь его прошла бесцельно. Но, правда, и здесь бывают исключения, потому-то так легко и поддаются соблазну. Бывает, что именно скомпрометированных людей в конце концов принимают, есть чиновники, которых буквально против их воли притягивает запах такой дичи, и во время приемных испытаний они все вынюхивают, кривят рот, закатывают глаза, такой человек у них, как видно, вызывает особый аппетит, и им приходится крепко цепляться за своды законов, чтобы сопротивляться желанию принять его на работу. Но иногда это вовсе не помогает человеку в приеме на службу, а только бесконечно затягивает процедуру зачисления — такой процедуре конца нет, и она прекращается только со смертью данного человека. Так что и законный прием на службу, как и незаконный, чреват и явными, и тайными трудностями, и, прежде чем впутаться в такое дело, очень полезно все заранее взвесить. Тут уж мы с Варнавой ничего не упустили.

Всякий раз, как я возвращалась из гостиницы, мы садились рядом, я рассказывала все новости, какие я узнала, мы обсуждали их целыми днями, и бывало, что работа у Варнавы не двигалась дольше, чем следовало. И тут, возможно, была моя вина, как ты, наверно,

считаешь. Ведь я знала, что рассказы слуг очень и очень недостоверны. Я знала, что они никогда не хотят рассказывать мне про Замок, стараются перевести разговор на другое, каждое слово приходится у них вымаливать, но, надо сказать, уж если они заводились, так болтали ерунду, хвастались, старались перешеголять друг дружку во всяких баснях и выдумках так, что там, в темной конюшне, из всего этого неумолчного крика, когда один перебивал другого, можно было извлечь в лучшем случае два-три жалких намека на правду. Но все, что мне запомнилось, я пересказывала Варнаве, а он, никак не умея отличить правду от вымысла, мечтая о той жизни, недостижимой из-за положения нашей семьи, впивал каждое слово, с жаром требуя продолжения. А мой новый план действительно опирался на Варнаву. У слуг я ничего больше добиться не могла.

Посыльный Сортини не отыскался, и найти его было невозможно, очевидно, и Сортини, и его посыльный уходили все дальше в неизвестность, другие часто забывали даже их имена, их внешность, и мне приходилось не раз подробно их описывать, но я ничего не добилась, кроме того, что их с трудом припоминали, но ничего сказать о них не могли. А что касается моей жизни среди слуг, то я, конечно, была не в силах предотвратить сплетни и могла только надеяться, что все будет воспринято так, как оно было на самом деле, и что это снимет хоть часть вины с нашей семьи, однако никаких внешних признаков такого отношения я не замечала. Так я и продолжала жить, не видя для себя никакой другой возможности добиться для нас хоть чего-нибудь в Замке. Такую возможность я видела лишь для Варнавы. Из рассказов челяди я могла, если хотела — а желание у меня было немалое, — сделать вывод, что каждый, кто принят на службу в Замок, может очень много сделать для своей семьи.

Однако что же в этих рассказах было достоверного? Казалось, что установить это невозможно, ясно было только, что достоверности в них очень мало. Например, когда какой-то слуга, которого я потом никогда не увижу, а если и увижу, то не узнаю, торжественно заверяет меня, что поможет моему брату устроиться на службу в Замок или же, если Варнава каким-то образом попадет в Замок, он его хотя бы поддержит и подбодрит, потому что, судя по рассказам слуг, бывает, что ищущим работу приходится так долго ждать, что они часто падают в обморок, мысли у них путаются и они могут погибнуть, если друзья о них не позаботятся, — когда слуги мне рассказывали и это,

и всякое другое, то, вероятно, все их предостережения были вполне основательными, но их обещания — совершенно пустыми. Однако Варнава относился к ним не так, хотя я его и предупреждала, что нельзя верить этим посулам, но уж одного того, что я ему их пересказывала, было достаточно, чтобы он увлекся моими планами. Все мои соображения на него почти не действовали, действовали только рассказы слуг. Таким образом, я была, в сущности, предоставлена самой себе, с родителями вообще никто, кроме Амалии, разговаривать не умел, а чем больше я пыталась по-своему выполнить прежние планы отца, тем больше отчуждалась от меня Амалия, при тебе или при других она еще со мной разговаривает, а наедине — никогда; для слуг в гостинице я была только игрушкой, которую они яростно пытались сломать, ни одного душевного слова я ни от кого из них за два года не слышала, они только хитрили, врали или говорили глупости, значит, у меня оставался только Варнава, но Варнава был еще слишком молод. Когда я видела, как блестят его глаза при моих рассказах — они и теперь блестят, — я пугалась и все же не умолкала, слишком многое было поставлено на карту. Правда, больших, хоть и бесплодных планов, как у моего отца, у меня не было, не было во мне и мужской решимости, я только думала, как бы загладить обиду, нанесенную посыльному, и хотела, чтобы это скромное желание мне поставили в заслугу. Но того, что мне самой сделать не удалось, я теперь хотела достигнуть через Варнаву, другим и более верным способом. Мы обидели посыльного, спугнули его из ближних канцелярий; что же могло быть проще, чем предложить в лице Варнавы нового посыльного, поручить Варнаве выполнять работу обиженного, а тем самым дать обиженному возможность спокойно жить в отдалении столько, сколько он захочет, сколько ему понадобится, чтобы забыть обиду.

Однако я отлично понимала, что при всей неприязнительности этого плана в нем было что-то нескромное, могло создаться впечатление, будто мы хотим диктовать начальству, как ему решать вопросы приема служащих, будто мы сомневаемся, способно ли само начальство найти наилучшее решение, а может быть, оно и нашло его давным-давно, еще до того, как у нас появилась мысль, что можно как-то вмешаться. Но потом я подумала: нет, не может быть, чтобы начальство так неверно истолковало мои намерения или, если так случится, чтобы оно сделало это намеренно, — другими словами, не может быть, чтобы все, что бы я ни делала, заранее безоговорочно

получило бы отпор. Поэтому я не сдавалась, а честолюбие Варнавы сделало свое. Во время всей этой подготовки Варнава так заважничал, что даже стал считать работу сапожника слишком грязной для себя, будущего служащего канцелярии; больше того, он даже осмеливался весьма решительно возражать Амалии, когда она к нему изредка обращалась. Я не хотела мешать его недолговечной радости, потому что в первый же день, когда он отправился в Замок, и радость, и высокомерие, как и можно было ожидать, исчезли без следа. И началась та кажущаяся служба, про которую я тебе уже рассказывала. Удивительно было только то, что Варнава без всякого затруднения сразу попал в Замок, вернее, в ту канцелярию, которая стала его рабочим местом.

Такой успех меня чуть с ума не свел, и, когда Варнава шепнул мне об этом на ухо, я бросилась к Амалии, прижала ее в угол и осыпала поцелуями, впиваясь в нее и губами, и зубами так, что она расплакалась от испуга и боли. От волнения я не могла выговорить ни слова, да мы с ней уже давно не разговаривали, и я отложила объяснения на утро. Но в ближайшие дни рассказывать уже было не о чем. На том, что было достигнуто, все и остановилось. Два года Варнава вел эту однообразную, гнетущую жизнь. Слуги ничего не сделали, я дала Варнаве записку, в которой поручала его вниманию слуг и напоминала им про их обещания, и Варнава, как только видел кого-нибудь из слуг, вынимал записку и протягивал ему, при этом он иногда попадал на слуг, которые меня не знали, других раздражала его манера — молча протягивать записку, — разговаривать там, наверху, он не смел; но тягостно было то, что ему никто помочь не желал, и для нас было избавлением — правда, мы могли бы давным-давно и сами избавиться таким способом, — когда один из слуг, которому, быть может, не раз навязывали эту записку, смял ее и бросил в корзину для бумаг. Он, как мне казалось, мог бы при этом и добавить: «Вы же сами так обращаетесь с письмами». Но как бы бесплодно ни проходило это время, Варнаве оно принесло пользу, если можно назвать пользой то, что он преждевременно повзрослел, преждевременно стал мужчиной; да, во многом он стал серьезнее, осмотрительнее, даже не по возрасту.

Мне иногда становится очень грустно, когда я гляжу на него и сравниваю с тем мальчиком, каким он был еще два года назад. И при этом ни утешения, ни внимания, которых можно было бы ожидать от взрослого человека, я от него не вижу. Без меня он вряд ли попал бы

в Замок, но с тех пор, как он там, он уже от меня не зависит. Я его единственный поверенный, но он наверняка рассказывает мне только малую долю того, что лежит у него на сердце. Он часто говорит о Замке, но из его рассказов, из этих незначительных случаев, о которых он сообщает, невозможно понять, каким образом эта обстановка вызвала в нем такую перемену. Особенно трудно понять, почему он, став взрослым мужчиной, полностью потерял ту смелость, которая в нем, мальчишке, приводила нас в отчаяние. Правда, это бесполезное стояние и бесконечное ожидание изо дня в день без всякой надежды на перемену ломают человека, делают его нерешительным, и в конце концов он становится не способным ни на что другое, кроме безнадежного стояния на месте. Но почему же с самого начала он не сопротивлялся? Ведь он очень скоро понял, насколько я была права и что никакого удовлетворения его честолюбию там не найти, хотя, быть может, ему и удастся принести пользу нашему семейству. Ведь там во всем — кроме причуд всякой челяди — царит большая скромность, там честолюбивый человек ищет удовлетворения только в работе, а так как тогда сама работа становится превыше всего, то всякое честолюбие пропадает — для детских мечтаний там места нет. Но Варнаве, как он мне рассказывал, казалось, что там он ясно увидел, как велика и власть, и мудрость даже тех, собственно говоря, очень неважных чиновников, в чьих комнатах ему разрешалось бывать. Как они диктовали, быстро, полузакрыв глаза, отрывисто жестикулируя, как одним мановением пальца, без единого слова, рассылали ворчливых слуг, а те в такие минуты, тяжело дыша, все же радостно усмехались, или как один из чиновников, найдя важное место в книгах, хлопал по страницам ладонью, а все остальные сразу, насколько позволяло тесное помещение, сбегались и глазели, вытягивая шеи. И это, и многое другое создавало у Варнавы самое высокое мнение об этих людях, и он себе представил, что если вдруг они его заметят и ему удастся перекинуться с ними несколькими словами — уже не как постороннему, а как их сослуживцу по канцелярии, хоть и в самом низшем чине, — то для нашей семьи удастся достигнуть невиданных благ. Но покамест до этого еще не дошло, а сделать шаг, который приблизил бы его к чиновникам, Варнава не смеет, хотя ему уже совершенно ясно, что, несмотря на свою молодость, он из-за нашего несчастья занял в нашем доме ответственнейшее место отца семейства.



А теперь хочу сделать тебе и последнее признание: неделю назад приехал ты. Я слышала, как в гостинице об этом кто-то упомянул, но не обратила внимания: приехал какой-то землемер, а я толком и не знала, что это такое. Но на следующий вечер Варнава пришел домой раньше, чем всегда, — обычно я выходила ему навстречу в определенный час, — увидел в горнице Амалию и потому повел меня на улицу, а там вдруг прижался лицом к моему плечу и залился слезами. Он снова стал прежним мальчуганом. С ним случилось нечто такое, к чему он не был готов. Перед ним как будто открылся совсем новый мир, и ему не совладать с радостными заботами, которые несет с собой это открытие. А случилось только то, что ему дали письмо для передачи тебе. Но ведь это было первое письмо и вообще первая работа, которую он получил.

Ольга замолчала. Было тихо, только слышалось тяжкое, иногда похожее на хрип, дыхание родителей. И К. сказал небрежно, словно подытоживая рассказ Ольги:

— Все передо мной притворялись. Варнава принес мне письмо с видом опытного и очень занятого посыльного, а ты с Амалией — на этот раз она была с вами заодно, — вы обе сделали вид, что и обязанности посыльного, и передачу писем — все это он выполняет так, между прочим.

— Ты только не смешивай нас всех, — сказала Ольга. — Варнаву эти два письма снова превратили в счастливого ребенка, несмотря на то что он до сих пор сомневается в своей работе. Но эти сомнения он высказывает только мне, перед тобой же он считает для себя делом чести выступать в роли настоящего посыльного, каким тот должен быть по его представлениям. И хотя теперь у него и возросла надежда получить форму, мне пришлось за два часа так ушить ему брюки, чтобы они хоть немного походили на форменные штаны в обтяжку, в них он хотел покрасоваться перед тобой — в этом отношении тебя нетрудно было обмануть. Это — про Варнаву. А про Амалию скажу, что она действительно презирает службу посыльного, и теперь, когда Варнава достиг какого-то успеха — она легко могла бы об этом догадаться и по мне, и по Варнаве, и по нашим переживаниям в уголке, — теперь она презирает Варнаву еще больше прежнего. Значит, она тебе говорит правду, и ты не поддавайся заблуждению, тут сомневаться не надо. А вот если я, К., иногда при тебе пренебрежительно говорила про службу посыльного, так вовсе не для того, чтобы тебя обма-

нуть, а только из страха. Ведь те два письма, что прошли до сих пор через руки Варнавы, и были за три года первым, хоть и очень сомнительным указанием того, что над нашим семейством смилоствивились. Эта перемена — если только это и на самом деле перемена, а не ошибка, потому что ошибки бывают чаще, чем перемены, — связана с твоим появлением здесь, наша судьба попала в некоторую зависимость от тебя, быть может, эти два письма — только начало и работа Варнавы выйдет далеко за пределы должности посыльного, обслуживающего одного тебя, пока можно будет на это надеяться, но сейчас все сосредоточивается только на тебе. Там, наверху, мы должны удовлетворяться тем, что нам дают, но тут, внизу, мы, может быть, и сами можем что-то сделать, а именно: обеспечить себе твое доброе отношение, или, по крайней мере, защититься от твоего недоброжелательства, или же, что самое важное, оберегать тебя, насколько хватит наших сил и возможностей, чтобы твоя связь с Замком, которая, быть может, и нас вернет к жизни, не пропала зря. Но как же все это выполнить получше? Главное, чтобы ты не относился с подозрением, когда мы к тебе подходим, ведь ты тут чужой, а потому, конечно, тебя одолевают подозрения, и вполне оправданные подозрения. Кроме того, нас все презирают, а на тебя влияет мнение других, особенно мнение твоей невесты, — как же нам к тебе приблизиться без того, чтобы, например, не пойти, хоть и непреднамеренно, против твоей невесты и этим тебя не обидеть. А эти письма, которые я прочитывала до того, как ты их получал, — Варнава их не читал, он как посыльный себе этого не мог позволить, — эти письма на первый взгляд казались мне совсем не важными, устаревшими, они, собственно говоря, сами себя опровергали тем, что направляли тебя к старосте. Как же нам надо было держаться с тобой при таких обстоятельствах? Если подчеркивать важность этих писем, мы вызвали бы подозрение — зачем мы преувеличиваем такие пустяки и что, расхваливая тебе письма, мы, их передатчики, преследуем не твои цели, а свои, больше того, мы этим могли обесценить письма в твоих глазах и тем самым разочаровать тебя без всякого намерения. Если же мы не придали бы письмам никакой цены, мы тоже вызвали бы подозрение — зачем же тогда мы хлопочем о передаче этих ненужных посланий, почему наши дела противоречат нашим словам, зачем мы так обманываем не только тебя, адресата писем, но и тех, кто нам дал это поручение, а ведь не для того же они поручили нам передать письма, чтобы мы их

при этом обесценили в глазах адресата. А найти середину между этими крайностями, то есть правильно оценить письма, вообще невозможно, они же непрестанно меняют свое значение, они дают повод для бесконечных размышлений, и на чем остановиться — неизвестно, все зависит от случайностей, значит, и мнение о них составляется случайно. А если тут еще станешь бояться за тебя, все запутывается окончательно, только ты не суди меня слишком строго за эти разговоры. Когда, к примеру, как это уже один раз случилось, Варнава приходит и сообщает, что ты недоволен его работой посыльного, а он, с перепугу и, к сожалению, не без оскорбленного самолюбия, предлагает, чтобы его освободили от этой должности, тут я, конечно, способна обманывать, лгать, передергивать — словом, поступать очень скверно, лишь бы помогло. Но тогда я поступаю так не только ради нас, но, по моему убеждению, и ради тебя.

С улицы постучали. Ольга пошла к двери и отперла ее. Темноту прорезала полоса света от карманного фонаря. Поздний гость что-то спрашивал шепотом, и ему шепотом же отвечали, но он этим не удовлетворился и попытался было проникнуть в комнату. Очевидно, Ольга больше не могла его удерживать и позвала Амалию, должно быть, надеясь, что та, защищая покой родителей, пойдет на все, чтобы удалить посетителя. Да Амалия и сама уже спешила к выходу, отстранила Ольгу, вышла на улицу и захлопнула за собой дверь. Все это длилось один миг, она тотчас же вернулась, настолько быстро ей удалось добиться того, чего никак не могла сделать Ольга.

Тут К. узнал от Ольги, что посетитель приходил к нему, это был один из его помощников, который искал его по поручению Фриды. Ольга хотела скрыть от помощника, что К. у них: если К. захочет потом признаться Фриде, что побывал тут, пусть признается, но не надо, чтобы его тут застал помощник. К. одобрил ее. Но от предложения Ольги остаться у них ночевать и дожидаться Варнаву К. отказался; вообще-то он бы и принял это предложение, уже стояла глубокая ночь, и ему казалось, что теперь он волей-неволей настолько связан с этой семьей, что ночевка тут хоть и тягостна во многих отношениях, но при такой тесной связи была бы в Деревне самой подходящей для него, однако он отказался, его спугнул приход помощника; ему было непонятно, как это Фрида, зная, чего он хочет, и помощни-

ки, привыкшие его бояться, теперь снова стакнулись настолько, что Фрида не постеснялась послать за ним одного из помощников, очевидно, оставшись с другим. К. спросил Ольгу, нет ли у нее кнута, но кнута у нее не было, зато нашлась хорошая розга, он взял ее, потом спросил, нет ли другого выхода из дома; в доме оказался второй выход, со двора, только надо было потом перелезть через забор соседнего сада и через этот сад выйти на улицу. К. так и решил сделать. И пока Ольга провожала его через двор к забору, он торопливо пытался успокоить ее, объяснил, что вовсе на нее не сердится за все мелкие подтасовки и очень хорошо ее понимает, поблагодарил за доверие, проявленное к нему, — она это доказала своим рассказом, поручил ей, как только вернется Варнава, будь это хоть поздней ночью, сразу прислать его в школу. И хотя сообщения, переданные Варнавой, далеко не единственная его надежда — иначе ему пришлось бы туго, — но он ни в коем случае не хочет от них отказываться, но будет за них держаться и при этом не забудет и Ольгу, потому что важнее всех сообщений для него сама Ольга, ее храбрость и осмотрительность, ее ум, ее жертвенность по отношению к семье. И если бы ему пришлось выбирать между Ольгой и Амалией, он ни на миг не задумался бы. И К. еще раз сердечно пожал ей руку, перед тем как перемахнуть через соседский забор.

Очутившись наконец на улице, он увидел, насколько позволяла пасмурная ночь, что неподалеку от дома Варнавы помощник все еще расхаживал взад и вперед, иногда он останавливался и пытался осветить фонарем комнату сквозь занавешенное окно. К. окликнул его, тот, по-видимому, не испугался, перестал подсматривать и подошел к К.

— Ты кого ищешь? — спросил К. и стегнул розгой по своей ноге, пробуя, хорошо ли она гнется.

— Тебя, — ответил помощник, подходя ближе.

— А ты кто такой? — вдруг спросил К., ему показалось, что это вовсе не его помощник. Этот человек казался старше, утомленнее, лицо морщинистое, но более полное, да и походка совсем не похожа на быструю, словно наэлектризованную походку помощников, у этого походка была медлительна, и он слегка прихрамывал с благородно-расслабленным видом.

— Разве ты меня не узнаешь? — сказал этот человек. — Я Иеремия, твой старый помощник.

— Вот как? — сказал К. и немного вытянул из-за спины спрятанную было розгу. — Но у тебя совсем другой вид.

— Это из-за того, что я остался один, — сказал Иеремия. — Когда я один, тогда прощай и молодость, и радость.

— А где же Артур? — спросил К.

— Артур? — повторил Иеремия. — Наш любимчик? А он бросил службу. Ты ведь был довольно груб и жесток с нами. Его нежная душа не вынесла этого. Он вернулся в Замок и подал на тебя жалобу.

— А ты? — спросил К.

— Я смог остаться, — сказал Иеремия. — Артур подал жалобу и за меня.

— На что же вы жалуетесь? — спросил К.

— На то, — сказал Иеремия, — что ты шуток не понимаешь. А что мы сделали? Немножко шутили, немножко смеялись, немножко дразнили твою невесту. А вообще-то все делалось, как было велено. Когда Галатер послал нас к тебе...

— Галатер? — переспросил К.

— Да, Галатер, — сказал Иеремия. — Тогда он как раз замещал Кламма. Когда он нас к тебе посылал, он — и я это хорошо запомнил, потому что мы именно на это и ссылаемся, — он сказал: «Вы отправитесь туда в качестве помощников землемера». Мы сказали: «Но мы ничего не смыслим в этой работе». Он в ответ: «Это не самое важное, если понадобится, он вас натаскает. А самое важное, чтобы вы его немного развеселили. Как мне доложили, он все принимает слишком близко к сердцу. Он только недавно попал в Деревню и сразу решил, что это большое событие, хотя на самом деле все это ничего не значит. Вот что вы ему и должны внушить».

— Ну и что же? — сказал К. — Прав ли Галатер и выполнили ли вы его поручение?

— Этого я не знаю, — сказал Иеремия. — За такое короткое время это вряд ли было возможно. Знаю только, что ты был очень груб, на что мы и жалуемся. Не понимаю, как ты, тоже человек служащий, и притом даже не служащий Замка, не можешь понять, что такая служба, как наша, — трудная работа и что очень нехорошо с таким своеволием, почти по-мальчишески, затруднять людям работу, как ты ее затруднял нам. Как безжалостно ты заставил нас мерзнуть у ограды, а как ты Артура, человека, у которого от злого слова весь день болит душа, чуть не убил кулаком тогда, на матраце, или как ты в су-

мерках гонял меня по снегу взад и вперед, так что я потом целый час не мог отдышаться. Я ведь не так уж молод.

— Дорогой Иеремия, — сказал К., — ты во всем прав, только излагать все это надо не мне, а Галатеру. Он вас послал по своей воле, я вас у него не выпрашивал. А раз я вас не требовал, значит, я мог отправить вас обратно и охотнее сделал бы это мирным путем, чем силой, но вы явно на это не шли. Кстати, почему вы с самого начала, когда вы ко мне только что пришли, не поговорили со мной так же откровенно, как сейчас?

— Потому что я был на службе, — сказал Иеремия. — Это же само собой понятно.

— А теперь ты больше не на службе?

— Теперь уже нет, — сказал Иеремия. — Артур оформил в Замке наш уход со службы, или, по крайней мере, там сейчас идет оформление, чтобы нас от этой должности освободили.

— Но ты меня разыскиваешь, как будто ты еще у меня служишь? — сказал К.

— Нет, — сказал Иеремия. — Разыскиваю я тебя, только чтобы успокоить Фриду. Ведь, когда ты ее оставил ради сестры Варнавы, она почувствовала себя очень несчастной не столько из-за потери, сколько из-за твоего предательства; правда, она уже давно предвидела, что так случится, и очень из-за этого страдала. А я как раз подошел к окну школы посмотреть, не образумился ли ты наконец. Но тебя там не было, только Фрида сидела на парте и плакала. Тогда я зашел к ней, и мы договорились. Все уже сделано. Я теперь служу коридорным в гостинице, а Фрида опять там, в буфете. Для Фриды так лучше. Ей не было никакого смысла выходить за тебя замуж. Кроме того, ты не сумел оценить жертву, которую она тебе принесла. А теперь это доброе существо все еще иногда сомневается, справедливо ли мы с тобой поступили, может быть, ты вовсе и не сидел с семейкой Варнавы. И хотя насчет того, где ты, никаких сомнений и быть не могло, я все же отправился сюда, чтобы подтвердить это раз и навсегда; потому что после всех волнений Фрида заслужила право наконец спокойно заснуть, да и я тоже. Вот я и пошел, и не только нашел тебя тут, но и увидел, что эти девчонки идут за тобой, как на поводке. Особенно та, чернявая, вот уж дикая кошка, до чего она за тебя заступалась! Что ж, у каждого свой вкус. Во всяком случае, тебе

нечего было лезть в обход, через соседский сад, я тут все дороги хорошо знаю.

### *Глава двадцать первая*

Значит, все-таки случилось то, что можно было предвидеть, но нельзя было предотвратить. Фрида его бросила. А вдруг это не окончательно, может быть, дело обстоит не так скверно; Фриду надо было снова завоевать, правда, на нее легко влияли посторонние, особенно эти помощники, считавшие, что у них с Фридой положение одинаковое, и теперь, когда они отказались от службы, они и Фриду подбили уйти, но стоит К. только приблизиться к ней, напомнить ей обо всем, что говорило в его пользу, и она снова с раскаянием вернется к нему, особенно если он сможет оправдать свое пребывание у девушек тем, что они помогли ему достигнуть какого-то успеха. Но, несмотря на все эти соображения, касавшиеся Фриды, которыми он пытался себя успокоить, он не успокаивался. Только что он хвалился перед Ольгой отношением Фриды к нему и называл ее своей единственной опорой, — оказывается, опора эта не из самых крепких, не нужно было вмешательства высших сил, чтобы отнять Фриду у К., достаточно было этого довольно неаппетитного помощника, этого куска мяса, который порой казался безжизненным.

Иеремия отошел было от К., но тот позвал его назад.

— Иеремия, — сказал он, — я буду с тобой совершенно откровенен, но и ты честно ответь мне на один вопрос. Теперь мы с тобой уже не господин и слуга, и этим доволен не только ты, но и я, значит, у нас нет никаких оснований лгать друг другу. Вот у тебя на глазах я ломаю розгу, предназначенную для тебя, потому что пошел я через сад вовсе не из страха перед тобой, а чтобы застать тебя врасплох и вытянуть хорошенько этой розгой. Но ты на меня не обижайся, теперь этому конец, и если бы власти не навязали мне тебя в слуги, то мы с тобой наверняка поладили бы, хоть меня немножко раздражает твоя внешность. Теперь-то мы с тобой уже можем наверстать все, что упущено.

— Ты так думаешь? — сказал помощник и с широким зевком прикрыл усталые глаза. — Я бы мог тебе подробнее объяснить, что

случилось, но времени у меня нет, надо идти к Фриде, крошка меня ждет. Она еще не приступила к работе, я уговорил хозяина дать ей короткий отдых, она, видно, хотела сразу погрузиться в работу, чтобы тебя забыть, и теперь нам хочется хотя бы немного побыть вместе. Что же касается твоего предложения, то у меня, разумеется, нет ни малейших оснований лгать тебе, но еще меньше оснований тебе доверять. Пока я находился с тобой в служебных отношениях, ты, разумеется, был для меня важной персоной, не из-за твоих достоинств, а по долгу службы, и я охотно сделал бы для тебя все, чего бы ты ни захотел, но теперь ты мне безразличен. И то, что ты сломал розгу, меня тоже не трогает, только напоминает о том, какого грубияна мне дали в господа, но расположить меня к тебе такое поведение никак не может.

— Ты со мной разговариваешь, будто уверен, что тебе уже никогда не придется меня бояться. А ведь, в сущности, это не так. Должно быть, тебя еще не освободили от службы, тут так скоро решения не принимают.

— А бывает, что и скорее, — сказал Иеремия.

— Бывает, — сказал К. — Но пока нет никаких указаний, что в данном случае так оно и будет, во всяком случае, ни тебе, ни мне документа на руки не выдали. Значит, разбор дела только начался, а я еще не использовал свои связи и не вмешался, но непременно вмешаюсь, непременно. Если все обернется для тебя неудачно, значит, ты не особенно старался расположить хозяина в свою пользу, и, быть может, я вообще зря сломал розгу. Фриду ты, правда, увел, потому-то от важности и распустил перья, но при всем уважении к твоей особе — а я тебя уважаю, хоть ты меня и нет, — достаточно мне сказать два-три слова Фриде, я это отлично знаю, чтобы изничтожить всю ту ложь, которой ты ее опутал.

— Эти угрозы меня ничуть не пугают, — сказал Иеремия, — ты же не хочешь, чтобы я был твоим помощником, ты боишься меня как помощника, да и вообще ты помощников боишься, только из страха ты побил доброго Артура.

— Возможно, — сказал К. — А разве от этого ему было бы не так больно? Может статься, что я и свой страх перед тобой смогу выразить таким же образом, и не раз! Если только увижу, что тебе должность помощника не по нутру, так никакой страх не сможет испортить мне удовольствие заставить тебя насильно служить мне. Больше



того, я приложу все усилия, чтобы заполучить одного тебя, без Артура, тогда я смогу уделять тебе больше внимания.

— Неужели ты думаешь, — сказал Иеремия, — что я тебя хоть немножко боюсь?

— Да, думаю, что боишься, хоть немного, но боишься, а если ты умен, то очень боишься. Иначе почему ты сразу не пошел к Фриде? Скажи, ты ее любишь?

— Люблю? — переспросил Иеремия. — Она добрая, умная девочка, бывшая возлюбленная Кламма, значит, во всяком случае, заслуживает уважения. И если она меня непрерывно умоляет избавить ее от тебя, почему же не оказать ей эту услугу, тем более что и тебе я никакого вреда не приношу, ведь ты уже утешился с этими проклятыми варнавовскими девками.

— Теперь мне ясна твоя трусость, — сказал К., — твоя жалкая трусость. Вот такой ложью ты пытаешься меня опутать! Фрида просила меня только об одном — избавить ее от взбесившихся помощников, от этих похотливых кобелей, а у меня, к сожалению, времени не было выполнить ее просьбу, и вот что теперь вышло из-за моего упущения!

— Господин землемер? Господин землемер! — закричал кто-то в переулке. Это был Варнава. Он подбежал задыхаясь, однако не забыл отдать К. поклон. — Мне все удалось!

— Что удалось? — спросил К. — Ты передал мою просьбу Кламму?

— Это-то не вышло, — сказал Варнава. — Я очень старался, но никакой возможности не было, хоть я и пробился вперед, весь день стоял так близко к столу, что один писарь, которому я загораживал свет, даже оттолкнул меня, потом, хоть это и запрещено, я заявил о себе, и, когда Кламм взглянул, я поднял руку, потом задержался в канцелярии дольше всех, остался там один, со слугами, имел счастье видеть, как вернулся Кламм, но оказалось, что вернулся он не из-за меня, он только хотел быстро справиться о чем-то в книге и тут же ушел; в конце концов, так как я не трогался с места, один слуга чуть ли не вывел меня из комнаты метлой. Все это я тебе рассказываю, чтобы ты видел, как я стараюсь, и не выражал недовольства.

— Да что мне в твоих стараниях, Варнава, — сказал К., — если ты никакого успеха не добился.

— Но я же добился успеха! — сказал Варнава. — Выхожу я из своей канцелярии — я называю ее своей канцелярией — и вдруг вижу,

что из глубины коридора медленно выходит один господин, вокруг никого не было, время было позднее. Я решил подождать его, мне вообще хотелось там остаться, чтобы не сообщать тебе дурные вести. Да и так стоило подождать этого господина, ведь это был Эрлангер. Как, ты его не знаешь? Это один из первых секретарей Кламма. Тщедушный такой, маленький человек, немного хромает. Он меня сразу узнал, он славится своей памятью и знанием людей, ему стоит только наморщить лоб — и он сразу узнает любого, часто даже тех, кого он никогда не видел, только слышал или читал про них, меня, например, он вряд ли видел. Но хотя он и узнает сразу любого человека, он всегда спрашивает, будто не совсем уверен. «Ты, кажется, Варнава? — сказал он мне. И тут же спросил: — Ты ведь знаешь землемера? — И потом сказал: — Это удачно, сейчас я еду в гостиницу. Пусть землемер зайдет туда ко мне. Я живу в номере пятнадцатом. Но пусть он явится сейчас же. У меня там кое-какие переговоры, а в пять часов утра я уже уеду обратно. Скажи ему, что мне очень нужно поговорить с ним».

Тут Иеремия внезапно пустился бежать. Варнава был настолько взволнован, что не обратил на него никакого внимания, но теперь спросил:

— Что ему надо?

— Хочет опередить меня у Эрлангера, — сказал К. и побежал за Иеремией, догнал его, схватил под руку и сказал: — Что, соскучился вдруг без Фриды? И я тоже, не меньше тебя, значит, пойдем вместе!

У темной гостиницы стояла небольшая кучка людей, двое или трое держали фонари, так что можно было различить лица. К. узнал одного знакомого — возчика Герстекера. Герстекер встретил его вопросом:

— А ты все еще в Деревне?

— Да, — сказал К., — я приехал надолго.

— А мне какое дело, — сказал Герстекер и, сильно закашлявшись, повернулся к остальным.

Выяснилось, что все ждут Эрлангера. Эрлангер уже приехал, но, прежде чем начать прием, совещался с Момом. Разговоры вертелись вокруг того, что в доме ждать воспрещалось и приходится стоять тут, в снегу. Правда, было не очень холодно, но все же заставлять людей стоять ночью часами перед домом было безжалостно. Впрочем, Эрлангер был в этом не виноват, он был, скорее, человек предупреди-

тельный, ничего не подозревал и наверняка рассердился бы, если бы ему об этом доложили. Виновата была хозяйка гостиницы: в своем болезненном стремлении соблюдать порядок она не желала, чтобы столько просителей сразу наводнили ее дом. «Уж если непременно надо их принимать, — говаривала она, — так пусть они, Бога ради, заходят по очереди». И она добилась того, что просителей, ждавших сначала просто в коридоре, потом на лестнице и, наконец, в буфете, в конце концов выдворили на улицу. Она и этим была недовольна. Ей было невыносимо, что в собственном доме ее непрестанно, как она выражалась, «осаждали». Она не понимала, зачем вообще принимают посетителей. «Чтобы пачкать лестницу», — как-то, очевидно с досады, ответил ей на этот вопрос один из чиновников, но этот ответ показался ей весьма вразумительным, и она охотно его повторяла. Она добивалась, чтобы напротив гостиницы построили здание, где могли бы ждать посетители, что вполне соответствовало ее желаниям. Больше всего она хотела, чтобы и прием, и допросы проводились вне гостиницы, но на это возражали чиновники, а когда чиновники всерьез возражали, то хозяйке, разумеется, ничего добиться не удавалось, хотя в незначительных делах благодаря неустанной и все же по-женски мягкой настойчивости она для всех стала чем-то вроде домашнего тирана. Однако пока что хозяйке приходилось терпеть, чтобы и прием, и допросы проходили у нее в гостинице, потому что господа из Замка отказывались покидать гостиницу и ходить в Деревню по служебным делам. Они всегда торопились, в Деревню ездили очень неохотно, и продлевать свое пребывание тут сверх необходимости у них ни малейшего желания не было, поэтому нельзя было с них требовать, чтобы они только ради спокойствия в гостинице теряли столько времени и со всеми своими бумагами переходили через улицу в какой-то другой дом. Охотнее всего чиновники занимались делами либо в буфете, либо у себя в номерах, по возможности за едой, а то и даже в постели перед сном или проснувшись поутру, когда они от усталости не могли встать и хотели еще понежиться в кровати. Вместе с тем вопрос о постройке помещения для просителей близился к благоприятному разрешению, хотя — и над этим немного посмеивались — для хозяйки это превратилось в сплошное наказание, потому что именно дело о постройке такого помещения вызвало огромный приток посетителей и коридоры в гостинице никогда не пустовали.

Обо всем этом вполголоса беседовали ожидающие. К. обратил внимание на то, что, несмотря на значительное недовольство, никто не возражал против того, что Эрлангер вызвал к себе людей среди ночи. Он спросил почему, и ему объяснили, что, скорее, нужно поблагодарить Эрлангера за это. Исключительно его добрая воля и высокое понимание своего служебного долга подвигли его на приезд в Деревню; ведь он мог бы, если бы захотел — и возможно, что это даже больше соответствовало бы предписаниям, — он мог бы послать кого-нибудь из второстепенных секретарей, чтобы тот составил протоколы. Но Эрлангер по большей части отказывался от этого, он желал сам все слышать и видеть, для чего и жертвовал своим ночным временем, потому что в его служебном расписании время для поездок в Деревню предусмотрено не было. К. возразил, что ведь даже Кламм приезжает в Деревню днем и проводит тут по нескольку дней; неужто Эрлангер, будучи только секретарем, более незаменим там, наверно, чем Кламм? Кто-то добродушно засмеялся на это, другие растерянно молчали, таких было большинство, и потому К. едва дождался ответа. Только один нерешительно сказал, что, конечно, Кламм незаменим, как в Замке, так и в Деревне.

Тут отворилась дверь, и между двумя слугами, несущими фонари, появился Мом.

— Первыми к господину секретарю Эрлангеру будут пропущены Герстекер и К. Оба здесь?

Оба откликнулись, но перед ними в дом проскользнул Иеремия, бросив на ходу: «Я тут коридорный», на что Мом улыбнулся и хлопнул его по плечу. «Надо будет поостеречься Иеремии», — подумал К., сознавая при этом, что Иеремия, по всей вероятности, куда безвреднее, чем Артур, работающий против него в Замке. Возможно, что было бы даже разумнее терпеть от них мучения как от помощников, чем дать им расхаживать беспрепятственно и плести без помех свои интриги, к чему у них имеется явная склонность.

Когда К. подошел к Мому, тот сделал вид, что только сейчас узнал в нем землемера.

— Ага, господин землемер! — сказал он. — Тот, что так не любит допросов, а сам рвется на допрос. Со мной в тот раз дело обстояло бы проще. Ну конечно, трудно выбрать, какой допрос лучше. — И когда К. при его словах остановился, Мом сказал: — Идите, идите! Тогда мне ваши ответы были нужны, а теперь нет.

И все же К., взволнованный поведением Мома, сказал:

— Вы только о себе и думаете. Только из-за того, что человек занимает какое-то служебное положение, я отвечать не собираюсь и не собирался.

Мом на это сказал:

— А о ком же нам думать, как не о себе? Кто тут еще есть? Ну, идите!

В прихожей их встретил слуга и повел по уже знакомой К. дороге через двор, потом в ворота, а оттуда в низкий, слегка покатый коридор. Очевидно, в верхних этажах жили только высшие чиновники, секретари же помещались в этом коридоре, и Эрлангер тоже, хотя он был одним из главных секретарей. Слуга потушил фонарь — тут было яркое электрическое освещение. Все вокруг было маленькое, но изящное. Помещение использовали полностью. В коридоре едва можно было встать во весь рост. По бокам — двери, одна почти рядом с другой. Бок-овые перегородки не доходили до потолка, очевидно, из соображений вентиляции, потому что в комнатках, размещенных тут, в подвале, вероятно, не было окон. Главный недостаток этих неполных перегородок был в том, что в коридоре, а вследствие этого и в комнатках, было очень беспокойно. Многие комнаты как будто были заняты, там по большей части еще не спали, слышались голоса, стук молотков, звон стаканов. Но впечатления особой веселости это не производило. Голоса звучали приглушенно, только изредка можно было разобрать слово-другое, да там, как видно, не беседовали, должно быть, кто-то диктовал или читал вслух, и как раз из тех комнат, откуда доносился звон стаканов и тарелок, не слышно было ни слова, а удары молотка напомнили К., что ему кто-то рассказывал, будто некоторые чиновники, чтобы отдохнуть от постоянного умственного напряжения, иногда столярничали, мастерили какие-то механизмы или что-нибудь в этом роде. В коридоре было пусто, лишь у одной из дверей сидел бледный узкоплечий высокий человек в шубе, из-под которой выглядывало ночное белье; очевидно, ему стало душно в комнате, и он сел снаружи и стал читать газету, но читал невнимательно, позевывал, то и дело опускал газету и, подавшись вперед, смотрел в глубь коридора: может быть, он ждал запоздавшего посетителя, вызванного к нему. Проходя мимо него, слуга сказал Герстекеру про этого господина: «Вон Пинцгауэр». Герстекер кивнул. «Давно он не бывал тут, внизу», — сказал он. «Да, очень уж давно», — подтвердил слуга.

Наконец они подошли к двери, ничем не отличавшейся от всех остальных, но за которой, однако, как сказал слуга, жил сам Эрлангер. Слуга попросил К. поднять его на плечи и сквозь просвет над перегородкой заглянул в комнату.

— Лежит, — сказал слуга, спустившись. — На постели лежит; правда, одетый, но мне кажется, что он дремлет. Тут, в Деревне, от перемены обстановки его иногда одолевает усталость. Придется нам подождать. Когда проснется, он позвонит. Конечно, случается и так, что все время своего пребывания в Деревне он спит, а проснувшись, должен тотчас же уезжать в Замок. Ведь он сюда приезжает работать по доброй воле.

— Лучше бы ему и сейчас проспать до отъезда, — сказал Герстекер, — а то, если у него после сна остается мало времени для работы, он бывает очень недоволен, что заспался, и уж тут старается все доделать как можно скорее, так что с ним и поговорить не удается.

— А вы пришли насчет перевозок для стройки? — спросил слуга. Герстекер кивнул, отвел слугу в сторону и что-то тихо стал ему говорить, но слуга почти не слышал, смотрел поверх Герстекера — он был больше чем на голову выше его — и медленно поглаживал себя по волосам.

## *Глава двадцать вторая*

**Б**есцельно озираясь вокруг, К. внезапно увидел в конце коридора Фриду; она сделала вид, что не узнает его, и только тупо уставилась ему в лицо; в руках у нее был поднос с пустой посудой. К. сказал слуге, не обращавшему на него внимания — чем больше с ним говорили, тем рассеянее он становился, — что сейчас же вернется, и побежал к Фриде. Добежав до нее, он схватил ее за плечи, словно утверждая свою власть над ней, и задал ей какой-то пустячный вопрос, настойчиво заглядывая ей в глаза, словно ища ответа. Но она оставалась все в том же напряженном состоянии, только рассеянно переставила посуду на подносе и сказала:

— Чего ты от меня хочешь? Уходи к ним, к тем — ну ты сам знаешь, как их звать. Ты же только что от них, я по тебе вижу.

К. сразу перевел разговор, он не хотел так сразу пускаться в объ-

яснения и начинать с самой неприятной, самой невыгодной для него темы.

— А я думал, ты в буфете, — сказал он. Фрида посмотрела на него с удивлением и вдруг мягко провела свободной рукой по его лбу и щеке. Казалось, она забыла, как он выглядит, и снова хотела ощутить его присутствие, да и в ее затуманенном взгляде чувствовалось напряженное старание припомнить его.

— Меня снова приняли на работу в буфет, — медленно сказала она, словно то, что она говорила, никакого значения не имело, а за этими словами она вела какой-то другой разговор с К. о самом важном. — Тут работа для меня неподходящая, ее любая может выполнять: если девушка умеет заправлять постели да делать любезное лицо, не чураться приставаний гостей, а, напротив, получать от этого удовольствие — такая всегда может стать горничной. А вот в буфете работать — другое дело. Да, меня теперь сразу приняли на работу в буфет, хотя я в тот раз и не совсем достойно ушла оттуда, правда, за меня попросили. Но хозяин обрадовался, что за меня просили, и ему легко было принять меня снова. Вышло даже так, что ему пришлось уговаривать меня вернуться, и, если ты вспомнишь, о чем оно мне напоминает, ты все поймешь. В конце концов я это место приняла. А здесь я пока что только помогаю. Пепи очень просила не опозорить ее, не заставляя сразу уходить из буфета, и, так как она работала усердно и делала все, на что хватало ее способностей, мы дали ей двадцать четыре часа отсрочки.

— Хорошо же вы все устроили, — сказал К. — Сначала ты из-за меня ушла из буфета, а теперь, перед самой нашей свадьбой, ты опять туда возвращаешься.

— Свадьбы не будет, — сказала Фрида.

— Из-за того, что я тебе изменил? — спросил К., и Фрида кивнула. — Послушай, Фрида, — сказал К., — об этой предполагаемой измене мы уже говорили не раз, и тебе всегда приходилось в конце концов соглашаться, что это несправедливое подозрение. Но ведь до сих пор с моей стороны ничего не изменилось, все осталось таким же безобидным, как и было, и никогда ничего измениться не может. Значит, изменилось что-то с твоей стороны, то ли кто-то наклепал на меня, то ли еще из-за чего-то. Во всяком случае, ты ко мне несправедлива. Сама подумай: как обстоит дело с этими двумя девушками? Та, смуглая, — право, мне стыдно, что приходится их так выгораживать

поодиночке, — так вот, эта смуглая мне, наверно, так же неприятна, как и тебе. Я стараюсь держаться с ней построже, впрочем, она в этом идет мне навстречу, трудно быть скромнее, чем она.

— Ну да! — воскликнула Фрида, казалось, что слова вырвались у нее против воли, и К. обрадовался, что она не сдержалась и вела себя не так, как хотела. — Можешь считать ее скромной, самую бесстыжую из всех называть скромной, и ты так и думаешь на самом деле, я знаю, ты не притворяешься. Хозяйка трактира «У моста» так про тебя и сказала: «Терпеть его не могу, но и оставить на произвол судьбы не могу, ведь, когда видишь ребенка, который еще почти ходить не умеет, а сам бросается вперед, нельзя удержаться, непременно вмешиваешься!»

— На этот раз послушайся ее, — сказал К., улыбнувшись, — но что касается той девушки — скромная она или бесстыжая, — давай забудем про нее, не будем думать, я ее и знать не хочу.

— Но зачем же ты называешь ее скромной? — упрямо спросила Фрида, и К. считал этот интерес благоприятным для себя. — Ты на себе это испробовал или хочешь, чтобы другие опустились до этого?

— Ни то ни другое, — сказал К., — я называю ее так из благодарности, потому что она мне облегчает задачу не замечать ее, и еще оттого, что, если бы она со мной заигрывала, мне трудно было бы заставить себя еще раз пойти к ним, а это было бы для меня большой потерей, потому что бывать там мне необходимо ради нашего с тобой будущего, и ты это сама знаешь. Потому мне приходится разговаривать и с другой сестрой, и хотя я ее очень уважаю за ее усердие, чуткость и бескорыстие, но сказать, что она соблазнительна, никто не скажет.

— А вот слуги другого мнения, чем ты, — сказала Фрида.

— И в этом, и, наверно, во многом другом, — сказал К. — Так неужели похотливость этих слуг наводит тебя на мысль о моей неверности?

Фрида промолчала и позволила, чтобы К. взял поднос у нее из рук, поставил на пол и, подхватив ее под руку, медленно зашагал с ней взад и вперед по тесному помещению.

— Ты не знаешь, что такое верность, — сказала она, слегка отстраняясь от него, — твое отношение к этим девушкам вовсе не самое важное, но то, что ты вообще бываешь в этой семье и возвращаешься оттуда весь пропахший запахом их жилья, — вот что для меня не-



выносимый позор. И еще ты убежал из школы, не сказав ни слова, и пробыл у них полночи. А когда за тобой приходят, так ты позволяешь этим девицам отрицать, что ты у них, да еще так настойчиво отрицать! Особенно эта твоя несравненная скромница. Крадешься потайным путем из их дома, может быть даже, чтобы спасти их репутацию, репутацию таких девиц! Нет, давай лучше не будем говорить об этом!

— Об этом не будем, — сказал К. — А вот о другом, Фрида, будем. Об этом и говорить-то нечего. Зачем я туда хожу, ты сама знаешь. Мне это нелегко, но я себя пересиливаю. А ты не должна бы затруднять мне это еще больше, сегодня я думал только на минуту зайти — спросить, не пришел ли наконец Варнава, ведь он давным-давно должен был принести мне важное известие. Он еще не пришел, но, как меня уверили, должен был скоро появиться. Заставлять его идти за мной в школу я не хотел, боялся, что его присутствие тебе помешает. Время шло, а его, к сожалению, все не было. Зато пришел другой, ненавистный мне человек. Позволить ему шпионить за мной у меня никакой охоты не было, потому я и перебрался через соседний сад, но и прятаться от него я не собирался, а пошел по улице ему навстречу не только открыто, но, должен сознаться, и с довольно внушительной розгой в руках. Вот и все, и говорить об этом больше нечего, зато о другом поговорить надо. Как насчет моих помощников, о которых мне упоминать так же противно, как тебе — о том семействе? Сравни свое отношение к ним с тем, как я веду себя с этой семьей. Я понимаю твое отвращение к этой семье и могу его разделять. Но я к ним хожу только по делу, мне иногда даже кажется, что я нехорошо поступаю, эксплуатирую их. А ты и эти помощники! Ты и не отрицала, что они к тебе пристают, ты призналась, что тебя к ним тянет. Я на тебя не рассердился, я понял, что тут действуют такие силы, с которыми тебе не справиться, я радовался, что ты хотя бы сопротивляешься им, помогал тебе защищаться, и вот только из-за того, что я на несколько часов ослабил внимание, доверяя твоей верности, конечно, надеясь, что дом заперт накрепко, а помощники окончательно выгнаны — боюсь, что я их недооценил! — только из-за того, что я ослабил внимание, а этот Иеремия, оказавшийся при ближайшем рассмотрении не очень крепким и уже немолодым малым, осмелился заглянуть в окно, — теперь только из-за этого я должен потерять тебя, Фрида, и вместо приветствия услышать от тебя: «Свадьбы не

будет!»! Не я ли должен был бы упрекать тебя, а ведь я тебя не упрекал и не упрекаю! — Тут К. снова показалось, что надо отвлечь Фриду, и он попросил ее принести ему поесть, потому что он с обеда ничего не ел. Фрида, явно обрадованная просьбой, кивнула и побежала за чем-то, но не по коридору, где, как показалось К., была кухня, а в сторону, вниз, по двум ступенькам. Вскоре она принесла тарелку с нарезанной колбасой и бутылку вина, это были явно остатки чьего-то ужина: чтобы скрыть это, куски были наспех заново разложены по тарелке, но шкурки от колбасы остались неубранными, а бутылка была на три четверти опорожнена. Но К. ничего не сказал и с аппетитом принялся за еду.

— Ты ходила на кухню? — спросил он.

— Нет, в мою комнату, — ответила она, — у меня тут, внизу, комната.

— Ты бы взяла меня с собой, — сказал К. — Давай я туда спущусь, присяду поесть.

— Я тебе принесу стул, — сказала Фрида и пошла было прочь.

— Спасибо, — сказал К., удерживая ее, — вниз я не пойду, и стул мне тоже не нужен.

Фрида нехотя подчинилась, когда он ее удержал, и, низко склонив голову, кусала губы.

— Ну да, он внизу, — сказала она, — а ты чего ждал? Он лежит в моей постели, его на улице прохватило, он простудился, почти ничего не ел. В сущности, ты во всем виноват: если бы ты не прогнал помощников и не побежал к тем людям, мы бы теперь мирно сидели в школе. Неужели ты думаешь, что Иеремия посмел бы увести меня, пока он был у тебя на службе? Значит, ты совершенно не понимаешь здешних порядков. Он тянулся ко мне, он мучился, он меня подстерегал, но ведь это была только игра, так играет голодный пес, но на стол прыгнуть не смеет. И со мной было то же. Меня к нему влекло, он же мой друг детства, мы вместе играли на склоне Замковой горы, чудесное было время, ты ведь никогда не спрашивал меня о моем прошлом. Но все это ничего не значило, пока Иеремия был связан службой, а я знала свои обязанности как будущая твоя жена. А потом ты выгнал помощников, да еще гордился этим, словно сделал что-то для меня; что ж, в каком-то отношении это верно. С Артуром ты чего-то добился, но только на время, он такой деликатный, нет в нем страсти, не знающей преград, как в Иеремии, к тому же ты чуть не

убил его ударом кулака в ту ночь, но удар этот пришелся и по нашему с тобой счастьем, почти сокрушил его! Артур убежал в Замок жаловаться, и, хотя он скоро вернется, сейчас его тут нет. Но Иеремия остался. На службе он боится, если хозяин хоть бровью поведет, а вне службы он ничего не страшится. Он пришел и увел меня; ты меня бросил, а он, мой старый друг, мной распорядился, и я не могла сопротивляться. Я не отпирала двери школы, а он разбил окно и вытащил меня. Мы убежали сюда, хозяин его уважает, да и гостям ничего лучшего желать не надо, как заполучить такого коридорного, нас с ним и приняли, он не со мной живет, просто у нас комната общая.

— И все-таки, — сказал К., — я не жалею, что прогнал помощников. Если ваши взаимоотношения и впрямь были такими, как ты их описываешь, и твоя верность определялась только служебной зависимостью помощников, то слава Богу, что все это кончилось. Не очень-то счастливым был бы брак в присутствии двух хищников, которые только под хлыстом и смирились. Тогда я должен благодарить и ту семью, которая ненароком помогла нас разлучить. — Они замолчали и снова зашагали вместе взад и вперед, и трудно было разобраться, кто первым сделал шаг, Фрида шла близко к К. и явно была недовольна, что он не берет ее под руку. — Значит, все как будто в порядке, — продолжал К., — и мы, пожалуй, могли бы распрощаться, ты пошла бы к своему господину Иеремии, он, видно, простыл еще в тот раз, как я его гнал через школьный сад, а теперь ты его и так слишком надолго оставила в одиночестве, а я могу отправиться один в школу или, так как мне там без тебя делать нечего, еще куда-нибудь, где меня примут. И если я, несмотря на все, еще колеблюсь, то исключительно оттого, что я, не без оснований, все еще немного сомневаюсь в том, что ты мне тут наговорила. На меня Иеремия произвел совсем другое впечатление. Пока он у меня служил, он от тебя не отставал, и не думаю, чтобы служба могла надолго удержать его от приставаний к тебе. Но теперь, когда он считает службу оконченной, все обернулось по-другому. Прости, если я себе представляю дело так: с тех пор как ты перестала быть невестой его хозяина, ты уже не так соблазнительна для него, как раньше. Возможно, что вы с ним и друзья детства, но для него — хотя я знаю его только по короткому разговору сегодня вечером, — для него все эти нежные чувства мало чего стоят. Не понимаю, почему тебе кажется, что у него страстная

натура. Наоборот, мне он показался особенно хладнокровным. Очевидно, он получил от Галатера какое-то, может быть, не особенно лестное для меня, поручение и старается выполнить его усердно и ревностно, это я должен признать, да, тут такое усердие встречается нередко, причем ему, видно, было поручено и разлучить нас с тобой; как видно, он пытался этого добиться разными способами, и один из них — соблазнить тебя своими похотливыми ужимками, другой — тут его поддерживала хозяйка трактира — наговаривать тебе про мою измену, и его попытки удались; может быть, тут помогло и то, что с ним связано какое-то напоминание о Кламме; правда, свою должность он потерял, но именно в тот момент, когда она, возможно, уже ему была не нужна, теперь он пожинает плоды своих стараний и вытаскивает тебя из окна школы, но на этом его деятельность и кончается; лишенный служебного рвения, он устает, ему бы хотелось быть на месте Артура — ведь тот вовсе не жаловаться пошел, а добиваться себе похвал и новых поручений, однако кому-то надо остаться тут и проследить за дальнейшим ходом событий. Его только немного угнетает необходимость заботиться о тебе. Любви к тебе тут и следа нет, в этом он мне откровенно сознался. Как возлюбленная Кламма ты ему, разумеется, внушаешь почтение, и ему, конечно, очень приятно угнездиться в твоей комнате и хоть ненадолго почувствовать себя таким маленьким Кламмом, но это — все, а ты сама для него уже ничего не значишь, и то, что он тебя тут пристроил, — это лишь дополнение к главному заданию; а чтобы ты не беспокоилась, он и сам тут остался, но только временно, пока не придут новые указания из Замка.

— Как ты клеветешь на него! — сказала Фрида и стукнула своим маленьким кулачком по кулачку.

— Клеветцу? — сказал К. — Нет, я вовсе не хочу клеветать на него. Да, может быть, я к нему несправедлив, это, конечно, возможно. И все, что я о нем сказал, тоже, конечно, не так уж ясно с первого взгляда, и толковать это можно по-всякому. Но клеветать? Клеветать можно было бы только с одной целью — бороться с твоей любовью к нему. Если бы это было нужно и если бы клевета оказалась подходящим средством, я бы ничуть не поколебался оклеветать его, и никто меня не осудил бы за это, потому что благодаря его хозяевам у него столько преимуществ передо мной, что я, полностью предоставленный самому себе, имел бы право возвести на него какой-нибудь по-

клеп. Это было бы сравнительно невинным и в конечном итоге бес-  
сильным средством защиты. Так что убери свои кулачки! — И К. взял  
руку Фриды в свою руку. Фрида хотела было отнять ее, но улыбнулась  
и особых усилий не приложила. — Нет, клеветать мне не придется, —  
сказал К., — потому что ты его вовсе не любишь, только что-то вообра-  
жаешь и будешь мне благодарна, если я тебя освобожу от такого за-  
блуждения. Ты пойми: если кому-нибудь надо было разлучить тебя со  
мной, и не силой, а планомерно и расчетливо, то он непременно дол-  
жен был сделать это через моих помощников. Они такие с виду доб-  
рые, ребячливые, веселые, безответственные, да еще с ними связаны  
воспоминания детства, все это так мило, особенно когда я — полная  
им противоположность — вечно бегаю по делам, которые тебе не  
очень понятны и тебя раздражают, да еще сводят меня с людьми, те-  
бе ненавистными, и при всей моей невинности что-то от этой не-  
нависти переходит и на меня. И в результате получается, что доволь-  
но хитро и зло использованы изъяны в наших с тобой отношениях.  
Все взаимоотношения имеют свои недостатки, а наши в особеннос-  
ти, мы ведь с тобой пришли каждый из своего, совсем непохожего  
мира, и, с тех пор как познакомились, жизнь каждого из нас пошла  
совсем другим путем, мы еще чувствуем себя неуверенно, слишком  
все это ново. Я не о себе говорю — это неважно, в основном с тех пор,  
как ты остановила на мне свой взгляд, ты все время одаряешь меня,  
а привыкнуть принимать дары не так уж трудно. Тебя оторвали от  
Кламма — от всего другого я отвлекаюсь, — мне трудно оценить, что  
это для тебя значит, но какое-то представление я все же постепенно  
себе составил. Ты спотыкаешься на каждом шагу, не находишь себе  
места, и хотя я всегда готов поддержать тебя, но ведь не всегда я ока-  
зываюсь под рукой, и, даже когда я тут, тебя держат в плену твои фан-  
тазии, а иногда и кто-то живой, например, хозяйка трактира; короче  
говоря, бывали минуты, когда ты смотрела не на меня, а куда-то в  
сторону, тянулась, бедное дитя, к чему-то неясному, неопределенно-  
му, и стоило только в такие минуты поставить подходящих людей  
там, куда был направлен твой взгляд, и ты им покорялась, поддава-  
лась наваждению, будто эти мимолетные мгновенья, призраки, ста-  
рые воспоминания — словом, вся безвозвратно ушедшая и все более  
уходящая вдаль прошлая жизнь еще является твоей настоящей, тепе-  
решней жизнью. Нет, Фрида, это ошибка, это последняя и, если су-  
дить правильно, ничтожная помеха перед окончательным нашим со-

единением. Вернись ко мне, возьми себя в руки, если ты даже думала, что помощников послал Кламм — хотя это неправда, их направил Галатер, — и если даже они пытались тебя околдовать таким обманом настолько, что тебе даже и в их грязи, в их гадостях мерещится Кламм, как иногда человеку кажется, что он видит в навозной куче потерянный бриллиант, в то время как он его никогда не мог бы найти, даже если бы камень там был, — но ведь они простые парни, вроде слуг на конюшне, только вот у них здоровья нет, от свежего воздуха сразу заболевают, валяются в постель, а уж подходящую постель они себе находят немедленно, — лакейские хитрости!

Фрида положила голову на плечо К., и, обнявшись, они снова молчаливо зашагали взад и вперед.

— Вот если бы мы, — сказала Фрида медленно, почти умиротворенно, словно зная, что ей ненадолго уделена эта минута покоя на плече у К., но она хочет насладиться этой минутой сполна, — вот если бы мы с тобой сразу, в ту же ночь, уехали, мы бы могли жить где-нибудь в безопасности и рука твоя была бы всегда тут, взять ее можно было бы всегда. Как мне нужна твоя близость, как, с тех пор, что я тебя знаю, мне одиноко без твоей близости; да, твоя близость — единственное, о чем я мечтаю, поверь мне, единственное.

Вдруг в боковом коридорчике послышался голос, это был Иеремия, он стоял на нижней ступеньке в одной рубашке, закутавшись в платок Фриды. Растрепанный, с мокрой, будто от дождя, бороденкой, вытаращив с мольбой и упреком глаза, с покрасневшими щеками, рыхлыми, как расползающееся мясо, с голыми ногами, дрожавшими так, что тряслась бахрома платка, он был похож на больного, удравшего из больницы, и тут уж ни о чем нельзя было думать, только бы поскорее уложить его снова в постель. Фрида так это и восприняла, высвободилась из рук К. и тут же очутилась внизу, около Иеремии. От ее близости, от заботливости, с какой она крепче закутала его в платок, от того, как она торопливо пыталась заставить его вернуться в комнату, у него сразу прибавилось сил; казалось, что он только сейчас узнал К.

— Ага, господин землемер! — сказал он и умиротворяюще погладил по щеке Фриду, которая явно не хотела допустить никаких разговоров. — Извините, если помешал. Но я очень нездоров, так что мне простительно. Кажется, у меня жар, меня надо напоить чаем, чтобы я пропотел. Проклятая решетка у школьного сада, никог-

да ее не забуду, а потом, уже простуженным, я еще ночью набегался. Жертвуешь своим здоровьем, сам не замечая, да еще ради самых нестоящих дел. Но вы, господин землемер, не стесняйтесь меня, пойдемте к нам в комнату, посидите около больного и скажите Фриде все, чего еще сказать не успели. Когда двое привыкших друг к другу людей расходятся, им в последние минуты столько надо сказать друг другу, что третий, особенно если он лежит в постели и ждет обещанного чая, даже и понять ничего не может. Заходите, я буду лежать тихо.

— Хватит, хватит, — сказала Фрида и потянула его за руку. — Он в жару, сам не понимает, что говорит. Но ты, К., не ходи за нами, очень тебя прошу. Это комната моя и Иеремии, вернее, только моя, и я тебе запрещаю входить туда с нами. Ты меня преследуешь, ах, К., зачем ты меня преследуешь? Никогда, никогда я к тебе не вернусь, я вся дрожу, как только подумаю, что это возможно. Иди к своим девицам, они сидят около тебя в одних рубашках, мне все рассказали, а когда за тобой приходят, они шипят. Видно, ты у них как дома, раз тебя туда так тянет. А я тебя всегда удерживала от них, хоть и безуспешно, но все же удерживала, теперь все кончено, ты свободен. Чудная жизнь тебя там ждет; может быть, из-за одной из них тебе и придется немного побороться со слугами, но что касается второй, то ни на земле, ни на небе не найдется никого, кто станет ее отбивать. Ваш союз благословлен заранее. Не отрицай ничего, я знаю, ты можешь все опровергнуть, но в конце концов ничего не будет опровергнуто. Ты подумай, Иеремия, он все опровергает! — Они понимающе кивнули и улыбнулись друг другу. — Однако, — продолжала Фрида, — даже если все было бы опровергнуто, чего бы ты этим достиг, мне-то что за дело? Что у них там происходит, это их и его дело, но не мое. Мое дело — ухаживать за тобой, пока ты не поправишься; станешь здоровым, таким, каким ты был, пока К. из-за меня не взялся тебя мучить.

— Значит, вы и вправду с нами не пойдете, господин землемер? — спросил Иеремия, но тут Фрида, уже не оборачиваясь на К., окончательно увела его прочь. Внизу виднелась маленькая дверца, еще более низкая, чем двери в коридоре, — не только Иеремии, но и Фриде пришлось нагнуться при входе, — внутри, как видно, было тепло и светло; послышался шепот, наверно, Иеремию ласково уговаривали лечь в постель, потом дверь захлопнулась.

*Глава двадцать третья*

Только сейчас К. заметил, как тихо стало в коридоре, и не только в той части, где он был с Фридой, — эта часть, очевидно, относилась к хозяйственным помещениям, — но и в том длинном коридоре, где помещались комнаты, в которых раньше так шумели. Значит, господа наконец-то заснули. И К. тоже очень устал, и возможно, что он от усталости не боролся с Иеремией так, как следовало. Может, было бы умнее взять пример с Иеремии, явно преувеличившего свою простуду — а вид у него был жалкий вовсе не от простуды, он отроду такой, и никакими целебными настойками его не изменишь, — да, надо бы взять пример с Иеремии, выставить напоказ свою действительно ужасающую усталость, улечься тут же в коридоре, что и само по себе было бы приятно, немножко вздремнуть, глядишь, тогда за тобой немножко и поухаживали бы. Только вряд ли у него все это вышло бы так удачно, как у Иеремии, тот, наверно, победил бы в борьбе за сочувствие, да и в любой другой борьбе тоже. К. устал так, что подумал: уж не попробовать ли ему забраться в одну из комнат — наверняка многие из них пустуют — и там выспаться как следует на хорошей постели. Это было бы воздаянием за многое, подумал он. Да и питье на ночь было у него под рукой. На подносе с посудой, который Фрида оставила на полу, стоял небольшой графинчик с ромом. Не опасаясь, что возвращаться отсюда будет трудно, К. выпил графинчик до дна.

Теперь он, по крайней мере, чувствовал себя в силах предстать перед Эрлангером. Он стал искать дверь в комнату Эрлангера, но так как ни слуг, ни Герстекера нигде не было, а двери походили одна на другую, то найти нужную дверь не удалось. Но ему казалось, что он запомнил, в каком месте коридора была та дверь, и решил открыть одну из комнат, которая, по его мнению, могла оказаться именно той, какую он искал. Ни малейшей опасности в этой попытке не было; если Эрлангер окажется в комнате, то он его примет, а если комната не та, можно будет извиниться и уйти, а если хозяин спит, что было самым вероятным, то он и не заметит прихода К.; хуже всего будет, только если комната окажется пустой, потому что тогда К. едва ли удержится от искушения лечь в постель и спать без просыпу. Он посмотрел направо и налево по коридору, не идет ли кто, у кого можно получить сведения, чтобы зря не рисковать, но в длинном коридоре



ре было пусто и тихо. К. приложил ухо к двери: в комнате никого не было. Он постучал так тихо, что спящего стук не разбудил бы, а когда никакого ответа не последовало, он очень осторожно отворил дверь. И тут его встретил легкий вскрик.

Комната была маленькая, и больше чем половину ее занимала огромная кровать, на ночном столике горела электрическая лампа, рядом лежал дорожный саквояж, в кровати, укрывшись с головой, кто-то беспокойно зашевелился, и из-под одеяла и простыни послышался шепот: «Кто тут?» Теперь К. уже не мог так просто уйти, с недовольством поглядел он на пышную, но, к сожалению, не пустую постель, вспомнил вопрос и назвал свое имя. Это подействовало благоприятно, и человек в кровати немножко отодвинул одеяло с лица, готовый в испуге снова спрятаться под одеяло, если окажется что-то не так. Но тут же, не раздумывая, он совсем откинул одеяло и сел. Конечно, это был не Эрлангер. В кровати сидел маленький благообразный господинчик, лицо которого было как бы противоречивым, потому что щечки у него были по-детски округлые, глаза по-детски веселые, но зато высокий лоб, острый нос, и узкий рот с едва заметными губами, и почти срезанный подбородок выглядели совсем не детскими и говорили о напряженной работе мысли. Очевидно, довольство самим собой придавало ему налет какой-то ребячливости.

— Вы знаете Фридриха? — спросил он, но К. ответил отрицательно. — А вот он вас знает, — сказал господин, усмехнувшись. К. кивнул: людей, которые его знали, было предостаточно, это являлось даже главной помехой на его пути. — Я его секретарь, — сказал господин. — Моя фамилия Бюргель.

— Извините, пожалуйста, — сказал К. и взялся за ручку двери, — к сожалению, я спутал вашу дверь с другой. Видите ли, меня вызывал секретарь Эрлангера.

— Как жаль, — сказал Бюргель, — не то жаль, что вас вызвали к другому, а жалко, что вы двери перепутали. Дело в том, что мне никак не заснуть, если меня разбудят, впрочем, пусть это вас не очень огорчает, это мое личное горе. А знаете, почему тут двери не запираются? Тому есть свои причины. Потому что, согласно старой поговорке, двери секретарей всегда должны быть открыты. Но буквально это понимать вовсе не следует, не правда ли? — И Бюргель вопросительно посмотрел на К. и весело улыбнулся: несмотря на жалобы, он, как видно, уже отлично отдохнул; а до такой степени, как сейчас устал

К., этот Бюргель, наверно, не уставал никогда. — Куда же вы теперь хотите идти? — спросил Бюргель. — Уже четыре часа, вам придется будить каждого, к кому вы зайдете, но не каждый, как я, привык к помехам, не каждый так мирно к этому отнесется, секретари — народ нервный. Посидите тут немножко, часам к пяти все уже начинают вставать, тогда вам будет удобнее пойти к тому, кто вас вызвал. Так что, прошу вас, выпустите наконец дверную ручку и сядьте куда-нибудь, правда, тут тесновато, вам лучше всего сесть на край кровати. Вы удивляетесь, что у меня ни стола, ни стульев нет? Видите ли, передо мной стоял выбор — то ли взять комнату с полной обстановкой, но узенькой гостиничной кроватью, то ли эту — с большой кроватью и одним только умывальником. Я выбрал большую кровать, ведь в спальне кровать — самое главное! Эх, какая великолепная штука эта кровать для человека, который может вытянуться как следует и заснуть, для того, у кого сон крепкий. Но даже мне, хотя я всегда чувствую усталость, а спать не могу, даже мне тут приятно, я почти весь день провожу в кровати, тут и корреспонденцию веду, тут и посетителей выслушиваю. И это очень удобно. Правда, посетителям сесть некуда, но они на это не обижаются, для них же лучше, если они стоят, а протоколист устроился поудобнее, чем если они удобно рассядутся, а на них будут шипеть. Потом, я еще могу кого-нибудь усадить на край постели, но это место не для служебных дел, тут только ночные переговоры ведутся, что же вы так притихли, господин землемер?

— Я очень устал, — сказал К., который сразу после приглашения сесть бесцеремонно плюхнулся на кровать и прислонился к спинке.

— Понятно, — сказал Бюргель с усмешкой, — тут все устали. Например, взять меня, я и вчера, и сегодня провел немалую работу. При этом совершенно исключено, что я сейчас усну. Но если уж случится такая невероятная вещь, то попрошу вас, сидите тихо и не открывайте дверей. Но не бойтесь, я, наверно, не усну, в лучшем случае задремлю на минуту. Хотя я настолько привык к приему посетителей, что легче всего засыпаю, когда тут у меня сидят.

— Спице, пожалуйста, господин секретарь! — сказал К., обрадованный этим заявлением. — И если разрешите, я тоже немного вздремну.

— Нет-нет, — засмеялся Бюргель, — к сожалению, я не могу уснуть просто по вашему приглашению, только по ходу разговора мо-

жет вдруг представиться такая возможность, меня легче всего усыпляет разговор. Да, в нашем деле нервы здорово страдают. Я, например, секретарь связи. Вы, наверно, не знаете, что это такое? Так вот, я являюсь самой прочной связью, — тут он невольно потер руки от удовольствия, — между Фридрихом и Деревней, я осуществляю связь между его секретарями в Замке и в Деревне, нахожусь по большей части в Деревне, но не постоянно, каждую минуту я должен быть наготове, чтобы вернуться в Замок. Вот видите, вон мой дорожный сакво-ж, жизнь у меня беспокойная, не каждому выдержать. С другой стороны, верно и то, что я без этой работы жить бы не смог, всякая другая работа мне показалась бы мелкой. А как с вашими землемерными работами?

— Я ими не занимаюсь, тут меня как землемера не используют, — сказал К., но сейчас его мысли были далеко от дел, он жаждал только одного — чтобы Бюргель заснул, но и этого ему хотелось только из какого-то чувства долга перед самим собой, в душе он сознавал, что момент, когда Бюргель уснет, неизмеримо далеко.

— Странно, — сказал Бюргель, живо вскинув голову, и вытащил из-под одеяла записную книжку для каких-то отметок. — Вы землемер, а землемерных работ не производите. — К. машинально кивнул: он вытянул вдоль спинки кровати левую руку и оперся на нее головой, он все время искал, как бы сесть поудобнее, и это положение оказалось удобнее всего, и теперь он мог внимательно прислушаться к словам Бюргеля. — Я готов, — продолжал Бюргель, — разобраться в этом деле. У нас, безусловно, не такие порядки, чтобы специалиста не использовать по назначению. Да и для вас это должно быть обидно. Разве вы от этого не страдаете?

— Да, страдаю, — сказал К. медленно, улыбаясь про себя, потому что именно сейчас не страдал ни капельки. Да и предложение Бюргеля никакого впечатления на него не произвело. Все это было сплошное дилетантство. Ничего не зная о тех обстоятельствах, при которых вызвали сюда К., о трудностях, встреченных им в Деревне и в Замке, о запутанности его дел, которая за время пребывания К. уже дала или дает о себе знать, — ничего не ведая обо всем этом, более того, даже не делая вида, что он, как, во всяком случае, полагалось бы секретарю, имеет хотя бы отдаленное представление об этом деле, он предлагает так, походя, при помощи какого-то блокнотика уладить недо-разумение там, наверху.

— Видно, у вас уже было немало разочарований, — сказал Бюргель, доказав этими словами, что он все же разбирался в людях, и вообще К. с той минуты, как вошел в эту комнату, все время старался себя уговорить, что недооценивать Бюргеля не стоит, но он находился в том состоянии, когда трудно правильно судить о чем бы то ни было, кроме собственной усталости. — Нет, — продолжал Бюргель, словно отвечая на какие-то мысли К. и желая предусмотрительно избавить его от необходимости говорить. — Пусть вас не отпугивают разочарования. Иногда сдается, что тут специально все так устроено, чтобы отпугивать людей, а кто сюда приезжает впервые, тому эти препятствия кажутся совершенно непреодолимыми. Не стану разбираться, как обстоит дело по существу, может быть, так оно и есть, я слишком близко ко всему стою, чтобы составить определенное мнение, но заметьте, иногда подворачиваются такие обстоятельства, которые никак не связаны с общим положением дел. В этих обстоятельствах одним взглядом, одним словом, одним знаком доверия можно достигнуть гораздо большего, чем многолетними, изводящими человека стараниями. Это, безусловно, так. Правда, в одном эти случайности соответствуют общему положению дел — в том, что ими никогда не пользуются. Но почему же ими не пользуются? — всегда спрашиваю я себя. — Этого К. не знал; хотя он заметил, что слова Бюргеля непосредственно касаются его самого, но у него возникло какое-то отвращение ко всему, что его непосредственно касалось, и он немного повернул голову вбок, как бы пропуская мимо ушей вопросы Бюргеля, чтобы они его не затрагивали. — Постоянно, — продолжал Бюргель и, потянувшись, широко зевнул, что странно противоречило серьезности его слов, — секретари постоянно жалуются, что их заставляют по ночам допрашивать деревенских жителей. Но почему они на это жалуются? Потому ли, что это их очень утомляет? Потому ли, что ночью они предпочитают спать? Нет, на это они никак не жалуются. Конечно, среди секретарей есть и более усердные, и менее усердные, как и везде, но на слишком большую нагрузку никто из них, во всяком случае, открыто не жалуется. Просто это не в наших привычках. В этом отношении мы не делаем разницы между обычным и рабочим временем. Такое различие нам чуждо. Так почему же тогда секретари возражают против ночных допросов? Может быть, из желания шадить посетителей? Нет-нет, посетителей секретари совершенно не шадят, так же как и самих себя, тут они пощады

не знают. Но в сущности эта беспощадность есть не что иное, как железный порядок при исполнении служебных обязанностей, а чего же больше могут для себя желать посетители? В основном, хоть и незаметно для поверхностного наблюдения — это признают все без исключения, — сами посетители как раз и приветствуют ночные допросы, никаких существенных возражений против ночных допросов не поступает. Но почему же тогда секретари так ими недовольны? — К. и этого не знал, он вообще знал очень мало, он даже не мог разобрать, всерьез ли Бюргель задает вопросы или только для проформы. «Пустил бы ты меня поспать на твоей кровати, — думал К., — я бы завтра днем или лучше к вечеру ответил тебе на все вопросы». Но Бюргель как будто не обращал на него никакого внимания, уж очень его занимало то, о чем он сам себя спрашивал: — Насколько я понимаю и насколько я сам испытал, секретари в основном возражают против ночных допросов по следующим соображениям: ночь потому менее подходит для приема посетителей, что ночью трудно или даже совсем невозможно полностью сохранить служебный характер процедуры. И зависит это не от внешних формальностей, их можно при желании соблюдать со всей строгостью ночью так же, как и днем. Так что суть дела не в этом, страдает тут именно служебный подход к делу. Невольно склоняешься судить ночью обо всем с более личной точки зрения, слова посетителя приобретают больше веса, чем положено, к служебным суждениям примешиваются совершенно излишние соображения насчет жизненных обстоятельств людей, их бед и страданий; необходимая граница в отношениях между чиновниками и допрашиваемыми стирается, как бы безупречно она внешне ни соблюдалась, и там, где, как полагается, надо было бы ограничиться, с одной стороны, вопросами, с другой — ответами, иногда, как ни странно, возникает совершенно неуместный обмен ролями, так, по крайней мере, утверждают секретари, которые по своей профессии одарены особенно тонким чутьем на такие вещи. Но даже и они — об этом много говорилось в нашей среде — мало замечают эти незначительные отклонения во время ночных допросов; напротив, они заранее напрягают все силы, чтобы противостоять подобным влияниям, сопротивляться им, и считают, что им в конце концов удастся достигнуть особенно ценных результатов. Однако когда потом читаешь их протоколы, то удивляешься явным промахам, которые видны невооруженным глазом. И это такие ошибки, обычно ничем не оправдан-

ные ошибки в пользу допрашиваемых, которые, по крайней мере, по нашим предписаниям, уже нельзя сразу исправить обычным путем. Разумеется, когда-нибудь эти ошибки наверняка будут исправлены контрольной службой, но это пойдет только в счет исправления правовых нарушений и человеку уже повредить не сможет. Разве при всех этих обстоятельствах жалобы секретарей не обоснованны? — К. уже давно находился в каком-то полусне, но вопрос его снова разбудил. «К чему все это? К чему все это?» — спросил он себя и посмотрел на Бюргеля из-под полузакрытых век не как на чиновника, обсуждающего с ним сложные вопросы, а только как на что-то мешающее ему спать, что-то такое, в чем он никакого другого смысла увидеть не мог. Но Бюргель, всецело поглощенный своими мыслями, усмехался, как будто ему удалось совсем сбить К. с толку. Однако он был готов снова вывести его на верную дорогу. — Все же, — сказал он, — считать эти жалобы совершенно законными тоже нельзя. Конечно, ночные допросы нигде прямо не предписаны, так что если стараются их избегать, то никаких инструкций не нарушают, но все обстоятельства: перегрузка работой, характер занятий чиновников в Замке, затруднения с выездом, порядок, в соответствии с которым допрос назначается лишь после тщательного расследования, но уж тогда без промедления, — все это, да и многое другое сделало ночные допросы неизбежной необходимостью. Но коль скоро они стали необходимостью, то должен вам сказать: это, хотя и косвенно, означает, что они вытекают из предписаний, и жаловаться на ночные допросы значило бы — тут я несколько преувеличиваю, я и осмеливаюсь это высказать именно как преувеличение, — это значило бы, в сущности, жаловаться на предписания.

Следует, однако, признать, что секретари, действуя в рамках предписаний, стараются оградить себя от ночных допросов и связанных с ними, хотя, возможно, и кажущихся, неудобств. Насколько возможно, они прибегают к этому в широких масштабах. Они берутся только за те дела, которые представляют наименьшую опасность, тщательно проверяют себя перед встречей, если результат проверки этого требует, то отказывают просителю в приеме, иногда даже в самую последнюю минуту, иногда вызывают просителя раз десять, прежде чем заняться его делом, охотно посылают взамен себя своих коллег, которые совсем не разбираются в данном вопросе и потому могут решить его с необычайной легкостью, или же назначают при-

ем хотя бы на начало ночи или на ее конец, сохраняя для себя середину, — словом, таких мероприятий существует множество, их не так легко поймать, этих секретарей, и насколько они обидчивы, настолько же умеют постоять за себя.

К. спал, однако сон был ненастоящий, он слышал слова Бюргеля, быть может, даже лучше, чем бодрствуя и мучась. Слова, одно за другим, били ему в уши, но исчезло тягостное ощущение, он чувствовал себя свободным, и не Бюргель держал его, а он сам минутами ошупью тянулся к Бюргелю, он еще не потонул в самой глубине сна, но уже погружался в нее. Никому теперь не вырвать его оттуда. И у него появилось ощущение, будто победа уже одержана, и вот собралась компания отпраздновать ее, и не то он сам, не то кто-то другой поднял бокал шампанского за его победу. И для того, чтобы все знали, о чем идет речь, и борьба, и победа повторились вновь, а может быть, и не повторились, а только сейчас происходят, а победу стали праздновать заранее и продолжают праздновать, потому что исход, к счастью, уже предрешен. Одного из секретарей, обнаженного и очень схожего со статуей греческого бога, К. потеснил в борьбе. Это было ужасно смешно, и К. усмехался во сне над тем, как секретарь при выпадах К. терял свою гордую позу и спешил опустить вскинутую верху руку и сжатый кулак, чтобы прикрыть свою наготу, но все время запаздывал. Борьба продолжалась недолго; шаг за шагом — а шаги были широкие — К. продвигался вперед. Да и была ли тут борьба? Никаких серьезных препятствий преодолевать не приходилось, только изредка взвизгивал секретарь. Да, греческий бог визжал, как девица, которую щекочут. И наконец он исчез. К. остался один в огромной комнате, он храбро оглядывался по сторонам, готовый к бою, ища противника, но никого не было, компания тоже разбежалась, и только бокал от шампанского лежал разбитый на полу. К. растоптал его.

Осколки, однако, кололись, он, вздрогнув, проснулся, его мучило, как младенца, которого внезапно разбудили. Но тут же, при взгляде на обнаженную грудь Бюргеля, к нему из сна выплыла мысль: «Да вот он, твой греческий бог! Вытащи его из-под перины!»

— Бывает, однако... — сказал Бюргель, задумчиво подняв взгляд к потолку, словно ища в памяти какие-то примеры и никак не находя их. — Бывает, однако, что, несмотря на все предосторожности, посетители находят возможность выгодно для себя использовать все эти

слабости секретарей в ночное время, конечно, если считать, что такие слабости действительно существуют. Правда, подобные возможности представляются чрезвычайно редко, вернее, почти никогда. А состоит такая возможность в том, что посетитель является среди ночи без предупреждения. Может быть, вы удивляетесь, что эта, казалось бы, явная возможность используется редко. Впрочем, ведь вы с нашими обстоятельствами совсем незнакомы. Но и вам должна была броситься в глаза непрерывность нашей служебной процедуры. А из этой непрерывности вытекает то, что каждый, кто имеет какое-то дело или должен быть допрошен по каким-либо причинам сразу, без промедления, часто даже до того, как он сам поймет, в чем состоит это дело, более того — даже прежде, чем он узнает о наличии дела, уже получает вызов. На первый раз его и не спрашивают, обычно его дело еще недостаточно созрело, но вызов ему уже вручен, значит, прийти без вызова он уже не может, в крайнем случае он может явиться в неуказанное время, что ж, тогда его внимание обратят на дату и час вызова, а когда он придет в назначенное время, его, как правило, отсылают, это не встречает никаких затруднений: вызов на руках у посетителя, и отметка в делах о явке уже служит для секретарей хотя и не всегда полноценным, но все же сильным орудием защиты. Понятно, это касается только секретаря, компетентного в этом деле. Но каждый волен зайти ночью враспloh к любому другому секретарю. Только вряд ли кто-нибудь на это пойдет, смысла нет. Прежде всего, это обозлит компетентного секретаря, правда, мы, секретари, никакой зависти друг к другу в работе не испытываем, ведь каждый несет слишком большую, поистине неограниченную нагрузку, но по отношению к просителям мы не должны терпеть никаких нарушений компетентности. Многие уже проигрывали дела из-за того, что, не видя для себя возможности попасть к компетентному человеку, пытались проскользнуть к некомпетентному. Но эти попытки непременно проваливаются еще потому, что некомпетентный секретарь, сколько к нему ни врывайся ночью, даже при самом большом желании не может помочь именно оттого, что он к делу отношения не имеет, и вмешаться он может не больше, чем первый встречный адвокат, пожалуй, даже меньше, потому что у него просто не хватает времени, и, даже если бы он мог что-то сделать, зная тайные лазейки правосудия лучше всех господ адвокатов, у него нет времени для тех дел, в которых он некомпетентен, он ни минуты потратить на них не



может. Кто же станет зря расходовать свое ночное время, чтобы пробиваться к некомпетентным секретарям? Да и сами посетители полностью заняты, так как, кроме своих обычных обязанностей, им приходится следовать всем приглашениям и вызовам ответственных инстанций, правда, они «полностью заняты» только как посетители, что, разумеется, никак не соответствует «полной занятости» самих секретарей.

К. с улыбкой кивал, ему казалось, что теперь он все понял не потому, что это касалось его, а из уверенности в том, что в следующую минуту он совсем заснет, на этот раз без снов и без помех: между компетентными секретарями, с одной стороны, и некомпетентными — с другой, и перед толпой полностью занятых просителей он сейчас прогрузится в глубокий сон и там избавится от них всех. А к негромкому, самодовольному, тщетно пытающемуся убаюкать самого себя голосу Бюргеля он так привык, что этот голос скорее вгонял его в сон, чем мешал. «Мели, мельница, мели, — думал он, — мне на пользу и мелешь».

— Но где же тогда, — сказал Бюргель, барабанив двумя пальцами по нижней губе, широко раскрыв глаза и вытянув шею, словно приближаясь после изнурительного пути к прелестному пейзажу, — где же тогда та, вышеупомянутая, редкая, почти никогда не представляющаяся возможность? Вся тайна кроется в предписаниях о компетентности. Ведь дело обстоит вовсе не так, да и не может так обстоять в большой жизнеспособной организации, что по данному вопросу компетентен только один определенный секретарь. Установлено, что кто-нибудь один осуществляет главную компетентность, а многие другие компетентны в деталях, пусть даже в меньшей степени. Да и кто бы мог один, будь он усерднейшим работником, собрать у себя на письменном столе весь материал, даже по самому малейшему делу? Да и то, что я сказал о главной компетентности, слишком сильно сказано. Разве в самой малой компетентности не таится вся компетентность? Разве тут не становится решающим то рвение, с каким человек берется за дело? И разве это рвение не всегда одинаково, не всегда проявляется в полную силу? Секретари во всем могут отличаться друг от друга, таких отличий множество, но в служебном рвении различия меж ними нет, ни на кого из них удержку не будет, если вдруг ему предложат заняться делом, в котором он хотя бы минимально разбирается. Разумеется, внешне должен существовать опре-

деленный порядок ведения дела, и благодаря этому для населения на первый план выступает определенный секретарь, с которым они поддерживают служебные отношения. Но это не обязательно тот секретарь, который лучше других разбирается в деле, тут все решает организация и ее насущные потребности в данную минуту. Вот каково положение вещей. Теперь взвесьте, господин землемер, возможность, когда посетитель благодаря каким-то обстоятельствам, несмотря на уже описанные вам и, в общем, вполне серьезные препятствия, все же застаёт врасплох среди ночи какого-нибудь секретаря, имеющего некоторое отношение к данному делу. О такой возможности вы, должно быть, и не подумали? Охотно вам верю. Да и не стоит о ней думать, поскольку она почти никогда не представляется. И каким крошечным и ловким зернышком должен быть такой проситель, чтобы проскользнуть через такое безукоризненное сито? Думаете, так случиться не может? Вы правы, да, так случиться не может. Но когда-нибудь — кто может заранее поручиться? — когда-нибудь ночью все же это произойдет. Разумеется, среди своих знакомых я не знаю никого, с кем бы нечто подобное приключилось, правда, это еще ничего не доказывает, мои знакомства по сравнению с числом проходящих тут людей ограничены, а кроме того, совершенно нет уверенности, что тот секретарь, с кем произошел такой случай, сознается в этом, ведь все это чрезвычайно личное дело, в какой-то мере серьезно затрагивающее профессиональную этику. И все же я, вероятно, по опыту знаю, что речь идет о чрезвычайно редком случае, известном только понаслышке и ничем не доказанном, так что бояться такого случая — значит сильно преувеличивать. Даже если бы такой случай произошел, можно было бы его, поверьте мне, совершенно обезвредить, доказав — и это очень легко, — что таких случаев на свете не бывает. И вообще, это болезненное явление — прятаться от страха перед таким происшествием под одеяло и не сметь даже выглянуть. Даже если эта полнейшая невероятность вдруг обрела бы реальность, так неужели тогда все потеряно? Напротив! Потерять все — это еще более невероятно, чем самая большая невероятность. Правда, если проситель уже забрался в комнату, дело скверно. Тут сердце сжимается. Долго ли ты еще сможешь сопротивляться? — спрашиваешь себя. Но сопротивления никакого не выйдет, это ты знаешь точно. Только представьте себе это положение правильно. Тот, кого ты ни разу не видал, но постоянно ждал, ждал с настоящей жадностью,

гот, кого ты совершенно разумно считал несуществующим, он, этот проситель, сидит перед тобой. И уже своим немым присутствием он призывает тебя проникнуть в его жалкую жизнь, похозяйничать там, как в своих владениях, и страдать вместе с ним от его тщетных призываний. И призыв этот в ночной тиши неотразим. Следуешь ему — и, в сущности, тут же перестаешь быть официальным лицом. А при таком положении становится невозможным долго отказывать в любой просьбе. Точно говоря, ты в отчаянии, но еще точнее — ты крайне счастлив. Ты в отчаянии от своей незащитности — сидишь, ожидаешь просьбы посетителя и знаешь, что, услышав ее, ты будешь вынужден ее исполнить, даже если она, насколько ты сам можешь о ней судить, форменным образом разрушает весь административный порядок, а это самое скверное, что может встретиться человеку на практике. И прежде всего потому — не считая всего остального, — что получается переходящее всякие границы превышение власти, которую ты самовольно берешь на себя в такой момент. По нашему положению, мы вовсе не уполномочены удовлетворять такого рода просьбы, но от близости этого ночного посетителя как-то растут наши служебные возможности, и тут мы начинаем брать на себя полномочия, которые нам не даны, более того, используем их. Словно разбойник в лесу, этот ночной проситель вымогает у нас жертвы, на которые мы в обычной обстановке были бы не способны; ну ладно, все это так в тот момент, когда проситель еще тут, когда он принуждает, поощряет, подбадривает тебя, все идет своим чередом, почти помимо твоей воли, а вот как оно будет потом, когда проситель, убогоблаженный и успокоенный, оставит тебя и ты окажешься в одиночестве, незащитный перед только что совершенным тобой служебным преступлением, — нет, это и представить себе невыносимо! И все же ты счастлив. Каким же самоубийством может быть счастье! Конечно, легко заставляя себя скрыть от просителя истинное положение вещей. Сам по себе он ведь почти ничего не замечает. По его мнению, он, усталый, разочарованный и от этой усталости, этого разочарования невнимательный и безразличный ко всему, случайно проник не в ту комнату, куда хотел, и теперь сидит, ничего не понимая и не думая, если он в состоянии думать, о своей ошибке или о том, как он устал. Можно ли бросить его в таком состоянии? Нет, нельзя. Со всей словоохотливостью счастливого человека надо ему все растолковать. Надо, не щадя себя ничуть, подробно объяснить ему все, что произош-

ло и по какой причине это произошло, надо объяснить, какие это были невероятно редкие, какие единственные в своем роде обстоятельства, надо показать, как проситель, с той беспомощностью, какой нет ни у одного живого существа, кроме просителя, попал в эти обстоятельства и как, господин землемер, он теперь может, если захочет, стать хозяином положения, а для этого ему ничего делать не надо, только каким-нибудь образом высказать свою просьбу, исполнение которой уже подготовлено, более того, все уже идет просителю навстречу; ему надо объяснить это, и для чиновника это трудный час. Но когда и это сделано, господин землемер, то сделано самое необходимое, и остается только смириться и ждать.

Но К. уже спал, отключившись от всего окружающего. Его голова сначала опиралась на левую руку, лежавшую на спинке кровати, потом соскользнула вовсе и свесилась вниз, опоры одной руки уже не хватало, но он невольно нашел себе другую опору, опершись правой рукой на одеяло, причем случайно схватился за выступающую из-под одеяла ногу Бюргеля. Бюргель только взглянул, но, несмотря на неудобство, ноги не отнял.

Вдруг в соседнюю стенку громко постучали несколько раз. К. вздрогнул и посмотрел на стену. «Нет ли здесь землемера?» — раздался вопрос. «Да», — сказал Бюргель, выдернув свою ногу из-под К., и вдруг потянулся, живо и задорно, как маленький мальчик. «Так пусть наконец идет сюда!» — крикнули за стеной. На Бюргеля и на то, что К. мог еще быть нужным ему, никакого внимания не обратили.

— Это Эрлангер, — сказал Бюргель шепотом; то, что Эрлангер оказался в соседней комнате, его как будто совсем не удивило. — Идите к нему сейчас же, он уже сердится, постарайтесь его умаслить. Сон у него крепкий, но мы все же слишком громко разговаривали: никак не совладаешь с собой, со своим голосом, когда говоришь о некоторых вещах. Ну идите же, вы как будто никак не можете проснуться. Идите же, чего вам тут еще надо? Нет, не оправдывайтесь тем, что вам хочется спать, к чему это? Сил человеческих хватает до известного предела; кто виноват, что именно этот предел играет решающую роль? Нет, тут никто не виноват. Так жизнь сама себя поправляет по ходу действия, так сохраняется равновесие и это отличное, просто трудно себе представить, насколько отличное, устройство, хотя, с другой стороны, крайне неутешительное. Ну идите же, не понимаю, почему вы так на меня уставились? Если вы будете мед-

лить, Эрлангер на меня напустится, а я бы очень хотел избежать этого. Идите же, кто знает, что вас там ждет, тут все возможно. Правда, бывают возможности в каком-то отношении слишком широкие, их даже использовать трудно, есть такие дела, которые рушатся сами по себе, а не от чего-то другого. Да, все это весьма удивительно. Впрочем, я еще надеюсь немного поспать. Правда, уже пять часов, скоро начнется шум. Хоть бы вы ушли поскорее!

К. был так оглушен внезапным пробуждением из глубокого сна, ему так мучительно хотелось еще поспать и все тело так болело от неудобного положения, что он никак не мог решиться встать и, держась за голову, тупо смотрел на свои колени. Даже то, что Бюргель несколько раз попрощался с ним, не могло его заставить уйти, и только сознание полнейшей бессмысленности пребывания в этой комнате медленно вынудило его встать. Неописуемо жалкой показалась ему эта комната. Стала ли она такой или всегда была, он определить не мог. Тут ему никогда не заснуть как следует. И эта мысль оказалась решающей: улыбнувшись про себя, он поднялся, и, опираясь на все, что попадалось под руку — на кровать, стену, дверь, — он вышел, даже не кивнув Бюргелю, словно давно уже попрощался с ним.

#### *Глава двадцать четвертая*

Возможно, что он с таким же равнодушием прошел бы и мимо комнаты Эрлангера, если бы Эрлангер, стоя в открытых дверях, не поманил бы его к себе. Поманил коротко, одним движением указательного пальца. Эрлангер уже совсем собрался уходить, на нем была черная шуба с тесным, наглухо застегнутым воротником. Слуга, держа наготове шапку, как раз подавал ему перчатки.

— Вам давно следовало бы явиться, — сказал Эрлангер. К. хотел было извиниться, но Эрлангер, устало прикрыв глаза, показал, что это лишнее. — Дело в следующем, — сказал он. — В буфете еще недавно прислуживала некая Фрида, я знаю ее только по имени, с ней лично не знаком, да она меня и не интересуется. Эта самая Фрида иногда подавала пиво Кламму. Теперь там как будто прислуживает другая девушка. Разумеется, эта замена, вероятно, никакого значения ни для кого не имеет, а уж для Кламма и подавно. Но чем ответственнее

работа — а у Кламма работа, конечно, наиболее ответственная, — тем меньше сил остается для сопротивления внешним обстоятельствам, вследствие чего самое незначительное нарушение самых незначительных привычек может серьезно помешать делу: малейшая перестановка на письменном столе, устранение какого-нибудь давнишнего пятна, — все это может очень помешать, и тем более новая служанка. Разумеется, все это способно стать помехой для кого-нибудь другого, но только не для Кламма, об этом и речи быть не может. Однако мы обязаны настолько охранять покой Кламма, что даже те помехи, которые для него таковыми не являются — да и вообще для него, вероятно, никаких помех не существует, — мы должны устранять, если только нам покажется, что они могли бы помешать. Не ради него, не ради его работы устраняем мы эти помехи, но исключительно ради нас самих, ради очистки нашей совести, ради нашего покоя. А потому эта самая Фрида должна немедленно вернуться в буфет, хотя вполне возможно, что как раз возвращение и создаст помехи, что ж, тогда мы ее опять отошлем, но пока что она должна вернуться. Вы, как мне сказали, живете с ней, так что немедленно обеспечьте ее возвращение. Само собой разумеется, что из-за ваших личных чувств тут никаких поблажек быть не может, а потому я не стану вдаваться ни в какие дальнейшие рассуждения. Я уж и так сделаю для вас больше чем надо, если скажу, что при случае для вашей карьеры в дальнейшем будет весьма полезно, если вы оправдаете доверие в этом небольшом дельце. Это все, что я имел вам сообщить. — Он кивнул на прощание, надел поданную слугой меховую шапку и пошел в сопровождении слуги по коридору быстрым шагом, но слегка прихрамывая.

Иногда распоряжения здешних властей легко выполнить, но сейчас эта легкость не радовала К. И не только оттого, что распоряжение, касавшееся Фриды, походило на приказ и вместе с тем звучало издевкой над К., а главным образом оттого, что К. увидел в нем полную бесполезность всех своих стараний. Помимо него делались распоряжения и благоприятные, и неблагоприятные, и даже в самых благоприятных таилась неблагоприятная сердцевина, во всяком случае, все шло мимо него, и сам он находился на слишком низкой ступени, чтобы вмешаться в дело, заставить других замолкнуть, а себя услышать. Что делать, если Эрлангер от тебя отмахивается, а если бы и не отмахнулся — что ты ему скажешь? Правда, К. сознавал, что его

усталость повредила ему сегодня больше, чем все неблагоприятные обстоятельства, но тогда почему же он, который так верил, что может положиться на свою физическую силу, а без этой убежденности вообще не пустился бы в путь, — почему же он не мог перенести несколько скверных ночей и одну бессонную, почему он так неодолимо уставал именно здесь, где никто или, вернее, где все непрестанно чувствовали усталость, которая не только не мешала работе, а, наоборот, способствовала ей? Значит, напрашивался вывод, что их усталость была совсем иного рода, чем усталость К. Очевидно, тут усталость приходила после радостной работы, и то, что внешне казалось усталостью, было, в сущности, нерушимым покоем, нерушимым миром. Когда к середине дня немножко устаешь, это неизбежно, естественное следствие утра. «Видно, у здешних господ всегда полдень», — сказал себе К.

И это вполне совпадало с тем, что сейчас, в пять утра, везде, по обе стороны коридора, началось большое оживление. Шумные голоса в комнатах звучали как-то особенно радостно. То они походили на восторженные крики ребят, собирающихся на загородную прогулку, то на пробуждение в птичнике, на радость слияния с наступающим утром. Кто-то из господ даже закукарекал, подражая петуху. И хотя в коридоре еще было пусто, но двери уже ожили: то одна, то другая приоткрывалась и сразу захлопывалась, весь коридор жужжал от этих открываний и захлопываний. К. то и дело видел, как в щелку над достающей до потолка стенкой высовывались по-утреннему растрепанные головы и сразу исчезали. Издалека показался служитель, он вез маленькую тележку, нагруженную документами. Второй служитель шел рядом со списком в руках и, очевидно, сравнивал номер комнаты с номером в этом списке. У большинства дверей тележка останавливалась, дверь обычно открывалась, и соответствующие документы передавались в комнату — иногда это был только один листочек, и тогда начиналось препирательство между комнатой и коридором: должно быть, упрекали слугу. Если же дверь оставалась закрытой, то документы аккуратной стопкой складывались на полу. Но К. показалось, что при этом открывание и закрывание других дверей не только не прекращалось, но еще более усиливалось, даже там, куда все документы уже были поданы. Может быть, оттуда с жадностью смотрели на лежащие у дверей и непонятно почему еще не взятые документы, не понимая, отчего человек, которому стоит только от-

крыть дверь и взять свои бумаги, этого не делает, возможно даже, что, если документы остаются невзятыми, их потом распределяют между другими господами и те, непрестанно выглядывая из своих дверей, просто хотят убедиться, лежат ли бумаги все еще на полу и есть ли надежда заполучить их для себя. При этом оставленные на полу документы обычно представляли собой особенно толстые связки, и К. подумал, что их оставляли у дверей на время из некоторого хвастовства или злорадства, а может быть, и из вполне оправданной, законной гордости, чтобы подзадорить своих коллег. Это его предположение подтверждалось тем, что вдруг именно в ту минуту, когда он отвлекался, какой-нибудь мешок, уже достаточно долго стоявший на виду, вдруг торопливо втаскивали в комнату и дверь в нее плотно закрывалась, причем и соседние двери как бы успокаивались, словно разочарованные или удовлетворенные тем, что наконец устранен предмет, вызывавший непрестанный интерес, хотя потом двери снова приходили в движение.

К. смотрел на все это не только с любопытством, но и с сочувствием. Ему даже стало как-то уютно среди всей этой суеты, он оглядывался по сторонам и шел — правда, на почтительном расстоянии — за служителями, и, хоть те все чаще оборачивались и, поджав губы, исподлобья строго посматривали на него, он все же следил за распределением документов. А дело шло чем дальше, тем запутаннее: то списки не совсем совпадали, то служитель не мог сразу разобраться в документах, то господа чиновники возражали по какому-нибудь поводу; во всяком случае, некоторые документы иногда приходилось перераспределять снова, тогда тележка возвращалась обратно и через щелку в двери начинались переговоры о возвращении документов. Эти переговоры сами по себе создавали большие затруднения, но часто бывало и так, что когда речь заходила о возвращении, то именно те двери, которыми перед тем оживленно хлопали, теперь оставались закрытыми намертво, словно там и знать ни о чем не желали. Тут-то и начинались самые главные трудности. Тот, кто претендовал на документы, выражал крайнее нетерпение, подымал страшный шум в своей комнате, хлопал в ладоши и топал ногами, выкрикивая через дверную щель в коридор номер требуемого документа. Тележка при этом оставалась без присмотра. Один служитель был занят тем, что успокаивал нетерпеливого чиновника, другой помогался у закрытой двери возвращения документов. Обоим приходилось нелегко. Нетер-



целивый становился еще нетерпеливее от успокоительных увещеваний, он просто не мог слышать болтовню служителя, ему не нужны были утешения, ему нужны были документы; один из таких господ вылил в дверную щель на служителя целый таз воды, но другому служителю, более высокого ранга, было еще труднее. Если чиновник вообще снисходил до разговора с ним, то происходил деловой обмен мнениями, при котором служитель ссылался на свой список, а чиновник — на свои заметки, причем те документы, которые подлежали возврату, он пока что держал в руке, так что служитель вождедеющим взором едва ли мог разглядеть хотя бы уголочек. Кроме того, служителю приходилось либо бегать за новыми доказательствами к тележке, которая все время откатывалась своим ходом по наклонному полу коридора, либо обращаться к чиновнику, претендовавшему на документы, докладывать ему о возражениях теперешнего их обладателя и выслушивать в ответ его контрвозражения. Такие переговоры тянулись долго, иногда заканчивались соглашением, чиновник отдавал какую-то часть документов или получал в качестве компенсаций другие бумаги, когда оказывалось, что их обменяли случайно; но бывало и так, что кому-нибудь приходилось отказываться от полученных документов вообще, то ли из-за того, что доводы служителя загоняли человека в тупик, то ли оттого, что он уставал от бесконечных препирательств, но и тогда он не просто отдавал служителю документы, а внезапно с силой швырял их в коридор, так что шнурки лопались, листки разлетались и служители с трудом приводили их в порядок. Но эти случаи были сравнительно проще, чем те, когда служитель на свою просьбу отдать документы вообще не получал никакого ответа; тогда он, стоя перед запертой дверью, просил, заклинал, читал вслух свои списки, ссылался на предписания, но все понапрасну, из комнаты не доносилось ни звука, а войти без спросу служитель, очевидно, не имел права. Но иногда даже такой примерный служитель выходил из себя, он возвращался к своей тележке, садился на напки с документами, вытирал пот со лба и какое-то время ничего не делал, только беспомощно болтал ногами. Тут все вокруг начинали проявлять большой интерес, везде слышалось перешептывание, ни одна дверь не оставалась в покое, а сверху над перегородками то и дело выскакивали странные, обмотанные платками физиономии и беспокойно следили за происходящим. К. обратил внимание, что среди всех этих волнений дверь Бюргеля осталась закрытой и что, хотя слу-

жители уже прошли этот конец коридора, Бюргелю никаких документов выдано не было. Может быть, он еще спал при таком шуме, значит, сон у него вполне здоровый, но почему же он не получил никаких документов? Только немногие комнаты, и притом явно необитаемые, были пропущены. В комнате Эрлангера уже находился новый и весьма беспокойный жилец; должно быть, он форменным образом выжил оттуда Эрлангера еще с ночи, и хотя это никак не соответствовало выдержанному и уверенному поведению Эрлангера, но то, что он должен был поджидать К. на пороге комнаты, явно подтверждало такое предположение.

От всех этих сторонних наблюдений К. постепенно возвращался к наблюдению за служителем. К этому служителю никак не относилось то, что К. слышал о служителях вообще, о том, что они бездельники, ведут легкую жизнь, высокомерны; очевидно, бывали среди них исключения, или, что вероятнее, они принадлежали к разным категориям, и, как заметил К., тут было немало разграничений, с которыми ему до сих пор не приходилось сталкиваться. Особенно ему понравилась неуступчивость этого служителя. В борьбе с этими маленькими упрямыми комнатами — а для К. это была борьба именно с комнатами, так как обитателей он почти не видел, — этот служитель нипочем не сдавался. Правда, он уставал — а кто не устал бы? — но, быстро отдохнув, соскакивал с тележки и снова, выпрямившись, стиснув зубы, наступал на упрямые двери. Случалось, что его наступление отбивали и дважды, и трижды, причем весьма простым способом — одним только дьявольским молчанием, — но он и тут не сдавался. И так как он видел, что открытой атакой ему ничего не добиться, он пробовал действовать по-другому: если К. правильно понял, прибежал к хитрости. Для виду он оставлял дверь в покое, давая ей возможность, так сказать, отмолчаться до конца, направлялся к другим дверям, через некоторое время снова возвращался, подчеркнуто громко звал второго служителя и начинал наваливать у порога запертой двери груды документов, словно изменил свое намерение и не намеревался более лишать данного чиновника документов, а, напротив, готов снабдить его новыми. Потом он проходил дальше, не спуская, однако, глаз с той двери, и, когда вскоре чиновник, по обыкновению, осторожно открывал дверь, чтобы забрать бумаги, служитель подлетал туда и, сунув ногу в дверную щель, заставлял чиновника вступать с ним в переговоры лицом к лицу, что обычно вело к более

или менее удовлетворительному соглашению. А если этот прием не удавался или казался ему неправильным по отношению к какой-нибудь двери, то он пробовал действовать иначе. Например, он переключал внимание на чиновника, домогавшегося документов. При этом он отодвигал в сторону второго служителя, довольно бесполезного помощника, работавшего чисто автоматически, и сам начинал уговаривать чиновника таинственным шепотом, глубоко просунув голову в его комнату, наверно, он давал ему какие-то обещания и уверял, что при следующем распределении тот, другой, чиновник будет соответственно наказан, во всяком случае он часто показывал на дверь соперника и даже смеялся, насколько позволяла ему усталость. Но бывали — раз или два — и такие случаи, когда служитель отказывался от всяких попыток бороться, хотя К. полагал, что это только притворство, имевшее, по-видимому, свои основания, служитель спокойно проходил дальше, не оборачиваясь, терпеливо сносил шум, поднятый обиженным чиновником, и только его манера время от времени надолго прикрывать глаза показывала, как он страдает от шума. Постепенно обиженный чиновник успокаивался, и как заливи́стый детский плач постепенно переходит в редкие всхлипывания, так и его выкрики становились реже, но, даже когда наступала тишина, вдруг снова раздавался одинокий вскрик, неожиданно коротко хлопала дверь. Во всяком случае, все показывало, что и тут служитель поступал совершенно правильно. В конце концов остался только один чиновник, который никак не желал успокоиться, он умолкал, но только чтобы перевести дух, а потом снова начинал орать пуще прежнего. И было не совсем понятно, чего он так кричит и жалуется, может быть — вовсе не из-за распределения документов. За это время служители уже окончили свою работу, и на тележке по недосмотру помощника остался один-единственный документ, в сущности, просто бумажка, листок из блокнота, и теперь они не знали, кому же его выдать. «Вполне возможно, что это мой документ», — мелькнуло в мыслях у К. Ведь староста Деревни все время говорил, что дело у К. ничтожнейшее. И хотя К. сам понимал всю смехотворность и необоснованность своего предположения, он попытался как бы невзначай подойти к служителю, который задумчиво просматривал бумажку; это было не так-то просто, потому что служитель никак не отвечал взаимностью на приязнь К. и даже в самом разгаре своей трудной работы всегда находил время в сердцах или с нетерпением обраща-

ваться на К., нервно дергая головой. И только сейчас, после окончания раздачи документов, он как будто немного забыл о К., да и вообще стал как-то равнодушнее, что было понятно при таком сильном утомлении, и с этой бумажкой он тоже долго возиться не стал, может быть, он ее и не прочел, только сделал вид, и хотя тут, в коридоре, он, вероятно, каждому обитателю комнаты доставил бы удовольствие, вручив ему эту бумажку, он решил по-другому: видно, ему надоело раздавать документы, и, приложив палец к губам, он сделал знак своему помощнику — молчи! — и, не успев К. к нему подойти, разорвал бумажку на мелкие клочки и сунул их в карман. Пожалуй, это было первое нарушение, которое К. заметил в служебных делах, хотя, возможно, он и это понял неправильно.

Даже если имелось нарушение, оно казалось вполне простительным: при порядках, царивших тут, служитель не мог работать безукоризненно, и все накопившееся раздражение, нервная усталость должны были однажды проявиться, и если это выразилось только в уничтожении маленькой бумажки, то было еще вполне невинной выходкой. Ведь в коридоре все еще раздавался визгливый крик господина, который никак не мог успокоиться, а его коллеги, до сих пор не проявлявшие особой солидарности, теперь единодушно поддерживали эти выкрики; постепенно стало казаться, будто этот господин взял на себя задачу шуметь за всех, а остальные подбодряли его возгласами и кивками, чтобы он не умолкал. Но служитель уже никакого внимания на них не обращал, свою работу он закончил, глазами показал второму служителю, чтобы тот взялся за поручни тележки, и оба ушли, как и пришли, только веселее и быстрее, так что тележка даже подпрыгивала перед ними. Только раз они вздрогнули и оглянулись, когда непрерывно вопящий господин, у дверей которого толкался К. — ему очень хотелось понять, чего тот, в сущности, хочет, — вдруг, не добившись ничего криком, очевидно, нащупал кнопку электрического звонка и в восторге от такой подмоги перестал кричать и начал непрерывно звонить. Тут и в остальных комнатах все загалдели, явно выражая одобрение, очевидно, этот господин сделал что-то такое, что все давно хотели сделать, но воздерживались по неизвестной причине. Быть может, этот господин вызывал прислугу, может быть, даже Фриду? Ну тут ему придется долго дозваниваться. Сейчас Фрида была занята тем, что делала Иеремию компрессы, а если он выздоровел, то времени у нее все равно не было, потому что она ле-

жала в его объятиях. Но звонок сразу возымел свое действие. Издали по коридору уже бежал сам хозяин гостиницы, как всегда, в черном, наглухо застегнутом костюме, но казалось, он забыл все свое достоинство, так быстро он бежал, раскинув руки, словно случилась большая беда и он бежит схватить ее и задушить у себя на груди, и, как только звонок на миг умолкал, хозяин высоко подскакивал и начинал бежать еще быстрее. За ним вдаль появилась и его жена, она тоже бежала, раскинув руки, но небольшими, жеманными шажками, и К. подумал, что она опоздает и хозяин сам успеет сделать все, что надо. Чтобы пропустить хозяина, К. прижался к стене. Но хозяин остановился именно перед ним, будто и прибежал сюда из-за него, тут же подошла и хозяйка, и оба стали осыпать его упреками, причем он от неожиданности и удивления ничего не мог разобрать, тем более что их непрестанно перебивал звонок того господина, а тут еще начали звонить и другие звонки, уже не по необходимости, а просто из баловства, от избытка веселья. И так как для К. было очень важно как следует понять, в чем же его вина, он не стал сопротивляться, когда хозяин взял его под руку и ушел с ним подальше от все возрастающего шума: теперь за ними — К. даже не обернулся — все двери распахнулись настезь, коридор оживился, началось движение, как в бойком тесном переулочке, все двери впереди явно ждали в нетерпении, пока пройдет К., чтобы сразу выпустить из комнат их обитателей, а надо всем, как бы праздную победу, заливались звонки, нажатые изо всех сил. И только выйдя на тихий заснеженный двор, где ждало несколько саней, К. наконец стал разбираться, в чем дело. Ни хозяин, ни хозяйка не могли понять, как это К. осмелился на такой поступок. «Да что же я такого сделал?» — непрестанно спрашивал К., но никак не мог получить ответа — им обоим его вина казалась настолько очевидной, что они никак не могли поверить в его искренность. И только постепенно К. все понял. Оказывается, он не имел права находиться в коридоре, в лучшем случае, из особой милости, впрямь до запрета, ему разрешалось быть в буфете. Конечно, если его вызвал кто-то из господ чиновников, он должен был явиться в назначенное место, но при этом постоянно сознавать — неужели ему не хватало здравого смысла? — что он находится там, где ему быть не положено, куда его в высшей степени неохотно, и то лишь по необходимости, по служебной обязанности, вызвал один из господ чиновников. Поэтому он должен был немедленно явиться, подвергнуться допросу и по-

том как можно скорее исчезнуть, да неужели же он там, в коридоре, не чувствовал всей непристойности своего поведения? Но если чувствовал, то как он мог разгуливать там, как скотина на выпасе? Разве он не был вызван для ночного допроса и разве он не знает, зачем учреждены эти ночные вызовы? Цель ночных вызовов — и тут К. услышал новое объяснение их смысла — в том, чтобы как можно быстрее выслушать просителей, чей вид днем господам чиновникам невыносим, выслушать их ночью при искусственном свете, пользуясь возможностью после допроса забыть во сне эту гадость. Но К. своим поведением преступил все правила предосторожности. Даже привидения утром исчезают, однако К. остался там, руки в карманах, будто выжидая, что если не исчезнет он, то исчезнет весь коридор со всеми комнатами и господами. И так бы оно наверняка и случилось — он может в этом не сомневаться, — если бы такая возможность существовала, потому что эти господа обладают беспредельной деликатностью. Никто из них никогда не прогнал бы К., никогда бы не сказал — хотя это можно было понять, — чтобы К. наконец ушел. Никто бы так не поступил, хотя присутствие К., наверно, бросало их в дрожь и все утро — любимое их время — было для них отравлено. Но вместо того, чтобы действовать против К., они предпочитали страдать, причем тут, разумеется, играла роль и надежда, что К. наконец увидит то, что бьет прямо в глаза, и постепенно, глядя на страдания этих господ, тоже начнет невыносимо страдать оттого, что так ужасающе неуместно, на виду у всех, стоит тут, в коридоре, да еще среди бела дня. Напрасные надежды. Эти господа не знают или не хотят знать по своей любезности и снисходительности, что есть бесчувственные, жестокие, никаким уважением не смягчаемые сердца. Ведь даже ночной мотылек, бедное насекомое, ищет при наступлении дня тихий уголок, расплывается там, больше всего желая исчезнуть и страдая оттого, что это недостижимо. А К., напротив, встал там, у всех на виду, и, если бы он мог помешать наступлению дня, он, конечно, так бы и сделал. Но помешать он никак не может, зато замедлить дневную жизнь, затруднить ее он, к сожалению, в силах. Разве он не стал свидетелем раздачи документов? Свидетелем того, что никому, кроме участников, видеть не разрешается. Того, на что никогда не смели смотреть ни хозяин, ни хозяйка в собственном доме. Того, о чем они только слышали намеками, как, например, сегодня, от слуг. Разве он не заметил, с какими трудностями происходило распределение доку-

ментов, что само по себе совершенно непонятно, так как каждый из этих господ верно служит делу, никогда не думая о личной выгоде, и потому изо всех сил должен содействовать тому, чтобы распределение документов — эта важнейшая, основная работа — происходило быстро, легко и безошибочно? И неужели К. даже отдаленно не смог себе представить, что главной причиной всех затруднений было то, что распределение пришлось проводить почти при закрытых дверях, а это лишало господ непосредственного общения, при котором они смогли бы сразу договориться друг с другом, тогда как посредничество служителей затягивало дело на долгие часы, вызывало много жалоб, вконец измучило господ и служителей и, вероятно, еще сильно повредит дальнейшей работе. А почему господа не могли общаться друг с другом? Да неужели К. до сих пор этого не понимает? Ничего похожего — и хозяин подтвердил, что его жена того же мнения, — ничего похожего ни он, ни она до сих пор не встречали, а ведь им приходилось иметь дело со многими весьма упрямыми людьми. Теперь приходится откровенно говорить К. то, чего они никогда не осмеливались произносить вслух, иначе он не поймет самого существенного. Так вот, раз уж надо ему все высказать: только из-за него, исключительно из-за него, господа не могли выйти из своих комнат, так как они по утрам, сразу после сна, слишком стеснительны, слишком ранимы, чтобы попадаться на глаза посторонним, они чувствуют себя форменным образом, даже в полной одежде, слишком раздетыми, чтобы показаться чужому. Трудно сказать, чего они так стыдятся, может быть, они, эти неутомимые труженики, стыдятся только того, что спали? Но быть может, еще больше, чем самим показываться людям, они стыдятся видеть чужих людей; они не желают, чтобы просители, чьего невыносимого вида они счастливо избежали путем ночного допроса, вдруг теперь, с самого утра, явились перед ними неожиданно в непосредственной близости, в натуральную величину. Это им трудно перенести. И каким же должен быть человек, в котором нет к этому уважения? Именно таким человеком, как К. Человеком, который ставит себя выше всего, не только выше закона, но и выше самого обыкновенного человеческого внимания к другим, да еще с таким тупым равнодушием и бесчувственностью; ему безразлично, что из-за него распределение документов почти что срывается и репутация гостиницы страдает, и, чего еще никогда не случалось, он доводит этих господ до такого отчаяния, что они начинают от него

обороняться и, переломив себя с невыносимым для обыкновенного человека усилием, хватаются за звонок, призывая на помощь, чтобы изгнать К., не поддающегося никаким увещаниям! Они, господа, и вдруг зовут на помощь! Хозяин и хозяйка вместе со своей прислугой давно прибежали бы сюда, если бы только посмели спозаранку без зова появиться перед господами, хотя бы только для того, чтобы им помочь и тотчас же исчезнуть. Дрожа от негодования из-за К., в отчаянии от своего бессилия, они стояли в конце коридора, и звонок, которого они никак не ожидали, был для них сущим избавлением. Ну, теперь самое страшное позади! О, если бы им было разрешено хоть на миг взглянуть, как радостно засуетились эти господа, наконец-то избавившись от К.! Но, разумеется, для К. не все еще миновало! Ему, несомненно, придется отвечать за то, что он натворил.

Между тем они пришли в буфет; было не совсем понятно, почему хозяин, несмотря на весь свой гнев, привел К. сюда; очевидно, он все же сообразил, что при такой усталости К. все равно не может покинуть его дом. Не дожидаясь приглашения сесть, К. буквально свалился на одну из пивных бочек. Тут, в полумраке, ему стало легче. В большом помещении над кранами пивных бочек горела лишь одна слабая электрическая лампочка. И на дворе стояла глубокая тьма, там как будто мела метель; хорошо оказаться тут, в тепле, надо было только постараться, чтобы не выгнали. Хозяин с хозяйкой по-прежнему стояли перед К., словно в нем все еще таилась какая-то опасность и при такой полной его неблагонадежности никак нельзя было исключить, что он может вдруг вскочить и попытаться снова проникнуть в тот коридор. Оба они устали от ночного переполоха и раннего вставания, особенно хозяйка — на ней было шелковистое шуршащее коричневое платье, застегнутое и подпоясанное не совсем аккуратно, — она, словно надломленный стебель, прикинула головой к плечу мужа и, поднося к глазам тонкий платочек, бросала на К. по-детски сердитые взгляды. Чтобы успокоить супругов, К. проговорил, что все сказанное для него совершенная новость, но что он, несмотря на свое поведение, все же никогда не застрял бы надолго в том коридоре, где ему действительно делать было нечего, и что он, конечно же, никого мучить не хотел, а все произошло только из-за его чрезвычайной усталости. Он поблагодарил их за то, что они положили конец этому неприятному положению, но если его привлекут к ответственности, он будет этому очень рад, потому что только так ему удастся помешать



кривотолкам насчет его поведения. Только усталость, только она одна тому виной. А усталость происходит оттого, что он еще не привык к допросам. Ведь он тут совсем недавно. Когда у него накопится некоторый опыт, ничего подобного больше не произойдет. Может быть, он эти допросы принимает слишком всерьез, но ведь это само по себе не изъян. Ему пришлось выдержать два допроса, один за другим: сначала у Бюргеля, потом у Эрлангера, и особенно его измучила первая встреча, вторая, правда, продолжалась недолго, Эрлангер только попросил его об одном одолжении, но все это вместе было больше, чем он мог вынести за один раз, может быть, такая нагрузка для другого человека, скажем, для самого хозяина, тоже была бы слишком тяжелой. После второй встречи он, по правде говоря, уже еле держался на ногах. Он был в каком-то тумане, ведь ему впервые пришлось встретиться с этими господами, впервые услышать их, а ведь надо было как-то отвечать им. Насколько ему известно, все сошло прекрасно, а потом случилась эта беда, но вряд ли после всего предыдущего ему можно поставить ее в вину. К сожалению, только Эрлангеру пришлось сразу после их свидания уехать, очевидно, он отправился в Замок, Бюргель, тоже утомленный разговором — а тогда как же могло хватить сил у К. вынести это? — уснул и даже проспал распределение документов. И если бы у К. была такая возможность, он с радостью воспользовался бы ею и охотно пренебрег случаем посмотреть на то, что запрещено видеть, тем более что он вообще был не в состоянии хоть что-нибудь разглядеть, а потому самые щепетильные господа могли, не стесняясь, показаться ему на глаза.

Упоминание о двух допросах, особенно о встрече с Эрлангером, и уважение, с которым К. говорил об этих господах, расположили хозяина в его пользу. Он как будто уже склонялся на просьбу К. — положить доску на пивные бочки и разрешить ему поспать тут хоть до рассвета, — но хозяйка была явно против; непрестанно без надобности оправляя платье, только сейчас сообразив, что у нее что-то не в порядке, она вновь и вновь качала головой, и старый спор о чистоте в доме вот-вот готов был разразиться. Для К., при его усталости, разговор супругов имел огромное значение. Быть сейчас выгнанным отсюда казалось ему такой бедой, с которой все пережитое до сих пор не шло в сравнение. Этого нельзя было допустить, даже если бы и хозяин, и хозяйка вдруг заодно пошли против него. Скорчившись на бочке, он выжидающе смотрел на них, как вдруг хозяйка, с той не-

возможной обидчивостью, которую уже подметил в ней К., отступила в сторону и, хотя она уже говорила с хозяином о чем-то другом, крикнула:

— Но как он на меня смотрит! Выгони его, наконец!

Но К., воспользовавшись случаем и уже уверенный, что он тут останется, сказал:

— Да я не на тебя смотрю, а на твоё платье.

— Почему на мое платье? — взволнованно спросила хозяйка. К. только пожал плечами. — Пойдем — сказала хозяйка хозяину. — Он же пьян, этот оболтус! Пусть проспится! — И она тут же приказала Пеппи, которая вынырнула на зов из темноты, растрепанная, усталая, вольно за собой метлу, чтобы та бросила К. какую-нибудь подушку.

### *Глава двадцать пятая*

Проснувшись, К. сначала подумал, что он почти и не спал; в комнате было по-прежнему тепло, но пусто, у стен сгустилась темнота, единственная лампочка потухла, и за окном тоже стояла ночь. Он потянулся, подушка упала, а его ложе и бочки затрещали; в зал сразу вошла Пеппи, и тут он узнал, что уже вечер и проспал он более двенадцати часов. Несколько раз о нем справлялась хозяйка, да и Герстекер, который утром, во время разговора К. с хозяйкой, сидел тут, в темноте, за пивом и не осмелился помешать К., тоже заходил сюда — посмотреть, что с К., и, наконец, как будто заходила и Фрида, минутку постояла над К., а, скорее, из-за того, что ей надо было тут кое-что приготовить — она же должна была вечером снова заступить на свою прежнюю службу. «Видно, она тебя больше не любит?» — спросила Пеппи, подавая ему кофе с печеньем. Но спросила она об этом не зло, как прежде, а, скорее, грустно, словно с тех пор узнала злобность мира, перед которой собственная злоба пасует, становится бессмысленной; как с товарищем по несчастью говорила она с К., и, когда он попробовал кофе и ей показалось, что ему недостаточно сладко, она побежала и принесла полную сахарницу. Правда, грустное настроение не помешало ей приукраситься больше прежнего: бантиков и ленточек, вплетенных в косы, было предостаточно, на лбу и на висках волосы были тщательно завиты, а на шее висела цепочка, спускавшаяся

ся в низкий вырез блузки. Но когда К., довольный, что наконец удалось выпасться и выпить хорошего кофе, тайком потянул за бантик, пробуя его развязать, Пепи устало сказала: «Не надо», — и присела рядом с ним на бочку. И К. даже не пришлось расспрашивать ее, что у нее за беда, она сама стала ему рассказывать, уставившись на кофейник, как будто даже во время рассказа ей надо отвлечься и она не может, даже говоря о своих бедах, всецело отдаться мысли о них, так как на это сил у нее не хватит. Прежде всего К. узнал, что в несчастьях Пепи виноват он, хотя она за это на него не в обиде. И она решительно помотала головой, как бы отводя всякие возражения К. Сначала он увел Фриду из буфета, и Пепи смогла получить повышение. Невозможно было придумать что-нибудь другое, из-за чего Фрида бросила бы свое место, она же сидела в буфете, как паучиха в паутине, во все стороны от нее тянулись нити, про которые только ей и было известно; убрать ее отсюда против воли было бы невозможно, и только любовь к низшему существу, то есть то, что никак не соответствовало ее положению, могла согнать ее с места. А Пепи? Разве она когда-нибудь собиралась заполучить это место для себя? Она была горничной, занимала незначительное место, не сулившее ничего особенного, но, как всякая девушка, мечтала о лучшем будущем, мечтать никому не запретишь, но всерьез она о повышении не думала, она была довольна достигнутым. И вдруг Фрида внезапно исчезла, так внезапно, что у хозяина под рукой не оказалось подходящей замены, он стал искать, и его взгляд остановился на Пепи; правда, она сама в соответствующую минуту постаралась попасться ему на глаза. В то время она любила К., как никогда еще никого не любила; до того она месяцами сидела внизу, в своей темной каморке, и была готова просидеть там много лет, а в случае невезенья и всю жизнь, никем не замеченная, и вот вдруг появился К., герой, освободитель девушек, и открыл перед ней дорогу вверх. Конечно же, он о ней ничего не знал и сделал это не ради нее, но ее благодарность от этого не уменьшилась, в ночь перед ее повышением — а повышение было еще неопределенным, но уже вполне вероятным — она часами мысленно разговаривала с ним, шепча ему на ухо слова благодарности. В ее глазах поступок К. возвысился еще больше тем, что он взял на себя такой тяжкий груз, то есть Фриду, какая-то непонятная самоотверженность была в том, что он ради возвышения Пепи взял себе в любовницы Фриду — некрасивую, старообразную, худую девушку с

короткими жиденькими волосами, да к тому же двуличную: всегда у нее какие-то секреты; наверно, это зависит от ее наружности; если любому с первого взгляда видно, как она дурна и лицом, и фигурой, значит, надо придумать тайну, которую никто проверить не может, — например, что она якобы в связи с Кламмом. У Пепи тогда даже появлялись такие мысли: неужели возможно, что К. в самом деле любит Фриду, уж не обманывается ли он или, может быть, только обманывает Фриду, и это, возможно, приведет только к возвышению Пепи, и тогда К. увидит свою ошибку или не захочет дольше ее скрывать и обратит внимание уже не на Фриду, а только на Пепи, и это вовсе не безумное воображение Пепи, потому что как девушка с девушкой она вполне может потягаться с Фридой, этого никто отрицать не станет, и ведь, в сущности, К. был ослеплен прежде всего служебным положением Фриды, которому она умела придать блеск. И Пепи в мечтах уже видела, что, когда она займет место Фриды, К. придет к ней просителем, и тут у нее будет выбор: либо ответить на мольбы К. и потерять место, либо оттолкнуть его и подняться еще выше. И она про себя решила отказаться от всех благ и снизить до К., научить его настоящей любви, какой ему никогда не узнать от Фриды, любви, не зависящей ни от каких почетных должностей на свете. Но потом все вышло по-другому. А кто виноват? Прежде всего, конечно, сам К., ну а потом и Фридино бесстыдство, но главное — сам К. Ну что ему надо, что он за странный человек? К чему он стремится, какие это важные дела его так занимают, что он забывает самое близкое, самое лучшее, самое прекрасное? Вот Пепи и стала жертвой, и все вышло глупо, и все пропало, и если бы у кого-нибудь хватило смелости подпалить и сжечь всю гостиницу, да так сжечь, чтобы ни следа не осталось, сжечь, как бумажку в печке, вот такого человека Пепи и назвала бы своим избранником. Итак, Пепи пришла сюда, в буфет, четыре дня тому назад, перед обедом. Работа тут нелегкая, работа, можно сказать, человекоубийственная, но то, чего тут можно добиться, тоже не пустяк. Пепи и раньше жила не просто от одного дня до другого, и если даже в самых дерзких мечтах она никогда не осмеливалась рассчитывать на это место, то наблюдений у нее было предостаточно, она знала все, что связано с этим местом, без подготовки она за такую работу не взялась бы. Без подготовки сюда не пойдешь, иначе потеряешь службу в первые же часы. А уж особенно если станешь тут вести себя как горничная! Когда работаешь горничной, то начинаешь со

временем чувствовать себя совсем заброшенной и забытой, работаешь, как в шахте, по крайней мере, в том коридоре, где помещаются секретари; кроме нескольких дневных посетителей, которые шмыгают мимо и глаза боятся поднять, там за весь день ни души не увидишь, разве что других горничных, а они обозлены не меньше тебя. Утром вообще нельзя и выглянуть из комнаты, секретари не хотят видеть посторонних, еду им носят слуги из кухни, тут горничным делать нечего, во время еды тоже нельзя туда ходить. Только когда господа работают, горничным разрешено убирать, но, конечно, не в жилых комнатах, а в тех, что пока пустуют, и убирать надо тихо, чтобы не помешать работе господ. Но разве уберешь, когда господа занимают комнаты по многу дней, да еще там орудуют слуги, этот грязный сброд, и когда наконец горничной разрешается зайти в помещение, оно оказывается в таком виде, что и всемирный потоп грязь не отмоет. Конечно, они господа важные, но приходится изо всех сил преодолевать отвращение, чтобы за ними убирать. Работы у горничных не слишком много, но зато работа тяжелая. И никогда доброго слова не услышишь, одни попреки, и самый частый, самый мучительный упрек — будто во время уборки пропали документы. На самом деле ничего не пропадает, каждую бумажку отдаешь хозяину, а уж если документы пропадают, то, конечно, не из-за девушек. А потом приходит комиссия, девушек выставляют из комнаты, и комиссия перерывает их постели, у девушек ведь никаких своих вещей нет, все их вещички помещаются в ручной корзинке, но комиссия часами все обыскивает. Разумеется, они ничего не находят, да и как туда могут попасть документы? К чему девушкам документы? А кончается тем, что комиссия с досады ругается и угрожает, а хозяин все передает девушкам. И никогда покоя нет, ни днем, ни ночью, до полуночи шум и с раннего утра шум. Если бы только можно было не жить при гостинице, но жить приходится, потому что и в промежутках приходится носить по вызову из кухни всякую всячину, это тоже обязанность горничных, особенно по ночам. Вдруг неожиданно стучат кулаком в комнату горничной, выкрикивают заказ, и бежишь на кухню, трясешь сонного поваренка, выставляешь поднос с заказанным у своих дверей, откуда его забирают слуги, — как все это уныло. Но и это не самое худшее. Самое худшее, если заказов нет, но глубокой ночью, когда всем время спать, да и большинство действительно спит, к комнате горничных кто-то начинает подкрадываться. Тут девушки вста-

ют с постели — их кровати расположены друг над другом, ведь места в комнате мало, да, в сущности, это и не комнаты, а большой шкаф с тремя полками, — и девушки прислушиваются у дверей, становятся на колени, в испуге жмутся друг к другу. И все время слышно, как кто-то крадется к дверям. Пусть бы он уже вошел, все обрадовались бы, но никто не входит, ничего не случается. Приходится себя уговаривать, что им не грозит никакая опасность; может, кто-нибудь просто ходит взад и вперед у дверей, обдумывает, не заказать ли ему что-нибудь, а потом не решается. Может быть и так, а может быть и совсем иначе. В сущности, ведь совсем не знаешь этих господ, их почти и не видишь. Во всяком случае, девушки в своей комнате совсем пропадают от страха, а когда снаружи все затихает, они ложатся на пол у стенки, оттого что нет сил снова забраться в постели. И такая жизнь опять ожидает Пепи, сегодня же вечером она должна вернуться на свое место в комнате горничных. А из-за чего? Из-за К. и Фриды. Снова вернуться к той жизни, от которой она едва избавилась, правда, избавилась с помощью К., но все же она и сама приложила огромные усилия. Ведь на той службе девушки совершенно запускают себя, даже самые аккуратные. Да и для кого им там наряжаться? Никто их не видит, в лучшем случае челядь на кухне, а кому этого достаточно, те пусть и наряжаются. А то всегда торчишь в своей комнате или в комнатах господ, куда даже просто зайти в чистом платье было бы глупым легкомыслием и расточительностью. И вечно живешь при искусственном свете, в духоте — топят там беспрерывно — и вечно устаешь. Единственный свободный вечер в неделю лучше всего провести где-нибудь в кладовке, при кухне, и хорошенько выспаться, без всяких страхов. Зачем же тогда наряжаться? Да тут и одеваешься кое-как. И вдруг Пепи назначили в буфет, и, если только хочешь тут закрепиться, надо стать совсем другой, тут ты всегда на глазах у балованных и наблюдательных господ, поэтому тебе надо выглядеть как можно привлекательнее и милее. А тут все иначе, и Пепи может сказать про себя, что она ничего не упустила. Ей было все равно, как сложатся дела дальше; то, что у нее хватит способностей для такого места, она знала, она была в этом уверена, никто у нее этой уверенности не отнимет даже сегодня, в день полного провала. Трудно было в первый же день оказаться на должном уровне, ведь она только бедная горничная, нет у нее ни платьев, ни украшений, а у господ не хватает терпения ждать, пока ты переменишься, они хотят сразу, без

всяких подготовок, получить такую буфетчицу, как полагается, иначе они от нее отвернутся. Можно подумать, что у них запросы вовсе уж не такие большие, раз их могла удовлетворить одна Фрида. Но это неверно. Пеппи часто задумывалась над этим, да и с Фридой часто сталкивалась, даже какое-то время спала с ней рядом. Раскусить Фриду нелегко, и кто не очень внимателен — а какие из этих господ достаточно внимательны? — того она сразу собьет с толку. Никто лучше самой Фриды не знает, до чего у нее жалкий вид, если, например, увидишь впервые, как она распускает волосы, так от жалости голько всплеснешь руками, такую девушку, по правде говоря, нельзя допускать даже к должности горничной; да она и сама это чувствует, сколько раз она плакала, прижимаясь к Пеппи, прикладывая косу Пеппи к своим волосам. Но стоит ей только встать на рабочее место, и все сомнения как рукой снимает, она чувствует себя самой красивой из всех и притом умеет любого человека в этом убедить. Людей она хорошо понимает, в этом ее главное искусство. И врет она без удержу, сразу обманывает, чтобы люди не успевали ее как следует разглядеть. Конечно, надолго ее не хватает, есть же у людей глаза, и в конце концов они всю правду увидят. Но как только она заметит такую опасность, у нее в ту же минуту наготове новое средство борьбы, последнее время, например, — ее связь с Кламмом. Связь с Кламмом! Если сомневаешься, можешь сам проверить: пойдешь к Кламму и спроси его. До чего же хитра, до чего же хитра! Но может быть, ты почему-либо не посмеешь с таким вопросом идти к Кламму, может быть, тебя и по гораздо более важным вопросам к нему не пустят, может быть, вообще Кламм для тебя вовсе недоступен — именно для тебя и таких, как ты, потому что Фрида, например, влетает к нему когда хочет, — так вот, даже если это так, все равно можно это дело проверить, надо только выждать! Не станет же Кламм долго терпеть такие ложные слухи, наверно, он из кожи вон лезет, чтобы узнать, что о нем говорят и в буфете, и в номерах, для него это чрезвычайно важно, и стоит ему услышать все эти выдумки, как он тут же их опровергнет. Однако он ничего не опровергает, вот и выходит: опровергать нечего, все — истинная правда. Конечно, все видят только, что Фрида носит пиво в комнату Кламма и выходит оттуда с деньгами, а то, чего не видят, рассказывает сама Фрида, и приходится ей верить. Но она ничего такого не рассказывает, не станет же она выбалтывать всякие тайны, нет, эти тайны сами собой выбалтываются вокруг нее, а раз они

уже выболтаны, она и не стесняется о них упоминать, правда, очень сдержанно, ничего не утверждая, она только ссылается на то, что и без нее всем известно. Но говорит она не про все, например, насчет того, что с тех пор, как она появилась в буфете, Кламму стал пить меньше пива, чем раньше, она и вовсе не говорит, ведь тому могут быть самые разные причины, просто время подошло такое, что пиво кажется Кламму невкусным или он даже забывает о пиве из-за Фриды. Во всяком случае, как это ни удивительно, Фрида и вправду возлюбленная Кламма. А если она хороша для Кламма, так как же другим ею не любоваться; и не успели все опомниться, как Фрида попала в красавицы, все стали считать ее словно специально созданной для должности буфетчицы; больше того, она стала чересчур хороша, чересчур важна для такого места, как наш буфет, ей теперь этого мало. И действительно, людям уже казалось странным, что она все еще сидит тут, в буфете; конечно, быть буфетчицей — дело немалое, при этом знакомство с Кламмом кажется вполне правдоподобным, но уж если буфетчица стала любовницей Кламма, то почему он позволяет ей, да еще так долго, оставаться при буфете? Почему не подымает выше? Людям можно сто раз долбить, что тут никаких противоречий нет, что у Кламма есть определенные причины поступать так и что неожиданно, быть может, в самом ближайшем будущем, Фрида получит повышение, но ни на кого эти слова впечатления не производят; у людей есть привычные представления, и никакими уловками их не разрушить. Ведь уже никто не сомневался, что Фрида — любовница Кламма, даже тому, кто все понимал, и то сомневаться надоело, черт с тобой, будь любовницей Кламма, думают люди, но уж раз это так, то пусть мы будем свидетелями твоего повышения. Однако они ничего не увидели, Фрида по-прежнему сидела в буфете и втайне очень радовалась, что все оставалось по-прежнему. Но люди стали терять к ней уважение, и, конечно, она не могла этого не заметить, она же все замечает еще до того, как оно случается. Ведь девушке по-настоящему приветливой не нужно прибегать ни к каким ухищрениям, если только она прижилась в буфете; пока она хорошенькая, она и останется буфетчицей, если только не произойдет какой-нибудь несчастный случай. Но такой девушке, как Фрида, все время приходится беспокоиться за свое место, конечно, она не подает виду, скорее, она будет жаловаться и клясть эту должность. Но втайне она все время следит за настроением вокруг. И вот Фрида увидела, как люди стали



к ней равнодушнее, уже при ее появлении они и глаз не подымали, даже слуги ею не интересовались, они, понятное дело, больше льнули к Ольге и к девицам вроде нее; даже по поведению хозяина было видно, что Фрида все меньше и меньше становилась необходимой, выдумывать новые истории про Кламма уже было трудно, все имеет свои границы, и тут наша дорогая Фрида решилась на новую выходку. Кто же мог сразу ее раскусить? Пепи что-то подозревала, но раскусить до конца, к сожалению, не могла. Фрида решила устроить скандал: она, любовница Кламма, бросается в объятия первому встречному, по возможности человеку самому ничтожному. Это произведет на всех большое впечатление, начнутся долгие пересуды, и наконец, наконец-то опять вспомнят, что значит быть любовницей Кламма и что значит презреть эту честь в опьянении новой любовью. Трудно было только найти подходящего человека, с которым можно было бы затеять эту хитрую игру. Он не должен был быть из знакомых Фриды, даже не из слуг, потому что такой человек лишь удивленно посмотрел бы на нее и прошел мимо, а главное, не сумел бы отнестись к ней серьезно, да и при самом большом красноречии ей никого не удалось бы убедить, что он стал домогаться ее, Фриды, и она не смогла ему сопротивляться и в какой-то безумный миг сдалась, — надо было найти такого человека, чтобы про него можно было бы поверить, будто он, такое ничтожество, при всей своей тупости и неотесанности, все же потянулся не к кому-то, а именно к Фриде и что у него не было желания сильнее, чем — о Господи Боже! — жениться на Фриде. Но даже если бы попался самый последний человек, по возможности куда ниже любого холопа, то он все-таки должен был оказаться таким, чтобы из-за него тебя не засмеяли, таким, чтобы и какая-то другая, понимающая девушка могла бы найти в нем что-то привлекательное. Но где же отыскать такого? Другая девушка, несомненно, искала бы его понапрасну всю жизнь. Но, на счастье Фриды, к ней в буфет попал землемер, и попал, может быть, именно в тот вечер, когда ей впервые пришел на ум этот план. В сущности, о чем думал К.? Какие особенные мысли были у него в голове? Чего выдающегося он хотел добиться? Хорошего места, наград? Вот чего он хотел, да? Ну тогда он с самого начала должен был взяться за дело по-другому. Но ведь он ничто, жалко смотреть на его положение. Да, он землемер, это, может быть, что-нибудь да значит, выходит, что он чему-то учился, но, если эти знания никак применить нельзя, значит,

он все же ничто. Однако он ставит требования без всякого стеснения, и хоть ставит он эти требования не прямо, но сразу видно, что у него есть какие-то требования, а это всех раздражает. Да знает ли он, что даже горничная унижает себя, если она с ним разговаривает дольше, чем надо? И со всеми своими особенными требованиями он попадает в самую глубокую ловушку. Неужели ему не стыдно? Чем это Фрида его подкупила? Теперь он уже может сознаться. Неужели она могла ему понравиться, это тощее, изжелта-бледное существо? Ах вот оно что, он на нее даже и не взглянул, она только сказала ему, что возлюбленная Кламма; его, конечно, это поразило, и тут он окончательно влип! Ей-то пришлось отсюда убраться, таким в гостинице места нет. Пепи видела ее в то утро, перед уходом, вся прислуга сбежалась, всем было любопытно взглянуть на нее. И такая у нее была еще власть, что ее жалели; все, даже враги, ее жалели, вот до чего ее расчет оказался правильным, никто понять не мог, зачем она себя губит из-за такого человека, всем казалось, что это удар судьбы; маленькие судомойки, которым каждая буфетчица кажется высшим существом, были просто безутешны. Даже Пепи была тронута, даже она не могла себя пересилить, хотя ее внимание было направлено на другое. Ей бросилось в глаза, что Фрида совсем не выглядела такой уж грустной. Ведь, в сущности, ее постигло огромное несчастье, впрочем, она делала вид, будто очень несчастна, но этого мало. Разве эта комедия могла обмануть Пепи? Так что же ее поддерживало? Неужто счастье новой любви? Нет, это исключалось. Но в чем же причина? Что давало ей силу быть по-прежнему сдержанно-любезной, даже с Пепи, которая уже тогда намечалась ей в заместительницы? Впрочем, Пепи было некогда в это вникнуть, слишком она была занята подготовкой к новой должности. Уже часа через два-три надо было приступить к работе, а у нее еще не было ни красивой прически, ни нарядного платья, ни тонкого белья, ни приличной обуви. И все это надо было достать за несколько часов, а если за это время не привести себя в порядок, так лучше вообще отказаться от такого места, все равно потеряешь его в первые же полчаса. Однако же ей как-то удалось все выполнить. Причесываться как следует она хорошо умела, однажды даже хозяйка попросила сделать ей прическу, у Пепи на это рука легкая, правда, и волосы у нее самой густые, послушные, можно их уложить как угодно. И с платьем ей помогли. Обе ее верные подружки постарались. Правда, для них это тоже честь, когда буфетчицей стано-

вится именно девушка из их компании, да к тому же Пепи, войдя в силу, могла бы оказать им значительную помощь. У одной из девушек давно лежал отрез дорогой материи, ее сокровище, часто она давала подругам любоваться им и, наверно, мечтала, какое роскошное платье сошьет себе, но теперь — и это было прекрасным поступком с ее стороны — она пожертвовала отрез для Пепи. Обе девушки с готовностью помогали ей шить, и не могли бы шить усерднее, даже если бы шили на самих себя. И работали весело, с удовольствием. Сидя на своих койках, друг над дружкой, они шили и пели, передавая друг другу то вниз, то вверх готовые части и отделку. Стоит Пепи теперь об этом вспомнить, как у нее тяжелее становится на душе, оттого что все было напрасно и ей теперь придется с пустыми руками возвращаться к своим подругам. Какое несчастье и какое легкомыслие тому виной, особенно со стороны К.! Как они тогда радовались платью, оно казалось им залогом удачи, а когда под конец находилось еще местечко для какого-нибудь бантика, у них исчезали последние сомнения в успехе. И разве оно не прекрасно, это платье! Правда, сейчас оно уже измято и немножко в пятнах, другого платья у Пепи нет, пришлось носить одно и то же день и ночь, но все еще видно, какое оно красивое, даже проклятая варнавовская девка не сшила бы лучше. И у платья есть еще особое преимущество: его можно затягивать и распускать и снизу, и сверху, так что хоть платье одно и то же, но выглядит по-разному, это она сама придумала. Впрочем, на нее и шить легко, но Пепи хвастать не собирается; молодой здоровой девушке все к лицу. Труднее было с бельем и с обувью, тут-то и начались неудачи. Подруги и в этом ей помогли как могли, но могли-то они сделать очень мало. Удалось собрать и перештопать только самое грубое бельишко, и вместо сапожек на каблуках пришлось обойтись домашними туфлями, которые лучше совсем не показывать. Все старались утешить Пепи: ведь Фрида тоже не слишком хорошо одевалась, часто она ходила такой растрепой, что гости предпочитали, чтобы вместо нее им прислуживали парни из погребка. Все это верно, но Фриде многое разрешалось, она уже была на виду, в чести, а если настоящая дама и покажется в грязноватом и неаккуратном виде, это еще соблазнительней, но разве такому новичку, как Пепи, это сойдет? Да кроме того, Фрида и не умела хорошо одеваться, вкуса у нее и в помине нет; если у тебя кожа с желтизной, ее, конечно, не сбросишь, но уж нельзя надевать, как Фрида, кремовую кофточку с огромным вырезом,

так что у людей в глазах становится желто. Но пусть бы даже и этого не было, все равно она слишком скупа, чтобы хорошо одеваться, все, что зарабатывала, она копила, никто не знал зачем. На этой работе ей деньги не нужны, она себе все добывала враньем и плутнями, но Пепи и не может и не хочет брать с нее пример, потому ей и надо было нарядиться, чтобы показать себя в выгодном свете, особенно с самого начала. Если бы только она могла пустить в ход более сильные средства, то, несмотря на все Фридины хитрости, на всю глупость К., она осталась бы победительницей. Да и началось все очень хорошо. Все необходимые навыки, все нужное умение она уже приобрела заранее. За буфетной стойкой она сразу почувствовала себя как дома. Никто не заметил, что Фрида больше не работает. Только на второй день некоторые посетители стали спрашивать: куда девалась Фрида? Но Пепи ошибок не делала, хозяин был доволен, в первый день он еще беспокоился, все время сидел в буфете, потом уже стал заходить только изредка и наконец — так как касса была в порядке и выручка даже стала в среднем больше, чем при Фриде, — он всецело предоставил работу Пепи. А она ввела кое-какие новшества. Фрида, не от усердия, а, скорее, от скупости, от властолюбия, от страха, что кому-то надо уступить какие-то свои права, всегда обслуживала слуг сама, особенно когда никто не видел, но Пепи, напротив, целиком поручила это дело парням из погребка, они ведь куда пригоднее для такой работы. Таким образом, она оставляла себе больше времени для господских комнат, постояльцы обслуживались быстрее, кроме того, она могла перекинуться с каждым несколькими словами, не то что Фрида — та себя, по-видимому, берегла для одного Кламма и любое слово, любую попытку подойти к ней воспринимала как личное оскорбление Кламму. Впрочем, это было довольно умно, потому что, когда она потом подпускала кого-то к себе поближе, это считалось неслыханной милостью. Но Пепи ненавидит такие уловки, да ей и не годилось начинать с них. Пепи со всеми была любезна, и ей отвечали любезностью. Видно, всех радовала перемена, а когда эти господа, натрудившись, наконец улучают минутку, чтобы посидеть за кружкой пива, они форменным образом перерождаются, если только сказать им словечко, улыбнуться, повести плечиком. И все наперебой до того часто ерошили кудри Пепи, что ей раз десять на дню приходилось подправлять прическу, а не поддаться соблазну этих локончиков и бантиков никто не мог, даже такой рассеянный человек, как сам К.

Так проходили дни в напряжении, в постоянной работе, но и с большим успехом. Если бы они только не так скоро пролетели, если бы их было хоть немного больше! Четыре дня — это очень мало, даже если напрягаешься до изнеможения; может быть, пятый день принес бы больше, но четыре дня слишком мало! Правда, Пепи и за четыре дня приобрела многих покровителей и друзей, и если бы верить всем взглядам, то, когда она проплывала по залу с пивными кружками, ее просто омывали волны дружелюбия, а один писарь по имени Бартмейер в нее втюрился, подарил ей вот эту цепочку с медальоном, а в медальон вставил свою карточку, хотя это, конечно, дерзость; да мало ли что случилось, но ведь прошло всего четыре дня, за четыре дня Пепи, постаравшись как следует, могла бы заставить всех позабыть Фриду, пусть даже не совсем, да ее позабыли бы и раньше, если бы она перед тем не устроила настолько большой скандал, что ее имя не сходило с уст; оттого она опять и стала людям в новинку, они с удовольствием повидали бы ее снова, уже из чистого любопытства; то, что им надоело до отвращения, теперь, благодаря появлению в общем ничего не стоящего человека, снова манило их, правда, они не отказались бы из-за этого от Пепи, пока она действовала на них своим присутствием, но по большей части это были люди пожилые, с устоявшимися привычками, проходит не день, не два, пока они привыкнут к новой буфетчице, даже если эта перемена к лучшему, эти господа поневоле привыкают дольше, скажем, дней пять, а четырех дней мало, пока что для них Пепи все еще чья-то заместительница. А потом случилось, пожалуй, самое большое несчастье: за эти четыре дня Кламм ни разу не вышел в буфет, хотя все время находился в Деревне. Если бы он пришел, то это было бы главным и решительным испытанием для Пепи, которого она, впрочем, не боялась, а, скорее, ему радовалась. Она — хотя о таких вещах лучше вслух не говорить — не стала бы любовницей Кламма и лживо не присвоила бы себе такое высокое звание, но она сумела бы ничуть не хуже Фриды мило подать кружку пива, приветливо поздороваться без Фридиной назойливости и приветливо попрощаться, а если Кламм вообще чего-то ищет во взгляде девушки, то во взгляде Пепи он досыта нашел бы все, чего хотел. Но почему же он не пришел? Случайно ли? Тогда Пепи так и думала. Два дня она ждала его с минуты на минуту, даже ночью ждала. Вот сейчас придет Кламм, непрестанно думала она и бегала взад и вперед без всякой причины от одного только беспокойного ожида-

ния, от стремления увидеть его первой, сразу, как только он войдет, ее измотало постоянное разочарование, может быть, она из-за этого и выполняла свои обязанности хуже, чем могла. А когда выдавалась свободная минутка, она прокрадывалась в верхний коридор, куда прислуге входить строго воспрещалось, и ждала там, забившись в уголок. Хоть бы сейчас вышел Кламм, я могла бы взять этого господина на руки и снести в буфет из его комнаты. Под таким грузом я бы даже не споткнулась, каким бы тяжелым он ни оказался. Но Кламм не шел. В том коридоре, наверху, до того тихо, что и представить себе нельзя, если там не побывал. Так тихо, что долго вынести невозможно, тишина гонит оттуда прочь. Но все начиналось сначала: десять раз ее гнала тишина, и десять раз Пепи снова и снова подымалась туда. Это было бессмысленно. Захочет Кламм прийти — он и придет, а не захочет, так Пепи его и не выманит, хоть бы она задохнулась от сердцебиения в своем уголке. Ждать было бессмысленно, но, если он не придет, тогда почти все станет бессмысленным. Однако он не пришел. И теперь Пепи знает, почему Кламм не пришел. Фрида была бы в восторге, если бы могла увидеть, как Пепи стоит наверху в коридоре, прижав обе руки к сердцу. Кламм не сходил вниз, потому что Фрида этого не допускала. И не просьбами она добивалась своего, никакие ее просьбы до Кламма не доходили. Но у нее, у этой паучихи, есть связи, о которых никому не известно. Когда Пепи что-нибудь говорит гостю, она говорит вслух, открыто, ее и за соседним столом слышно. А Фриде сказать нечего, поставит пиво на стол и отойдет, только ее нижняя юбка — единственное, на что она тратит деньги, — прошуршит на ходу. Но уж если она что-то скажет, так не вслух, а шепотом, на ухо посетителю, так что за соседним столом все наострят уши. Вероятно, то, что она говорит, никакого значения не имеет, хоть и не всегда, связей у нее много, а она еще укрепляет их, одну с помощью другой, и если что-то удастся — кто же станет долго интересоваться Фридой? — то какую-нибудь из этих связей она все же удержит. И эти связи она постаралась сейчас использовать. К. дал ей для этого полную возможность: вместо того чтобы сидеть при ней и стеречь ее, он почти не бывает дома, бродит по Деревне, ведет переговоры то там то сям, ко всем он внимателен, только не к Фриде, и, чтобы дать ей еще больше воли, он переселяется из трактира «У моста» в пустую школу. Хорошее же это начало для медового месяца! Конечно, Пепи — последний человек, который станет попрекать К.

за то, что он не выдержал общества Фриды, никто не мог бы выдержать. Но почему же он тогда не бросил ее окончательно, почему он все время возвращается к ней, почему он своими хлопотами у всех создал впечатление, будто он борется за Фриду? Ведь выглядело так, будто он только после встречи с Фридой понял свое теперешнее ничтожество и хочет стать достойным Фриды, хочет как-то вскарабкаться повыше, а потому пока что не проводит с ней все время, чтобы потом без помехи наверстать упущенное. А пока что Фрида не теряет времени, сидя в школе, куда она, как видно, заманила К., и следит за гостиницей, следит за К. А под рукой у нее отличные посыльные, помощники К., и совершенно непонятно, почему — даже если знаешь К., и то не поймешь, — почему он их всецело предоставил Фриде? Она посылает их к старым своим знакомым, напоминает о себе, жалуется, что такой человек, как К., держит ее взаперти, натравливает людей на Пеппи, сообщает о своем скором возвращении, просит о помощи, закликает не выдавать ее Кламму, притворяется, что Кламма надо оберегать и потому ни в коем случае не пускать в буфет. И то, что она перед одними выставляет как желание беречь Кламму, перед хозяином она использует как доказательство своих успехов, обращает внимание на то, что Кламму больше в буфет не ходит. Да и как же ему ходить, если там посетителей обслуживает какая-то Пеппи? Правда, хозяин не виноват, все же эта самая Пеппи — лучшая замена, какую можно было найти, но и эта замена не годится даже временно. Про всю эту Фридину деятельность К. ничего не знает; когда он не шатается где попало, он лежит у ног Фриды, а она тем временем считает часы, когда наконец удастся вернуться в буфет. Но помощники выполняют не только обязанности посыльных, они служат ей и для того, чтобы вызывать ревность К., подогревать его пыл. С самого детства Фрида знает этих помощников, никаких тайн у них, конечно, друг от друга нет, но назло К. они начинают тянуться друг к другу, и для К. создается опасность, что тут возникнет настоящая любовь. А К. идет на любые нелепости в угоду Фриде, он видит, что помощники заставляют его ревновать, но все же терпит, чтобы они, все трое, были вместе, пока он уходит в свои странствия. Получается так, будто он сам — третий помощник Фриды. И тут Фрида, сделав вывод из всех своих наблюдений, собралась нанести большой удар: она решает вернуться. И сейчас действительно для этого подошло время, диву даешься, как Фрида, эта хитрая Фрида, все учла и использовала; но

острая наблюдательность и решительность — неподражаемый талант Фриды, был бы такой талант у Пеппи, насколько иначе сложилась бы ее жизнь! А если бы Фрида еще дня два пробыла в школе, тогда уж Пеппи не прогнать, она окончательно утвердилась бы на месте буфетчицы, все любили бы ее, уважали, и денег она заработала бы достаточно, чтобы сменить свою скучную одежду на блестящий туалет, еще бы день-другой — и никакими кознями нельзя было бы удержать Клямму от посещения буфета, он пришел бы, выпил, почувствовал себя уютно и был бы вполне доволен заменой, если только он вообще заметил бы отсутствие Фриды, а еще через день-два и Фриду со всеми ее скандалами, ее связями, с этими помощниками и со всем, что ее касается, забыли бы окончательно, и никогда о ней никто не вспомнил бы. Может быть, тогда она крепче ухватилась бы за К. и, если только она на это способна, полюбила бы его по-настоящему? Нет, и этого быть не могло. Ведь достаточно было одного дня, никак не больше, чтобы она надоела и К., чтобы он понял, как гнусно она его обманывает во всем — и своей выдуманной красотой, и своей выдуманной верностью, и больше всего выдуманной любовью Кляммы. Одного дня, не больше, было бы достаточно, чтобы выгнать ее из дому со всей этой грязной компанией, с этими помощниками; думается, что даже для К. больше времени не потребовалось бы. Но между этими двумя опасностями, когда перед ней уже форменным образом зияет могила, К. по своей наивности все еще держит для нее открытой узкую тропку, — вдруг она удирает, а уж этого никто не ждал, это противоестественно, и теперь уже она выгоняет К., все еще в нее влюбленного, все еще преследующего ее, и под давлением поддерживающих ее помощников и приятелей предстает перед хозяином как спасительница, ставшая после того скандала еще соблазнительней, чем раньше, еще желаннее как для самых низших, так и для самых высших, хотя самому низшему из всех она предалась только на миг, оттолкнув его вскоре, как и положено, и став недоступной и для него, и для всех других, как прежде, только прежде ко всему этому относились с сомнением, а теперь во всем уверились. И вот она возвращается, хозяин, покосившись на Пеппи, начинает сомневаться — принести ли в жертву ее, которая так старалась? — но его легко переубеждают: слишком многое говорит в пользу Фриды, а главное, она вернет Клямму в гостиницу. Вот как обстоят дела на сегодняшний вечер. Но теперь Пеппи не станет дожидаться, пока явится Фрида и устроит се-



бе триумф при передаче должности. Касса уже давно передана хозяйке, теперь можно уходить. Койка внизу, в комнате девушек, уже ожидает. Пепи придет, подруги в слезах обнимут ее, а она сорвет с себя платье, вырвет ленты из волос и все засунет в угол, хорошенько спрячет, чтобы не напоминало о временах, которые лучше позабыть. А потом она возьмет тяжелое ведро и щетку, стиснет зубы и примется за работу. Но перед этим она все должна рассказать К., чтобы он, ничего не понимавший до сих пор без ее помощи, теперь ясно увидел бы, до чего некрасиво он поступил по отношению к Пепи и как она из-за него несчастна.

Пепи умолкла. Вздохнув, она вытерла слезинки с глаз и щек и, качая головой, посмотрела на К., словно хотела сказать, что, в сущности, речь идет вовсе не о ее несчастье, она все выдержит, и никакой помощи, никаких утешений ей ни от кого — и уж меньше всего от К. — не надобно.

— До чего же у тебя дикая фантазия, Пепи, — сказал К. — Неправда, что ты только сейчас разобралась во всех этих делах, это только вымыслы, родившиеся в вашей тесной, темной девичьей каморке, там, внизу, и там они уместны, а здесь, в просторном буфете, кажутся чудачеством. С такими мыслями тебе тут было не удержаться, это само собой понятно. Да и твое платье, твоя прическа — все, чем ты так хвасталась, — все это рождено в темноте и тесноте вашей комнаты, ваших постелей, там твой наряд, конечно, кажется прекрасным, но тут над ним все смеются, кто исподтишка, а кто открыто. А что ты еще тут наговорила? Значит, выходит, что меня обидели, обманули? Нет, милая Пепи, и меня никто не обижал и не обманывал, как и тебя. Правда, Фрида в данный момент бросила меня, или, как ты выразилась, удрала с одним из помощников, тут ты увидела какой-то проблеск правды, и теперь действительно можно усомниться, что она все же станет моей женой, но то, что она мне надоела и что я ее все равно прогнал бы на следующий день или что она мне изменила, как изменяет жена мужу, вот это уже совершенная неправда. Вы, горничные, привыкли шпионить у замочной скважины, отсюда у вас и склонность из какой-нибудь мелочи, которую вы и вправду увидели, делать грандиозные и совершенно неверные выводы. Потому и выходит, что я, например, в данном случае знаю гораздо меньше, чем ты. Я никак не могу объяснить с такой же уверенностью, как ты, почему Фрида меня бросила. Самое правдоподобное объяснение — и ты то-

же коснулась его мимоходом, но не подтвердила — это то, что я оставлял ее без внимания. Да, я был к ней невнимателен, но к этому меня понуждали особые обстоятельства, которые сюда не относятся; вернись она сейчас ко мне, я был бы счастлив, но тут же снова стал бы оставлять ее без внимания. Да, это так. Когда она была со мной, я постоянно уходил в осмеянные тобой странствия, теперь, когда она ушла, мне почти нечем заниматься, я устал, мне все больше хочется бросить эти дела. Можешь ли ты дать мне совет, Пепи?

— Могу, — сказала Пепи, вдруг оживившись и схватив К. за плечи. — Мы оба обмануты, давай будем вместе. Пойдем со мной вниз, к девушкам.

— Нет, пока ты жалуешься на обман, мы с тобой друг друга не поймем. Ты все время хочешь считать себя обманутой, потому что это лестно, это трогательно. Но правда в том, что ты для этой должности непригодна. И эта непригодность до того очевидна, что ее заметил даже я, самый, как ты считаешь, неосведомленный из всех. Ты славная девочка, Пепи, но не так легко тебя понять, я, например, сначала считал тебя злой и высокомерной, но ты вовсе не такая, тебя просто сбива с толку должность буфетчицы, потому что ты для нее не годишься. Я не хочу сказать, что место для тебя слишком высоко, это вовсе не какое-нибудь особенное место, может быть, оно, если присмотреться, несколько почетнее твоей прежней службы, но, в общем, разница невелика, скорее, обе должности похожи как две капли воды; впрочем, можно, пожалуй, и предпочесть должность горничной должности буфетчицы, потому что горничная всегда имеет дело только с секретарями, а тут, при буфете, хоть ты и обслуживаешь по господским комнатам начальство, секретарей, но тебе приходится сталкиваться и с самым ничтожным человеком вроде меня, ведь я имею право быть только тут, в буфете, а не в других местах. И разве общение со мной такая уж великая честь? Тебе, конечно, все кажется по-другому, и, быть может, у тебя на это есть какие-то основания. Но именно потому ты на это место и не годишься. Место как место, а для тебя оно царствие небесное, потому ты с таким жаром и берешься за все, наряжаешься, как, по твоему мнению, должны рядиться ангелы — хотя они совсем не такие, — дрожишь от страха потерять службу, вечно воображаешь, что тебя преследуют, всех, кто, по твоему мнению, может тебя поддержать, ты пытаешься завоевать преувеличенной любезностью и только им мешаешь, отталкиваешь их, потому что они в гос-

гинице ищут покоя и вовсе не желают ко всей окружающей их суете добавлять и суету буфетчицы. Может статься, что кто-нибудь из высоких гостей и не заметил перемены после ухода Фриды, но теперь-то они все об этом знают и действительно скучают по Фриде, потому что Фрида, по-видимому, вела себя иначе. Какая бы она ни была в остальном, как бы она ни относилась к своему месту, но на службе она была опытной, сдержанной, владела собой, ты же сама это отмечала, хотя и не сумела извлечь из этого пользу для себя. А ты когда-нибудь следила за ее взглядом? Это же взгляд не простой буфетчицы, а почти хозяйки. Все она охватывала, и каждого в отдельности тоже, и взгляд, предназначенный каждому в отдельности, был настолько силен, что ему сразу подчинялись. Разве важно, что она, возможно, была немного худощава, немного старообразна, что бывают волосы и гуще, — все это мелочи по сравнению с тем, что в ней было настоящего, и те, кому эти ее недостатки мешали, только доказывали, что им не хватает понимания более важных вещей. Разумеется, Кламма в этом упрекнуть нельзя, и, только молодая, неопытная девушка из-за неправильной точки зрения не может поверить в любовь Кламма к Фриде. Кламму тебе кажется — и по справедливости — недостижимым, и потому ты считаешь, что Фрида никак не могла подняться до Кламма. Ты ошибаешься. Тут я бы поверил и одним Фридиным словам, даже если бы у меня не было неопровержимых доказательств. Каким бы невероятным это тебе ни казалось, как бы ни расходилось с твоим представлением о жизни, о чиновничестве, о благородстве и о влиянии женской красоты, ты все же не можешь отрицать их отношений, и как мы тут сидим с тобой рядом и я держу твою руку, так наверняка сидели и Кламму с Фридой, как будто это самая естественная вещь на свете, и Кламму добровольно спускался сюда, в буфет, он даже торопился сойти, и никто в коридоре не подкарауливал, никто из-за него работу не запускал, Кламму должен был сам потрудиться и сойти вниз, а изъяны в одежде Фриды, от которых ты пришла бы в ужас, его совсем не трогали. Ты не желаешь ей верить и сама не видишь, как ты этим доказываешь свою неопытность! Даже тот, кто ничего не знал бы об отношениях Фриды с Кламмом, должен был по ее облику догадаться, что этот облик сложился под влиянием кого-то, кто стоит выше тебя, и меня, и всех людей в Деревне, и что их беседы выходят далеко за пределы обычных подшучиваний между посетителями и официантками, составляющих как будто цель твоей жизни. Но я к

тебе несправедлив. Ты и сама отлично видишь все преимущества Фриды, ты заметила ее наблюдательность, ее решительность, ее влияние на людей, однако ты толкуешь все неправильно, считая, что она из эгоизма старается все повернуть себе в пользу, или во зло другим, или даже как оружие против тебя. Нет, Пеппи, даже если бы у нее были в запасе такие стрелы, она никак не смогла бы выпустить их с такого малого расстояния. Она эгоистка? Нет, скорее, можно было бы сказать, что она, пожертвовав тем, что у нее было, и тем, чего она могла ожидать, дала нам с тобой возможность как-то проявить себя на более высоких позициях, но мы оба разочаровали ее и принудили вернуться сюда. Не знаю, так ли это, да и моя собственная вина мне не совсем ясна, и, лишь когда я сравниваю себя с тобой, мне что-то мерещится, словно мы оба слишком настойчиво, слишком шумно, слишком ребячливо и неуклюже старались добиться того, чего, например, при Фридином спокойствии, при ее деловитости можно было бы достичь без труда, а мы и плакали, и царапались, и дергали — так ребенок дергает скатерть и ничего не получает, только сбрасывает роскошное угощение на пол и лишается его навсегда. Не знаю, верно ли я говорю, но что, скорее, все именно так, а не так, как ты рассказываешь, это я знаю твердо.

— Ну конечно, — сказала Пеппи, — ты влюблен в Фриду, потому что она от тебя сбежала; нетрудно влюбиться в нее, когда она далеко. Но пусть будет по-твоему, пусть ты во всем прав, даже в том, что ты меня осмеиваешь. Но что же ты теперь будешь делать? Фрида тебя бросила, и, хоть объясняй по-твоему, хоть по-моему, надежды на то, что она вернется, у тебя нет, и, даже если бы она вернулась, тебе на время надо где-то устроиться, стоят холода, ни работы, ни пристанища у тебя нет, пойдем к нам, мои подружки тебе понравятся, у нас тебе будет уютно, поможем нам в работе — она и в самом деле трудна для девушек, а мы, девушки, не будем предоставлены самим себе и по ночам уже страху не натерпимся. Пойдем же к нам! Подружки тоже знают Фриду, мы тебе будем рассказывать про нее всякие истории, пока тебе не надоест. Ну идем же! У нас фотографий Фриды много, мы тебе все покажем. Тогда Фрида была скромнее, чем сейчас, ты ее и не узнаешь, разве что по глазам — они и тогда были хитрые. Ну как, пойдешь?

— А разве это разрешается? Вчера весь скандал из-за того и разгорелся, что меня поймали в вашем коридоре.

— Вот именно оттого, что тебя поймали, а если будешь у нас, тебя никогда не поймают. Никто о тебе и знать не будет, только мы трое. Ах, как будет весело! Теперь жизнь там уже кажется мне гораздо более сносной, чем раньше. Может быть, я и не так много теряю оттого, что приходится уходить отсюда. Слушай, мы ведь и втроем не скучали, надо же как-то скрашивать горькую жизнь, а нам ее отравили с самой юности, ну а теперь мы трое держимся друг за дружку, стараемся жить красиво, насколько это там возможно, тебе особенно понравится Генриетта, да и Эмилия тоже, я им уже про тебя рассказывала, там все эти истории слушают с недоверием, будто вне нашей комнаты ничего случиться не может, там тепло и тесно, и мы все больше жмемся друг к дружке, но, хоть мы и постоянно вместе, друг другу мы не надоели, напротив, когда я подумаю о своих подружках, мне почти приятно, что я отсюда уйду. Зачем мне подыматься выше их? Ведь нас так сблизило именно то, что для всех трех будущее было одинаково закрыто, но я все же пробилась, и это нас разлучило. Разумеется, я их не забыла, и первой моей заботой было: не могу ли я что-нибудь для них сделать? Мое собственное положение еще не упрочилось — хоть я и не знала, насколько оно было непрочным, — а я уже поговорила с хозяином насчет Генриетты и Эмилии. Насчет Генриетты хозяина еще можно было уговорить, а вот насчет Эмилии — она много старше нас, ей примерно столько лет, сколько Фриде, — он мне никакой надежды не подал. Но ты только подумай — они вообще не хотят оттуда уходить, знают, что жизнь они ведут там жалкую, но они уже с ней смирились, добрые души, и, по-моему, они лили слезы, прощаясь со мной, главным образом из-за того, что мне пришлось уйти из общей комнаты на холод — нам оттуда все, что вне нашей комнаты, кажется холодным — и что мне придется мучиться в больших чужих комнатах, с чужими людьми, лишь бы только заработать на жизнь, а это мне при нашем общем хозяйстве и так до сих пор удавалось. Наверно, они ничуть не удивятся, если я теперь вернусь, и только в угоду мне поплачут немного и пожалеют меня за мои злоключения. Но потом они увидят тебя и сообразят, как все-таки вышло хорошо, что я уходила. Они обрадуются, что теперь мужчина будет нам помощью и защитой, и придут в восторг оттого, что все должно остаться тайной и что тайна эта свяжет нас еще крепче, чем до сих пор. Пойдем же, ну пожалуйста, пойдем к нам! Ты себя ничем не обяжешь и не будешь привязан к нашей комнате навсегда, как мы. Ко-

гда настанет весна, и ты найдешь пристанище где-нибудь в другом месте, и тебе у нас не понравится, ты сможешь уйти; конечно, ты и тогда обязан сохранить тайну и не выдавать нас, иначе для нас это будет последний час в гостинице; разумеется, когда ты будешь у нас, ты должен быть очень осторожен, нигде не показываться, если мы сочтем это небезопасным, и вообще ты должен будешь слушаться наших указаний; вот единственное, что тебя свяжет, но ты в этом так же заинтересован, как и мы, а в других отношениях ты совершенно свободен, работу мы тебе дадим нетрудную, не бойся. Ну как, пойдём?

— А до весны еще далеко? — спросил К.

— До весны? — повторила Пепи. — Зима у нас длинная, очень длинная и однообразная. Но мы там, внизу, не жалуемся, мы хорошо защищены от холодов. Ну а потом придет и весна, и лето, всему свое время, но, когда вспоминаешь, и весна, и лето кажутся такими коротенькими, будто длились два дня, не больше, да и то в эти дни, даже в самую прекрасную погоду, вдруг начинает падать снег.

Тут отворилась дверь. Пепи вздрогнула, в мыслях она уже была далеко отсюда, но вошла не Фрида, вошла хозяйка. Она сделала удивленное лицо, застав К. еще здесь. К. извинился, сказав, что ждал хозяйку, и тут же поблагодарил ее за то, что ему разрешили тут переночевать. У него создалось впечатление, сказал К., будто хозяйка хочет еще раз с ним поговорить, он просит прощения, если вышла ошибка, кроме того, ему сейчас непременно надо уходить, слишком надолго он оставил без присмотра школу, где работает сторожем, но всему виной вчерашний вызов, он еще плохо разбирается в таких делах, больше никогда он не доставит госпоже хозяйке столько неприятностей, как вчера. И он поклонился, собираясь уйти. Хозяйка посмотрела на него странным взглядом, словно во сне. Этим взглядом она удержала К. на месте дольше, чем он хотел. А тут она еще слабо улыбнулась, и только удивленный вид К. как будто привел ее немного в себя. Казалось, она ждала ответа на свою улыбку и, не получив его, только тут пришла в себя.

— Кажется, вчера ты имел дерзость что-то сказать о моем платье?

Нет, К. ничего не помнил.

— Как, ты не помнишь? Значит, к дерзости добавляется еще и трусость.

К. извинился, сославшись на вчерашнюю усталость, вполне возможно, что он что-то наболтал, во всяком случае, он ничего не по-

мнил. Да и что он мог сказать о платье госпожи хозяйки? Только то, что таких красивых платьев он никогда не видел. По крайней мере, он никогда не видел хозяек гостиниц на работе в таком платье.

— Замолчи, — быстро сказала хозяйка. — Я не желаю слышать от тебя ни слова про мои платья. Не смей думать о моих платьях. Запрещаю это тебе раз и навсегда.

К. еще раз поклонился и пошел к дверям.

— А что это значит? — крикнула ему хозяйка вслед. — Никогда не видал хозяйек гостиниц за работой в таком платье? Что за бессмысленные слова! Это же полная бессмыслица! Что ты этим хочешь сказать?

К. обернулся и попросил хозяйку не волноваться. Конечно, замечание бессмысленно. Он же ничего в платьях не понимает. Ему в его положении всякое незаплатанное и чистое платье уже кажется дорогим. Он только удивился, когда увидел хозяйку ночью там, в коридоре, среди всех этих полуодетых мужчин в таком красивом вечернем платье, вот и все.

— Ага, — сказала хозяйка, — кажется, ты наконец вспомнил свое вчерашнее замечание. Да еще дополняешь его новой чепухой. Правильно, что ты в платьях ничего не понимаешь. Но тогда воздержись, пожалуйста, — и я серьезно тебя об этом прошу — судить о том, дорогое ли это платье, неподходящее оно или вечернее, — словом, про все такое... И вообще... — тут она передернулась, словно от озноба, — перестань интересоваться моими платьями, слышишь? — И когда К. хотел молча повернуться к выходу, она спросила: — Да и что ты понимаешь в платьях? — К. пожал плечами: нет, он в них ничего не понимает. — Ах, не понимаешь, — сказала хозяйка, — так не бери на себя смелость судить об этом. Пойдем со мной в контору, я тебе что-то покажу, тогда, надеюсь, ты навсегда прекратишь свои дерзости. — Она первой вышла из дверей, и Пепи подскочила к К. под предлогом получить с него деньги, и они торопливо договорились, это было просто: К. уже знал двор, откуда вели ворота в проулок, а подле ворот была маленькая дверь, примерно через час Пепи будет ждать за ней и на трехкратный стук откроет К.

Контора хозяина находилась напротив буфета, надо было только пересечь прихожую, и хозяйка уже стояла в освещенной конторе и нетерпеливо ждала К. Но тут им помешали. Герстекер ждал в прихожей и хотел поговорить с К. Было не так легко отвязаться от него, но тут помогла хозяйка, запретив Герстекеру приставать к К. «Да куда же

ты? Куда?» — закричал Герстекер, когда уже захлопнулись двери, и его голос противно прервался кашлем и охами.

Контора была тесная, жарко натопленная. По узкой стене стояли пюпитр и несгораемый шкаф, по длинным стенам — гардероб и оттоманка. Гардероб занимал больше всего места, он не только заполнял всю стену в длину, но и сужал комнату, выдаваясь в ширину, и, чтобы полностью его открыть, надо было раздвинуть все три створки дверей. Хозяйка указала К. на оттоманку, а сама уселась на вертящийся табурет у конторки.

— Ты никогда не учился портняжному делу? — спросила хозяйка.

— Нет, никогда, — ответил К.

— А кто же ты, собственно говоря?

— Землемер.

— А что это значит?

К. стал объяснять, это объяснение вызвало у нее зевоту:

— Ты не говоришь мне правды. Почему ты не говоришь правды?

— Но ведь и ты не говоришь правды.

— Я? Ты опять начинаешь дерзить? А если я и не говорю правды, так мне отвечать перед тобой, что ли? В чем же это я не говорю правды?

— Ты не простая хозяйка, какой ты стараешься казаться.

— Скажи пожалуйста! Сколько открытий ты сделал! А кто же я еще? Твоя дерзость и вправду переходит все границы.

— Не знаю, кто ты такая. Я вижу, что ты хозяйка, но к тому же ты носишь платья, которые простой хозяйке не подходят и каких, по моему разумению, никто тут, в Деревне, не носит.

— Ну вот, теперь мы дошли до самой сути. Просто ты не можешь промолчать, возможно, что ты и не хочешь дерзить, ты просто похож на ребенка, который узнал какую-то чепуху и никак промолчать не может. Ну что особенного ты нашел в моих платьях?

— Ты рассердишься, если я скажу.

— Не рассержусь, а рассмеюсь, это же детская болтовня. Ну так какие же у меня платья?

— Хорошо, раз ты хочешь знать. Да, они из хорошего материала, очень дорогие, но они старомодны, вычурны, слишком затейливы, поношены, и, вообще, они тебе не по годам, не по фигуре, не по твоей должности. Это мне бросилось в глаза, как только я тебя увидел в первый раз, с неделю назад, тут, в прихожей.



— Ах вот оно что! Значит, они старомодны, вычурны и что там еще? А ты откуда все это знаешь?

— Просто вижу, этому учиться не надо.

— Значит, так сразу и видишь? Никого тебе спрашивать не надо, сам прекрасно понимаешь, чего требует мода. Да ты станешь для меня незаменимым, ведь красивые платья — моя слабость. Смотри, у меня гардероб полон платьев — что ты на это скажешь? — Она раздвинула створчатые дверцы, во всю ширину шкафа тесно висели платья одно за другим, по большей части это были темные платья, серые, коричневые, черные, тщательно развешанные и разглаженные. — Вот мои платья, по-твоему, они все старомодны, вычурны. Но тут только те, для которых не нашлось места в моей комнате, наверху, а там у меня еще два полных шкафа, да, два шкафа, каждый почти величиной с этот, что удивляешься?

— Нет, я так примерно и думал, потому и сказал, что ты не только хозяйка, ты нацелилась на что-то другое.

— Я только на то и целюсь, чтобы красиво одеваться, а ты, как видно, не то дурак, не то ребенок или же очень злой человек, опасный человек. Уходи, уходи же скорее!

К. вышел в прихожую, и Герстекер уже ухватил его за рукав, когда хозяйка крикнула ему вслед:

— А завтра мне принесут новое платье, может быть, я тогда пошлю за тобой!

Сердито махая рукой, словно пытаюсь заставить замолчать надоедливую хозяйку, ничего объяснять он пока не хотел, Герстекер предложил К. пойти вместе с ним. Сначала он не обратил никакого внимания, когда К. возразил, что ему теперь надо вернуться в школу. И только когда К. по-настоящему уперся, Герстекер ему сказал, чтобы он не беспокоился, все, что ему надо, он найдет у Герстека, место школьного сторожа он может бросить, а теперь пора наконец идти, целый день Герстекер его ждет, и его мать даже не знает, куда он делся. Постепенно уступая ему, К. спросил, за что он собирается давать ему стол и квартиру. Герстекер мимоходом сказал, что К. ему нужен как помощник на конюшне, у него самого есть другие дела, и пусть К. перестанет упираться и создавать лишние затруднения. Хочет получить плату — ему будут платить. Но тут К. окончательно уперся, как тот его ни тащил. Да ведь он ничего не понимает в лошадях. Это

и не нужно, нетерпеливо сказал Герстекер и с досадой сжал руки, словно упрашивая К. следовать за ним.

— Знаю я, зачем ты меня хочешь взять с собой, — сказал К., но Герстекеру дела не было до того, знает К. или нет. — Ты, видно, решил, что я могу чего-то добиться для тебя у Эрлангера.

— Конечно, — сказал Герстекер. К. расхохотался, взял Герстекера под руку и дал ему увести себя в темноту.

Горница в комнате Герстекера была смутно освещена одним огарком свечи, и при этом свете кто-то, низко согнувшись под выступающими над углом косыми потолочными балками, читал книгу. Это была мать Герстекера. Она подала К. дрожащую руку и усадила его рядом с собой; говорила она с трудом, и понимать ее было трудно, но то, что она говорила...

(На этом рукопись обрывается.)

**Процесс**

## *Глава первая*

Арест. Разговор с фрау Грубах,  
потом с фройляйн Бюрстнер

**К**то-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест. Кухарка его квартирной хозяйки, фрау Грубах, ежедневно приносившая ему завтрак около восьми, на этот раз не явилась. Такого случая еще не бывало. К. немного подождал, поглядел с кровати на старуху, живущую напротив, — она смотрела из окна с каким-то необычным для нее любопытством — и потом, чувствуя и голод, и некоторое недоумение, позвонил. Тотчас же раздался стук, и в комнату вошел какой-то человек. К. никогда раньше в этой квартире его не видел. Он был худощав и вместе с тем крепко сбит, в хорошо пригнанном черном костюме, похожем на дорожное платье — столько на нем было разных выточек, карманов, пряжек, пуговиц и сзади хлястик, — от этого костюм казался особенно практичным, хотя трудно было сразу сказать, для чего все это нужно.

— Вы кто такой? — спросил К. и приподнялся на кровати.

Но тот ничего не ответил, как будто его появление было в порядке вещей, и только спросил:

— Вы звонили?

— Пусть Анна принесет мне завтрак, — сказал К. и стал молча разглядывать этого человека, пытаясь прикинуть и сообразить, кто же он, в сущности, такой? Но тот не дал себя особенно рассматривать

и, подойдя к двери, немного приоткрыл ее и сказал кому-то, очевидно стоявшему тут же, за порогом:

— Он хочет, чтобы Анна подала ему завтрак.

Из соседней комнаты послышался короткий смешок; по звуку трудно было угадать, один там человек или их несколько. И хотя незнакомец явно не мог услышать ничего для себя нового, он заявил К. официальным тоном:

— Это не положено!

— Вот еще новости! — сказал К., соскочил с кровати и торопливо натянул брюки. — Сейчас взгляну, что там за люди в соседней комнате. Посмотрим, как фрау Грубах объяснит это вторжение.

Правда, он тут же подумал, что не стоило высказывать свои мысли вслух, — выходило так, будто этими словами он в какой-то мере признает за незнакомцем право надзора; впрочем, сейчас это было неважно. Но видно, незнакомец так его и понял, потому что сразу сказал:

— Может быть, вам лучше остаться тут?

— И не останусь, и разговаривать с вами не желаю, пока вы не скажете, кто вы такой.

— Зря обижаетесь, — сказал незнакомец и сам открыл дверь.

В соседней комнате, куда К. прошел медленнее, чем ему того хотелось, на первый взгляд со вчерашнего вечера почти ничего не изменилось. Это была гостиная фрау Грубах, загроможденная мебелью, коврами, фарфором и фотографиями; пожалуй, в ней сейчас стало немного просторнее, хотя это не сразу было заметно, тем более что главная перемена заключалась в том, что там находился какой-то человек. Он сидел с книгой у открытого окна и сейчас, подняв глаза, сказал:

— Вам следовало остаться у себя в комнате! Разве Франц вам ничего не говорил?

— Что вам, наконец, нужно? — спросил К., переводя взгляд с нового посетителя на того, кого называли Франц (он стоял в дверях), и снова на первого. В открытое окно видна была та старуха: в припадке старческого любопытства она уже перебежала к другому окну — посмотреть, что будет дальше.

— Вот сейчас я спрошу фрау Грубах, — сказал К. И хотя он стоял поодаль от тех двоих, но сделал движение, словно хотел вырваться у них из рук, и уже пошел было из комнаты.

— Нет, — сказал человек у окна, бросил книжку на столе и встал: — Вам нельзя уходить. Ведь вы арестованы.

— Похоже на то, — сказал К. и добавил: — А за что?

— Мы не уполномочены давать объяснения. Идите в свою комнату и ждите. Начало вашему делу положено, и в надлежащее время вы все узнаете. Я и так нарушаю свои полномочия, разговаривая с вами по-дружески. Но надеюсь, что, кроме Франца, никто нас не слышит, а он и сам вопреки всем предписаниям слишком любезен с вами. Если вам и дальше так повезет, как повезло с назначением стражи, то можете быть спокойны.

К. хотел было сесть, но увидел, что в комнате, кроме кресла у окна, сидеть не на чем.

— Вы еще поймете, какие это верные слова, — сказал Франц, и вдруг оба сразу подступили к нему.

Второй был много выше ростом, чем К. Он все похлопывал его по плечу. Они стали ощупывать ночную рубашку К., приговаривая, что теперь ему придется надеть рубаху куда хуже, но эту рубашку и все остальное его белье они приберегут, и, если дело обернется в его пользу, ему все отдадут обратно.

— Лучше отдайте вещи нам, чем на склад, — говорили они. — На складе вещи подменяют, а кроме того, через некоторое время все вещи распродают — все равно, окончилось дело или нет. А вы знаете, как долго тянутся такие процессы, особенно в нынешнее время! Конечно, склад вам в конце концов вернет стоимость вещей, но, во-первых, сама по себе сумма ничтожная, потому что при распродаже цену вещи назначают не по их стоимости, а за взятки, да и вырученные деньги тают, они ведь что ни год переходят из рук в руки.

Но К. даже не слушал, что ему говорят, ему неважно было, кто получит право распоряжаться его личными вещами, как будто еще принадлежавшими ему; гораздо важнее было уяснить свое положение; но в присутствии этих людей он даже думать как следует не мог: второй страж — кто же они были, как не стражи? — все время толкал его, как будто дружески, толстым животом, но когда К. подымал глаза, он видел совершенно не соответствующее этому толстому туловищу худое, костлявое лицо с крупным, свернутым набок носом и перехватывал взгляд, которым этот человек обменивался через его голову со своим товарищем. Кто же эти люди? О чем они говорят? Из какого они ведомства? Ведь К. живет в правовом государстве, всюду царит

мир, все законы незыблемы, кто же смеет нападать на него в его собственном жилище? Всегда он был склонен относиться ко всему чрезвычайно легко, признавался, что дело плохо, только когда действительно становилось очень плохо, и привык ничего не предпринимать заранее, даже если надвигалась угроза. Но сейчас ему показалось, что это неправильно, хотя все происходящее можно было почесть и за шутку, грубую шутку, которую неизвестно почему — может быть, потому, что сегодня ему исполнилось тридцать лет? — решили с ним сыграть коллеги по банку. Да, конечно, это вполне вероятно; по-видимому, следовало бы просто рассмеяться в лицо этим стражам, и они рассмеялись бы вместе с ним; а может, это просто рассылные, вполне похоже, но почему же тогда при первом взгляде на Франца он твердо решил ни в чем не уступать этим людям? Меньше всего К. боялся, что его потом упрекнут в непонимании шуток, зато он отлично помнил — хотя обычно с прошлым опытом и не считался — некоторые случаи, сами по себе незначительные, когда он в отличие от своих друзей сознательно пренебрегал возможными последствиями и вел себя крайне необдуманно и неосторожно, за что и расплачивался полностью. Больше этого с ним повториться не должно, хотя бы теперь, а если это комедия, то он им подыграет. Но пока что он еще свободен.

— Позвольте — сказал он и быстро прошел мимо них в свою комнату.

— Видно, разумный малый, — услышал он за спиной.

В комнате он тотчас же стал выдвигать ящики стола; там был образцовый порядок, но удостоверение личности, которое он искал, он от волнения никак найти не мог. Наконец он нашел удостоверение на велосипед и уже хотел идти с ним к стражам, но потом эта бумажка показалась ему неубедительной, и он снова стал искать, пока не нашел свою метрику.

Когда он возвратился в соседнюю комнату, дверь напротив отворилась, и вышла фрау Грубах. Но, увидев К., она остановилась в дверях, явно смутившись, извинилась и очень осторожно прикрыла двери.

— Входите же! — только и успел сказать К.

Сам он так и остался стоять посреди комнаты с бумагами в руках, глядя на дверь, которая не открывалась, и только возглас стражей заставил его вздрогнуть, — они сидели за столиком у открытого окна, и К. увидел, что они поглощают его завтрак.

— Почему она не вошла? — спросил он.

— Не разрешено, — сказал высокий. — Ведь вы арестованы.

— То есть как — арестован? Разве это так делается?

— Опять вы за свое, — сказал тот и обмакнул хлеб в баночку с медом. — Мы на такие вопросы не отвечаем.

— Придется ответить, — сказал К. — Вот мои документы, а вы предъявите свои, и первым делом — ордер на арест.

— Господи, твоя воля! — сказал высокий. — Почему вы никак не можете примириться со своим положением? Нет, вам непременно надо злить нас, и совершенно зря, ведь мы вам сейчас самые близкие люди на свете!

— Вот именно, — сказал Франц, — можете мне поверить, — он посмотрел на К. долгим и, должно быть, многозначительным, но непонятным взглядом поверх чашки с кофе, которую держал в руке.

Сам того не желая, К. ответил Францу таким же выразительным взглядом, но тут же хлопнул по своим документам и сказал:

— Вот мои бумаги.

— Да какое нам до них дело! — крикнул высокий. — Право, вы ведете себя хуже ребенка. Чего вы хотите? Неужто вы думаете, что ваш огромный, страшный процесс закончится скорее, если вы станете спорить с нами, с вашей охраной, о всяких документах, об ордерах на арест? Мы — низшие чины, мы и в документах почти ничего не смыслим, наше дело — стеречь вас ежедневно по десять часов и получать за это жалованье. К этому мы и приставлены, хотя, конечно, мы вполне можем понять, что высшие власти, которым мы подчиняемся, прежде чем отдать распоряжение об аресте, точно устанавливают и причину ареста, и личность арестованного. Тут ошибок не бывает. Наше ведомство — насколько оно мне знакомо, хотя мне там знакомы только низшие чины, — никогда, по моим сведениям, само среди населения виновных не ищет: вина, как сказано в законе, сама притягивает к себе правосудие, и тогда властям приходится посылать нас, то есть стражу. Таков закон. Где же тут могут быть ошибки?

— Не знаю я такого закона, — сказал К.

— Тем хуже для вас, — сказал высокий.

— Да он и существует только у вас в голове, — сказал К. Ему очень хотелось как-нибудь проникнуть в мысли стражей, изменить их в свою пользу или самому проникнуться этими мыслями. Но высокий только отрывисто сказал:



— Вы его почувствуете на себе.

Тут вмешался Франц:

— Вот видишь, Виллем, он признался, что не знает закона, а сам при этом утверждает, что невиновен.

— Ты совершенно прав, но ему ничего не объяснишь, — сказал тот.

К. больше не стал с ними разговаривать; неужели, подумал он, я дам сбить себя с толку болтовней этих низших чинов — они сами так себя называют. И говорят они о вещах, в которых совсем ничего не смыслят. А самоуверенность у них просто от глупости. Стоит мне обменяться хотя бы двумя-тремя словами с человеком моего круга, и все станет несравненно понятнее, чем длиннейшие разговоры с этими двумя. Он прошелся несколько раз по комнате, увидел, что старуха напротив уже притащила к окну еще более древнего старика и стоит с ним в обнимку. Надо было прекратить это зрелище.

— Проведите меня к вашему начальству, — сказал он.

— Не раньше, чем начальству будет угодно, — сказал страж, которого звали Виллем. — А теперь, — добавил он, — я вам советую пройти к себе в комнату и спокойно дожидаться, что с вами решат сделать. И наш вам совет: не расходуйте силы на бесполезные рассуждения, лучше соберитесь с мыслями, потому что к вам предъявят большие требования. Вы отнеслись к нам не так, как мы заслужили своим обращением, вы забыли, что, кем бы вы ни были, мы по крайней мере по сравнению с вами, люди свободные, а это немалое преимущество. Однако если у вас есть деньги, мы готовы принести вам завтрак из кафе напротив.

К. немного постоял, но на это предложение ничего не ответил. Может быть, если он откроет дверь в соседнюю комнату или даже в прихожую, эти двое не посмеют его остановить; может быть, самое простое решение — пойти напролом? Но ведь они могут его схватить, а если он потерпит такое унижение, тогда пропадет его превосходство над ними, которое он в некотором отношении еще сохранил. Нет, лучше дождаться развязки — она должна прийти сама собой, в естественном ходе вещей; поэтому К. прошел к себе в комнату, не обменявшись больше со стражами ни единым словом.

Он бросился на кровать и взял с умывальника прекрасное яблоко — он припас его на завтрак еще с вечера. Другого завтрака у него сейчас не было, и, откусив большой кусок, он уверил себя, что это куда лучше, чем завтрак из грязного ночного кафе напротив, кото-

рый он мог бы получить по милости своей стражи. Он чувствовал себя хорошо и уверенно; правда, он на полдня опаздывал в банк, где служил, но при своей сравнительно высокой должности, какую он занимал, ему простят это опоздание. Не привести ли в оправдание истинную причину? Он так и решил сделать. Если же ему не поверят, чему он нисколько не удивится, то он сможет сослаться на фрау Грубах или на тех стариков напротив — сейчас они, наверно, уже переходят к другому своему окошку. К. был удивлен, вернее, он удивлялся, становясь на точку зрения стражи: как это они прогнали его в другую комнату и оставили одного там, где он мог десятком способов покончить с собой? Однако он тут же подумал, уже со своей точки зрения: какая же причина могла бы его на это толкнуть? Неужели то, что рядом сидят двое и поедают его завтрак? Покончить с собой было бы настолько бессмысленно, что при всем желании он не мог бы совершить такой бессмысленный поступок. И если бы умственная ограниченность этих стражей не была столь очевидна, то можно было бы предположить, что и они пришли к такому же выводу и поэтому не видят никакой опасности в том, что оставили его одного. Пусть бы теперь посмотрели, если им угодно, как он подходит к стенному шкафчику, где спрятан отличный коньяк, опрокидывает первую рюмку взамен завтрака, а потом и вторую — для храбрости, на тот случай, если храбрость понадобится, что, впрочем, маловероятно.

Но тут он так испугался окрика из соседней комнаты, что зубы лязгнули о стекло.

— Вас вызывают к инспектору! — крикнули оттуда.

Его напугал именно крик, этот короткий отрывистый солдатский окрик, какого он никак не ожидал от Франца. Сам же приказ его очень обрадовал.

— Наконец-то! — крикнул он, запер стенной шкафчик и побежал в гостиную. Но там его встретили оба стража и сразу, будто так было нужно, загнали обратно в его комнату.

— Вы с ума сошли! — крикнули они. В рубахе идти к инспектору! Он и вас прикажет высечь, и нас тоже!

— Пустите меня, черт побери! — крикнул К., которого уже оттеснили к самому гардеробу. — Напали на человека в кровати, да еще ждут, что он будет во фраке!

— Ничего не поделаешь! — сказали оба; всякий раз, когда К. подымал крик, они становились не только совсем спокойными, но да-

же какими-то грустными, что очень сбивало его с толку, но отчасти и успокаивало.

— Смешные церемонии! — буркнул он, но сам уже снял пиджак со стула и подержал в руках, словно предоставляя стражам решать, подходит ли он.

Те покачали головой.

— Нужен черный сюртук, — сказали они.

К. бросил пиджак на пол и сказал, сам не зная, в каком смысле он это говорит:

— Но ведь дело сейчас не слушается?

Стражи ухмыльнулись, но упрямо повторили:

— Нужен черный сюртук.

— Что ж, если этим можно ускорить дело, я не возражаю, — сказал К., — сам открыл шкаф, долго рылся в своей многочисленной одежде, выбрал лучшую черную пару — она сидела так ловко, что вызвала прямо-таки восхищение знакомых, — достал свежую рубашку и стал одеваться со всей тщательностью. Втайне он подумал, что больше задержек не будет — стража забыла даже заставить его принять ванну. Он следил за ними — а вдруг они все-таки вспомнят, но им, разумеется, и в голову это не пришло, хотя Виллем не забыл послать Франца к инспектору доложить, что К. уже одевается.

Когда он оделся окончательно, Виллем, идя за ним по пятам, провел его через пустую гостиную в следующую комнату, куда уже широко распахнули двери. К. знал точно, что в этой комнате недавно поселилась некая фройляйн Бюрстнер, машинистка; она очень рано уходила на работу, поздно возвращалась домой, и К. только обменивался с ней обычными приветствиями. Теперь ее ночной столик был выдвинут для допроса на середину комнаты, и за ним сидел инспектор. Он скрестил ноги и закинул одну руку на спинку стула.

В углу комнаты стояли трое молодых людей — они разглядывали фотографии фройляйн Бюрстнер, воткнутые в плетеную циновку на стене. На ручке открытого окна висела белая блузка. В окно напротив уже высунулись те же старики, но зрителей там прибавилось: за их спинами возвышался огромный мужчина в раскрытой на груди рубашке, который все время крутил и вертел свою рыжеватую бородку.

— Йозеф К.? — спросил инспектор, должно быть, только для того, чтобы обратить на себя рассеянный взгляд К.

К. наклонил голову.

— Должно быть, вас очень удивили события сегодняшнего утра? — спросил инспектор и обеими руками пододвинул к себе немногие вещи, лежавшие на столике, — свечу со спичками, книжку, подушечку для булавок, как будто эти предметы были ему необходимы при опросе.

— Конечно, — сказал К., и его охватило приятное чувство: наконец перед ним разумный человек, с которым можно поговорить о своих делах. — Конечно, я удивлен, но, впрочем, и не очень удивлен.

— Не очень? — переспросил инспектор и, передвинув свечу на середину столика, начал расставлять вокруг нее остальные вещи.

— Возможно, что вы не так меня поняли, — заторопился К. — Я только хотел сказать... — Тут он осекся и стал искать, куда бы ему сесть. — Мне можно сесть? — спросил он.

— Это не полагается, — ответил инспектор.

— Я только хотел сказать, — продолжал К. без задержки, — что я, конечно, очень удивлен, но когда проживешь тридцать лет на свете, да еще если пришлось самому пробиваться в жизни, как приходилось мне, то поневоле привыкаешь ко всяким неожиданностям и не принимаешь их слишком близко к сердцу. Особенно такие, как сегодня.

— Почему особенно такие, как сегодня?

— Нет, я не говорю, что все считаю шуткой, по-моему, для шутки это слишком далеко зашло. Очевидно, в этом принимали участие все обитатели пансиона, да и все вы, а это уже переходит границы шутки. Так что не думаю, чтоб это была просто шутка.

— И правильно, — сказал инспектор и посмотрел, сколько спичек осталось в коробке.

— Но, с другой стороны, — продолжал К., обращаясь ко всем присутствующим — ему хотелось привлечь внимание и тех троих, рассматривавших фотографии, — с другой стороны, особого значения все это иметь не может. Вывожу я это из того, что меня в чем-то обвиняют, но ни малейшей вины я за собой не чувствую. Но и это не имеет значения, главный вопрос — кто меня обвиняет? Какое ведомство ведет дело? Вы чиновники? Но на вас нет формы, если только ваш костюм, — тут он обратился к Францу, — не считать формой, но ведь это, скорее, дорожное платье. Вот в этом вопросе я требую ясности, и я уверен, что после выяснения мы все расстанемся друзьями.

Тут инспектор со стуком положил спичечный коробок на стол.

— Вы глубоко заблуждаетесь, — сказал он. — И эти господа, и я сам — все мы никакого касательства к вашему делу не имеем. Больше того, мы о нем почти ничего не знаем. Мы могли бы носить самую настоящую форму, и ваше дело от этого ничуть не ухудшилось бы. Я даже не могу вам сказать, что вы в чем-то обвиняетесь, вернее, мне об этом ничего не известно. Да, вы арестованы, это верно, но больше я ничего не знаю. Может быть, вам стража чего-нибудь наболтала, но все это пустая болтовня. И хотя я не отвечаю на ваши вопросы, но могу вам посоветовать одно: поменьше думайте о нас и о том, что вас ждет, думайте лучше, как вам быть. И не кричите вы так о своей невиновности, это нарушает то, в общем, неплохое впечатление, которое вы производите. Вообще вам надо быть сдержаннее в разговорах. Все, что вы тут наговорили, и без того было ясно из вашего поведения, даже если бы вы произнесли только два слова, а кроме того, все это вам на пользу не идет.

К. в недоумении смотрел на инспектора. Его отчитывают, как школьника, и кто же? Человек, который, вероятно, моложе его! За откровенность ему приходится выслушивать выговор! А о причине ареста, о том, кто велел его арестовать, — ни слова! Он даже разволновался, стал ходить взад и вперед по комнате, чему никто не препятствовал. Сдвинул под рукав манжеты, поправил манишку, пригладил волосы, сказал, проходя мимо трех молодых людей: «Какая бессмыслица!», на что те обернулись к нему и сочувственно, хотя и строго, посмотрели на него, и наконец остановился перед столиком инспектора.

— Прокурор Гастерер — мой давний друг, — сказал он. — Можно мне позвонить ему?

— Конечно, — ответил инспектор, — но я не знаю, какой в этом смысл, разве что вам надо переговорить с ним по личному делу.

— Какой смысл? — воскликнул К. скорее озадаченно, чем сердито. — Да кто вы такой? Ищете смысл, а творите такую бессмыслицу, что и не придумаешь. Да тут камни возопят! Сначала эти господа на меня напали, а теперь расселись, стоят и глазют всем скопом, как я пляшу под вашу дудку. И еще спрашиваете, какой смысл звонить прокурору, когда мне сказано, что я арестован! Хорошо, я не буду звонить!

— Отчего же? — сказал инспектор и повел рукой в сторону передней, где висел телефон. — Звоните, пожалуйста!

— Нет, теперь я сам не хочу, — сказал К. и подошел к окну.

Вся компания еще стояла у окна напротив, но то, что К. подошел к окну, нарушило их спокойное созерцание.

Старики хотели было встать, но мужчина, стоявший сзади, успокоил их.

— А эти там тоже глазают! — громко крикнул К. инспектору и ткнул пальцем в окно. — Убирайтесь оттуда! — закричал он в окошко.

Те трое сразу отступили вглубь, старики даже спрятались за соседа, прикрывшего их своим большим телом, и по его губам было видно, как он им что-то говорил, но издали трудно было разобрать слова. Однако они не ушли совсем, а словно выжидали минуту, когда можно будет незаметно опять подойти к окну.

— Какая назойливость, какая бесцеремонность — сказал К., отходя от окна.

Инспектор как будто с ним согласился, по крайней мере так показалось К., когда он искоса на него взглянул. Впрочем, возможно, что тот и не слушал, потому что он плотно прижал ладонь к столику и как будто сравнивал длину своих пальцев. Оба стража сидели на сундуке, прикрытом для красоты ковриком, и потирали колени. Трое молодых людей, уперев руки в бока, бесцельно смотрели по сторонам. Было тихо, словно в какой-нибудь опустевшей конторе.

— Ну-с, господа! — воскликнул К., и ему показалось, что он отвечает за них за всех. — По вашему виду можно заключить, что мое дело исчерпано. Я склонен считать, что лучше всего не разбираться, оправданны или неоправданны ваши поступки, и мирно разойтись, обменявшись дружеским рукопожатием. Если вы со мной согласны, то прошу вас... — И, подойдя к столику инспектора, он протянул ему руку.

Инспектор поднял глаза и, покусывая губы, посмотрел на протянутую руку. К. подумал, что он ее сейчас пожмет. Но тот встал, взял круглую жесткую шляпу, лежавшую на постели фройляйн Бюрстнер, и осторожно, обеими руками, как меряют обычно новые шляпы, надел ее на голову.

— Как просто вы все себе представляете! — сказал он К. — Значит, по-вашему, нам надо мирно разойтись? Нет, нет, так не выйдет. Но я вовсе не хочу сказать, что вы должны впасть в отчаяние. Нет, зачем же! Ведь вы только арестованы, больше ничего. Что я и должен был вам сообщить, сообщил и видел, как вы это приняли. На сегодня

хватит, и мы можем попроситься — правда, только на время. Вероятно, вы захотите сейчас отправиться в банк?

— В банк? — спросил К. — Но я думал, что меня арестовали!

К. сказал это с некоторым вызовом: несмотря на то, что его рукопожатие отвергли, он чувствовал, особенно когда инспектор встал, что он все меньше зависит от этих людей. Он с ними играл. Он даже решил, если они уйдут, побежать за ними до ворот и предложить, чтобы они его арестовали. Поэтому он и повторил:

— Как же я могу пойти в банк, раз я арестован?

— Вот оно что! — сказал инспектор уже от дверей. — Значит, вы меня не поняли. Да, конечно, вы арестованы, но это не должно помешать выполнению ваших обязанностей. И вообще вам это не должно мешать вести обычную жизнь...

— Ну тогда этот арест вовсе не так страшен, — сказал К. и подошел вплотную к инспектору.

— А я иначе и не думал, — сказал тот.

— Тогда и сообщать об аресте, пожалуй, не стоило, — сказал К. и подошел совсем вплотную.

Остальные тоже подошли к ним. Все столпились у самой двери.

— Это была моя обязанность, — сказал инспектор.

— Глупейшая обязанность, — не сдаваясь, сказал К.

— Возможно, — сказал инспектор, — но не стоит терять время на такие разговоры. Я предположил, что вы хотите пойти в банк. Так как вы каждому слову придаете значение, добавлю: я вас не заставляю идти в банк, я только предположил, что вы этого хотите. И чтобы облегчить вам этот шаг и сделать ваш приход по возможности незаметным, я и предоставил в ваше распоряжение этих трех господ, ваших коллег.

— Что? — крикнул К. и уставился на трех молодых людей.

Эти ничем не приметные худосочные юнцы, которых он воспринимал до сих пор только как посторонних людей, глазеющих на фотографии, действительно были чиновники из его банка; не коллеги — это было слишком сильно сказано и доказывало, что всеведущий инспектор знает далеко не все, — но действительно, это были низшие служащие из его банка. И как это К. мог их не узнать? Насколько же он был занят разговором с инспектором и стражей, что не узнал этих троих! Суховатого Рабенштейнера, вечно размахивающего руками, белокурого Куллиха с запавшими глазами и Каминера с его невыносимой улыбкой из-за хронически перекошенных мускулов лица.

— С добрым утром! — сказал К. минутой спустя, и все трое с корректным поклоном пожали протянутую руку. — Совсем вас не узнал. Значит, теперь отправимся вместе на работу?

Все трое с готовностью заулыбались и закивали, словно только этого и дожидались, а когда К. не нашел своей шляпы — она осталась в его комнате, — они все гуськом побежали туда, что, разумеется, указывало на некоторую растерянность. К. стоял и смотрел им вслед через обе открытые двери; последним, конечно, бежал равнодушный Рабенштейнер, он просто трусил элегантно рысцой. Каминер подал шляпу, и К. должен был напомнить самому себе, как часто бывало и в банке, что Каминер улыбается не нарочно, больше того, что улыбнуться нарочно он не может.

Фрау Грубах, у которой вид был вовсе не виноватый, отперла двери в прихожей перед всей компанией, и К. по привычке взглянул на завязки фартука, которые слишком глубоко врезались в ее мощный стан. На улице К. поглядел на часы и решил взять такси, чтобы не затягивать еще больше получасовое опоздание. Каминер побежал на угол за такси, а оба других сослуживца явно пытались развлечь К. И вдруг Куллих показал на парадное в доме напротив, откуда только что вышел высокий человек со светлой бородкой и, несколько смущенный тем, что его видно во весь рост, отступил назад и прислонился к стенке. Очевидно, старики еще спускались по лестнице. К. рассердился на Куллиха за то, что тот обратил его внимание на этого мужчину; он же сам видел его еще тогда, у окна, более того, он ждал, что тот выйдет.

— Не смотрите туда! — отрывисто бросил он, не замечая, насколько неуместен такой тон по отношению к взрослым людям.

Но объяснять ничего не пришлось, потому что подошел автомобиль, все уселись и поехали. Только тут К. спохватился, что он совершенно не заметил, как ушел инспектор со стражей: раньше из-за инспектора он не видел троих чиновников, а теперь из-за чиновников прозевал инспектора. Об особом присутствии духа это не свидетельствовало, и К. твердо решил последить за собой в этом отношении.

Но он невольно обернулся и высунулся из такси, чтобы проверить еще раз, там ли инспектор со стражей или нет. Однако он тут же повернулся назад и удобно откинулся в угол, даже не посмотрев, там ли они. Хоть он и не показывал виду, но именно сейчас ему хотелось



бы с кем-нибудь заговорить. Но его спутники явно устали: Рабенштейнер смотрел направо, Куллих — налево, и только Каминер как будто был готов к разговору, со своей вечной ухмылкой, над которой, к сожалению, нельзя было подтрунить из простого человеколюбия.

Этой весной К. большей частью проводил вечера так: после работы, если еще оставалось время — чаще всего он сидел в конторе до девяти, — он прогуливался один или с кем-нибудь из сослуживцев, а потом заходил в пивную, где обычно просиживал с компанией пожилых господ за их постоянным столом часов до одиннадцати. Бывали и нарушения этого расписания, например, когда директор банка, очень ценивший К. за его работоспособность и надежность, приглашал его покататься в автомобиле или поужинать на даче. Кроме того, К. раз в неделю посещал одну барышню по имени Эльза, которая всю ночь до утра работала кельнершей в ресторане, а днем принимала гостей исключительно в постели.

Но в этот вечер — весь день пролетел незаметно в напряженной работе и во всяких лестных и дружественных поздравлениях с днем рождения — К. решил сразу пойти домой. Каждый раз в перерывах между работой он об этом думал; неизвестно почему, ему все время казалось, что из-за утренних событий во всей квартире фрау Грубах царит ужасный хаос и что именно он должен навести там порядок. А раз порядок будет восстановлен, то все следы утренних событий исчезнут и все пойдет по-прежнему. Опасаться тех трех чиновников, конечно, было нечего: они растворились в огромной массе банковских служащих, и по ним ничего заметно не было. К. несколько раз, и вместе и поодиночке, вызывал их к себе с единственной целью — понаблюдать за ними, и каждый раз он отпускал их вполне удовлетворенный.

Когда он в половине десятого подошел к своему дому, он встретил в подъезде молодого парня, который стоял, широко расставив ноги, с трубкой в зубах.

— Вы кто такой? — сразу спросил К. и надвинулся на парня; в полутемном подъезде трудно было что-либо разглядеть.

— Я сын швейцара, ваша честь, — сказал парень, вынул трубку изо рта и отступил в сторону.

— Сын швейцара? — переспросил К. и нетерпеливо постучал палкой об пол.

— Может быть, вам что-нибудь угодно? Прикажете позвать отца?

— Нет, нет, — сказал К., и в голосе его послышалось что-то похожее на снисхождение, словно парень натворил бед, а он его простил. — Все в порядке, — добавил он и пошел дальше, но, прежде чем подняться на лестницу, еще раз оглянулся.

Он мог бы пройти прямо к себе в комнату, но, так как ему надо было поговорить с фрау Грубах, он сразу постучался к ней. Она сидела с чулком в руках у стола, на котором лежала еще груда старых чулок. К. рассеянно извинился, что зашел так поздно, но фрау Грубах была с ним очень приветлива и никаких извинений слушать не захотела; для него она всегда дома, он отлично знает, что из всех ее квартирантов он самый лучший, самый любимый. К. оглядел комнату: все было на старом месте, посуда от завтрака, стоявшая утром на столике у окна, тоже была убрана. Женские руки все могут сделать незаметно, подумал он; сам он, наверно, скорее перебил бы всю посуду, но уж, конечно, не сумел бы унести ее отсюда. С благодарностью он посмотрел на фрау Грубах.

— Почему вы так поздно работаете? — спросил он.

Теперь они оба сидели у стола, и К. время от времени ворошил рукой груду чулок.

— Работы много, — сказала она. — Весь день уходит на квартирантов, а приводить свои вещи в порядок я могу только по вечерам.

— Сегодня я, наверно, доставил вам много лишних хлопот?

— Чем же это? — спросила она, оживившись, и опустила чулок на колени.

— Я про тех людей, которые приходили утром.

— Ах, вот оно что, — сказала она прежним спокойным голосом. — Нет, никаких особых хлопот тут не было.

К. молча смотрел, как она снова взялась за чулок. Кажется, она удивлена, что я об этом заговорил, подумал он, кажется, она считает неправильным, что я об этом заговорил. Тем важнее все ей высказать. Только с таким старым человеком я и могу об этом поговорить.

— Ну как же, — сказал он вслух, — хлопот вам они, конечно, доставили немало. Но больше это не случится!

— Да, больше такое случиться не может, — подтвердила она и взглянула на К. с немного грустной улыбкой.

— Вы серьезно так думаете? — спросил К.

— Да, — сказала она тихо. Но главное — вы не должны принимать все это близко к сердцу. Чего только на свете не бывает! И уж раз

вы со мной так откровенно заговорили, господин К., то могу вам признаться: я кое-что подслушала под дверью, да и стража мне немножко рассказала. Ведь речь идет о вашей судьбе, и я за вас душой болею, хоть, может быть, мне это и не пристало, ведь я вам всего лишь квартирная хозяйка. Так вот, я кое-что слышала и не могу сказать, что все так плохо. Нет, нет. Правда, вы арестованы, но не так, как арестовывают воров. Когда арестовывают вора, дело плохо, а вот ваш арест... мне кажется, в нем есть что-то научное. Вы уж меня простите, если я говорю глупости, но мне кажется, тут, безусловно, есть что-то научное. Я, правда, мало что понимаю, но, наверно, тут и понимать не следует.

— *Вовсе это не глупости, фрау Грубах, по крайней мере я с вами отчасти согласен. Правда, я сужу об этом гораздо строже, чем вы, для меня тут не только ничего научного нет, но и вообще за всем этим нет ничего. На меня напали врасплох, вот и все. Если бы я встал с постели, как только проснулся, не растерялся бы оттого, что не пришла Анна, не обратил бы внимания, попался мне кто навстречу или нет, а сразу пошел бы к вам и на этот раз в виде исключения позавтракал бы на кухне, а вас попросил бы принести мое платье из комнаты, тогда ничего и не произошло бы, все, что потом случилось, было бы задушено в корне. Но в таких делах человек легко попадает впросак. Вот, например, в банке я ко всему подготовлен, там ничего подобного со мной случиться не могло бы, там у меня свой курьер, на столе стоит городской телефон, все время заходят люди — и служащие, и клиенты, да кроме того, я там все время связан с работой, во всем отдаю себе отчет, там такая история мне просто доставила бы удовольствие. Ну ничего, теперь все кончилось. Собственно говоря, мне даже не хотелось об этом говорить, надо было только услышать ваше мнение, мнение разумной женщины, и я чрезвычайно рад, что мы во всем с вами сошлись. А теперь давайте руку, такое единодушие надо скрепить рукопожатием.*

«Интересно, подаст она мне руку или нет? Инспектор мне руки не подал», — подумал он и посмотрел на хозяйку долгим, испытующим взглядом. Она встала, потому что встал он, слегка смущенная тем, что не все слова К. ей были понятны. И от смущения она сказала вовсе не то, что хотела и что было совсем уж неуместно.

— Не принимайте все так близко к сердцу, господин К., — сказала она со слезами в голосе, но пожать ему руку забыла.

— Да я как будто и не принимаю, — сказал К., чувствуя внезапную усталость и поняв, насколько ему не нужно сочувствие этой женщины.

У двери он еще спросил:

— А фройляйн Бюрстнер дома?

— Нет, — сказала фрау Грубах и смягчила сухой ответ запоздалой, участливой и понимающей улыбкой. — Она в театре. А вам она нужна? Может быть, передать ей что-нибудь?

— Нет, мне просто хотелось сказать ей несколько слов.

— К сожалению, я не знаю, когда она вернется. Обычно она возвращается из театра довольно поздно.

— Это неважно, — сказал К. и, опустив голову, пошел к двери. — Я только хотел извиниться, что сегодня пришлось воспользоваться ее комнатой.

— Не стоит, господин К., вы слишком шепетильны, ведь барышня ничего об этом не знает, ее с самого утра дома не было, да там все уже убрано, посмотрите сами. — И она открыла дверь в комнату фройляйн Бюрстнер.

— Не надо, я вам и так верю, — сказал К., но все же подошел к открытой двери.

Луна спокойно освещала темную комнату. Насколько можно было разобрать, все действительно стояло на месте, даже блузка уже не висела на оконной ручке. Постель казалась особенно высокой в косяк полосе лунного света.

— Барышня часто приходит поздно, — сказал К. и посмотрел на фрау Грубах, как будто она за это отвечала.

— Молодежь, что поделаешь! — сказала фрау Грубах, словно извиняясь.

— Да, да, конечно, — сказал К. — Но это может зайти слишком далеко.

— О да, конечно! — сказала фрау Грубах. — Вы совершенно правы, господин К. Может быть, и в данном случае вы тоже правы. Не хочу сплетничать про фройляйн Бюрстнер, она хорошая, славная девушка, такая приветливая, аккуратная, исполнительная, трудолюбивая, я все это очень ценю, но одно верно: надо бы ей больше гордости, больше сдержанности. А в этом месяце я уже два раза видела ее в глухих переулках, и каждый раз с другим кавалером. Очень мне это неприятно, господин К. Клянусь Богом, я рассказываю это только

вам одному, но, как видно, придется и с самой барышней поговорить. Да и не одно это вызывает у меня подозрения.

— Вы глубоко заблуждаетесь, — сказал К. сердито, с трудом скрывая раздражение, — и вообще вы неверно истолковали мои слова про барышню, я совсем не то хотел сказать. Искренне советую вам ничего ей не говорить. Вы глубоко заблуждаетесь, я ее знаю очень хорошо, и все, что вы говорите, неправда! Впрочем, может быть, я слишком много беру на себя, зачем мне вмешиваться, говорите ей, что хотите. Спокойной ночи!

— Господин К.! — умоляюще сказала фрау Грубах и побежала за К. до самой его двери, которую он уже приоткрыл. — Да я вовсе и не собираюсь сейчас говорить с барышней, конечно, я сначала должна еще понаблюдать за ней, ведь я только вам доверила то, что я знаю. В конце концов каждый жилец заинтересован, чтобы в пансионе все было чисто, а я только к этому и стремлюсь!

— Ах, чисто! — крикнул К. уже в щелку двери. — Ну если вы хотите соблюдать чистоту в вашем пансионе, так откажите от квартиры мне первому! — Он захлопнул двери и не ответил на робкий стук.

Но спать ему совсем не хотелось, и он решил не ложиться и на этот раз установить, когда вернется фройляйн Бюрстнер. И быть может, ему удастся сказать ей несколько слов, хотя время совсем неподходящее. Высунувшись в окно и щуря усталые глаза, он даже на минуту подумал, не наказать ли фрау Грубах, уговорив фройляйн Бюрстнер вместе с ним съехать с квартиры. Но он тут же понял, что слишком все преувеличивает, и даже заподозрил себя в том, что ему просто хочется переменить квартиру после утренних событий. Ничего бессмысленнее, а главное, ничего бесцельнее и бездарнее нельзя было и придумать.

Когда ему надоело смотреть на пустую улицу, он прилег на кушетку, но сначала приоткрыл дверь в прихожую, чтобы, не вставая, видеть всех, кто войдет в квартиру. Часов до одиннадцати он пролежал спокойно на кушетке, покуривая сигару. Но потом не выдержал и вышел в прихожую, как будто этим можно было ускорить приход фройляйн Бюрстнер. У него не было никакой охоты ее видеть, он даже не мог точно вспомнить, как она выглядит, но ему нужно было с ней поговорить, и его раздражало, что из-за ее опоздания даже конец дня вышел такой беспокойный и беспорядочный. Виновата она была и в том, что он не поужинал и пропустил визит к Эльзе, назначенный на

сегодня. Конечно, можно было бы наверстать упущенное и пойти в ресторанчик, где работала Эльза. Он решил, что после разговора с фройляйн Бюрстнер он так и сделает.

Уже пробило половину двенадцатого, когда на лестнице раздались чьи-то шаги. К. так ушел в свои мысли, что с громким топотом расхаживал по прихожей, как по своей комнате, но тут он торопливо нырнул к себе. В прихожую вошла фройляйн Бюрстнер. Заперев дверь, она зябко закутала узкие плечи шелковой шалью. Еще миг, и она скроется в своей комнате, куда К. в этот полуночный час, разумеется, войти не мог. Значит, ему надо было заговорить с ней сразу; но, к несчастью, он забыл зажечь свет у себя в комнате, и, если бы он сейчас вышел оттуда, из темноты, это походило бы на нападение. Во всяком случае, он мог очень напугать ее. В растерянности, боясь потерять время, он прошептал сквозь дверную щелку:

— Фройляйн Бюрстнер! — этот возглас прозвучал как мольба, а не как оклик.

— Кто тут? — спросила фройляйн Бюрстнер, испуганно оглядываясь.

— Это я! — сказал К. и вышел к ней.

— Ах, господин К.! — с улыбкой сказала фройляйн Бюрстнер. — Добрый вечер! — И она протянула ему руку.

— Я хотел бы сказать вам несколько слов сейчас, вы разрешите?

— Сейчас? — сказала фройляйн Бюрстнер. — Именно сейчас? Как-то странно, правда?

— Я вас жду с девяти часов.

— Ведь я была в театре, вы же меня не предупредили.

— Но повод к нашему разговору возник только сегодня.

— Ах так! Ну что ж, в сущности я не возражаю, вот только устала я до смерти. Зайдите на минутку ко мне. Тут нам разговаривать нельзя, мы весь дом перебудим, а мне не то что жаль этих людей, а неловко за нас самих. Погодите, сейчас я зажгу у себя свет, а вы тут потушите.

К. так и сделал и выжидал, пока фройляйн Бюрстнер шепотом еще раз позвала его к себе.

— Садитесь, — сказала она и показала на диван, а сама осталась стоять у кровати, несмотря на то что она, по ее словам, очень устала; даже свою маленькую, в изобилии украшенную цветами шляпку она не сняла. — Так что же вы хотели сказать? Мне, право, любопытно.

Она слегка скрестила ноги.

— Возможно, вы опять скажете, — начал К., — что дело не такое уж срочное и сейчас слишком поздно для обсуждений, но...

— Эти вступления мне всегда кажутся лишними, — сказала фройляйн Бюрстнер.

— Это облегчает мою задачу, — сказал К. — Сегодня утром, отчасти по моей вине, в вашей комнате наделали беспорядок, притом чужие люди, против моей воли, но, как я уже упомянул, по моей вине; за это я и хотел перед вами извиниться.

— В моей комнате? — переспросила фройляйн Бюрстнер, испытующе глядя не на комнату, а на самого К.

— Вот именно, — сказал К., и тут они оба впервые взглянули друг другу в глаза. — Но о причине всего происшедшего и говорить не стоит.

— Да это же самое интересное! — сказала фройляйн Бюрстнер.

— Нет, — сказал К.

— Что ж, — сказала фройляйн Бюрстнер, — не буду вторгаться в ваши тайны, и, если вы утверждаете, что это неинтересно, я вам возражать не собираюсь. И я вас охотно прощаю, раз вы об этом просите, особенно потому, что никаких следов беспорядка я не вижу.

Крепко прижав опущенные руки к бедрам, она обошла всю комнату. У циновки с фотографиями она остановилась.

— Смотрите-ка! — воскликнула она. — Все мои фотографии разбросаны. Фу, как нехорошо! Значит, кто-то хозяйничал в моей комнате.

К. только наклонил голову, проклиная в душе чиновника Каминера за то, что он никогда не мог сдержать свою бестолковую, бессмысленную суетливость.

— Странно, — сказала фройляйн Бюрстнер, — странно, что мне приходится запрещать вам именно то, что вы сами должны были бы запретить себе: в мое отсутствие входить ко мне в комнату.

— Я уже объяснил вам, фройляйн, — сказал К. и подошел к фотографиям, — ваши фотографии разбросал не я; но так как вы мне не верите, то придется признаться, что следственная комиссия привела трех банковских чиновников и один из них — я его при ближайшей возможности выставлю из банка — очевидно, перебирал ваши фотографии. Да, здесь была следственная комиссия, — добавил К. в ответ на вопросительный взгляд фройляйн Бюрстнер.

— Из-за вас? — спросила она.

— Да, — ответил К.

— Быть не может! — воскликнула барышня и рассмеялась.

— Может, — сказал К. — разве вы считаете, что на мне никакой вины нет?

— Ну как сказать — никакой! — ответила барышня. — Не буду высказывать мнение, которое может иметь серьезные последствия, да я вас и не настолько знаю, но срочно присылать на дом следственную комиссию, наверно, стали бы лишь из-за тяжкого преступника. А так как вы на свободе и, судя по вашему спокойствию, из тюрьмы не удирали, значит, никакого тяжкого преступления вы совершить не могли.

— Да, — сказал К., — но ведь следственная комиссия могла установить, что я невиновен или, во всяком случае, не настолько виновен, как предполагалось.

— Конечно, и так может быть, — в раздумье сказала фройляйн Бюрстнер.

— Вот видите, — сказал К. — Очевидно, вы не очень-то разбираетесь в судебной процедуре.

— Нет, конечно, — сказала фройляйн Бюрстнер, — и часто об этом жалею, мне хотелось бы все знать, и как раз судебные дела меня особенно интересуют. Суд вообще страшно увлекательное дело, правда? Но я, конечно, пополню свои знания в этой области: с будущего месяца я поступаю в канцелярию адвоката.

— Очень хорошо! — сказал К. — Тогда вы мне хоть немного поможете в моем процессе.

— Вполне возможно, — очень сосредоточенно сказала фройляйн Бюрстнер. — Почему бы и нет? Я очень люблю применять свои знания на практике.

— Нет, я серьезно, — сказал К., — или, во всяком случае, полусерьезно, как и вы. Привлекать адвоката не стоит — дело слишком мелкое, но советчик мне очень может понадобиться.

— Да, но, если мне стать вашим советчиком, я должна знать, о чем идет речь, — сказала фройляйн Бюрстнер.

— В этом-то и загвоздка, — сказал К., — я сам ничего не знаю!

— Значит вы надо мной подшутили, — сказала фройляйн Бюрстнер глубоко разочарованным тоном. — Но выбирать для шуток такое позднее время совсем неуместно. — И она отошла от стены с фотографиями, где стояла рядом с К.



— Что вы, что вы! — сказал К. — Я вовсе не шучу. Странно, что вы мне не верите! Все, что я знаю, я вам рассказал. Даже больше, чем знаю; в сущности, никакой следственной комиссии не было, это я так назвал ее, потому что не знаю, как еще можно ее назвать. И вообще никакого следствия не было, меня просто арестовали, но приходила целая комиссия.

Фройляйн Бюрстнер опустила на диван и опять засмеялась.

— Как же это все было? — спросила она.

— Ужасно! — ответил К., уже не думая о происшедшем, настолько его очаровал вид фройляйн Бюрстнер: погрузив локоть в подушки дивана, она подперла лицо рукой, а другой рукой медленно поглаживала колено.

— Это мне ничего не говорит, — сказала фройляйн Бюрстнер.

— Что именно? — спросил К. Но тут же понял и спросил: — Показать вам, как это было? — Ему хотелось что-то делать, только бы не уходить из комнаты.

— Я так устала, — сказала фройляйн Бюрстнер.

— Да, вы поздно пришли, — сказал К.

— Ну вот, теперь начинаются упреки. Впрочем, я их заслужила, не надо было вас сюда пускать. К тому же, как выяснилось, никакой необходимости в этом не было.

— Нет, была, — сказал К., — и сейчас вы все поймете. Можно отодвинуть ночной столик от кровати вот сюда?

— Что за выдумки? — сказала фройляйн Бюрстнер. — Конечно, нельзя!

— Тогда я вам ничего не смогу показать, — сказал К. с такой обидой, словно ему нанесли непоправимый вред.

— Ах, если вам это надо для наглядности, тогда двигайте сколько хотите, — сказала фройляйн Бюрстнер и добавила ослабевшим голосом: — Я так устала, что позволяю вам больше, чем следует.

К. поставил столик посреди комнаты и сел за него.

— Вы должны себе правильно представить, как расположились все эти люди, это очень интересно. Я — инспектор; вон там, на сундуке, сидит стража, их двое; около фотографий стоят три молодых человека. На оконной ручке — впрочем, я это говорю мимоходом — висит белая блузка. И вот начинается. Да, я забыл себя. Главное действующее лицо, то есть я, стоит вот тут, перед столиком. Инспектор уселся очень удобно, нога на ногу, рука закинута на спинку стула, видно,

лентяй каких мало. И вот тут-то все и начинается. Инспектор зовет меня, будто хочет разбудить, он просто орет. К сожалению, для того, чтобы вам стало яснее, мне тоже придется крикнуть. Правда, он выкрикнул только мое имя.

Фройляйн Бюрстнер рассмеялась и приложила палец к губам, чтобы К. не крикнул, однако опоздала. Он так вошел в роль, что уже прокричал, медленно и протяжно: «Йозеф К.!» И хотя крикнул он не так громко, как обещал, все же этот внезапный возглас разнесся по всей комнате.

И вдруг в дверь соседней комнаты постучали — громко, коротко, размеренно. Фройляйн Бюрстнер побледнела и схватилась за сердце. К. испугался еще больше, потому что все время думал об утреннем происшествии, пытаясь его воспроизвести перед фройляйн Бюрстнер. Но, тут же овладев собой, он бросился к ней и схватил ее руку.

— Не бойтесь ничего! — зашептал он. — Я все улажу. Но кто же это стучал? Рядом — гостиная, там никто не спит.

— Нет, спит, — прошептала фройляйн Бюрстнер ему на ухо, — со вчерашнего дня там ночует племянник фрау Грубах, он капитан. Для него свободной комнаты не оказалось. А я забыла. Ах, зачем вы крикнули! Я в отчаянии.

— Напрасно! — сказал К. и, когда она откинулась на подушки, поцеловал ее в лоб.

— Что вы, что вы! — сказала она и торопливо выпрямилась, — уходите прочь, сейчас же уходите, как можно! Он же подслушивает под дверью, он все слышит. Вы меня замучили!

— Не уйду, пока вы не успокоитесь! Перейдем в тот угол, оттуда он ничего не услышит.

Она покорно дала отвести себя в угол.

— Вы не подумали об одном, — сказал он. — Правда, у вас могут быть неприятности, но никакая опасность вам не грозит. Вы знаете, что фрау Грубах — а в этом вопросе она играет решающую роль, поскольку капитан доводится ей племянником, — вы знаете, что она меня просто обожает и беспрекословно верит каждому моему слову. Кстати, она и зависит от меня, я ей дал в долг порядочную сумму денег. Я готов принять любое предложенное вами объяснение нашей поздней встречи, если только оно будет хоть немного правдоподобно, и обязуюсь подействовать на фрау Грубах так, чтобы она не только приняла его официально, но и поверила безогово-

рочно и искренне. И пожалуйста, не щадите меня. Если вам угодно распространить слух, что я к вам приставал, то я именно так и сообщу фрау Грубах, и она все примет, не теряя ко мне уважения, настолько она меня ценит.

Фройляйн Бюрстнер молча, опустив плечи, смотрела в пол.

— Да почему бы фрау Грубах не поверить, что я к вам приставал? — добавил К.

Он посмотрел на ее волосы, разделенные пробором, на эти рыжеватые волосы, стянутые низким тугим узлом. Он ждал, что она сейчас подымет на него глаза, но она сказала, не меняя позы:

— Простите, но я испугалась этого внезапного стука, и дело тут не в том, что я боюсь осложнений из-за этого капитана, но вы крикнули, тут стало тихо, и вдруг застучали, вот почему я испугалась, ведь я сидела у самой двери и стук раздался совсем рядом. За ваши предложения я очень благодарна, но принять их не могу. Я сама перед кем угодно несу ответственность за все, что происходит у меня в комнате. Странно, что вы не понимаете, как обидны для меня ваши предложения, хотя я не сомневаюсь в ваших добрых намерениях. А теперь уходите, оставьте меня одну, сейчас мне это еще нужнее, чем прежде. Вы просили уделить вам несколько минут, а прошло полчаса, даже больше.

К. схватил ее за руку выше кисти.

— Но вы на меня не сердитесь? — спросил он.

Она отняла руку и сказала:

— Нет, нет, я ни на кого никогда не сержусь.

Он снова схватил ее за руку, она не сопротивлялась и повела его к двери. Он твердо решил уйти. Но на пороге он вдруг остановился, как будто не ожидал, что очутится у выхода, и, воспользовавшись этой минутой, фройляйн Бюрстнер высвободила руку, открыла дверь, выскользнула в прихожую и прошептала:

— Идите же скорее, прошу вас. Видите? — И она показала на дверь в комнату капитана, из-под которой пробивался свет. — Он зажег свет и подсматривает за нами.

— Иду, иду, — сказал К., подбежал к ней, схватил ее, поцеловал в губы и вдруг стал осыпать поцелуями все ее лицо, как изжаждавший-ся зверь лакает из ручья, гоняя языком воду. Наконец он прильнул к ее шее у самого горла и долго не отнимал губ. Только шум из дверей капитана заставил его поднять голову.

— Теперь я уйду, — сказал он и хотел назвать фройляйн Бюрстнер по имени, но не знал, как ее зовут.

Она устало кивнула, не глядя, подала руку для поцелуя, словно ее это не касалось, и, слегка сутулясь, ушла к себе. Вскоре К. уже лежал в постели. Заснул он очень быстро, но перед сном еще подумал о своем поведении и остался собой доволен, хотя с удивлением почувствовал, что доволен не вполне. Кроме того, он всерьез беспокоился, не будет ли у фройляйн Бюрстнер неприятностей из-за этого капитана.

## Глава вторая

### Следствие начинается

**К.** сообщили по телефону, что на воскресенье назначено первое предварительное следствие по его делу. Ему сказали, что его будут вызывать на следствия регулярно; может быть, не каждую неделю, но все же довольно часто. С одной стороны, все заинтересованы как можно быстрее закончить процесс, но, с другой стороны, следствие должно вестись со всей возможной тщательностью; однако ввиду напряжения, которого оно требует, допросы не должны слишком затягиваться. Вот почему избрана процедура коротких, часто следующих друг за другом допросов. Воскресный день назначен для допросов ради того, чтобы не нарушать служебные обязанности К. Предполагается, что он согласен с намеченной процедурой, в противном случае ему, поелику возможно, постараются пойти навстречу. Например, допросы можно было бы проводить и ночью, но, вероятно, по ночам у К. не совсем свежая голова. Во всяком случае, если К. не возражает, решено пока что придерживаться воскресного дня. Само собой понятно, что явка для него обязательна, об этом и напоминать ему не стоит. Был назван номер дома, куда ему следовало явиться; дом находился на отдаленной улице в предместье, где К. еще никогда не бывал.

Выслушав это сообщение, К., не отвечая, повесил трубку; он сразу решил, что в воскресенье пойдет туда; процесс начинался, предстояла борьба, и этот первый допрос должен был стать последним.

Он в задумчивости стоял у телефона, когда сзади его окликнул заместитель директора — ему надо было позвонить, а К. стоял на дороге.

— Плохие новости? — небрежно спросил заместитель вовсе не из любопытства, а просто чтобы К. отошел от телефона.

— Нет, нет, — сказал К., посторонившись, но не уходя.

Заместитель директора взял трубку и, ожидая соединения, сказал поверх трубки:

— Один вопрос, господин К. Не окажете ли вы мне честь присоединиться в воскресенье к нашей компании на моей яхте? Собирается большое общество, наверно, будут и ваши знакомые, среди них, между прочим, и прокурор Гастерер. Вы придете? Приходите непременно!

К. старался вникнуть в каждое слово заместителя директора. Для него это было довольно важно, потому что приглашение заместителя директора, с которым он не слишком ладил, означало попытку примирения с его стороны и показывало, каким незаменимым человеком стал в банке К. и как ценил его дружбу или по крайней мере его нейтральное, беспристрастное отношение второй по значению чиновник банка. И хотя это приглашение было как бы вскользь брошено поверх телефонной трубки, оно звучало несколько заискивающе. Но К. надо было унижить заместителя директора еще больше, и он сказал:

— Благодарю вас! К несчастью, в воскресенье я занят, у меня уже назначена встреча.

— Жаль, — сказал заместитель директора и заговорил по телефону, его как раз соединили.

Разговор был длинный, но К. по рассеянности остался стоять у аппарата. И только когда заместитель дал отбой, он перепугался и, чтобы хоть немного объяснить свое неуместное присутствие, сказал:

— Мне только что звонили, просили прийти в одно место, но забыли сообщить, в какое время.

— А вы еще раз позвоните, — сказал заместитель директора.

— Да это неважно, — сказал К., тем самым сводя на нет свое и без того нелепое объяснение.

Заместитель директора, уходя, бросил еще несколько фраз совсем о другом. К. заставил себя ответить, но думал он в это время главным образом о том, что лучше всего будет в воскресенье пойти по вызову к девяти утра, так как по будням все судебные учреждения начинают работать именно в это время.

Погода в воскресенье была плохая. К. чуть не проспал, он страшно утомился, потому что до поздней ночи сидел в кафе, где всегда-

таи устроили пирушку. Второпях, не давая себе времени обдумать и привести в порядок все планы, составленные за неделю, он оделся и, не позавтракав, помчался в указанное ему предместье. И хотя глазеть по сторонам времени не было, но, как ни странно, он увидел по дороге всех трех чиновников, причастных к его делу, — и Рабенштейнера, и Куллиха, и Каминера. Первые два проехали мимо него в трамвае, а Каминер сидел на терраске кафе и как раз в ту минуту, когда К. пробежал мимо, с любопытством перевесился через перила. Наверно, все трое с удивлением смотрели, как бежит бегом их начальник.

Из какого-то упрямства К. не пожелал ехать, ему была противна любая, даже самая ничтожная причастность посторонних к его делам, не хотелось пользоваться ничьими услугами и тем самым хотя бы в малейшей степени посвящать кого-то в эту историю; и наконец, у него не было ни малейшей охоты унижить себя перед следственной комиссией слишком большой пунктуальностью. И все же он бежал бегом, чтобы по возможности явиться точно в девять, хотя его даже не вызывали на определенный час.

Он думал, что уже издали узнает дом по какому-нибудь признаку, хотя не представлял себе, по какому именно, а может быть, и по необычному оживлению у входа. Но, задержавшись в начале Юлиусштрассе, на которой находился дом, куда его вызвали, К. увидел по обе стороны улицы почти одинаковые здания: высокие, серые, населенные беднотой доходные дома. В это воскресное утро почти из всех окон выглядывали люди. Мужчины без пиджаков курили, высунувшись наружу, или осторожно и заботливо держали на подоконниках маленьких детей. На других подоконниках громоздились постельные принадлежности, за которыми мелькали растрепанные женские головы. Все перекликались через улицу, и один такой окрик как раз над головой К. вызвал взрыв смеха. По всей длинной улице на одинаковых расстояниях в полуподвалах разместились бакалейные лавочки, куда можно было спуститься по ступенькам. Оттуда входили и выходили хозяйки, останавливались на ступеньках, болтали. Торговец фруктами расхваливал свой товар, задрал голову к окнам, и чуть не сбил К. с ног своей тележкой, когда они зазевались. Где-то убийственно завопил граммофон, как видно уже отработавший свое в богатых кварталах.

К. прошел дальше по улочке медленным шагом, будто у него времени сколько угодно; если следователь видит его из какого-нибудь

окна, значит, он знает, что К. явился. Только что пробило девять. Дом оказался довольно далеко, он был необычайно длинный; особенно ворота были очень высокие и широкие. Очевидно, они предназначались для фургонов, развозивших товар по разным складам. Сейчас все склады во дворе были заперты, но по вывескам К. узнал некоторые фирмы — его банк вел с ними дела. Вопреки своему обыкновению он пристально разглядывал окружающее, даже остановился у входа во двор. Неподалеку на ящике сидел босоногий человек и читал газету. Двое мальчишек качались на тачке. У колонки стояла болезненная девушка в ночной кофточке, и, пока вода набиралась в кувшин, она не сводила глаз с К. В углу двора между двумя окнами натягивали веревку, на ней уже висело выстиранное белье. Внизу стоял человек и, покрикивая, руководил работой.

К. пошел было к лестнице, чтобы подняться в кабинет следователя, но остановился: кроме этой лестницы, со двора в дом было еще три входа, а в глубине двора виднелся неширокий проход во второй двор. К. рассердился, оттого что ему не указали точнее, где этот кабинет; все-таки к нему отнеслись с удивительным невниманием и равнодушием, и он решил, что заявит об этом громко и отчетливо. Наконец он все же поднялся по лестнице, мысленно повторяя выражение Виллема, одного из стражей, что вина сама притягивает к себе правосудие, из чего, собственно говоря, вытекало, что кабинет следователя должен находиться именно на той лестнице, куда случайно поднялся К.

Поднимаясь по лестнице, он все время мешал детям, игравшим там, и они провожали его злыми взглядами.

В другой раз, если придется сюда идти, надо будет взять либо конфет, чтобы подкупить их, либо палку, чтобы их отколотить, сказал он себе. У второго этажа ему даже пришлось переждать, пока мячик докатится донизу: двое мальчишек с хитроватыми лицами взрослых бандитов вцепились в его брюки; стряхнуть их можно было только силой, но К. боялся, что они завопят, если им сделать больно.

Все начиналось со второго этажа. Так как он нипочем не решался спросить, где следственная комиссия, он тут же придумал столяра Ланца — эта фамилия взбрела ему на ум, потому что так звали капитана, племянника фрау Грубах, — и решил во всех квартирах спрашивать, не тут ли проживает столяр Ланц, а под этим предлогом попутно заглядывать в комнаты. Но оказалось, что это можно сделать и без

всякого предлога, потому что все двери были открыты, дети вбегали и выбегали из комнат. Комнаты по большей части были маленькие, с одним окном, там же шла стирка. Многие женщины на одной руке держали грудных младенцев, а другой орудовали у плиты. Больше всех сутились девчонки-подростки; казалось, что, кроме фартучков, на них ничего нет. Во всех комнатах стояли разобранные кровати, везде лежали люди — кто был болен, кто еще спал, а кто просто валялся в одежде. В те квартиры, где двери были закрыты, К. стучался и спрашивал, не здесь ли живет столяр Ланц.

Чаще всего двери открывала женщина и, выслушав вопрос, оборачивалась в комнату, к кому-то, лежащему на кровати:

— Вот господин спрашивает, где живет столяр Ланц?

— Столяр Ланц? — переспрашивал лежащий.

— Да, — отвечал К., хотя уже видел, что никакой следственной комиссии здесь нет и делать ему тут больше нечего.

Многие решали, что для К. очень важно отыскать столяра Ланца, долго думали, называли столяра с другой фамилией, не Ланц, или с фамилией, лишь отдаленно звучащей как «Ланц», расспрашивали и соседей, провожали К. до какой-нибудь дальней двери, где, по их мнению, такой человек мог снимать угол или где кто-нибудь лучше знал жильцов, чем они сами. В конце концов К. уже ничего не приходилось спрашивать, его и так затащали по всем этажам. Он уже сожалел о своей выдумке, показавшейся ему сначала такой удачной. Перед шестым этажом он решил прекратить поиски, попрощался с приветливым молодым рабочим, который хотел провести его еще дальше, и стал спускаться. Но тут же, раздраженный бессмысленностью всей этой процедуры, он снова поднялся и постучал в первую дверь на шестом этаже. Первое, что он увидел в маленькой комнате, были огромные настенные часы, показывавшие десять часов.

— Здесь живет столяр Ланц? — спросил он.

— Проходите! — ответила молодая женщина с блестящими черными глазами — она стирала в корыте детское белье и мокрой рукой показала на открытую дверь соседней комнаты.

К. сперва подумал, что попал на собрание. Толпа самых разных людей — никто из них не обратил на него внимания — наполняла средней величины комнату с двумя окнами, обнесенную почти у самого потолка галереей, тоже переполненной людьми; стоять там можно было, только согнувшись, касаясь головой и спиной потолка. К.



стало душно, он вышел из комнаты и сказал молодой женщине, которая, очевидно, не так его поняла:

— Я спрашивал столяра, некоего Ланца.

— Да, — сказала молодая женщина, — пройдите, пожалуйста, туда!

Может быть, К. и не последовал бы за ней, но она подошла к нему, взялась за ручку двери и сказала:

— Мне придется запереть за вами, больше никого впускать нельзя.

— Вполне разумно, — отвечал К., — там и без того переполнено. —

Но все-таки он опять пошел в ту комнату.

Двое мужчин разговаривали у самой двери: один шевелил обеими руками, словно считая деньги, другой пристально смотрел ему в глаза; между ними вдруг протянулась чья-то ручонка и схватила К. Это был маленький краснощекий мальчик.

— Пойдемте, пойдемте! — сказал он.

К. дал себя повести через густую толпу — оказалось, что в ней все-таки был узкий проход, который, по всей вероятности, разделял людей на две группы; за это говорило и то, что К. не видел в первых рядах ни одного лица: все стояли, повернувшись спиной к проходу и обращаясь только к своей группе. Почти все были в черном, в старых, свободно и длинно свисавших праздничных сюртуках. Только эта одежда сбивала с толку К., иначе он решил бы, что попал на районное собрание какой-то политической организации.

В другом конце зальца, куда привели К., на очень низких, тоже переполненных подмостках стоял наискось небольшой столик, и за ним, у самого края подмостков, сидел маленький пыхтящий толстячок — он, громко хохоча, переговаривался с человеком, стоящим за ним, — тот подымал руку вверх, словно кого-то передразнивая. Мальчику, который привел К., стоило большого труда доложить о нем. Дважды, подымаясь на цыпочки, он пытался что-то сообщить, но человек в кресле не обращал на него внимания. И только когда один из стоявших на подмостках людей указал ему на мальчика, он обернулся к нему и, нагнувшись, выслушал его тихий доклад. Он сразу вынул часы и быстро взглянул на К.

— Вы должны были явиться ровно час и пять минут тому назад, — сказал он.

К. хотел что-то ответить, но не успел: едва тот кончил фразу, как в правой половине зала поднялся общий гул.

— Вы должны были явиться ровно час и пять минут тому назад, — повысив голос, повторил толстяк и торопливо посмотрел вниз. Толпа загудела еще громче, но, так как толстяк больше ничего не сказал, гул постепенно стих. В зале стало гораздо тише, чем когда К. вошел. Только на галерее люди еще обменивались замечаниями. Насколько можно было разглядеть в полутьме, в пыли и в чаду, они были хуже одеты, чем люди внизу. Многие принесли с собой подстилки и просунули их между головой и потолком комнаты, чтобы не натереть кожу до крови.

К. решил больше наблюдать, чем говорить, поэтому он не стал оправдываться, а только сказал:

— Пусть я и опоздал, но ведь я уже тут.

В правой половине толпа заплодировала. Как их легко расположить к себе, подумал К. Его только смущала тишина во второй половине, сразу за его спиной, — оттуда раздались единичные хлопки. Он подумал, как бы ему сказать что-нибудь такое, чтобы расположить к себе всех сразу, а если это невозможно, то хотя бы временно завоевать и вторую половину публики.

— Да, — сказал человек на подмостках, — но теперь я уже не обязан вас допрашивать... — И снова гул, на этот раз по недоразумению, потому что тот жестом остановил ропот внизу и продолжал: — ...и только в виде исключения я сегодня пойду на это. Но больше опозданий быть не должно. А теперь подойдите.

Кто-то соскочил с подмостков, чтобы освободить место для К., и он поднялся туда. Он стоял, прижатый к столу вплотную, а за ним так густо толпились люди, что приходилось сопротивляться, иначе он столкнулся бы с подмостков столик следователя, а то и его самого.

Однако следователь ничуть не беспокоился, наоборот, он удобно откинулся в кресле и, закончив разговор со стоящим сзади человеком, взял маленькую записную книжку — единственное, что лежало перед ним на столе. Книжка походила на школьную тетрадь и от частого перелистывания совершенно растрепалась.

— Значит, так, — проговорил следователь и скорее утвердительно, чем вопросительно, сказал К.: — Вы маляр?

— Нет, — сказал К., — я старший прокурис крупного банка.

В ответ на его слова вся группа справа стала хохотать, да так заразительно, что К. и сам расхохотался. Люди хлопали себя по коленкам, их трясло, как в припадке неукротимого кашля. Смеялся даже кто-то

на галерее. Следователя это ужасно рассердило, но, очевидно, он был бессилен против людей внизу и попытался отыгаться на галерке; вскочил, погрозил наверх кулаком, и его брови, незаметные на первый взгляд, вдруг сдвинулись на переносице, густые, черные и косматые.

Но левая половина зала все еще безмолвствовала. Люди стояли рядами, лицом к подмосткам, и с одинаковым спокойствием слушали и разговор наверху, и шум группы справа; они даже не реагировали, когда некоторые из их группы время от времени переходили в другую. Но левая группа, хотя и не такая многочисленная, как правая, в сущности тоже никакого веса не имела, однако в ней было что-то значительное благодаря ее полному спокойствию. И когда К. начал говорить, ему показалось, что они с ним соглашаются.

— Ваш вопрос, господин следователь, не маляр ли я, вернее, не вопрос, а ваше безоговорочное утверждение характерно для всего разбирательства дела, начатого против меня. Вы можете возразить, что никакого разбирательства еще нет, и будете вполне правы, потому что разбирательство может считаться таковым, только если я его признаю. Хорошо, на данный момент я, так и быть, его признаю, разумеется, исключительно из снисхождения к вам. Тут только и можно проявить снисхождение, если вообще обращать внимание на все, что происходит.

К. умолк и оглянул зал. Говорил он резко, куда резче, чем намеревался, но сказал все правильно. И, несомненно, он заслужил одобрение тех или других, но все затихли, явно дожидаясь в напряжении, что будет дальше, и, может быть, эта тишина таила в себе взрыв, который положил бы конец всему. Но тут некстати отворилась дверь, и в зал вошла молоденькая прачка, очевидно, кончившая свою работу, и, хотя она старалась идти как можно осторожнее, многие обратили на нее взгляды. Но К. искренне обрадовался, взглянув на следователя; казалось, слова К. задели его за живое. Он слушал стоя, а встал он до этого, чтобы утихомирить галерею. Теперь, в наступившей паузе, он начал медленно опускаться в кресло, словно хотел сесть незаметно. И, наверно, чтобы не выдавать волнения, он снова взялся за свою тетрабочку.

— Ничего вам не поможет, — продолжал К., — и тетрабочка ваша, господин следователь, только подтверждает мои слова.

Довольный тем, что в зале слышен только его собственный спокойный голос, К. даже осмелился без околичностей взять у следова-

теля его тетрадку и кончиками пальцев, словно брезгуя, поднять за один из срединных листков так, что с обеих сторон свисали мелко исписанные, испачканные и пожелтевшие странички.

— И это называется следственной документацией! — сказал он и небрежно уронил тетрадку на стол. — Можете спокойно читать ее и дальше, господин следователь, такого списка грехов я никак не страшусь, хоть и лишен возможности с ним ознакомиться, потому что иначе, как двумя пальцами, я до него не дотронусь, в руки я его не возьму. — И то, что следователь торопливо подхватил тетрадку, когда она упала на стол, тут же попытался привести ее в порядок и снова углубился в чтение, могло быть только сознанием глубокого унижения, по крайней мере так это воспринималось.

Снизу на К. пристально смотрели люди из первого ряда, и он невольно стал всматриваться в их лица. Все это были немолодые мужчины, некоторые даже с седыми бородами. Может быть, они все решали и могли повлиять на остальных, — те настолько безучастно отнеслись к унижению следователя, что не вышли из оцепенения, в которое их привела речь К.

— То, что со мной произошло, — продолжал К. уже немного тише, пристально вглядываясь в лица стоявших в первом ряду, отчего его речь звучала несколько сбивчиво, — то, что со мной произошло, всего лишь частный случай, и сам по себе он значения не имеет, так как я не слишком принимаю все это к сердцу, но этот случай — пример того, как разбираются дела очень и очень многих. И тут я заступаюсь за них, а вовсе не за себя.

К. невольно повысил голос. Кто-то, высоко подняв руки, зааплодировал и крикнул: «Браво! Так и надо! Браво! — и еще раз: — Браво!»

Кое-кто из стоявших впереди в задумчивости теребил бороду, но ни один не обернулся на этот возглас. К. и сам не придавал ему значения, хотя несколько ободрился; он даже не считал нужным, чтобы ему аплодировала вся аудитория, достаточно, если все присутствующие хотя бы задумаются над тем, что происходит, и если хоть некоторых удастся убедить и перетянуть на свою сторону.

— Я не стремлюсь к ораторским успехам, — сказал К. в ответ на свои мысли, — да это и не в моих возможностях. Господин следователь, наверно, говорит куда лучше меня, ведь этого требует его профессия. Я хочу только одного — открыто обсудить открытое нарушение законов. Посудите сами: дней десять тому назад я был арестован.

Впрочем, самый этот факт мне только смешон, но не о том речь. Рано утром меня захватили врасплох, еще в кровати; возможно, что был отдан приказ — судя по словам следователя, это не исключено — арестовать некоего маляра, такого же невинного человека, как и я, но выбор пал на меня. Соседнюю со мной комнату заняла стража — два грубияна. Будь я даже опасным разбойником, и то нельзя было бы принять больше предосторожностей. Кроме того, эти люди оказались вконец развращенными мошенниками, они наболтали мне с три короба, вымогали взятку, собирались под каким-то предлогом выманить у меня белье и платье, требовали денег, обещая принести мне завтрак, а перед этим на моих глазах нагло уничтожили мой собственный завтрак. Но этого мало. Меня провели в третью комнату к их инспектору. В этой комнате живет дама, которую я глубоко уважаю, и я должен был смотреть, как из-за меня, хотя и не по моей вине, эту комнату в какой-то мере оскверняло присутствие стражи с инспектором. Нелегко было сохранить спокойствие. Но я сдержался и спросил этого инспектора совершенно спокойно — будь он здесь, он мог бы вам это подтвердить, — почему я арестован. И что же ответил этот инспектор? Как сейчас вижу его перед собой: сидит в кресле вышеупомянутой дамы как воплощение тупейшего высокомерия. Господа, по существу он ничего мне не ответил; может быть, он действительно ничего не знал, просто он меня арестовал и на этом успокоился. Более того, он вызвал в комнату этой дамы трех низших служащих из моего банка, которые занимались тем, что рылись в фотографиях, принадлежавших даме, и привели их в полный беспорядок. Разумеется, присутствие этих служащих преследовало еще одну цель, а именно: так же как моя квартирная хозяйка и ее прислуга, они должны были распространить известие о моем аресте, чтобы повредить моей репутации, а главное — подорвать мое положение в банке. Но из этого ничего, абсолютно ничего не вышло; даже моя квартирная хозяйка, совершенно простая женщина, — назову вам с уважением ее имя: фрау Грубах, — так вот, даже у фрау Грубах хватило благоразумия понять, что такой арест имеет не больше значения, чем драка уличных мальчишек на мостовой. Повторяю, для меня это было только неприятностью, которая вызвала мимолетное раздражение, но ведь последствия могли быть куда хуже, не так ли?

Тут К. остановился и посмотрел на молчаливого следователя — ему показалось, что тот глазами делает знак кому-то из стоящих внизу. К. улыбнулся и сказал:

— Только что господин следователь, сидящий рядом, подал кому-то из вас тайный знак. Значит, среди вас есть люди, которыми он дирижирует отсюда, со своего места. Не знаю, должен ли его знак вызывать свистки или аплодисменты, и тем, что я заранее открываю их стовор, я совершенно сознательно выражаю пренебрежение к этим знакам. Мне в высшей степени безразлично, что они значат, и я могу дать господину следователю право в открытую командовать своими наемниками там, внизу, причем не тайными знаками, а вслух, словами; пусть он прямо говорит: «Свистите!», а в другой раз, если надо: «Хлопайте!»

От смущения или от нетерпения следователь заерзал на стуле. Человек, который стоял сзади и разговаривал с ним раньше, снова наклонился к нему, то ли чтобы просто его подбодрить, то ли подать ему ценный совет. Внизу люди переговаривались негромко, но оживленно. Обе группы, которые поначалу как будто расходились во мнениях, теперь смешались; одни показывали пальцем на К., другие — на следователя.

Густой чад, наполнявший комнату, действовал удручающе, он мешал рассмотреть даже стоявших поодаль. Особенно трудно было посетителям на галерее, им приходилось, робко косясь на следователя, сверху потихоньку расспрашивать участников собрания, чтобы разобраться, в чем дело. Им отвечали так же тихо, прикрываясь ладонью.

— Сейчас я кончаю, — сказал К. и, так как звонка на столе не было, стукнул по столу кулаком; следователь и его советчик в испуге отшатнулись друг от друга. — Меня все это дело не касается, поэтому я сужу о нем спокойно, а вам всем будет весьма полезно меня выслушать — конечно, при условии, что вы как-то заинтересованы в этом предполагаемом судебном деле. Причем обсуждение того, что я вам излагаю, прошу отложить, так как времени у меня нет, и я скоро уйду.

Тотчас наступила тишина, настолько К. сумел овладеть аудиторией. Уже никто не перекрикивал других, как вначале, никто одобрительно не хлопал. Казалось, все уже в чем-то убедились или готовы убедиться.

— Нет сомнения, — очень тихо заговорил К., его радовало напряженное внимание всей аудитории, и в тишине рождался гул, который его подбадривал больше самых восторженных аплодисментов, — нет

сомнения, что за всем судопроизводством, то есть в моем случае за этим арестом и за сегодняшним разбирательством, стоит огромная организация. Организация эта имеет в своем распоряжении не только продажных стражей, бестолковых инспекторов и следователей, проявляющих в лучшем случае похвальную скромность, но в нее входят также и судьи высокого и наивысшего ранга с бесчисленным, неизбежным в таких случаях штатом служителей, писцов, жандармов и других помощников, а может быть, даже и палачей — я этого слова не боюсь. А в чем смысл этой огромной организации, господа? В том, чтобы арестовывать невинных людей и затевать против них бессмысленный и по большей части — как, например, в моем случае — безрезультатный процесс. Как же тут, при абсолютной бессмысленности всей системы в целом, избежать самой страшной коррупции чиновников? Это недостижимо, тут даже самый высокий судья не останется честным. Потому и стража пытается красть одежду арестованных, потому их инспектора и врываются в чужие квартиры, потому и невинные вместо допроса должны позориться перед целым собранием. Стража рассказывала мне о складах, где хранятся вещи арестованных; хотелось бы мне взглянуть на эти склады, где гниет заработанное честным трудом имущество арестованных, если только его не расхищают воры-служители.

Но тут речь К. была прервана воплями из дальнего угла. Он затеял глаза рукой, чтобы лучше видеть, — от мутного света чад в комнате казался белесым и слепил глаза. Виной была прачка; уже при ее появлении К. понял, что она непременно помешает. Но виновата она сейчас или нет, сказать было трудно. К. видел только, что какой-то мужчина увлек ее в угол у дверей и там крепко прижал к себе. Однако вопила не она, а этот мужчина, он широко разинул рот и устался в потолок. Вокруг них столпились те посетители галереи, что стояли поближе; они, как видно, пришли в восторг оттого, что это происшествие нарушило серьезность, которую К. внес в собрание. Под первым впечатлением он чуть не бросился туда, решив, что и все остальные захотят сразу навести порядок и хотя бы выставить эту пару из зала, но первые ряды перед ним плотно сомкнулись, никто не тронулся с места, никто не пропускал К. Напротив, ему помешали: старики выставили руки вперед, и чья-то рука — обернуться ему было некогда — вцепилась сзади в его воротник. К. уже не думал об этой паре; ему показалось, что у него отнимают свободу, что его и в самом

деле арестовали, и он, вырвавшись, соскочил с подмостков. Теперь он очутился лицом к лицу с толпой. Неужели он неправильно оценил этих людей? Неужели он слишком понадеялся на воздействие своей речи? Неужто все они притворялись, а теперь, когда близилась развязка, им притворяться надоело? И какие лица окружали его! Маленькие черные глазки шныряли по сторонам, щеки свисали мешками, как у пьяниц, жидкие бороды жестко топорщились; казалось, запустишь в них руку — и покажется, будто только скрючиваешь пальцы впустую, под ними — ничего. А из-под бород — и для К. это было настоящим открытием — просвечивали на воротниках знаки различия разной величины и цвета. И куда ни кинь глазом — у всех были эти знаки. Значит, все эти люди были заодно, разделение на правых и левых было только кажущимся, а когда К. внезапно обернулся, он увидел те же знаки различия на воротнике следователя — тот, сложив руки на коленях, спокойно смотрел вниз.

— Вот оно что! — крикнул К. и взметнул руки кверху — внезапное прозрение требовало широкого жеста. — Значит, все вы чиновники! Теперь я вижу, все вы — та самая продажная свора, против которой я выступал, вы пробрались сюда разноухивать, подслушивать, разделились для видимости на группы, аплодировали мне, чтобы меня испытать, хотели узнать, можно ли сбить с толку невинного человека! Что ж, надеюсь, вы тут пробыли не без пользы для себя: либо вы посмеялись над тем, что от таких, как вы, ждали защиты невинного, либо... Пусти меня, не то ударю! — крикнул К. какому-то дрожащему старикашке, который придвинулся к нему особенно близко, — ...либо вы все-таки чему-то научились. А засим пожелаю вам удачи на вашем служебном поприще.

Он схватил свою шляпу, лежащую на краю стола, и прошел к выходу при полном и недоуменном молчании присутствующих. Но, очевидно, следователь опередил К., он уже ждал его у дверей.

— Одну минуту! — сказал он. К. остановился и, уже взявшись за ручку, вперил глаза не в следователя, а в дверь. — Я только хотел обратить ваше внимание, — сказал следователь, — что сегодня вы, вероятно сами того не сознавая, лишили себя преимущества, которое в любом случае дает арестованному допрос.

К. расхохотался, все еще глядя на дверь.

— Вот мразь! — крикнул он. — Ну и сидите с вашими допросами! — И, открыв дверь, он побежал вниз по лестнице.



За ним послышался шум — видимо, собрание опять оживилось и затеяло что-то вроде ученой дискуссии, обсуждая все, что произошло.

### Глава третья

В пустом зале заседаний. Студент.

Канцелярии

**В**сю следующую неделю К. изо дня в день ожидал нового вызова, он не мог поверить, что его отказ от допроса будет принят буквально, а когда ожидаемый вызов до субботы так и не пришел, К. усмотрел в этом молчании приглашение в тот же дом на тот же час. Поэтому в воскресенье он снова отправился туда и прямо прошел по этажам и коридорам наверх; некоторые жильцы, запомнившие его, здоровались с ним у дверей, но ему не пришлось никого спрашивать, и он сам подошел к нужной двери. На стук открыли сразу, и, не оглядываясь на уже знакомую женщину, остановившуюся у дверей, он хотел пройти в следующую комнату.

— Сегодня заседания нет, — сказала женщина.

— Как это — нет заседания? — спросил он, не поверив.

Чтобы убедить его, женщина отворила дверь в соседнее помещение. Там и вправду было пусто, и от этой пустоты комната казалась еще более жалкой, чем в прошлое воскресенье. На столе, так и стоявшем на подмостках, лежало несколько книг.

— Можно взглянуть на эти книжки? — спросил К. не столько из любопытства, сколько для того, чтобы его приход не был совершенно бесполезным.

— Нет, — сказала женщина и снова заперла дверь, — это не разрешается. Книги принадлежат следователю.

— Ах вот оно что, — сказал К. и кивнул головой. — Должно быть, это свод законов, а теперешнее правосудие, очевидно, состоит в том, чтобы осудить человека не только невинного, но и неосведомленного.

— Должно быть, так оно и есть, — сказала женщина, как видно, не совсем понимая его.

— Что ж, тогда я уйду, — сказал К.

— Передать от вас что-нибудь следователю? — спросила женщина.

— А разве вы его знаете? — спросил К.

— Конечно, — сказала женщина, — ведь мой муж — служитель в суде.

Только сейчас К. заметил, что комната, где в прошлый раз стояло только корыто, теперь была убрана, как настоящая жилая комната. Женщина заметила его удивление и сказала:

— Да, нам предоставлена бесплатная квартира, но в дни заседаний мы должны освобождать эту комнату. На службе мужа много неудобств.

— Меня удивляет вовсе не ваша комната, — сказал К. и сердито посмотрел на женщину. — Гораздо больше я удивлен, что вы замужем.

— Вы, должно быть намекаете на тот случай во время последнего заседания, когда я помешала вашей речи? — спросила женщина.

— Конечно, — сказал К. — Правда, дело прошлое, я бы о нем не вспомнил, но тогда я просто взбесился. А теперь вы сами говорите, что вы замужем.

— Вам только пошло на пользу, что вашу речь прервали. О вас потом говорили очень недоброжелательно.

— Возможно, — уклончиво сказал К., — но для вас это не оправдание.

— А вот все мои знакомые меня оправдывают, — сказала женщина. — Тот, что меня обнимал, уже давно за мной бегаёт. Может быть, для других я ничуть не привлекательна, а для него — очень. Тут ничего не поделаешь, даже моему мужу пришлось примириться; если хочет сохранить место, пусть терпит, ведь тот человек — студент и, наверно, добьётся больших чинов. Вечно он за мной бегаёт. Он только что ушел перед вашим приходом.

— Одно к одному, — сказал К., — меня это ничуть не удивляет.

— Видно, собираетесь навести здесь порядок? — спросила женщина медленно и осторожно, словно сказала что-то опасное и для нее, и для К. — Я так и догадалась по вашей речи. Мне лично она очень понравилась. Правда, я не все слышала — начало пропустила, а под конец лежала со студентом на полу. Ах, здесь так гадко! — помолчав, воскликнула она и схватила К. за руку. — А вы верите, что вам удастся завести новые порядки?

К. рассмеялся и слегка потянул свою руку из ее мягких пальцев.

— В сущности, — сказал он, — меня никто не уполномочил заводить здесь, как вы выражаетесь, новые порядки, и если вы, к примеру, скажете об этом следователю, то вас осмеют, а может быть, и накажут. Более того, по доброй воле я ни за какие блага не стал бы вмешиваться в эти дела; и терять сон, придумывая какие-то улучшения судебной процедуры, я тоже не намерен. Но обстоятельства, вызвавшие мой арест, — дело в том, что я арестован, — побудили меня вмешаться ради собственных интересов. Однако, если я могу и вам быть чем-нибудь полезен, я охотно помогу вам. И не только из человеколюбия, но и потому, что и вы можете мне помочь.

— Чем же? — спросила женщина.

— Например, тем, что покажете мне вон те книги.

— Ну конечно же! — воскликнула она и торопливо потянула его к столу. Книги были старые, потрепанные, на одной переплет был переломлен, и обе половинки держались на ниточке.

— Какая тут везде грязь, — сказал К., покачав головой, и женщине пришлось смахнуть пыль фартуком хотя бы сверху, прежде чем К. мог взяться за книгу.

Он открыл ту, что лежала сверху, и увидел неприличную картину. Мужчина и женщина сидели в чем мать родила на диване, и хотя непристойный замысел художника легко угадывался, его неумение было настолько явным, что, собственно говоря, ничего, кроме фигур мужчины и женщины, видно не было. Они грубо мозолили глаза, сидели неестественно прямо и из-за неправильной перспективы даже не могли бы повернуться друг к другу. К. не стал перелистывать эту книгу и открыл титульный лист второй книжки; это был роман под заглавием «Какие мучения терпела Грета от своего мужа Ганса».

— Так вот какие юридические книги тут изучают! — сказал К. — И эти люди собираются меня судить!

— Я вам помогу! — сказала женщина. — Согласны?

— Но разве вы и вправду можете мне помочь, не подвергая себя опасности? Ведь вы сами сказали, что ваш муж целиком зависит от своего начальства.

— И все же я вам помогу, — сказала женщина. — Подите сюда, надо все обсудить. А о том, что мне грозит опасность, говорить не стоит. Я только тогда пугаюсь опасности, когда считаю нужным. Идите сюда. — Она показала на подмостки и попросила его сесть рядом с ней на ступеньки. — У вас чудесные темные глаза, — сказала

она, когда они сели, и заглянула К. в лицо. — Говорят, у меня тоже глаза красивые, но ваши куда красивее. Ведь я вас сразу заметила, еще в первый раз, как только вы сюда зашли. Из-за вас я и протрапалась потом в зал заседаний. Обычно я никогда этого не делаю, мне даже, собственно говоря, запрещено ходить сюда.

«Вот к чему все свелось! — подумал К. — Она просто мне себя предлагает, испорчена до мозга костей, как и все тут; ей надоели судебные чиновники, что вполне понятно, вот она и встречает любого посетителя комплиментами насчет его глаз». И К. молча встал, будто уже высказал эти мысли вслух, и объяснил женщине свое поведение.

— Не думаю, чтобы вы могли мне помочь, — сказал он. — Для настоящей помощи надо иметь связи с высшими чинами. А вы, наверно, знакомы с мелкой сошкой, их тут много ходит. Их-то вы наверняка хорошо знаете и можете многого у них добиться, в этом я не сомневаюсь, но, даже если бы они сделали все, что в их силах, никакого влияния на исход моего процесса это иметь не может. А от вас к тому же могут отступить некоторые друзья. Этого я не хочу. Так что вам не стоит портить отношения с этими людьми; мне кажется, они вам еще понадобятся. Говорю не без сожаления, так как в ответ на ваши комплименты могу сказать, что и вы мне нравитесь, особенно сейчас, когда смотрите на меня такими грустными глазами, хотя никаких оснований для грусти у вас нет. Вы вращаетесь среди людей, с которыми я должен бороться, и с ними чувствуете себя отлично, вы даже влюблены в студента, а если и нет, то, во всяком случае, предпочитаете его мужу. Из ваших слов это ясно видно.

— Нет! — крикнула она и, не вставая, схватила К. за руку, которую он не успел отнять. — Вам уходить нельзя! Неужели вы можете взять и уйти? Неужели я так мало стою, что вы ради меня не можете остаться хоть ненадолго?

— Вы меня не поняли, — сказал К. и снова сел. — Если вам действительно хочется, чтобы я остался, я, конечно, останусь, времени у меня много, ведь я пришел сюда, думая, что сегодня тут будет судебное заседание. Я только высказал просьбу: ничего не предпринимайте в отношении моего процесса. И вы никак не должны обижаться; поймите, что мне совершенно безразлично, чем окончится этот процесс, и над их приговором я буду только смеяться. Все это, конечно, лишь в том случае, если процесс вообще состоится, в чем я сильно сомневаюсь. Скорее можно предположить, что все судопроизводство

по лени или по забывчивости, а может быть, просто по трусости чиновников — уже прекращено или прекратится в самое ближайшее время. Разумеется, вполне возможно, что они будут продолжать этот процесс для видимости, в надежде на порядочную взятку, но, уверяю вас заранее, что все их надежды напрасны — я никому взятку не даю. Вот тут вы можете сделать мне одолжение: сообщите следователю или кому-нибудь, кто любит распространять всякие слухи, что никогда, никакими фокусами эти господа не способны выманить у меня взятку. Ничего у них не выйдет, так им и передайте. Впрочем, может быть, они и сами это поняли, а может быть, и нет. В общем, мне безразлично, узнают ли они об этом сейчас или потом. Если им все будет известно заранее, мы только облегчим их работу. Правда, и мне было бы меньше неприятностей, но я готов на любые неприятности, лишь бы ударить и по ним. А об этом я уж позабочусь. Кстати, знакомы ли вы со следователем?

— Ну конечно! — воскликнула женщина. — Я о нем и подумала, когда предлагала вам помощь. Я же не знала, что он всего-навсего низший служащий, но, раз вы так говорите, значит, так оно и есть. И все же я думаю, что доклады, которые он посылает наверх, имеют какое-то влияние. А он их столько пишет! Вот вы сказали, что все чиновники — лентяи. Нет, не все — особенно этот следователь, он все пишет и пишет. Например, в прошлое воскресенье заседание затянулось до вечера. А когда все ушли, следователь остался, пришлось принести лампу; у меня была только маленькая кухонная лампочка, но он и ею был доволен, сразу сел и стал писать. А тут вернулся муж, у него в то воскресенье был свободный день, мы внесли мебель, прибрали нашу комнату, потом пришли соседи, мы посидели при свечке — словом, совсем забыли про следователя и легли спать. И вдруг ночью, наверно, далеко за полночь, я просыпаюсь, а возле кровати стоит следователь и затеняет лампу рукой, чтобы свет не падал на моего мужа, хотя это ни к чему, муж так спит, что его никакой свет не разбудит. Я до того испугалась, что чуть не закричала, но этот следователь такой любезный, попросил меня не шуметь и сказал, что он до сих пор писал, а теперь возвращает мне лампу и никогда в жизни не забудет, как он увидел меня сонную. Я вам только хочу этим сказать, что следователь действительно пишет доклады, и главным образом про вас. Видно, в то воскресенье самым основным вопросом на заседании было ваше дело. А такие длинные доклады непременно долж-

ны иметь какое-то значение. Кроме того, по этому случаю ясно, что следователю я нравлюсь и что именно сейчас, в первое время — а он только недавно обратил на меня внимание, — я могу очень на него повлиять. У меня есть и другие доказательства, что он мной интересуется. Вчера через студента — он с ним работает и очень ему доверяет — он прислал мне в подарок пару шелковых чулок, будто бы за то, что я убираю зал заседаний, но, конечно, это лишь предлог, работаю я по обязанности, и мужу за это платят. А чулки прекрасные, вот взгляните... — она вытянула ноги, подняв юбку выше колен, и сама посмотрела на чулки, — да, чулки красивые, но слишком уж тонкие, мне они не подходят.

Вдруг она остановилась, положила руку на руку К., словно хотела его успокоить, и шепнула:

— Тише, Бертольд за нами следит.

К. медленно поднял глаза. В дверях зала заседания стоял молодой человек; он был невысок, с кривоватыми ногами и, очевидно, для пущей важности, отпустил короткую жиденькую рыжую бородку, которую он непрестанно тербил пальцами. К. посмотрел на него с любопытством — это был первый студент неизвестных ему юридических наук, которого он встречал, так сказать, в частной жизни и который, вероятно, впоследствии достигнет высоких постов. Студент же, напротив, никакого внимания на К. не обратил, он только на минуту вытащил палец из бороды, поманил к себе женщину и отошел к окошку, а женщина наклонилась к К. и шепнула:

— Не сердитесь на меня, умоляю, и не думайте обо мне плохо, но сейчас я должна идти к нему, к этому отвратительному типу, вы только взгляните на его кривые ноги. Я сейчас вернусь и уж тогда пойду с вами, если вы меня возьмете с собой, пойду куда хотите, делайте со мной что хотите, я буду счастлива — лишь бы уйти отсюда надолго, а еще лучше навсегда.

Она погладила К. по руке, вскочила и побежала к окошку. К. машинально хотел схватить ее за руку, но схватил пустоту. В этой женщине для него было что-то по-настоящему соблазнительное, и он не находил никаких оснований противиться этому соблазну. Мелькнула мысль, что она подслана судом, чтобы подловить его, но он тут же отбросил это сомнение. Каким образом она могла его подловить? Ведь он пока что совсем свободен. Он мог изничтожить все их судопроизводство, по крайней мере в том, что касалось его дела. Неуже-

ли он даже в такой малости не верит в себя? Но ее голос звучал искренне, когда она предлагала ему помощь. Как знать, вдруг она окажется ему полезной? А быть может, лучше и нельзя отомстить следователю и всей его своре, чем отняв у них эту женщину и завоевав ее привязанность. Тогда, может статься, следователь после кропотливейшей работы над составлением ложных сведений про К. придет поздно ночью и увидит, что постель этой женщины пуста. И потому пуста, что женщина будет принадлежать К., что эта женщина у окна, это пышное, гибкое, теплое тело в темном платье из грубой ткани будет принадлежать ему одному.

Отбросив таким образом все сомнения насчет этой женщины, К. стал тихонько стучать по подмосткам сначала костяшками пальцев, потом всем кулаком — настолько ему надоело тихое перешептывание у окна. Студент мельком через плечо женщины взглянул на К., но никакого внимания на него не обратил, наоборот — он еще крепче прижался к женщине и обнял ее. Она низко наклонила голову, словно прислушиваясь к его словам, он звонко чмокнул ее в склоненную шею, продолжая говорить как ни в чем не бывало. К. увидел, что женщина права, жалуясь, что студент имеет над ней какую-то власть, и, встав со стула, зашагал по комнате. Косясь на студента, он раздумывал, как бы выжить его отсюда поскорее, и даже обрадовался, когда студент, которому, очевидно, мешали шаги К., уже переходившие в нетерпеливый топот, вдруг заметил:

— Если вам так не терпится, можете уходить. Давно могли уйти, никто и не заметил бы вашего отсутствия. Да, да, надо было вам уйти, как только я пришел, и уйти сразу, немедленно.

В этих словах слышалась не только сдержанная злоба, в них ясно чувствовалось высокомерие будущего чиновника по отношению к неприятному для него обвиняемому. К. подошел к нему вплотную и с улыбкой сказал:

— Да, вы правы, мне не терпится, но мое нетерпение проще всего прекратить тем, что вы нас оставите. Однако, если вы пришли сюда заниматься — я слышал, что вы студент, — то я охотно уступлю вам место и уйду с этой женщиной. Впрочем, вам еще немало надо будет поучиться, прежде чем стать судьей. Правда, ваше судопроизводство мне совсем незнакомо, но предполагаю, что одними наглыми речами, которые вы ведете с таким бесстыдством, оно не ограничивается.

— Напрасно ему разрешили гулять на свободе, — сказал студент, словно хотел объяснить женщине обидные слова К. — Это несомненный промах. Я так и сказал следователю. Надо держать его под домашним арестом, хотя бы между допросами. Но иногда следователя толком не поймешь.

— Лишние разговоры, — сказал К. и протянул руку к женщине. — Пойдем!

— Ах вот оно что! — сказал студент. — Нет, нет, вам ее не заполучить!

С неожиданной силой он подхватил ее на руки и, согнувшись, побежал к двери, нежно поглядывая на нее. По всей видимости, он и побаивался К., и все же не мог удержаться, чтобы не поддразнить его, для чего нарочно гладил и пожимал свободной рукой плечо женщины. К. пробежал за ним несколько шагов, хотел его схватить, он готов был придушить его, но тут женщина сказала:

— Ничего не поделаешь, его за мной прислал следователь, мне с вами идти никак нельзя, этот маленький уродец, — тут она провела рукой по лицу студента, — этот маленький уродец меня не отпустит.

— Да вы и не хотите освободиться! — крикнул К., опустил руку на плечо студента, и тот сразу лязгнул на него зубами.

— Нет, — крикнула женщина и обеими руками оттолкнула К. — Нет, нет, только не это, вы с ума сошли! Вы меня погубите! Оставьте его, умоляю вас, оставьте же его! Он только выполняет приказ следователя, он несет меня к нему.

— Ну и пусть убирается, а вас я тоже видеть не желаю! — сказал К. и, разочарованный, злой, изо всех сил толкнул студента в спину; тот споткнулся, но, обрадовавшись, что удержался на ногах, еще выше подскочил на месте со своей ношей.

К. медленно пошел за ними, он понял, что эти люди нанесли ему первое безусловное поражение. Конечно, причин для особого беспокойства тут не было, поражение он потерпел оттого, что сам искал столкновений с ними. Если бы он сидел дома и вел обычный образ жизни, он был бы в тысячу раз выше этих людей и мог бы любого из них убраться одним пинком. И он представил себе пресмешную сцену, которая разыгралась бы, если бы вдруг этот жалкий студентиска, этот самодовольный мальчишка, этот кривоногий бородач очутился на коленях перед кроватью Эльзы и, сложив руки, умолял ее жалиться над ним. К. пришел в такой восторг от этой воображаемой



сцены, что тут же решил при случае взять студента с собой в гости к Эльзе.

Из любопытства К. все-таки подбежал к двери — ему хотелось взглянуть, куда понесли женщину, не станет же студент тащить ее на руках по улице! Выяснилось, что им пришлось идти совсем не так далеко. Прямо напротив квартиры начиналась узкая деревянная лестница — очевидно, она вела на чердак, но конец ее исчезал за поворотом, так что не видно было, куда она ведет. По этой лестнице студент и понес женщину, уже совсем медленно и побряхтывая — его явно утомила вся эта беготня. Женщина помахала К. рукой и, пожимая плечами, старалась дать ему понять, что ее похитили против воли. Впрочем, особого сожаления ее мимика не выражала. К. посмотрел на нее равнодушно, как на незнакомую, ему не хотелось выдать свое разочарование, но и не хотелось показать, что он все так легко принял.

Оба исчезли за поворотом, а К. все еще стоял в дверях. Он должен был признаться, что женщина не только обманула его, но и солгала, что ее несут к следователю. Не станет же следователь сидеть на чердаке и дожидаться ее. А на деревянную лесенку сколько ни смотри, все равно ничего не узнаешь. И вдруг К. заметил маленькую бумажку у входа, подошел к ней и прочел записку, нацарапанную неумелым детским почерком: «Вход в судебную канцелярию». Значит, тут, на чердаке жилого дома, помещается канцелярия суда? Особого уважения такое устройство вызвать не могло, и всякому обвиняемому было утешительно видеть, какими жалкими средствами располагает этот суд, раз ему приходится устраивать свою канцелярию в таком месте, куда жильцы — всякая голь и нищета — выбрасывают ненужный хлам. Правда, не исключалось и то, что денег отпускали достаточно, но чиновники тут же их разворовывали, вместо того чтобы употребить по назначению. Судя по всему, что испытал К., это было вполне вероятно, и хотя такая развращенность судебных властей была крайне унижительна для обвиняемого, но вместе с тем это предположение успокаивало больше, чем мысль о нищете суда. Теперь К. стало понятно, почему обвиняемого при первом допросе постеснялись пригласить на чердак и предпочли напасть на него в его собственной квартире. Насколько же лучше было положение К., чем положение следователя: тот сидел на чердаке, в то время как сам К. занимал у себя в банке просторный кабинет с приемной и мог любовать-

ся оживленной городской площадью через громадное окно. Правда, у К. не было никаких побочных доходов — взятки он не брал, денег не утаивал и уж, конечно, не мог распорядиться, чтобы служитель, схватив женщину в охапку, принес ее к нему в кабинет. Впрочем, К., по крайней мере в данных обстоятельствах, охотно был готов отказаться от таких развлечений.

Все еще стоя перед запиской, К. увидел, что по лестнице поднялся какой-то человек, заглянул в открытую дверь комнаты, осмотрел оттуда зал заседаний и наконец спросил К., не видел ли он тут сейчас женщину.

— Вы служитель суда, не так ли? — спросил К.

— Да, — ответил тот, — а вы, значит, обвиняемый К.? Теперь я вас тоже узнал, рад вас видеть. — И, к удивлению К., он протянул ему руку. — Но ведь сегодня заседаний нет, — сказал служитель, когда К. промолчал.

— Знаю, — сказал К. и посмотрел на штатский пиджак служителя: единственным признаком его служебного положения были две позолоченные, явно споротые с офицерской шинели пуговицы, которые виднелись среди обычных пуговиц.

— Только сейчас я разговаривал с вашей женой. Ее тут нет. Студент унес ее к следователю.

— Вот видите! — сказал служитель. — Вечно ее от меня уносят. Сегодня воскресенье, работать я не обязан, а мне вдруг дают совершенно ненужные поручения, лишь бы услатить отсюда. Правда, услали меня недалеко, ну думаю, потороплюсь и, даст Бог, вернусь вовремя. Бегу что есть мочи, приоткрываю дверь учреждения, куда меня послали, выкрикиваю то, что мне велели сказать, задыхаюсь так, что меня, наверно, с трудом понимают, бегу назад — но этот студент, видимо, еще больше спешил, чем я; правда, ему-то ближе, только сбежать с чердачной лесенки. Не будь я человеком подневольным, я этого студента давно раздавил бы о стенку. Вот тут, рядом с запиской. Только об этом и мечтаю. Вот тут, чуть повыше пола. Висит весь расплющенный, руки врозь, пальцы растопырены, кривые ножки кренделем, а кругом все кровью забрызгано. Но пока что об этом можно только мечтать.

— А разве другого выхода нет? — с улыбкой спросил К.

— Другого не вижу, — сказал служитель. — И главное, с каждым днем все хуже: до сих пор он таскал ее только к себе, а сейчас потащил к самому следователю; впрочем, этого я давным-давно ждал.

— А разве ваша жена не сама виновата? — спросил К., с трудом сдерживаясь, до того сильно он все еще ревновал ее.

— А как же, — сказал служитель, — она больше всех и виновата. Сама вешалась ему на шею. Он-то за всеми бабами бегает. В одном только нашем доме его уже выставили из пяти квартир, куда он втерся. А моя жена — самая красивая женщина во всем доме, но как раз мне и нельзя защищаться.

— Да, если дело так обстоит, значит помочь ничем нельзя, — сказал К.

— Нет, почему же? — сказал служитель. — Надо бы этого студента, этого труса, отколотить как следует, чтобы навсегда отбить охоту лезть к моей жене. Но мне самому никак нельзя, а другие мне тут не подмога, слишком они боятся его власти. Только такой человек, как вы, мог бы это сделать.

— То есть почему же я? — удивился К.

— Ведь вы обвиняемый, — сказал служитель.

— Да, — сказал К., — но тем больше оснований у меня бояться, что он может повлиять если не на самый исход судебного процесса, то, во всяком случае, на предварительное следствие.

— Да, конечно, — сказал служитель, как будто мнение К. не противоречило его мнению. — Но ведь здесь у нас, как правило, безнадежных процессов не ведут.

— Правда, я думаю несколько иначе, — сказал К., — но это мне не помешает как-нибудь взять в оборот вашего студента.

— Я был бы вам очень признателен, — сказал служитель несколько официально; казалось, он не верит в исполнение своего сокровенного желания.

— Но возможно, — продолжал К., — что некоторые ваши чиновники, а может быть, и все, заслуживают того же.

— Да, да, — согласился служитель, словно речь шла о чем-то само собой понятном. Тут он бросил на К. доверчивый взгляд, чего раньше, несмотря на всю свою приветливость, не делал, и добавил: — Все бунтуют, ничего не попишешь.

Но ему, как видно, стало немножко не по себе от этих разговоров, потому что он сразу переменял тему и сказал:

— Теперь мне надо явиться в канцелярию. Хотите со мной?

— Мне там делать нечего, — сказал К.

— Можете поглядеть на канцелярию. На вас никто не обратит внимания.

— А стоит посмотреть? — спросил К. нерешительно: ему очень хотелось пойти туда.

— Как сказать, — ответил служитель. Я подумал, может, вам будет интересно.

— Хорошо, — сказал наконец К., — я пойду с вами. — И он быстро пошел по лесенке впереди служителя.

В дверях канцелярии он чуть не упал — за порогом была еще ступенька.

— С посетителями тут не очень-то считаются, — сказал он.

— Тут ни с кем не считаются, — сказал служитель. — Вы только взгляните на приемную.

Перед ними был длинный проход, откуда грубо сколоченные двери вели в разные помещения чердака. Хотя непосредственного доступа света ниоткуда не было, все же темнота казалась неполной, потому что некоторые помещения отделялись от прохода не сплошной перегородкой, а деревянной решеткой, правда доходившей до потолка; оттуда проникал слабый свет, и даже можно было видеть некоторых чиновников, которые писали за столами или стояли у самых решеток, наблюдая сквозь них за людьми в проходе. Вероятно, оттого, что было воскресенье, посетителей было немного. Держались они все очень скромно. С обеих сторон вдоль прохода стояли длинные деревянные скамьи, и на них, почти на одинаковом расстоянии друг от друга, сидели люди. Все они были плохо одеты, хотя большинство из них, судя по выражению лиц, манере держаться, холеным бородам и множеству других, едва уловимых признаков, явно принадлежали к высшему обществу. Никаких вешалок нигде не было, и у всех шляпы стояли под скамьями — очевидно, кто-то из них подал пример. Тот, кто сидел около дверей, увидел К. и служителя, привстал и поздоровался с ними, и, заметив это, следующие тоже решили, что надо здороваться, так что каждый, мимо кого они проходили, привстал перед ними. Никто не выпрямлялся во весь рост, спины сутулились, коленки сгибались, люди стояли, как нищие. К. дождал отставшего служителя и сказал:

— Как их всех тут унизили!

— Да, — сказал служитель, — это все обвиняемые.

— Неужели! — сказал К. — Но тогда все они — мои коллеги! — И он обратился к высокому, стройному, почти седому человеку. — Чего вы тут ждете? — вежливо спросил он.

От неожиданного обращения этот человек так растерялся, что на него тяжело было смотреть, тем более что это явно был человек светский и, наверно, в любых иных обстоятельствах отлично умел владеть собой, не теряя превосходства над людьми. А тут он не мог ответить на самый простой вопрос и смотрел на других соседей так, словно они обязаны ему помочь и без них ему не справиться. Но подошел служитель и, желая успокоить и подбодрить этого человека, сказал:

— Господин просто спрашивает, чего вы ждете. Отвечайте же ему! Очевидно, знакомый голос служителя подбодрил его.

— Я жду... — начал он и запнулся.

По-видимому, он начал с этих слов, чтобы точно сформулировать ответ на вопрос, но дальше не пошел. Некоторые из ожидающих подошли поближе и окружили стоявших, но тут служитель сказал:

— Разойдитесь, разойдитесь, освободите проход!

Они немного отошли, однако на прежние места не сели. Между тем тот, кому задали вопрос, собрался с мыслями и ответил, даже слегка улыбаясь:

— Месяц назад я собрал кое-какие свидетельства в свою пользу и теперь жду решения.

— А вы, как видно, не жалеете усилий, — сказал К.

— О да, — сказал тот, — ведь это мое дело.

— Не каждый думает, как вы, — сказал К. — Я, например, тоже обвиняемый, но, клянусь спасением души, никаких свидетельств я не собираю и вообще ничего такого не предпринимаю. Неужели вы считаете это необходимым?

— Точно я ничего не знаю, — ответил тот, уже окончательно растерявшись; он явно решил, что К. над ним подшучивает, и ему, должно быть, больше всего хотелось дословно повторить то, что он уже сказал, но, встретив нетерпеливый взгляд К., он только проговорил: — Что касается меня, то я подал справки.

— Кажется, вы не верите, что я тоже обвиняемый? — спросил К.

— Что вы, конечно, верю, — сказал тот и отступил в сторону, но в его ответе прозвучала не вера, а только страх.

— Значит, вы мне не верите? — повторил К. и, бессознательно за-

детый униженным видом этого человека, взял его за рукав, словно хотел заставить его поверить.

Он совершенно не собирался сделать ему больно, да и дотронулся до него еле-еле, но тот вдруг закричал, словно К. схватил его за рукав не двумя пальцами, а раскаленными щипцами. Этот нелепый крик окончательно вывел К. из себя: раз ему не верят, что он тоже обвиняемый, тем лучше, а вдруг его принимают за судью? И уже крепко, с силой схватив того за плечо, он толкнул его на скамейку и пошел дальше.

— Все эти обвиняемые такие чувствительные, — сказал служитель.

За их спиной почти все ожидающие собрались вокруг того человека: кричать он перестал, и теперь все его, очевидно, расспрашивали подробно, что произошло. Навстречу К. шел стражник, его можно было отличить главным образом по сабле, у которой ножны, судя по цвету, были сделаны из алюминия. К. удивился этому и даже потрогал ножны рукой. Стражник, как видно, был привлечен шумом и спросил, что тут произошло. Служитель попытался как-то успокоить его, но он заявил, что должен сам все проверить, отдал честь и пошел дальше какими-то торопливыми, семенящими шажками; по-видимому, он страдал подагрой.

К. не стал больше обращать внимания ни на него, ни на посетителей, сидевших в проходе, так как, пройдя половину коридора, он увидел, что можно свернуть вправо через дверной проем. Он справился у служителя, правильно ли он идет, тот кивнул, и К. прошел туда. Ему было неприятно все время идти на два-три шага впереди служителя: именно тут, в этом здании, могло показаться, что ведут арестованного. Он то и дело поджидал служителя, но тот сразу опять отставал. Наконец К., желая прекратить это неприятное состояние, сказал:

— Ну вот я и посмотрел, как тут все устроено, теперь я ухожу.

— Нет, вы еще не все видели, — небрежно бросил служитель.

— А я и не хочу все видеть, — сказал К., уже по-настоящему чувствуя усталость. — Я хочу уйти, где тут выход?

— Неужели вы уже заблудились? — удивленно спросил служитель. — Надо дойти до угла, а потом направо по тому проходу до самой двери.

— Пойдемте со мной, — сказал К., — покажите мне дорогу, не то я запутаюсь, здесь столько входов и выходов.

— Нет, это единственный выход, — уже с упреком сказал служитель. — А вернуться с вами я не могу, мне еще надо передать поручение, я и так потерял с вами уйму времени.

— Нет, пойдемте! — уже резче сказал К., словно наконец уличил служителя во лжи.

— Не кричите! — прошептал служитель. — Здесь кругом канцелярии. Если не хотите идти без меня, пройдемте еще немножко вперед, а лучше подождите тут, я только передам поручение, а потом с удовольствием провожу вас.

— Нет, нет, — сказал К., — ждать я не буду, вы должны сейчас же пройти со мной.

К. еще не осмотрелся в помещении, где они находились, и, только когда открылась одна из бесчисленных дощатых дверей, он оглянулся. Какая-то девушка, привлеченная, очевидно, громким голосом К., вышла и спросила:

— Что вам угодно, сударь?

За ней, поодаль, в полутьме, показалась фигура приближающегося мужчины. К. посмотрел на служителя. Ведь он говорил, что никто не обратит внимания на К., а тут уже двое подходят; еще немного — и все чиновники обратят на него внимание, потребуют объяснить, зачем он здесь. Единственным понятным и приемлемым объяснением было бы то, что он обвиняемый и пришел узнать, на какое число назначен следующий допрос, но такого объяснения он давать не хотел, тем более что оно не соответствовало бы действительности, ведь пришел он из чистого любопытства, а также из желания установить, что внутренняя сторона этого судопроизводства так же отвратительна, как и внешняя, но дать такое объяснение было совсем невозможно. Все, что он думал, подтверждалось, и дальше вникать у него охоты не было, его и так удручало все, что он увидел, сейчас он был просто не в состоянии встретиться с каким-нибудь важным чиновником, который мог вынырнуть из-за любой двери; нет, он хотел уйти со служителем, а если придется, то и один.

Но его молчаливое упорство, очевидно, бросалось в глаза, потому что и девушка, и служитель так на него смотрели, будто в ближайший миг с ним произойдет какое-нибудь превращение, и они боятся это пропустить. А в дверях уже стоял человек, которого К. заметил еще раньше, издали; он держался рукой за низкую притолоку и слегка раскачивался на носках, как нетерпеливый зритель. Девушка пер-

вая поняла, что странное поведение К. объясняется легким недомоганием, она тут же принесла кресло и спросила:

— Может быть, вы присядете?

К. сразу сел и тяжело облокотился на ручки кресла, словно ища опоры.

— Немного закружилась голова, правда? — спросила девушка.

Ее лицо склонилось к нему совсем близко с тем строгим выражением, какое свойственно многим женщинам именно в расцвете молодости.

— Не волнуйтесь, — сказала она, — тут это дело обычное; почти с каждым, кто приходит сюда впервые, бывает такой припадок. Вы ведь здесь в первый раз? Да, тогда это вполне естественно. Солнце страшно нагревает стропила крыши, а от перегретого дерева воздух становится тяжелым, душным. Вот почему, несмотря на все преимущества, это помещение не очень подходит для канцелярии. А что касается воздуха, то при большом скоплении клиентов — а это бывает почти каждый день — тут просто дышать нечем. Если еще вспомнить, что тут часто вешают сушить белье — нельзя же запретить жильцам пользоваться чердаком, — то вы и сами поймете, почему вам стало не по себе. Но в конце концов и к такому воздуху привыкаешь. Вот придете сюда еще раза два-три и даже не почувствуете духоты. Вам уже немного лучше?

К. ничего не ответил — слишком неприятно было из-за внезапной слабости ощущать свою зависимость от этих людей, а кроме того, когда он узнал, почему ему стало дурно, он почувствовал себя не только не лучше, а, пожалуй, еще хуже. Девушка сразу это заметила, взяла багор, стоявший у стены, и открыла небольшой люк над головой у К., чтобы дать доступ свежему воздуху. Но посыпалось столько сажу, что девушке пришлось тут же закрыть люк и смахнуть сажу с рук К. своим носовым платком, потому что сам он слишком ослабел. Он охотно посидел бы тут, чтобы собраться с силами и уйти, и чем меньше на него обращали бы внимания, тем скорее он пришел бы в себя. Но тут девушка сказала:

— Здесь сидеть нельзя, мы мешаем движению.

К. вопросительно взглянул на нее, не понимая, о каком движении идет речь.

— Если хотите, я проведу вас в медицинскую комнату. Помогите мне, пожалуйста! — обратилась она к мужчине, стоявшему в дверях, и он сразу подошел ближе.



Но К. вовсе не хотел идти в медицинскую комнату, он больше всего боялся, что его уведут: наверно, там чем дальше, тем хуже.

— Я уже могу идти, — сказал он, и, как ни удобно ему было сидеть в кресле, он, весь дрожа, встал на ноги. Но удержаться на ногах он был не в силах.

— Не могу, — сказал он, покачивая головой, и со вздохом снова опустился в кресло. Он вспомнил служителя суда, который, несмотря ни на что, мог бы помочь ему выйти отсюда, но тот, как видно, давно ушел. Он заглянул в просвет между мужчиной и девушкой, но служителя не увидел.

— Я считаю, — сказал мужчина, одетый весьма элегантно, — особенно бросалась в глаза серая жилетка, заканчивавшаяся двумя острыми уголками, — я считаю, что нездоровье этого господина вызвано здешней атмосферой, поэтому будет разумнее всего, да и ему приятнее, если мы не станем отводить его в медицинскую комнату, а просто выведем из канцелярии.

— Вот именно! — воскликнул К. и от радости не дал тому договорить. — Конечно же, мне станет сразу лучше, да я и не настолько ослаб, меня надо только немного поддержать под мышки, я вас никак не затрудню, тут ведь близко, доведите меня до двери, я немножко посижу на ступеньках и совсем отдохну, у меня таких припадков никогда не бывало, удивляюсь, как это вышло. Ведь я и сам служащий, привык к канцелярскому воздуху, но здесь, как вы изволили заметить, слишком уж душно. Будьте любезны, проводите меня немного, у меня голова кружится, мне дурно, когда я стою без поддержки. — И он приподнял плечи, чтобы его могли подхватить под мышки.

Но мужчина не внял его просьбе и, не вынимая рук из карманов, громко рассмеялся.

— Вот видите, — сказал он девушке, — этому господину не вообще плохо, а плохо только здесь!

Девушка тоже улыбнулась, но слегка похлопала мужчину по плечу кончиками пальцев, словно он позволил себе слишком явную насмешку над К.

— Да что вы, — сказал тот, не переставая смеяться, — я же действительно хочу помочь ему выйти.

— Вот и прекрасно, — сказала девушка, кивнув хорошенькой головкой. — И пожалуйста, не придавайте слишком много значения нашему смеху, — обратилась она к К., видя, что тот опять помрачнел и

установился перед собой, не интересуясь никакими объяснениями. — Этот господин — вы разрешите вас представить? — (тот жестом выразил согласие), — этот господин заведует справочным бюро. Он дает ожидающим клиентам все необходимые справки, а так как народ не слишком знаком с нашей судебной процедурой, то справок требуется очень много. Он может ответить на любой вопрос. Вы как-нибудь испытайте его, если угодно. Но это не единственное его преимущество. Второе преимущество — его элегантный костюм. Мы, то есть все служащие, как-то решили, что заведующему справками, который обычно первым встречается с клиентами, необходимо отлично одеваться, для того чтобы сразу произвести хорошее впечатление. Мы, остальные, как вы можете судить по мне, к сожалению, одеты очень плохо и старомодно, да и смысла нет тратить на одежду, ведь мы почти все время проводим в канцелярии, мы даже ночуем тут. Но, как я уже сказала, мы считаем необходимым, чтобы заведующий справочным бюро был хорошо одет. И так как от нашего начальства, настроенного в этом вопросе несколько странно, добиться ничего нельзя, то мы провели сбор — в нем и клиенты участвовали — и купили ему не только этот прекрасный костюм, но и несколько других. Казалось бы, все сделано для того, чтобы он производил хорошее впечатление, но своим смехом он все портит, отпугивает людей.

— Верно, — сказал насмешливо господин из справочной. — Я только не понимаю, фройляйн, почему вы посвящаете этого господина в наш внутренний распорядок, до которого ему дела нет. Разве вы не видите, что он сейчас целиком поглощен своими собственными делами?

К. не испытывал никакого желания противоречить девушке, намерения у нее были явно самые добрые, должно быть, ей хотелось отвлечь его или дать ему возможность собраться с силами, но ей это не удалось.

— Надо же мне было объяснить ему причину вашего смеха, — сказала девушка. — Он мог обидеться.

— Наверно, он и не такие обиды готов простить, лишь бы я вывел его отсюда.

К. опять ничего не сказал, даже не поднял глаз; он не возражал, чтобы эти двое говорили о нем как о неодушевленном предмете, ему это было даже приятнее. Но вдруг рука заведующего бюро легла на его правую, а рука девушки — на левую руку.

— Ну вставайте же, слабый вы человек, — сказал заведующий.

— Я вам очень благодарен, — сказал К., обрадовавшись неожиданной помощи, медленно поднялся и передвинул эти чужие руки так, чтобы они его поддерживали как следует.

— Вам могло показаться, — зашептала девушка на ухо К., когда они подходили к коридору, — будто я стараюсь представить заведующего справочным бюро в чересчур выгодном свете, но поверьте, что я говорю правду. У него не злое сердце. Ведь он не обязан выводить больных клиентов, однако сами видите, как он помогает. Может быть, все мы тут не такие уж злые, может, мы охотно помогли бы каждому, но ведь мы в суде, и нас легко принять за злых людей, которые никому не желают помогать. Я от этого просто страдаю.

— Не хотите ли тут присесть? — спросил заведующий справочным бюро.

Они уже вышли в коридор и очутились как раз напротив того обвиняемого, с которым К. разговаривал раньше. Теперь К. было немного стыдно; раньше он стоял перед этим человеком так уверенно, а теперь двое должны были его поддерживать, заведующий вертел в руках его шляпу, прическа у него растрепалась, волосы свисали на потный лоб. Но обвиняемый как будто ничего не заметил, смиренно стоя перед заведующим справочным бюро; тот не обращал внимания на его попытки объяснить свое присутствие.

— Знаю, — говорил обвиняемый, — сегодня еще не может быть решения по моему заявлению. И все же я пришел. Дай, думаю, подожду, ведь сегодня воскресенье, время у меня есть, а тут я никому не мешаю.

— Да вы не извиняйтесь, — сказал заведующий. — Ваша щепетильность весьма похвальна. Правда, вы зря занимаете место, но, пока вы не мешаете мне, я не стану возражать, можете самолично следить за ходом своего дела. Когда насмотришься на людей, бесстыдно пренебрегающих своим долгом, то к таким, как вы, начинаешь относиться терпимее. Садитесь!

— Как он умеет разговаривать с клиентами! — шепнула девушка.

К. только кивнул головой и сразу вздрогнул, когда заведующий справочной снова спросил его:

— Не хотите ли посидеть?

— Нет, — сказал К., — в отдыхе я не нуждаюсь.

Он постарался сказать это как можно решительнее, но на самом

деле ему очень полезно было бы присесть. Он ощущал что-то вроде морской болезни. Ему казалось, что он на корабле в сильнейшую качку. Казалось, волны бьют о деревянную обшивку, откуда-то из глубины коридора подымается рев кипящих валов, пол в коридоре качается поперек, от стенки к стенке, и посетители с обеих сторон то подымаются, то опускаются. Тем непонятнее было спокойствие девушки и мужчины, которые его вели. Он был всецело предоставлен им: выпусти они его, и он тут же упадет, как полено. Прищулив глаза, они обменивались быстрыми взглядами. К. чувствовал размеренность их шагов, он не попадал в такт, потому что они почти что несли его. Наконец он услышал, как они обращаются к нему, но ничего не понял. Он воспринимал только сплошной шум, наполнявший все вокруг, а сквозь него, казалось, пробивался однотонный высокий звук, похожий на звук сирены.

— Громче, — прошептал он, опустив голову, ему было стыдно от сознания, что они говорят достаточно громко, а он их не понимает. И тут наконец перед ним внезапно расступилась стена, навстречу повеяло воздухом, и он услышал, как рядом сказали:

— То он хочет уйти, а то ему сто раз повторяешь, что тут выход, а он с места не двигается.

К. увидел, что он стоит перед дверью, которую девушка распахнула настежь. Он почувствовал, что силы внезапно вернулись к нему, и, чтобы полностью предвкушить ощущение свободы, он сразу вышел на лестницу и уже оттуда стал прощаться со своими провожатыми, которые наклонились к нему.

— Большое спасибо, — повторял он, без конца пожимая протянутые руки, и выпустил их, только заметив, что они оба, привыкшие к канцелярскому воздуху, плохо переносили сравнительно свежий воздух лестничного пролета. Они еле отвечали, и девушка, наверно, упала бы, если бы К. с невероятной поспешностью не захлопнул дверь. К. постоял минуту, потом с помощью карманного зеркальца привел в порядок волосы, поднял шляпу, лежавшую на следующей ступеньке, — как видно, ее туда бросил заведующий, — и сбежал по лестнице так бодро, такими большими прыжками, что ему даже стало не по себе от столь быстрой перемены. Никогда его крепкий и в общем здоровый организм не преподносил ему таких сюрпризов. Неужто его тело взбунтовалось, и в нем происходит иной жизненный процесс, не тот, прежний, который протекал с такой легкостью?

Не отказываясь от мысли обратиться как-нибудь к врачу, он одно решил твердо — и в этом вопросе он в чужих советах не нуждался — постараться в будущем использовать воскресные утра лучше, чем сегодня.

#### Глава четвертая

### Подруга фройляйн Бюрстнер

**В** течение ближайших дней К. никак не мог сказать фройляйн Бюрстнер хотя бы два-три слова. Он всячески пытался подойти к ней, но она всегда ухитрялась избегать его. После службы он сразу шел домой, усаживался в своей комнате на кушетку, не зажигая света, ничем другим не занимался — только следил, не появится ли кто-нибудь в прихожей. А если проходила горничная и притворяла дверь его, как ей казалось, пустой комнаты, он через некоторое время вставал и снова открывал дверь. По утрам он подымался на час раньше обычного, чтобы встретить фройляйн Бюрстнер, пока она не ушла в контору. Но все его попытки срывались. Тогда он написал ей письма и на адрес конторы, и на домашний адрес, пытаясь оправдать свое поведение, предлагал как угодно заглазить свой промах, обещал никогда не преступать границ, которые она ему поставит, и только просил дать ему возможность поговорить с ней, тем более что он не мог ни о чем договориться с фрау Грубах, не посоветовавшись предварительно с фройляйн Бюрстнер. А в конце письма сообщал, что в следующее воскресенье он будет весь день дожидаться в своей комнате — пусть даст хоть какой-то знак, что согласна исполнить его просьбу о свидании или по крайней мере объяснить ему, почему эта просьба невыполнима, причем он обещает всецело подчиниться ее требованиям. Письма не вернулись, но и ответа не последовало. Однако в следующее воскресенье ему был подан знак, не допускавший никаких сомнений. С самого утра К. увидел через замочную скважину необычную суету в прихожей, причина которой скоро выяснилась. Учительница французского языка — впрочем, она была немка по фамилии Монтаг, — чахлая, бледная, хроменькая девушка, занимавшая до сих пор отдельную комнату, перебиралась в комнату к фройляйн Бюрстнер. Уже несколько часов шмыгала она взад и впе-

ред через прихожую. То она забыла взять что-то из белья, то коврик, то книжку, и за всем по отдельности ей приходилось бегать, все переносить в новое жильё.

Когда фрау Грубах принесла К. его завтрак — с тех пор как он так на нее разгневался, она даже мелочей не поручала прислуге, — К., не удержавшись, заговорил с ней в первый раз после пятидневного молчания.

— Почему сегодня такой шум в передней? — спросил он, наливая себе кофе. — Нельзя ли это прекратить? Неужто именно в воскресенье надо делать уборку?

И хотя К. не смотрел на фрау Грубах, он заметил, что она вздохнула словно с облегчением. Даже этот суровый вопрос она восприняла как примирение или хотя бы как шаг к примирению.

— Никакой уборки нет, господин К., — сказала она, — это фройляйн Монтаг перебирается к фройляйн Бюрстнер, переносит свои вещи.

Больше она ничего не сказала, выжидая, как примет К. ее слова и будет ли ей разрешено говорить дальше. Но К. решил ее испытать и, задумчиво помешивая ложечкой свой кофе, промолчал. Потом поднял глаза и спросил:

— А вы уже отказались от своих прежних подозрений относительно фройляйн Бюрстнер?

— Ах, господин К.! — воскликнула фрау Грубах, явно ждавшая этого вопроса, и умоляюще сложила руки перед К. — Вы слишком близко приняли к сердцу совершенно случайное замечание. У меня и в мыслях не было обидеть вас или еще кого-нибудь. Ведь вы меня так давно знаете, господин К., вы мне должны поверить. Вы не можете себе представить, как я страдала все эти дни! Неужели я способна оговорить своих квартирантов! И вы, вы, господин К., могли этому поверить! Да еще предлагали, чтобы я отказала вам от квартиры! Вам — и отказала! Слезы уже заглушили последние слова, она закрыла лицо передником и громко зарыдала.

— Не плачьте, фрау Грубах, — сказал К., глядя в окно. Он думал только о фройляйн Бюрстнер и о том, что она взяла к себе в комнату постороннюю девушку. — Да не плачьте же! — повторил он, обернувшись и увидев, что фрау Грубах все еще плачет. — Я в тот раз не хотел сказать ничего дурного. Мы просто друг друга не поняли. Это случается и со старыми друзьями.

Фрау Грубах выглянула из-за передника, чтобы убедиться, действительно ли К. на нее не сердится.

— Да, да, это правда, — сказал К. По всему поведению фрау Грубах он понял, что ее племянник, капитан, ничего не выдал, и потому решил добавить: — Неужели вы и вправду поверили, что из-за какой-то малознакомой барышни я с вами поссорюсь?

— То-то и оно, господин К., — сказала фрау Грубах. Но, к несчастью, как только она чувствовала себя хоть немного увереннее, она сразу становилась бестактной. — Я и то себя спрашивала, с чего бы это господин К. так заступался за фройляйн Бюрстнер? Почему он ссорился со мной из-за нее? Ведь он знает, что я ночами не сплю, когда он на меня сердится. А про барышню я только то и говорила, что видела своими глазами!

К. ничего ей не возразил, иначе ему пришлось бы тотчас выставить ее из комнаты, а этого он не хотел. Он только молча пил кофе, как бы подчеркивая, что фрау Грубах тут уже лишняя. За дверью слышалось шарканье: фройляйн Монтаг опять проходила через переднюю.

— Вы слышите? — спросил К. и повел рукой к двери.

— Да, — сказала со вздохом фрау Грубах, — я и сама хотела ей помочь, и горничную посылала на помощь, да она такая упрямая, все хочет сама перенести. Удивляюсь я на фройляйн Бюрстнер. Мне и то неприятно, что эта Монтаг у меня живет, а фройляйн Бюрстнер вдруг берет ее к себе в комнату.

— Вас это не должно касаться, — сказал К. и раздавил ложечкой остатки сахара в чашке. — Разве вам от этого убыток?

— Нет, — сказала фрау Грубах, — в сущности, мне это даже на руку, у меня комната освободится, можно будет туда поместить моего племянника, капитана. Мне давно уже боязно, что он вам мешает, оттого что пришлось на эти несколько дней поселить его в гостиной. Он не очень-то церемонится.

— Что за выдумки! — сказал К. и встал со стула. — Об этом и речи нет. Должно быть, вы считаете меня таким капризным, оттого что меня раздражает шмыганье этой Монтаг. Слышите, опять она идет.

Фрау Грубах беспомощно смотрела на К.

— Может быть, господин К., сказать ей, чтобы она отложила переноску? Если вам угодно, я скажу сейчас же!

— Но ведь она должна перебраться к фройляйн Бюрстнер! — сказал К.

— Да, — подтвердила фрау Грубах, не совсем понимая, к чему он клонит.

— Ну вот, — сказал К., — значит, ей необходимо перенести вещи.

Фрау Грубах только кивнула. Эта немая беспомощность, которая так походила на упрямство, еще больше раздражала К. Он стал расхаживать по комнате от окна до двери, из-за чего фрау Грубах никак не могла выйти, хотя ей только этого и хотелось.

К. подошел к двери как раз в ту минуту, когда к нему постучали. Вошла горничная и доложила, что фройляйн Монтаг хотела бы сказать господину К. несколько слов и просит его пройти в столовую, где она ждет. К. задумчиво выслушал горничную, потом почти что с насмешкой взглянул на испуганную фрау Грубах. Этот взгляд, казалось, говорил, что он, К., давно предвидел приглашение фройляйн Монтаг, что и это тоже одно из тех мучений, какие ему приходится терпеть от жильцов фрау Грубах в воскресное утро. Он попросил горничную передать, что сейчас придет, подошел к шкафу, чтобы сменить пиджак, и в ответ на жалобные причитания фрау Грубах по адресу назойливой особы он только попросил ее убрать прибор с завтраком.

— Да вы же почти ни до чего не дотронулись! — сказала фрау Грубах.

— Ах, да уберите же скорее! — крикнул К. Ему казалось, что и еда как-то связана с фройляйн Монтаг и потому особенно противна.

Проходя через прихожую, он взглянул на закрытую дверь комнаты фройляйн Бюрстнер. Но его приглашали не в эту комнату, а в столовую, и он рывком открыл туда дверь, даже не постучавшись.

Это была очень длинная и узкая комната в одно окно. В ней только и хватило места для двух шкафов, поставленных углом около дверей, все остальное пространство занимал длинный обеденный стол; он начинался у дверей и тянулся почти до большого окна, к которому из-за этого трудно было пройти. Стол уже накрыли на много персон, так как по воскресеньям почти все жильцы обедали тут.

Когда К. вошел, фройляйн Монтаг двинулась ему навстречу от окна вдоль стола. Они молча поздоровались. Потом фройляйн Монтаг, как всегда, неестественно закинув голову, сказала:

— Не знаю, известно ли вам, кто я такая.



К. посмотрел на нее прищурясь.

— Разумеется, известно, — сказал он. — Ведь вы давно живете тут, у фрау Грубах.

— Но, как мне кажется, вы мало интересуетесь этим пансионом?

— Мало, — сказал К.

— Может быть, вы присядете? — спросила фройляйн Монтаг.

Оба молча вытащили два стула и сели в конце стола друг против друга. Но фройляйн Монтаг тут же встала — она забыла сумочку на подоконнике и, шаркая ногами, пошла за ней через всю комнату. Она вернулась от окна, слегка покачивая сумочку на пальце, и сказала:

— Мне хотелось бы передать вам несколько слов по поручению моей подруги. Она собиралась прийти сама, но ей сегодня нездоровится. Она просила вас извинить ее и выслушать меня. Впрочем, она все равно не сказала бы вам больше того, что скажу я. Напротив, я думаю, что могу сказать вам даже больше, так как я в некотором отношении беспристрастна. Вы со мной согласны?

— А что тут можно сказать? — ответил К. Ему докучало, что фройляйн Монтаг уставилась на его губы. Она словно предвосхищала все, что он хотел сказать. — Очевидно, фройляйн Бюрстнер не сооблаговолила встретиться со мной для личного разговора, как я ее просил.

— Да, это так, — сказала фройляйн Монтаг. — Или, вернее, все это вовсе не так. Вы слишком резко ставите вопрос. Вообще на такие разговоры и согласия не дают, и отказа не бывает. Но случается, что разговор просто считают бесполезным, и в данном случае так оно и есть. Теперь, после вашего замечания, я могу говорить откровенно. Вы просили мою приятельницу объяснить с вами письменно или устно. Но моя приятельница, как я предполагаю, отлично знает, о чем будет разговор, и по неизвестным мне причинам уверена, что такое объяснение никому пользы не принесет. Вообще же она мне рассказала об этом только вчера, и то совсем мимоходом, причем пояснила, что и для вас этот разговор совершенно не важен, потому что вы только случайно попали на эту мысль и сами поймете, а может быть, уже и поняли без особых разъяснений, всю нелепость своей затеи. Я ей ответила, что, быть может, все это и верно, но для полной ясности я считаю небесполезным дать вам исчерпывающий ответ. Я вызвалась передать ее ответ, и после некоторых колебаний моя приятельница согласилась. Надеюсь, что я действовала и вам на пользу, ведь всякая

неизвестность, даже в самом пустячном деле, всегда мучительна, и если ее можно, как в данном случае, легко устранить, то надо это сделать без промедления.

— Благодарю вас, — тут же сказал К., медленно встал, поглядел на фройляйн Монтаг, потом на стол, потом в окно — дом напротив был озарен солнцем — и пошел к двери. Фройляйн Монтаг пошла было следом за ним, словно не совсем ему доверяла. Но у выхода им обоим пришлось отступить: дверь распахнулась, и вошел капитан Ланц. К. впервые увидел его вблизи. Это был высокий мужчина лет сорока с загорелым до черноты мясистым лицом. Он сделал легкий поклон, относившийся и к К., потом подошел к фройляйн Монтаг и почтительно поцеловал ее руку. Двигался он очень легко и ловко. Его вежливое обращение с фройляйн Монтаг резко отличалось от того, как с ней обращался сам К. Но фройляйн Монтаг, по-видимому, не обижалась на К., она, как заметил К., даже собиралась представить его капитану. Но К. вовсе не хотел, чтобы его кому-то представляли, он все равно не мог бы заставить себя быть любезным ни с фройляйн Монтаг, ни с капитаном, а то, что капитан поцеловал ей руку, сразу сделало их в глазах К. сообщниками, которые, притворяясь в высшей степени безобидными и незаинтересованными, мешают ему встретиться с фройляйн Бюрстнер. Но К. считал, что он не только это понял; он понял также, что фройляйн Монтаг выбрала неплохой, хотя и обоюдоострый способ. Она преувеличила значительность тех взаимоотношений, которые создались между К. и фройляйн Бюрстнер, а главное — она преувеличила значение того разговора, которого добивался К., и при этом старалась так повернуть дело, что выходило, будто сам К. придает всему слишком большое значение. Тут-то она и ошибалась: К. вовсе не желал ничего преувеличивать, он отлично знал, что фройляйн Бюрстнер просто жалкая машинисточка, которая не сможет долго сопротивляться ему. При этом он нарочно не принимал во внимание то, что он узнал про фройляйн Бюрстнер от хозяйки. Все это мелькнуло у него в голове, когда он выходил из столовой с небрежным поклоном. Он хотел сразу пройти к себе в комнату, но тут в столовой за его спиной раздался смешок фройляйн Монтаг, и у него мелькнула мысль, что, может быть, ему удастся удивить и капитана, и фройляйн Монтаг. Он огляделся вокруг, прислушался, не помешает ли ему кто-нибудь из соседних комнат, но везде было тихо, слышался лишь разговор из столовой, да из коридора, ведуще-

го на кухню, доносился голос фрау Грубах. Обстановка показалась К. благоприятной, и, подойдя к двери фройляйн Бюрстнер, он тихо постучал. Но ответа не было. Он постучал еще раз — и снова ему не ответили. Неужели она спит? А может быть, ей и вправду нездоровится? Или она нарочно не открывает, зная, что только К. может стучать так тихо? К. решил, что она нарочно прячется, и постучал сильнее, а когда на стук никто не отозвался, К., чувствуя, что поступает не только плохо, но и совершенно нелепо, осторожно приоткрыл дверь. В комнате никого не было. Да ничто и не напоминало знакомую комнату. У стены стояли рядом две кровати, все три кресла у дверей были завалены ворохом белья и платья, шкаф был открыт настежь. Очевидно, фройляйн Бюрстнер ушла, пока фройляйн Монтаг уговаривала К. Но его это не очень огорчило, он почти и не ждал, что так легко найдет фройляйн Бюрстнер, и сделал эту попытку почти исключительно назло фройляйн Монтаг. Но именно поэтому ему было особенно неприятно, когда он, закрывая дверь, вдруг увидел, что капитан и фройляйн Монтаг стоят и беседуют в дверях столовой. Возможно, что они там стояли уже в ту минуту, когда К. отворял дверь, но они сделали вид, что совсем не следят за ним, тихо переговаривались между собой и смотрели на К. рассеянным взглядом, как обычно смотрит человек, поглощенный разговором. Но К. все-таки стало неловко под их взглядами, и, прижимаясь к стенке, он поспешил проскользнуть к себе в комнату.

### Глава пятая Экзекутор

**В** один из ближайших вечеров, когда К. проходил по коридору, отделявшему его кабинет от главной лестницы, — в тот раз он уходил со службы почти последним, только в экспедиции при тусклом свете лампы работали два курьера, — он услышал вздохи за дверью, где, как он думал, помещалась кладовка, хотя он сам никогда ее не видел. Он остановился, удивленный, прислушался, чтобы убедиться, что он не ошибается. На минуту там стало тихо, потом снова послышались вздохи. К. хотел было позвать одного из курьеров — мог понадобиться свидетель, — но его охватило такое безудержное любо-

пытство, что он буквально рывком распахнул дверь. Действительно, как он и предполагал, там была кладовка. За порогом громоздились старые ненужные проспекты, опрокинутые глиняные бутылки из-под чернил. Но в самой комнатухе стояли трое мужчин, согнувшись под низким потолком. Свечка, прикрепленная к полочке, освещала их сверху.

— Что вы тут делаете? — спросил К., запинаясь от волнения, но стараясь сдержать голос.

На одном из мужчин — очевидно, начальнике над остальными — была какая-то странная кожаная безрукавка с глубоким вырезом, так что рука и грудь были обнажены. Он ничего не ответил. Но те двое закричали:

— Ах, сударь! Нас сейчас высекут, потому что ты пожаловался на нас следователю!

И только тут К. узнал обоих стражей — Франца и Виллема; третий держал наготове розгу, словно собирался их высечь.

— Ну нет, — проговорил К., глядя на них в упор, — я на вас вовсе не жаловался, а просто рассказал, что произошло у меня на квартире. Кстати, ваше поведение было отнюдь не безукоризненным.

— Сударь, — сказал Виллем, тогда как Франц явно старался спрятаться за ним от третьего, — если бы вы только знали, как мало нам платят, вы бы не судили нас так строго. Мне надо кормить семью, а Франц хотел жениться, вот и стараешься урвать, что только можно; одной работой не проживешь, хоть из кожи лезешь вон. У вас бельецо тонкое, вот я на него и польстился, хотя нам, страже, это и запрещено. Конечно, нехорошо вышло, но уж так повелось, что белье достается стражам, издавна так повелось, верьте мне; оно и понятно: разве для того, кто имел несчастье быть арестованным, это играет какую-нибудь роль? Однако, если он пожалуется, нас наказывают.

— Ничего этого я не знал, а кроме того, я никоим образом не требовал для вас наказания, речь шла только о принципе.

— Франц, — обратился Виллем ко второму стражу, — а что я тебе говорил? Господин вовсе и не требовал для нас наказания. Сам слышал: он и не знал, что нас ждет наказание.

— И все они зря болтают, ты не расстраивайся, — сказал третий, обращаясь к К. — Наказание их ждет, и справедливое, и неизбежное.

— Ты его не слушай... — сказал Виллем и осекся, торопливо поднося к губам руку, по которой его хлестнула розга. — Нас наказывают

только из-за твоего доноса. Иначе нам ничего не сделали бы, даже если б узнали про наши дела. А разве это называется справедливостью? Оба мы, особенно я, служим давно, отлично себя зарекомендовали, да ты и сам должен признать, что, с точки зрения властей, мы тебя охраняли прекрасно. Мы уже надеялись продвинуться по службе и думали: сами станем экзекуторами, как вот он, ему повезло, на него никто не жаловался, такие жалобы у нас вообще редкость. А теперь, сударь, все пропало, карьере нашей конец, теперь нас пошлют на самую черную работу, это не то, что служить стражами, а к тому же еще крепко высекут.

— Неужели эта розга так больно сечет? — спросил К. и потрогал розгу, которой помахивал перед ним экзекутор.

— Да ведь нам придется раздеться догола, — сказал Виллем.

— Ах вот оно что, — сказал К. и пристально посмотрел на экзекутора; тот был загорелый, как матрос, и лицо у него было здоровое и наглое. — Разве нет возможности избавить их от порки? — спросил К.

— Ну нет! — с улыбкой сказал тот и тряхнул головой. — Раздевайтесь! — приказал он стражам. И тут же обратился к К.: — Не верь им, они от страха перед поркой малость свихнулись. Ну что он, — тут он кивнул на Виллема, — что он тут болтал о своей карьере? Ведь это просто смех. Взгляни, какой он жирный, этот жир сразу и розгой не пробьешь, а знаешь, почему он так разжирел? У него привычка съедать завтраки всех арестованных. Наверно, он и твой завтрак съел? Ну вот, что я говорил! Разве с таким брюхом можно стать экзекутором? Никогда в жизни.

— Неправда, такие экзекуторы тоже бывают, — вмешался Виллем, уже расстегивавший брючный пояс.

— Нет! — отрезал экзекутор и провел розгой по его шее так, что тот вздрогнул. — И вообще, не вмешивайся, а раздевайся поскорее.

— Я тебе хорошо заплачу, только отпусти их, — сказал К. и, не глядя на экзекутора — такие дела лучше вершить, опустив глаза, — вынул свои бумажник.

— Ну нет, потом ты и на меня донесешь, подведешь и меня под розги. Нет, нет!

— Не глупи! — сказал К. — Если бы я хотел наказания этим двум, я бы сейчас не пытался их выкупить. Я мог бы просто захлопнуть дверь, ничего не видеть и не слышать и спокойно уйти домой. Но ведь я этого не делаю, наоборот, я всерьез стараюсь их освободить.

Если бы я только подозревал, что их накажут, даже если б им только грозило наказание, я бы никогда не назвал их имена. Да я их и не считаю виновными, виновата вся организация, виноваты высшие чиновники.

— Верно! — крикнули стражи, и тут же розга хлестнула по их голым спинам.

— Если бы под твою розгу попал сам судья, — сказал К. и придержал розгу, уже готовую опуститься вновь, — я бы никак не стал мешать побоям, напротив, я дал бы тебе денег, чтобы ты подкрепился для доброго дела.

— Слова твои похожи на правду, — сказал экзекутор, — но все-таки подкупить себя я не позволю. Раз я приставлен для порки, значит, надо пороть.

Тут стражник Франц, который вел себя довольно сдержанно в ожидании благоприятного исхода от вмешательства К., в одних брюках подошел к двери и, упав на колени, вцепился в рукав К., шепча:

— Если ты не можешь добиться пощады для нас обоих, попробуй освободить хотя бы меня. Виллем старше, он во всех отношениях не такой чувствительный, да к тому же его уже пороли года два назад, правда, не сильно, но меня еще ни разу не бесчестили, да и виноват во всем Виллем, это он меня подбил, он меня учит и хорошему, и плохому. А внизу у входа в банк ждет моя невеста, мне так стыдно, так ужасно стыдно! — Он вытер залитое слезами лицо о пиджак К.

— Ну, я больше ждать не буду! — сказал экзекутор, схватил розгу обеими руками и стал хлестать Франца, а Виллем забился в угол и подсматривал исподтишка, не смея обернуться.

Вдруг Франц поднял крик, такой неумолчный и непрерывный, словно не человек кричал, а терзали какой-то музыкальный инструмент. Весь коридор наполнился этими звуками, их, наверно, было слышно во всем здании.

— Не кричи! — воскликнул К., не удержавшись и напряженно вглядываясь в коридор, откуда могли прибежать курьеры, толкнул Франца, не сильно, но все же так, что тот, как подкошенный, упал на пол, судорожно шаря руками по земле; но экзекутор не зевал, розга нашла Франца и на полу и стала равномерно нахлестывать извивающееся тело. А в конце коридора уже показался курьер, за ним, шагах в двух, второй. К. быстро захлопнул дверь, подошел к окну, выходявшему во двор, и распахнул его настежь. Крики совершенно

прекратились. Чтобы не дать курьерам подойти слишком близко, он крикнул:

— Это я!

— Добрый день, господин прокуррист! — откликнулись те. — Что-нибудь неладное?

— Нет, нет! — крикнул К. — Просто собака во дворе завыла. — Но курьеры не двинулись с места, и он добавил: — Можете идти работать!

Чтобы не ввязываться в разговор с курьерами, он высунулся из окна. Когда он через несколько минут обернулся, те уже ушли. Но К. так и остался стоять у окна; в кладовую он зайти не осмеливался, домой идти тоже не хотелось. Двор был небольшой, квадратный, и, глядя вниз, К. видел вокруг служебные помещения с темными окнами; только в самых верхних стеклах отражался лунный свет. К. напряженно вглядывался в дальний угол двора, где сгрудились какие-то тачки. Его мучило, что он не смог предотвратить порку, но он был не виноват в этой неудаче: если бы Франц не закричал — конечно, ему наверняка было очень больно, но в решающую минуту надо уметь владеть собой, — если бы он не закричал, то К., по всей видимости, нашел бы способ уговорить эскутора. Раз все низшие служащие такая сволочь, почему же этот эскутор, выполняющий самые бесчеловечные обязанности, должен быть исключением? И к тому же К. хорошо видел, как у него при виде ассигнации заблестели глаза; наверно, он и порол так старательно, чтобы нагнать цену. Разумеется, К. не скупился бы, ему действительно хотелось освободить стражей: если он уж начал борьбу с разложением в судебных органах, то естественно, что он вмешивается и тут. Но как только Франц поднял крик, все сорвалось. Не мог же К. допустить, чтобы курьеры, а может быть, и другие люди сбежали сюда и застали его в кладовой за переговорами с этим сбродом. Такой жертвы от К. никто, разумеется, требовать не мог. Если бы он на это решился, то уж проще было бы ему самому раздеться вместо этих стражей и подставить свою спину под удары эскутора. Впрочем, тот наверняка не принял бы такую замену, потому что он, ничего не выиграв, тяжело нарушил бы свой долг, и нарушил бы его еще вдвойне, потому что К., находясь под следствием, наверно, считался неприкосновенным для всех служителей правосудия. Конечно, тут могли существовать и всякие другие определения. Словом, К. ничего другого сделать не мог, как только за-

хлопнуть дверь, хотя этим он вовсе не устранил грозящую опасность. Жаль, конечно, что он напоследок толкнул Франца, но это можно объяснить его возбужденным состоянием.

Вдали послышались шаги курьеров; не желая, чтобы его заметили, К. закрыл окно и пошел к парадной лестнице. Проходя мимо кладовой, он остановился и прислушался. Было совсем тихо. Может быть, этот малый заперол стражей насмерть — ведь они были всецело в его власти. К. потянулся было к двери, но тут же отдернул руку. Помочь он все равно никому не поможет, а сейчас могут подойти курьеры. Но он тут же дал себе слово вывести это дело на чистую воду и, насколько у него хватит сил, добиться наказания для истинных виновников — высших чинов суда, которые так и не осмелились до сих пор показаться ему на глаза. Спускаясь по внешней лестнице банка, он пристально разглядывал всех прохожих, но даже поодаль не было девушки, которая ждала бы кого-нибудь. Значит, слова Франца о невесте, якобы ожидавшей его, оказались ложью — правда, простительной, но имеющей лишь одну цель: возбудить еще большую жалость.

На следующий день К. никак не мог забыть историю со стражами, работал рассеянно, и, чтобы справиться со всеми делами, ему пришлось просидеть в своем кабинете еще дольше, чем вчера. По дороге домой он прошел мимо кладовки и приоткрыл дверь, уже как бы по привычке. Но то, что он увидел вместо ожидаемой темноты, совершенно ошеломило его. Ничего не изменилось, он увидел то же самое, что и вчера. За порогом — груды проспектов, бутылки из-под чернил, дальше экзекутор с розгой, еще совершенно раздетые стражи, свеча на полке — и снова стражи застонали, закричали: «Сударь!» Но К. тут же захлопнул дверь, да еще пристукнул ее кулаками, словно она от этого закроется крепче. Чуть не плача, бросился он к курьерам, спокойно работавшим у копировальных машин, и те остановили работу, с удивлением глядя на К.

— Да приберите же вы, наконец, в кладовой! — закричал он. — Мы тонем в грязи!

Курьеры обещали завтра же все убрать, К. кивнул в знак согласия: сейчас было уже очень поздно, и он не мог заставить их работать сейчас, как предположил сначала. Он присел, чтобы хоть немного побыть около людей, перелистал несколько копий, желая показать, будто он их проверяет, и, поняв, что курьеры не решатся уйти одновременно с ним, устал и бездумно побрел домой.



## Глава шестая

## Дядя. Лени

Однажды к концу дня, когда К. был очень занят отправкой почты, к нему в кабинет, оттеснив двух курьеров, принесших бумаги, проник его дядюшка Альберт, небогатый землевладелец. Увидев дядю, К. испугался меньше, чем пугался раньше при одной мысли о его приезде. Приезд дяди был неизбежен — об этом К. знал еще месяц назад. Уже тогда он мысленно видел, как, слегка сутулясь, с мятой шляпой-панамой под левой рукой, дядя спешит к нему и, уже издали протягивая правую руку, торопливо и бесцеремонно сует ее для рукопожатия через стол, опрокидывая все, что стоит на пути. Дядя вечно спешил: он был одержим навязчивой мыслью, будто за свое однодневное пребывание в столице ему нужно не только успеть сделать все, что он себе наметил, но, кроме того, не упустить ни одного интересного разговора, дела или развлечения, какие ему предоставит случай. И К., многим обязанный своему бывшему опекуну, должен был помогать ему, чем только можно, и в довершение ко всему пригласить к себе переночевать. «Призрак из провинции», — так называл его К. про себя.

Поздоровавшись на ходу — сесть в кресло, как предложил К., ему было некогда, — дядя попросил К. остаться с ним наедине.

— Это необходимо, — сказал он, с трудом переводя дух. — Для моего спокойствия это необходимо.

К. тотчас выслал курьеров из комнаты с указанием никого к нему не впускать.

— Что я слышал, Йозеф? — воскликнул дядя, как только они остались вдвоем, и, сев на стол, не глядя, подмял под себя какие-то бумаги, чтобы сидеть было помягче.

К. промолчал, он знал, что будет дальше, но, внезапно оторванный от срочной работы, он вдруг поддался ощущению приятной усталости и уставился в окно на противоположную сторону улицы: со своего места он видел только маленький треугольный просвет — кусок глухой стены между двумя витринами.

— И ты еще смотришь в окно! — крикнул дядя, воздевая руки. — Ради всего святого, Йозеф, ответь мне! Неужели это правда, неужели это действительно так?

— Милый дядя, — сказал К., с трудом выходя из оцепенения. — Понятия не имею, чего ты от меня хочешь

— Йозеф, — сказал дядя с укоризной, — насколько я знаю, ты всегда говорил правду. Неужели твои последние слова — дурной знак?

— Теперь я догадываюсь, о чем ты, — покорно сказал К. — Видимо, ты слышал о моем процессе.

— Вот именно, — сказал дядя, медленно кивая головой, — я слышал о твоём процессе.

— От кого же? — спросил К.

— Мне об этом написала Эрна, — сказал дядя. — Тебя она давно не видела, ты, к сожалению, мало ею интересуешься, и, однако она все узнала. Сегодня я получил от нее письмо и, разумеется, немедленно приехал. Это единственная причина, но причина весьма основательная. Могу прочесть то место, которое касается тебя? Он вытащил письмо из бумажника. Вот оно: «Йозефа я давно не видела, на прошлой неделе заходила в банк, но Йозеф был так занят, что меня к нему не впустили. Прождала почти час, но потом пришлось уйти домой — у меня был урок музыки. Мне очень хотелось с ним поговорить, может быть, в другой раз удастся. Ко дню рождения он прислал мне огромную коробку шоколадных конфет, вот какой он милый и внимательный. Тогда я забыла вам об этом написать и вспомнила только сейчас, когда вы спросили про него. К сожалению, в нашем пансионе шоколад исчезает немедленно; не успеешь обрадоваться, что тебе подарили столько шоколаду, как его уже нет. Кстати, мне необходимо рассказать вам про Йозефа еще одну вещь. Как я уже писала, меня к нему в банк не пропустили потому, что он был занят с каким-то господином. Сначала я терпеливо ждала, а потом спросила курьера, надолго ли его задержат. Курьер ответил, что должно быть, надолго, потому что разговор, очевидно, идет о процессе, который затеян против господина старшего прокуриса. Я спросила, что это еще за процесс, не ошибся ли он, а он сказал — нет, не ошибся, затеян процесс, и процесс очень серьезный, но больше он ничего не знает. Сам он с удовольствием помог бы господину прокурису, потому что господин прокурис хороший справедливый человек, но как за это взяться — он не знает, можно только пожелать, чтобы за него заступились люди влиятельные. Наверно, так оно и будет и все кончится хорошо, но пока, судя по настроению господина прокуриса, дела вовсе не так хороши. Конечно, я не придала этому разговору никакого значения, постаралась успокоить этого глупого курьера, запретила ему рассказывать другим и вообще счи-

таю его слова просто болтовней. И все-таки было бы хорошо, если бы ты, милый папа, в следующий приезд вник в это дело, тебе легко будет узнать подробности, а если понадобится, то ты сможешь вмешаться через твоих влиятельных знакомых. Если же это не понадобится — а так оно, видимо, и есть, — то по крайней мере твоей любящей дочери раньше представится возможность обнять тебя, чему она будет очень рада». Хорошая девочка! — сказал дядя, окончив чтение, и смахнул слезинку с глаз.

К. утвердительно кивнул: в последнее время из-за всех этих историй он совсем забыл про Эрну, даже про ее день рождения забыл: про шоколад она выдумала, только чтобы оправдать его перед дядей и тетей. Это было очень трогательно. Он про себя решил регулярно посылать ей билеты в театр, но, даже если этого было и мало, он все равно никак не был расположен посещать пансион и разговаривать с маленькой восемнадцатилетней гимназисткой.

— Ну, что же ты мне скажешь? — спросил дядя. После чтения письма он перестал суетиться и волноваться и как будто собрался перечитать его еще раз.

— Да, дядя, — сказал К., — это правда.

— Правда? — воскликнул дядя. — То есть как это правда? Какой процесс? Уж не уголовный ли?

— Да, уголовный, — сказал К.

— И ты спокойно сидишь тут, когда тебе грозит уголовный процесс! — еще громче закричал дядя.

— Чем я спокойнее, тем исход будет лучше, — сказал К. устало. — Да ты не бойся!

— Нет, ты меня не успокаивай! — кричал дядя. — Йозеф, милый Йозеф, подумай же о себе, о твоих родных, о нашем добром имени! Ты всегда был нашей гордостью, ты не должен стать нашим позором! Нет, твое отношение мне не нравится, — и, наклонив голову набок, он искоса посмотрел на К. — Так себя не ведет ни в чем не повинный человек в здравом уме. Скорее скажи мне, в чем дело, тогда я сумею тебе помочь. Тут, конечно, замешаны банковские операции?

— Нет, — сказал К. и встал. — И вообще, милый дядя, ты слишком громко говоришь; курьер, наверно, подслушивает за дверью. Мне это неприятно. Лучше выйдем отсюда. Постараюсь, если смогу, ответить на все твои вопросы. Я отлично понимаю, что несу ответственность перед семьей.

— Правильно! — вскричал дядя. — Очень правильно. Ну скорее, Йозеф, пойдем скорее!

— Но мне надо еще отдать кое-какие распоряжения, — сказал К. и тут же вызвал по телефону своего заместителя, который через несколько минут вошел в кабинет.

Дядя взволнованно показал ему жестом, что его вызывал К., а не он, хотя это и без того было ясно. Стоя у письменного стола, К. тихим голосом, указывая на различные бумаги, объяснил молодому человеку, что надо сегодня сделать в его отсутствие, и тот выслушал его холодно, но внимательно. Дядя все время мешал, тарашил глаза, кусал губы, и хотя он явно не слушал, но одно его присутствие было помехой. Потом он стал расхаживать по комнате, останавливался то перед окном, то перед картиной, причем у него то и дело вырывались разные восклицания: «Нет, мне это совершенно непонятно!» — или: «Скажите на милость, что же теперь будет?» Молодой человек делал вид, что ничего не замечает, спокойно выслушал до конца все поручения К., кое-что записал и вышел, поклонившись К. и дяде, но в эту минуту дядя стоял к нему спиной, смотрел в окошко и, раскинув руки, судорожно мямл гардины.

Не успела дверь закрыться, как дядя закричал:

— Наконец-то он ушел, этот паец! Теперь и мы можем уйти. Наконец-то!

К сожалению, никакими силами нельзя было заставить дядю прекратить вопросы насчет процесса, пока они шли по вестибюлю, где стояли чиновники и курьеры и где как раз проходил заместитель директора банка.

— Так вот, Йозеф, — говорил дядя, отвечая легким поклоном на приветствия окружающих, — скажи мне откровенно, что это за процесс?

К. ответил несколькими ничего не значащими фразами, даже пустил смешок и только на лестнице объяснил дяде, что не хотел говорить откровенно при этих людях.

— Правильно, — сказал дядя. — А теперь рассказывай!

Наклонив голову и торопливо попыхивая сигарой, он стал слушать.

— Прежде всего, дядя, — сказал К., — этот процесс не из тех, какие разбирают в обычном суде.

— Это плохо! — сказал дядя.

— Почему? — спросил К. и посмотрел на дядю.

— Я тебе говорю — это плохо! — повторил дядя. Они стояли у парадной лестницы, выходявшей на улицу, и так как швейцар явно прислушивался, то К. потянул дядю вниз, и они смешались с оживленной толпой. Дядя взял К. под руку, прекратил настойчивые расспросы о процессе, и они молча пошли по тротуару.

— Но как же это случилось? — спросил наконец дядя и так внезапно остановился, что люди, шедшие за ним, испуганно шарахнулись. — Такие вещи сразу не делаются, они готовятся исподволь. Должны же были появиться какие-то признаки, намеки, почему ты мне ничего не писал? Ты же знаешь, что для тебя я готов на все, я до сих пор в каком-то смысле считаю себя твоим опекуном и до сих пор гордился этим. Конечно, я и сейчас тебе помогу, только теперь, когда процесс уже на ходу, это очень трудно. Во всяком случае, тебе лучше всего сейчас же взять небольшой отпуск и поехать к нам в деревню. Теперь я замечаю, как ты исхудал. В деревне ты окрепнешь, и это полезно, ведь тебе, безусловно, предстоят всякие трудности. А кроме того, ты некоторым образом уйдешь от суда. Здесь они располагают всякими мерами принуждения, которые они автоматически могут применить и к тебе; а в деревню они должны сначала послать уполномоченных или пытаться подействовать на тебя письмами, телеграммами, телефонными звонками. Это, конечно, ослабляет напряжение, и хотя ты не будешь вполне свободен, но все же сможешь передохнуть.

— Но мне могут запретить выезд, — сказал К., поддаваясь дядиному ходу мыслей.

— Не думаю, чтобы они на это пошли, — задумчиво сказал дядя. — Даже если ты уедешь, они все же не теряют власти над тобой.

— А я-то думал, — сказал К. и подхватил дядю под руку, чтобы он не останавливался, — я-то думал, что ты всему этому придаешь еще меньше значения, чем я, а смотри, как близко к сердцу ты все это принял.

— Йозеф! — закричал дядя, пытаясь вырвать у него руку и остановиться, но К. его не отпустил. — Ты стал совсем другим, в тебе всегда было столько здравого смысла, неужели именно сейчас он тебе изменил? Хочешь проиграть процесс? Да ты понимаешь, что это значит? Это значит, что тебя просто вычеркнут из жизни. И всех родных ты потянешь за собой или, во всяком случае, унизишь до предела.

Возьми себя в руки, Йозеф! Твое равнодушие сводит меня с ума! Посмотришь на тебя и сразу поверишь пословице: «Кто процесс допускает, тот его проигрывает».

— Милый дядя, — сказал К., — волноваться бессмысленно и тебе, да и мне, если бы я волновался. Волнениями процесс не выиграешь, поверь хоть немного моему практическому опыту, прислушайся, как я всегда прислушивался к тебе и прислушиваюсь сейчас, хоть и с некоторым удивлением. Ты говоришь, что вся наша семья тоже будет втянута в процесс — правда, лично я этого никак не пойму, впрочем, это несущественно, — но, если это так, я охотно буду тебе повиноваться во всем. Однако отъезд в деревню я считаю нецелесообразным даже с твоей точки зрения, потому что это будет похоже на бегство, на признание своей вины. Кроме того, хотя меня здесь и больше преследуют, однако отсюда я могу лучше руководить своим делом.

— Правильно, — сказал дядя таким тоном, словно они наконец поняли друг друга. — Я предложил это только потому, что мне показалось, будто ты своим равнодушием все испортишь, если останешься тут. И я считаю более правильным вместо тебя поработать в твою пользу. Но раз ты решил сам в полную силу взяться за дело, то, разумеется, это куда лучше.

— Значит, сговорились, — сказал К. — А есть ли у тебя предложения, какие шаги мне надо предпринять в дальнейшем?

— Раньше нужно хорошенько все обдумать, — сказал дядя. — Не забывай, что я уже лет двадцать почти безвыездно живу в деревне, ну и, конечно, чутье на такие дела со временем притупляется. К тому же теряешь нужные связи с людьми, которые, наверно, лучше в этом разбираются. В деревне ото всех отрываешься, понимаешь. Но в сущности самому это заметно только при таких обстоятельствах, как сейчас. И вообще все это для меня было несколько неожиданно, хотя, как ни странно, после письма Эрны я уже что-то подозревал, а сегодня увидел тебя и сразу все понял. Но это неважно, главное сейчас — не терять времени.

С этими словами он привстал на цыпочки и замахал руками, подзывая такси; крикнув адрес шоферу, он потянул за собой К. в машину.

— Едем к адвокату Гульду, — сказал он, — он мой школьный товарищ. Тебе, конечно, знакома эта фамилия? Нет?! Очень странно.

Ведь он славится как защитник и адвокат бедняков. А я питаю особое доверие к нему как к человеку.

— Я согласен со всем, что ты предпримешь, — сказал К., хотя суетливость и настойчивость дяди вызывали в нем некоторую неловкость. Было не очень приятно ехать в качестве обвиняемого к адвокату для бедняков. — Я и не знал, — сказал он, что по таким делам тоже можно привлекать адвокатов.

— Ну как же, — сказал дядя, — это само собой понятно. Почему бы и нет? А теперь расскажи мне все, что было до сих пор, мне надо знать все подробности твоего дела.

К. тут же стал рассказывать, ничего не умалчивая, и эта полная откровенность была единственным протестом, который он позволил себе против дядиного утверждения, что его процесс — большой позор. Имя фройляйн Бюрстнер он упомянул только один раз, и то вскользь, но это не нарушило откровенности рассказа: ведь фройляйн Бюрстнер действительно никакого отношения к процессу не имела. Рассказывая, К. смотрел в окошко такси и заметил, что они как раз проезжают мимо предместья, где находятся канцелярии суда. Он обратил на это внимание дяди, но тот не нашел ничего особенного в таком стечении обстоятельств. Такси остановилось у мрачного дома. Дядя тотчас позвонил в первую же дверь нижнего этажа и, пока они ждали ответа, оскалил в улыбке свои крупные зубы и прошептал:

— Восемь часов вечера — довольно необычное время для посещения адвоката. Но Гульд на нас не рассердится.

В дверном окошечке показались два больших темных глаза, взглянули на посетителей и снова исчезли, но дверь так и не отворилась. Дядя и К. дали друг другу понять, что оба видели эти глаза.

— Видно, новая горничная, боится чужих, — сказал дядя и постучал еще раз.

Снова появились глаза, сейчас они могли показаться грустными, но, может быть, это был только обман зрения, вызванный газовым светом — над их головами горел газовый рожок, он шипел очень громко, но света давал мало.

— Откройте! — крикнул дядя и застучал кулаком в дверь. — Мы друзья господина адвоката!

— Господин адвокат болен, — пробормотал кто-то сзади.

В дверях, в глубине небольшого подъезда, стоял господин в шлафроке, он и произнес эти слова чрезвычайно тихим голосом.

Дядя, уже обозленный долгим ожиданием, резко обернулся к нему и воскликнул:

— Болен? Вы говорите, он болен? — И угрожающе надвинулся на господина, будто тот и был сама болезнь.

— Вам уже открыли, — сказал господин, указывая на дверь адвоката, и, подобрав полы шлафрока, исчез. Дверь действительно была открыта, и молоденькая девушка в длинном белом фартуке — К. узнал ее темные, чуть выпуклые глаза — стояла в прихожей со свечой в руке.

— В другой раз открывайте поживее! — сказал дядя вместо приветствия девушке, слегка присевшей в ответ. — Пойдем, Йозеф, — обратился он к К., который медленно протискивался мимо девушки.

— Господин адвокат болен, — сказала девушка, но дядя, не оставившаяся, побежал к следующей двери.

К. залюбовался девушкой, когда она повернулась, чтобы запереть входную дверь. У нее было круглое, как у куклы, личико; округлыми были не только бледные щеки и подбородок, круглились даже виски и края лба.

— Йозеф! — крикнул дядя и, обернувшись к девушке, спросил: — Опять с сердцем плохо?

— Как видно, да, — сказала девушка; она уже успела пройти со свечой вперед и открыть дверь комнаты.

В дальнем углу, куда еще не проникал свет от свечки, с подушек поднялась голова с длинной бородкой.

— Лени, кто это пришел? — спросил адвокат. Ослепленный светом, он не мог рассмотреть гостей.

— Это Альберт, твой старый друг, — сказал дядя.

— Ах, Альберт, — повторил адвокат и опустился на подушки, как будто перед этими гостями не нужно было притворяться.

— Неужели тебе так плохо, — спросил дядя, присаживаясь на край постели. — Мне просто не верится. Наверно, у тебя обычный твой сердечный приступ, он скоро пройдет, как проходил раньше.

— Возможно, — сказал адвокат тихим голосом. — Но так худо мне еще никогда не было. Дышать трудно, совсем не сплю, день ото дня слабею.

— Вот как, — сказал дядя и крепко прижал широкой ладонью свою шляпу к колену. — Неважные новости! А уход за тобой хороший? Здесь так уныло, так темно. Правда, я у тебя давно не бывал, но



раньше мне все казалось веселее. Да и эта твоя барышня не очень-то приветлива. А может, она притворяется?

Девушка все еще стояла со свечой у двери; насколько можно было судить по ее мимолетным взглядам, она обращала больше внимания на К., чем на дядю, даже когда тот заговорил о ней. К. облокотился на спинку стула, пододвинув его поближе к девушке.

— Для такого больного человека, как я, важнее всего покой, — сказал адвокат. — Мне тут совсем не уныло. — И, помолчав, добавил: — А Лени хорошо за мной ухаживает. Она молодец.

Но дядю эти слова не убедили, он был явно настроен против сиделки, и хотя он ничего не возразил больному, но сурово следил глазами за девушкой, когда она подошла к кровати, поставила свечу на ночной столик, наклонилась к больному и, поправляя подушки, что-то ему зашептала. Забыв, что надо шадить больного, дядя встал со стула и начал расхаживать за спиной сиделки с таким видом, что К. не удивился бы, если бы он схватил ее за юбку и оттащил от кровати. К. смотрел на все спокойно, болезнь адвоката даже пришлось кстати: иначе он сам никак не мог бы остановить дядюшкино рвение, с каким тот взялся за его дело, а сейчас дядя отвлекся и особого рвения не проявлял, и это было К. очень на руку.

Но тут дядя, может, желая обидеть сиделку, сказал:

— Барышня, попрошу вас оставить нас одних хоть ненадолго, мне нужно обсудить с моим другом кое-какие личные дела.

Сиделка, наклонившись над больным, как раз поправляла простыни у стенки и, обернувшись, словно в противовес дяде, который сначала заикался от злости, а потом вдруг выпалил ту фразу, сказала очень спокойно:

— Вы же видите, как болен господин адвокат. Он не может сейчас обсуждать личные дела.

Вероятно, она повторила слова дяди только по инерции, но даже беспристрастный человек мог бы принять это за насмешку, а уж дядя взвился как ужаленный.

— Ах ты, проклятая! — пробормотал он голосом, сдавленным от возмущения, так что почти нельзя было разобрать слова.

К. испугался, хотя и ожидал такой вспышки, и бросился к дяде, готовый закрыть ему рот обеими руками. К счастью, больной, приподнявшись на кровати, выглянул из-за спины девушки; дядя сделал

мрачное лицо, словно проглотил какую-то гадость, но уже спокойнее сказал:

— Ну знаете, мы еще не окончательно выжили из ума; если бы то, чего я требую, было невозможно, я бы не требовал. Пожалуйста, уходите!

Сиделка стояла у постели, выпрямившись и повернув голову к дяде, а сама, как показалось К., поглаживала руку адвоката.

— При Лени ты можешь говорить все, — сказал адвокат, и в его голосе явно прозвучала настойчивая просьба.

— Дело не меня касается, — сказал дядя, — тайна не моя. — И он резко отвернулся, словно входить ни в какие препирательства не желает, однако дает им время на размышление.

— А чья же? — спросил адвокат слабеющим голосом и опустил на подушки.

— Моего племянника, — сказал дядя. — Я его привел сюда. — И он представил К.: — Это Йозеф К., прокуррист.

— А-а! — сказал больной уже гораздо оживленнее и протянул руку. — Простите, я вас не заметил. — Выйди, Лени, — сказал он сиделке. Та не стала возражать, и адвокат пожал ей руку, словно прощаясь надолго. — Значит, так, — сказал он дяде, когда тот, успокоенный, подошел поближе. — Значит, ты не навещать больного пришел, а по делу.

Казалось, что до сих пор адвоката угнетала мысль о том, что его пришли навещать как больного, потому что он вдруг совсем ожил; приподнялся и сел, опираясь на локоть, что само по себе было утомительно, и все время теребил бороду, глубоко запуская в нее пальцы.

— Стоило только этой ведьме уйти, и вид у тебя сразу стал гораздо лучше, — сказал дядя. — Тут он остановился и, шепнув: — Пари держу, что она подслушивает! — подскочил к двери. Но за дверью никого не оказалось, и дядя вернулся не то чтобы разубежденный, потому что ее отсутствие показалось ему еще большей низостью, а скорее озлобленный.

— Ты в ней ошибаешься, — сказал адвокат, но защищать сиделку не стал; может быть, он хотел этим показать, что она в защите не нуждается, и уже гораздо более сочувственно продолжал: — Что же касается дела твоего уважаемого племянника, то я почел бы себя счастливым, если бы у меня хватало сил на эту чрезвычайно трудную работу; но я очень боюсь, что сил у меня не хватит, однако попробую

сделать все, что смогу; а если не справлюсь, можно будет привлечь еще кого-нибудь. Откровенно говоря, это дело меня слишком сильно заинтересовало, чтобы я решился отказаться от всякого участия в нем. И если сердце у меня не выдержит, то трудно найти более достойную причину его остановки.

К. не понимал, казалось, ни слова из этой речи, он посмотрел на дядю, ища объяснения, но тот со свечой в руке сидел на ночном столике, с которого уже скатился пузырек с лекарством, кивал головой, соглашаясь с каждым словом адвоката, и нет-нет да поглядывал на К., приглашая и его выразить свое согласие. Может быть, дядя уже раньше рассказал адвокату о процессе? Но это было невозможно, весь ход событий говорил против этого.

— Не понимаю... — начал наконец К.

— Нет, это я, по-видимому, вас не понял, — удивленно и растерянно перебил его адвокат. — Может быть, я поторопился? О чем же вы хотели со мной посоветоваться? Я решил, что речь идет о вашем процессе?

— Разумеется, — сказал дядя и обернулся к К.: — Чего ты не понимаешь?

— Да откуда же вы знаете обо мне и о моем процессе? — спросил К.

— Ах вот оно что! — с улыбкой сказал адвокат. — На то я и адвокат, я бываю в судебных кругах, там говорят о разных процессах, и невольно запоминаешь самые выдающиеся, особенно если они касаются племянника твоего друга. Ничего удивительного в этом нет.

— Чего тебе надо? — опять спросил дядя у К. — Ты как-то неспокоен.

— Вы бываете в этих судебных кругах? — спросил К.

— Да, — сказал адвокат.

— Ты задаешь ребяческие вопросы, — сказал дядя.

— А с кем же мне еще встречаться, как не с людьми моей профессии? — добавил адвокат. Это звучало так убедительно, что К. ничего не ответил.

«Но ведь вы работаете во Дворце Правосудия, а не в тех канцеляриях на чердаке?» — хотелось ему спросить, но заставить себя произнести эту фразу он не мог.

— Сами понимаете, — продолжал адвокат таким тоном, словно мимоходом объяснял что-то само собой разумеющееся, — сами понимаете, что из этих знакомств я извлекаю большую пользу для своей

клиентуры, и притом во многих отношениях, хотя говорить об этом не очень-то полагается. Конечно, сейчас болезнь несколько мешает мне, но добрые друзья из суда навещают меня и благодаря им я многое узнаю. И узнаю я, пожалуй, больше, чем те, кто целыми днями просиживает в суде. Вот и сейчас, например, у меня дорогой гость. И он показал на темный угол комнаты.

— Где же он? — спросил К. грубовато, настолько он был удивлен.

Он неуверенно оглянулся; слабый свет свечи далеко не достигал противоположной стены. Но там действительно что-то зашевелилось. Тут дядя поднял свечу, и они увидели небольшой столик и сидящего за ним пожилого господина. Должно быть, он там сидел не дыша и потому так долго оставался незамеченным. Теперь он неторопливо поднялся, явно недовольный тем, что на него обратили внимание. Он зашевелил руками, похожими на короткие крылья, как будто отмахивался от всяких знакомств и приветствий, никак не желая мешать посетителям, и настоятельно просил оставить его в темном углу и забыть о его присутствии. Однако никто не пошел ему в этом навстречу.

— Вы застали нас врасплох, — объяснил адвокат гостям и ободрительно кивнул пожилому господину, приглашая его подойти поближе; тот подошел медленно, неуверенно, озираясь вокруг, но все же с каким-то достоинством. — Господин директор канцелярии... Ах, простите, я вас не представил: это мой друг Альберт К., это его племянник К., прокурисл банка, а это господин директор канцелярии... Как я уже говорил, господин директор был настолько любезен, что посетил меня. Только посвященный может понять всю ценность такого визита, только тот, кто знает, как завален работой господин директор. И все-таки он пришел, мы с ним мирно беседовали, насколько позволяла моя немощь. Мы, правда, не запрещали Лени впускать посетителей, потому что мы никого не ждали, но мы хотели побыть наедине, а тут вдруг ты застучал кулаком в двери, Альберт, и тогда господин директор отодвинулся вместе с креслом и столиком в дальний угол, и вот теперь неожиданно выяснилось, что нам, если, конечно, возникнет такая потребность, по всей вероятности, можно будет обсудить совместно некоторые дела, а для этого надо всем сесть поближе. Господин директор канцелярии! — попросил он, с подобострастной улыбкой наклоняя голову и указывая на широкое кресло у кровати.

— К сожалению, я могу задержаться только на несколько минут, — любезно сказал директор канцелярии, удобно развалившись в кресле и глядя на часы. — Дела меня зовут. Однако я не хочу упустить возможность познакомиться с другом моего друга.

Он слегка поклонился дяде, который, видно, был очень доволен новым знакомством. Но так как подбострастие было не в его характере, он встретил слова директора канцелярии смущенным, но очень громким смехом. Впечатление не из приятных. К. спокойно наблюдал за происходящим, потому что на него никто не обращал внимания: директор канцелярии, очевидно, по привычке, раз уж его назвали, овладел разговором, адвокат, явно притворившийся больным, по-видимому, из желания отвадить новых гостей, теперь внимательно слушал, приставив ладонь к уху, а дядя в качестве светоносца — свечка качалась у него на коленке, и адвокат беспокойно поглядывал в его сторону — уже перестал стесняться и откровенно восхищался не только речью директора канцелярии, но и плавными, волнообразными жестами рук, сопровождавшими его слова. К. стоял, опершись о спинку кровати, и директор, быть может, умышленно ни разу к нему не обратился; как видно, старшие смотрели на него только как на слушателя. Впрочем, и сам К. почти не понимал, о чем идет речь, а думал о сиделке и о том, как невежлив был с ней дядя, или о том, не видел ли он директора канцелярии где-то раньше, может быть, даже на собрании в день первого допроса. Может быть, он и ошибался, но все же директор канцелярии удивительно походил на участников собрания — тех стариков с жидкими бородами, которые стояли в первых рядах.

Вдруг все встрепенулись — из прихожей послышался звон разбитой посуды.

— Посмотрю, что там случилось, — сказал К. и не торопясь пошел к двери, словно хотел дать остальным возможность задержать его.

Но как только он вышел в прихожую и попытался сориентироваться в темноте, на его пальцы, державшие ручку двери, легла маленькая рука, куда меньше, чем его рука, и тихо притворила дверь. Это была сиделка, ждавшая тут же.

— Ничего не случилось, — шепнула она, — я нарочно бросила тарелку об стену, чтобы вызвать вас сюда.

К. растерялся и сказал:

— Я тоже о вас думал.

— Тем лучше, — сказала сиделка. — Пойдем!

Они сделали несколько шагов и очутились перед дверью с матовым стеклом. Сиделка распахнула ее перед К.

— Ну входите же! — сказала она.

Это явно был рабочий кабинет адвоката. Насколько можно было разглядеть в лунном свете, освещавшем только небольшой квадрат пола у трех окон, вся комната была заставлена тяжелой старомодной мебелью.

— Сюда, — сказала сиделка, указывая на темный ларь с резной деревянной спинкой.

Прежде чем сесть, К. огляделся: комната была высокая большая; наверно, бедняки из клиентуры адвоката чувствовали себя в ней затерянными. К. представил себе, как они мелкими шажками семят к огромному письменному столу. Но он тут же позабыл обо всем, кроме сиделки, — та оказалась настолько близко от него, что почти прижимала его к боковой ручке ларя.

— А я думала, что вы сами выйдете, — сказала она, — и мне не придется вас вызывать. Удивительное дело. Сначала вы, только успели войти, уже глаз с меня не сводили, а потом заставляете себя ждать. Зовите меня просто Лени, — торопливо и непосредственно добавила она, словно не желая терять ни минуты на объяснения.

— Охотно, — сказал К. — Но знаете, Лени, все это ничуть не удивительно и вполне объяснимо. Во-первых, мне надо было выслушать болтовню этих стариков, нельзя же было уйти ни с того ни с сего, а во-вторых, я человек несмелый, скорее застенчивый, да и вы с виду вовсе не из тех, кого можно завоевать одним махом.

— Не в том дело, — сказала Лени и, положив руку на спинку ларя, посмотрела на К. — Просто я вам не понравилась, да и сейчас не нравлюсь.

— Нравится — не то слово, — сказал К. уклончиво.

— О-о! — с улыбкой сказала Лени.

Этим восклицанием в ответ на слова К. она словно утверждала за собой какое-то превосходство. Поэтому К. промолчал. Привыкнув к темноте, он уже различал некоторые детали обстановки. Особенно бросилась в глаза большая картина, висевшая справа от двери, и он подался вперед, чтобы лучше ее рассмотреть. На картине был изображен человек в судейской мантии, он сидел на высоком, как трон, кресле; там и сям на резьбе выступала позолота. Но самым необыч-

ным было то, что поза судьи не выражала ни покоя, ни достоинства, напротив, левой рукой он схватился за подлокотник у самой спинки кресла, а правую вытянул вперед, вцепившись пальцами в поручень, будто в следующую секунду он с силой, может быть, даже с гневом вскочит с места, чтобы сказать решительные слова, а возможно, и объявить приговор. Обвиняемый, очевидно, стоял внизу на лестнице — на картине были видны только верхние ступени, покрытые желтым ковром.

— Может быть, это и есть мой судья, — сказал К., указывая пальцем на картину.

— Да я его знаю, — сказала Лени, — он сюда часто приходит. Эту картину с него писали в молодости, но он и тогда был ничуть не похож, ведь он совсем крошечного роста. А на картине он велел изобразить себя таким вот высоченным — и все от тщеславия. Впрочем, все они тут такие. Я ведь тоже тщеславная и ужасно недовольна, что я вам не нравлюсь.

В ответ на эти слова К. только обнял Лени и притянул к себе, а она молча положила голову ему на плечо.

А про картину он спросил:

— А в каком же он чине?

— Он следовательно, — сказала Лени и, взяв К. за руку, обнимавшую ее, стала перебирать его пальцы.

— Всего только следовательно, — разочарованно сказал К. — А высшие чины прячутся. Но ведь он же сидит на троне!

— Это все выдумки, — сказала Лени и прильнула щекой к руке К. — На самом деле он сидит в кухонном кресле, на которое накинута старая попона. Неужели вы постоянно думаете о своем процессе? — медленно добавила она.

— Нет, вовсе нет, — сказал К., — наоборот, я, наверно, слишком мало о нем думаю.

— Ваша ошибка не в том, — сказала Лени. — Я слыхала, что вы чересчур упрямы.

— Кто это вам сказал? — спросил К., он чувствовал, как она прижимается к его груди, видел ее пышные, темные, скрученные тугим узлом волосы.

— Я слишком много выдам, если скажу кто, — сказала Лени. — Пожалуйста, не спрашивайте меня, лучше исправьте свою ошибку, не будьте таким упрямым, все равно сопротивляться этому суду бес-

полезно, надо сознаться во всем. При первой же возможности со- знайтесь. Только тогда есть надежда ускользнуть, только тогда. Впрочем, и это невозможно без посторонней помощи, но тут вам беспоко- иться нечего, я сама вам помогу.

— Однако вы много знаете об этом суде и обо всех плутнях, кото- рые там нужны, — сказал К., но тут она прижалась к нему так креп- ко, что пришлось посадить ее к себе на колени.

— Вот и чудесно! — сказала она и, угнездившись поудобнее, одер- нула юбку и поправила блузку.

Потом обхватила его шею руками, откинулась назад и долго смо- трела на него.

— А если я не сознаюсь, вы мне не можете помочь? — испытую- ще спросил К.

«Однако, я вербую себе помощниц, — подумал он удивленно, — сначала фройляйн Бюрстнер, потом жена служителя суда, а теперь эта маленькая сиделка, — непонятно, почему ее ко мне так тянет? Ишь как расселась у меня на коленях, будто только тут ей и место!»

— Нет, — сказала Лени и медленно покачала головой, — тогда я вам помочь не смогу. Но ведь вы и не хотите от меня никакой помо- щи, она вам не нужна, вы упрямец, вас не переубедишь. А у вас есть возлюбленная? — спросила она, помолчав.

— Нет, — сказал К.

— Неправда! — сказала она.

— Впрочем, есть, — сказал К. — Подумайте только, я чуть от нее не оторкся, а сам всегда ношу ее фотографию при себе.

Лени стала его просить, он вынул фотографию Эльзы, и девушка, свернувшись у него на коленях, стала разглядывать карточку. Это бы- ла моментальная любительская фотография, где Эльзу сняли во вре- мя танца — она любила танцевать в своем рестораничке. Еще летели складки юбки на повороте, а она уперлась руками в крепкие бока и, откинув голову, со смехом смотрела куда-то в сторону: на фотогра- фии не было видно, кому она так улыбалась.

— Слишком сильно зашнурована, — сказала Лени и показала то место, которое, по ее мнению, было слишком перетянута. — Мне она не нравится, она груба и неуклюжа. Правда, может быть, с вами она кроткая и нежная; судя по этой карточке, и это возможно. Такие круп- ные высокие девушки иногда оказываются очень кроткими и ласко- выми. Но может ли она пожертвовать собой ради вас?



— Нет, — сказал К., — она и не кроткая, и не ласковая, и собой ради меня не пожертвует. Правда, до сих пор я от нее ничего такого и не требовал. По совести сказать, я и фотографию эту никогда не рассматривал так внимательно, как вы.

— Выходит, что для вас она совсем ничего не значит, — сказала Лени, — и вовсе она не ваша возлюбленная.

— Но это так, — сказал К., — я от своих слов не отпираюсь.

— Ну пусть она сейчас ваша возлюбленная, — сказала Лени, — но вы даже скучать по ней не будете, если потеряете ее или возьмете взамен другую.

— Конечно, — улыбнулся К., — и это возможно, но у нее перед вами огромное преимущество: она ничего не знает о моем процессе, а если бы и знала — не думала бы о нем. И она никогда не стала бы уговаривать меня сдать, пойти на уступки.

— Ну это еще не преимущество, — сказала Лени, — и если других преимуществ у нее нет, я надежды не теряю. А есть у нее какие-нибудь физические недостатки?

— Физические недостатки? — переспросил К.

— Да, — сказала Лени. — У меня, например, есть небольшой физический недостаток, вот посмотрите.

Она растопырила средний и безымянный пальцы правой руки — кожа между ними заросла почти до верхнего сустава коротеньких пальцев. В полутьме К. не сразу заметил, что она хочет показать, и, взяв его руку, она дала ему ощупать свои пальцы.

— Какая игра природы! — сказал К. и, оглядев всю руку, добавил: — Какая миленькая лапка!

Лени с некоторой гордостью смотрела на К. — он вновь и вновь в удивлении разводил и сводил оба ее пальца, потом бегло поцеловал их и отпустил.

— О-о! — крикнула она. — Вы меня поцеловали!

Приоткрыв рот, она поспешно встала коленками на его колени. Он совсем растерялся, она очутилась так близко, что он почувствовал ее запах, горький и терпкий, как перец. Она прижала к себе его голову, наклонилась над ней и стала целовать и кусать его шею, даже волосы на затылке.

— Вы меня берете взамен той! — воскликнула она между поцелуями. — Вот видите, вы берете меня взамен!

Тут ее колено соскользнуло, и, вскрикнув, она чуть не упала на ковер. К. обхватил ее, пытаясь удержать, но она потянула его за собой.  
— Теперь ты мой! — сказала она.

— Вот тебе ключ от дома, приходи, когда захочешь, — были ее последние слова, и поцелуй на лету коснулся его спины, когда он уходил.

Выйдя за ворота дома, он попал под мелкий дождик, хотел шагнуть на мостовую, чтобы увидеть Лени хотя бы в окне, но тут из автомобиля, стоявшего у ворот, — К. по рассеянности его не заметил, — выскочил дядя, схватил его за плечи и притиснул к воротам, словно хотел пригвоздить на месте.

— Ах, мальчик, мальчик! — крикнул он. — Что ты натворил! Дело уже было на мази, а теперь ты страшно навредил себе. Забрался куда-то с этой маленькой грязной тварью — ведь она наверняка любовница адвоката! — проторчал там бог знает сколько времени и даже никакого предлога не придумал, ничего не утаил, так открыто, при всех побежал к ней, да там и остался. А мы сидим все трое — твой дядя, который для тебя же старается, адвокат, которого надо перетянуть на твою сторону, а главное, сам директор канцелярии, большой человек, ведь на этой стадии твое дело целиком в его руках. Хотим обсудить, как тебе помочь, я должен осторожно обработать адвоката, он — директора канцелярии, неужели ты не понимаешь, что у тебя были все основания как-то прийти мне на помощь? А вместо этого ты удираешь. Тут уж ничего нельзя скрыть; хорошо, что они люди вежливые, воспитанные, ни слова не сказали, но в конце концов им тоже стало невмоготу. Говорить они об этом не стали, пришлось сидеть и молчать. Вот мы и сидим и молчим, ждем, когда же ты явишься. Но все напрасно. Наконец директор канцелярии встает — он и так уж просидел много дольше, чем собирался, — прощается со мной и явно жалеет меня, хотя ничем помочь не может, ждет с самой невероятной любезностью еще немного у дверей и только потом уходит. Разумеется, я был счастлив, когда он ушел, мне уже и дышать было нечем. А на больного адвоката все это так подействовало, что он, добрый человек, ни слова сказать не мог, когда я с ним прощался. И, наверно, ты больше всех виноват в том, что он совсем погибает, ты ускоряешь смерть человека, от которого сам зависишь. А меня, своего дядю, ты

бросил тут под дождем — пощупай, я весь промок, — столько часов ждать и мучиться от беспокойства!

### Глава седьмая

#### Адвокат. Фабрикант. Художник

Как-то в зимнее утро — за окном, в смутном свете, падал снег, — К. сидел в своем кабинете, до предела усталый, несмотря на ранний час. Чтобы оградить себя хотя бы от взглядов низших служащих, он велел курьеру никого к нему не впускать, так как он занят серьезной работой. Но вместо того, чтобы приняться за дело, он спокойно ерзал в кресле, медленно передвигая предметы на столе, а потом помимо воли опустил вытянутую руку на стол, склонил голову и застыл в неподвижности.

Мысль о процессе уже не покидала его. Много раз он обдумывал, не лучше ли было бы составить оправдательную записку и подать ее в суд. В ней он хотел дать краткую автобиографию и сопроводить каждое сколько-нибудь выдающееся событие своей жизни пояснением — на каком основании он поступал именно так, а не иначе, одобряет ли он или осуждает этот поступок со своей теперешней точки зрения и чем он может его объяснить. Преимущества такой оправдательной записки перед обычной защитой, какую сможет вести и без того далеко не безупречный адвокат, были несомненны. К тому же К. и не знал, что предпринимает адвокат: ничего особенного он, во всяком случае, не делал, вот уже больше месяца он не вызывал его к себе, да и все предыдущие их переговоры не создали у К. впечатления, будто этот человек способен чего-то добиться для него. Прежде всего, адвокат почти ни о чем его не расспрашивал. А ведь вопросов должно было возникнуть немало. Главное — поставить вопросы. У К. было такое ощущение, что он и сам мог бы задать множество насущных вопросов. А этот адвокат, вместо того чтобы спрашивать, либо что-нибудь рассказывал сам, либо молча сидел против К., перегнувшись через стол, очевидно, по недостатку слуха, теребил бороду, глубоко запуская в нее пальцы, и глядел на ковер — возможно, даже прямо на то место, где в тот раз К. лежал с Лени. Время от времени он читал К. всякие пустячные наставления, словно малолетнему ребенку.

За эти бесполезные и к тому же прескучные разговоры К. твердо решил не платить ни гроша при окончательном расчете. А потом адвокат, очевидно, считая, что К. уже достаточно смирился, снова начал его понемножку подбадривать. Судя по его рассказам, он уже выиграл не один такой процесс — многие из них хоть и были не так серьезны по существу, как этот, но на первый взгляд казались куда надежнее. Отчеты об этих процессах лежат у него тут, в ящике, — при этом он постукивал по одному из ящиков стола, — но показать эти записи он, к сожалению, не может, так как это служебная тайна. Однако большой опыт, приобретенный им в ходе этих процессов, безусловно, пойдет на пользу К. Разумеется, он уже начал работать, и первое ходатайство уже почти готово. Оно чрезвычайно важно, так как первое впечатление, которое производит защита, влияет на ход всего судопроизводства. К сожалению, — и об этом он должен предупредить К., — иногда случается так, что первые жалобы суд вообще не рассматривает. Их просто подшивают к делу и заявляют, что предварительные допросы, а также наблюдение за обвиняемым гораздо важнее. А если проситель настаивает, то ему говорят, что перед окончательным решением суда, когда будут собраны все материалы, включая, разумеется, и все документы, первое ходатайство защиты тоже будет рассмотрено. К сожалению, и это может оказаться не так, потому что первую жалобу обычно куда-то закладывают или даже совсем теряют, а если она и сохраняется, то, по дошедшим до адвоката слухам, ее все равно никто, по-видимому, не читает. Все это достойно сожаления, но отчасти может быть и оправдано. К. должен принять во внимание, что все разбирательство ведется негласно; конечно, если суд найдет нужным, оно ведется гласно, но обычно закон гласности не предписывает. Вследствие этого все судебные документы, особенно обвинительный акт, ни обвиняемому, ни его защитнику недоступны, так что в общем они либо совсем не знают, либо знают очень смутно, насчет чего именно направлять первое ходатайство, поэтому в нем только случайно может содержаться что-нибудь, имеющее значение для дела. А по-настоящему точные и доказательные ходатайства можно выработать только позже, когда по ходу следствия и допросов обвиняемого можно будет яснее увидеть отдельные пункты обвинения и их обоснование или хотя бы построить какие-то догадки. Вести при таких условиях защиту, конечно, весьма невыгодно и затруднительно. Но и это делается намеренно. Дело в том, что

суд, собственно говоря, защиту не допускает, а только терпит ее, и даже вопрос о том, возможно ли истолковать соответствующую статью закона в духе такой терпимости, тоже является спорным. Потому-то, строго говоря, нет признанных судом адвокатов, а все выступающие перед этим судом в качестве защитников, в сущности, являются подпольными адвокатами. Разумеется, это очень унижает все сословие, и когда К. в следующий раз попадет в канцелярию суда, он для ознакомления с этой стороной вопроса может осмотреть адвокатскую комнату. Можно предположить, что его в высшей степени напугает общество, которое там собирается. Уже одно то, что им предоставлена тесная низкая комната, говорит о презрении, какое суд питает к этим людям. Освещается помещение только через небольшой люк, расположенный на такой высоте, что если хочешь выглянуть, то тебе в нос не только сразу ударяет дым, но и прямо в лицо летит сажа из камина, расположенного тут же; нет, надо еще найти кого-нибудь из коллег, кто подставил бы тебе спину. А в полу этой комнаты — и это еще один пример того, в каком виде она содержится, — в полу уже больше года как появилась дыра, не такая большая, чтобы туда мог провалиться человек, но достаточно широкая, чтобы туда попасть всей ногой. Эта адвокатская комната расположена на втором чердаке; значит, если чья-нибудь нога попадает в эту дыру, она свисает вниз и болтается над первым чердаком, над тем самым проходом, где сидят в ожидании клиенты.

Неудивительно, что в адвокатских кругах такое положение вещей считают, мягко говоря, позорным. Жалобы по начальству никаких результатов не дают, однако адвокатам строжайше запрещено делать какой-либо ремонт помещения за свой счет. Впрочем, и это отношение к адвокатам вполне обосновано. Защиту вообще хотят, насколько возможно, устранить, вся ставка делается на самого обвиняемого. Точка зрения, в сущности, неплохая, но было бы чрезвычайно ошибочным делать вывод, что в этом суде адвокаты обвиняемым не нужны. Напротив, ни в каком другом суде нет такой настоятельной необходимости в адвокатах. Дело в том, что все судопроизводство является тайной не только для общественности, но и для самого обвиняемого. Разумеется, только в тех пределах, в каких это возможно, но возможности тут неограниченные. Ведь и обвиняемый не имеет доступа к судебным материалам, а делать выводы об этих материалах на основании допросов весьма затруднительно, особенно для самого

обвиняемого, который к тому же растерян и обеспокоен всякими другими отвлекающими его неприятностями. Вот тут-то и вмешивается защита. Вообще-то защитников на допросы не допускают, поэтому им надо сразу после защиты, по возможности прямо у дверей кабинета следователя, выпытать у обвиняемого, о чем его допрашивали, и из этих, часто уже весьма путаных, показаний отобрать все, что может быть полезно для защиты. Но и это не самое главное, потому что таким путем можно узнать очень мало, хотя и тут, как везде, человек дельный, конечно, узнает больше других. Но самым важным остаются личные связи адвоката, в них-то и кроется основная ценность защиты. Разумеется, К. уже по собственному опыту убедился, что организация судебного аппарата на низших ступенях не вполне совершенна, что там много нерадивых и продажных чиновников, из-за чего в строго замкнутой системе суда появляются бреши. В них-то по большей части и протискиваются всякие адвокаты, тут идет и подслушивание, и подкуп, а бывали, по крайней мере, в прежние времена, и похищения судебных актов. Не приходится отрицать, что этими способами на время достигались иногда поразительно благоприятные для подсудимого результаты, и мелкие адвокатишки обычно бахвалятся этим, привлекая новую клиентуру, но на дальнейший ход процесса все это никак не влияет или даже влияет плохо. По-настоящему ценными являются только честные личные знакомства, главным образом с высшими чиновниками; конечно, речь идет хоть и о высших чиновниках, но низшей категории. Только так и можно повлиять на ход процесса — сначала исподволь, а потом все более и более заметно. Но это доступно лишь немногим адвокатам, и тут К. повезло: выбор он сделал правильный. Пожалуй, только у двух-трех адвокатов есть такие связи, как у него, у доктора Гульда. Таким, как он, разумеется, нет дела до той компании из адвокатской комнаты, никакого отношения к ним он не имеет. Тем тесней его связи с судейскими чиновниками. Ему, доктору Гульду, вовсе и не нужно ходить в суд, околачиваться у дверей следственных органов, ждать случайного появления чиновников и, в зависимости от их настроения, добиваться успеха, почти всегда только кажущегося, а иногда и ничего не добиться. Нет — К. сам это видел, — чиновники, и даже весьма высокого ранга, сами приходят сюда, охотно делятся сведениями либо открыто, либо так, что легко можно догадаться, обсуждают следующие этапы процесса; более того, в отдельных случаях они даже дают

себя переубедить и охотно становятся на вашу точку зрения. Правда, именно в этом им особенно доверять не следует — даже если они определенно высказывают благоприятные для защиты намерения, — ибо вполне возможно, что отсюда они отправятся прямо в канцелярию и к следующему же заседанию продиктуют прямо противоположное заключение для обвиняемого, гораздо более суровое, чем то первоначальное заключение, от которого они, по их утверждению, отказались начисто. Против этого, конечно, обороняться трудно, ведь то, что сказано с глазу на глаз, так и остается сказанным с глазу на глаз и открыто обсуждаться не может, даже если бы защита не стремилась сохранить благорасположение данного лица. С другой же стороны, вполне правильно, что эти лица связываются с защитой — разумеется, только с защитой компетентной, и делают они это отнюдь не из одного человеколюбия или дружественных чувств, а отчасти и ради собственной выгоды. Тут-то и ощущается недостаток судебного устройства, которое с самого начала предписывает секретность в делах. Чиновникам не хватает связи с населением; правда, для обычных, средних процессов они хорошо осведомлены, и такие процессы идут гладко сами по себе, словно по рельсам, их надо только изредка подталкивать. А вот в очень простых случаях, а также в случаях очень сложных они совершенно беспомощны: из-за того, что они всегда безоговорочно скованы законами, у них нет понимания человеческих взаимоотношений, а это страшно затрудняет ведение таких дел. Тут-то они и приходят просить совета у адвоката, а за ними идет курьер с теми протоколами, которые обычно хранятся в тайне. Вон у того окна, глядя на улицу с истинной грустью, сживали господа, каких тут меньше всего можно было бы ждать, а в это время адвокат изучал документы у своего стола, чтобы подать им разумный совет. Именно в таких обстоятельствах становилось виднее всего, насколько серьезно эти господа относятся к своей профессии и в какое отчаяние их приводят препятствия, непреодолимые по самой своей природе. Надо им отдать справедливость, положение у них и без того сложное, и службу эту никак нельзя назвать легкой. Ступени и ранги суда бесконечны и неизвестны даже посвященным. А все судопроизводство в общем является тайной и для низших служащих, оттого они почти никогда не могут проследить дальнейший ход тех данных, которые они обрабатывают, оттого и судебное дело предстает перед ними только на их уровне, и они часто сами не знают, откуда оно

пришло, и не получают никаких сведений, куда же оно пойдет дальше. Таким образом, знания, которые можно было бы почерпнуть на различных стадиях из этого процесса, а также из окончательного заключения и его обоснования, ускользают от этих чиновников. Они имеют право заниматься только той частью дела, которая выделена для них законом, и обычно знают о дальнейшем ходе вещей, то есть о результатах своей работы, еще меньше, чем защита, которая, как правило, связана с обвиняемым до конца процесса. Значит, и в этом отношении защитник может дать им весьма ценные сведения. И если К. все это учтет, то он вряд ли станет удивляться раздражительности чиновников, которая часто проявляется по отношению к клиентам в чрезвычайно обидной форме — впрочем, каждый это испытывает на себе. Все чиновники раздражены, даже когда кажутся внешне спокойными. И от этого, разумеется, больше всего страдают мелкие адвокаты. Рассказывают, например, следующую историю, удивительно похожую на правду. Один старый чиновник, добрый смирный человек, целые сутки изучал трудное дело, к тому же чрезвычайно запутанное из-за вмешательства адвокатов, — усерднее таких чинуш никого не найти. Уже к утру, проработав двадцать четыре часа без видимых результатов, он подошел к входной двери, спрятался за ней и каждого адвоката, который пытался войти, сбрасывал с лестницы.

Адвокаты собрались на лестничной площадке и стали советовать, что им делать. С одной стороны, они не имеют права требовать, чтобы их впустили, значит, жаловаться на этого чиновника по начальству они не могут, а кроме того, как уже говорилось, они должны остерегаться и не раздражать чиновников зря. С другой же стороны, каждый проведенный вне суда день для них потерян, и проникнуть туда им очень важно. В конце концов они договорились измотать старичка. Стали посылать наверх одного адвоката за другим, те взбежали по лестнице и давали себя сбрасывать оттуда при довольно настойчивом, но, разумеется, пассивном сопротивлении, а внизу их подхватывали коллеги. Так продолжалось почти целый час, и тут старичок, уже сильно уставший от ночной работы, совсем сдал и ушел к себе в канцелярию. Стоявшие внизу сначала не поверили и послали одного из коллег наверх взглянуть, действительно ли за дверью никого нет. И только тогда они все поднялись наверх и, должно быть, не посмели даже возмутиться. Ведь адвокат — а даже самый ничтожный из них хоть отчасти представляет себе все обстоятельства — никогда



не пытается ввести в судопроизводство какие бы то ни было изменения или улучшения, в то время как почти каждый обвиняемый, даже какой-нибудь недоумок, при первом же соприкосновении с процессом начинает думать, какие бы предложения внести, чтобы улучшить постановку дела, и часто тратит на это время и силы, которые можно было бы с гораздо большей пользой употребить на что-либо иное. Единственно правильное — это примириться с существующим порядком вещей. И если бы даже человек был в силах исправить какие-то отдельные мелочи, что является нелепым заблуждением, то в лучшем случае он чего-то добился бы для хода будущих процессов, но себе самому он только нанес бы непоправимый вред, привлекая внимание и особую мстительность чиновников. Главное — не привлекать внимания! Держаться спокойно, как бы тебе это ни претило! Попытаться понять, что суд — этот грандиозный организм — всегда находится, так сказать, в неустойчивом равновесии, и, если ты на своем месте самовольно что-то нарушишь, ты можешь у себя же из-под ног выбить почву и свалиться в пропасть, а грандиозный организм сам восстановит это небольшое нарушение за счет чего-то другого — ведь все связано между собой — и останется неизменным, если только не станет, что вполне вероятно, еще замкнутее, еще строже, еще бдительнее и грознее. Лучше предоставить всю работу адвокату и не мешать ему. Конечно, упреки никому на пользу не идут, особенно если нельзя человеку растолковать, за что его упрекают и в чем винят, но все-таки следует сказать, что К. чрезвычайно навредил делу тем, как он вел себя при директоре канцелярии. Видимо, придется вычеркнуть этого влиятельнейшего человека из списка тех, у кого можно было бы чего-то добиться для К. Теперь он нарочно пропускает мимо ушей даже мимолетные упоминания о процессе. В некоторых отношениях эти чиновники — сущие дети. Иногда какие-нибудь пустяки — впрочем, поведение К., к сожалению, нельзя отнести к этой категории — так обижают их, что они перестают разговаривать даже с лучшими своими друзьями, отворачиваются от них при встрече и везде, где только можно, действуют им наперекор. И вдруг, совершенно неожиданно, без всяких оснований, их может рассмешить какая-нибудь глупая шутка, на которую решаешься только оттого, что все кажется безнадежным, и тут снова настает полное примирение. С ними общаться и трудно, и легко, никаких правил тут не существует. Иногда просто диву даешься, как это одной человеческой

жизни хватает на то, чтобы овладеть всеми теми знаниями, которые дают возможность работать хотя бы с некоторым успехом. Правда, бывают, как, впрочем, и у всех, мрачные дни, когда думаешь, что ни малейших успехов не достиг, и кажется, будто хорошо кончились только те процессы, в которых благополучный исход был предопределен с самого начала, без всякой посторонней помощи, а все остальные проиграны, несмотря на всю беготню, все старания, все кажущиеся мелкие успехи, которые так тебя радовали. Тут, конечно, теряешь всякую уверенность и даже не осмеливаешься возражать, если тебя спросят, правда ли, что некоторые процессы, проходившие, по существу, благополучно, ты сорвал именно своим вмешательством. Единственное, что тебе остается, — это какая-то внутренняя самозащита. Таким припадкам сомнения — разумеется, это только припадки — адвокаты бывают особенно подвержены, когда дело, которое они вели уже давно и вполне удовлетворительно, внезапно вырывают у них из рук. Ничего хуже с адвокатом случиться не может. И отнимает дело, конечно, не сам обвиняемый, этого никогда не бывает: если обвиняемый уже взял определенного адвоката, то он за него держится, несмотря ни на что. Да и как он может справиться сам, если он уже воспользовался чьей-то помощью? Так что этого не бывает, но иногда бывает другое: процесс принимает такой оборот, что адвоката к нему уже не допускают. И само дело, и обвиняемого, и вообще все просто отнимают у адвоката, и тут уж не помогут самые лучшие отношения с чиновниками, потому что те и сами ничего не знают. Просто весь процесс перешел в такую стадию, где никакой помощи уже оказать нельзя, где дело ведется в недоступных судебных органах и обвиняемый становится недоступным для адвоката. И в один прекрасный день, явившись домой, находишь у себя на столе все те ходатайства, которые составлялись с такой тщательностью, с такой крепкой надеждой на исход дела; оказывается, их отослали тебе обратно, так как на новом этапе процесса их использовать запрещено и они стали бесполезными клочками бумаги. Причем это еще не значит, что процесс проигран, вовсе нет; во всяком случае никаких оснований для такого предположения нет, просто ты о процессе больше ничего не знаешь и узнать никак не можешь. К счастью, такие случаи — исключение, и даже если процесс самого К. тоже подпадет под такой случай, то пока дело до этого еще не дошло. Сейчас еще представляются самые широкие возможности для работы адво-

ката, и в том, что он их использует, К. может не сомневаться. Ходатайство, как уже говорилось, еще не подано, да это и не к спеху, гораздо важнее предварительные переговоры с ведущими чиновниками, а они уже велись. Но велись — надо честно сознаться — с переменным успехом. Однако лучше покамест не выдавать подробностей, это может плохо повлиять на К. — пробудить слишком радостные надежды или слишком напугать его; можно сказать только одно: некоторые чиновники высказывались чрезвычайно доброжелательно и выражали полную готовность содействовать, в то время как другие высказывали меньшую доброжелательность, однако в помощи ни в коей мере не отказывали. В общем, результаты, можно сказать, вполне ободряющие, однако делать какие-либо заключения еще нельзя, так как это обычное начало всех предварительных переговоров и только дальнейшее развитие дела покажет, насколько ценны эти предварительные переговоры. Во всяком случае, ничего еще не потеряно, и если бы удалось, несмотря ни на что, вернуть расположение директора канцелярии — а к этому уже приняты разные меры, — то, как говорят хирурги, рану можно считать чистой и надо только спокойно дожидаться дальнейшего.

На такие и подобные разговоры адвокат был неистощим. И это повторялось при каждой встрече. Всегда имелись налицо какие-то успехи, но никогда не сообщалось, в чем они состоят. Работа над первым ходатайством шла непрерывно, но оно все еще не было готово; однако при следующей встрече именно это оказывалось огромным преимуществом; как раз все последние дни были исключительно неблагоприятны для подачи заявлений, хотя предвидеть это заранее никто не мог. И если К., измученный бесконечными словоизвержениями, замечал, даже учитывая все трудности, что дело подвигается очень медленно, то ему возражали, что подвигается оно совсем не так медленно, но, конечно, двинулось бы гораздо дальше, если бы К. обратился к адвокату вовремя. Но, к сожалению, тут он оплошал, и эта оплошность не только сейчас, но и впредь будет порождать затруднения.

Единственное приятное разнообразие в эти посещения вносил приход Лени: она всегда устраивала так, что подавала адвокату чай в присутствии К. Встав за спиной К., она притворялась, что смотрит, как адвокат, с какой-то жадностью, низко пригнувшись к чашке, наливает и пьет чай, и тайком позволяла К. пожимать ей руку. Наступа-

ло полное молчание. Адвокат пил чай, К. пожимал руку Лени, а Лени иногда осмеливалась нежно поглаживать К. по голове.

— Ты еще тут? — спрашивал адвокат, допив чай.

— Я хотела убрать посуду, — отвечала Лени с последним рукопожатием, но тут адвокат вытирал губы и с новой силой начинал заговаривать К.

Хотел ли он утешить К. или привести его в отчаяние? К. никак не мог понять, чего тот добивается, хотя отлично понимал, что его защита в ненадежных руках. Возможно, что адвокат говорил правду, хотя было очевидно, что он хочет выставить себя в самом выгодном свете и, вероятно, никогда не вел такой большой процесс, каким, по его мнению, был процесс К. Но самым подозрительным казалось постоянное подчеркивание личных связей с чиновниками. Использовались ли эти связи исключительно для пользы К.? Адвокат постоянно напирал на то, что речь идет только о низших служащих, то есть о людях зависимых, и что для их продвижения по службе определенные повороты процесса, конечно, могут иметь большое значение. Может быть, они используют адвоката, чтобы добиться именно таких, всегда неблагоприятных для обвиняемого оборотов дела? Может быть, они вели себя так не в каждом процессе, это вряд ли было возможно; наверно, случались и такие процессы, когда они помогали адвокату за его услуги, ведь они сами были заинтересованы в том, чтобы поддерживать в чистоте его репутацию. Но если дело и вправду обстоит так, то каким образом они вмешаются в процесс К., чрезвычайно трудный и, по уверениям адвоката, очень сложный, то есть важный и привлекавший внимание судебных властей с самого начала? Нет, никаких сомнений их дальнейшие намерения не вызывали. Некоторые симптомы были заметны уже в том, что первое ходатайство все еще не подано, хотя процесс тянется уже несколько месяцев, но до сих пор, по словам адвоката, еще находится в низших инстанциях, а это, конечно, очень способствует намерению усыпить внимание обвиняемого, обезоружить его и вдруг обрушить на него приговор или по меньшей мере объявить ему, что следствие окончилось для него неблагоприятно и дело передано в высшие инстанции.

Нет, К. непременно должен был сам вмешаться. Именно в состоянии крайней усталости, как в это зимнее утро, когда помимо воли все мысли были обращены на его дело, он был в этом безоговорочно убежден. Презрение, с каким он раньше относился к процессу, те-

перь пропало. Будь он один на свете, он еще мог бы пренебречь процессом, хотя тогда — и в этом сомнений не было — процесс вообще не мог бы возникнуть. Но теперь, когда дядя заташил его к адвокату, приходилось считаться с семейными взаимоотношениями; да и его служба отчасти зависела от хода процесса, потому что он сам неосторожно и даже с каким-то необъяснимым удовлетворением упоминал о своем процессе при знакомых, а другие знакомые сами о нем узнавали неизвестно откуда; отношения с фройляйн Бюрстнер тоже колебались в зависимости от процесса — словом, у него уже не было выбора, принимать или не принимать этот процесс, он попал в самую гущу и должен был защищаться. А если он устал — тем хуже для него.

Впрочем, для преувеличенной тревоги никаких оснований пока что не было. Он сумел в сравнительно короткое время подняться в своем банке до высокой должности и, признанный всеми, занимал эту должность до сих пор; значит, теперь ему только надо эти свои таланты, благодаря которым он всего достиг, приложить к ведению процесса, и нет никаких сомнений, что тогда все окончится благополучно. Но прежде всего, если хотеть чего-то добиться, надо с самого начала отмести всякие мысли о возможной вине. Никакой вины нет. И весь этот процесс — просто большое дело, какие он с успехом часто вел для банка, и в этом деле, как правило, таятся всевозможные опасности — их только и надо предотвратить. Во имя этой цели никак нельзя играть с мыслью о какой бы то ни было вине, наоборот, надо все мысли твердо сосредоточить на собственной правоте. А отсюда неизбежно вытекало решение отстранить адвоката от дела как можно скорее, лучше всего — сегодня же вечером. Правда, по словам того же адвоката, это было бы неслыханным прецедентом, к тому же очень обидным, но К. больше не мог терпеть, чтобы все его усилия разбивались о препятствия, которые, возможно, подстраивал его собственный адвокат. А как только он стряхнет с себя эту зависимость, он сам сразу подаст ходатайство, и, возможно, ему ежедневно придется добиваться, чтобы эту бумагу рассмотрели. Разумеется, для того чтобы добиться этого, К. не станет, подобно другим, просиживать в коридоре, положив шляпу под стул. Он сам, или знакомые женщины, или те, кого он пошлет, будут ежедневно нажимать на чиновников, чтобы заставить их не глазеть сквозь решетки в коридор, а сесть к столу и рассмотреть ходатайство К. Тут нельзя ослаблять на-

тиск, надо все организовать, проверить; пусть суд наконец столкнется с таким обвиняемым, который умеет постоять за свои права.

Но если К. верил, что он сумеет все это провести в жизнь, то составление ходатайства представило для него непреодолимые трудности. Раньше, с неделю назад, он только с чувством некоторой неловкости думал о том, что будет вынужден составлять такую бумагу. Но он даже и не думал, что это может быть так трудно. Он вспомнил, как однажды утром, когда он был завален работой, он вдруг отодвинул все в сторону и взял блокнот, чтобы набросать ходатайство и, может быть, потом отдать этот черновик для исполнения тяжелодуму адвокату, и как именно в эту минуту отворилась дверь директорского кабинета и с громким смехом вошел заместитель директора. Тут К. стало очень неприятно, хотя заместитель директора смеялся вовсе не над его ходатайством, о котором он ничего не знал, а над только что услышанным биржевым анекдотом; для того чтобы этот анекдот стал понятен, надо было сделать рисунок, и заместитель директора, наклонясь над столом К., взял у него из рук карандаш и набросал рисунок на листке блокнота, предназначенном для черновика.

Но сегодня К. забыл о чувстве неловкости — написать ходатайство было необходимо. Если на службе он не сможет выкроить для этого время — что было вполне вероятно, — значит, придется писать дома, по ночам. А если ночей не хватит, придется взять отпуск. Только не останавливаться на полдороге, это самое бессмысленное не только в делах, но и вообще всегда и везде. Правда, ходатайство потребует долгой, почти бесконечной работы. Даже при самом стойком характере человек мог прийти к мысли, что такую бумагу вообще составить невозможно. И не от лени, не от низости, которые только и могли помешать адвокату в этой работе, а потому, что, не зная ни самого обвинения, ни всех возможных добавлений к нему, придется описать всю свою жизнь, восстановить в памяти мельчайшие поступки и события и проверить их со всех сторон. И какая же это грустная работа! Может быть, она подходит тем, кто, уйдя на пенсию, захочет чем-то занять мозг, уже впадающий в детство, и как-то скоротать долгие дни. Но теперь, когда человеку необходимо сохранить всю свежесть мысли для работы, когда часы летят с необыкновенной быстротой, потому что его карьера на подъеме и он представляет собой даже в некотором роде угрозу для заместителя директора, теперь, когда ему, человеку молодому, хочется насладиться жизнью в столь короткие

вечера и ночи, именно теперь он должен заниматься составлением этого документа! И К. снова мысленно пожалел себя. Почти нечаянно, лишь бы прекратить этот ход мысли, он нажал кнопку звонка, проведенного в приемную. Нажимая кнопку, он взглянул на часы. Уже одиннадцать, значит, два часа драгоценнейшего времени он истратил на раздумье и, конечно, устал еще больше прежнего. И все-таки время прошло не зря, он принял решение, которое может оказаться полезным.

Кроме почты, курьер принес визитные карточки двух господ, давно ожидавших К. Как назло, это были очень важные клиенты банка, которых ни в каком случае нельзя было заставлять ждать. И почему они пришли в такое неподходящее время, и почему — как, наверно, спрашивали себя эти господа за закрытой дверью — столь усердный К. тратил самое горячее служебное время на личные дела? Устав от всего, что было, и с усталостью ожидая того, что будет, К. поднялся навстречу первому клиенту.

Это был маленький разбитной человек, фабрикант, которого К. хорошо знал. Он выразил сожаление, что отрывает К. от важной работы, а К., со своей стороны, выразил сожаление, что заставил его так долго ждать. Но слова сожаления он произнес настолько машинально и таким неестественным тоном, что, если бы фабрикант не был так занят своим делом, он непременно подметил бы это. Вместо того он торопливо вытащил счета и таблицы из всех карманов, разложил их перед К. и стал разъяснять отдельные пункты, поправил небольшую ошибку в расчетах, которую поймал даже при таком беглом просмотре, напомнил, что К. заключил с ним такую же сделку год назад, мимоходом заметил, что на этот раз другой банк готов идти на значительные жертвы, лишь бы заключить с ним эту сделку, и наконец умолк, чтобы выслушать мнение К. Действительно, К. вначале с большим вниманием следил за словами фабриканта, мысль о важной сделке захватила и его, но, к сожалению, ненадолго; вскоре он перестал слушать, некоторое время еще кивал головой в ответ на громкие восклицания фабриканта, но потом прекратил и это, ограничиваясь только тем, что смотрел на лысую голову, склоненную над бумагами, и спрашивал себя, когда же фабрикант наконец поймет, что все его разглагольствования бесполезны. И когда фабрикант замолчал, К. сначала всерьез подумал, будто замолчал он для того, чтобы дать ему возможность сознаться, что слушать он не в состоянии. Но по напря-

женному взгляду фабриканта, готового на любые возражения, К. с сожалением понял, что деловой разговор придется продолжить. Он наклонил голову, словно подчиняясь приказанию, и стал медленно водить карандашом по бумагам, то и дело останавливаясь и всматриваясь в какую-нибудь цифру. Видимо, фабрикант предположил, что К. с чем-то не согласен, а может быть, цифры были не совсем точные, может быть, и не они решали дело, во всяком случае, фабрикант закрыл бумаги рукой и, придвинувшись совсем близко к К., снова начал в общих чертах излагать ему свое дело.

— Трудно все это, — сказал К., наморщив губы, и, так как фабрикант закрыл бумаги — единственное, на чем еще можно было сосредоточиться, — он безвольно откинулся на спинку кресла.

Он только поднял глаза, когда отворилась дверь директорского кабинета и вдали не очень отчетливо, словно в какой-то дымке, мелькнула фигура заместителя директора. К. не обратил на это особого внимания, но его обрадовала реакция фабриканта — для К. это было очень кстати. Ибо фабрикант тотчас же вскочил с кресла и поспешил навстречу заместителю директора. К. хотел, чтобы он двигался в десять раз скорее, потому что боялся, что заместитель вдруг скроется. Страх оказался напрасным, оба господина встретились, пожали друг другу руки и вместе подошли к столу К. Фабрикант пожаловался, что прокурист никак не склонен идти ему навстречу в этом деле, и кивнул в сторону К., который под взглядом заместителя снова низко нагнулся над бумагами. Они оба стояли, прислонясь к его столу, и фабрикант начал уговаривать заместителя, стараясь привлечь его на свою сторону. К. почувствовал себя так, будто оба эти человека непомерно разрастаются и уже через его голову решают его судьбу. Медленно и осторожно он завел глаза кверху, чтобы взглянуть, что же там происходит; не глядя, взял одну из бумаг со стола, положил ее на ладонь и, постепенно поднимаясь с кресла, стал протягивать ее обоим собеседникам. Он ни о чем в это время не думал, а действовал так, как, по его представлению, ему придется действовать, когда он наконец подготовит тот важный документ, который его окончательно оправдает. Заместитель директора, с большим вниманием слушавший фабриканта, взглянул на бумагу мимоходом, даже не прочитав, что там было написано, ибо то, что было важно для прокуриста, для него никакого интереса не представляло, однако взял бумагу из рук у К., сказал: «Спасибо, я все уже знаю» — и спокойно



положил бумагу на стол. К. с неприязнью покосился на него. Но заместитель даже не заметил его взгляда, а если и заметил, то лишь еще больше развеселился. Он то и дело раздражался громким смехом, даже явно привел фабриканта в смущение остроумным ответом и в заключение пригласил его к себе в кабинет, чтобы окончательно договориться.

— Дело весьма важное, — сказал он фабриканту, — мне это совершенно ясно. А господину прокурису, — при этом он обращался только к фабриканту, — наверно, будет по душе, если мы его от этого освободим. Ваше дело требует спокойного обсуждения. А он как будто сегодня и так перегружен работой, к тому же в приемной вот уже несколько часов его дожидаются люди.

У К. еле хватило выдержки отвернуться от заместителя директора и любезно, хотя и напряженно, улыбнуться одному только фабриканту. Больше он не стал вмешиваться и, слегка наклонившись вперед, упершись обеими руками в стол, как приказчик на прилавок, глядел, как оба господина, переговариваясь между собой, взяли бумаги со стола и скрылись в кабинете директора. В дверях фабрикант еще раз обернулся, сказал, что не прощается и не преминет осведомить господина прокуриса о результатах переговоров, а кроме того, собирается сделать ему еще одно небольшое сообщение.

Наконец К. остался один. Он и не подумал впустить следующего клиента и только неясно сознавал, насколько это удачно, что люди там, в приемной, уверены, будто он еще занят с фабрикантом, и поэтому никто, даже курьер, не решается войти к нему. Он подошел к окну, сел на подоконник, держась одной рукой за щеколду, и выглянул на площадь. Снег еще падал, погода никак не прояснялась.

Долго просидел он неподвижно, не понимая, что именно его так беспокоит, и только изредка испуганно оборачивался через плечо к двери в приемную, где ему слышался какой-то шум. Но так как никто не входил, он успокоился, подошел к умывальнику, умылся холодной водой и с освеженной головой вернулся к окошку. Решение взять свою защиту в собственные руки теперь казалось ему гораздо более ответственным, чем он предполагал сначала. Когда он взваливал всю защиту на адвоката, процесс, в сущности, мало его касался, он наблюдал за ним только со стороны, а непосредственно его ничто не затрагивало, он мог при желании поинтересоваться, как идут его дела, но мог и отойти в сторону, когда ему этого хотелось. А сейчас,

если он возьмет ведение своего дела на себя, он — хотя бы на данное время — будет совершенно поглощен судебными делами. Если все пойдет успешно, то впоследствии придет полное и окончательное освобождение, но, чтобы этого достичь, ему придется все время сталкиваться с гораздо большими опасностями, чем до сих пор. И если он еще сомневался в этом, то сегодняшняя встреча с фабрикантом при заместителе директора достаточно убедила его. Как он при них сидел совершенно растерянный лишь оттого, что намеревался с сегодняшнего дня взять свою защиту на себя! Что же будет дальше? Какие дни предстоят ему? Найдет ли он путь, который приведет его к благополучному исходу? Не вызовет ли тщательно продуманное ведение защиты — а иначе все было бы лишено смысла, — не вызовет ли такая защита необходимости отключиться, насколько возможно, от всякой другой работы? Сможет ли он благополучно пройти через это? И как ему провести в жизнь этот план тут, в банке? Ведь время ему нужно не только для составления ходатайства — для этого хватило бы и отпуска, хотя просить об отпуске сейчас было бы большой смелостью, — ему нужно время для целого процесса, а кто знает, как долго он будет тянуться? Вот сколько препятствий вдруг встало на жизненном пути К.!

Неужто в таком состоянии он должен работать для банка? Он взглянул на стол. Неужели сейчас принимать клиентов, вести с ними переговоры? Там его процесс идет полным ходом, там, наверху, на чердаке, судейские чиновники сидят над актами этого процесса, а он должен заниматься делами банка? Не похоже ли это на пытку, не с ведома ли суда в связи с процессом его подвергают этой пытке? А разве в банке при оценке его работы кто-нибудь станет учитывать его особое положение? Никто и никогда. Кое-что о его процессе знали, хотя и было не совсем ясно, кому и сколько об этом известно. Надо надеяться, что слухи еще не дошли до заместителя директора, иначе сразу стало бы видно, как он старается использовать эти сведения против К. вопреки чувству товарищества и простой человечности. А сам директор? Да, конечно, он хорошо относится к К., и если бы он узнал о процессе, то сейчас же сделал бы все от него зависящее, чтобы внести какие-то облегчения для К., но ему это вряд ли удалось бы, потому что теперь, когда К. почти перестал противодействовать влиянию заместителя, это влияние усилилось, причем заместитель для укрепления своей власти использовал болезненное состояние самого

директора. На что же К. мог надеяться? Может быть, от этих мыслей сила сопротивления в нем понижалась, но, с другой стороны, нельзя обманывать себя, надо все предвидеть, все, насколько это возможно в данную минуту.

Без всякой причины, просто чтобы не возвращаться к письменному столу, К. отворил окно. Оно открывалось с трудом, пришлось обеими руками нажать на задвижки. Всю комнату и ввысь, и вширь заполнил туман, пропитанный дымом, вместе с ним вполз запах гари. Сквозняком внесло несколько снежинок.

— Прескверная осень, — сказал за спиной К. голос фабриканта — тот вышел от заместителя директора и незаметно подошел к окну. К. утвердительно кивнул и с опаской поглядел на портфель фабриканта: наверно, он сейчас вынет оттуда бумаги и начнет рассказывать, как прошли переговоры с заместителем директора. Но фабрикант поймал взгляд К., похлопал по своему портфелю и сказал, не открывая его: — Вам, наверно, интересно услышать, чего я достиг. У меня, можно сказать, заключение уже в кармане. Превосходный человек ваш заместитель директора, но ему пальца в рот не клади.

Он засмеялся и потряс руку К., явно желая и его рассмешить. Но тому показалось подозрительным, что фабрикант не хочет показать ему документы, да и ничего смешного в его словах он не нашел.

— Господин прокурист, — сказал вдруг фабрикант, — на вас, наверно, погода плохо действует? Вид у вас такой удрученный.

— Да, — сказал К. и поднес руку к виску, — голова болит, семейные неполадки.

— Верно, верно, — сказал фабрикант, человек он был торопливый и никогда не дослушивал спокойно, что ему говорят, — каждому приходится нести свой крест.

К. невольно подался к двери, как будто хотел выпроводить фабриканта, но тот сказал:

— Господин прокурист, у меня есть для вас еще одно небольшое сообщение. Очень боюсь, что сейчас вам не до того, но за последнее время я уже дважды был у вас и каждый раз об этом забывал. Если еще откладывать, то мое сообщение, наверно, потеряет всякий смысл. А это жаль, может быть, оно все-таки будет иметь для вас какое-то значение. — И прежде чем К. успел ответить, фабрикант подошел к нему вплотную, постучал согнутым пальцем ему в грудь и тихо сказал: — У вас идет процесс, не так ли?

К. отшатнулся и воскликнул:

— Вам это сказал заместитель директора!

— Да нет же, — сказал фабрикант, — откуда заместитель мог узнать об этом?

— А вы? — уже спокойнее спросил К.

— Я кое о чем осведомлен из судебных кругов, — сказал фабрикант. — Вот об этом-то я и хотел с вами поговорить.

— Сколько же людей связано с судебными кругами! — сказал К., опустив голову, и подвел фабриканта к столу.

Они уселись, как сидели раньше, и фабрикант сказал:

— К сожалению, я могу сообщить вам очень немного. Но в таких делах нельзя пренебрегать даже самой малостью. Кроме того, мной руководит искреннее желание хоть чем-нибудь помочь вам, даже если эта помощь окажется весьма скромной. Ведь до сих пор у нас в делах были самые дружеские отношения, не так ли? Ну вот видите!

К. хотел было извиниться за свое поведение во время сегодняшнего разговора, но фабрикант не терпел, когда его перебивали. Он засунул портфель глубоко под мышку, чтобы показать, как он торопится, и продолжал:

— О вашем процессе я узнал от некоего Титорелли. Он художник, Титорелли — его псевдоним, настоящего его имени я даже не знаю. Уже много лет подряд он изредка заходит ко мне в контору и приносит небольшие картинки, и за них — ведь он почти нищий — я даю ему что-то вроде милостыни. Эти сделки — мы оба к ним привыкли — всегда проходили гладко. Но вот его посещения стали учащаться, я его упрекнул, мы разговорились, я заинтересовался, как это он может жить одними этими картинками, и, к своему удивлению, узнал, что главный источник его дохода — писание портретов. «Работаю на суд», — сказал он. «На какой суд?» — спросил я. И тут он рассказал мне об этом суде. Вероятно, вы лучше всех поймете, как меня удивил его рассказ. С тех пор при каждом посещении я выслушиваю какие-нибудь новости и постепенно составил себе некоторое представление об этом суде. Правда, Титорелли очень болтлив, и часто мне приходится его останавливать, не только потому, что он наверняка прикиривает, но главным образом из-за того, что мне, человеку деловому, которому и свои заботы покоя не дают, некогда слишком много заниматься чужими делами. Но это я мимоходом. И вот я подумал: а вдруг Титорелли будет вам хоть чем-то полезен, он знаком со многими су-

дьями, и хотя сам он особого влияния не имеет, но все же сможет дать совет, как попасть ко всяким влиятельным лицам. И если даже эти советы сами по себе ничего не значат, то вам, по моему мнению, они могут очень и очень пригодиться. Ведь вы сами почти адвокат. Я всегда говорю: «Прокурор К. почти что адвокат». Нет, за исход вашего процесса я совершенно не беспокоюсь. И все-таки не зайдете ли вы к Титорелли? По моей рекомендации он сделает для вас все, что в его силах. Право же, я думаю, что вам стоит к нему пойти. Не обязательно сегодня, а как-нибудь при случае. Разумеется — и я должен вам это подчеркнуть, — вы ни в коем случае не обязаны следовать моему совету и идти к Титорелли. Нет, если вы можете обойтись без Титорелли, то лучше оставить его в стороне. Может быть, у вас уже есть свой определенный план и Титорелли только нарушит его? Нет, нет, тогда вам ни в коем случае к нему ходить не надо! Конечно, от такого типа нелегко принимать советы. Впрочем, как хотите. Вот рекомендательное письмо и вот его адрес.

К. взял письмо и сунул его в карман — он был очень разочарован. Даже при самых благоприятных обстоятельствах польза от этого знакомства была неизмеримо меньше вреда, который нанес ему художник, доведя до сведения фабриканта слухи о процессе и распространяя сплетни.

К. с трудом заставил себя пробормотать какую-то благодарность вслед фабриканту, уже выходявшему из комнаты.

— Я найду к нему, — сказал он, прощаясь с фабрикантом у двери, — или, пожалуй, так как я сейчас очень занят, напишу ему, чтоб он зашел ко мне сюда.

— О, я знал, что вы найдете наилучший выход, — сказал фабрикант. — Правда, я думал, что вам лучше было бы не приглашать в банк людей вроде этого Титорелли и не разговаривать с ним тут о процессе. Да и не очень-то полезно давать письма в руки таким людям. Но, конечно, вы все сами продумали, вам виднее, что можно делать и чего нельзя.

К. наклонил голову и проводил фабриканта через приемную. При всем своем внешнем спокойствии он очень испугался за себя: в сущности, он говорил о письме к Титорелли, только чтобы показать фабриканту, что ценит его рекомендацию и обдумывает, как ему встретиться с Титорелли, но вместе с тем, если бы он счел помощь Титорелли полезной, он и в самом деле не преминул бы ему написать. Но

слова фабриканта открыли ему опасность такого шага со всеми его последствиями. Неужели он уже не может надеяться на свой здравый смысл, на свой ум? Если он способен письменно пригласить какую-то сомнительную личность в банк и в двух шагах от заместителя директора, отделенный от него одной только дверью, просить у этого проходимца советов насчет своего процесса, то не значило ли это, что он, по всей вероятности, а может быть, и наверняка, не видит и других опасностей и бросается в них очертя голову? Не всегда же с ним рядом будет человек, который сможет его предупредить. Как раз сейчас, когда ему надо собрать все силы и действовать, на него напали сомнения в собственной бдительности. Неужели ему будет так же трудно заниматься своим процессом, как трудно вести банковские дела? Сейчас он, конечно, сам уже не понимал, как ему могло прийти в голову написать Титорелли и пригласить его в банк.

Он еще в недоумении покачивал головой, когда к нему подошел курьер и обратил его внимание на трех посетителей, сидевших в приемной на скамье. Они уже давно ждали, когда их наконец пригласят в кабинет К. Увидев, что курьер обратился к К., они встали и, пытаясь воспользоваться случаем, наперебой старались заговорить с К. Раз банк обошелся с ними так бесцеремонно, заставив их терять время в приемной, то они тоже никаких церемоний признавать не собирались.

— Господин прокурорист, — начал было один.

Но К. уже велел подать свое зимнее пальто и, одеваясь с помощью курьера, обратился ко всем трем:

— Простите, господа, сейчас я, к сожалению, не могу вас принять. Очень прошу меня извинить, но у меня весьма срочное дело, и я должен сейчас же уйти. Вы сами видели, как долго меня задерживали. Не будете ли вы так любезны прийти завтра или когда вам будет удобно? А может быть, мы обсудим ваши дела по телефону? Или, быть может, вы сейчас вкратце изложите мне, что вам нужно, и я дам вам письменный ответ? Но лучше всего, конечно, если бы вы зашли еще раз.

От этих предложений посетители совершенно онемели и только переглядывались друг с другом: неужели они столько ждали понапрасну?

— Значит, договорились? — сказал К. и обернулся к курьеру, который подавал ему шляпу.

Сквозь открытую дверь кабинета видно было, что за окном гуще повалил снег. К. поднял воротник пальто и застегнул его у шеи.

И в эту минуту из соседнего кабинета вышел заместитель директора, с усмешкой увидел, что К. стоит в пальто, договариваясь о чем-то с посетителями, и спросил:

— Разве вы уже уходите, господин прокуррист?

— Да, — сказал К. и выпрямился, — мне необходимо уйти по делу.

Но заместитель директора уже обернулся к посетителям.

— А как же эти господа? — спросил он. — Кажется, они уже давно ожидают.

— Мы договорились, — сказал К.

Но тут посетители не выдержали; они окружили К. и заявили, что не стали бы ждать часами, если бы у них не было важных дел, которые надо обсудить немедленно, и притом с глазу на глаз. Заместитель директора послушал их, посмотрел на К. — тот, держа шляпу в руках, чистил на ней какое-то пятнышко — и потом сказал:

— Господа, есть очень простой выход. Если я могу вас удовлетворить, я с удовольствием возьму на себя переговоры вместо господина прокурриста. Разумеется, ваши дела надо разрешить немедленно. Мы, такие же деловые люди, как и вы, понимаем, как драгоценно ваше время. Не угодно ли вам пройти сюда? — И он отворил дверь, которая вела в его приемную.

Как этот заместитель директора умел присваивать себе все, от чего К. по необходимости вынужден был отказываться! Но, может быть, К. вообще слишком перегибает палку и это вовсе не обязательно? Пока он будет бегать к какому-то неизвестному художнику с весьма необоснованными и — нечего скрывать — ничтожными надеждами, тут, на службе, его престиж потерпит непоправимый урон. Вероятно, было бы лучше всего снять пальто и по крайней мере заполнить для себя хотя бы тех двух клиентов, которые остались ждать в приемной. Возможно, что К. и попытался бы так сделать, если бы не увидел, что к нему в кабинет вошел заместитель директора и роется на его книжной полке, словно у себя дома. Когда К. подошел к двери, тот воскликнул:

— А-а, вы еще не ушли? — Он посмотрел на К. — от резких прямых морщин его лицо казалось не старым, а скорее властным — и потом снова стал шарить среди бумаг. — Ищу договор, — сказал он. —

Представитель фирмы утверждает, что бумаги у вас. Не поможете ли вы мне найти их?

К. подошел было к нему, но заместитель директора сказал:

— Спасибо, уже нашел, — и, захватив толстую папку с документами, где явно лежал не только один этот договор, он прошел к себе в кабинет.

«Теперь мне с ним не под силу бороться, — сказал себе К., — но пусть только уладятся все мои личные неприятности, и я ему первому отплачу, да еще как!» Эта мысль немного успокоила К., он велел курьеру, уже давно открывшему перед ним дверь в коридор, сообщить директору банка, что ушел по делам, и, уже радуясь, что может хоть какое-то время целиком посвятить своему делу, вышел из банка.

Не задерживаясь, он поехал к художнику, который жил на окраине, в конце города, противоположном тому, где находились судебные канцелярии. Эта окраина была еще беднее той: мрачные дома, переулки, где в лужах талого снега медленно кружился всякий мусор. В доме, где жил художник, было открыто только одно крыло широких ворот; в другом крыле внизу был пробит люк, и навстречу К. оттуда хлынула дымящаяся струя какой-то отвратительной желтой жидкости, и несколько крыс метнулось в канаву, спасаясь от нее. Внизу у лестницы, на земле, ничком лежал какой-то младенец и плакал, но его почти не было слышно из-за оглушительного шума слесарной мастерской, расположенной с другой стороны подворотни. Двери в мастерскую были открыты, трое подмастерьев стояли вокруг какого-то изделия и били по нему молотками. От широкого листа белой жести, висящего на стене, падал бледный отсвет и, пробиваясь меж двух подмастерьев, освещал лица и фартуки. Но К. только мельком взглянул туда, ему хотелось как можно скорее уйти, переговорить с художником как можно короче и сразу вернуться в банк. И если он хоть чего-нибудь тут добьется, то это хорошо повлияет на его сегодняшнюю работу в банке.

На третьем этаже ему пришлось умерить шаг — он совсем задышался, этажи были непомерно высокие, а художник, видимо, жил в мансарде. К тому же воздух был затхлый, узкая лестница шла круто, без площадок, зажатая с двух сторон стенами — в них кое-где, высоко над ступеньками, были пробиты узкие оконца. К. немного приостановился, и тут из соседней квартиры выбежала стайка маленьких



девочек и со смехом помчалась вверх по лестнице. К. медленно поднимался за ними, и, когда одна из девочек споткнулась и отстала от других, он нагнал ее и спросил:

— Здесь живет художник Титорелли?

У девочки был небольшой горб, ей можно было дать лет тринадцать; в ответ она толкнула К. локотком в бок и взглянула на него искоса. Несмотря на молодость и физический недостаток, в ней чувствовалась безнадежная испорченность. Даже не улыбнувшись, она вперила в К. настойчивый, острый и вызывающий взгляд.

К. притворился, что не заметил ее уловок, и спросил:

— А ты знаешь художника Титорелли?

Она кивнула и тоже спросила:

— А что вам от него нужно?

К. решил, что не мешает разузнать еще кое-что о Титорелли.

— Хочу, чтобы он написал мой портрет, — сказал он.

— Портрет? — переспросила она и, широко разинув рот, шлепнула К. ладонью, словно он сказал что-то чрезвычайно неожиданное или несообразное, подхватила обеими руками свою и без того короткую юбочку и во всю прыть побежала догонять остальных девочек, чьи крики уже терялись где-то наверху.

За следующим поворотом лестницы К. опять увидел их всех. Горбатенькая, очевидно, уже выдала им намерения К., и они дожидались его. Прижавшись к стенкам по обеим сторонам лестницы, чтобы дать К. свободный проход, они стояли, перебирая пальцами фартучки. В их лицах, в том, как они стояли рядом у стенок; была смесь какого-то ребячества и распутства. Горбатенькая пошла вперед, остальные со смехом сомкнулись за спиной К. Только благодаря ей К. сразу нашел дорогу. Он хотел было идти прямо наверх, но она сказала, что к Титорелли можно попасть только через боковую лестницу. Лестница, ведущая к нему, была еще уже, еще длиннее, шла круто вверх и кончалась у самой двери Титорелли. По сравнению со всей лестницей эта дверь хорошо освещалась небольшим, косо прорезанным в потолке окошечком, она была сколочена из некрашенных досок, и на ней широкими мазками кисти красной краской было выведено имя Титорелли. К. со своей свитой еще только поднялся до середины лестницы, как вдруг наверху, очевидно, услышав шум на лестнице, приоткрыли двери, и в щель высунулся мужчина, на котором как будто ничего, кроме ночной рубахи, не было.

— Ох! — воскликнул он, увидев толпу, и сразу исчез. Горбунья от радости захлопала в ладоши, другие девочки стали подталкивать К. сзади, торопя его наверх.

Но не успели они подняться на самый верх, как дверь распахнулась и художник с низким поклоном попросил К. войти. Однако девочек он впустить не захотел и оттеснил их от дверей, сколько они ни просили и сколько ни пытались проникнуть к нему против его воли, не добившись разрешения. Только горбунье удалось проскользнуть у него под рукой, но художник погнался за ней, схватил за юбки, закружил ее вокруг себя и выставил за дверь, к другим девчонкам, которые не посмели переступить порог, даже когда художник отошел от двери. К. никак не мог взять в толк, как отнестись к тому, что происходит; тут как будто царили самые дружеские отношения. Вытянув шейки, девочки весело кричали художнику какие-то шуточные слова, которых К. не понимал, художник смеялся, и горбунья в его руках чуть ли не взлетала в воздух. Потом он закрыл дверь, еще раз поклонился К., пожал ему руку и представился:

— Художник-живописец Титорелли.

К. показал на дверь, за которой перешептывались девчонки, и проговорил:

— Как видно, в этом доме вас очень любят!

— Ах уж эти мне мартышки! — сказал художник, тщетно пытаясь застегнуть ночную рубашку у ворота.

Он стоял босой, теперь, кроме рубахи, на нем были широкие штаны из желтоватого холста, они держались только на ремне, и длинный конец его свободно болтался.

— Мне от этих мартышек житья нет, — сказал он и, бросив попытки застегнуть рубаху, так как и последняя пуговица отлетела, принес кресло и пригласил К. сесть. — Как-то я написал портрет одной из них — ее сейчас тут не было, — и с тех пор они меня преследуют. Когда я дома, они заходят только с моего позволения, но, стоит мне уйти, сюда непременно проберется хоть одна. Они подделали ключ к моей двери и передают друг дружке. Вы просто не представляете себе, как они мне надоели. Например, прихожу сюда с дамой, которую я собираюсь рисовать, открываю дверь своим ключом и вижу: за столом сидит горбунья и красит себе губы моей кисточкой, а ее братцы и сестрицы, за которыми ей велели присматривать, бегают по комнате, пачкают во всех углах. Или, например, вчера: вернулся я очень по-

здно — поэтому вы уж простите меня за костюм и за беспорядок в комнате, — значит, вернулся я домой поздно, хотел лечь в постель, и вдруг кто-то шиплет меня за ногу. Лезу под кровать и вытаскиваю одну из этих негодниц! И почему их так ко мне тянет — понять невозможно. Вы сами видели, что я их не очень-то поощряю. Они мне и работать мешают. Если бы это ателье не досталось мне бесплатно, я бы давно отсюда выехал.

И тут же за дверью нежный голосок боязливо пропищал:

— Титорелли, можно нам войти?

— Нет! — ответил художник.

— Даже мне одной нельзя? — спросил тот же голосок.

— Тоже нельзя! — сказал художник и, подойдя к двери, запер ее на ключ.

К. уже успел оглядеть комнату; никогда в жизни он не подумал бы, что эту жалкую каморку кто-нибудь называет «ателье». Двумя шагами можно было измерить ее и в длину, и в ширину. Все: полы, стены, потолок — было деревянное, между досками виднелись узкие щели. У дальней стены стояла кровать с грудой разноцветных одеял и подушек. Посреди комнаты на мольберте видна была картина, прикрытая рубахой с болтающимися до полу рукавами. За спиной К. было окошко, в нем сквозь туман виднелась только крыша соседнего дома, засыпанная снегом.

При звуке ключа, повернутого в двери, К. вспомнил, что он, в сущности, намеревался уйти поскорее. Поэтому он вынул из кармана письмо фабриканта, подал его художнику и сказал:

— Я узнал о вас от этого господина, вашего знакомого, и по его совету пришел к вам.

Художник быстро просмотрел письмо и бросил его на кровать. Если б фабрикант не говорил так определенно о Титорелли как о своем приятеле, о бедном человеке, который зависит от его щедрот, то вполне можно было бы сейчас подумать, что Титорелли вовсе и не знаком с фабрикантом или, во всяком случае, совсем его не помнит. А тут художник еще спросил:

— Вы желаете купить картины или хотите заказать свой портрет?

К. с изумлением посмотрел на художника. Что же, собственно говоря, было написано в письме? К. считал, что фабрикант, само собой разумеется, сообщил в своем письме художнику, что К. хочет только одного: навести справки о своем процессе. И зачем он так необду-

манно и торопливо бросился сюда! Но теперь надобно было хоть что-нибудь ответить художнику, и, взглянув на мольберт, К. сказал:

— Вы сейчас работаете над картиной?

— Да, — сказал художник и, сняв рубаху, прикрывавшую картину, швырнул ее на кровать, туда же, куда бросил письмо. — Пишу портрет. Неплохая работа, но еще не совсем готова.

Все складывалось как нельзя удачнее для К.: ему просто преподнесли на блюдечке предлог заговорить о суде, потому что портрет перед ним явно изображал судью. Более того, он очень походил на портрет судьи в кабинете адвоката. Правда, тут был изображен совершенно другой судья — чернобородый толстяк с пышной окладистой бородой, закрывавшей щеки; кроме того, у адвоката висел портрет, написанный маслом, тогда как этот был сделан пастелью в расплывчатых и мягких тонах. Но все остальное было очень похоже: судья и тут словно в угрозе приподымался на своем троне, сжимая боковые ручки.

«Да ведь это судья», — хотел было сказать К., но удержался и, подойдя к картине, стал рассматривать ее во всех подробностях. Ему показалась непонятной длинная фигура, стоявшая за высокой спинкой кресла, похожего на трон, и он спросил художника, что это такое.

— Ее надо еще немного подработать, — объяснил ему художник и, взяв со столика пастельный карандаш, несколькими штрихами подчеркнул контуры фигуры, но для К. она от этого не стала яснее. — Это Правосудие, — объяснил наконец художник.

— Да, теперь узнаю, — сказал К. — Вот повязка на глазах, а вот и чаши весов. Но, по-моему, у нее крылышки на пятках, и она как будто бежит!

— Да, — сказал художник, — я ее написал такой по заказу. Собственно говоря, это богиня правосудия и богиня победы в едином лице.

— Не очень-то правильное сочетание, — сказал К. с улыбкой. — Ведь богиня правосудия должна стоять на месте, иначе весы придут в колебание, а тогда справедливый приговор невозможен.

— Ну тут я подчиняюсь своему заказчику, — сказал художник.

— Да, конечно, — сказал К., не желая обидеть его своим замечанием. — Очевидно, вы нарисовали эту статую так, как ее обычно и изображают — за креслом.

— Нет, — сказал художник, — ни кресла, ни статуи я никогда не видел, все это выдумки, но мне дали точное указание, что я должен написать.

— Как? — переспросил К., нарочно сделав вид, что не понимает художника. — Но ведь в кресле сидит судья?

— Верно, — сказал художник, — но это не верховный судья, а этот никогда и не сидел в таком кресле.

— И однако заставил написать себя в столь торжественной позе! Он тут похож на председателя суда!

— Да, честолюбие у этих господ большое! — сказал художник. — Но у них есть распоряжение свыше, чтобы их изображали именно в такой позе. Каждому точно предписано, в каком виде ему разрешается позировать. К сожалению, по этой картине трудно судить о подробностях одежды и форме кресел, пастель для таких портретов не подходит.

— Да, — сказал К., — странно, что этот портрет писан пастелью.

— Так пожелал судья, — сказал художник. — Портрет предназначен в подарок даме.

При взгляде на портрет художнику, очевидно, пришла охота поработать; засучив рукава рубахи, он взял пастельные карандаши, и К. увидел, как под их мелькающими остриями вокруг головы судьи возник красноватый ореол, расходящийся лучами к краям картины. Постепенно игра теней образовала вокруг головы судьи что-то вроде украшения или даже короны. Но вокруг фигуры Правосудия ореол оставался светлым, чуть оттененным, и в этой игре света фигура выступила еще резче, теперь она уже не напоминала ни богиню правосудия, ни богиню победы; скорее всего, она походила на богиню охоты. Почти помимо воли К. увлекся работой художника; но наконец он мысленно стал упрекать себя, что задержался так долго, а для своего дела еще ничего не предпринял.

— А как зовут судью? — внезапно спросил он.

— Этого я вам сказать не имею права, — ответил художник. Он низко наклонился над картиной и явно не обращал никакого внимания на гостя, которого встретил так приветливо. К. счел это просто капризом и рассердился, что теряет столько времени.

— А вы, должно быть, доверенное лицо в суде? — спросил он.

И тут художник отложил карандаши, выпрямился и, потирая руки, с улыбкой посмотрел на К.

— Ну давайте начистоту! — сказал художник. — Вы хотите что-то узнать о суде? Кстати, так и написано в вашем рекомендательном письме, а о моих картинах вы заговорили, чтобы расположить меня к

себе. Да я на вас не в обиде. Вы же не могли знать, что меня этим не проведешь. Нет, нет, не надо! — резко сказал он, когда К. хотел что-то возразить. И тут же добавил: — Впрочем, вы совершенно правильно заметили, я действительно доверенное лицо в суде.

Он сделал паузу, словно хотел дать К. время привыкнуть к этому утверждению. За дверью снова слышались голоса девочек. Должно быть, они столпились у замочной скважины, а может быть, подсматривали и в щели между досками. К. не стал особенно оправдываться, ему не хотелось отвлекать художника от рассказа о суде, и вместе с тем он не хотел, чтобы художник слишком преувеличивал свое значение и тем самым старался стать недоступным, поэтому К. спросил:

— А это официально признанная должность?

— Нет, — коротко ответил художник, словно этот вопрос заставил его замолчать.

Но для К. его молчание было не с руки, и он сказал:

— Знаете, люди на таких неофициальных должностях часто бывают куда влиятельнее официальных служащих.

— Именно так со мной и обстоит дело, — кивнул головой художник, хмуря лоб. — Вчера я говорил с фабрикантом о вашем процессе, и он меня спросил, не могу ли я вам помочь. Я сказал: «Пусть этот человек зайдет ко мне» — и рад, что вы так быстро явились. Как видно, это дело затронуло вас всерьез, чему я, впрочем, не удивляюсь. Может быть, вы для начала снимете пальто?

Хотя К. собирался уйти как можно скорее, он очень обрадовался предложению художника. Ему становилось все более душно в этой комнате, несколько раз он удивленно косился на явно нетопленную железную печурку в углу — было непонятно, отчего в комнате стояла такая духота. Пока он снимал пальто и расстегивал пиджак, художник извиняющимся тоном сказал:

— Мне тепло необходимо. А тут очень тепло, правда? В этом отношении комната расположена необыкновенно удобно.

К. ничего не сказал; собственно говоря, ему неприятна была не столько жара, сколько затхлый воздух, дышать было трудно, видно, комната давно не проветривалась. Неприятное ощущение еще больше усилилось, когда художник попросил К. сесть на кровать, а сам уселся на единственный стул, перед мольбертом. При этом художник, очевидно, не понял, почему К. сел только на краешек постели, — он

стал настойчиво просить гостя сесть поудобнее, а увидев, что К. не решается, встал, подошел и втиснул его поглубже, в самый ворох подушек и одеял. Потом снова уселся на стул и впервые задал точный деловой вопрос, заставив К. позабыть обо всем вокруг.

— Ведь вы невиновны? — спросил он.

— Да! — сказал К. Он с радостью ответил на этот вопрос, особенно потому, что перед ним было частное лицо и никакой ответственности за свои слова он не нес. Никто еще не спрашивал его так откровенно. Чтобы продлить это радостное ощущение, К. добавил: — Я совершенно невиновен.

— Вот как, — сказал художник и, словно в задумчивости, наклонил голову. Вдруг он поднял голову и сказал: — Но если вы невиновны, то дело обстоит очень просто.

К. сразу помрачнел: выдает себя за доверенное лицо в суде, а рассуждает, как наивный ребенок!

— Моя невиновность ничуть не упрощает дела, — сказал К. Он вдруг помимо воли улыбнулся и покачал головой: — Тут масса всяких тонкостей, в которых может запутаться и суд. И все же в конце концов где-то, буквально на пустом месте, судьи находят тягчайшую вину и вытаскивают ее на свет.

— Да, да, конечно, — сказал художник, словно К. без надобности перебивал ход его мыслей. Но ведь вы-то невиновны?

— Ну конечно, — сказал К.

— Это самое главное, — сказал художник.

Противоречить ему было бесполезно. Одно казалось неясным, несмотря на его решительный тон: говорит ли он это от убежденности или от равнодушия. К. решил тотчас же выяснить это, для чего и сказал:

— Конечно, вы осведомлены о суде куда лучше меня, ведь я знаю о нем только понаслышке, да и то от самых разных людей. Но в одном они все согласны: легкомысленных обвинений не бывает, и если уж судьи выдвинули обвинение, значит, они твердо уверены в вине обвиняемого, и в этом их переубедить очень трудно.

— Трудно? — переспросил художник, воздевая руки кверху. — Да их переубедить просто невозможно! Если бы я всех этих судей написал тут, на холсте, и вы бы стали защищаться перед этими холстами, вы бы достигли больших успехов, чем защищаясь перед настоящим судом.

«Он прав!» — сказал К. про себя, забыв, что он только хотел выпытать у художника его мнение.

За дверью снова запищала девчонка:

— Титорелли, ну когда же он наконец уйдет?

— Молчите! — крикнул художник. — Не понимаете, что ли, у меня с этим господином серьезный разговор!

Но девочка не утихомирилась

— Ты его хочешь нарисовать? — И так как художник промолчал, она добавила: — Пожалуйста, не рисуй его, он такой некрасивый! — Остальные одобрительно зашумели, выкрикивая какие-то непонятные слова.

Художник подскочил к двери, приоткрыл ее — стали видны умоляюще протянутые руки девочек — и сказал:

— Если вы не замолчите, я вас всех с лестницы спущу! Сядьте на ступеньки и ведите себя смирно.

Видно, они не сразу послушались, и ему пришлось скомандовать:

— Ну, марш на ступеньки! — И только тогда стало тихо.

— Простите, — сказал художник, возвращаясь к К. Но К. даже не повернулся к двери, он полностью предоставил художнику защищать его, как и когда тот захочет.

Он и теперь не пошевелился, когда художник, нагнувшись к нему, прошептал ему на ухо так, чтобы на лестнице не было слышно:

— Эти девчонки тоже имеют отношение к суду.

— Как? — спросил К., отшатнувшись и глядя на художника.

Но тот уже сел на свое место и то ли в шутку, то ли серьезно сказал:

— Да ведь все на свете имеет отношение к суду.

— Этого я пока не замечал, — коротко бросил К., но после такой общей фразы его уже больше не тревожили слова художника про девочек.

И все же К. поглядывал на дверь, за которой притаились на ступеньках девочки. Одна из них, просунув соломинку в щель между досками, медленно водила ею вниз и вверх.

— Очевидно, вы никакого представления о суде не имеете, — сказал художник; он широко расставил ноги и постукивал по полу пальцами. — Но так как вы невиновны, вам это и не потребуется. Я и один могу вас вызволить.

— Каким же образом? — спросил К. — Только что вы сами сказали, что никакие доказательства на суд совершенно не действуют.



— Не действуют только те доказательства, которые излагаются непосредственно перед самим судом, — сказал художник и поднял указательный палец, словно К. упустил очень тонкий оттенок. — Однако все оборачивается совершенно иначе, когда пробуешь действовать за пределами официального суда, скажем, в совещательных комнатах, в коридорах или, к примеру, даже тут, в ателье.

Теперь слова художника показались К. гораздо более убедительными, они в основном вполне совпадали с тем, что К. слышал и от других людей. Более того, в них таилась явная надежда. Если судей так легко было склонить на свою сторону через личные отношения, как утверждал адвокат, то связи художника с тщеславными судьями были особенно важны; во всяком случае, недооценивать эти связи было бы глупо. Тем самым художник тоже включался в компанию помощников, которых К. постепенно собирал вокруг себя. В банке не раз хвалили его организаторские таланты, и сейчас, когда он был всецело предоставлен самому себе, у него была полная возможность использовать этот свой талант как можно шире.

Художник увидел, какое впечатление его слова произвели на К., и сказал с некоторой тревогой:

— А вам не кажется, что я говорю почти как юрист? Видно, на меня влияет непрестанное общение с господами судейскими! Конечно, и это имеет свои выгоды, но как-то пропадает артистический размах мысли.

— А как вы впервые столкнулись с этими судьями? — спросил К. Ему хотелось войти в доверие к художнику, прежде чем прямо воспользоваться его услугами.

— Очень просто, — сказал художник. Эти связи я унаследовал. Мой отец тоже был судебным художником. А это место передается по наследству. Новых людей на него брать нельзя. Дело в том, что для изображения разных чиновников установлено множество разнообразных, сложных и прежде всего тайных правил, недоступных никому, кроме определенных семейств. Например, вон в том ящике стола лежат записки моего отца, я их никому не показывал. Только тот, кто их знает, способен писать портреты судей. Впрочем, даже если бы я потерял эти записки, у меня в голове останется множество правил, я один их знаю, заучил их наизусть, так что никто не посмеет оспаривать мое место. Ведь каждому судье хочется, чтобы его писали так, как писали когда-то прежних великих судей, а это умею лишь я один.

— Вам можно только позавидовать, — сказал К, подумав о своем месте в банке. — Значит, ваше положение непоколебимо?

— Вот именно непоколебимо, — сказал художник и гордо развернул плечи. — Потому-то я и могу изредка помочь несчастному, против которого ведется процесс.

— Каким образом? — спросил К., словно не его художник только что назвал «несчастливым».

Но художник, не обращая внимания, продолжал:

— Взять, к примеру, ваш случай: так как вы совершенно невиновны, я предприму следующее.

К. уже раздражало постоянное упоминание о его полной невиновности. Выходило так, будто, напоминая об этом, художник ставит благополучный исход процесса непременно условием своей помощи, которая тем самым превращается в ничто. Но, несмотря на все сомнения, К. сдержался и не стал прерывать художника. Отказываться от его помощи он не желал, это он решил твердо, причем в этой помощи он сомневался меньше, чем в помощи адвоката. К. даже предпочитал помощь художника, из-за того что тот предлагал ее более бескорыстно, более искренне.

Художник пододвинул стул поближе к кровати и, понизив голос, продолжал:

— Совсем забыл спросить вас вот о чем: как вы предпочитаете освободиться от суда? Есть три возможности: полное оправдание, оправдание мнимое и волокита. Лучше всего, конечно, полное оправдание, но на такое решение я никоим образом повлиять не могу. По-моему, вообще нет такого человека на свете, который мог бы своим влиянием добиться полного оправдания. Тут, вероятно, решает только абсолютная невиновность обвиняемого. Так как вы невиновны, то вы, вполне возможно, могли бы все надежды возложить на свою невиновность. Но тогда вам не нужна ни моя помощь, ни чья-нибудь еще.

Эта точная классификация сначала смутила К., но потом он сказал, тоже понизив голос, как и художник:

— Мне кажется, вы сами себе противоречите.

— В чем же? — снисходительно спросил художник и с улыбкой откинулся на спинку стула.

От этой улыбки у К. появилось такое ощущение, что сейчас он сам начнет искать противоречия не в словах художника, а во всем судопроизводстве. Однако он не остановился и продолжал:

— Вы только что заметили, что никакие доказательства на суд не действуют, потом вы сказали, что это касается только открытого суда, а теперь вы заявляете, что за невиновного человека вообще перед судом заступаться не нужно. Тут уже кроется противоречие. Кроме того, раньше вы говорили, что можно воздействовать лично на судей, а теперь вы отрицаете, что для полного оправдания, как вы это назвали, какое-либо личное влияние на судью вообще возможно. Это уже второе противоречие.

— Все эти противоречия очень легко разъяснить, — сказал художник. — Речь идет о двух совершенно разных вещах: о том, что сказано в законе, и о том, что я лично узнал по опыту, и путать это вам не следует. В законе, которого я, правда, не читал, с одной стороны, сказано, что невиновного оправдывают, а с другой стороны, там ничего не сказано про то, что на судей можно влиять. Но я по опыту знаю, что все делается наоборот. Ни об одном полном оправдании я еще не слышал, однако много раз слышал о влиянии на судей. Возможно, разумеется, что во всех известных мне случаях ни о какой невиновности не могло быть и речи. Но разве это правдоподобно? Сколько случаев — и ни одного невиновного? Уже ребенком я прислушивался к рассказам отца, когда он дома говорил о процессах, да и судьи, бывавшие у него в ателье, рассказывали о суде; в нашем кругу вообще ни о чем другом не говорят. А как только мне представилась возможность посещать суд, я всегда пользовался ею, слушал бесчисленные процессы на самых важных этапах и следил за ними, поскольку это было возможно; и должен сказать вам прямо — ни одного полного оправдания я ни разу не слышал.

— Значит, ни одного оправдания, — повторил К., словно обращаясь к себе и к своим надеждам. — Но это только подтверждает мнение, которое я составил себе об этом суде. Значит, и с этой стороны суд бесполезен. Один палач вполне мог бы его заменить.

— Нельзя же так обобщать, — недовольным голосом сказал художник. — Ведь я говорил только о своем личном опыте.

— Этого достаточно, — сказал К. — Разве вы слышали, что в прежнее время кого-то оправдывали?

— Говорят, что такие случаи оправдания бывали, — сказал художник. — Но установить это сейчас очень трудно. Ведь окончательные решения суда не публикуются, даже судьям доступ к ним закрыт, поэтому о старых судебных процессах сохранились только легенды.

Правда, в большинстве из них говорится о полных оправданиях, в них можно верить, но доказать ничего нельзя. Однако и пренебрегать ими не следует, какая-то крупица истины в них, безусловно, есть, и, потом, они так прекрасны! Я сам написал несколько картин на основании этих легенд.

— Легендами мое мнение не изменишь, — сказал К., — да и перед судом ни на какие легенды, вероятно, сослаться нельзя.

Художник рассмеялся.

— Ну конечно, нельзя, — сказал он.

— Значит, и говорить об этом бесполезно, — сказал К., решив покамест выслушать все соображения художника, хотя они казались ему малоубедительными и противоречили другим сведениям. Да ему было и некогда проверять правдивость всех рассказов художника и тем более возражать ему; будет уже величайшим достижением, если он заставит художника помочь ему хоть в чем-то, пусть и не в самом важном. Поэтому он только сказал: — Давайте оставим разговор о полном оправдании. Вы как будто упомянули еще о двух других возможностях.

— Да, о мнимом оправдании и о волоките. Только о них и может идти речь, — сказал художник. — Но прежде чем об этом говорить, вы, может быть, снимете пиджак? Вам, наверно, жарко?

— Да, — сказал К. До этой минуты он ни о чем другом, кроме объяснений художника, не думал, но при одном упоминании о жаре у него на лбу выступили крупные капли пота. — Жара тут невыносимая.

Художник кивнул, словно сочувствуя неприятным ощущениям К.

— Нельзя ли открыть окно? — спросил К.

— Нельзя, — сказал художник, — стекло вставлено намертво, оно не открывается.

Только тут К. понял, как он все время надеялся, что один из них — художник или он сам — вдруг подойдет к окну и распахнет его настежь. Он был даже готов вдыхать туман всей грудью. У него кружилась голова от ощущения полного отсутствия воздуха. Он шлепнул рукой по перине, лежавшей рядом, и слабым голосом сказал:

— Но ведь это неудобно и вредно.

— О нет! — сказал художник, словно защищая такое устройство окна. — Благодаря тому, что оно не открывается, это простое стекло лучше держит тепло, чем двойные рамы. А если мне захочется прове-

трить — правда, это не очень нужно, тут через все щели идет воздух, — то можно открыть дверь или даже обе двери.

Это объяснение немного успокоило К., и он оглянулся, ища вторую дверь.

Заметив это, художник сказал:

— Она за вами, пришлось ее заставить кроватью.

Только тут К. увидел в стене за кроватью маленькую дверцу.

— Да, помещение для ателье маловато, — заметил художник, словно опережая упрек К. — Пришлось как-то устроиваться. Конечно, кровать стоит очень неудобно, у самой двери. Вот, например, тот судья, которого я сейчас пишу, всегда приходит через эту дверь у кровати, я ему и ключ от нее выдал, чтобы в мое отсутствие он мог подождать меня тут, в ателье. Но обычно он является ранним утром, когда я еще сплю. Ну и, конечно, как бы крепко я ни спал, он меня будит, открывая дверь около самой кровати. У вас пропало бы всякое уважение к судьям, если бы вы слышали, какими ругательствами я его осыпаю, когда он рано утром перелезает через мою кровать. Конечно, я мог бы отнять у него ключ, но тогда будет еще хуже. Тут любую дверь можно сорвать с петель без малейшего усилия.

Пока он это говорил, К. обдумывал, не снять ли ему и вправду пиджак, и в конце концов решил, что, если он этого не сделает, он никак не сможет высидеть тут ни минутой дольше. Поэтому он снял пиджак и положил его к себе на колени, чтобы сразу его надеть, как только кончатся переговоры. Но не успел он снять пиджак, как одна из девочек закричала:

— Он уже пиджак снял!

Слышно было, как они, толкаясь, приникли ко всем щелям, чтобы поглазеть на это зрелище.

— Девочки решили, что я вас сейчас буду писать, — сказал художник, — для того вы и раздеваетесь.

— Вот как, — сказал К. Его это ничуть не забавляло, потому что он чувствовал себя ничуть не лучше, хоть уже и сидел в одной рубашке. Довольно ворчливо он спросил: — Кажется, вы говорили, что есть еще две возможности? — Он опять забыл, как они называются.

— Мнимое оправдание и волокита, — сказал художник. — От вас зависит, что выбрать. И того и другого можно добиться с моей помощью, хотя и не без усилий, разница только в том, что мнимое оправдание требует кратких, но очень напряженных усилий, а волокита —

гораздо менее напряженных, зато длительных. Сначала поговорим о мнимом оправдании. Если пожелаете его добиться, я напишу на листе бумаги поручительство в вашей невиновности. Текст такого поручительства передал мне мой отец, и ничего в нем менять не полагается. С этим документом я обойду всех знакомых мне судей. Начну, скажем, с того, что подам бумагу судье, которого я сейчас пишу: сегодня вечером он придет мне позировать. Я положу перед ним документ, объясню, что вы невиновны, и поручусь за вас. И это не какое-нибудь пустяковое, формальное поручительство, нет, это поручительство настоящее, ко всему обязывающее. — Художник взглянул на К., словно упрекая его за то, что приходится брать на себя такую ответственность.

— Это было бы очень любезно с вашей стороны, — сказал К. — Но, несмотря на то, что судья вам поверит, он все же не оправдает меня полностью?

— Да, как я вам уже говорил, — ответил художник. — А кроме того, я вовсе не уверен, что мне поверят все судьи; некоторые, например, потребуют, чтобы я вас привел к ним лично. Что ж, тогда вам придется со мной пойти. Разумеется, в таком случае можно считать, что дело почти наполовину выиграно, тем более что я, конечно, подробнейшим образом проинструктирую вас, как себя вести с данным судьей. Хуже будет с теми судьями, которые — так тоже случается — откажут мне заранее. Тогда придется — но, разумеется, лишь после того, как я испробую всяческие подходы, — от них отказаться, но мы можем пойти на это, потому что каждый судья в отдельности ничего не решает. А когда наконец я соберу под вашим документом достаточное количество подписей от судей, я отнесу его тому судье, который ведет ваш процесс. Возможно, что среди подписей будет и его подпись, тогда события развернутся еще быстрее, чем обычно. По существу, вообще никаких препятствий больше не будет, и в такой момент обвиняемый может чувствовать себя вполне уверенно. Удивительно, но факт: в такой момент люди бывают увереннее, чем после оправдательного приговора. Тут уже особенно стараться не приходится. У судьи есть поручительство в вашей невиновности за подписями множества судей, и он может без всяких колебаний оправдать вас, что он, после некоторых формальностей, несомненно, и сделает в виде одолжения и мне, и другим своим знакомым. А вы покинете суд и будете свободны.

— Значит, я буду свободен? — сказал К. с некоторым недоверием.

— Да, — сказал художник, — но, конечно, это только мнимая свобода, точнее говоря, свобода временная. Дело в том, что низшие судьи, к которым и принадлежат мои знакомые, не имеют права окончательно оправдывать человека, это право имеет только верховный суд, ни для вас, ни для меня и вообще ни для кого из нас совершенно не доступный. Как этот суд выглядит — мы не знаем, да, кстати сказать, и не хотим знать. Так что великое право окончательно освободить от обвинения нашим судьям не дано, однако им дано право отвода обвинения. Это значит, что если вас оправдали в этой инстанции, то на данный момент обвинение от вас отвели, но оно все же висит над вами, и, если только придет приказ, оно сразу опять будет пущено в ход. Так как я очень тесно связан с судом, то могу вам сказать, каким образом чисто внешне проявляется разница между истинным оправданием и мнимым. При истинном оправдании вся документация процесса полностью исчезает. Она совершенно изымается из дела, уничтожается не только обвинение, но и все протоколы процесса, даже оправдательный приговор, — все уничтожается. Другое дело при мнимом оправдании. Документация сама по себе не изменилась, она лишь обогатилась свидетельством о невиновности, временным оправданием и обоснованием этого оправдательного приговора. Но в общем процесс продолжается, и документы, как этого требует непрерывная канцелярская деятельность, пересылаются в высшие инстанции, потом возвращаются обратно в низшие и ходят туда и обратно, из инстанции в инстанцию, как маятник, то с большим, то с меньшим размахом, то с большими, то с меньшими остановками. Эти пути неисповедимы. Со стороны может показаться, что все давным-давно забыто, обвинительный акт утерян, и оправдание было полным и настоящим. Но ни один посвященный этому не поверит. Ни один документ не может пропасть, суд ничего не забывает. И вот однажды — когда никто этого не ждет — какой-нибудь судья внимательнее, чем обычно, просмотрит все документы, увидит, что по этому делу еще существует обвинение, и даст распоряжение о немедленном аресте. Все это я рассказываю, предполагая, что между мнимым оправданием и новым арестом пройдет довольно много времени; это возможно, и я знаю множество таких случаев, но вполне возможно, что оправданный вернется из суда к себе домой, а там его уже ждет приказ об аресте. Тут уж свободной жизни конец.

— И что же, процесс начинается снова? — спросил К. с недоверием.

— А как же, — сказал художник. — Конечно, процесс начинается снова. Но и тут имеется возможность, как и раньше, добиться мнимого оправдания. Опять надо собрать все силы и ни в коем случае не сдаваться. — Последние слова художник явно сказал потому, что у него создалось впечатление, будто К. очень удручен этим разговором.

— Но разве во второй раз, — сказал К., словно хотел предвосхитить все разъяснения художника, — разве во второй раз не труднее добиться оправдания, чем в первый?

— В этом отношении, — сказал художник, — ничего определенного сказать нельзя. Вероятно, вам кажется, что второй арест настроит судей против обвиняемого? Но это не так. Ведь судьи уже предвидели этот арест при вынесении мнимого оправдательного приговора. Так что это обстоятельство вряд ли может на них повлиять. Но, конечно, есть бесчисленное количество других причин, которые могут изменить и настроение судей, и юридическую точку зрения на данное дело, поэтому второго оправдания приходится добиваться с учетом всех изменений, так что и тут надо приложить не меньше усилий, чем в первый раз.

— Но ведь и это оправдание не окончательное? — спросил К. и с сомнением покачал головой.

— Ну конечно, — сказал художник, — за вторым оправданием следует второй арест, за третьим оправданием — третий арест и так далее. Это включается в самое понятие мнимого оправдания. — К. промолчал. — Видно, мнимое оправдание вам не кажется особо выгодным, — сказал художник. — Может быть, волокита вам больше подойдет? Объяснить вам сущность волокиты?

К. только кивнул головой. Художник развалился на стуле, рубаха распахнулась у него на груди, он сунул руку в прореху и стал медленно поглаживать грудь и бока.

— Волокита, — сказал художник и на минуту устался перед собой, словно ища наиболее точного определения, — волокита состоит в том, что процесс надолго задерживается в самой начальной его стадии. Чтобы добиться этого, обвиняемый и его помощник — особенно его помощник — должны поддерживать непрерывную личную связь с судом. Повторяю, для этого не нужны такие усилия, как



для того, чтобы добиться мнимого оправдания, но зато тут необходима особая сосредоточенность. Нужно ни на минуту не упускать процесс из виду, надо не только регулярно, в определенное время ходить к соответствующему судье, но и навещать его при каждом удобном случае и стараться установить с ним самые добрые отношения. Если же вы лично не знаете судью, надо влиять на него через знакомых судей, но при этом ни в коем случае не оставлять попыток вступить в личные переговоры. Если тут ничего не упустить, то можно с известной уверенностью сказать, что дальше своей первичной стадии процесс не пойдет. Правда, он не будет прекращен, но обвиняемый так же защищен от приговора, как если бы он был свободным человеком. По сравнению с мнимым оправданием волокита имеет еще то преимущество, что впереди у обвиняемого все более определенно, он не ждет в постоянном страхе ареста и ему не нужно бояться, что именно в тот момент, когда обстоятельства никак этому не благоприятствуют, ему вдруг придется снова пережить все заботы и тревожения, связанные с мнимым оправданием. Правда, и волокита несет обвиняемому некоторые невыгоды, которые нельзя недооценивать. Я не о том говорю, что обвиняемый при этом несвободен, ведь и при мнимом оправдании он тоже не может считать себя свободным в полном смысле этого слова. Тут невыгода другая. Процесс не может стоять на месте без явных или, на худой конец, мнимых причин. Поэтому нужно, чтобы процесс все время в чем-то внешне проявлялся. Значит, время от времени надо давать какие-то распоряжения, обвиняемого надо хоть изредка допрашивать, следствие должно продолжаться и так далее. Ведь процесс все время должен кружиться по тому тесному кругу, которым его искусственно ограничили. Разумеется, это приносит обвиняемому некоторые неприятности, хотя вы никак не должны их преувеличивать. Все это чисто внешнее; например, допросы совсем коротенькие, а если идти на допрос нет ни времени, ни охоты, можно отпроситься, а с некоторыми судьями можно совместно составить расписание заранее, на много дней вперед, — словом, по существу речь идет только о том, что, будучи обвиняемым, надо время от времени являться к своему судье.

Художник еще договаривал последнюю фразу, а К. уже встал, перекинув пиджак через руку.

— Встает! — закричали за дверью.

— Вы уже хотите уйти? — спросил художник. — По-видимому, вас гонит здешний воздух. Мне это очень неприятно. Нужно было бы еще многое вам сказать. Пришлось изложить только вкратце. Но я надеюсь, что вы меня поняли.

— О да! — сказал К., хотя от напряжения, с которым он заставлял себя все выслушивать, у него болела голова.

Несмотря на это утверждение, художник еще раз сказал, как бы подводя итог, в напутствие и в утешение К.:

— Оба метода схожи в том, что препятствуют вынесению приговора обвиняемому.

— Но они препятствуют и полному освобождению, — тихо сказал К., словно стыдясь того, что он это понял.

— Вы схватили самую суть дела, — быстро сказал художник.

К. взялся было за свое пальто, хотя еще и пиджак надеть не решался. Охотнее всего он схватил бы все в охапку и выбежал на свежий воздух. Даже голоса девчонок не могли заставить его одеться, а они, не разглядев, уже кричали:

— Он одевается!

Художнику, очевидно, хотелось как-то объяснить состояние К., поэтому он сказал:

— Очевидно, вы еще не решили, какое из моих предложений принять. Одобряю. Я бы даже не советовал вам сразу принимать решение. Надо очень тонко разобраться и в преимуществах, и в недостатках. Надо все точно взвесить. Но, разумеется, терять время тоже нельзя.

— Я скоро вернусь, — сказал К. и вдруг решительно натянул пиджак, перекинул пальто через руку и поспешил к двери, за которой уже подняли крик девчонки. К. почудилось, что он видит их сквозь закрытую дверь.

— Вы должны сдержать слово, — сказал художник, не делая попытки его проводить, — не то я сам приду в банк справиться, что с вами.

— Откройте же дверь! — сказал К. и рванул ручку — как видно, девочки крепко вцепились в нее снаружи.

— Ведь они вас там изведут! — сказал художник. — Лучше воспользуйтесь этим выходом, — и он показал на дверцу за кроватью. К. сразу согласился и бросился к кровати.

Но, вместо того чтобы открыть эту дверь, художник полез под кровать и оттуда спросил:

— Погодите минутку, не взглянете ли вы на картину, которую я вам мог бы продать?

К. не хотел быть невежливым: все-таки художник принял в нем участие, обещал и дальше помогать ему, а кроме того, К. по забывчивости еще ничего не говорил о вознаграждении за эту помощь, поэтому он не мог отказать художнику и позволил ему достать картину, хотя сам весь дрожал от нетерпения — до того ему хотелось уйти из ателье. Художник вытащил из-под кровати грудку холстов без подрамников, настолько запыленных, что, когда художник попытался сдуть пыль с верхнего холста, она долго носилась, и у К. помутилось в глазах и запершило в горле.

— Степной пейзаж, — сказал художник и протянул К. холст. На нем были изображены два хилых деревца, стоящих поодаль друг от друга в темной траве. В глубине сиял многоцветный закат.

— Хорошо, — сказал К., — я ее покупаю. — К. нечаянно высказался так кратко и поэтому обрадовался, когда художник, ничуть не обидевшись, поднял с пола вторую картину.

— А эта картина — полная противоположность той, — сказал художник.

Может быть, он и хотел написать что-то другое, но ни малейшей разницы между картинами не было заметно: те же деревья, та же трава, в глубине — тот же закат. Но К. это было безразлично.

— Прекрасные пейзажи, — сказал он. — Я покупаю оба и повешу их у себя в кабинете.

— Видно, вам нравится тема, — сказал художник, доставая третий холст. — Как удачно, что у меня есть еще одна подобная картина.

Но и это был не просто похожий, а совершенно тот же самый степной пейзаж. Видно, художник ловко воспользовался случаем, чтобы сбыть свои старые картины.

— Я и эту возьму, — сказал К. — Сколько стоят все три картины?

— Договоримся в другой раз, — сказал художник. — Вы сейчас торопитесь, а связь мы с вами будем поддерживать. Знаете, меня очень радует, что вам нравятся эти картины, я вам отдам все холсты, которые лежат под кроватью. Тут одни степные пейзажи, я писал много степных пейзажей. Некоторые люди не понимают таких картин, оттого что они слишком мрачные, зато другие, в том числе и вы, любят именно мрачное.

Но К. вовсе не был расположен разбираться в творческих переживаниях этого нищего художника.

— Упакуйте все картины! — крикнул он, перебивая художника. — Завтра придет мой курьер и заберет их.

— Не надо, — сказал художник. — Надеюсь, мне сейчас же удастся найти вам носильщика, он вас проводит. — И, перегнувшись через постель, отпер наконец дверцу. — Не стесняйтесь, шагайте прямо по кровати, так все сюда входят, — сказал он.

Но К. и без его разрешения не постеснялся, он уже занес ногу на перину, но, заглянув в открытую дверь, отшатнулся.

— Что это там? — спросил он художника.

— Чего вы удивляетесь? — спросил тот так же удивленно. — Да, это судебные канцелярии. Разве вы не знали, что тут судебные канцелярии? Почему бы им не быть именно здесь? Да и мое ателье, в сущности, тоже относится к судебным канцеляриям, но суд предоставил мне его в личное пользование.

К. не только испугался, что и здесь очутился около канцелярии; его напугало главным образом собственное невежество в судебных делах: ему казалось, что самое основное правило поведения для обвиняемого — быть всегда наготове, ни разу не дать захватить себя врасплох, не смотреть бессознательно направо, если слева от него стоит судья, и вот именно против этого правила он все время грешит. Перед ним тянулся длиннейший коридор, и оттуда шел такой воздух, по сравнению с которым воздух в ателье казался просто освежающим. По обе стороны этого прохода стояли скамьи, совсем как в той канцелярской приемной, куда обращался К. Очевидно, все канцелярии были устроены по одному образцу. В данный момент в этой канцелярии посетителей было немного. Какой-то мужчина развалился на скамье, закрыв голову руками, и, кажется, спал; другой стоял в самом конце полутемного коридора. К. перелез через кровать, художник с картинами вышел за ним следом.

Вскоре они встретили служителя суда — теперь К. легко отличал этих служителей по золотой пуговице, которая красовалась на их гражданских пиджаках среди обыкновенных пуговиц, — и художник велел ему проводить К. и отнести картины. К. шел, пошатываясь, крепко прижав носовой платок ко рту. Они уже почти подошли к выходу, как вдруг им навстречу кинулась ватага девчонок. К. и тут не мог от них избавиться. Должно быть, они увидели, как

открылась вторая дверь из ателье, бросились кругом и забежали с этой стороны.

— Дальше я вас провожать не стану! — со смехом заявил художник, окруженный девчонками. — До свиданья! И не раздумывайте слишком долго!

К. даже не обернулся ему вслед. На улице он схватил первый попавшийся экипаж. Ему непременно надо было избавиться от служителя суда, чья золотая пуговица непрестанно мозолила ему глаза, хотя другие люди ее, наверно, не замечали. В порыве услужливости служитель хотел было взобраться на козлы, но К. прогнал его. К. подъехал к банку далеко за полдень. Ему очень хотелось оставить картины в экипаже, но он побоялся, как бы художник потом не поинтересовался, где они. Поэтому он велел отнести их к себе в кабинет и запер на ключ в самом нижнем ящике стола, чтобы они хотя бы в ближайшее время не попались на глаза заместителю директора.

### *Глава восьмая*

#### Коммерсант Блок. Отказ адвокату

**П**одошел день, когда К. наконец решил отказать адвокату в представительстве по его делу. Правда, он никак не мог преодолеть сомнения, правильно ли он поступает, но все пересилила мысль, что это необходимо. Решение пойти к адвокату, принятое в тот день, отняло у него много сил, работал он вяло, медленно, ему пришлось долго задержаться на службе, и уже пробило десять, когда он наконец подошел к двери адвоката. Прежде чем позвонить, К. подумал, не лучше ли было бы отказать адвокату по телефону или письмом, потому что личный разговор, наверно, будет очень неприятным. И однако К. хотел сделать это лично: на всякий другой отказ адвокат мог не ответить или отделаться пустыми словами, и К. никогда не узнал бы, если только не выпытал бы у Лени, как адвокат принял этот отказ и какие последствия этот отказ будет иметь для самого К., по мнению адвоката, а с его мнением нельзя не считаться. Если же адвокат будет сидеть перед К. и отказ явится для него неожиданностью, то, даже не добившись от него ни слова, можно будет легко угадать все, что интересует К. по выражению лица и по поведению адвоката. Не исклю-

чено даже, что К. при этом убедится, как все-таки хорошо было бы поручить ему защиту, а тогда отказ можно и отменить.

Первые попытки дозвониться у двери адвоката были, как всегда, безрезультатными. Лени могла бы и поторопиться, подумал К. Слава богу, что хоть никто из соседей не вмешивался, как это обычно бывало: то выскакивал мужчина в халате, то еще кто-нибудь, и начиналась перебранка. Нажимая кнопку звонка во второй раз, К. оглянулся на дверь соседей, но на этот раз она тоже не открывалась. Наконец в глазке адвокатской двери показались два глаза, но это не были глаза Лени. Кто-то отпер замок, но придержал дверь изнутри и крикнул вглубь квартиры: «Это он!» — и только тогда дверь отворилась.

К. протиснулся в дверь — он услышал, как за его спиной уже торопливо поворачивали ключ в соседней квартире. И когда его пропустили в прихожую, он буквально ринулся туда, но только успел увидеть, как по коридору пробежала в одной рубашке Лени, услышав предупредительный возглас того, кто отпер дверь. К. посмотрел ей вслед, потом обернулся к стоящему у порога. Это был маленький тщедушный человечек с бородкой, державший в руке свечу.

— Вы тут служите? — спросил К.

— Нет, — ответил тот, — я посторонний, я пришел к адвокату по делу, за советом.

— Без пиджака? — спросил К. и движением руки показал на скудный туалет посетителя.

— Ах, простите! — сказал тот и осветил сам себя свечкой, словно впервые заметил, в каком он виде.

— Лени — ваша любовница? — коротко спросил К. Он стоял, слегка расставив ноги и заложив за спину руки, державшие шляпу. Уже то, что на нем было добротное пальто, заставляло его чувствовать свое превосходство над этим заморышем.

— О господи! — сказал тот и в испуге, словно защищаясь, закрыл лицо рукой. — Нет, нет, как вы могли подумать!

— Вы мне внушаете доверие, — с улыбкой бросил К., — но все же... Впрочем, пойдемте! — Он махнул шляпой и пропустил того вперед. — Как ваше имя? — спросил он.

— Блок, коммерсант Блок, — сказал тот, оборачиваясь, чтобы представиться, но К. не дал ему остановиться.

— Это ваша настоящая фамилия? — спросил он.

— Конечно! — сказал Блок. — Почему вы сомневаетесь?

— Подумал, что у вас могут быть причины скрывать свое имя, — сказал К.

Он чувствовал себя необыкновенно свободно — так бывает только на чужбине, когда, разговаривая с простым народом, сам умалчиваешь обо всем, что тебя касается, и равнодушно расспрашиваешь об их делах, причем как будто ставишь их на одну доску с собой, но обрываешь разговор, когда заблагорассудится.

У рабочего кабинета К. остановился, открыл дверь и крикнул коммерсанту, послушно идущему впереди:

— Не торопитесь! Посветите-ка сюда!

К. подумал, что, может быть, Лени спряталась в кабинете, он заставил коммерсанта осветить все углы, но в комнате было пусто. Перед портретом судьи К. придержал коммерсанта за подтяжки.

— Вы его знаете? — спросил он и ткнул указательным пальцем вверх.

Коммерсант поднял свечу, поморгал, посмотрел наверх и сказал:

— Это судья.

— Верховный судья? — спросил К. и стал рядом с коммерсантом, чтобы проверить, какое впечатление производит на него портрет.

Коммерсант с благоговением посмотрел наверх.

— Да, это верховный судья, — сказал он.

— Не очень-то вы проникательны, — сказал К. — Из всех ничтожных судейских чиновников он — самый мелкий.

— Теперь вспомнил, — сказал коммерсант и опустил свечу. — Ведь это я уже слышал.

— Ну конечно же! — воскликнул К. — Я совсем забыл, конечно же, вы должны были это слышать.

— Почему же? Почему? — спросил коммерсант, идя к двери, куда его подталкивал К.

Уже в коридоре К. спросил:

— Но вы, наверно, знаете, где прячется Лени?

— Прячется? — переспросил коммерсант. — Да нет же, она, наконец, на кухне, варит суп для адвоката.

— Почему же вы мне сразу не сказали? — спросил К.

— Я хотел вас туда привести, а вы меня отозвали назад, — сказал коммерсант, растерявшись от противоречивых распоряжений.

— Вы, как видно, считаете себя хитрецом! — сказал К. — Ну ведите же меня туда!

В кухне К. еще ни разу не был, она оказалась неожиданно большой и богато оснащенной. Даже плита была раза в три больше обычной. Остальную обстановку почти нельзя было рассмотреть, потому что на кухне горела только маленькая лампочка, висевшая над входом. У плиты стояла Лени в своем обычном белом фартуке и выпускала яйца в кастрюлю, стоявшую на спиртовке.

— Добрый вечер, Йозеф, — сказала она, взглянув на него исподлобья.

— Добрый вечер, — ответил К. и показал коммерсанту на стоявший поодаль стул; тот повиновался и сел.

Тогда К. подошел к Лени вплотную, наклонился через ее плечо и спросил:

— Кто это такой?

Лени обняла К. одной рукой — другой она мешала суп — и, прижав его к себе, сказала:

— Это несчастный человек, обедневший коммерсант, некто Блок. Ты посмотри на него.

Оба оглянулись. Коммерсант сидел на стуле, как ему велел К., он потушил ненужную свечу и пальцами приминал фитиль, чтобы не зачало.

— Ты была в одной рубашке, — сказал К. и, взяв в руки голову Лени, заставил ее отвернуться от Блока.

Лени промолчала.

— Он твой любовник? — спросил К. Она хотела помешать в кастрюльке, но К. схватил ее за обе руки и сказал: — Отвечай!

Она сказала:

— Пойдем в кабинет, я тебе все объясню.

— Нет! — сказал К. — Я хочу, чтобы ты мне здесь же все объяснила. — Она повисла у него на шее, пытаясь его поцеловать, но К. отстранился и сказал: — Не хочу, чтобы ты меня сейчас целовала.

— Йозеф! — сказала Лени и посмотрела в глаза К. умоляюще и вместе с тем открыто. — Неужели ты ревнуешь меня к господину Блоку? Руди, — обратилась она к коммерсанту, — помоги же мне, слышишь, в чем меня подозревают? И брось ты эту свечку!

Можно было подумать, что Блок не обращает на них внимания, но оказывается, он все отлично слышал.

— Не понимаю, с чего это вы вздумали ревновать! — сказал он несколько вызывающе.



— Я сам не понимаю! — сказал К. и с улыбкой взглянул на коммерсанта.

Лени громко рассмеялась и, пользуясь тем, что К. отвлекся, повисла у него на руке и зашептала:

— Оставь его, сам видишь, что это за человек. Я его немножко пожалела, потому что он очень важный клиент для адвоката, и только потому. А как ты? Хочешь сейчас же переговорить с адвокатом? Ему сегодня очень плохо, но, если угодно, я о тебе доложу. А на ночь ты останешься у меня, непременно останешься. Ты так давно у нас не был, даже адвокат про тебя спрашивал. Не запускай процесс. Мне тоже надо тебе многое сообщить, я кое о чем разузнала. Но прежде всего сними пальто.

Она помогла ему снять пальто, взяла его шляпу, побежала в прихожую повесить вещи, потом прибежала назад и посмотрела, не готовы ли суп.

— Доложить о тебе или сначала накормить его супом? — спросила она у К.

— Доложи сначала обо мне, — сказал К.

Он был раздражен, потому что собирался поговорить с Лени о своих делах, особенно о нерешенном вопросе — отказать адвокату или нет, но присутствие этого коммерсанта отбило у него всякую охоту. Однако дело казалось ему настолько важным, что нельзя было из-за этого заморыша все решительно менять, поэтому он окликнул Лени, выбежавшую было в коридор.

— Все-таки накорми его сначала супом, — сказал он, — пусть подкрепится перед разговором со мной, ему силы понадобятся.

— Значит, вы тоже клиент адвоката? — тихо сказал из угла коммерсанта. Но его слова вызвали общее неудовольствие.

— Какое вам дело? — спросил К., а Лени сказала:

— Ты бы помолчал, — и обратилась к К.: — Значит, сначала я ему дам супу, — и стала наливать суп в тарелку. — Боюсь, как бы он сразу не заснул, после еды он всегда засыпает.

— Ничего, от моих слов с него сон слетит, — сказал К.

Ему все хотелось намекнуть, что он собирается обсудить с адвокатом что-то очень важное, хотелось, чтобы Лени сначала заинтересовалась, о чем пойдет разговор, а уж тогда попросить у нее совета. Но она только в точности выполнила его пожелание. Проходя мимо него с тарелкой, она подчеркнуто ласково взглянула на него и сказала:

— Как только он поест, я сразу доложу о тебе, чтобы ты поскорее вернулся ко мне сюда.

— Ступай, ступай! — сказал К. — Ступай!

— Будь же поласковее! — сказала она и у самой двери, держа тарелку в руках, еще раз повернулась к нему всем телом.

К. посмотрел ей вслед. Теперь он твердо решил отказать адвокату; может быть, даже лучше, что он не успел перед этим поговорить с Лени, у нее никакого кругозора нет; наверно, она стала бы его отговаривать и, возможно, удержала бы на этот раз, и снова он мучился бы от неизвестности и сомнений, и все-таки через некоторое время выполнил бы свое намерение, потому что слишком упорно его вынашивал. А ведь чем раньше он решится, тем меньше вреда будет причинено. Впрочем, этот коммерсант тоже что-нибудь, наверно, может сказать.

К. обернулся, и как только коммерсант это заметил, он тут же хотел вскочить с места, но К. его удержал.

— Сидите, сидите, — сказал он и пододвинул к нему свой стул. — А вы давнишний клиент адвоката? — спросил он его.

— Да, — сказал коммерсант, — очень давнишний.

— Сколько же лет он представляет ваши интересы? — спросил К.

— Не знаю, в каком смысле вы об этом спрашиваете, — сказал коммерсант. — В моих торговых операциях — я торгую зерном — он представляет мои интересы с тех самых пор, как я принял дело, значит, уже лет двадцать, а в моем личном процессе, на который вы, вероятно, намекаете, он тоже представляет мои интересы с самого начала, то есть уже больше пяти лет. Да, гораздо больше пяти лет, — добавил он и вытащил старый бумажник. — Тут у меня все записано; если хотите, я вам назову точные даты. А запомнить наизусть трудно. Пожалуй, мой процесс длится много дольше, он начался вскоре после смерти жены, а тому уже больше пяти с половиной лет.

К. подвинулся к нему поближе.

— Значит, адвокат берется и за обычные гражданские дела? — спросил он. Такая связь суда с правовыми нормами удивительно успокоила К.

— Ну конечно, — сказал коммерсант и шепотом добавил: — Говорят даже, что в гражданских делах он больше смыслит, чем в тех, других.

Но, как видно, Блок тут же раскаялся в своих словах; положив руку на плечо К., он попросил:

— Прошу вас, не выдавайте меня!

К. успокаивающе похлопал его по коленке и сказал:

— Что вы, разве я предатель?

— Он очень мстительный, — сказал коммерсант.

— Ну, такому верному клиенту он никогда ничего не сделает, — сказал К.

— Еще как сделает! — сказал коммерсант. — Когда он рассердится, он никакой разницы не видит, а кроме того, не настолько уж я ему верен.

— То есть как это? — спросил К.

— Не знаю, можно ли вам все доверить, — с сомнением в голосе сказал коммерсант.

— По-моему, можно, — сказал К.

— Ну что же, — сказал коммерсант, — я вам кое-что доверю. Но тогда и вы должны мне открыть какую-нибудь тайну, чтобы мы вместе держались против адвоката.

— Очень уж вы осторожны, — сказал К. — Хорошо, я вам сообщу тайну, которая вас успокоит окончательно. В чем же вы неверны адвокату?

— У меня, — робко начал коммерсант таким тоном, словно сознавался в какой-то низости, — у меня, кроме него, есть и еще адвокаты.

— Ну это не такой уж проступок, — немного разочарованно сказал К.

— Здесь это считается проступком, — сказал коммерсант. Он еще никак не мог отдышаться после своего признания, хотя слова К. немного подбодрили его. — Это не разрешается. И уж ни в коем случае не разрешено наряду с постоянным адвокатом приглашать еще подпольных адвокатов. А я именно так и сделал, у меня, кроме него, еще пять подпольных адвокатов.

— Пять! — крикнул К. Его поразило именно количество. — Целых пять адвокатов кроме этого!

Коммерсант кивнул.

— И еще веду переговоры с шестым.

— Но зачем вам столько адвокатов? — спросил К.

— Мне они все нужны, — сказал коммерсант.

— А вы можете объяснить зачем? — спросил К.

— Охотно, — сказал коммерсант. — Ну прежде всего я не хочу проиграть свой процесс, это само собой понятно. Поэтому я не должен упускать ничего, что может пойти мне на пользу, и, если даже, в некоторых случаях, надежда получить от них пользу очень невелика, все равно я и такую надежду упускать не должен. Потому-то я и растратил на процесс все, что у меня было. Например, я вынул весь капитал из моего предприятия: раньше контора моей фирмы занимала почти целый этаж, а теперь осталась только каморка во флигеле, где я работаю с одним только рассыльным. Мои дела приняли такой оборот не только потому, что я истратил все деньги, но я и все силы истратил. Когда хочешь вести процесс, ни на что другое времени не остается.

— Значит, вы сами действуете и в суде? — спросил К. — Об этом я особенно хотел бы узнать подробнее.

— Тут я вам почти ничего сообщить не могу, — сказал коммерсант. — Сначала я было попробовал сам этим заняться, но потом бросил. Слишком утомительно, а результатов почти никаких. Действовать там самому, самому вести переговоры — нет, мне это оказалось совершенно не под силу. Даже просто сидеть и ждать — страшное напряжение. Сами знаете, какой в этих канцеляриях тяжелый воздух.

— Откуда вам известно, что я там был? — спросил К.

— Да я сидел в приемной, когда вы проходили.

— Какое совпадение! — воскликнул К. Его настолько это поразило, что он совсем забыл, каким нелепым ему показался коммерсант сначала. — Значит, вы меня видели! Вы были в приемной, когда я проходил! Да, один раз я там проходил.

— Не такое уж это совпадение, — сказал коммерсант, — я туда хожу почти каждый день.

— Наверно, и мне придется бывать почаще, — сказал К. — Только вряд ли меня примут с таким почетом, как в тот раз. Все передо мной встали — наверно, решили, что я судья.

— Нет, — сказал коммерсант, — мы приветствовали служителя суда. Мы уже знали, что вы обвиняемый. Такие сведения распространяются моментально.

— Значит, вы все знали, — сказал К. — Но тогда вам, может быть, показалось, что я вел себя слишком высокомерно? Был об этом разговор?

— Нет, — сказал коммерсант, — напротив. Впрочем, все это глупости.

— Как это глупости? — переспросил К.

— Ну зачем вы меня спрашиваете? — раздраженно сказал коммерсант. — Людей этих вы, по-видимому, не знаете и можете все неправильно истолковать. Примите только во внимание, что при данных обстоятельствах в разговорах всплывают такие вещи, которых разумом никак не понять. Человек устает, голова забита другими мыслями, вот и начинаются всякие суеверия. Я говорю о других, но и сам я ничуть не лучше. Например, есть такое суеверие, будто по лицу обвиняемого, особенно по рисунку его губ, видно, чем кончится его процесс. И эти люди утверждали, что, судя по вашим губам, вам вскоре вынесут приговор. Повторяю, это смешное суеверие, и по большей части факты говорят против него, но, когда вращаешься среди таких людей, трудно противостоять предрассудкам. И подумайте, до чего сильно это суеверие! Помните, как вы заговорили с одним из них? Он вам даже ответить не мог. Конечно, там все может сбить человека с толку, но его особенно поразили ваши губы. Потом он рассказывал, что по вашим губам он прочел не только ваш, но и свой приговор.

— По моим губам? — спросил К., вынул карманное зеркальце и посмотрелся в него. — Ничего особенного в своих губах я не вижу. А вы?

— И я тоже, — сказал коммерсант, — абсолютно ничего!

— До чего же эти люди суеверны! — воскликнул К.

— А что я вам говорю? — сказал коммерсант.

— Неужели они так часто встречаются и делятся всеми своими мыслями? — спросил К. — А я до сих пор держался совсем особняком.

— Не так уж они часто встречаются, — сказал коммерсант, — да это и невозможно, слишком их много. Да и общих интересов у них мало. Иногда какая-нибудь группа начинает верить, что у них общие интересы, но вскоре оказывается, что это ошибка. В этом суде коллективно ничего не добьешься. Каждый случай изучается отдельно, этот суд работает весьма тщательно. Скопом тут ничего не добиться. Лишь единицы втайне иногда чего-то могут достигнуть; только потом об этом узнают остальные, но, как оно случилось, никому не известно. Словом, ничего общего у этих людей нет. Правда, иногда они

встречаются в приемных, но там особенно не поговоришь. А все эти суеверия завелись исстари, и множатся они сами по себе.

— Видел я этих людей в приемной, — сказал К., — и мне их ожидание показалось совсем бесполезным.

— Нет, ожидание небесполезно, — сказал коммерсант, — бесполезны только попытки самому вмешаться. Я вам уже говорил, что кроме этого адвоката, у меня их еще пять. Кажется — и мне самому вначале так казалось, — что можно было бы всецело передать дело и в их руки. Но это было бы совершенно неправильно. Сейчас мне еще труднее передать им все, чем если бы у меня был один адвокат. Вам это, конечно, непонятно?

— Непонятно, — сказал К., и, словно пытаясь успокоить коммерсанта, остановить его слишком быструю речь, он накрыл его руку своей рукой. — Я только хочу вас попросить: говорите немного медленнее, ведь это все для меня страшно важно, а так я не успеваю за вами следить.

— Хорошо, что вы мне напомнили, — сказал коммерсант, — ведь вы новичок, младенец. Вашему процессу всего-то полгода. Слышал, слышал. Такой молодой процесс! А я уже передумал обо всем тысячи раз, для меня нет на свете ничего понятнее.

— И наверно, вы рады, что ваш процесс уже так далеко зашел? — спросил К. Ему не хотелось прямо задать вопрос, как обстоят дела у коммерсанта. Но и прямого ответа он не получил.

— Да вот уже пять лет, как я тяну свой процесс, — сказал коммерсант и опустил голову. — Это немалое достижение.

И он замолчал. К. прислушался, не идет ли Лени. С одной стороны, ему не хотелось, чтобы она пришла, потому что ему еще надо было о многом расспросить коммерсанта, не хотелось ему, чтобы Лени застала их за дружеским разговором, а с другой стороны, он злился, что, несмотря на его присутствие, Лени так долго торчит у адвоката, куда дольше, чем нужно, чтобы накормить его супом.

— Я хорошо помню то время, — снова заговорил коммерсант, и К. весь обратился в слух, — когда мой процесс был примерно в таком же возрасте, как сейчас ваш. Тогда меня обслуживал только этот адвокат, но я им был не очень доволен.

«Вот сейчас я все узнаю», — подумал К. и оживленно закивал головой, словно вызывая этим коммерсанта на полную откровенность в самом важном вопросе.

— Мой процесс, — продолжал коммерсант, — не двигался с места. Правда, велось следствие, я бывал на всех допросах, собирал материал, представил в суд все свои конторские книги, что, как я потом узнал, было совершенно излишне, все время бегал к адвокату, он тоже подавал многочисленные ходатайства...

— Как? Многочисленные ходатайства? — переспросил К.

— Ну конечно, — сказал коммерсант.

— Для меня это чрезвычайно важно, — сказал К. — Ведь по моему делу он все еще составляет первое ходатайство. Он ничего не сделал. Теперь я вижу, как безобразно он запустил мои дела.

— То, что бумага еще не готова, может быть вызвано всякими уважительными причинами, — сказал коммерсант. — Да и, кроме того, впоследствии выяснилось, что для меня эти ходатайства были совершенно бесполезны. Одно я даже прочел — мне его любезно предоставил один из служащих в суде. Правда, составлено оно было по-ученому, но, в сущности, без всякого смысла. Прежде всего — уйма латыни, в которой я не разбираюсь, потом — целые страницы общих фраз по адресу суда, потом — лестные слова об отдельных чиновниках — он их, правда, не называл по имени, но каждый посвященный легко догадывался, о ком шла речь, — затем самовосхваление, причем тут адвокат подлизывался к суду хуже собаки, и, наконец, исследования всяких судебных процессов прошлых лет, якобы схожих с моим делом. Слов нет, эти исследования, насколько я мог понять, были проведены очень тщательно. Но я ни в коем случае не хочу в чем бы то ни было осуждать адвоката за его работу. К тому же та бумага, которую я прочитал, только одна из многих, во всяком случае — и это я должен оговорить сейчас же, — никакого продвижения в моем процессе я тогда не видел.

— А как вы представляете себе это продвижение? — спросил К.

— Ваш вопрос вполне разумен, — с улыбкой сказал коммерсант. Эти дела очень редко двигаются с места. Но тогда я этого еще не знал. Ведь я коммерсант — прежде я еще больше занимался коммерцией, чем сейчас, — и мне хотелось видеть осязаемые результаты, дело должно было двигаться к концу или, по крайней мере, достигнуть какого-то развития. А вместо этого шли бесконечные допросы, почти всегда одного и того же содержания; ответы на них я выучил наизусть, как молитву; но несколько раз в неделю ко мне являлись посылные из суда и в контору, и домой — всюду, где могли меня за-

стать; конечно, это очень мне мешало (теперь, по крайней мере, в этом отношении стало лучше, телефонные вызовы мешают гораздо меньше), а то среди моих деловых знакомых и особенно среди моих родственников начали распространяться слухи о моем процессе, так что вреда это мне принесло достаточно, а вместе с тем не было видно ни малейшего признака того, что в ближайшее время будет назначено хотя бы первое слушание дела. Тогда я обратился к адвокату с жалобой. Он дал мне пространные объяснения, однако решительно отказался сделать какие-то шаги в том направлении, как я предполагал: ускорить слушание дела все равно никто не может, а настаивать на этом в заявлении, как того требовал я, было бы просто неслыханно и могло погубить и его, и меня. Я и подумал: то, чего не может или не хочет этот адвокат, захочет и сможет другой. И я стал искать других адвокатов. Сразу забегу вперед: никто никогда не требовал назначения дела к слушанию, никто этого не мог добиться, да и вообще с одной оговоркой, о чем я скажу позже, это действительно никак невозможно, значит, в этом отношении адвокат меня не обманул, но в остальном мне не пришлось жалеть, что я обратился к другим адвокатам. Вероятно, вы уже слышали от доктора Гульда о подпольных адвокатах. Должно быть, он говорил о них с большим презрением, да они этого и заслуживают. Однако когда он о них говорит и сравнивает с собой и своими коллегами, то совершает небольшую ошибку, и я вам попутно разъясню, какую именно. Обычно, говоря об адвокатах своего круга, он, в отличие от подпольных, называет их крупными адвокатами. Это неверно: конечно, каждый может называть себя крупным, если ему заблагорассудится, но в данном случае судебная терминология установлена твердо. Если руководствоваться ею, то, кроме подпольных адвокатов, существуют еще адвокаты крупные и мелкие. Так вот этот адвокат и его коллеги принадлежат к мелким адвокатам, а крупные адвокаты — о них я только слышал, но никогда их не видел, — те стоят по рангу неизмеримо выше мелких адвокатов, куда выше, чем «мелкие» стоят над презренными подпольными.

— Что же это за крупные адвокаты? — спросил К. — Кто они такие? Как к ним попасть?

— Значит, вы о них нигде никогда не слышали, — сказал коммерсант, — а ведь нет ни одного обвиняемого, который, узнав о них, не мечтал бы попасть к ним. Лучше не поддавайтесь этому соблазну. Кто



эти крупные адвокаты, я понятия не имею, и попасть к ним, по-видимому, невозможно. Не знаю ни одного случая, когда с уверенностью можно было бы говорить об их вмешательстве. Кого-то они защищают, но по своему желанию этого нельзя добиться: защищают они только тех, кого им угодно защищать. Должно быть, то дело, за которое они берутся, уже выходит за пределы низших судебных инстанций. Вообще же лучше о них и не думать, потому что иначе все переговоры с другими адвокатами, все их советы и вся их помощь покажутся жалкими, никчемными; я сам это испытал: хочется просто бросить все, лечь дома в постель и ни о чем не слышать. Но, конечно, глупее этого ничего быть не может, да и в постели тебе все равно не будет покоя.

— Значит, вы и прежде о крупных адвокатах не думали? — спросил К.

— Думал, но недолго, — сказал коммерсант и опять усмехнулся. — Совершенно забыть о них невозможно, особенно ночью приходят всякие мысли. Но когда-то мне больше всего хотелось добиться ощутимых результатов, потому я и обратился к подпольным адвокатам.

— Как вы тут хорошо сидите вдвоем! — сказала Лени, она вернулась с тарелкой и остановилась в дверях.

И действительно, они сидели, почти прижавшись друг к другу; при малейшем повороте их головы могли столкнуться, а так как коммерсант при своем малом росте еще весь сгорбился, К. был вынужден наклоняться к нему совсем близко, чтобы слышать все как следует.

— Погоди минутку! — остановил девушку К., и его рука, все еще лежавшая на руке коммерсанта, нетерпеливо дрогнула.

— Он просил, чтобы я ему рассказал о своем процессе, — обратился коммерсант к Лени.

— Ну рассказывай, рассказывай! — сказала та.

Она говорила с коммерсантом ласково, но очень свысока, и К. это не понравилось; он уже понял, что это был человек вполне достойный; во всяком случае, он много пережил и прекрасно обо всем рассказывал. Очевидно, Лени судила о нем неверно. К. смотрел, как Лени с раздражением отняла у коммерсанта свечу — тот все время крепко держал ее в руке, — обтерла его пальцы своим фартуком и опустила перед ним на колени, чтобы счистить воск, накапавший ему на брюки.

— Вы ведь хотели рассказать мне про подпольных адвокатов! — сказал К. и без всяких околичностей отодвинул руку Лени.

— Ты это что? — сказала Лени и, слегка хлопнув К. по руке, продолжала свою работу.

— Да, да, про подпольных адвокатов, — сказал коммерсант и провел рукой по лбу, как бы обдумывая, что говорить.

Желая ему помочь, К. подсказал:

— Вы хотели добиться немедленных результатов и потому обратились к подпольным адвокатам.

— Совершенно верно, — сказал коммерсант, но ничего не добавил.

Видно, не желает говорить при Лени, подумал К., и, хотя ему очень хотелось все услышать, он поборол нетерпение и больше настаивать не стал.

— Ты доложила обо мне? — спросил он Лени.

— Конечно, — ответила та. — Он тебя дожидается. Оставь Блока, с ним ты и потом успеешь поговорить, Блок побудет тут.

К. решился не сразу.

— Вы останетесь тут? — спросил коммерсанта.

Ему хотелось, чтобы тот сам подтвердил это, и не нравилось, что Лени говорит о Блоке как об отсутствующем. Да и вообще сегодня К. испытывал какое-то затаенное раздражение против Лени.

Но ответила опять она:

— Он здесь часто ночует.

— Ночует здесь? — воскликнул К.

А он-то надеялся, что Блок просто дождется, пока он как можно скорее закончит переговоры с адвокатом, а затем они вместе выйдут и основательно, без всяких помех все обсудят.

— Ну да, — сказала Лени. — Не каждого пускают к адвокату в любой час, как тебя, Йозеф. Ты как будто и не удивляешься, что адвокат, несмотря на болезнь, принимает тебя в одиннадцать часов ночи. Все, что ради тебя делают друзья, ты принимаешь как должное. Конечно, твои друзья, во всяком случае, я сама, все делают с удовольствием. Никакой благодарности я и не требую! Лишь бы ты меня любил.

«Тебя любить?» — подумал в первую минуту К., но сразу мелькнула мысль: «Ну, конечно, я ее люблю».

Однако вслух он сказал, обходя эту тему:

— Меня адвокат принимает, потому что я его клиент. А если и тут не обойтись без чужой помощи, значит, на каждом шагу только и придется, что клянчить и благодарить.

— Какой он сегодня нехороший, — сказала Лени коммерсанту.

«Вот теперь и про меня говорит, будто меня нет», — подумал К. и даже рассердился на коммерсанта, когда тот так же бесцеремонно, как Лени, сказал:

— Адвокат его принимает еще и по другой причине: его процесс много интереснее моего. Кроме того, его процесс только что начался и, значит, не очень запутан, потому адвокат и занимается им так охотно. Потом все изменится.

— Да, да! — со смехом сказала Лени, глядя на коммерсанта. — Ишь разболтался! А ты ему не верь, — это она сказала, уже обращаясь к К. — Он ужасно милый, но и ужасно болтливый. Может быть, адвокат его за это и не выносит. Во всяком случае, принимает он его, только когда ему вздумается. Я и то сколько раз старалась заступиться, и все зря. Представь себе, иногда я докладываю о Блоке, а он его принимает только на третий день. Но если в ту минуту, как его позовут, Блок не явится, значит, все пропало, нужно сызнова о нем докладывать. Поэтому я разрешила Блоку ночевать тут: бывает, что адвокат ночью звонит и требует его к себе. А теперь Блок и ночью наготове. Правда, иногда он узнает, что Блок тут, и отменяет свой вызов.

К. вопросительно посмотрел на коммерсанта. Тот кивнул головой и сказал так же откровенно, как говорил до того с К. (видно, он потерялся только от смущения):

— Да, постепенно начинаешь очень зависеть от своего адвоката.

— Он только для виду жалуется, — сказала Лени, — а сам любит тут ночевать, он мне сколько раз говорил. — Она подошла к маленькой дверце и открыла ее. — Хочешь взглянуть на его спаленку? — спросила она.

К. подошел и заглянул с порога в низкую каморку без окон, целиком занятую узенькой кроватью. Забираться в кровать можно было только через спинку. У изголовья в стене виднелась небольшая ниша, там с педантичной аккуратностью были расставлены свеча, чернильница, ручка с пером и пачка бумаг — очевидно, документы процесса.

— Значит, вы спите в комнате для прислуги? — спросил К., обращаясь к коммерсанту.

— Мне ее уступила Лени, — сказал коммерсант. — Это очень удобно.

К. пристально посмотрел на него. Очевидно, первое впечатление, которое произвел Блок, было правильной: опыт у него был большой, потому что его процесс тянулся давно, но стоил ему этот опыт не дешево. И вдруг весь вид этого человека стал для К. невыносим.

— Ну и укладывай его спать! — крикнул он Лени, которая явно его не поняла.

Нет, сейчас он пойдет к адвокату и откажет ему, а этот отказ освобождает его не только от самого адвоката, но и от Лени, и от этого коммерсанта.

Но не успел он дойти до двери, как коммерсант негромко окликнул его:

— Господин прокурисст! — К. сердито обернулся. — Вы забыли свое обещание, — сказал коммерсант и умоляюще потянулся к К. со своего места. — Вы хотели сообщить мне какой-то секрет.

— Верно! — сказал К., мельком взглянув на Лени, внимательно смотревшую на него. — Так вот, слушайте: теперь это уже почти не секрет. Я сейчас иду к адвокату, чтобы ему отказать.

— Он ему отказывает! — крикнул коммерсант, вскочил со стула и забежал по кухне, вздевая руки к небу. — Он отказывает адвокату! — восклицал он снова и снова.

Лени хотела было наброситься на К., но коммерсант перебил ей дорогу, за что она стукнула его кулаком. Не разжимая кулаков, Лени бросилась за К., но тот опередил ее и уже вбежал в комнату к адвокату, когда Лени его догнала. Он почти успел захлопнуть двери, но Лени ногой задержала одну створку и схватила его за локоть, пытаясь вытащить обратно. Но он так стиснул ей кисть руки, что она, охнув, выпустила его. Зайти в комнату она не посмела, и К. запер дверь изнутри на ключ.

— Я вас очень давно жду, — сказал адвокат с кровати, положив на ночной столик документ, который он читал при свече, и, надев очки, пристально посмотрел на К.

Но вместо того чтобы извиниться, К. сказал:

— А я скоро уйду.

Адвокат оставил без внимания эти слова и, так как К. не извинился, добавил:

— В следующий раз я вас так поздно не приму.

— Это вполне совпадает с моими намерениями, — сказал К.

Адвокат посмотрел на него вопросительно.

— Садитесь, пожалуйста! — сказал он.

— Если вам угодно, — сказал К., пододвинул кресло к ночному столику и сел.

— Мне показалось, что вы заперли дверь на ключ, — сказал адвокат.

— Да, — сказал К., — из-за Лени. — Он не намеревался никого шадить.

Но адвокат спросил:

— Она опять к вам приставала?

— Приставала? — переспросил К.

— Ну да! — сказал адвокат и рассмеялся. От смеха у него начался приступ кашля, а когда кашель прошел, он опять засмеялся. — Да вы, наверно, уже сами заметили, какая она назойливая, — сказал он и хлопал К. по руке — тот по рассеянности положил руку на ночной столик, но тут же быстро отдернул ее. — Видно, вы не придаете этому значения, — сказал адвокат, когда К. промолчал. — Тем лучше! Иначе мне, наверно, пришлось бы перед вами извиняться. Это ее причуда, и я давно ей все простил и даже разговаривать об этом не стал бы, если бы вы не заперли дверь. Не мне объяснять вам эту причуду, но сейчас у вас такой растерянный вид, что придется все рассказать. Причуда эта состоит в том, что большинство обвиняемых кажутся Лени красавцами. Она ко всем привязывается, всех их любит, да и ее как будто все любят; а потом, чтобы меня поразвлечь, она иногда мне о них рассказывает — конечно, с моего согласия. Меня это ничуть не удивляет, а вот вы как будто удивлены. Если есть на это глаз, то во многих обвиняемых и в самом деле можно увидеть красоту. Конечно, это удивительное, можно сказать, феноменальное явление природы. Разумеется, сам факт обвинения отнюдь не вызывает какие либо отчетливые, ясно определенные перемены во внешности. Ведь это не то, что при других судебных делах: тут большинство обвиняемых продолжают вести свой обычный образ жизни, и если у них есть хороший адвокат, взявший на себя все заботы, то и процесс их не касается. Тем не менее люди, искушенные в таких делах, могут среди любой толпы узнать каждого обвиняемого в лицо. По каким приметам? — спросите вы. Мой ответ вас, может быть, не удовлетворит. Просто эти обвиняемые самые красивые. И не вина делает их

красивыми — я обязан так считать хотя бы как адвокат, ведь не все же они виноваты, — да и не ожидание справедливого наказания придаст им красоту, потому что не все они будут наказаны; значит, все кроется в поднятом против них деле, это оно так на них влияет. Разумеется, среди этих красивых людей есть особенно прекрасные. Но красивы они все, даже Блок, этот жалкий червяк.

Когда адвокат договорил, К. уже решился окончательно, он даже вызывающе вскинул голову в ответ на последние слова адвоката, словно подтверждая самому себе правильность сложившегося у него убеждения, что адвокат всегда — и на этот раз тем более — старается отвлечь его общими разговорами, не имеющими никакого касательства к основному вопросу: проводит ли он какую-либо работу для пользы дела К. Адвокат, очевидно, заметил, что К. на этот раз настроен против него еще больше, чем обычно, и замолчал, выжидая, чтобы К. сам заговорил; но, видя, что К. упорно молчит, спросил его:

— Вы сегодня пришли ко мне с определенной целью?

— Да, — ответил К. и немного затенил рукой свечу, чтобы лучше видеть адвоката. — Я хотел вам сказать, что с сегодняшнего дня я лишаю вас права защищать мои интересы в суде.

— Правильно ли я вас понял? — спросил адвокат и, присев в постели, оперся рукой на подушки.

— Полагаю, что правильно, — сказал К., он сидел прямо и был все время начеку.

— Что ж, можно обсудить и этот план, — сказал адвокат, помолчав.

— Это уже не только план, — сказал К.

— Возможно, — сказал адвокат. — И все же не будем торопиться.

Он сказал «не будем», как будто не собирался выпустить К. из рук и был намерен остаться если не его представителем, то, по крайней мере, советчиком.

— Никто и не торопится, — сказал К., медленно поднялся и встал за спинкой кресла. — Я думал долго, может быть, даже слишком долго. Но решение принято окончательно.

— Тогда позвольте мне сказать несколько слов, — сказал адвокат, сбросил с себя перину и сел на край кровати. Его голые, покрытые седыми волосами ноги дрожали от холода. Он попросил К. подать ему плед с дивана.

К. подал плед и сказал:

— Вы совершенно зря подвергаете себя простуде.

— Нет, не зря, все это очень важно, — сказал адвокат, снова кутаясь в перину и укрывая ноги пледом. — Ваш дядя мне друг, да и вас я за это время полюбил. В этом я вам признаюсь откровенно. Стыдиться тут нечего.

К. было очень неприятно слушать чувствительные излияния старика, потому что они вынуждали его на решительное объяснение, а ему очень хотелось этого избежать, да и, кроме того, как он откровенно признался самому себе, все это сбило его с толку, хотя ни в какой мере не поколебало его решения.

— Благодарю за дружеские чувства, — сказал он. — Я вполне сознаю, что вы сделали для меня все, что только возможно и что, по-вашему, могло принести пользу. Однако в последнее время я пришел к убеждению, что этого недостаточно. Разумеется, я никогда не решусь навязывать свое мнение человеку, который настолько старше и опытнее меня; если я когда-либо невольно осмеливался на это, прошу меня простить, но дело тут, как вы сами выразились, чрезвычайно важное и, по моему глубокому убеждению, требует гораздо более решительного вмешательства в ход процесса, чем это было до сих пор.

— Я вас понимаю, — сказал адвокат. — Вы очень нетерпеливы.

— Вовсе я не так уж нетерпелив, — сказал К. с некоторым раздражением и сразу же перестал тщательно выбирать слова: — Вероятно, при первом моем посещении, когда я пришел с дядей, вы заметили, что особого интереса к своему процессу я не проявлял, и, когда мне не напоминали о нем, так сказать, насильно, я вообще о нем забывал. Но мой дядя настаивал, чтобы я поручил вам представлять мои интересы, и ему в угоду я это сделал. После этого, естественно, можно было ожидать, что я буду еще меньше тяготиться процессом, ведь для того и передают адвокату защиту своих интересов, чтобы свалить с себя заботы и хотя бы отчасти забыть о процессе. Но все вышло наоборот. Никогда еще я столько не тревожился из-за процесса, как с того момента, когда вы взяли на себя защиту моих интересов. До этого я был один, ничего по своему делу не предпринимал, да и почти что его не чувствовал, а потом у меня появился защитник, все шло к тому, чтобы что-то сдвинуть с места, и в непрерывном, все возрастающем напряжении я ждал, что вы наконец вмешаетесь, но вы ниче-

го не делали. Правда, вы мне сообщили о суде много такого, чего мне, наверно, никто другой рассказать бы не мог. Но теперь, когда процесс форменным образом подкрадывается исподтишка, мне этого недостаточно. — К. оттолкнул кресло и встал, выпрямившись во весь рост, заложив руки в карманы.

— На известной стадии процесса, — сказал адвокат спокойно и негромко, — ничего нового, как показывает практика, не происходит. Сколько клиентов на этой стадии процесса стояли передо мной в той же позе, что и вы, и говорили то же самое!

— Это значит, — сказал К., — что все они, эти люди, были так же правы, как прав я. Ваши возражения меня не убедили.

— Я вам и не собирался возражать, — сказал адвокат, — я только хотел бы добавить, что ожидал от вас более глубоких суждений, тем паче что я дал вам возможность гораздо глубже заглянуть в судопроизводство и в мои действия, чем обычно дают своим клиентам. А теперь остается только признать, что, несмотря на все, вы не питаете ко мне нужного доверия. И мне это никак не помогает.

Как он унижался перед К., этот адвокат! И никакого профессионального самолюбия. А ведь тут-то оно и должно было бы проявиться в полную силу. Почему он так себя вел? Адвокатская практика у него, по всей видимости, была большая, человек он был богатый, значит, отказ одного клиента и потеря заработка для него никакой роли не играли. Кроме того, как человек слабого здоровья, он должен был бы и сам стараться немного разгрузиться в работе. Но вопреки всему он крепко держался за К. Почему? Из личной приязни к дяде? Или процесс К. действительно казался ему таким необычным, что он надеялся отличиться благодаря ему? Но перед кем? Перед К. или же — не исключена и эта возможность — перед своими приятелями из суда? По его виду ничего нельзя было определить, как пристально К. его ни разглядывал. Можно было подумать, что он нарочно сделал такое непроницаемое лицо и выжидает, какое впечатление произведут его слова. Но он истолковал молчание К., видимо, в благоприятном для себя смысле и опять заговорил:

— Вы, наверно, заметили, что при весьма обширной канцелярии у меня нет никаких помощников. В прежние времена было иначе. Тогда на меня работали несколько молодых юристов, но теперь я работаю один. Отчасти это связано с изменением моей практики, с тем, что я ограничиваюсь главным образом ведением таких процессов,



как ваш, отчасти же с тем, что я глубже проник в суть таких дел. И помнил, что нельзя поручать эту работу другим, если я не хочу грешить перед моими клиентами и перед взятой на себя задачей. Но решение взять всю работу на себя, конечно, имело свои последствия: пришлось отказывать почти всем и браться только за те дела, к которым у меня лежало сердце, впрочем, даже тут, поблизости, существует достаточно прилипал, готовых подбирать любые крохи, какие я им брошу. В довершение ко всему я заболел от переутомления. Но, несмотря на все, я ни разу не пожалел о принятом решении; возможно даже, что я должен был бы отстранить от себя еще больше дел, но то, что я всецело отдался взятым на себя процессам, оказалось необходимым и вполне оправдывалось достигнутыми успехами. В одном документе я как-то прочел прекрасное определение различия между ведением обычных гражданских дел и ведением дел такого рода. Там было сказано: в первом случае адвокат доводит своего клиента до приговора суда на веревочке, во втором же он сразу взваливает клиента себе на плечи и несет, не снимая, до самого приговора и даже после него. Так оно и есть. Впрочем, я был не совсем прав, говоря, что никогда не раскаивался в том, что взвалил на себя такую огромную работу. Если, как это случилось с вами, мою работу отмечают столь безоговорочно, я начинаю раскаиваться.

Однако весь этот разговор скорее раздражал, чем убеждал К. Ему казалось, что уже по одному тону адвоката можно угадать, что ждет его, если он сдастся: опять пойдет обнадеживание, начнутся намеки на успешную работу над ходатайством, на более благоприятное расположение духа судейских чиновников, но и, разумеется, на огромные трудности, препятствующие работе, — словом, все до тошноты знакомые приемы будут использованы, чтобы обмануть К. неопределенными надеждами и измучить неопределенными угрозами.

Надо этому решительно положить конец, подумал он и сказал:

— А что вы предпримете по моему делу, если останетесь моим поверенным?

Адвокат не запротестовал даже при такой обидной для него постановке вопроса и ответил:

— Буду продолжать то, что я уже предпринял для вас.

— Так я и знал, — сказал К. — Не будем же тратить лишних слов.

— Нет, я сделаю еще одну попытку, — сказал адвокат, будто все то, из-за чего волновался К., случилось с ним самим, а не с К. — Я,

видите ли, подозреваю, что не только ваша неверная оценка моей правовой помощи, но и все ваше поведение вызвано тем, что с вами, хотя вы и обвиняемый, до сих пор обращались слишком хорошо или, выражаясь точнее, слишком небрежно, с напускной небрежностью. Но и на это есть свои причины; иногда оковы лучше такой свободы. Но я все же хотел бы вам показать, как обращаются с другими обвиняемыми; может быть, для вас это будет полезным уроком. Сейчас я вызову к себе Блока. Отоприте дверь и сядьте сюда, к ночному столу!

— С удовольствием! — сказал К. и сделал так, как велел адвокат: поучиться он всегда был готов. Но, чтобы на всякий случай застраховаться, он спросил адвоката: — Но вы приняли к сведению, что я вас освобождаю от обязанности представлять меня?

— Да, — сказал адвокат, — но вы можете сегодня же изменить свое решение.

Он снова лег на подушки, натянул перину до подбородка и, отвернувшись к стене, позвонил.

На звонок сразу вошла Лени, она быстро огляделась, пытаясь понять, что произошло; то, что К. мирно сидит у постели адвоката, ее, очевидно, успокоило. С улыбкой она кивнула К. в ответ на его неподвижный взгляд.

— Приведи Блока, — сказал адвокат.

Но, вместо того чтобы за ним пойти, она просто подошла к двери и крикнула:

— Блок! К адвокату! — И, видя, что адвокат отвернулся к стене и ни на что не обращает внимания, она проскользнула за кресло К.

С этой минуты она не оставляла его в покое: то перегнется к нему через спинку кресла, то обеими руками погладит — правда, очень осторожно и нежно — его волосы или проведет ладонью по щекам. В конце концов К. решил прекратить это и крепко взял ее за руку. Сперва она пыталась отнять руку, но потом смирилась.

Блок явился по первому зову и остановился в дверях, словно раздумывая, войти ему или нет. Он высоко поднял брови и наклонил голову, прислушиваясь, не повторят ли приказ пройти к адвокату. К. мог бы подбодрить его, подзвать, но он решил окончательно порвать не только с адвокатом, но и вообще со всем, что происходило в этой квартире, и поэтому держался безучастно. Лени тоже молчала. Заметив, что его, по крайней мере никто не гонит, Блок на цыпочках

вошел в комнату, судорожно стиснув руки за спиной. Для возможного отступления он оставил двери открытыми. На К. он не смотрел, все внимание его было устремлено на высокую перину, под которой даже не видно было адвоката; тот совсем прижался к стене.

Из-под перины послышался голос.

— Блок тут? — спросил он.

От этого вопроса Блок, уже подошедший довольно близко, зашатался так, будто его толкнули в грудь, а потом в спину, скрючился в поклоне и проговорил:

— К вашим услугам.

— Чего тебе надо? — спросил адвокат. — Опять пришел некстати.

— Но меня как будто звали? — спросил Блок не столько у адвоката, сколько у себя самого, и, вытянув руки, словно для защиты, уже приготовился бежать.

— Да, звал! — сказал адвокат. — И все равно ты пришел некстати. — И, помолчав, добавил: — Ты всегда приходишь некстати.

С той минуты, как адвокат заговорил, Блок уже не смотрел на кровать, он уставился куда-то в угол и только вслушивался в голос, как будто боялся, что не перенесет ослепительного вида того, кто с ним разговаривает. Но и слышать адвоката было трудно, потому что он говорил в стенку и притом очень быстро и тихо.

— Вам угодно, чтобы я ушел? — спросил Блок.

— Раз уж ты тут — оставайся, — сказал адвокат.

Можно было подумать, что адвокат не то чтобы исполнил желание Блока, а, наоборот, пригрозил его выпороть, что ли, потому что при этих словах Блок задрожал всем телом.

— Вчера я был у третьего судьи, — сказал адвокат, — у моего друга, и постепенно навел разговор на тебя. Хочешь знать, что он сказал?

— О да, прошу вас! — сказал Блок. Но так как адвокат ответил не сразу, Блок опять повторил свою просьбу и совсем согнулся, будто хотел стать на колени. Но тут К. закричал на него.

— Что ты делаешь?! — крикнул он.

Лени хотела остановить его, тогда он схватил ее и за другую руку. Отнюдь не в порыве любви, он крепко сжал ее руки, и Лени, вздыхая, попыталась их отнять. А за выходку К. расплатился Блок, потому что адвокат сразу спросил его:

— Кто твой адвокат?

— Вы, — ответил Блок.

— А кроме меня, кто еще? — спросил адвокат.

— Кроме вас, никого, — ответил Блок.

— Так ты никого и не слушай, — сказал адвокат.

Блок понял его и, сердито взглянув на К., решительно затряс головой. Если бы перевести этот жест на слова, они прозвучали бы грубой бранью. И с таким человеком К. собирался дружески обсуждать свое дело!

— Не буду тебе мешать, — сказал К., откидываясь в кресле. — Ползай на брюхе, становись на колени, — словом, делай что хочешь. Я вмешиваться не буду.

Но у Блока, как видно, осталось еще какое-то самолюбие, во всяком случае по отношению к К., потому что он надвинулся на него, размахивая кулаками, и, еле сдерживая голос из страха перед адвокатом, закричал:

— Не смейте так со мной разговаривать! Это недопустимо! За что вы меня обижаете? Да еще при господине адвокате! Тут нас обоих, и меня и вас, терпят только из милости! Вы ничуть не лучше меня, вы такой же обвиняемый, и против вас тоже ведется процесс! А если вы считаете себя важным господином, так я такой же важный, может, еще важнее вас! И потрудитесь со мной так не разговаривать, да, вот именно! Может, вы считаете себя привилегированным оттого, что сидите тут, в кресле, а я должен, как вы изволили выразиться, ползать на брюхе? Так разрешите мне напомнить вам старую судебную поговорку: для обвиняемого движение лучше покоя, потому что если ты находишься в покое, то, может быть, сам того не зная, уже сидишь на чаше весов вместе со всеми своими грехами.

К. ничего не сказал, только тупо уставился на этого обезумевшего человека. Как он изменился в течение одного только часа! Неужели процесс так его издергал, что он потерял способность понимать, кто ему друг, кто враг? Неужели он не видит, что адвокат нарочно унижает его, и на этот раз лишь с одной целью — похвалиться своей властью перед К. и, быть может, этим подчинить и его! Но если Блок не способен это понять или же так боится адвоката, что даже понимание ему не помогает, то как он ухитряется, как осмеливается обманывать адвоката, скрывать, что, кроме него, он пригласил еще других адвокатов? И как он осмеливается нападать на К., зная, что тот в любую минуту может выдать его тайну?

Но Блок и не на то осмелился; он подошел к постели адвоката и стал жаловаться на К.

— Господин адвокат, — сказал он, — вы слышали, как этот человек со мной разговаривает? Ведь его процесс длится какие-то часы, а он уже хочет поучать меня. Меня, чей процесс тянется уже пять лет. Да еще бранится! Ничего не знает, а бранится, а ведь я в меру своих слабых силенок точно выучил, усвоил, чего требуют и приличие, и долг, и судебные традиции.

— Не обращай ни на кого внимания, — сказал адвокат, — делай, как считаешь правильным.

— Непременно, — сказал Блок, словно сам себя подбадривая, и, оглянувшись, встал на колени перед самой кроватью. — Я уже на коленях, мой адвокат! — сказал он. Но адвокат промолчал. Осторожно, одной рукой, Блок погладил перину.

В наступившей тишине Лени вдруг сказала, высвобождая руки из рук К.:

— Пусти. Ты мне делаешь больно. Я хочу к Блоку...

Она отошла и присела на край постели. Блок страшно обрадовался ей и стал немymi жестами и мимикой просить ее заступиться за него перед адвокатом. Очевидно, ему до зарезу нужно было выудить у адвоката какие-то сведения — возможно, лишь для того, чтобы их использовали другие адвокаты. Должно быть, Лени точно знала, какой подход нужен к адвокату, она глазами показала Блоку на его руку и сделала губы трубочкой, словно для поцелуя. Блок тут же чмокнул адвоката в руку и по знаку Лени еще и еще раз приложился к руке. Но адвокат упорно молчал. Лени наклонилась к адвокату, перегибаясь через кровать, так что обрисовалось все ее здоровое красивое тело, и, низко склоняясь к его голове, стала гладить его длинные седые волосы. Тут ему уже нельзя было промолчать.

— Не решаюсь ему сообщить, — сказал адвокат и слегка повернул голову, может быть, для того, чтобы лучше почувствовать прикосновения Лени.

Блок исподтишка прислушивался, опустив голову, словно преступал какой-то запрет.

— Отчего же ты не решаешься? — спросила Лени.

У К. было такое чувство, словно он слышит заученный диалог, который уже часто повторялся и будет повторяться еще не раз и только для Блока никогда не теряет новизны.

— А как он себя вел сегодня? — спросил адвокат вместо ответа.

Перед тем как высказать свое мнение, Лени посмотрела на Блока и помедлила, глядя, как он умоляюще воздел к ней сложенные руки. Наконец она строго кивнула, обернулась к адвокату и сказала:

— Он был очень послушен и прилежен.

И это пожилой коммерсант, бородатый человек, умолял девочку дать о нем хороший отзыв! Может быть, у него и есть какие-то задние мысли, но все равно никакого оправдания в глазах своего ближнего он не заслуживал. Эта оценка даже зрителя унижала. Значит, таков был метод адвоката (и какое счастье, что К. попал в эту атмосферу ненадолго!) — довести клиента до полного забвения всего на свете и заставить его тащиться по ложному пути в надежде дойти до конца процесса. Да разве Блок клиент? Он собака адвоката! Если бы тот велел ему залезть под кровать, как в собачью будку, и лаять оттуда, он подчинился бы с наслаждением. К. слушал внимательно и сосредоточенно, словно ему поручили точно воспринять и запомнить все, что тут говорилось, и доложить об этом в какой-то высшей инстанции.

— Чем же он занимался весь день? — спросил адвокат.

— А я его заперла в комнате для прислуги, чтобы он мне не мешал работать, — сказала Лени. — Он всегда там сидит. Время от времени я заглядывала в оконце, смотрела, что он делает. А он стоит на коленях на кровати, разложил на подоконнике документы, которые ты ему выдал, и все читает, читает. Мне это очень пришлось по душе: ведь окошко выходит во двор, в простенок, оттуда и свету почти нет. А Блок сидит и читает. Сразу видно, какой он покорный.

— Рад слышать, — сказал адвокат. — А он понимает, что читает?

Во время их разговора Блок непрерывно шевелил губами, очевидно, заранее составляя ответы, которые надеялся услышать от Лени.

— Ну на этот вопрос, — сказала Лени, — я, конечно, в точности ответить не могу. Во всяком случае, я видела, что читает он очень старательно. Целый день перечитывает одну и ту же страницу и все водит и водит пальцем по строкам. Заглянешь к нему, а он вздыхает; видно, чтение ему очень трудно дается. Должно быть, документы ты ему дал очень непонятные.

— О да! — сказал адвокат. — Они и вправду нелегкие. Да я и не верю, что он в них разбирается. Я их для того только и дал, чтобы он по-

нял, какую труднейшую борьбу мне приходится вести за его оправдание. Вот ради кого я веду эту трудную борьбу! Ради... нет, просто смешно сказать — ради Блока! Пусть он научится это ценить. А он занимался без перерыва?

— Да, почти без перерыва, — ответила Лени. — Только раз попросил попить. Я ему подала стакан воды через оконце. А в восемь часов я его выпустила и немножко покормила.

Блок покосился на К., словно ему давали похвальные отзывы и они не могли не произвести впечатления. По-видимому, в нем пробудилась надежда, он двигался свободнее, даже поерзал на коленях по полу.

Тем резче показалась перемена: он буквально окаменел от слов адвоката.

— Ты все его хвалишь, — сказал адвокат, — а мне от этого еще труднее говорить. Дело в том, что судья неблагоприятно отозвался и о самом Блоке, и о его процессе.

— Неблагоприятно? — переспросила Лени. — Как же это возможно?

Блок посмотрел на нее таким напряженным взглядом, словно верил, что она еще и сейчас способна обратить в его пользу слова, давно уже сказанные судьей.

— Да, неблагоприятно, — сказал адвокат. — Его даже передернуло, когда я заговорил о Блоке. «Не говорите со мной об этом Блоке!» — сказал он. «Но ведь Блок мой клиент», — сказал я. «Вами злоупотребляют», — сказал он. «Но я не считаю это дело безнадежным». — «Да, вами злоупотребляют», — повторил он. «Не думаю», — сказал я. — «Блок прилежно занимается процессом и всегда в курсе дела. Он почти что живет у меня, чтобы постоянно быть наготове. Такое старание редко встретишь. Правда, лично он весьма неприятен, привычки у него отвратительные, он нечистоплотен, но к своему процессу относится безупречно». Я нарочно сказал «безупречно» — разумеется, я преувеличивал. На это он мне говорит: «Блок просто хитер. Он накопил большой опыт и умеет затеять волокиту. Но его невежество во много раз превышает его хитрость. Что бы он сказал, если бы узнал, что его процесс еще не начинался, если бы ему сказали, что даже звонок к началу процесса еще не прозвонил?» Спокойно, Блок! — сказал адвокат, когда Блок попытался подняться на дрожащих коленях, очевидно, с намерением просить объяснения.

И тут адвокат впервые решил дать объяснение непосредственно самому Блоку. Он посмотрел усталыми глазами не то на Блока, не то мимо него, но Блок под этим взглядом снова медленно опустился на колени.

— Для тебя мнение судьи никакого значения не имеет, — сказал адвокат, — и не пугайся при каждом звуке. Если ты начнешь так себя вести, я тебе вообще ничего передавать не буду. Нельзя слова сказать, чтобы ты не делал такие глаза, будто тебе вынесли смертный приговор! Постыдился бы моего клиента! К тому же ты подрываешь доверие, которое он ко мне питает. Да и что тебе, в сущности, нужно? Ты пока еще жив, пока еще находишься под моим покровительством. Что за бессмысленные страхи! Где-то ты вычитал, что бывают случаи, когда приговор можно вдруг услышать неожиданно, от кого угодно, когда угодно. Конечно, это правда, хотя и с некоторыми оговорками, но правда и то, что мне противен твой страх и в нем я вижу недостаток необходимого доверия. А что я, собственно, сказал такого? Повторил высказывание одного из судей. Но ты же знаешь, что вокруг всякого дела создается столько разных мнений, что невозможно разобраться. Например, этот судья считает началом процесса один момент, а я — совершенно другой. Просто разница во мнениях, ничего более. На определенной стадии процесса по старинному обычаю раздается звонок. По мнению этого судьи, процесс начинается именно тогда. Не стану тебе излагать сейчас все, что опровергает эту точку зрения, да ты все равно и не поймешь, скажу только, что возражений много.

Блок смущенно пощипывал меховой коврик у кровати; как видно, его так напугало мнение судьи, что он на время забыл свое унижение перед адвокатом и помнил только о себе, со всех сторон обдумывая слова судьи.

— Блок! — сказала Лени предостерегающе и, взяв его за ворот, подтянула кверху. — Не щипли мех, слушай, что тебе говорит адвокат.

## *Глава девятая* В соборе

**К**. получил задание: надо было показать некоторые памятники искусства приезжему итальянцу, связанному давнишней дело-



вой дружбой с банком, где его чрезвычайно ценили. В другое время К., без сомнения, счел бы такое задание весьма почетным, но теперь, когда сохранять свой престиж в банке ему стоило огромного напряжения, он согласился с неохотой. Каждый час, проведенный вне стен кабинета, был для него сплошным огорчением, хотя и служебное время он проводил уже далеко не так продуктивно, как раньше. Иногда часы тянулись в какой-то жалкой видимости настоящей работы, но тем сильнее он бывал озабочен, когда приходилось отсутствовать. Тогда ему казалось, что он видит, как заместитель директора, который и без того всегда его выслеживал, заходит к нему в кабинет, садится за его стол, роется в его бумагах, принимает клиентов, с которыми К. уже годами связан и даже дружен, и восстанавливает их против него, да еще, пожалуй, находит у него какие-то ошибки, а в последнее время К. чувствовал, как ему со всех сторон угрожают эти ошибки и он ничем не может их избежать. И если ему теперь поручали какие-нибудь, даже весьма почетные, деловые визиты и небольшие поездки, а в последнее время, может быть, чисто случайно такие поручения подворачивались все чаще, то ему постоянно мерещилось, будто его нарочно хотят удалить на время из кабинета, чтобы проверить его работу, или, во всяком случае, считают, что можно легко обойтись и без него.

От многих поручений можно было отказаться без труда, однако на это он не решался; если его подозрения имели хоть малейшее основание, то, отказываясь, он как бы признавался в своих страхах. Поэтому он с видимым безразличием принимал все такие поручения и однажды даже умолчал про серьезную простуду, когда нужно было отправиться на два дня в очень нелегкую служебную командировку, чтобы, упаси бог, ее не отменили, сославшись на скверную осеннюю погоду и дожди.

И вот, вернувшись из этой поездки с невыносимой головной болью, он узнал, что завтра ему придется сопровождать итальянского гостя. Соблазн отказаться хотя бы на этот раз был необычайно велик, тем более что придуманное для него поручение не было непосредственно связано с его служебными обязанностями. Безусловно, для дела было весьма важно проявить гостеприимство по отношению к приезжему, но для К. это никакого значения не имело, он отлично знал, что удержаться на службе он может только благодаря своим деловым успехам, а если это не удастся, то все остальное бесполезно,

даже если он неожиданно очарует этого итальянца; ему не хотелось ни на день отрываться от рабочей обстановки — слишком велик был страх, что его больше не допустят к работе, и, хотя он отлично сознавал, насколько этот страх преувеличен, душа у него была не на месте. Однако в данном случае было почти невозможно найти благовидный предлог для отказа. К. хоть и не очень хорошо, но вполне достаточно владел итальянским языком, а главное, с юных лет разбирался в вопросах искусства, а в банке этим его познаниям придали слишком большое значение, узнав, что К. некоторое время, правда, из чисто деловых соображений, был членом местного общества охраны памятников старины. А так как итальянец слыл любителем искусства, то роль гида, само собой понятно, выпала на долю К.

Утро было дождливое, очень ветреное, когда К., заранее раздражаясь при мысли о предстоящем дне, уже в семь утра явился в банк, чтобы выполнить хотя бы часть работы, пока не помешает приход гостя. Он очень устал, просидев до поздней ночи над итальянской грамматикой, чтобы немного подготовиться; сейчас его тянуло к окну, где он часто проводил больше времени, чем у письменного стола, но он одолел искушение и сел за работу. К сожалению, вскоре вошел курьер и доложил, что господин директор послал его взглянуть, пришел ли господин К. и если он уже тут, то не будет ли он любезен зайти в приемную — итальянский гость уже прибыл.

— Сейчас иду, — сказал К., сунул в карман маленький словарь, взял под мышку альбом городских достопримечательностей, приготовленный в подарок гостю, и пошел через кабинет заместителя директора в директорскую приемную. Он был счастлив, что так рано явился на службу и сразу оказался в распоряжении директора, чего, вероятно, никто не ожидал. Разумеется, кабинет заместителя еще пустовал, словно стояла глубокая ночь; должно быть, директор и за ним посылал курьера, чтобы просить его в приемную, а его на месте не оказалось. Когда К. вошел в приемную, ему навстречу из глубины кресел поднялись два господина. Директор приветливо улыбался, видимо, очень обрадованный его приходом, и сразу представил его итальянцу; тот крепко пожал К. руку и с улыбкой сказал что-то про ранних пташек. К. не сразу понял, что хочет сказать гость, да и слово было какое-то незнакомое, и К. только потом угадал его смысл. К. ответил какой-то гладкой фразой, итальянец опять рассмеялся и несколько раз погладил свои пышные, иссиня-

черные с проседью усы. Усы были явно надушены, даже хотелось подойти поближе и понюхать. Когда все снова сели и завели короткую вступительную беседу, К. вдруг с испугом заметил, что понимает итальянца только по временам. Когда тот говорил совсем спокойно, К. понимал почти все, но это было редко; по большей части речь гостя лилась сплошным потоком, и он при этом радостно потряхивал головой. А главное, в увлечении он все время переходил на какой-то диалект, в котором К. даже не улавливал итальянских слов. Зато директор не только все понимал, но и отвечал на этом же диалекте — впрочем, К. должен был это предвидеть, потому что итальянец был родом из Южной Италии, а директор прожил там несколько лет. Во всяком случае, К. полагал, что у него почти не будет возможности объясниться с итальянцем: по-французски тот говорил так же невнятно, а к тому же усы закрыли ему рот, иначе по движению губ можно было бы легче понять его. К. предвидел много неприятностей и пока что оставил всякие попытки понять итальянца, да в присутствии директора, который понимал его с легкостью, это было бы ненужным напряжением, и К. ограничился тем, что с некоторой досадой наблюдал, как гость непринужденно и вместе с тем легко откинулся в глубоком кресле, как он то и дело одергивает свой коротенький, ловко скроенный пиджачок и вдруг, высоко подняв локти и свободно шевеля кистями рук, пытается изобразить что-то, чего К. никак не мог понять, хотя весь подался вперед, не спуская глаз с рук итальянца. Но в конце концов от этого безучастного, совершенно машинального созерцания чужой беседы К. почувствовал прежнюю усталость и, к счастью, вовремя с испугом поймал себя на том, что в рассеянности хотел было встать, повернуться и выйти вон. И наконец итальянец взглянул на часы и вскочил с места. Попрошавшись с директором, он так близко подошел к К., что тому пришлось отодвинуться, чтобы встать. Директор, заметив, как растерялся К. от этого итальянского диалекта, вмешался в разговор, да так умно и деликатно, что казалось, будто он только подает незначительные советы, хотя на самом деле он вкратце переводил для К. все то, что говорил неугомонный итальянец, перебивавший его на каждом слове. Таким образом К. узнал, что итальянцу непременно надо сделать какие-то дела и, хотя у него, к сожалению, очень мало времени, он ни в коем случае не намерен в спешке осматривать все достопримечательности и собирается, если

только К. даст согласие — а решать должен именно он, — осмотреть только один собор, но зато как можно подробнее. Он будет чрезвычайно счастлив обозревать этот собор в сопровождении столь ученого и столь любезного спутника — так он выразился про К., который изо всех сил старался не слушать итальянца и на лету схватывать объяснения директора, — и он просит К., если только ему это удобно, встретиться в соборе примерно часа через два, то есть около десяти. Сам он надеется к этому времени уже освободиться и прибыть туда. К. ответил как полагалось. Итальянец пожал руку директору, потом К., потом снова директору и пошел к двери, уже почти не оборачиваясь к провожавшим его директору и К., но все еще не переставая говорить. К. еще немного пробыл у директора — тот сегодня выглядел очень плохо. Директору казалось, что он в чем-то должен извиниться перед К., и он сказал дружески, стоя с ним рядом, что сначала собирался сам сопровождать итальянца, но потом — причины он объяснить не стал — решил лучше послать К. И пусть К. не смущается, если не сразу будет понимать итальянца, это скоро придет, а если он даже многого не поймет, то это тоже не беда; этому итальянцу вовсе не так важно, поймут его или нет. Да и кроме того, директор не ожидал, что К. так хорошо знает итальянский; без сомнения, со своей задачей он справится отлично.

На этом он отпустил К. Все оставшееся время К. потратил на выписывание из словаря трудных слов, которые могли ему понадобиться при осмотре собора. Работа была на редкость нудная, а тут еще курьеры приносили почту, чиновники заходили за справками и, видя, что К. занят, останавливались в дверях, но не уходили, пока К. не выслушивал их. Заместитель директора тоже не упустил случая помешать К., он нарочно заходил, брал из рук К. словарь и явно без всякой надобности перелистывал его, а когда двери приоткрывались, клиенты, ждавшие в приемной, появлялись из полутьмы и робко кланялись; видно, они хотели обратить на себя внимание и не были уверены, замечают ли их оттуда, в то время как сам К., оказавшийся как бы центром этого водоворота, старался составлять фразы, искал нужные слова в словаре, выписывал их, упражнялся в произношении и, наконец, пытался выучить их наизусть. Но его обычно хорошая память как будто совсем ему изменила, и в нем то и дело вспыхивала такая злоба к итальянцу, из-за которого приходилось столько мучиться, что он совал словарь под бумаги с твердым намерением больше не

готовиться, но затем, сообразив, что не может же он молча ходить с итальянцем по собору и обозревать произведения искусства, как немой, он снова, с еще большей злобой, вытаскивал словарь.

В половине десятого, когда он уже собирался уходить, зазвонил телефон: Лени, пожелав ему доброго утра, спросила, как он себя чувствует. К. торопливо поблагодарил и сказал, что сейчас он разговаривать не может, потому что торопится в собор.

— Как в собор? — спросила Лени.

— Так, в собор.

— А зачем тебе в собор? — спросила Лени.

К. попытался вкратце объяснить ей, в чем дело, но не успел он начать, как Лени его перебила.

— Тебя затравили! — сказала она.

К. не выносил неожиданного и непрошеного сочувствия, поэтому он коротко простился с Лени, но, уже кладя трубку, все же сказал не то себе, не то девушке, которая была далеко и уже не могла его слышать:

— Да, меня затравили!

Было уже поздно, могло случиться, что он опоздает. В последнюю минуту, прежде чем сесть в такси, он спохватился, что не успел вручить итальянцу альбом, и захватил его с собой. Он держал альбом на коленях и все время, пока ехали, нетерпеливо барабанил по нему пальцами. Дождь почти перестал, но было сыро, холодно и сумрачно; наверно, в соборе ничего не будет видно, и уж, конечно, от стояния на холодных плитах простуда у К. еще больше обострится.

На соборной площади было пусто. К. вспомнил, как еще в детстве замечал, что в домах, замыкавших эту тесную площадь, шторы почти всегда бывают спущены. Правда, в такую погоду это было понятнее, чем обычно. В соборе тоже было совсем пустынно, вряд ли кому-нибудь могло взбрести в голову прийти сюда в такое время. К. обежал оба боковых придела и встретил только какую-то старуху, закутанную в теплый платок: она стояла на коленях перед мадонной, не спуская с нее глаз. Издали он еще увидел службу, но тот, прихрамывая, исчез в стенной дверце. К. пришел точно вовремя: когда он входил, пробило десять, но итальянец еще не явился. К. вернулся к главному входу, нерешительно постоял там и потом, несмотря на дождь, обошел весь собор снаружи посмотреть, не ждет ли его итальянец у одного из боковых входов. Но там никого не было. Может

быть, директор неправильно понял, какое время тот назначил? Да разве можно было понять этого типа? Во всяком случае, К. должен был подождать его хотя бы с полчаса. Так как он очень устал, он вернулся в собор и, увидев на ступеньке какой-то обрывок коврика, пододвинул его носком себе под ноги и, плотнее закутавшись в пальто, поднял воротник и сел на скамью. Чтобы рассеяться, он открыл альбом, полистал его немного, но пришлось и от этого отказаться: стало так темно, что даже в соседнем приделе К. ничего не мог разглядеть.

Вдали, на главном алтаре, большим треугольником горели свечи. К. не мог наверняка сказать, видел ли он их раньше. Может быть, их только что зажгли. Служки ходят, по должности, неслышно, их и не заметишь. Когда К. случайно оглянулся, он увидел, что неподалеку от него, у одной из колонн, горит высокая толстая свеча. И хотя это было очень красиво, но для освещения алтарной живописи, размещенной в темноте боковых приделов, такого света было недостаточно, он только усугублял темноту. Итальянец поступил хотя и невежливо, но благоразумно, не явившись в собор, все равно ничего не было видно, пришлось бы осматривать картины по кусочкам при свете карманного фонарика К. Чтобы испытать, как это будет, К. прошел к одной из боковых капелл, поднялся на ступеньки к невысокой мраморной ограде и, перегнувшись через нее, осветил фонариком картину в алтаре. Лампадка, колеблясь перед картиной, только мешала. Первое, что К. отчасти увидел, отчасти угадал, была огромная фигура рыцаря в доспехах, занимавшая самый край картины. Рыцарь опирался на меч, вонзенный в голую землю, лишь кое-где на ней пробивались редкие травинки. Казалось, что этот рыцарь внимательно за чем-то наблюдает. Странно было, что он застыл на месте без всякого движения. Очевидно, он назначен стоять на страже. К., уже давно не выдавший картин, долго разглядывал рыцаря, непрестанно моргая от напряжения и от невыносимого зеленоватого света фонарика. Когда он осветил фонариком всю остальную картину, он увидел положение во гроб тела Христова, в обычной трактовке; к тому же картина была довольно новая. Он сунул фонарик в карман и сел на прежнее место.

Ждать итальянца уже не стоило, но на улице явно лил сильный дождь, и, так как в соборе, сверх ожидания, было не слишком холодно, К. решил пока что переждать тут. Рядом с ним возвышалась глав-

ная кафедра, на круглом навесе полулежали два золотых контурных креста, которые соприкасались верхними концами. С внешней стороны и перила, и переход к несущей колонне были покрыты резьбой в виде зеленого плюща, ее поддерживали ангелочки, то смеющиеся, то спокойные. К. подошел к кафедре, обошел ее со всех сторон: каменная резба была необычайно искусной, казалось, что густые тени пойманы и закреплены и в резьбе, и на фоне.

К. засунул руку в темное углубление и осторожно ощупал камень. Раньше он не знал о существовании такой кафедры. В эту минуту за скамьями соседнего ряда он случайно увидел церковного служку в черном сюртуке с обвисшими складками, с табакеркой в левой руке. Он издали наблюдал за К. «Чего ему надо? — подумал К. — Разве у меня такой подозрительный вид? А может быть, он ждет чаевых? Но тут служка, видя, что К. его заметил, показал правой рукой с зажатой в пальцах шепоткой табаку куда-то в неопределенном направлении. К. не совсем понял, чего он хочет, подождал минуту, но служка все время куда-то показывал, подкрепляя свой жест энергичными кивками.

— Чего ему надо? — тихо проговорил К., не решаясь громко окликнуть его; но потом вытащил кошелек и, протиснувшись между скамьями, подошел к этому человеку.

Тот сразу отстранил его рукой, пожал плечами и заковылял прочь. Вот так же, торопливо ковыляя и подпрыгивая, К. в детстве пытался изображать скачку на конях. Видно, впал в детство, подумал К., теперь у него только и хватает ума, что служить в церкви. И как он останавливается, когда я останавливаюсь, как подкарауливает, пойду ли я дальше. К. с улыбкой прошел вслед за стариком по всему боковому приделу до главного алтаря. Старик продолжал куда-то указывать пальцем, но К. нарочно не оборачивался; по-видимому, старик только пытался отвлечь его, чтобы он не шел за ним по пятам. Наконец К. отстал от него — не хотелось особенно тревожить старика, да и было бы очень кстати на случай, если придет итальянец, показать ему и эту достопримечательность.

Войдя в главный придел, чтобы найти то место, где он оставил альбом, он вдруг увидел у колонны, недалеко от хоров, над алтарем, маленькую боковую кафедру из бледного голого камня. Кафедра была настолько мала, что издали казалась пустой нишей, куда забыли поставить статую святого. Проповеднику не хватило бы места и на

шаг отступить от перил. Кроме того, каменный свод над кафедрой выступал очень далеко, и, хотя на нем не было никакой лепки, он шел настолько полого, что человеку среднего роста никак нельзя было выпрямиться, а пришлось бы стоять, перегнувшись через перила. Казалось, все было задумано нарочно для мучений проповедника, и нельзя было понять, зачем нужна эта кафедра, когда можно располагать главной, большой, столь искусно разукрашенной.

К., наверно, не заметил бы эту маленькую кафедру, если бы в ней не горела лампа, какие обычно зажигают для проповедника перед проповедью. Неужели сейчас кто-то будет читать проповедь? Тут, в пустом соборе, К. поглядел на лесенку, которая вела на кафедру, лепясь к самой колонне; она была настолько узкой, что, казалось, служила не людям, а просто украшению колонны. Но тут К. растерянно улыбнулся, увидев, что у основания лесенки действительно стоял священник, положив руку на перильца, словно собираясь подняться на кафедру, он смотрел на К. Потом слегка кивнул, и К., осенив себя крестом, поклонился в ответ, хотя ему следовало бы поклониться первому. Священник круто повернулся и короткими быстрыми шагами поднялся на кафедру. Неужели сейчас начнется проповедь? По-видимому, церковный служака все-таки что-то соображал и хотел подтолкнуть К. к проповеднику, что было не лишнее в этой пустующей церкви. Правда, где-то у изображения мадонны стояла старуха, надо бы и ей подойти сюда. А если уж собираются начинать проповедь, почему перед этим не вступает орган? Но орган молчал, слабо поблескивая в темноте с высоты своего величия.

К. подумал, не удалиться ли ему поскорее. Если не уйти сейчас, то во время проповеди будет поздно, придется остаться, пока она не окончится, а он и так потерял сколько времени вне службы, ждать итальянца он больше не обязан. К. взглянул на часы: уже одиннадцать! Неужели сейчас начнется проповедь? Неужели К. один может заменить всех прихожан? А если бы он был иностранцем, который только хотел осмотреть собор? В сущности, для того он сюда и пришел. Бессмысленно было даже предполагать, что может начаться проповедь — сейчас, в одиннадцать утра, будним днем, при ужасающей погоде. Должно быть, священнослужитель — а он, несомненно, был священником, этот молодой человек с гладким смуглым лицом, — подымался на кафедру только затем, чтобы потушить лампу, зажженную по ошибке.



Но все вышло не так. Священник проверил лампу, подвернул фитиль еще немного, потом медленно наклонился к балюстраде и обеими руками обхватил выступающий край. Он простоял так некоторое время, не поворачивая головы и только окидывая взглядом церковь. К. отступил далеко назад и теперь стоял, облокотившись на переднюю скамью. Мельком он увидел, как где-то — он точно не заметил где — старый церковный служака, сгорбившись, мирно прикорнул, словно выполнив важную задачу. И какая тишина наступила в соборе! Но К. вынужден был ее нарушить, он вовсе не собирался оставаться здесь; если же священник по долгу службы обязан читать проповедь в определенные часы, не считаясь с обстоятельствами, то он прочтет ее и без участия К., тем более что присутствие К. ни в чем успеху этой проповеди, разумеется, способствовать не будет.

И К. медленно двинулся с места, ошупью, на цыпочках прошел вдоль скамьи, выбрался в широкий средний проход и пошел по нему без помехи; только каменные плиты звенели даже от легкой поступи, и под высокими сводами слабо, но мерно и многократно возникало гулкое эхо шагов. К. чувствовал себя каким-то потерянным, двигаясь меж пустых скамей, да еще под взглядом священнослужителя, и ему казалось, что величие собора почти невыносимо вынести обыкновенному человеку. Подойдя к своему прежнему месту, он буквально на ходу схватил оставленный там альбом. Он уже почти прошел скамьи и выбрался было на свободное пространство между ними и выходом, как вдруг впервые услышал голос священника. Голос был мощный, хорошо поставленный. И как он прогремел под готовыми его принять сводами собора! Но не паству звал священник, призыв прозвучал отчетливо, уйти от него было некуда:

— Йозеф К.!

К. остановился, вперив глаза в землю. Пока еще он был на свободе, он мог идти дальше и выскользнуть через одну из трех темных деревянных дверей — они были совсем близко. Можно сделать вид, что он ничего не разобрал, а если и разобрал, то не желает обращать внимания. Но стоило ему обернуться, и он попался: значит, он отлично понял, что оклик относится к нему, и сам идет на зов. Если бы священник позвал еще раз, К. непременно ушел бы, но, сколько он ни ждал, все было тихо, и тут он немного повернул голову: ему хотелось взглянуть, что делает священник. А тот, как

прежде спокойно, стоял на кафедре, но было видно, что он заметил движение К.

Это было бы просто детской игрой в прятки, если бы К. тут не обернулся окончательно, но он обернулся, и священник тотчас помянул его пальцем к себе. Все пошло в открытую, и К., отчасти из любопытства, отчасти из желания не затягивать дело, быстрыми размашистыми шагами подбежал к кафедре. У первого ряда скамей он остановился, но священнику это расстояние показалось слишком большим, он протянул руку и резко ткнул указательным пальцем вниз, прямо перед собой, у подножия кафедры. К. подошел так близко, что ему пришлось откинуть голову, чтобы видеть священника.

— Ты Йозеф К.! — сказал священник и как-то неопределенно повел рукой, лежавшей на балюстраде.

— Да, — сказал К. и подумал, как легко и открыто он раньше называл свое имя, а вот с некоторого времени оно стало ему в тягость, теперь его имя уже заранее знали многие люди, с которыми он встречался впервые, а как приятно было раньше: сначала представиться и только после этого завязать знакомство.

— Ты — обвиняемый, — сказал священник совсем тихо.

— Да, — сказал К., — мне об этом дали знать.

— Значит, ты тот, кого я ищу, — сказал священник. — Я капеллан тюрьмы.

— Вот оно что, — сказал К.

— Я велел позвать тебя сюда, — сказал священник, — чтобы поговорить с тобой.

— Я этого не знал, — сказал К., — и пришел я сюда показать собор одному итальянцу.

— Оставь эти посторонние мысли, — сказал священник. — Что у тебя в руках, молитвенник?

— Нет, — сказал К., — это альбом местных достопримечательностей.

— Положи его! — сказал священник, и К. швырнул альбом так резко, что он раскрылся и пролетел по полу с измятыми страницами. — Знаешь ли ты, что с твоим процессом дело обстоит плохо? — спросил священник.

— Да, мне тоже так кажется, — сказал К. — Я прилагал все усилия, но пока что без всякого успеха. Правда, ходатайство еще не готово.

— А как ты себе представляешь конец? — спросил священник.

— Сначала я думал, что все кончится хорошо, — сказал К., а теперь и сам иногда сомневаюсь. Не знаю, чем это кончится. А ты знаешь?

— Нет, — сказал священник, — но боюсь, что кончится плохо. Считают, что ты виновен. Может быть, твой процесс и не выйдет за пределы низших судебных инстанций. Во всяком случае, покамест считается, что твоя вина доказана.

— Но ведь я невиновен. Это ошибка. И как человек может считаться виновным вообще? А мы тут все люди, что я, что другой.

— Правильно, — сказал священник, — но виновные всегда так говорят.

— А ты тоже предубежден против меня? — спросил К.

— Никакого предубеждения у меня нет, — сказал священник.

— Благодарю тебя за это, — сказал К. — А вот остальные, те, кто участвует в процессе, все предубеждены. Они влияют и на не участвующих. Мое положение все ухудшается.

— У тебя неверное представление о сущности дела, — сказал священник. — Приговор не выносится сразу, но разбирательство постепенно переходит в приговор.

— Вот оно как, — сказал К. и низко опустил голову.

— Что же ты намерен предпринять дальше по своему делу? — спросил священник.

— Буду и дальше искать помощи, — сказал К. и поднял голову, чтобы посмотреть, как к этому отнесется священник. — Наверно, есть неисчислимы возможности, которыми я еще не воспользовался.

— Ты слишком много ищешь помощи у других, — неодобрительно сказал священник, — особенно у женщин. Неужели ты не замечаешь, что помощь эта ненастоящая?

— В некоторых случаях, и даже довольно часто, я мог бы с тобой согласиться, — сказал К., — но далеко не всегда. У женщин огромная власть. Если бы я мог повлиять на некоторых знакомых мне женщин и они сообща поработали бы в мою пользу, я много бы добился. Особенно в этом суде — ведь там сплошь одни юбочники. Покажи следователю женщину хоть издали, и он готов перескочить через стол и через обвиняемого, лишь бы успеть ее догнать.

Священник низко наклонил голову к балюстраде. Казалось, только сейчас свод кафедры стал давить его. И что за скверная погода на улице! Там уже был не пасмурный день, там наступила глубокая ночь. Витражи огромных окон ни одним проблеском не освещали темную стену. А тут еще служка стал тушить свечи на главном алтаре одну за другой.

— Ты рассердился на меня? — спросил К. священника. — Видно, ты сам не знаешь, какому правосудию служишь.

Ответа не было.

— Конечно, я знаю только то, что меня касается, — продолжал К. И вдруг священник закричал сверху:

— Неужели ты за два шага уже ничего не видишь?

Окрик прозвучал гневно, но это был голос человека, который видит, как другой падает, и нечаянно, против воли, подымает крик, оттого что и сам испугался.

Оба надолго замолчали. Конечно, священник не мог различить К. в темноте, ступившейся вниз, зато К. ясно видел священника при свете маленькой лампы. Но почему же он не спускается вниз? Проповеди он все равно не читает, только сообщил К. сведения, которые, если подумать, могут скорее повредить, чем помочь ему. Правда, К. ничуть не сомневался в добрых намерениях священника. Вполне возможно, что он сойдет вниз и они обо всем договорятся; вполне возможно, что священник даст ему решающий и вполне приемлемый совет, например, расскажет ему не о том, как можно повлиять на процесс, а о том, как из него вырваться, как обойти его, как начать жить вне процесса. Должна же существовать и такая возможность — в последнее время К. все чаще и чаще думал о ней. А если священник знает про эту возможность, то, быть может, если его очень попросить, он откроет ее, хотя и сам принадлежит к судейскому кругу, — накричал же он на К. вопреки своей кажущейся кротости, когда К. задел правосудие.

— Не сойдешь ли ты вниз? — спросил К. — Проповеди все равно уже читать не придется. Спустись ко мне.

— Да, теперь, пожалуй, можно и сойти, — сказал священник. Должно быть, он раскаивался, что накричал. Снимая лампу с крюка, он добавил: — Сначала я должен был поговорить с тобой отсюда, на расстоянии. А то на меня очень легко повлиять, и я забываю свои обязанности.

К. ждал его внизу, у лесенки. Священник еще со ступенек, на ходу протянул ему руку.

— Ты можешь уделить мне немного времени? — спросил К.

— Столько, сколько тебе потребуется! — сказал священник и передал К. лампу, чтобы он ее нес. И вблизи в нем сохранилась какая-то торжественность осанки.

— Ты очень добр ко мне, — сказал К., и они вместе стали ходить взад и вперед по темному приделу. — Из всех судейских ты — исключение. Я доверяю тебе больше, чем всем, кого знал до сих пор. С тобой я могу говорить откровенно.

— Не заблуждайся! — сказал священник.

— В чем же это мне не заблуждаться? — спросил К.

— Ты заблуждаешься в оценке суда, — сказал священник. — Вот что сказано об этом заблуждении во Введении к Закону. У врат Закона стоит привратник. И приходит к привратнику поселянин и просит пропустить его к Закону. Но привратник говорит, что в настоящую минуту он пропустить его не может. И подумал проситель и вновь спрашивает, может ли он войти туда впоследствии? «Возможно, — отвечает привратник, — но сейчас войти нельзя». Однако врата Закона, как всегда, открыты, а привратник стоит в стороне, и проситель, наклонившись, старается заглянуть в недра Закона. Увидев это, привратник смеется и говорит: «Если тебе так не терпится — попытайся войти, не слушай моего запрета. Но знай: могущество мое велико. А ведь я только самый ничтожный из стражей. Там, от покоя к покою, стоят привратники, один могущественнее другого. Уже третий из них внушал мне невыносимый страх». Не ожидал таких препон поселянин, ведь доступ к Закону должен быть открыт для всех в любой час, подумал он; но тут он пристальнее взглянул на привратника, на его тяжелую шубу, на острый горбатый нос, на длинную жидкую черную монгольскую бороду и решил, что лучше подождать, пока не разрешат войти. Привратник подал ему скамеечку и позволил присесть в стороне, у входа. И сидит он там день за днем и год за годом. Непрестанно добивается он, чтобы его впустили, и докучает привратнику этими просьбами. Иногда привратник допрашивает его, выпытывает, откуда он родом и многое другое, но вопросы задает безучастно, как важный господин, и под конец непрестанно повторяет, что пропустить его он еще не может. Много добра взял с собой в дорогу поселянин, и все, даже самое ценное, он отдает, чтобы подкупить привратника. А тот все

принимает, но при этом говорит: «Беру, чтобы ты не думал, будто ты что-то упустил». Идут года, внимание просителя неотступно приковано к привратнику. Он забыл, что есть еще другие стражи, и ему кажется, что только этот, первый, преграждает ему доступ к Закону. В первые годы он громко клянет эту свою неудачу, а потом приходит старость, и он только ворчит про себя. Наконец он впадает в детство, и, оттого что он столько лет изучал привратника и знает каждую блоху в его меховом воротнике, он молит даже этих блох помочь ему уговорить привратника. Уже меркнет свет в его глазах, и он не понимает, потемнело ли все вокруг, или его обманывает зрение. Но теперь во тьме он видит, что неугасимый свет струится из врат Закона. И вот жизнь его подходит к концу. Перед смертью все, что он испытал за долгие годы, сводится в его мыслях к одному вопросу — этот вопрос он еще ни разу не задавал привратнику. Он подзывает его кивком — окончившее тело уже не повинуется ему, подняться он не может. И привратнику приходится низко наклониться — теперь по сравнению с ним проситель стал совсем ничтожного роста. «Что тебе еще нужно узнать? — спрашивает привратник. — Ненасытный ты человек!» — «Ведь все люди стремятся к Закону, — говорит тот, — как же случилось, что за все эти долгие годы никто, кроме меня, не требовал, чтобы его пропустили?» И привратник, видя, что поселянин уже совсем отходит, кричит изо всех сил, чтобы тот еще успел услышать ответ: «Никому сюда входа нет, эти врата были предназначены для тебя одного! Теперь пойду и запру их».

— Значит, привратник обманул этого человека, — торопливо сказал К. Его всерьез захватил этот рассказ.

— Не торопись, — сказал священник, — и не принимай чужих слов на веру. Я рассказал тебе эту притчу так, как она стоит во Введении. Там ничего не говорится про обман.

— Но ведь это же ясно, — сказал К., и первое твое толкование было совершенно правильно. Привратник только тогда открыл спасительную правду, когда этому человеку уже ничем нельзя было помочь.

— А раньше его не спрашивали, — сказал священник. — И не забывай, что он был только привратником и свой долг выполнял честно.

— Почему ты считаешь, что он выполнял свой долг? — спросил К. Вовсе он его не выполнял. Может быть, его долг был не пускать ту-

да посторонних, но уж того человека, для которого вход был предназначен, он обязан был впустить.

— Ты недостаточно уважаешь Свод Законов, — сказал священник, — потому и переосмыслил эту притчу. А в ней есть два важных объяснения привратника насчет допуска к Закону: одно в начале, другое в конце. Первое гласит, что в настоящую минуту привратник его допустить не может, а второе — что этот вход предназначен только для него. Если бы между этими двумя объяснениями было какое-то противоречие, ты был бы прав и привратник действительно обманул бы этого человека. Но тут никакого противоречия нет. Напротив, первое объяснение уже ведет ко второму. Можно даже сказать, что привратник преступает свой долг тем, что подает этому человеку надежду на то, что впоследствии его туда впустят. А в то же время его единственной обязанностью было не впускать этого человека, и многие толкователи Закона всерьез удивляются, что привратник вообще допускает этот намек, так как он, по-видимому, любит точность и строго следует своим обязанностям. Многие годы он не покидал свой пост и только под конец запирает врата; он полон сознания важности своей службы и прямо говорит: «Могущество мое велико»; он уважает вышестоящих и прямо говорит: «Я только самый ничтожный из стражей»; он не болтлив, потому что за все эти годы задает только, как там сказано, «безучастные» вопросы; он неподкупен, потому что, принимая подарки, говорит: «Беру, чтобы ты не думал, будто ты что-то упустил», а там, где речь идет о его долге, ничто не может ни смягчить, ни ожесточить его: там прямо сказано, что этот человек «докучает привратнику своими просьбами», и, наконец, самое описание его внешности говорит о педантичном складе его характера: и острый горбатый нос, и длинная жидкая черная монгольская борода. Разве найдешь более преданного привратника? Но в привратнике проявляются и другие черты, весьма выгодные для того, кто требует пропуск, и если их понять, то поймешь также, почему он, намекая на какие-то будущие возможности, в какой-то мере превышает свои полномочия. Скрывать не приходится — он несколько скудоумен и в связи с этим слишком высокого мнения о себе. И если даже его слова о своем могуществе и о могуществе других привратников, чей вид ему и самому невыносим, — если, как я уже сказал, эти его слова сами по себе справедливы, то по манере выразиться ясно видно, как его восприятие ограничено и скудоуми-

ем, и самомнением. Толкователи говорят об этом так: «Правильное восприятие явления и неправильное толкование того же явления никогда полностью взаимно не исключаются». Однако надо признать, что скудоумие и самомнение, в какой бы малой степени они ни наличествовали, являются недостатками характера привратника, они ослабляют охрану врат. Надо еще добавить, что по природе этот привратник как будто дружелюбный человек, он вовсе не всегда держится как лицо официальное. В первую же минуту он шуточки ради приглашает просителя войти, хотя и намерен строго соблюдать запрет, да и потом не прогоняет его, а, как сказано, дает ему скамеечку и разрешает присесть в стороне у входа. И терпение, с которым он столько лет подряд выслушивает просьбы этого человека, и краткие расспросы, и прием подарков, и, наконец, то благородство, с каким он терпит, когда поселянин громко проклинает свою неудачу, зачем именно этого привратника поставили тут, все это дает повод заключить, что в душе привратника шевелится сострадание. На его месте не всякий поступил бы так. И под конец он наклонился к этому человеку по одному его кивку, чтобы выслушать последний вопрос. И только в возгласе: «Ненасытный ты человек!» — прорывается легкое нетерпение; ведь привратник знает, что всему конец. А некоторые идут в толковании этого возгласа даже дальше, они считают, что слова «Ненасытный ты человек!» выражают своего рода дружеское восхищение, не лишенное, конечно, некоторой снисходительности. Во всяком случае, образ привратника встает совсем в другом свете, чем тебе представляется.

— Ты знаком с этой историей и лучше, и дольше, чем я, — сказал К. Они помолчали. Потом К. сказал: — Значит, ты считаешь, что этого человека не обманули?

— Не толкуй мои слова превратно, — сказал священник, — я только изложил тебе существующие толкования. Но ты не должен слишком обращать на них внимание. Сам Свод Законов неизменен, и все толкования только выражают мнение тех, кого это приводит в отчаяние. Есть даже такое толкование, по которому обманутым является сам привратник.

— Ну это очень отдаленное толкование, — сказал К. — На чем же оно основано?

— Основано оно, — сказал священник, — на скудоумии привратника. О нем сказано, что он ничего не знает о недрах Закона и ему из-



вестна только та тропа перед воротами, по которой он должен ходить взад и вперед. Считается, что его представление о недрах Закона — сушее ребячество, и предполагают, что он сам боится того, чем пугает просителя. Больше того, его страх куда сильнее страха просителя — тот только и жаждет войти в недра Закона, даже услышав о страшных их стражах, а привратник и войти не хочет, по крайней мере, об этом ничего не сказано. Правда, другие говорят, что он, видимо, уже побывал там, внутри, потому что принимали же его когда-то на службу в суд, а это могло произойти только в самих недрах. Но на это возражают, что его назначил привратником чей-то голос оттуда и что туда, в самые недра, он, конечно, не проникал, потому что уже один вид третьего стража внушал ему невыносимый страх. К тому же нигде не сказано, что за все эти годы он сообщил хоть что-нибудь о недрах Закона. Может быть, ему это запрещено, но и о запрещении он ни слова не говорит. Из всего этого можно заключить, что он сам не знает ни того, что творится в недрах Закона, ни того, какой в этом смысл, и все время находится в заблуждении. Но выходит так, что он, по-видимому, заблуждается и насчет этого просителя, ибо привратник, сам того не ведая, подчинен просителю. То, что он обращается с просителем как с подчиненным, ясно видно во многом, и ты, наверно, помнишь, в чем именно. Но то, что в сущности подчиненным является привратник, тоже видно не менее ясно, как говорит другое толкование. Всегда свободный человек выше связанного. А проситель, в сущности, человек свободный, он может уйти, куда захочет, лишь вход в недра Закона ему воспрещается, причем запрет наложен единственно только этим привратником. И если он садится в сторонке на скамеечку у врат и просиживает там всю жизнь, то делает он это добровольно, и ни о каком принуждении притча не упоминает. Привратник же связан своей должностью с постом, он не может уйти с поста, но и в недра Закона он, при всем желании, войти не может. Кроме того, хоть он и служит Закону, но служба его ограничена только этим входом, то есть служит он только этому человеку, единственному, для кого предназначен вход. Выходит, что и по этой причине привратник подвластен просителю. Приходится предположить, что много лет — то есть, в сущности, все свои зрелые годы — он служил, так сказать, впустую, потому что в притче сказано, что к нему пришел мужчина, а под этим разумеется зрелый муж, и, значит, привратник был вынужден долго ждать, прежде чем ему бу-

дет дано выполнить свой долг, притом ждать именно столько, сколько угодно тому человеку, ибо тот пришел по своей воле, когда захотел. Да и кончается его служба только с окончанием жизни этого человека, значит, до самого конца привратник ему подвластен. И много раз в притче подтверждается, что, по всей видимости, привратнику об этом ничего не известно. Но толкователи не узрели тут ничего удивительного, потому что, согласно этому толкованию, привратник находится в еще более тяжком заблуждении, ибо оно касается его должности. Мы слышим, как в конце притчи он говорит: «Теперь я пойду и запру их», но в начале сказано, что врата в Закон открыты, «как всегда», а если они всегда открыты — именно всегда, независимо от продолжительности жизни того человека, для которого они предназначены, — значит, и привратник закрыть их не может. Тут толкования расходятся: хочет ли привратник, сообщая о том, что он закроет врата, только дать ответ или подчеркнуть свои обязанности, или же он стремится в последнюю минуту повергнуть просителя в горечь и раскаяние. Но многие сходятся на том, что закрыть врата он не сможет. Считается даже, что под конец он и в познании истины стоит ниже того человека, потому что тот видит неугасимый свет, что струится из врат Закона, а привратник, охраняя вход, очевидно, стоит спиной к вратам и ничем не выказывает, что заметил какие-либо изменения.

— Все это отлично обосновано, — сказал К., негромко повторявший про себя отдельные места из разъяснений священника. — Обосновано все хорошо, и я тоже верю, что привратник заблуждается. Однако прежнее мое утверждение все же остается в силе, потому что оба толкования частично совпадают. Совершенно неважно, понимает ли привратник все до конца или введен в заблуждение. Я сказал, что введен в заблуждение проситель. Можно было бы усомниться в этом, если бы привратник все понимал до конца, но если и привратник обманут, то его заблуждения непременно передаются просителю. Тогда, конечно, сам привратник не является обманщиком, но, значит, он столь скудоумен, что его немедленно надо было бы выгнать со службы. Не упускай из виду, что заблуждение привратника самому ему никак не вредит, а просителю наносит непоправимый вред.

— Тут ты столкнешься с совершенно противоположным толкованием, — сказал священник. — Многие, например, считают, что

эта притча никому не дает права судить о привратнике. Каким бы он нам ни казался, он слуга Закона, а значит, причастен к Закону, значит, суду человеческому не подлежит. Но тогда нельзя и считать, что привратник подвластен просителю. Быть связанным с Законом хотя бы тем, что стоишь на страже у врат, неизмеримо важнее, чем жить на свете свободным. Тот человек только подходит к Закону, тогда как привратник уже стоит там. Закон определил его на службу, и усомниться в достоинствах привратника — значит усомниться в Законе.

— Нет, с этим мнением я никак не согласен, — сказал К. и покачал головой. — Если так думать, значит, надо принимать за правду все, что говорит привратник. А ты сам только что вполне обоснованно доказал, что это невозможно.

— Нет, — сказал священник, — вовсе не надо все принимать за правду, надо только осознать необходимость всего.

— Печальный вывод! — сказал К. Ложь возводится в систему.

К. сказал это, как бы подводя итог, но окончательного вывода не сделал. Слишком он устал, чтобы проследить все толкования этой притчи, да и ход мыслей, вызванный ею, был ему непривычен. Эти отвлеченные измышления скорее годилось обсуждать компании судебных чиновников, нежели ему. Простая притча стала расплывчатой, ему хотелось выбросить ее из головы, и священник проявил тут удивительный такт, молча приняв последнее замечание К., хотя оно явно противоречило его собственному мнению.

Молча шли они рядом. К. старался держаться как можно ближе к священнику, не понимая, где он находится. Лампа у него в руках давно погасла. Вдруг прямо против него серебряное изображение какого-то святого блеснуло отсветом серебра и сразу слилось с темнотой. Не желая быть полностью зависимым от священника, К. спросил его:

— Мы, кажется, подходим к главному выходу?

— Нет, — сказал священник, — мы очень далеко от него. А разве ты уже хочешь уйти?

И хотя К. за минуту до того не думал об уходе, он сразу ответил:

— Конечно, мне необходимо уйти. Я служу прокуристом в банке, меня ждут, я пришел сюда, только чтобы показать собор одному деловому знакомому, иностранцу.

— Ну что ж, — сказал священник и подал К. руку, — тогда иди.

— Да мне в темноте одному не выбраться, — сказал К.

— Иди к левой стороне, — сказал священник, — потом, не сворачивая, вдоль этой стены, и ты найдешь выход.

Священник уже отошел на несколько шагов, и тут К. крикнул ему очень громко:

— Подожди, прошу тебя!

— Я жду! — сказал священник.

— Тебе больше ничего от меня не нужно? — спросил К.

— Нет, — сказал священник.

— Но ты был так добр ко мне сначала, — сказал К., — все объяснил мне, а теперь отпускаешь меня, будто тебе до меня дела нет.

— Но ведь тебе нужно уйти? — сказал священник.

— Да, конечно, — сказал К. — Ты должен понять меня.

— Сначала ты должен понять, кто я такой, — сказал священник.

— Ты тюремный капеллан, — сказал К. и снова подошел к священнику; ему вовсе не надо было так срочно возвращаться в банк, как он это изобразил, он вполне мог еще побыть тут.

— Значит, я тоже служу суду, — сказал священник. — Почему же мне должно быть что-то нужно от тебя? Суду ничего от тебя не нужно. Суд принимает тебя, когда ты приходишь, и отпускает, когда ты уходишь.

## Глава десятая

### Конец

Накануне того дня, когда К. исполнился тридцать один год, — было около девяти вечера, и уличный шум уже стихал, — на квартиру к нему явились два господина в сюртуках, бледные, одутловатые, в цилиндрах, словно приросших к голове. После обычного обмена учтивостями у входной двери — кому войти первому — они еще более учтиво стали пропускать друг друга у двери комнаты К. Хотя его никто не предупредил о визите, он уже сидел у двери на стуле с таким видом, с каким обычно ждут гостей, весь в черном, и медленно натягивал новые черные перчатки, тесно облежавшие пальцы. Он сразу встал и с любопытством поглядел на господ.

— Значит, меня поручили вам? — спросил он.

Оба господина кивнули, и каждый повел рукой с цилиндром в сторону другого. К. признался себе, что ждал не таких посетителей. Он подошел к окну и еще раз посмотрел на темную улицу. На той стороне почти во всех окнах уже было темно, во многих спустили занавеси. В одном из освещенных окон верхнего этажа за решеткой играли маленькие дети, они тянулись друг к другу ручонками, еще не умея встать на ножки.

«Посылают за мной старых отставных актеров, — сказал себе К. и оглянулся, чтобы еще раз удостовериться в этом. — Дешево же они хотят от меня отделаться».

К. вдруг обернулся к ним и спросил:

— В каком театре вы играете?

— В театре? — спросил один господин у другого, словно советуясь с ним, и уголки его губ дрогнули. Другой стал гримасничать, как немой, который пытается перебороть свою немощь.

Видно, они не подготовились к вопросам, сказал К. про себя и пошел за своей шляпой.

Оба господина хотели взять К. под руки уже на лестнице, но он сказал:

— Нет, возьмете на улице, я же не больной.

Но у самых ворот они повисли на нем так, как еще ни разу в жизни никто не висел. Притиснув сзади плечо к его плечу и не сгибая локтей, каждый обвил рукой руку К. по всей длине и сжал его кисть заученной, привычной, непреодолимой хваткой. К. шел, выпрямившись, между ними, и все трое так слились в одно целое, что, если бы ударить по одному из них, удар пришелся бы по всем трем. Такая слитность присуща, пожалуй, только неодушевленным предметам.

Под каждым фонарем К. пытался разглядеть своих спутников лучше, чем можно было в полутьме его комнаты, хотя это было очень трудно при таком тесном соприкосновении. Может быть, они теныры, подумал он, разглядев их двойные подбородки. Ему были противны их лоснящиеся чистотой физиономии. Казалось, что буквально видишь руку, которая прочистила им углы глаз, вытерла верхнюю губу, выскребла складки на подбородке.

Разглядев их, К. остановился, и с ним остановились оба господина; они оказались на краю пустой, безлюдной, засаженной кустарником площади.

— Почему это послали именно вас? — крикнул К. скорее нетерпеливо, чем вопросительно. Те явно не знали, что ответить, и ждали, опустив свободную руку, как ждут санитары, когда больной останавливается передохнуть.

— Дальше я не пойду, — сказал К., нащупывая почву.

На это им отвечать не понадобилось, они просто, не ослабляя хватки, попытались сдвинуть К. с места, но он не поддался. «Больше уж мне мои силы не понадобятся, нужно хоть сейчас напрячь их всюю», — подумал К., и ему вспомнилось, как мухи отдираются от липкой бумаги и при этом отрывают себе ножки. Да, этим господам придется туго.

И тут на маленькой лесенке, которая вела на площадь с улочки, лежавшей внизу, показалась фройляйн Бюрстнер. К. был не совсем уверен, она ли это, хотя сходство было большое. Но для К. не имело никакого значения, была ли то фройляйн Бюрстнер или нет, просто он вдруг осознал всю бессмысленность сопротивления. Ничего героического не будет в том, что он вдруг станет сопротивляться, доставит этим господам лишние хлопоты, попытается в самообороне ощутить напоследок хоть какую-то видимость жизни. Он двинулся с места, и радость, которую он этим доставил обоим господам, отчасти передалась и ему. Они дали ему возможность направлять их шаги, и он направил их в ту же сторону, куда шла перед ним фройляйн Бюрстнер, но не потому, что хотел ее догнать, не потому, что хотел видеть ее подольше, а лишь для того, чтобы не забыть то предзнаменование, которое он в ней увидел. «Единственное, что мне остается сейчас сделать, — сказал он себе, и равномерный шаг его самого и его спутников как бы подкреплял эту мысль, — единственное, что я могу сейчас сделать, — это сохранить до конца ясность ума и суждения. Всегда мне хотелось хватать жизнь в двадцать рук, но далеко не всегда с похвальной целью. И это было неправильно. Неужто и сейчас я покажу, что даже процесс, длившийся целый год, ничему меня не научил? Неужто я так и уйду тупым упрямым? Неужто про меня потом скажут, что в начале процесса я стремился его окончить, а теперь, в конце, — начать сначала? Нет, не желаю, чтобы так говорили! Я благодарен, что на этом пути мне в спутники даны эти полунемые, бесчувственные люди и что мне предоставлено самому сказать себе все, что нужно».

Между тем фройляйн Бюрстнер уже свернула на боковую улицу, но К. мог теперь обойтись и без нее и отдался на волю своих провожатых. В полном согласии они перешли втроем мост, освещенный луной; оба господина беспрекословно следовали самому малейшему движению К., и, когда он повернулся к перилам, оба всем телом повернулись за ним. Вода, переливаясь и дрожа в лунном свете, струилась вокруг маленького острова, где, словно теснясь друг к дружке, густо росли кусты и деревья. Дорожки, усыпанные гравием, — сейчас их не было видно — вели к удобным скамейкам, где К. летом часто отдыхал, позевывая и потягиваясь всем телом.

— А я вовсе и не хотел тут останавливаться, — сказал К. своим спутникам, пристыженный их беспрекословной готовностью.

К. показалось, что за его спиной один мягко упрекнул другого в недогадливости, и они двинулись дальше.

Улицы пошли в гору, кое-где им навстречу попадались полицейские, стоявшие на посту или расхаживавшие по мостовой; они проходили то в отдалении, то совсем близко. Один из них, с пышными усами, держа руку на эфесе сабли, словно нарочно подошел вплотную к этой несколько подозрительной группе. Оба господина остановились, полицейский открыл было рот, но тут К. рывком потянул их обоих вперед. На ходу К. то и дело осторожно озирался, чтобы увидеть, не пошел ли полицейский за ними; а когда они завернули от него за угол, К. побежал, и его спутникам пришлось, несмотря на одышку, бежать вместе с ним.

Вскоре они оказались за городом, где сразу, почти без перехода, начинались поля. Небольшая каменоломня, заброшенная и пустая, лежала у здания еще совершенно городского вида. Здесь оба господина остановились: то ли они наметили это место заранее, то ли слишком устали, чтобы бежать дальше. Они отпустили К., молча ожидавшего, что же будет, сняли цилиндры и, оглядывая каменоломню, отерли носовыми платками пот со лба. На всем лежало лунное сияние в том естественном спокойствии, какое ни одному другому свету не присуще.

После обмена вежливыми репликами о том, кому выполнять следующую часть задания, — очевидно, обязанности этих господ точно распределены не были, — один из них подошел к К. и снял с него пиджак, жилетку и, наконец, рубаху. К. невольно вздрогнул от

озноба, и господин ободряюще похлопал его по спине. Потом он аккуратно сложил вещи, как будто ими придется воспользоваться, — правда, не в ближайшее время. Чтобы К. не стоял неподвижно в осязаемой ночной прохладе, он взял его под руку и стал ходить с ним взад и вперед, пока второй господин искал в каменоломне подходящее место. Найдя его, тот помахал им рукой, и первый господин подвел К. туда. У самого шурфа лежал отколотый камень. Оба господина посадили К. на землю, прислонили к стене и уложили головой на камень. Но, несмотря на все их усилия, несмотря на то, что К. старался как-то им содействовать, его поза оставалась напряженной и неестественной. Поэтому первый господин попросил второго дать ему одному попробовать уложить К. поудобнее, но и это не помогло. В конце концов они оставили К. лежать, как он лег, хотя с первого раза им удалось уложить его лучше, чем теперь. Потом первый господин расстегнул сюртук и вынул из ножен, висевших на пояском ремне поверх жилетки, длинный тонкий обоюдоострый нож мясника и, подняв его, проверил на свету, хорошо ли он отточен. Снова начался отвратительный обмен учтивостями: первый подал нож второму через голову К., второй вернул его первому тоже через голову К. И внезапно К. понял, что должен был бы схватить нож, который передавали из рук в руки над его головой, и вонзить его в себя. Но он этого не сделал, только повернул еще не тронутую шею и посмотрел вокруг. Он не смог выполнить свой долг до конца и снять с властей всю работу, но отвечает за эту последнюю ошибку тот, кто отказал ему в последней капле нужной для этого силы. Взгляд его упал на верхний этаж дома, примыкавшего к каменоломне. И как вспыхивает свет, так вдруг распахнулось окно там, наверху, и человек, казавшийся издали, в высоте, слабым и тонким, порывисто наклонился далеко вперед и протянул руки еще дальше. Кто это был? Друг? Просто добрый человек? Сочувствовал ли он? Хотел ли он помочь? Был ли он одинок? Или за ним стояли все? Может быть, все хотели помочь? Может быть, забыты еще какие-нибудь аргументы? Несомненно, такие аргументы существовали, и хотя логика непоколебима, но против человека, который хочет жить, и она устоять не может. Где судья, которого он ни разу не видел? Где высокий суд, куда он так и не попал? К. поднял руки и развел ладони.



Но уже на его горло легли руки первого господина, а второй вонзил ему нож глубоко в сердце и повернул его дважды. Потухшими глазами К. видел, как оба господина у самого его лица, прильнув щекой к щеке, наблюдали за развязкой.

— Как собака, — сказал он так, как будто этому позору суждено было пережить его.

Америка

## 1. Кочегар

Когда семнадцатилетний Карл Росман, высланный родителями в Америку за то, что его соблазнила забеременевшая от него служанка, на усталом, замедляющем ход корабле плавно входил в нью-йоркскую гавань, он вдруг по-новому, будто в неожиданной вспышке солнечного света увидел статую Свободы, на которую смотрел давно, еще издали. Казалось, меч в ее длани только-только взмыл ввысь, а всю фигуру овевают вольные ветры.

«Высоченная!» — подумал он, вовсе не торопясь на берег и даже не заметив, как хлынувшая на палубу толпа носильщиков мало-помалу оттеснила его к самым бортовым поручням.

Молодой человек, с которым они мельком познакомились в дороге, проходя мимо, спросил:

— Вы что же, сходить не думаете?

— Да я-то готов, — ответил Карл с усмешкой и, то ли из озорства, то ли просто от избытка молодых сил, вскинул чемодан на плечо.

Но, едва глянув вслед своему знакомцу, который уже удалялся вместе со всеми, небрежно поигрывая тросточкой, Карл вдруг вспомнил, что оставил внизу свой зонтик. Карл тотчас же окликнул молодого человека и попросил о любезности — тот, похоже, не слишком-то был обрадован просьбой — присмотреть за чемоданом, а сам, наскоро оглядевшись, чтобы запомнить место, поспешил вниз. Там, однако, он, к досаде своей, обнаружил, что проход, которым скорее

всего можно было добраться, впервые за время поездки почему-то — очевидно, в связи с выгрузкой пассажиров — заперт, и в поисках другой дороги пустился плутать по лабиринту комнат, кают, залов, по бесконечным, к тому же петляющим коридорам, по лестницам, хоть и не длинным, но многочисленным, миновал чей-то пустой кабинет с покинутым письменным столом посередине, покуда не понял — ведь он и ходил-то прежде этим путем всего раз или два, да и то не один, а в компании, — что и вправду окончательно заблудился. От растерянности — ибо вокруг не было ни души, только слышалось над головой шарканье тысяч ног да еще, откуда-то издали, слабый, как дыхание, уже стихающий гул застопоренных машин, — он, недолго думая, принялся колотить в первую попавшуюся дверь, на которую наткнулся в своих блужданиях.

— Да открыто! — послышалось изнутри, и Карл со вздохом облегчения распахнул дверь. — Что вы колотите как сумасшедший? — недовольно спросил здоровенный мужчина, толком даже не взглянув на Карла.

Через отверстие в потолке тусклый, как бы уже отработанный наверху свет сочился в убогую клетушку, где, тесно прижатые друг к другу, громоздились, словно в кладовке, койка, шкаф, стул и этот мужчина.

— Я заблудился, — признался Карл. — В дороге я как-то не замечал, а это, оказывается, жутко большой корабль.

— Да, тут вы правы, — не без гордости согласился мужчина, не переставая возиться с замком небольшого чемодана, на крышку которого он налегал в предвкушении долгожданного щелчка. — Входите же, — сказал он нетерпеливо. — Нечего на пороге стоять.

— А я не помешаю? — спросил Карл.

— Да чем вы можете помешать?

— Вы — немец? — на всякий случай осведомился Карл, наслышанный об опасностях, которые подстерегают в Америке новоприбывших, особенно со стороны ирландцев.

— Немец, немец, — подтвердил мужчина.

Карл все еще колебался. Внезапно мужчина потянулся к дверной ручке и одним рывком прикрыл дверь, впихнув таким образом Карла в каюту.

— Терпеть не могу, когда на меня глазают из коридора, — буркнул он, снова принимаясь за непокорный чемодан. — И вот, понимаешь, ходят-глазуют, никакого терпения не хватит.

— Но в коридоре-то никого нет, — удивился Карл, в неудобной позе притиснутый к краю койки.

— Это сейчас никого, — раздраженно возразил мужчина.

«Так ведь и речь о том, что сейчас, — мысленно удивился Карл. — С ним, однако, непросто договориться».

— А вы ложитесь на койку, там просторней, — посоветовал мужчина.

С грехом пополам Карл влез на койку и тут же рассмеялся над своей тщетной попыткой покачаться на сетке. Но, не успев толком лечь, спохватился:

— Господи, я же совсем забыл про чемодан!

— А где он?

— На палубе, знакомый один там его стережет. Как же его зовут? — И, порывшись в потайном кармане, который мама нашла в дорогу на подкладку пиджака, Карл извлек оттуда визитную карточку.

— Вот, Буттербаум. Франц Буттербаум.

— Чемодан очень вам нужен?

— Конечно.

— Тогда зачем же вы доверили его чужому человеку?

— Я зонтик внизу забыл, ну и побежал, а чемодан тащить не хотелось. А теперь вот еще и заблудился.

— Вы один едете? Без взрослых?

— Один. — «Наверно, стоит держаться этого человека, — мелькнуло у Карла, — более надежного друга мне здесь так сразу все равно не найти».

— А теперь еще чемодан потеряли. О зонтике я уже не говорю. — Мужчина уселся на стул, словно положение Карла только сейчас до некоторой степени стало его занимать.

— Ну чемодан-то, наверное, еще не пропал.

— Блажен, кто верует, — хмыкнул мужчина и энергично запустил руку в свои темные, короткие и очень густые волосы. — На корабле, знаете ли, какой порт — такие и нравы. В Гамбурге этот ваш Буттербаум, может, еще и посторожил бы чемодан, а здесь, скорей всего, об них и след простыл.

— Но тогда мне надо бежать! — вскинулся Карл, соображая, как бы поскорее выбраться.

— Да лежите вы! — распорядился мужчина и прямо-таки грубо толкнул Карла в грудь, укладывая обратно на койку.

— Это почему же? — запротестовал Карл, начиная злиться.

— Потому что смысла нет, — пояснил мужчина. — Скоро я тоже пойду, вместе и выйдем. А чемодан либо уже украли, и тогда дело дрянь, можете оплакивать его хоть до скончания века, либо этот ваш приятель его стережет, тогда он совсем дурак и пусть постережет еще; ну а если он просто порядочный человек — значит, чемодан оставил, а сам ушел, народ к тому времени схлынет, легче найдем. И зонтик ваш тоже.

— А вы хорошо знаете корабль? — спросил Карл недоверчиво, ибо в доводах незнакомца, вообще-то здравых, — дескать, на пустом корабле вещи отыскать легче, — ему почудился некий подвох.

— Так я же тут кочегар, — ответил тот.

— Вы — корабельный кочегар? — вскричал Карл с таким восторгом, будто эта новость превзошла все его ожидания, и даже привстал на локте, рассматривая мужчину во все глаза. — Около каюты, где мы спали со словом, был такой люк, и можно было заглянуть в машинное отделение.

— Ну да, там я и работал, — подтвердил кочегар.

— А я всегда техникой интересовался, — продолжил Карл, все еще думая о своем. — И обязательно стал бы инженером, если бы не пришлось в Америку отправиться.

— Зачем же тогда отправились?

— Да так, — уклончиво ответил Карл, взмахом руки отменяя все дальнейшие объяснения.

— Значит, была причина, — рассудил кочегар, и было не ясно, то ли он хочет, чтобы Карл об этой причине рассказал, то ли наоборот.

— Теперь вот и я могу стать кочегаром, — сказал Карл. — Моим родителям уже все равно, кем я стану.

— Мое место освобождается, — сообщил кочегар, демонстративно засунул руки в карманы своих мятых, стального цвета дерюжных штанов и, вытянув ноги, забросил их на койку. Карлу пришлось потесниться к стене.

— Вы уходите с корабля?

— Так точно, сегодня отчаливаю.

— Но почему? Вам что, не нравится здесь?

— В том-то и штука, что нашего брата не больно спрашивают, нравится ему или нет. Хотя, вообще-то, вы правы, да, мне здесь не нравится. Вы, конечно, не всерьез в кочегары надумали, но учтите, именно

так проще всего в кочегары и угодить. Только я вам решительно не советую. Коли вы в Европе хотели учиться — почему бы здесь вам не хотеть того же. Американские университеты даже куда лучше.

— Так-то оно так, — согласился Карл. — Но на это деньги нужны, а у меня их считай что нет. Правда, у кого-то я читал, что днем он работал, а ночами учился, пока не стал доктором наук и, кажется, даже бургомистром. Но ведь это какое терпение нужно, верно? А у меня, боюсь, терпения не хватит. Да и учился я не особенно хорошо и, честно сказать, не очень-то горевал, когда пришлось школу бросить. А здесь, наверно, в школах еще строже. И английского я почти не знаю. К тому же иностранцев тут, по-моему, не слишком-то жалуют.

— А, вы тоже, значит, это заметили? Ну тогда все в порядке. Тогда вы свой человек. Сами посудите, ведь мы на немецком корабле, компания «Гамбург — Америка», почему же, спрашивается, здесь работают не одни только немцы? Почему главный механик — румын? Шубаль его фамилия. Это же неслыханно. Нами, немцами, на немецком корабле помыкает эта скотина! Вы не подумайте, — тут у него от возмущения даже дыхание перехватило, и он замахал руками, — не подумайте, что я вас разжалобить хочу. Я же вижу, вы не бог весть какая птица и сами паренек небогатый. Но уж больно все это мерзко! — с этими словами он несколько раз пристукнул кулаком по столу, не спуская глаз с точки, по которой бил. — Ведь я на стольких кораблях служил! — Тут он одним духом выпалил подряд названий двадцать, Карл совсем запутался. — И отлично служил, меня хвалили, я был честный работник моих капитанов, а на торговом паруснике я даже несколько лет проходил, — тут он привстал, словно торговый парусник был вершиной его жизни, — а здесь, в этом гробу, где все по струночке, где и пошутить нельзя, — здесь я, выходит, ни на что не гожусь, только болтаюсь у Шубаля под ногами, здесь я лодырь, которого давно пора выгнать, а жалованье получаю только из милости. Вы можете это понять? Я — нет.

— Вы не должны этого так оставлять, — сказал Карл взволнованно. Он почти забыл, где находится: шаткий пол корабля, незнакомый континент за бортом — все куда-то ушло, так уютно было ему на койке у кочегара. — А у капитана вы были? У него искали защиты?

— Эх, шли бы вы, шли бы вы лучше! Зачем вы мне здесь? Не слушаете, что вам говорят, а еще лезете с советами! Ну как, как я пойду к капитану?

И кочегар снова как-то обреченно сел, спрятав лицо в ладонях.

«Лучшего совета я ему дать не могу», — подумал Карл. И вообще, решил он, куда умнее, пока не поздно, сходить за чемоданом, чем давать здесь советы, которые вдобавок считают дурацкими. Когда отец на прощанье вручил ему чемодан, он как бы в шутку заметил: «Долго ли он у тебя проживет?..» — и теперь вот, действительно, этот чемодан, верный его попутчик, кажется, уже не в шутку, а по-настоящему потерян. Тут, пожалуй, только одно утешение — что отец ничего о пропаже не узнает, как не узнает и о нем самом, даже если вздумает наводить справки. До Нью-Йорка добрался, — вот и все, что ему в корабельной компании сообщат. Жаль только, что были в чемодане и почти не ношенные вещи, хотя ему, к примеру, давно бы пора сменить рубашку. Выходит, он проявил бережливость не там, где надо; именно сейчас, на пороге самостоятельной жизни, когда просто необходимо опрятно выглядеть, он будет шеголять в грязной рубашке. Хорошее начало, нечего сказать! Если бы не это, потерю вполне можно пережить, костюм на нем даже лучше, чем тот, что в чемодане, тот костюм вообще на черный день, мама перед самым отъездом срочно его штопала. Однако тут он вспомнил, что в чемодане осталась еще палка копченой колбасы, веронская салями, мама в последнюю минуту успела ему эту колбасу тайком сунуть, он и отрезал-то всего ничего, есть почему-то всю дорогу не хотелось, и супа, что раздавали на полупалубе, ему хватало за глаза. Но теперь колбаса была бы очень даже кстати, он подарил бы ее кочегару. Таких людей легко расположить, подсунув им любую мелочь, Карл хорошо это знал по отцу, тот всех низших чинов, с которыми приходилось иметь дело, задабривал сигаретами. Теперь же из того, что можно подарить, у Карла остались только деньги, но деньги он пока что — тем более раз уж он и чемодана вроде бы лишился — трогать не будет. Мысли его снова вернулись к чемодану, и теперь он и вправду не мог уразуметь, чего ради всю дорогу за этот чемодан тряся, почти не спал из-за него, если потом так вот запросто отдал его в чужие руки. Он вспомнил, как пять ночей подряд глаз не смыкал, а все из-за маленького словака, который спал через две койки слева, — Карл наверное знал, что тот на его чемодан зарится. Казалось, он только и ждет, когда Карл, сморенный усталостью, на секунду задремлет, чтобы длинной тростью — он день-деньской с этой тростью то ли играл, то ли упражнялся — перетянуть чемодан к себе. Днем-то этот словак выглядел вполне безо-



бидно, но с наступлением ночи он то и дело приподнимался с койки и грустно так поглядывал на чемодан. Карлу-то все было видно, благо то тут, то там кто-то из пассажиров, снедаемый страхом неизвестности, зажигал свечу, хоть это и строжайше запрещено корабельным распорядком, и с тревогой вчитывался в загадочные проспекты американских агентств по приему эмигрантов. Если свечка горела поблизости, Карл мог ненадолго прикорнуть, если же свет был далеко или его вообще не было, приходилось смотреть в оба. Вся эта нерво-трепка основательно его измотала. А теперь, кажется, эти мучения еще и зазря. Ну уж этот Буттербаум, попадется он ему когда-нибудь!

В этот миг откуда-то издали незыблемую прежде тишину разорвал странный, размеренный стук — точно от множества детских ног, однако стук приближался, нарастал и вскоре превратился в дробный и тяжелый мужской топот. Очевидно, люди шли гуськом, что, пожалуй, в узком коридоре только естественно, но теперь к их топоту добавился лязг, похожий на бряцание оружия. Карл, блаженно растянувшийся на койке, чуть было не погрузился в глубокий сон, готовый позабыть и словака, и чемодан, и все на свете, но сейчас встрепенулся и даже успел слегка подтолкнуть кочегара, — тот, казалось, не слышит грозного шествия, которое тем временем почти достигло их двери.

— Корабельный оркестр, — пояснил тот. — Играли наверху, теперь идут укладываться. Значит, и нам пора. Пойдемте.

Он подхватил Карла под руку, в последнюю минуту снял со стены над койкой образок Богородицы, запихнул его в нагрудный карман, схватил чемодан и вместе с Карлом решительно вышел из каюты.

— А теперь я пойду в кают-компанию и выложу этим господам все, что я о них думаю. Пассажиров нет, церемониться нечего. — На все лады повторяя на ходу последние слова, он попытался придавить ногой перебежавшую им дорогу крысу, но только слегка задел и, по сути, подтолкнул ее в нору, до которой та вовремя успела добраться. Он вообще был неповоротлив на своих хоть и длинных, но каких-то тяжелых, непослушных ногах.

Они прошли через отсек, где была кухня: несколько девушек в грязных передниках — они нарочно их намочили — в большом чане мыли посуду. Одну из них, некую Лину, кочегар подозвал и, обхватив чуть ниже талии — она в ответ игриво прижалась к его плечу, — попытался увести с собой.

— Там жалование дают, пойдешь? — спросил он.

— Вот еще, стану я утруждаться. Лучше ты мне сам принеси, — ответила та, выскользнула у него из-под руки и убежала. — Где это ты подхватил такого красавчика? — крикнула она на бегу и, не дожидаясь ответа, скрылась на кухне. Было слышно, как все девушки, видимо, на время прервавшие работу, дружно рассмеялись.

Они же с кочегаром пошли дальше и вскоре уперлись в массивную дверь с изящным фронтоном, который поддерживали миниатюрные позолоченные кариатиды. Для корабельной оснастки все это выглядело весьма расточительно. Карл, как он успел заметить, в этой части судна за время поездки ни разу не был, вероятно, она предназначалась лишь для пассажиров первого и второго классов, но сейчас, перед генеральной уборкой, видимо, двери были настежь и ограничения сняты. Им и точно уже попались навстречу несколько матросов со швабрами через плечо, они поздоровались с кочегаром. Карл дивился размаху работ и обилию помещений — у себя на полупалубе он, разумеется, не много успел увидеть. По стенам коридоров змейками тянулись электрические провода, а где-то вдали то и дело позвякивал небольшой колокол.

Кочегар, подобравшись и приосанившись, постучал в дверь и, когда оттуда послышалось «Войдите!», жестом пригласил Карла: мол, смелее. И Карл вошел, но на пороге невольно остановился. Разом из трех огромных окон на него ласково плеснули волны моря, и от их веселого, беззаботного бега у него сильнее забилося сердце, будто и не было пяти долгих, нескончаемых дней, когда он только и видел что море да море кругом. Большущие корабли уверенно бороздили воды залива, ровно настолько поддаваясь качке, насколько им позволяла их солидная стать. Если прищуриться, вообще казалось, что покачиваются они только от собственной тяжести. На их мачтах, туго натянутые встречным ветром, но иногда опадая, трепетали узкие длинные флаги. Откуда-то издали, должно быть, с военного корабля, раздавались залпы салюта, а один из таких кораблей как раз проплывал неподалеку, сверкая на солнце сталью расчехленных орудий, дула которых, казалось, до блеска отполированы ветрами хоть и бурных, но победоносных странствий. Мелкие катера и лодки, различные — по крайней мере отсюда, с порога, — лишь вдалеке, во множестве сновали между большими судами. А за всем этим, еще дальше, вздымался Нью-Йорк, глядя на Карла всей сотней тысяч глазниц

своих небоскребов. Да, в этом зале нельзя было не почувствовать, где находишься.

В центре за круглым столом сидели три господина, один — корабельный офицер в голубой морской форме, двое других — портовые чиновники в черных американских мундирах. На столе перед ними стопками лежали всевозможные документы; офицер, держа наготове авторучку, сперва пробежал их глазами, чтобы уж потом передать чиновникам, которые их то прочитывали, то делали выписки, то откладывали в свои папки, а время от времени один из них, тот, что почти непрерывно прицокивал зубом, что-то диктовал другому в протокол.

За письменным столом у окна спиной к дверям сидел низенький плотный господин и рылся в толстенных грессбухах, поочередно снимая их с массивной полки над столом, где они в строгом порядке были расставлены. Около него стоял раскрытый и, по крайней мере на первый взгляд, пустой сейф корабельной кассы.

Возле второго окна никого не было, из него-то и открывался самый красивый вид. Зато у третьего негромко беседовали два господина. Один, тоже в корабельной форме, прислонился к стене и поигрывал рукояткой шпаги. Его собеседник, стоя лицом к окну, что-то рассказывал, время от времени наклоняясь вперед и открывая часть орденов на груди офицера. Он был в штатском, с изящной бамбуковой тросточкой, которая, поскольку он держал руки на поясе, тоже оттопыривалась, как шпага.

Впрочем, у Карла было не слишком много времени все как следует разглядеть, ибо вскоре к ним подошел слуга и, глядя на кочегара невидящим взглядом, спросил, что ему тут понадобилось. Кочегар так же тихо, как его спросили, ответил, что хотел бы поговорить с господином главным кассиром. Слуга со своей стороны пренебрежительным жестом эту просьбу отклонил, но все же — на цыпочках, далеко огибая стороной круглый стол, — направился к господину с грессбухами. Было очень хорошо видно, как после слов слуги тот сперва буквально застыл, потом, как бы не веря себе, обернулся на человека, осмелившегося его побеспокоить, сердито замахал руками на кочегара, а заодно, для пущей ясности, и на слугу. После чего слуга, вернувшись к кочегару, тихим, доверительным голосом сообщил:

— Немедленно убирайтесь вон!

Услышав такой ответ, кочегар только безмолвно глянул на Карла, одним этим взглядом поведав ему все невзгоды, обиды и страдания своей бессловесной души. Карл не стал долго раздумывать — сорвался с места; напрямик бросился через зал, даже слегка задев по пути кресло офицера, слуга, растопырив руки и пригнувшись, кинулся за ним, словно пытаясь изловить вредное насекомое, но Карл первым успел к столу главного кассира и крепко ухватился за край на тот случай, если слуга вздумает его оттащить. Вокруг, разумеется, возникло легкое замешательство. Офицер от неожиданности вскочил, портовые чиновники смотрели на Карла спокойно, но с вниманием, два господина у окна придвинулись друг к другу поближе, а слуга, полагая, очевидно, что там, где уже проявили интерес господина, его вмешательство неуместно, наоборот, почтительно отступил назад. Кочегар у дверей напряженно замер, ожидая, когда понадобится его помощь. Наконец и главный кассир тоже соизволил повернуться в своем кресле.

Порывшись в потайном кармане — перед этими господами он не боялся его обнаружить, — Карл вытащил свой заграничный паспорт и вместо дальнейших представлений в раскрытом виде положил на стол. Главный кассир, похоже, не придал документу особого значения и небрежным щелчком двух пальцев отшвырнул его в сторону, после чего Карл, посчитав, что все необходимые формальности таким образом соблюдены, спрятал паспорт обратно.

— Позволю себе заметить, — начал он, — что по отношению к господину кочегару, на мой взгляд, допущена несправедливость. Тут есть некто Шубаль, который над ним издевается. А он между тем служил на многих кораблях, если надо, он сам их все перечислит, и служил безупречно, прилежен, трудолюбив, честно выполняет свою работу, и совершенно непонятно, почему именно на вашем корабле, где служба вовсе не так тяжела, как, допустим, на торговых парусниках, он вдруг оказался непригоден. Полагаю, всему причиной только клевета и наветы, которые препятствуют его продвижению по службе и лишают его признания, которым в противном случае он давно бы уже пользовался. Я изложил суть дела в самых общих чертах, а конкретные претензии и жалобы он вам выскажет сам.

Карл обращался с этой своей речью ко всем сразу, поскольку, во-первых, его и в самом деле все слушали, а, во-вторых, найти справедливого среди многих казалось ему куда более вероятно, чем пред-

положить этого справедливого именно в лице главного кассира. Карл к тому же схитрил, умолчав о том, что знает кочегара совсем недавно. А вообще-то он, наверно, говорил бы еще лучше, если бы не красноватая физиономия того господина с тросточкой, — этот господин, которого он только сейчас увидел в лицо, как-то сбивал его с толку.

— Все правда, точка в точку! — громогласно заявил кочегар, хотя его никто ни о чем не спросил и даже не взглянул в его сторону.

Эта поспешность могла бы ему дорого обойтись, если бы господин в орденах — Карла только сейчас осенило, что это и есть капитан, — уже не принял для себя решение все равно кочегара выслушать. Он вытянул руку и властным, твердым голосом, которым, казалось, в пору монеты чеканить, произнес:

— Подойдите сюда!

Теперь все зависело только от самого кочегара, а уж в правоте его дела Карл не сомневался ничуть.

Кочегар, по счастью, сразу показал себя в подобных вещах человеком бывалым. Сохраняя образцовое спокойствие, он деловито, одним точным движением выхватил из чемодана связку бумаг и записную книжку в придачу, после чего, разом перестав замечать главного кассира, как ни в чем не бывало направился со всем этим прямым к капитану. Пришлось главному кассиру встать и податься туда же.

— Это же известный скандалист, — пояснил он усталым голосом. — У кассы его куда легче найти, чем в машинном отделении. Послушайте, вы! — напустился он на кочегара. — Вам не кажется, что в своей назойливости вы слишком далеко заходите! Сколько уже раз вас выпроваживали из бухгалтерии, чего вы своими вздорными и абсолютно не обоснованными претензиями вполне заслужили? Сколько раз вы бегали оттуда жаловаться в главную кассу? Сколько раз вам по-хорошему объясняли, что ваш непосредственный начальник — Шубаль и вы как подчиненный обязаны иметь дело только с ним? Так нет же, теперь вы еще сюда заявились, и как раз в то время, когда здесь господин капитан, вы даже его не стыдитесь обременять вашими идиотскими дрызгами, нет, у вас еще хватило наглости подучить и привести сюда в качестве ходатая по вашим мерзким делишкам этого юнца, которого я вообще в первый раз на корабле вижу.

С превеликим трудом Карл заставил себя сдержаться. Но капитан и так уже прервал главного кассира, сказав:

— Давайте все же выслушаем человека, раз такое дело. Этот Шубаль, сдастся мне, что-то и впрямь стал своевольничать, что, впрочем, еще несколько не говорит в вашу пользу.

Последнее относилось к кочегару и, разумеется, было только естественно — не станет же капитан с ходу за него вступаться, — однако пока все шло наилучшим образом. Кочегар приступил к объяснениям и с самого начала сумел пересилить себя, вежливо назвав Шубаля «господином». Как переживал, как радовался за него Карл в эту минуту, стоя, всеми забытый, у стола главного кассира и от полноты удовольствия поигрывая чашечками почтовых весов! Господин Шубаль несправедлив. Господин Шубаль отдает предпочтение иностранцам. Господин Шубаль выставил его из машинного отделения и послал чистить гальюны, что уж в обязанности кочегара никак не входит. Была подвергнута сомнению даже исполнительность господина Шубаля, скорее показная, чем «всамделишная». В этом месте Карл посмотрел на капитана особенно внушительно и со значением, как на равного себе, лишь бы тот не истолковал неловкое, простецкое выражение кочегара к его невыгоде. К тому же из всех этих иностранных речей трудно было уяснить что-либо по существу, и если капитан, в чьем взоре читалась твердая решимость на сей раз выслушать кочегара до конца, все еще смотрел прямо перед собой, то остальные господа стали проявлять нетерпение и рассеянность, так что вскоре голос кочегара уже не господствовал в зале безраздельно, а это был плохой знак. Первым зашевелился господин в штатском — негромко, но внятно начал постукивать тросточкой по паркету. Остальные, разумеется, уже искоса на него поглядывали, портовые чиновники — время их явно поджимало — снова, пока, правда, еще как бы с отсутствующими лицами, зашуршали бумагами; офицер, понятное дело, тут же придвинулся к столу, а главный кассир, уже не сомневаясь в своей победе, с притворной иронией выпускал глубокие вздохи. Только слугу, кажется, не затронул этот холодок всеобщего равнодушия, он один какой-то частицей души еще сочувствовал невзгодам бедного человека, столь беззащитного среди этих важных господ, и, глядя на Карла, серьезно кивал, будто и сам хотел что-то объяснить.

За окнами между тем шла своим чередом хлопотливая портовая жизнь: длинный плоский грузовой корабль, груженный горой бочек, уложенных, очевидно, с величайшим искусством — ни одна не пере-

катывалась, — тяжело прополз мимо и на миг погрузил все помещение в полумрак; юркие моторки — Карл, будь у него побольше времени, с удовольствием бы как следует их разглядел, — послушные малейшему движению рулевого, твердо стоящего у штурвала, закладывали крутые виражи и стрелой неслись дальше; странные плавучие предметы, должно быть, буи, то тут, то там как бы сами собой всплывали над беспокойными водами и, захлестнутые новой волной, мгновенно скрывались от изумленного взора; шлюпки с океанских лайнеров, повинувшись дружным и спорным усилием налегающих на весла матросов, спешили к причалу, полные пассажиров, которые смиренно и настороженно сидели на скамейках, стиснутые, как сельди в бочке, боясь пошевелинуться, и лишь немногие смельчаки, не в силах удержаться при виде переменчивых портовых декораций, с любопытством вертели головами по сторонам. И всюду движение, движение без конца, и вечное беспокойство, передавшееся от всемогущей стихии бессильным людям и творениям их неутомных рук!

Ситуация, однако, требовала быстроты, четкости, неукоснительной ясности изложения — а что вместо этого делал кочегар? Говорил он, правда, много и с пеной у рта, но бумаги с подоконника давно уже не держались в его трясущихся руках, со всех сторон метал он в Шубаля громы и молнии, и каждого из этих обвинений по отдельности было, на его взгляд, вполне достаточно, чтобы похоронить этого Шубаля раз и навсегда, — однако, нагроможденные перед капитаном скопом, они являли собой лишь плачевную и совершенно невнятную мешанину. Давно уже что-то негромко насвистывал, поглядывая в потолок, господин с тросточкой, портовые чиновники снова взяли в оборот корабельного офицера и, казалось, уже никогда его не отпустят, а главного кассира так и подмывало вмешаться и сдерживало лишь каменное спокойствие капитана. Слуга в почтительной готовности не сводил с капитана глаз, с секунды на секунду ожидая приказания выставить кочегара вон.

Нет, бездействовать дольше нельзя. И Карл медленно направился к группе, тем лихорадочнее прикидывая на ходу, как бы половчее повернуть все дело. И вовремя, очень вовремя! Еще чуть-чуть — и они с кочегаром в два счета отсюда бы вылетели. Пусть капитан и неплохой человек, к тому же именно сегодня, Карл чувствовал, по каким-то своим причинам он особенно расположен показать себя справедливым начальником, но не игрушка же он, в конце концов,

чтобы вертеть им как вздумается, а именно так, увы, и обходился с ним кочегар, правда, без злого умысла, а исключительно по простоте своей безмерно возмущенной души.

И Карл сказал кочегару:

— Вам надо проще все рассказать, яснее, господин капитан не в состоянии разобраться, когда вы так рассказываете. Разве обязан он знать по фамилиям или, подавно, по именам и кличкам всех машинистов и младших матросов, которых вы тут подряд называете, как будто ему сразу ясно, о ком речь? Изложите ваши жалобы по порядку, начните с главных, а уж потом, по мере важности, переходите к менее существенным, возможно, большинство из них тогда и вовсе не понадобится упоминать. Мне-то вы всегда так складно излагали!

«Если в Америке можно красть чемоданы, то и приврать немного тоже не грех», — подумал он в оправдание себе.

Только бы помогло! Не слишком ли поздно? Кочегар, правда, едва слышав знакомый голос, тотчас же осекся, но его взгляд, затуманенный слезами попранной мужской чести, прошлых жестоких обид, нынешней крайней безысходности, — взгляд его плохо узнавал Карла. Да и как ему, молча глядя на него, тоже умолкшего — Карл только теперь это осознал, — как ему вдруг, ни с того ни с сего, обучиться иной, более складной речи, особенно сейчас, когда он только что — и без тени успеха — все, что можно было сказать, уже выложил, а, с другой стороны, получается, вроде бы ничего еще не сказал, и нет ни малейшей надежды убедить всех этих важных господ выслушать его еще раз. И вот в такую минуту еще и Карл, единственная его подмога, принимается учить его уму-разуму, только показывая тем самым, что все, все пропало.

«Надо бы раньше мне вмешаться, чем в окно глазеть!» — подумал Карл, низко склоняя голову под взглядом кочегара и уронив руки по швам в знак того, что надеяться больше не на что.

Но кочегар все истолковал иначе, возможно, в жесте Карла ему почудились какие-то скрытые упреки, и теперь в благом намерении их опровергнуть он увенчал свои деяния еще и тем, что принялся с Карлом спорить. Это теперь-то, когда чиновники и офицер за столом уже давно не скрывали возмущения ненужным шумом, который только мешает им в их важной работе, когда главный кассир мало-помалу стал находить долготерпение капитана необъяснимым и сам уже готов был вот-вот взорваться, когда слуга, снова всецело на стороне сво-



их хозяев, испепелял кочегара негодующим взглядом, когда, наконец, господин с тросточкой, на которого сам капитан, как бы извиняясь — кочегар его вконец допек, больше того, он ему опротивел, — дружелюбно поглядывал, так вот, этот господин извлек из кармана маленькую записную книжечку и, видимо, занявшись каким-то своим делом, переводил глаза с книжечки на Карла и обратно.

— Да я знаю, знаю, — приговаривал Карл, стараясь, несмотря на спор, сохранить на лице дружескую улыбку и пробиться этой улыбкой сквозь обрушившийся на него поток слов. — Вы правы, правы, я-то никогда в этом не сомневался.

Будь его воля, он бы первым делом схватил и задержал эти безостановочно мелькающие руки, ибо уже всерьез опасался ненароком получить затрещину, еще лучше было бы просто затолкать кочегара в какой-нибудь угол, где их никто бы не услышал, и там шепнуть ему несколько тихих, успокоительных слов. Но куда там — кочегар рвал и метал. Понемногу Карл даже начал черпать нечто вроде надежды в странной, но утешительной мысли, что кочегар, быть может, сумеет убедить присутствующих одной только силой своего отчаяния. А кроме того, он успел заметить на одном из столов пульт управления с множеством кнопок — в случае чего одного нажатия ладони будет достаточно, чтобы в бесконечных коридорах этого корабля, переполненного чужими, враждебными людьми, поднялся невообразимый переполох.

Но тут господин с тросточкой, прежде столь ко всему безучастный, вдруг приблизился к Карлу и не слишком громко, но даже сквозь крик кочегара вполне отчетливо спросил:

— А вас, собственно, как зовут?

В ту же секунду, будто кто-то только и ждал этих слов, в дверь постучали. Слуга вопросительно посмотрел на капитана, тот кивнул. Лишь тогда слуга пошел к двери и распахнул ее. На пороге в потертом армейском кителе стоял человек среднего сложения неприметной наружности, в которой ничто не выдавало ни особой склонности, ни причастности к машинам, и тем не менее это был — да, Шубаль. Если бы Карл тотчас не догадался об этом по выражению удовлетворенного злорадства в глазах всех присутствующих, — увы, даже капитана оно не обошло, он все равно, к ужасу своему, понял бы это по виду кочегара: тот с такой яростью стиснул кулаки, что, казалось, нет для него сейчас ничего важнее этого неистового усилия, ради которого он

готов пожертвовать всем на свете. Именно там, в кулачищах, сосредоточились все его силы, похоже, даже те, что вообще удерживали его на ногах.

Так вот он, значит, враг, самоуверенный и коварный, даже приодевшийся, с папкой под мышкой, там, наверно, платежные ведомости и табель кочегара, — стоит как ни в чем не бывало и с наглой беззастенчивостью заглядывает в глаза всем по очереди, чтобы первым делом уяснить, кто и как в данный момент к нему относится. Эти семеро, конечно, уже на его стороне, хоть у капитана и были, а может, только начинали появляться на его счет кое-какие сомнения, но теперь, после всего, что он от кочегара вытерпел, капитан, похоже, ни малейших претензий к Шубалю не имеет. С такими, как кочегар, любой строгости мало, а Шубалья если в чем и можно упрекнуть, то лишь в одном — что так и не сумел обломать этого кочегара до конца и тот даже набрался наглости к нему, капитану, сегодня заявиться.

Оставалось, впрочем, надеяться, что контраст между кочегаром и Шубалем, своей разительностью достойный внимания и куда более высокого форума, не укроется и от присутствующих, ибо этот Шубаль хоть и мастак притворяться, но рано или поздно все равно не сдержится и чем-нибудь себя выдаст. Одной малюсенькой вспышки его подлости будет достаточно, а уж о том, чтобы господа ее заметили, Карл позаботится. Он ведь уже успел наскоро оценить слабости, причуды, меру проницательности каждого, и с этой точки зрения время, проведенное здесь, потрачено вовсе не зря. Если бы еще кочегар держался получше, но он, похоже, уже совсем не боец. Казалось, подведи, подай ему сейчас этого Шубалья — и он своими кулачищами расколлет эту ненавистную черепашку, как гнилой орех. Но вот сделать хотя бы шаг навстречу своему врагу он, видимо, уже вряд ли способен. И как это Карл не предусмотрел такую очевидную и легко предсказуемую вещь — рано или поздно, не по собственному почину, так по вызову капитана, Шубаль, конечно же, неминуемо должен был явиться! Почему по дороге сюда они с кочегаром не обсудили точный план боевых действий вместо того, чтобы сдуру, на ура, без всякой выучки и подготовки ломиться в дверь, как они это сделали? В силах ли кочегар вообще говорить, хотя бы отвечать «да» или «нет», если это потребуется на перекрестном допросе, который — впрочем, лишь при самом благоприятном обороте дела — его еще ждет? Он и так еле стоит, ноги расставлены, в коленях дрожь, голова чуть запро-

кинута, а раскрытый рот с таким присвистом втягивает воздух, будто в груди у него вместо легких испорченный, дырявый насос.

Сам-то Карл ощущал в себе столько сил и такую ясность мыслей, как, пожалуй, никогда прежде — даже там, дома. Видели бы сейчас родители, как их сын в чужой стране перед этими важными лицами смело отстаивает добро, и пусть пока не довел дело до победы, но готов биться до последнего. Что бы они теперь о нем сказали? Похвалили бы, обласкали, усадили бы между собой? Взглянули бы хоть раз, один лишь разочек в его любящие, преданные глаза? Пустые вопросы, и самое неподходящее время о них гадать!

— Я пришел, поскольку полагаю, что кочегар обвинил меня в каких-то махинациях. Девушка с кухни сказала мне, что видела, как он сюда направляется. Господин капитан и вы все, господа, с записями в руках, а если понадобится, то и с помощью непредвзятых и беспристрастных свидетелей, которые ждут за дверью, я готов опровергнуть любые обвинения.

Так начал Шубаль. Во всяком случае, это была ясная, осмысленная человеческая речь, и по изменениям в лицах слушателей можно было подумать, что они впервые за долгое время снова слышат членораздельные звуки человеческого голоса. И не заметили, между прочим, что даже в этой распрекрасной речи имеются прорехи! Почему, едва приступив к сути дела, Шубаль сам, первым, заговорил о «махинациях»? Может, именно на этом, а вовсе не на его национальных предрассудках стоило сосредоточить обвинение? Девушка с кухни видела, как кочегар сюда направляется, а Шубаль так сразу и смекнул что к чему? Что же еще, как не боязнь разоблачения, так обострило его чутье? И свидетелей сразу притащил, да еще не постеснялся назвать их «непредвзятыми и беспристрастными!» Надувательство, чистейшей воды надувательство, а господа все это терпят и даже считают, видимо, приличным поведением! Зачем, спрашивается, Шубаль упустил так много времени от разговора с девушкой до своего прихода сюда? Да с одной только подлой целью — дожидаться, пока кочегар настолько утомит слушателей, что те утратят способность рассуждать здраво, а именно здравых рассуждений Шубаль и опасается больше всего! Разве не стоял он сперва — и наверняка долго стоял — под дверью, разве не постучался лишь в ту минуту, когда услышал посторонний вопрос того господина и понадеялся, что с кочегаром покончено?

Тут все ясней ясного, и Шубаль, сам того не желая, это только подтвердил, но господам, видимо, надо растолковать это иначе, нагляднее. Надо их встряхнуть хорошенько. Ну же, Карл, живей, не упустити хотя бы эту минуту, пока не ввалились свидетели и не нагородили бог весть чего.

Но капитан взмахом руки остановил Шубаля — тот, мигом смекнув, что с его делом решили повременить, тут же отступил в сторонку и завел тихую, но оживленную беседу с немедленно примкнувшим к нему слугой, в ходе коей беседы не обошлось без косых взглядов в сторону Карла и кочегара, равно как и без самой недвусмысленной жестикуляции. Похоже, Шубаль репетировал свою следующую, теперь уже большую речь.

— Вы о чем-то хотели спросить молодого человека, не так ли, господин Якоб? — во всеобщей тишине обратился капитан к господину с тросточкой.

— Совершенно верно, — отозвался тот, с легким поклоном поблагодарив за внимание. И снова спросил у Карла: — Как все-таки вас зовут?

Карл, полагая, что в интересах главного дела лучше уж поскорее отвязаться от этого настырного господина с его вопросами, ответил коротко, не предъясняя, вопреки своему обыкновению, паспорта, за которым еще надо было лезть:

— Карл Росман.

— Позвольте, — вымолвил тот, кого величали господином Якобом, и со слабой улыбкой, как бы не веря себе, слегка попятился. Станным образом и капитана, и главного кассира, и даже слугу имя Карла повергло в крайнее изумление. Лишь портовые чиновники и Шубаль не выказали по этому поводу никаких чувств.

— Позвольте, — повторил этот господин Якоб и медленным, как бы даже торжественным шагом направился к Карлу. — Но тогда, выходит, я твой дядя Якоб, а ты, значит, мой дорогой племянник! Я так и чувствовал, что это он! — сказал он капитану, прежде чем обнять и расцеловать Карла, который оторопело ему это позволил.

— А вас как зовут? — спросил Карл, когда его выпустили из объятий, спросил хоть и очень вежливо, но как-то отрешенно, сияясь предугадать, какими последствиями это новое событие может обернуться для кочегара. Пока что не похоже, чтобы Шубаль на этом что-то мог выгадать.

— Да вы поймите, молодой человек, свое счастье! — воскликнул капитан, посчитав, вероятно, что вопрос Карла каким-то образом задевает достоинство такой важной особы, как господин Якоб, который тем временем отошел к окну и отвернулся, дабы не показывать остальным свое взволнованное лицо, и вдобавок осушая его носовым платком. — Это же сенатор Эдвард Якоб, он согласился признать себя вашим дядей. Теперь вас ждет, полагаю, вопреки всем вашим прежним ожиданиям, самая блестящая карьера. Попытайтесь же это осознать, насколько это вообще возможно в первые минуты, и соберитесь.

— Вообще-то, у меня есть дядя в Америке, — сказал Карл, глядя на капитана. — Но, сколько я понял, Якоб — это ведь фамилия господина сенатора?

— Именно так, — подтвердил капитан, все еще не понимая, в чем дело.

— Ну вот, а моего дядю, брата моей матери, Якобом зовут по имени, а фамилия у него, конечно, должна быть та же, что у моей матери, урожденной Бендельмайер.

— Что, господа, какво! — воскликнул сенатор, бодро возвращаясь с места своей кратковременной передышки и, видимо, имея в виду заявление Карла.

Все, исключая портовых чиновников, дружно рассмеялись, — одни с умилением, другие как-то неопределенно.

«Ничего такого особенно смешного я вроде бы не сказал», — подумал Карл.

— Господа! — вновь воскликнул сенатор. — Против воли — и моей, и вашей — вы стали соучастниками небольшой семейной сцены, а посему считаю своим долгом дать вам необходимые разъяснения, поскольку, как я понимаю, лишь господин капитан — упоминание о капитане имело следствием взаимный поклон — осведомлен о деле полностью.

«Теперь надо и впрямь следить за каждым словом», — сказал себе Карл и несколько приободрился, краем глаза успев заметить, что кочегар начинает подавать слабые признаки жизни.

— Долгие годы моего пребывания в Америке, — впрочем, слово «пребывание» не слишком подобает американскому гражданину, а я всей душой американский гражданин, — так вот, все эти долгие годы я живу совершенно обособленно от моей европейской родни по причинам, которые, во-первых, к делу не относятся, а во-вторых, рассказ

о них увел бы нас слишком далеко. Я даже слегка побаиваюсь той минуты, когда вынужден буду поведать о них моему дорогому племяннику, и уж тогда, к сожалению, нам не избежать разговора начистоту и о его родителях, и об остальных сородичах.

«Да, несомненно, это мой дядя, — подумал Карл и стал слушать еще внимательней. — Должно быть, он изменил фамилию».

— Родители моего дорогого племянника — давайте назовем вещи своими именами — попросту решили от него избавиться, как избавляются от надоевшей кошки, вышвыривая ее за дверь. Этим я вовсе не хочу приукрасить поступок моего племянника, за который он был так жестоко наказан — приукрашивать вообще не в обычаях американцев, — однако провинность его такого свойства, что одно лишь ее название содержит в себе достаточно поводов и причин ее простить.

«Говорит он, конечно, складно, — подумал Карл, — но я не хочу, чтобы он всем это рассказывал. Да и не может он всего знать. Как, откуда? Но погоди, вот посмотришь, он все знает лучше всех».

— Просто-напросто, — продолжал дядя, опершись на бамбуковую трость и слегка покачиваясь взад-вперед, чем ему и впрямь удалось лишить свой рассказ чрезмерной напыщенности, которая в противном случае была бы неизбежна, — просто-напросто его соблазнила служанка, Иоганна Бруммер, особа лет тридцати пяти. Говоря «соблазнила», я вовсе не хочу оскорбить чувства моего племянника, но, право же, более подходящее слово я просто затрудняюсь подобрать.

Карл, уже довольно близко подошедший к дяде, в этом месте его рассказа резко обернулся, чтобы видеть лица присутствующих. Нет, никто не смеется, все слушают терпеливо и серьезно. Да и нельзя, в самом деле, смеяться над племянником сенатора при первом удобном случае. Скорее уж, пожалуй, кочегар, но и тот едва заметно улыбается Карлу, что, во-первых, отрадно само по себе как еще один признак жизни, а во-вторых, вполне простительно, поскольку в разговоре с ним Карл пытался покрыть эту историю завесой тайны, а теперь вот она оглашена во всеулышание.

— Так вот эта самая Бруммер, — продолжил дядя, — забеременела от моего племянника и родила превосходного мальчика, окрестив его Якобом, несомненно, в честь вашего покорного слуги, который — даже по упоминаниям моего племянника, наверняка случайным и несущественным, — произвел на девушку большое впечатление. Добавлю от себя — по счастью. Ибо родители моего племянника во избежание

уплаты алиментов и, видимо, прочих грозивших им скандальных неприятностей, — придется подчеркнуть, что мне не слишком известны как тамошние законы, так и особые семейные обстоятельства, помню только два давних нищенских письма от родителей мальчика, которые я хоть и оставил без ответа, но все время хранил, чем, кстати говоря, и исчерпывается вся наша, к тому же односторонняя, переписка за все эти годы, — итак, поскольку родители во избежание уплаты алиментов и скандала попросту посадили своего сына, моего дорогого племянника, на корабль и отправили в Америку, снарядив его, как нетрудно заметить, для такого путешествия непростительно безответственно и скудно, то мальчик, брошенный на произвол судьбы, полагаю, затерялся бы и погиб в первом же портовом переулке Нью-Йорка, если бы не чудеса и счастливые совпадения, возможные только в Америке и больше нигде, и если бы не та служанка, ибо она в отправленном на мое имя письме, которое после долгих блужданий лишь вчера попало в мои руки, поведала всю историю, подробно указав в конце приметы моего племянника, а также — что было весьма предусмотрительно — и название корабля. Если бы мне вздумалось поразвлечь вас, господа, я не преминул бы зачитать избранные отрывки из этого послания, — тут он вынул из кармана два огромных, убористо исписанных листа и помахал ими в воздухе. — Оно, несомненно, возымело бы успех, ибо написано с простоватой, но подкупающей хитростью и исполнено неподдельной любви к отцу ее ребенка. Но я не хочу ни развлекать вас дольше, чем это надобно для необходимого разъяснения, ни тем паче, особенно в первые минуты встречи, беречь, возможно, еще не угасшие чувства моего племянника, — он, если пожелает, сможет в назидание себе прочесть это письмо в тиши своей комнаты, которая его уже ждет.

Но у Карла не было никаких таких чувств к этой служанке. В суете и сумятице уходящих в безвозвратное прошлое дней она так и осталась где-то там, на кухне, где она сидела возле буфета, локтями опершись на его нижнюю тумбу. Она смотрела на Карла, когда он изредка заходил на кухню — отнести отцу стакан воды или по каким-то маминым поручениям. Иногда, примостившись в неловкой позе все у того же буфета, она сочиняла письмо и, поглядывая на Карла, казалось, черпает вдохновение в его лице. А часто просто сидела, прикрыв глаза рукой, и тогда обращаться к ней было совершенно бесполезно. Бывало, Карл мимоходом и не без испуга замечал в приоткры-

тую дверь, как она молится в своей каморке, стоя на коленях перед деревянным распятием. В иные же дни она металась по кухне, как ведьма, и с жутким смехом отскакивала, если Карл попадался ей на дороге. Или вдруг, стоило Карлу зайти на кухню, закрывала дверь и, прислонившись к ней спиной, до тех пор держала ручку, покуда Карл сам не потребует его пропустить. Порой зачем-то приносила Карлу какие-то безделушки, совершенно ему не нужные, и молча совала в руку. Но однажды она вдруг сказала: «Карл!» — и со странными вздохами и ужимками повела его, все еще изумленного столь неожиданным обращением, в свою каморку, дверь которой тут же заперла. Там она обхватила его за шею и стала душить в объятиях, зачем-то упрямивая Карла ее раздевать и при этом раздевая его, потом уложила в свою постель, словно решив отныне никому его не отдавать и нежить и лелеять его до скончания века. «Карл, о мой Карл!» — восклицала она, будто видит его впервые в жизни и хочет навсегда оставить в своем владении, в то время как он ровным счетом ничего не видел, ему было жарко и тесно под кучей подушек и одеял, которую она, похоже, заранее приготовила и теперь на него навалила. Потом она сама легла к нему и все допытывалась о каких-то тайнах, а он ничего не мог ей на это ответить, и она сердилась на него не то в шутку, не то всерьез, тормошила его, слушала его сердце, предлагала послушать свое, пытаясь притянуть его голову к своей груди, но Карл так и не дал ей этого сделать, прижималась к его телу голым животом и до того отвратительно шарила у него между ногами, что Карл уже почти было выбрался из-под подушек, но тут она несколько раз как-то по-особенному ткнулась в него животом. Карл вдруг ощутил, что она как бы стала частью его самого, и, может, именно поэтому его охватило чувство тоскливой беспомощности. Наконец, после ее многочисленных и пылких просьб о новых встречах, Карл, весь в слезах, ушел спать к себе в комнату. Вот как все было, но дядя даже из этого сумел сочинить целую историю. А служанка, значит, все-таки тоже о нем помнит и известила дядю о его приезде. Что ж, очень трогательно с ее стороны, за это, если надо, Карл, пожалуй, отблагодарил бы ее еще раз.

— А теперь, — воскликнул сенатор, — теперь я хочу, чтобы ты во всеуслышание заявил, дядя я тебе или не дядя?

— Ты мой дядя, — сказал Карл, целуя ему руку, за что был удостоен поцелуя в лоб. — И я очень рад, что тебя встретил, но ты заблужда-



ешься, если думаешь, будто мои родители говорили о тебе только плохое. Но и помимо этого были в твоём рассказе кое-какие ошибки, то есть, я хотел сказать, на деле не все обстояло так, как ты рассказываешь. Но отсюда, издалека, тебе и вправду трудно судить о наших делах, к тому же, я думаю, большой беды не будет, если господа с некоторыми неточностями узнают об истории, которая вряд ли их слишком волнует.

— Отлично сказано, — похвалил сенатор и, подведя Карла к капитану, который всем видом выказывал живейшее участие, спросил: — Ну разве не молодчина у меня племянник?

— Я счастлив, господин сенатор, познакомиться с вашим племянником, — ответил капитан с поклоном, на какой способны лишь люди военной выучки. — Для моего корабля это особая честь — стать местом столь знаменательной встречи. Вот только путешествие на полупалубе прошло, должно быть, весьма скверно, ну да разве угадаешь, где кого везешь. Мы однажды даже первенца какого-то знатного венгерского магната — фамилию вот только забыл, и почему так получилось, тоже не помню — через весь океан на полупалубе везли. Я только потом, задним числом, об этом узнал. Правда, мы делаем все, чтобы по мере возможности облегчить людям путешествие на полупалубе, по крайней мере, гораздо больше, чем, скажем, американские компании, но превратить подобную поездку в удовольствие пока что выше наших сил.

— Да ничего мне не сделалось, — успокоил его Карл.

— Ему ничего не сделалось, — громко повторил сенатор со смехом.

— Вот только чемодан, я боюсь... — и тут Карл, вспомнив обо всем, что случилось и что еще предстоит сделать, оглянулся по сторонам и обнаружил, что все вокруг так до сих пор и стоят на своих прежних местах, онемев от изумления и почтительности и не сводя с него глаз. Лишь портовые чиновники, насколько можно было заключить по выражению их самодовольных непроницаемых физиономий, видимо, сожалели о том, что пришли в столь неудачное время, — карманные часы, лежавшие перед ними на столе, были для них куда важнее всего, что произошло и еще, возможно, могло произойти в этом зале.

Любопытно, что первым, кто после капитана выразил Карлу свое участие, оказался именно кочегар.

— От всей души вас поздравляю, — сказал он, тряся Карлу руку и желая, видимо, выказать таким образом свою признательность. Однако, когда он с теми же словами потянулся было к сенатору, тот отпрянул с таким видом, будто кочегар превысил все дозволенные ему права; кочегар, впрочем, тут же и отступился.

Зато остальные теперь-то уж сообразили, что делать, и вокруг Карла и сенатора незамедлительно поднялась суматоха. Вышло так, что Карл получил поздравления даже от Шубаля, принял их и поблагодарил. Последними, когда уже снова водворилось спокойствие, подошли портовые чиновники и сказали несколько слов по-английски, что произвело довольно комичное впечатление.

Сенатор, явно смакуя удовольствие, был расположен оживить в памяти, а заодно и донести до собравшихся даже мелкие, незначительные подробности, что, разумеется, было встречено не только с вежливым вниманием, но и с величайшим интересом. Так, он припомнил, что занес в свою записную книжку наиболее броские из упомянутых в письме служанки примет Карла на тот случай, если понадобится воспользоваться ими на месте. И вот, пока кочегар нес свою невообразимую околесицу, он, сенатор, исключительно с одной только целью — отвлечься, достал эту самую книжицу и забавы ради попытался найти во внешности Карла хоть что-то общее с наблюдениями кухарки, наблюдениями, в плане криминалистики, прямо скажем, не вполне совершенными.

— Вот так находят племянников! — заключил он таким тоном, будто не прочь еще раз получить поздравления.

— А что теперь будет с кочегаром? — спросил Карл, как бы пропустив мимо ушей этот дядин рассказ. Он полагал, что теперь, в новом положении, можно что думаешь, то и говорить.

— С кочегаром поступят, как он того заслуживает и как сочтет нужным господин капитан, — сухо ответил сенатор. — И вообще, по моему, довольно с нас кочегара, сверх всякой меры довольно, в чем, смею полагать, каждый из присутствующих господ меня поддержит.

— Дело же не в этом, дело в справедливости, — возразил Карл. Он стоял как раз посередине между дядей и капитаном и, должно быть, благодаря такой расстановке полагал, что право решения в его руках.

Но кочегар уже ни на что больше не надеялся. Руки он засунул за ремень, который от его порывистых движений давно вылез из-под куртки вместе с полоской узорчатой нательной рубашки. Его это ни-

чуть не беспокоило, он высказал все, что наболело, теперь пусть поглядят на тряпье, которым он прикрывает наготу, а там пусть хоть выносят. Он уже прикинул, что эту последнюю услугу ему, должно быть, окажут слуга и Шубаль, как низшие здесь по рангу. Шубаль вздохнет наконец спокойно, никто не будет доводить его до отчаяния, как соизволил выразиться главный кассир. Капитан наймет одних румын, все начнут говорить по-румынски, глядишь, дело и впрямь пойдет замечательно. Никто не будет устраивать скандалы у главной кассы, а его последний скандал запомнится всем даже как событие весьма приятное, потому что оно, сенатор ведь ясно сказал, косвенно содействовало опознанию племянника. Этот племянник, кстати, действительно и не один раз честно пытался ему помочь, так что загодя и более чем сполна отблагодарил его, кочегара, за это нечаянное содействие; у него, кочегара, и в мыслях нет ждать от парнишки чего-то еще. Да и вообще, пусть он и племянник сенатора, но до капитана ему далеко, а капитан рано или поздно еще скажет свое суровое слово. Соответственно этим своим рассуждениям кочегар, будь его воля, и не смотрел бы на Карла, но в этом зале, где сплошь одни враги, его взгляду, увы, больше не на ком было задержаться.

— Не суди опрометчиво, — сказал сенатор Карлу. — Допускаю, что тут дело в справедливости, но еще и в дисциплине. И то, и, в особенности, другое здесь, на корабле, целиком в ведении господина капитана.

— Вот именно, — буркнул кочегар. Все, кто слышал и разобрал его реплику, отчужденно улыбнулись.

— Мы и без того отвлекли господина капитана от его служебных обязанностей, которых у него именно сейчас, по прибытии в Нью-Йорк, невероятно много, так что самое время нам с тобой покинуть корабль, а не обременять господина капитана еще и бесполезным вмешательством в мелкую свару двух машинистов, раздувая из нее бог весть какое событие. Впрочем, я вполне понимаю твои добрые побуждения, дорогой племянник, но именно это и дает мне право срочно тебя отсюда увести.

— Я немедленно распоряжусь спустить для вас шлюпку, — сказал капитан, к удивлению Карла, ничуть не возразив на слова дяди, которые, несомненно, отдавали притворным самоуничижением. Главный кассир опрометью кинулся к столу и по телефону передал приказ капитана боцману.

«Время не ждет, — размышлял Карл, — но я ничего не могу поделать, не оскорбив при этом всех. Не могу же я бросить дядю, который и так еле меня нашел. Капитан, правда, вежлив, но не более того. Когда дело доходит до дисциплины, вся его вежливость кончается, тут дядя наверняка прав и высказал его сокровенные мысли. С Шубалем я говорить не хочу, даже досадно, что я подал ему руку. А все остальные здесь так, мелкая сошка».

Медленно, все еще в раздумье, он подошел к кочегару, вытянул его правую руку из-под ремня и так, на весу, задержал в своей.

— Почему же ты ничего не скажешь? — спросил он. — Почему позволяешь все это?

Кочегар только собрал в складки лоб, словно мучительно подыскивая слова, которые нужно сказать. Сам же смотрел вниз, на свою руку в руке Карла.

— Ты же пострадал от несправедливости, как никто на этом корабле, я точно знаю. — И Карл медленно пропустил и сплел свои пальцы с пальцами кочегара, который, подняв голову, смотрел на всех влажным взглядом, словно на него снизошло неизъяснимое блаженство и никто не вправе его за это осуждать. — Но ты должен защищаться, говорить хотя бы «да» и «нет», иначе люди никогда не узнают правды. Обещай мне, что так и сделаешь, потому что сам я, боюсь, по многим причинам уже ничем не смогу тебе помочь.

И тут, целуя кочегару руку, Карл наконец расплакался и прижал шершавую, почти безжизненную ладонь к своей щеке, словно растается с самым дорогим, что у него есть на свете.

Однако к нему уже подоспел дядюшка-сенатор и хоть и ласково, но непреклонно тянул в сторону.

— Кочегар, видно, совсем тебя обворожил, — приговаривал он, через голову Карла многозначительно поглядывая на капитана. — Ну конечно, ты был совсем один, нашел своего кочегара, ты благодарен ему, все это, разумеется, весьма похвально. Но прошу, хотя бы ради меня, умерь свои чувства и учись помнить о своем положении.

За дверью неожиданно возник шум, послышались крики и даже удар в стенку, как будто кого-то с силой пихнули. Вошел матрос, порядком встрепанный и в женском переднике.

— Там люди! — выпалил он и дернул локтем, словно все еще от кого-то отбиваясь. Наконец он пришел в себя, хотел отдать капитану честь, но тут заметил передник, сорвал его и в ярости швырнул на

пол. — Вот черт, они мне еще передник нацепили! — воскликнул он. И уже потом щелкнул каблуками и отдал честь.

Кто-то попробовал засмеяться, но капитан строго спросил:

— Это еще что за шуточки? Кто это там?

— Это мои свидетели, — сказал Шубаль, делая шаг вперед. — Покорнейше прошу извинить их неподобающее поведение. Но после плавания, в порту, люди иногда просто как с цепи срываются.

— Немедленно их сюда! — приказал капитан и, обернувшись к сенатору, любезно, но уже почти скороговоркой сказал: — А теперь, будьте добры, многоуважаемый господин сенатор, следуйте вместе с вашим господином племянником за этим матросом, он посадит вас в шлюпку. Излишне говорить, какое удовольствие и какая честь для меня лично познакомиться с вами, господин сенатор. Весьма надеюсь, что вскоре мне выпадет возможность снова встретиться с вами и продолжить нашу прерванную беседу о положении дел в американском флоте, если только нас опять не прервут столь же приятным образом, как сегодня.

— Пока что хватит с меня одного племянника! — со смехом ответил дядя. — Позвольте и мне поблагодарить вас за любезное гостеприимство и пожелать всего наилучшего. Кстати, отнюдь не исключено, что мы, — тут он нежно прижал к себе Карла, — во время следующей поездки в Европу сойдемся с вами покороче.

— Всей душой буду рад, — поклонился капитан.

Оба господина обменялись рукопожатиями, Карл же едва успел без слов протянуть капитану руку, ибо тот уже всецело переключился на новых посетителей, человек пятнадцать, которые во главе с Шубалем хоть и не без робости, но все равно с шумом заходили в кают-компанию. Матрос, испросив у сенатора разрешения идти первым, проложил им дорогу, так что они легко прошли сквозь коридор почтительно кланяющихся людей. Похоже, все эти, в общем-то, добродушные люди воспринимали спор Шубаля с кочегаром как уморительный спектакль, потешность которого не могло устранить даже присутствие капитана. Карл заметил среди них и кухарку Лину, которая, озорно ему подмигнув, повязывала сброшенный матросом передник, — значит, передник был ее.

Следуя за матросом, они вышли из кают-компании, свернули в боковой коридорчик, который вскоре привел их к узкой дверце, а уж за ней открылся трап, спущенный к приготовленной для них шлюп-

ке. Матросы в шлюпке, куда одним молодецким прыжком соскочил их провожатый, встали и отдали честь. Сенатор как раз предупреждал Карла спускаться осторожнее, когда тот, еще на верхней ступеньке, вдруг разрыдался. Ласково обхватив Карла за подбородок, сенатор прижал его к себе и другой рукой поглаживал, стараясь успокоить. Так, тесно обнявшись, они медленно, ступенька за ступенькой, спустились вниз и сошли в лодку, где сенатор заботливо усадил Карла напротив себя. По знаку сенатора матросы оттолкнулись и дружно налегли на весла. Не успели они отплыть и нескольких метров, как Карл неожиданно для себя обнаружил, что они оказались на той же стороне, куда выходят окна кают-компаний. Ко всем трем окнам прильнули сейчас свидетели Шубаля, они радостно их приветствовали, махали на прощанье, так что даже дядя жестом их поблагодарил, а один из матросов вообще исхитрился, не бросая весел, все же послать им воздушный поцелуй. Словно и не было никогда никакого кочегара! Карл пристальной взглянул на дядю, который сидел совсем близко, почти прикасаясь к нему коленями, и засомневался: сумеет ли этот человек хоть когда-нибудь заменить ему кочегара. К тому же дядя почему-то отводил глаза и смотрел на волны, весело плясавшие вокруг шлюпки.

## II. Дядя

**В** доме дяди Карл быстро освоился с непривычной обстановкой. Правда, и дядя охотно потакал ему во всякой мелочи, так что Карлу не пришлось ничему учиться на горьком опыте, который на первых порах так омрачает обычно жизнь эмигранта на чужбине.

Комната Карла находилась на шестом этаже большого здания, пять нижних этажей которого, да еще три подвальных занимала дядина фирма. Свет, приветливо лившийся в комнату через два окна и балконную дверь, всякий раз повергал Карла в веселое изумление, когда он по утрам выходил сюда из своей крохотной спальни. А где бы он ютился сейчас, сойди он на берег жалким, бедным эмигрантом? Да его вообще — дядя, насколько он был сведущ в законах об эмигрантах, считал это вполне вероятным, — вообще могли не впустить в Соединенные Штаты, а отправили бы обратно домой, ничуть

не заботясь о том, что ему некуда возвращаться. Ибо на сострадание здесь рассчитывать не приходится, в этом отношении все, что Карл читал об Америке, оказалось чистой правдой; лишь счастливицы — зато уж в полной мере — наслаждались здесь своим счастьем в окружении беззаботных улыбок себе подобных.

Узкий балкон простирался по стене во всю длину комнаты. Но с этого балкона, который в родном городе Карла наверняка был бы самой высокой смотровой площадкой, здесь открывался вид, можно считать, лишь на одну улицу, что между двумя рядами буквально обрубленных поверху домов пролегал идеальной стрелой и именно потому как бы улетала и терялась вдаль, где в самом конце сквозь тяжелое сизое марево грозно дыбились мрачные контуры гигантского собора. И утром, и днем, и самой глубокой ночью вся улица жила суматошным, непрерывным движением, которое, если смотреть сверху, представлялось копошащимся и ползущим во все стороны месивом из перекошенных, сплюснутых человеческих фигурок и крыш автомашин и экипажей всех видов и форм, от него поднималось ввысь другое, еще более многообразное и дикое месиво шумов, пыли и запахов, и все это было охвачено и пронизано нестерпимо ярким светом, который, отражаясь от плоскостей и дробясь на гранях, рассыпаясь и сливаясь вновь, был ощутим обескураженным оком как нечто столь телесное, что казалось, будто над этой улицей по всей ее площади ежесекундно вдребезги разбивают огромный лист стекла.

Дядя, осторожный во всем, советовал Карлу до поры до времени ни за что всерьез не браться. Пусть сперва оглядится, присмотрится, но особенно увлекаться и вникать в подробности пока не стоит. Ведь первые дни европейца в Америке — все равно что второе рождение, и, хотя обживаешься здесь куда скорей, чем при вступлении в наш мир из небытия — так что слишком пугаться тоже не стоит, — надо все-таки иметь в виду, что первые впечатления всегда обманчивы и нельзя допустить, чтобы они затронули или, не дай бог, нарушили последующие, более устойчивые, с которыми Карлу предстоит здесь жить. Он, дядя, сам знал некоторых новоприбывших, которые, к примеру, вместо того, чтобы следовать этому правилу, целыми днями простаивали на балконе, глаза на улицу как бараны. А это кого угодно собьет с толку! Подобное безделье, в полном одиночестве взирающее с высоты на многотрудные нью-йоркские будни, пристало, а

возможно, хотя тоже не без оговорок, даже полезно какому-нибудь праздному туристу, но для всякого, кто решил здесь остаться, это просто порча, да, применительно к данному случаю можно спокойно употребить это слово, пусть оно и отдает некоторым преувеличением. Лицо дяди и вправду перекашивалось от досады, когда он, придя к Карлу — а такие визиты случались лишь раз в день, но всегда в самое разное время, — заставал того на балконе. Карл вскоре это заметил и впредь старался отказывать себе в этом удовольствии — по возможности.

Балкон, впрочем, был далеко не единственной его отрадой. В комнате у него стоял американский письменный стол лучшей марки, о каком годами мечтал отец, разыскивая его по всевозможным аукционам и надеясь приобрести по сколько-нибудь доступной цене, что при его скромных средствах так и не удалось. Разумеется, те якобы американские письменные столы, что самозванцами всплывают на европейских аукционах, с этим столом нечего было и сравнивать. У этого, к примеру, в надставке была целая сотня отделений, так что даже сам президент Соединенных Штатов нашел бы здесь полочку для каждой из своих государственных бумаг. Но, кроме того, сбоку имелся еще и регулятор, поворачивая рукоятку которого, можно было менять и переставлять отделения по своему усмотрению и вкусу. Тонкие боковые перегородки послушно накренились и укладывались, превращаясь в дно или крышку новых отделений, одного поворота рукоятки было достаточно, чтобы вся конструкция преобразилась полностью, причем происходило все это, повинувшись малейшей прихоти руки, то медленно и плавно, то невероятно быстро. Хоть это было и новейшее изобретение, но оно живо напомнило Карлу ясли Христовы, какие дома, на родине, словно магнитом притягивали к себе детвору на всех рождественских базарах, и сам Карл тоже не раз в восторге замирал перед ними, замороженно следя, как вместе с оборотами ручки, которую крутил приставленный к этому делу старик, движется волшебная карусель рождественских чудес: вышагивают запинаящейся кукольной походкой три волхва, вспыхивает, проплывая в небе, огонек звезды, тихо вершится своя укромная жизнь в святом вертепе. И ему все казалось, что мама, стоявшая у него за спиной, смотрит не очень внимательно, он тянул ее за руку, пока не прижимался к ней совсем, и до тех пор с громким криком показывал ей всякие мелочи — какого-нибудь зайчонка, который,



приближаясь, все больше вырастал из травы, а потом, поднявшись столбиком и наострив уши, стремительно убежал, — пока мама не прикрывала ему рот ладонью, очевидно, снова впадая в свою рассеянную задумчивость. Стол, понятно, не для того был предназначен, чтобы напоминать о подобных вещах, но в истории самого изобретения, наверное, все же была какая-то смутная связь с ними, как и в воспоминаниях Карла. Дядя, в отличие от Карла, новомодный стол решительно не одобрял, он-то хотел купить Карлу нормальный, приличный письменный стол, однако с недавних пор все столы были снабжены таким вот новейшим устройством, которое — и в этом тоже заключалось одно из его преимуществ — за небольшую плату можно было вделывать и в столы старого образца. Хоть стол ему и не нравился, дядя все же не преминул посоветовать Карлу регулятором по возможности не пользоваться вовсе, а чтобы совет звучал весомей, не раз предупреждал, что вся эта механика чертовски капризна и легко ломается, ремонт же обходится непозволительно дорого. Нетрудно было заметить, что подобные рассуждения — всего лишь уловки, но, с другой стороны, отдавая дяде должное, надо признать, что регулятор ничего не стоило просто закрепить намертво, а он этого делать не стал.

В первые дни, когда Карл, понятно, чаще виделся и говорил с дядей, он среди прочего однажды упомянул, что у себя дома, хоть и совсем немного, но с удовольствием играл на пианино, одолев, правда, только азы, которым его обучила мама. Карл, конечно же, прекрасно понимал, что подобный рассказ равносильен просьбе, но он уже достаточно огляделся, чтобы усвоить: дядя отнюдь не бедствует. Просьба, однако, была исполнена совсем не сразу, но все же примерно неделю спустя дядя тоном почти недобровольного согласия сообщил, что пианино доставлено и Карл, если желает, может проследить за транспортировкой инструмента в комнату. Это была, конечно, не бог весть какая трудная работа, впрочем, не намного легче самой транспортировки, поскольку в доме имелся специальный грузовой лифт, куда с лихвой вошел бы целый вагон мебели, — в этом-то лифте пианино и приплыло на шестой этаж к дверям комнаты Карла. Сам Карл тоже мог подняться в одном лифте с пианино и грузчиками, но, поскольку рядом пустовал пассажирский лифт, он поехал в пассажирском и с помощью рукоятки управления держался вровень с грузовым, сквозь стеклянные стенки неотрывно разглядывая прекрас-

ный инструмент, который теперь был его собственностью. Когда наконец пианино поставили в комнате и Карл взял первые аккорды, его обуял такой дурацкий восторг, что он, прекратив игру, на радостях даже подпрыгнул и, встав поодаль и уперев руки в боки, снова принялся рассматривать пианино со всех сторон. Да и акустика в комнате была отличная, благодаря чему чувство первоначального неуютя от жизни в стальном доме постепенно исчезло совсем. И в самом деле, сколь ни враждебно смотрелся поблескивающий металлом дом снаружи, внутри, в комнате, ничто не напоминало о его стальной сущности и ни одна, даже самая незначительная мелочь обстановки не могла вспугнуть ощущение полнейшего покоя и удобства. В первое время Карл возлагал большие надежды на свою игру и даже не стеснялся, по крайней мере на сон грядущий, помечтать о благотворном воздействии своей музыки на сумбурную американскую жизнь. Она и впрямь звучала странно, когда Карл, настезь распахнув окно, наперекор волнам уличного шума играл старинную солдатскую песню своей родины, ту, которую по вечерам, вторя друг другу, распевали солдаты, свесившись из окон казармы и поглядывая на опустевший темный плац, — но, выглянув в окно, он убеждался, что улица все та же, всего лишь крохотная частица великой круговерти, которую невозможно остановить, не ведая таинственных сил, что гонят ее по кругу. Дядя терпел его игру безропотно, ни слова не говоря (тем более что и Карл, опасаясь упреков, не слишком часто позволял себе это удовольствие), — больше того, он как-то даже принес Карлу ноты американских маршей и, разумеется, национального гимна, однако только любовью к музыке вряд ли можно объяснить тот случай, когда он без всяких шуток спросил, не желает ли Карл обучаться еще и на скрипке или валторне.

Естественно, первым и главным делом Карла был английский. Молодой преподаватель высшего коммерческого училища каждое утро появлялся в комнате Карла ровно в семь и неизменно заставлял своего ученика либо за письменным столом над тетрадами, либо расхаживающим по комнате, зазубривая что-то наизусть. Карл прекрасно понимал, что в изучении английского любых успехов недостаточно, а кроме того, именно тут ему открывались самые благоприятные возможности порадовать дядю незаурядными достижениями. И действительно, если поначалу в разговорах с дядей весь английский ограничивался словами приветствия и прощанья, то теперь Карлу все

чаще удавалось подолгу переходить в этих беседах на английский, что, кстати, способствовало все большей их задушевности. Первое американское стихотворение — что-то о пламенных страстях, — которое Карл однажды вечером продекламировал дяде, повергло того в состояние глубокой и умиротворенной задумчивости. Они оба стояли тогда у окна в комнате Карла, дядя смотрел вдаль, где с меркнувшего неба уже смазались все светлые краски, и прочувствованно выбивал такт в ладоши, а Карл, стоя рядом навывтяжку, с застывшим взглядом выдавливал из себя трудные стихи.

Чем приличней звучал английский Карла, тем с большим удовольствием дядя сводил его со своими знакомыми, распорядившись, впрочем, на всякий случай, чтобы английский преподаватель на этих встречах неизменно присутствовал и всегда держался от Карла поблизости. Самым первым, кому Карл был представлен, оказался стройный, невероятно гибкий молодой человек, которого дядя, буквально осыпая комплиментами, однажды перед обедом ввел к Карлу в комнату. Это был, очевидно, один из многих — по мнению родителей, совершенно неудавшихся — миллионерских сынков, чей досуг протекал таким образом, что всякий нормальный человек без сердечной боли не смог бы проследить за жизнью этого юноши. А он, словно понимая это и чувствуя, стойко нес свое бремя, покуда достанет сил, с неизменной улыбкой счастья на устах и во взоре, даруя эту улыбку себе, собеседнику и вообще всему свету.

С этим молодым человеком, господином Маком, при безусловном и горячем одобрении дяди было тут же договорено каждое утро, в половине шестого, кататься верхом — либо в манеже, либо просто так, на природе. Карл сперва колебался, он в жизни не садился на лошадь и хотел сперва немного подучиться, но дядя и Мак так настойчиво его уговаривали, так дружно уверяли, что верховая езда — одно удовольствие и полезный спорт, а вовсе никакое не искусство, что он в конце концов согласился. Теперь, правда, ему приходилось подниматься уже в половине пятого, о чем он порой горько сожалел, так как здесь, видимо, вследствие постоянной сосредоточенности, его то и дело клонило ко сну, однако в ванной комнате все сожаления вскоре улетучивались. Над чашей ванны во всю ее длину и ширину протянулось мелкое сито души, — у кого из его одноклассников, будь он даже богач из богачей, там, дома, могло быть хоть что-либо подобное, да еще на себя одного! — а Карл, пожалуйста, лежит, и даже ру-

ки в этой ванне может раскинуть, и по своему усмотрению, хочешь — по всей площади, хочешь — частями, низвергает на себя упругие потоки теплой, потом горячей, потом снова теплой, а под конец — обжигающе ледяной воды. Так он лежал, храня в проснувшемся теле уходящее блаженство недавнего сна, и особенно любил подставлять сомкнутые веки последним, отдельным каплям, которые ласково щекотали кожу, струйками стекая по лицу.

В манеже, куда Карла доставлял гордый, как крейсер, дядин лимузин, его уже дожидался английский преподаватель, тогда как Мак неизменно приходил чуть позже. Но он-то мог задерживаться сколько угодно, ибо настоящая увлекательная езда все равно начиналась лишь с его приходом. Кто объяснит, почему, едва он входил, лошади стряхивали с себя прежнюю полудрему и начинали вставать на дыбы, почему шелк хлыста разносился теперь на весь зал, откуда на галерее, что опоясывала манеж, группами и поодиночке возникали люди — конюхи, ученики, просто зрители и бог весть кто еще? Ну а время до прихода Мака Карл тоже старался использовать, чтобы освоить хотя бы самые начальные азы верховой езды. Был там один жокей, до того длинный, что, лишь слегка приподняв руку, доставал до холки самой крупной лошади, вот он-то и давал Карлу первые уроки, продолжительность которых, впрочем, не превышала обычно и четверти часа. Надо сказать, что успехи Карла были здесь не слишком велики, и на протяжении занятий он не раз имел возможность попрактиковаться в жалобных английских восклицаниях, когда, задыхаясь, выкрикивал их своему английскому преподавателю, который, прислонившись всегда к одному и тому же дверному косяку, почти засыпал стоя. Но приходил Мак — и почти все тяготы верховой езды мигом кончались. Долговязого тут же куда-то отсылали, и вскоре в еще полутемном манеже исчезало все — только слышался стук копыт на галопе, только виднелась вскинутая рука Мака, отдающая Карлу команды. Полчаса этого удовольствия пролетало как сон — и все было кончено. Мак, всегда в страшной спешке, прощался с Карлом, иногда, если был особенно им доволен, трепал по щеке и исчезал, не находя времени даже на то, чтобы вместе с Карлом дойти до двери. Карл сажал преподавателя в автомобиль, и они ехали домой на английский урок — как правило, круглыми путями, ибо в суতোлке большой улицы, которая, вообще-то, вела напрямик от дядиного дома к манежу, терялось слишком много времени. Вско-

ре, впрочем, преподаватель перестал его сопровождать хотя бы сюда, — терзаясь угрызениями совести, что понапрасну таскает с собой в манеж замученного человека, тем более что общение с Маком было донельзя бесхитростным, Карл попросил дядю избавить преподавателя от этой повинности. После некоторого раздумья дядя его просьбе уступил.

Прошло довольно много времени, прежде чем дядя согласился показать Карлу, да и то наспех, свою фирму, хотя Карл давно его об этом упрасивал. Это была своего рода торгово-посредническая и экспедиционная фирма, о каких Карл, сколько ни старался припомнить, в Европе вообще не слыхивал. Фирма хоть и занималась посреднической торговлей, но товар поставляла не от производителей к потребителям или торговцам, а осуществляла посредническое снабжение товарами и всеми видами сырья для крупных фабричных картелей и между ними. Таким образом, в задачи фирмы входили закупка, складирование, продажа и доставка огромных партий различных товаров, а также поддержка бесперебойного и абсолютно точного телефонного и телеграфного сообщения с клиентами. Телеграфный зал был здесь не меньше, а, пожалуй, больше, чем телеграф в родном городе Карла, в служебные помещения которого он однажды проник стараниями вхожего туда одноклассника. В телефонном зале, куда ни глянь, ходуном ходили двери телефонных кабинок, и трезвон стоял умопомрачительный. Одну из этих дверей, самую ближнюю, дядя открыл: в залитой ярким электрическим светом кабине, безразличный к любым посторонним шумам за спиной, сидел стенографист, чья голова была туго перехвачена стальной лентой, прижимавшей к ушам наушники. Правая рука, отяжелевшая и будто прикованная, покоилась на столике, и лишь пальцы, стиснувшие карандаш, дергались с нечеловеческой быстротой и ритмичностью. Изредка он бросал скупые, отрывистые реплики в переговорную трубку, и иногда казалось даже, что он порывается что-то возразить или переспросить поточнее, однако слова собеседника на другом конце провода вынуждали его, подавив в себе этот порыв, снова опустить глаза и записывать. Он и не должен ничего говорить, тихо объяснил Карлу дядя, ибо то же самое сообщение одновременно с ним принимают еще два стенографиста, и все три текста потом тщательнейшим образом сверяются, так что ошибки и недоразумения почти исключены. Едва они вышли из кабины, в дверь тут же прошмыгнул практикант и сразу же

выскочил со свежееписанным листком очередного сообщения. По центру зала, на проходе, толчая была, как на улице. Люди сновали взад-вперед, никто не здоровался, приветствия здесь были упразднены, каждый применялся к побежке впереди идущего, смотрел либо в пол, как бы надеясь ускорить его продвижение под ногами, либо в свои бумаги, выхватывая оттуда, вероятно, лишь отдельные, прыгающие на бегу слова и цифры.

— Ты и вправду широко развернулся, — заметил Карл во время одной из таких вылазок на фирму, весь осмотр которой — даже если просто ненадолго заглядывать в каждый отдел — потребовал бы многих дней.

— И притом заметь, я сам все это поставил. Тридцать лет назад у меня была только маленькая контора возле порта, и, если там в день отпускали пять ящиков, это считалось много, и я шел домой, пыжась от гордости. А сегодня мои склады — третьи в порту по вместимости, а в той конторе теперь столовая и подсобка пятьдесят шестой бригады моих грузчиков.

— Но это ведь почти чудо, — изумился Карл.

— А тут все быстро делается, — сказал дядя, обрывая разговор.

Однажды дядя зашел к нему перед самым обедом, который Карл, как обычно, думал проглотить в скучном одиночестве, велел ему немедленно надеть черный костюм и идти обедать к нему: он пригласил двух своих приятелей и компаньонов. Пока Карл переодевался в соседней комнате, дядя присел за письменный стол и, просмотрев только что законченное задание по английскому, хлопнул ладонью по столу и громко воскликнул:

— И впрямь отлично!

После такой похвалы и переодевание пошло у Карла быстрее, но он и в самом деле был уже довольно спокоен за свой английский.

В дядиной столовой, которую Карл запомнил еще с первого вечера своего приезда, навстречу им поднялись два высоких, весьма упитанных господина, один — некто Грин, второй — некто Полландер, как выяснилось в ходе дальнейшей застольной беседы. Ведь дядя, как правило, даже вскользь не говорил с Карлом о своих знакомых, предоставляя племяннику самому во всем разбираться и извлекать для себя все необходимое и интересное. После того, как непосредственно за едой были доверительно обсуждены сугубо деловые вопросы, что с успехом заменило Карлу обстоятельную лекцию по английским

коммерческим выражениям, — самого Карла в это время не замечали вовсе, предоставив ему тихо заниматься своей едой, будто он дитя малое, которого первым делом следует хорошо накормить, — господин Грин, весь подавшись вперед и явно стараясь как можно разборчивей выговаривать родные английские слова, задал Карлу простейший вопрос о его первых американских впечатлениях. В наступившей тишине, искоса поглядывая на дядю, Карл ответил довольно подробно, постаравшись, дабы сделать собеседнику приятное, окрасить свою речь нью-йоркскими словечками. Одно из таких его выражений было встречено дружным смехом, Карл даже испугался, уж не сделал ли ошибку, но нет, как тут же заверил его господин Полландер, он, напротив, высказался весьма удачно. Этот господин Полландер, похоже, вообще проникся к Карлу особым расположением, и, покуда дядя с господином Грином снова углубились в разговор о делах, он, жестом пригласив Карла перебраться вместе с креслом к нему поближе, сперва расспрашивал о всякой всячине, поинтересовавшись его именем, происхождением, подробностями его путешествия, а потом, чтобы дать наконец Карлу передышку, смеясь и покашливая, скороговоркой рассказал о себе и своей дочери, с которой они живут в небольшой вилле неподалеку от Нью-Йорка, где он-то, правда, бывает только по вечерам, поскольку он банкир, а это ремесло целыми днями держит его в городе. Карл, кстати, тут же был весьма сердечно приглашен на эту виллу выбраться, ведь он, новоиспеченный американец, наверняка испытывает потребность иногда отдохнуть от Нью-Йорка. Карл, не откладывая, спросил у дяди, разрешит ли тот принять столь любезное приглашение, на что дядя ответил вежливым и вроде бы даже радостным согласием, не оговорив, однако, против ожиданий Карла и господина Полландера, точных сроков поездки и, похоже, даже не думая их намечать.

Однако уже назавтра Карл был срочно вызван в дядин кабинет — у него в одном только этом доме было десять разных кабинетов, — где застал дядю и господина Полландера, с довольно замкнутым видом возлежащих на креслах.

— Господин Полландер, — проговорил дядя, лица которого в вечернем сумраке было почти не видно, — приехал забрать тебя к себе на виллу, как мы вчера договорились.

— Я не знал, что это уже сегодня, — ответил Карл. — Если б я знал, я бы собрался.

— Если ты не собрался, может, стоит отложить визит на другой раз? — рассудил дядя.

— Какие там сборы! — вскричал господин Полландер. — Молодой человек всегда должен быть в боевой готовности!

— Дело не в нем, — возразил дядя, поворачиваясь к своему гостю. — Но ему пришлось бы подниматься к себе в комнату, а это вас задержит.

— Ничего, и на это времени хватит, — заверил господин Полландер. — Я предвидел заминку и пораньше закончил с делами.

— Видишь, сколько хлопот уже причиняет твой визит, — укоризненно сказал дядя.

— Мне очень жаль, — смущенно пробормотал Карл. — Но я в два счета. — И уже собрался умчаться.

— Да не торопитесь вы так, — успокоил его господин Полландер. — Ни малейших хлопот вы мне не причинили, напротив, ваш визит для меня большая радость.

— Но ты пропускаешь завтра манеж, надеюсь, ты отменил занятия?

— Нет, — признался Карл. Эта поездка, которой он так обрадовался, уже начинала его тяготить. — Я же не знал...

— Однако все равно хочешь ехать? — не унимался дядя.

Но господин Полландер, этот милейший человек, и тут пришел ему на выручку.

— Мы по дороге заедем в манеж и все уладим.

— Что ж, это еще куда ни шло, — уступил дядя. — Но Мак тебя будет ждать.

— Ждать он меня не будет, — ответил Карл, — но прийти придет.

— Ну так? — проговорил дядя таким тоном, словно ответ Карла ни в коей мере не являлся оправданием.

Но и тут последнее слово осталось за господином Полландером.

— Но ведь Клара — это была дочь господина Полландера — тоже его ждет, причем уже сегодня вечером, и, видимо, имеет право на предпочтение?

— Безусловно, — неохотно согласился дядя. — Ну что ж, беги к себе в комнату, — сказал он и несколько раз как бы в рассеянности пристукнул ладонью по подлокотнику кресла.

Карл был уже в дверях, когда дядя остановил его еще одним вопросом:



— Но на английский урок завтра утром ты, надеюсь, явишься?

— Но позвольте! — в изумлении воскликнул господин Полландер, тщетно пытаясь повернуться в кресле всем своим грузным телом. — Неужели ему нельзя провести у нас хотя бы завтрашний день? А послезавтра к утру я привез бы его обратно.

— Ни в коем случае, — отрезал дядя. — Я не могу до такой степени запускать его занятия. Позднее, когда он начнет жить размеренной трудовой жизнью, я с удовольствием разрешу ему воспользоваться столь любезным и лестным приглашением даже на более длительный срок.

«Что у них за споры?» — недоумевал Карл. Господин Полландер заметно погрузился.

— На один вечер и одну ночь, пожалуй, и впрямь не стоит.

— Вот и я так полагал, — сухо заметил дядя.

— Надо брать что дают, — решил вдруг господин Полландер и снова рассмеялся. — Итак, я жду! — крикнул он Карлу, который, благо дядя ни слова больше не проронил, стремглав бросился наверх.

Когда Карл, готовый к отъезду, вскоре вернулся в кабинет, он застал там только господина Полландера, а дяди уже не было. Господин Полландер, сияя от счастья, схватил Карла за обе руки и начал трясти, словно изо всех сил хотел увериться, что Карл и вправду с ним едет. Карл, еще разгоряченный от спешки, ответил ему тем же, так он был рад, что его все-таки отпустили.

— Дядя не очень сердился, что я еду?

— Да нет же! Это он так, больше для виду. Просто он слишком близко к сердцу принимает ваше воспитание.

— Это он вам сам так сказал, что сердится больше для виду?

— Ну конечно, — протянул господин Полландер, доказав тем самым, что врать он умеет плохо.

— Странно, что он так неохотно меня отпустил, ведь вы его друг.

Господин Полландер, хоть и не признавался в открытую, тоже не находил объяснения этой странности, и оба они, плавно катя в автомобиле господина Полландера сквозь теплый вечер, еще долго об этом раздумывали, беседуя, правда, совершенно о другом.

Они сидели тесно, бок о бок, и господин Полландер, рассказывая, держал руку Карла в своей. Карл хотел побольше услышать о барышне Кларе, словно ему не терпелось поскорее приехать и рассказы господина Полландера способны домчать их до цели быстрее, чем

его автомобиль. И хотя он ни разу еще не ездил по вечерним нью-йоркским улицам, а вокруг, по тротуарам и мостовым, ежесекундно меня направление, как под порывами штормового ветра, волнами раскатывался многоголосый шум, производимый, казалось, не людьми, а какой-то чуждой стихией, Карл словно ничего этого и не замечал, стараясь не пропустить ни одного слова господина Полландера и не сводя глаз с его темной жилетки, на которой, тяжело опадая, покоилась золотая цепочка. С улиц, где оголтелая публика в паническом страхе опоздать, летящей припрыжкой и в машинах, выскакивая из них чуть ли не на ходу, устремлялась к толкучке театральных подъездов, они выбрались в районы потише, потом на окраины и наконец в предместья, где их автомобиль то и дело начали останавливать и сворачивать в переулки конные полицейские, поскольку все главные улицы, как оказалось, заняты демонстрацией бастующих рабочих-металлистов и открыты лишь для поперечного проезда на нескольких перекрестках, да и то в случае крайней необходимости. Когда потом, выныривая из темноты узких, глухим рокотом отзывающихся переулков, автомобиль пересекал какую-нибудь из этих улиц, шириною с целую площадь, по обе стороны в безнадежных, нескончаемых перспективах взгляду открывались тротуары с протянувшимися по ним черными вереницами людей, которые медленно, мелкими шажками куда-то двигались, а всю улицу заполняло их пение, более слитное, чем голос одного человека. На расчищенной от толпы проезжей части кое-где можно было заметить то полицейского на неподвижно застывшем коне, то людей с флагами или протянутыми через всю улицу транспарантами, то какого-нибудь рабочего вожака в окружении соратников и ординарцев, то вагон электрического трамвая, который недостаточно шустро убежал от демонстрации и вот теперь, настигнутый, стоял с темными, пустыми окнами, а водитель и кондуктор коротали время, усевшись на подножке. Горстки зевак, глаза на демонстрантов, держались от них подальше, но с места не двигались, хоть и не знали толком, что тут, собственно, происходит. Карл, безмятежно откинувшись на руку господина Полландера, обнявшего его за плечи, тоже ни о чем таком не помышлял; счастливая уверенность, что скоро он будет желанным гостем в уютном, освещенном доме, под защитой надежных стен, под охраной сторожевых псов, наполняла его душу блаженным покоем, и хоть из-за подступающей сонливости он уже не все речи господина Полландера воспринимал

отчетливо или, по крайней мере, без пропусков, однако время от времени он встряхивался и протирал глаза, желая еще раз ненадолго убедиться, что господин Полландер его сонливости не замечает, ибо уж этого-то Карл любой ценой хотел избежать.

### III. Особняк под Нью-Йорком

Вот и приехали, — раздался голос господина Полландера как раз в один из таких упущенных Карлом промежутков.

Автомобиль стоял у ворот особняка, который, на манер всех загородных вилл нью-йоркских богачей, был куда выше и внушительней, чем это необходимо для загородного дома на одну семью. Поскольку светились лишь нижние окна здания, невозможно было даже приблизительно оценить высоту его укутанных тьмой очертаний. За решеткой ограды шелестели каштаны, меж которых — калитка была уже распахнута — пролегла прямая дорожка к сбегаящей навстречу парадной лестнице. По тому, как затекло все тело, Карл рассудил, что ехали они все-таки довольно долго. Во мраке каштановой аллеи девиный голос неожиданно близко произнес:

— А вот наконец и господин Якоб!

— Моя фамилия Росман, — ответил Карл, беря протянутую ему руку девушки, чей силуэт он только теперь угадал в темноте.

— Он же только племянник господина Якоба, — пояснил господин Полландер. — А зовут его Карл Росман.

— Это нисколько не умаляет нашу радость его здесь видеть, — сказала девушка, видимо, вообще не придавая именам особого значения.

Тем не менее Карл, направляясь между девушкой и господином Полландером к дому, на всякий случай спросил:

— А вы, сударыня, наверное, и есть Клара?

— Да, — ответила она, повернув к нему теперь уже слабо различимое в свете окон лицо. — Просто я не хотела в темноте представляться.

«Что же, она так и ждала нас у калитки?» — успел удивиться Карл, на ходу постепенно просыпаясь.

— У нас, кстати, сегодня еще один гость, — сообщила Клара.

— Быть не может! — воскликнул господин Полландер с досадой.

— Господин Грин, — добавила она.

— А когда он приехал? — спросил Карл, словно осененный каким-то неясным предчувствием.

— Да прямо перед вами. Я думала, вы слышали его машину.

Карл взглянул на господина Полландера, стараясь понять, как он расценивает этот визит, но тот, держа руки в карманах, только чуть грузнее затопал по дорожке.

— Никакого толка жить просто под Нью-Йорком, покоя все равно не дадут. Нет, надо переезжать еще дальше. Пусть я хоть полночи буду домой добираться.

У лестницы они остановились

— Но господин Грин давно у нас не был, — робко заметила Клара, очевидно, полностью согласная с отцом, но желая как-то его успокоить.

— Да, но кто его просил приезжать именно сегодня! — воскликнул господин Полландер, и, казалось, речь его яростно слетает прямо с толстой нижней губы, которая мясистым розовым валиком так и запрыгала над подбородком.

— Это уж точно, — согласилась Клара.

— Может, он скоро уедет? — предположил Карл, сам удивляясь, как быстро оказался заодно с этими, еще вчера совершенно чужими ему людьми.

— О нет, — сказала Клара, — у него к папе какое-то серьезное дело, и разговор, наверное, будет долгий, он уже в шутку грозился, что, если я хочу прослыть вежливой хозяйкой, мне придется сидеть с ними до утра.

— Этого еще не хватало! Значит, он останется на ночь, — просто-напросто Полландер, как будто теперь наконец сбылись самые худшие его предположения. — По правде говоря, — продолжал он, и от этой новой мысли лицо его сразу просветлело, — по правде говоря, лучше уж мне, господин Росман, сразу усадить вас в автомобиль и отвезти обратно к дяде. Сегодняшний вечер, можно считать, заведомо пропал, а кто знает, когда ваш дядя снова вас к нам отпустит. Если же я вас сегодня привезу, он в следующий раз не сможет нам отказать.

И он уже подхватил было Карла под руку, намереваясь осуществить свой замысел. Но Карл не тронулся с места, да и Клара стала просить его оставить, по крайней мере, ей и Карлу господин Грин ни-

сколько не помешает, так что и сам Полландер мало-помалу начал колебаться в своем намерении. А кроме того — и это, видимо, решило дело, — с верхней площадки парадной лестницы внезапно раздался зычный голос господина Грина, взывающий во тьму сада:

— Эй, где вы там?!

— Пошли! — сказал Полландер и шагнул на лестницу.

Следом за ним двинулись Карл и Клара, осторожно присматриваясь друг к другу в наплывающем свете.

«Какие у нее губы алые», — мелькнуло у Карла, и, вспомнив о губах господина Полландера, он подивился, как прекрасно преобразены они на лице его дочери.

— Когда отужинаем, — так она выразилась, — мы с вами, если не возражаете, сразу пойдём в мою комнату, чтобы хоть нам избавиться от этого господина Грина, раз уж папе все равно с ним заниматься. И вы не откажете в любезности немножко мне поиграть, папа мне уже рассказал, как замечательно вы это умеете. А я, к сожалению, к занятиям музыкой совсем не способна и к своему пианино не притрагиваюсь, хотя вообще-то музыку ужасно люблю.

Такое предложение, конечно, пришлось Карлу по душе, хоть он был бы и не прочь завлечь в их общество еще и господина Полландера. Однако при виде гигантской фигуры Грина — к размерам Полландера Карл уже как-то по привычке, — которая выростала на глазах по мере того, как они поднимались по лестнице, всякая надежда каким-либо образом вызволить сегодня господина Полландера из лап этого великана оставила Карла напрочь.

Господин Грин встретил их очень деловито, словно многое предстояло наверстать, сразу взял господина Полландера под руку и, слегка подталкивая перед собой Карла и Клару, увлек всех в столовую, которая — особенно благодаря цветам на столе, клонившим стебли из всплеска свежей остролистой зелени, — выглядела очень нарядно и вдвойне заставляла сожалеть о назойливом присутствии господина Грина. Не успел Карл, стоя у стола и дожидаясь, пока сядут остальные, порадоваться тому, что большая дверь в сад обеими своими створками распахнута настежь и в комнате, словно в садовой беседке, веет свежестью и благоуханием, как господин Грин, пыхтя, принялся ее закрывать, нагнулся к нижней щеколде, потянулся к верхней, и все это с такой юношеской резвостью, что подоспевший было слуга остался совершенно не у дел. Первыми словами господи-

на Грина за столом были слова удивления по поводу того, что Карл получил добро дяди на этот визит. Отправляя в рот одну ложку супа за другой, он объяснял, обращаясь то направо, к Кларе, то налево, к господину Полландеру, почему его это так удивляет, и как дядя над Карлом трясется, и сколь вообще велика любовь дяди к Карлу — мол, не всякий родитель питает к своему чаду столь же пылкие чувства. «Мало того, что он сюда без спросу заявился, так он еще и лезет в мои отношения с дядей!» — возмутился Карл и не мог больше проглотить ни ложки ароматного, мерцающего золотистыми глазками супа. Но потом, не желая показывать, как неприятен ему весь этот разговор, все-таки снова начал есть, молча заглывая ложку за ложкой. Ужин тянулся мучительно, как пытка. Только господин Грин и еще, быть может, Клара были оживлены и иногда находили случай немного посмеяться. Господин Полландер лишь изредка вступал в беседу, когда господин Грин заводил разговор о делах. Но он и от таких разговоров как-то быстро отключался, пока господин Грин спустя некоторое время не застигал его врасплох очередным вопросом. Вообще же Грин как-то особенно напирал на то, — именно в этом месте Клара напомнила Карлу, который внимательно и встревоженно прислушивался, что он все-таки за ужином и у него стынет жаркое, — что он вовсе не намеревался наносить сегодня этот неожиданный визит. Потому что дело, о котором речь еще впереди, хоть и вправду весьма срочное, однако в общих чертах его можно было обсудить сегодня в городе, а уж всякие мелочи отложить до завтра или вообще на потом. Он и вправду еще задолго до закрытия зашел к господину Полландеру в банк, однако его уже не застал, вот и пришлось звонить домой, предупреждать, что ночевать он не будет, и ехать сюда.

— В таком случае я должен попросить извинения, — громко произнес Карл, прежде чем кто-либо успел хоть слово сказать. — Это из-за меня господин Полландер сегодня раньше ушел из банка, о чем я весьма сожалею.

Господин Полландер поспешил прикрыть большую часть лица салфеткой, а Клара хоть и улыбнулась Карлу, но не сочувственно, а скорее как бы пытаясь его одернуть.

— Да какие там извинения, — возразил господин Грин, уверенными, точными движениями разделявая жареного голубя у себя на тарелке. — Совсем напротив, я очень рад провести вечер в столь при-

ятном обществе, нежели ужинать в одиночестве дома под присмотром моей старухи экономки, которая настолько одряхла, что с превеликим трудом доходит от двери до моего стола, и я успеваю неплохо отдохнуть в своем кресле, наблюдая за этим ее путешествием. Лишь недавно мне удалось добиться, чтобы из кухни до дверей столовой блюда доставлял слуга, ну а уж проход от двери до стола она, как я понимаю, никому не уступит.

— Господи, — воскликнула Клара, — вот это верность!

— Да, не перевелась еще верность на свете, — изрек господин Грин, отправляя в рот очередной кусок, где его, как ненароком заметил Карл, с жадностью подхватил розовый, влажный и сильный язык.

Карлу едва не сделалось дурно, и он встал. В ту же секунду господин Полландер и Клара с двух сторон схватили его за руки.

— Что вы, что вы, сидите, — всполошилась Клара. А когда он сел, шепнула: — Скоро мы вместе сбежим. Наберитесь терпения.

Господин Грин между тем преспокойно продолжал есть, словно это самое обычное для господина Полландера и Клары дело — успокаивать Карла, если тому чуть не стало дурно по его милости.

Трапеза особенно затянулась из-за обстоятельности, с которой господин Грин воздавал должное каждому новому блюду, сохраняя, впрочем, недюжинные силы и энтузиазм для последующих, — похоже, он и впрямь вознамерился как следует отдохнуть от забот своей старушки экономки. Он то и дело принимался хвалить искусницу Клару, которая так замечательно ведет хозяйство, и той это явно льстило, тогда как Карлу казалось, будто Грин на нее посягает, и все время хотелось его осадить. Но господин Грин одной Кларой не довольствовался, не поднимая глаз от тарелки, он частенько сожалел о столь очевидном отсутствии аппетита у Карла. Господин Полландер даже взял Карла под защиту, хотя ему-то как гостеприимному хозяину, наоборот, полагалось бы Карла потчевать. Ощущая в течение всего ужина странную подавленность, Карл до того разнервничался, что при всей своей расположенности к господину Полландеру и вправду истолковал это заступничество как нелюбезность. Ничего удивительного, что при таком своем состоянии он то вдруг принимался есть неприлично быстро и много, то снова замирал, устало опустив нож и вилку, впадая в столь отрешенное оцепенение, что подающий блюда слуга просто не знал, с какой стороны к нему подступиться.

— Завтра же расскажу господину сенатору, как вы огорчили бедняжку Клару своим неважным аппетитом, — пообещал господин Грин, соизволив подчеркнуть шутливость этих слов лишь тем, как он расправляется с бифштексом. — Вы только посмотрите на девочку, она же просто в отчаянии, — продолжал он, беря Клару за подбородок. Та не сопротивлялась, только закрыла глаза. — Ах ты, куколка моя! — воскликнул он и расхохотался, багровея сытым, наевшимся лицом.

Тщетно силился Карл понять необъяснимое поведение господина Полландера. Тот потупился над тарелкой и не поднимал глаз, будто именно там происходит все самое интересное. Он не придвинет стул Карла к себе поближе, а если что и говорит, то обращается ко всем сразу, лично же с Карлом ему вроде и не о чем побеседовать. Он, напротив, терпеливо сносит выходки Грина, этого старого прожженного нью-йоркского холостяка, который с недвусмысленными намерениями трогает его дочь, оскорбляет Карла, его гостя, или, по меньшей мере, обходится с ним как с ребенком, и, вообще, одному Богу известно, для каких таких дел он тут подкрепляется и что замышляет.

По окончании трапезы — Грин, почувствовав наконец общее настроение, встал первым и тем как бы подал команду остальным — Карл в одиночестве отошел в сторонку, к одному из больших, с узкими белыми продольными рейками окон, что вело на террасу и оказалось при ближайшем рассмотрении даже не окном, а дверью. Куда подевалась былая неприязнь, которую господин Полландер и Клара поначалу вроде бы испытывали к Грину и которую он, Карл, счел сперва даже несколько непонятной? Теперь же они стоят возле этого Грина и только кивают. Дым от сигары господина Грина, которой угостил его Полландер, — сигары такой толщины, что, наверное, именно о таких иногда рассказывал дома отец как о диковине, которую он своими глазами в жизни не видывал, — расползлся по зале и как бы разносил присутствие Грина даже в такие уголки и ниши, куда сам он ни за что не смог бы протиснуться. Как ни далеко стоял Карл, но все равно он чувствовал этот дым и у него щипало в носу, а все поведение господина Грина, на которого он отсюда лишь разок мельком оглянулся, представлялось ему просто беспардонным. Теперь он уже не исключал мысль, что дядя потому только так упорно пытался возбранить ему эту поездку, что, зная слабохарактерность господина Полландера, если не в точности предвидел, то уж наверняка допускал,



что Карла каким-то образом могут в этом доме обидеть. Да и американская девица тоже ему не нравилась, хоть внешностью, надо признать, почти не обманула его ожиданий. А с тех пор, как Грин стал за ней увиваться, Карл даже поражался красоте, на которую, оказывается, способно ее лицо, в особенности же неукротимому блеску ее буйных, стреляющих глаз. И юбок вроде этой, чтобы так обтягивала тело, он отродясь не видывал, — вон как подернулась мелкими тугими складочками тонкая, прочная желтоватая ткань. Но все равно Карлу она безразлична, и, чем тащиться с ней в ее комнату, он, будь его воля, с радостью распахнул бы дверь, за ручку которой сейчас на всякий случай обеими руками держался, и сел бы в машину или, если шофер уже спит, отправился до Нью-Йорка один, хоть пешком. Ясная ночь приветливым светом луны манила на свои просторы, и страшиться чего-либо там, на воле, казалось Карлу совсем уж глупым. Он вообразил — и впервые в этих стенах у него стало веселей на душе, — как поутру, раньше-то он вряд ли доберется, он ошеломит дядю своим возвращением. Он, правда, еще ни разу не был в дядиной спальне и даже не знает, где она находится, но уж как-нибудь отыщет. Он постучится в дверь и в ответ на сухое «войдите» вихрем ворвется в комнату и застигнет своего милого дядю, которого и видел-то прежде всегда только при костюме, только застегнутым на все пуговицы, врасплох — на кровати, в ночной рубашке, с изумлением взирающим на дверь. Само по себе это, конечно, не бог весть какое событие, но, если подумать, сколько же всего оно может за собой повлечь! Быть может, они впервые вместе с дядей позавтракают, дядя еще в постели, Карл рядом в кресле, а завтрак между ними на маленьком столике; быть может, такой совместный завтрак войдет у них в обыкновенные, и, быть может, благодаря таким вот завтракам — да, пожалуй, это почти неизбежно — они станут видеться чаще, чем всего раз в день, как было прежде, и, разумеется, научатся проще, откровеннее, задушевней говорить друг с другом. Если он сегодня и был с дядей несколько непослушен, чтобы не сказать упрямым, так ведь это только от недостатка откровенности! И даже если сегодня ему придется остаться здесь на ночь — к сожалению, все, похоже, к тому и клонится, хоть его и бросили тут у окна одного, предоставив самому развлекать себя как угодно, — быть может, злосчастный этот визит повернет к лучшему их с дядей отношения, и, как знать, возможно, дядя сейчас у себя в спальне обдумывает такие же мысли?

Слегка утешив себя, он обернулся. Перед ним стояла Клара.

— Вам совсем у нас не нравится? — спросила она. — И совсем не хочется почувствовать себя как дома? Пойдемте, я попытаюсь в последний раз.

Через всю залу она повела его к дверям. В сторонке за столиком сидели Грин и Полландер, перед каждым в высоком бокале пенился какой-то неизвестный Карлу напиток, которого и он, кстати, не отказался бы попробовать. Господин Грин, облокотившись на столик и весь подавшись вперед, склонил лицо к господину Полландеру и что-то ему нашепывал; если не знать господина Полландера, впору было подумать, что они не сделку обсуждают, а задумали какое-то злодейство. И если господин Полландер дружеским взглядом проводил Карла до самой двери, то Грин, напротив, даже не подумал оглянуться, хотя это только естественно — проследить за взглядом собеседника, из чего Карл заключил, что Грин всем своим поведением как бы дает ему понять: либо ты, либо я, пусть каждый бьется за себя, а уж необходимые светские условности будут восстановлены только после победы одного и полного уничтожения другого. «Если он так думает, — решил про себя Карл, — то он совсем дурак. Мне до него и дела нет, пусть и он оставит меня в покое». Едва оказавшись в коридоре, он успел подумать, что, наверное, повел себя невежливо, ибо так заворуженно озирался на Грина, что Кларе чуть ли не силой пришлось вытаскивать его из комнаты. Тем охотнее пошел он теперь рядом с ней. Они шли по коридорам, и сперва Карл просто не поверил своим глазам, когда через каждые двадцать шагов им попадался замерший у стены слуга в богатой ливрее и с подсвечником, который он обеими руками держал на весу за массивное основание.

— Электричество провели пока только в столовую, — объяснила Клара. — Мы этот дом недавно купили и целиком перестраиваем, насколько вообще можно перестроить дом, да еще с такой прихотливой архитектурой.

— Значит, и в Америке уже есть старые дома, — заметил Карл.

— Конечно, — рассмеялась Клара, увлекая его дальше. — Странные у вас, однако, представления об Америке.

— Нечего надо мной смеяться, — сказал он сердито. В конце концов, он-то уже видел и Европу, и Америку, а она только Америку.

По пути, слегка протянув руку, Клара распахнула одну из дверей и, не останавливаясь, сообщила:

— Здесь вы будете спать.

Карлу, разумеется, захотелось туда заглянуть, но Клара раздраженно, почти срываясь на крик, заявила, что с этим успеется, а пока пусть он идет за ней. Карл заупрямился, они немного потягались у двери, но в конце концов Карл решил, что негоже ему во всем потакать девчонке, вырвал руку и пошел в комнату. Внезапно обступивший его мрак понемногу рассеялся лишь у окна, где мерно и тяжело покачивало всею кроной старое дерево. Слышалось пение птиц. В самой комнате, куда лунный свет еще не добрался, было трудно что-либо различить. Карл пожалел, что не взял с собой электрический карманный фонарик — подарок дяди. В таком доме фонарик просто необходим, несколько фонариков — и можно спокойно отправить прислугу спать. Он сел на подоконник и, вглядываясь во тьму, прислушался. Вспугнутая птица спросонок забилась в листве могучего дерева. Далеко разнесся по округе гудок нью-йоркского пригородного поезда. И снова упала тишина.

Но ненадолго — в комнату нервно вошла Клара.

— Что все это значит?! — крикнула она с нескрываемой злостью и от ярости даже хлопнула себя по ляжкам. Будь она повежливей, Карл бы ответил. Но она, не дожидаясь, подскочила к нему и с криком: — Так идете вы или нет? — то ли с умыслом, то ли просто в сердцах ткнула его в грудь, да так, что он неминуемо выпал бы из окна, если бы в последнюю секунду не успел зацепиться пятками за стенку, и, еле удержав равновесие, соскользнул с подоконника, ощутив под ногами спасительный пол.

— Я чуть не свалился, — сказал он с упреком.

— И зря не свалились. Почему вы такой нескладный? Вот возьму — и снова вытолкну.

С этими словами она и вправду обхватила Карла и, слегка приподняв — Карл, почувствовав, как напряглось все ее неожиданно сильное, тренированное тело, совсем опешил и в первую секунду даже не сопротивлялся, — едва не донесла до окна. Но тут, опомнившись, Карл резким движением вывернулся и сам ее схватил.

— Ах, вы мне делаете больно, — тут же пролепетала она.

Ну уж нет, теперь он ее не отпустит. Правда, Карл дал ей свободу идти куда вздумается, из рук своих не разжимал. К тому же в этом узком платье ее так легко держать.

— Пустите меня, — прошептала она. Ее разгоряченное лицо было совсем рядом, даже трудно смотреть ей в глаза, до того она близко. — Пустите меня, я вам что-то дам.

«Почему она так дышит, — удивился Карл, — ей вроде не больно, я ее даже не стиснул».

Секунда молчаливого, неосмотрительного ожидания — и внезапно он снова почувствовал на себе нарастающую силу ее упругого тела: она вырвалась, провела хорошо отработанный верхний захват, каким-то неизвестным приемом ловко отбила его ногу, когда он попытался поставить ей подножку, и, великолепно держа дыхание, потащила его куда-то к стене. Там, однако, оказалась тахта, на нее-то она и бросила Карла, после чего, опасаясь, впрочем, слишком близко к нему наклоняться, сказала:

— А теперь только попробуй у меня шелохнуться!

— С ума сошла?! Вот бешеная! — только и смог выдавить Карл, испытывая бессилие, ярость, стыд — все вместе.

— Думай что говоришь, — сказала она и, скользнув рукой по его шее, так сдавила горло, что Карл, не в силах продохнуть, только хватал ртом воздух, в то время как другой рукой она уже поглаживала его по щеке, время от времени отрывая ладонь и отводя ее все дальше, как бы примериваясь вклеить ему пощечину. — А что если, — приговаривала она при этом, — что если в наказание за такое обращение с дамой я надаю тебе пощечин и отправлю домой? Воспоминание у тебя, конечно, будет не из приятных, зато хороший урок на будущее. Да жалко, ты довольно смазливенький мальчик и, если бы обучался джиу-джитсу, наверное, мигом бы со мной управился. И все-таки, все-таки так и подмывает отхлестать тебя по мордасам, уж больно хорошо ты лежишь. Потом я, наверно, сама жалеть буду, так что имей в виду, если я это и сделаю, то почти против воли. Но уж, конечно, одной оплеухой я не ограничусь, буду лупить направо и налево, пока у тебя все щечки не заплывут. А ты как человек чести — а я почти верю, что ты человек чести, — не вынесешь позора этих пощечин и лишишь себя жизни. Вот только не пойму — чем я тебе не угодила? Или я тебе не нравлюсь? Неужели неохота пойти со мной в мою комнату? Стоп! Вот видишь, еще чуть-чуть, и я бы не удержалась и вмазала. Так что если сегодня тебе это сойдет, то впредь будь повежливей. Я тебе не дядя, чтобы вокруг тебя тут плясать. Но вообще-то учти, что, если я отпущу тебя сегодня без пощечин, ты не должен думать, будто по

кодексу чести это одно и то же — оказаться в твоём беспомощном положении или действительно схлопотать пощечину, а если ты не улавливаешь разницу, тогда уж лучше бы мне и вправду тебя отхлестать. То-то Мак посмеется, когда я ему все расскажу.

Вспомнив о Маке, она Карла отпустила, так что в его спутанном сознании Мак предстал чуть ли не избавителем. Какое-то время он еще чувствовал ее руку на своей шее, потом осторожно высвободился и затих.

Клара велела ему встать, но он не ответил, даже не шелохнулся. Чиркнула спичка, в комнате стало светлее, из темноты проступил голубой узор плафона, но Карл лежал, откинувшись на подушки тахты все в той же позе, в какой он оказался по милости Клары, и даже головы не поворачивал. Клара расхаживала по комнате, узкая юбка шуршала по ногам, потом, видимо, возле окна она надолго остановилась.

— Надулся? — донесся до него ее голос.

Карлу все это становилось в тягость — даже в этой комнате, отведенной ему господином Полландером для ночлега, его не оставляют в покое. С какой стати тут разгуливает эта девица, останавливается, что-то говорит, хотя она уже до смерти ему надоела? Поскорее уснуть, а завтра уехать — вот единственное его желание. И не надо никакой постели, он останется на тахте, лишь бы его никто не трогал. Он не мог дожидаться, когда же Клара наконец уйдет, чтобы одним прыжком подскочить к двери, щелкнуть задвижкой и снова броситься на тахту. Так хотелось потянуться, зевнуть — но не при Кларе же? Так он и лежал, уставившись в пустоту, чувствовал, как постепенно деревенеет лицо, перед глазами мелькнула кружившая над ним муха, но даже ее он толком не замечал.

Клара снова подошла, склонилась над ним, перехватила его взгляд, так что ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы не смотреть ей в глаза.

— Я сейчас уйду, — сказала она. — Может, немного погода тебе все-таки захочется ко мне заглянуть. Моя дверь — четвертая отсюда по этой же стороне коридора. Так что ты выйдешь, три двери пройдешь, а четвертая будет моя. В зал я больше не спущусь, останусь у себя в комнате. Ты меня тоже порядочно вымотал. Не думай, что я тебя буду ждать, но, если захочешь зайти, — милости прошу. Не забудь, ты ведь обещал мне поиграть. Но, может, я тебя слишком утомила, и

тебе даже пошевелинуться трудно — тогда оставайся тут и спи. А папе я о нашей стычке пока ни слова не скажу — это я на тот случай, чтоб ты зря не беспокоился.

И с этими словами она бодро — несмотря на свою якобы усталость — выбежала из комнаты.

Карл тотчас же сел — лежать было уже совсем не в состоянии. Чтобы размяться немного, он прошелся до двери, выглянул в коридор. Ну и темнотища! Он поскорей закрыл и замкнул дверь, лишь после этого, у стола, при свете свечи, стало полегче. Решение он принял такое: в этом доме он больше не останется, спустится сейчас к господину Полландеру, напрямик расскажет, как обошлась с ним Клара — признаться в своем поражении ему ничуть не стыдно, — и по этой вполне уважительной причине попросит разрешить ему уехать или даже уйти домой. Если же господин Полландер будет возражать против его немедленного отъезда или ухода, Карл в таком случае попросит с кем-то из слуг проводить его до ближайшей гостиницы. Конечно, подобным образом не очень-то принято поступать с радушными хозяевами, но поступать с гостями, как поступила с ним Клара, не принято и подавно. И она еще думает, что, пообещав ничего пока не рассказывать господину Полландеру об их стычке, делает ему любезность — это уж вообще неслыханная наглость! Его что, бороться сюда пригласили? Тогда, может, и впрямь было бы позорно, что его уложила на лопатки девчонка, которая, наверное, большую часть жизни только тем и занималась, что борцовские приемы отработывала. Вон даже сам Мак ей уроки давал. Пусть рассказывает ему сколько угодно, уж Мак-то человек разумный, Карл точно знает, хоть у него ни разу не было случая самому в этом убедиться. Зато он, Карл, знает и другое: если бы Мак взялся его обучать, уж он-то, Карл, добился бы куда больших успехов, чем Клара, и тогда он в один прекрасный день явился бы сюда, очень может быть, что и без приглашения, сперва, конечно, хорошенько обследовал бы место предстоящей схватки, — большое преимущество Клары как раз и было в том, что она точно знала место, — а уж после скрутил бы эту самую Клару в бараний рог и выколотил бы ею всю пыль из этой самой тахты, на которую она его сегодня бросила.

Теперь весь вопрос лишь в том, как найти обратную дорогу в зал, где он, кстати, по всей видимости, позабыл и шляпу, оставив ее — так ему было поначалу неловко, — наверно, на самом неподходящем ме-

сте. Свечу он, конечно, прихватит с собой, но даже со светом тут не просто разобраться. Он, к примеру, напрочь не помнит, вот эта комната на том же этаже, что и зал, или выше? Когда сюда шли, Клара его всю дорогу так тащила, что он и оглядеться-то не успел. А тут еще этот Грин в голове да лакеи с подсвечниками, — короче, он просто понятия не имеет, проходили они одну лестницу или две, а может, и вообще лестниц не было? Так-то, на глаз, комната довольно высоко, поэтому он почти убедил себя, что по каким-то ступенькам они вроде бы поднимались, но, с другой стороны, из сада они тоже по лестнице вошли, да и эта сторона дома может быть выше! Если бы еще в этом проклятом коридоре хоть полоска света из-под двери или голос чей-нибудь, пусть издали, пусть тихий!

Карманные часы — дядя подарил — показывали одиннадцать, он взял свечу и шагнул в коридор. Дверь он оставил настежь, чтобы в случае чего, если поиски окажутся тщетными, хотя бы до своей комнаты добраться, а уж по ней — но это на самый худой конец! — найти и комнату Клары. Для пушей надежности, чтобы дверь ненароком сама не захлопнулась, он припер ее креслом. В коридоре сразу же обнаружилась досадная помеха: в лицо Карлу — а пошел он, понятно, не к Клариной двери, а налево — повеяло сквозняком, хоть и слабым, но вполне достаточным, чтобы загасить свечу, так что пришлось ему прикрывать пламя ладонью, да еще то и дело останавливаться, давая чахлому, трепещущему огоньку спасительную передышку. Медленное это было продвижение, и оттого путь казался вдвое длинней. Карл уже миновал нескончаемый, как тоннель, пролет коридора, где вовсе не было дверей, и терялся в догадках, что скрывается за этими глухими стенами. Потом опять одна за другой пошли двери, многие он пробовал открыть, но они были заперты, а комнаты явно нежилые. Какое чудовищное расточительство, Карл невольно подумал о восточных районах Нью-Йорка, которые дядя обещал ему показать, — там, по слухам, в одной комнатухе живут по несколько семей, а весь приют одного семейства составляет жалкий закуток, где дети кучей копошатся вокруг родителей. А тут столько комнат пропадает совершенно зря, лишь для того, чтобы пустотой отзываться на стук в дверь! Не иначе, какие-нибудь горе-приятели сбили господина Полландера с пути, да и дочь задурила голову, вот они все его и испортили. Дядя-то уж, конечно, давным-давно его раскусил, и только его твердое правило никак не влиять на суждения Карла о других людях

послужило виной тому, что он, Карл, сюда приехал и теперь вот плутает по этим бесконечным коридорам. Завтра же он дяде так и скажет, а дядя в соответствии со своим твердым правилом охотно и спокойно выслушает суждение племянника о себе лично. К тому же это дядино правило — пожалуй, единственное, что Карлу в дяде не нравится, да и то это слишком сильно сказано, скорее уж, не совсем нравится.

Неожиданно стена по одну из сторон коридора оборвалась, уступив место ледяному мрамору перил. Карл поставил свечку подле себя и осторожно свесился. На него дохнуло черным мраком пустоты. Если это парадный зал — в блике свечи вроде выхватился кусок сводчатого потолка, — тогда почему они через этот зал не входили в дом? И зачем вообще такое громадное, просто бездонное помещение? Здесь, наверху, чувствуешь себя, как на церковных хорах. Карл уже почти сожалел, что не останется здесь до завтра, он с удовольствием обошел бы с господином Полландером весь дом, чтобы хозяин сам ему все показал и разъяснил.

Перила, впрочем, тянулись недолго, и вскоре его снова поглотил черный зев коридора. На каком-то неожиданном повороте Карл со всего маху наткнулся на стену, и лишь его неослабная забота о свече, которую он судорожно сжимал в руке, слава богу, уберегла ту от падения — а если бы она упала и погасла? А коридор все не кончался, и нигде ни оконца, чтобы хоть выглянуть, и ни малейшего движения, ни звука, ни шороха, — Карл уже стал подумывать, а не идет ли коридор по кругу, он уже надеялся снова увидеть распахнутую дверь своей комнаты, но ни дверь, ни знакомые мраморные перила не возвращались. До сих пор он крепился и удерживался от крика, как-то неудобно шуметь в чужом доме, да еще в столь поздний час, но теперь решил, что в такой пустынной и темной громадине это, пожалуй, вполне простительно, и уже собрался огласить в обе стороны коридора громкое: «Эй, кто-нибудь!» — как вдруг где-то далеко позади, там, откуда он пришел, завидел слабый, зыбкий, но несомненно приближающийся огонек. Только теперь Карл смог оценить длину этого нескончаемого коридора — да это не дом, а целая крепость! Он так обрадовался, что, забыв о всех предосторожностях, ринулся на этот спасительный свет, и свеча в его руке в тот же миг погасла. Но бог с ней, со свечой, она ему больше ни к чему, зачем свеча, когда вот же идет навстречу старый слуга с фонарем, уж он-то покажет ему дорогу.



— Кто вы такой? — спросил слуга и приблизил фонарь к лицу Карла, высветив тем самым и свое. Вид у него оказался весьма внушительный — главным образом из-за пышной, окладистой бороды, которая волнами ниспадала на грудь, завиваясь на концах тонкими шелковистыми колечками. «Должно быть, это очень верный слуга, раз ему позволяют носить такую бороду», — подумал Карл, с изумлением разглядывая эту бороду со всех сторон и ничуть не смущаясь тем, что самого его тоже весьма пристально рассматривают. Он, впрочем, тут же объяснил, что он гость господина Полландера, хотел из своей комнаты добраться до столовой, да вот заблудился.

— Ах, вон что, — сказал слуга. — Мы еще не провели электричество.

— Я знаю, — сказал Карл.

— Не хотите зажечь свечу от моей лампы? — предложил слуга.

— Ой, будьте добры, — признательно откликнулся Карл и протянул ему свечу.

— Здесь в коридорах дует ужасно, — заметил слуга, — свеча сразу гаснет, поэтому я и хожу с фонарем.

— Да, с фонарем гораздо удобней, — согласился Карл.

— Вы вон и закапались свечой, — сказал слуга и осветил фонарем костюм Карла.

— Ой, как же это я не заметил! — воскликнул Карл и не на шутку огорчился: ведь это его парадный черный костюм, про который дядя говорил, что он идет ему лучше всех. К тому же и схватка с Кларой вряд ли пошла костюму на пользу, вспомнил он. Слуга был настолько любезен, что принялся тотчас же костюм чистить — наспех, разумеется; Карл поворачивался перед ним так и эдак, указывая то на одно, то на другое пятно, а слуга послушно их соскребал.

— Почему, собственно, здесь так дует? — спросил Карл, когда они снова двинулись в путь.

— Так ведь еще строить сколько, — пояснил слуга. — Перестройку-то, правда, уже начали, но дело движется очень медленно. А тут еще и строители бастуют, вы, наверное, слышали. Одна морока с этим строительством. Стены-то в двух местах проломили, а замуровать некому, вот и гуляет сквозняк по всему дому. Я уж ватой уши затыкаю, а то совсем беда.

— Может, мне погромче говорить? — спросил Карл.

— Нет-нет, у вас ясный голос. Так вот, раз уж мы о стройке: тут, около часовни — ее, вообще-то, потом обязательно от остального дома отгородят, — такие сквозняки, просто сил нет.

— Значит, та мраморная лестница из коридора ведет в часовню?

— Ну да.

— Я так сразу и подумал.

— Часовня тут знатная, — заметил слуга. — Если бы не часовня, господин Мак, может, и не стал бы этот дом покупать.

— Господин Мак? — удивился Карл. — Я полагал, дом принадлежит господину Полландеру?

— Оно, конечно, — подтвердил слуга. — Только последнее слово при покупке дома все-таки было за господином Маком. Или вы с ним не знакомы?

— Ну как же, — возразил Карл. — Но кем он приходится господину Полландеру?

— Так он жених нашей барышни, — сообщил слуга.

— Вот как. Этого я не знал, — сказал Карл и даже остановился.

— Вас это так удивляет? — спросил слуга.

— Вообще-то нет, просто как-то неожиданно. Когда не знаешь таких вещей, можно ведь и впросак попасть, — ответил Карл.

— Странно, что вам об этом не сказали, — удивился слуга.

— И в самом деле, — окончательно смешался Карл.

— Наверно, думали, вы и так знаете, — предположил слуга. — Это ведь не новость. Вот мы и пришли, — добавил он, распахнув дверь, за которой и вправду сбегала крутая лестница к дверям все так же, как и по приезде, сиявшей огнями столовой. Прежде чем Карл вошел в столовую, откуда все еще, как и добрых два часа назад, доносились голоса господина Полландера и господина Грина, слуга сказал:

— Если хотите, я могу вас тут обождать и потом отведу в вашу комнату. А то с непривычки, да еще вечером, у нас трудновато разобратся.

— Я не вернусь к себе в комнату, — ответил Карл и, сам не зная почему, как-то вдруг погрузился при этой мысли.

— Ничего, бывает и хуже, — сказал слуга со снисходительной улыбкой и даже слегка потрепал Карла по плечу.

Видимо, он истолковал слова Карла в том смысле, что Карл собирается всю ночь просидеть с господами в столовой и пить с ними. Карлу не хотелось пускаться в откровенности, а кроме того, он вдруг

сообразил, что этот слуга, понравившийся ему больше других здешних слуг, может ведь потом показать ему дорогу к Нью-Йорку, и потому сказал:

— Раз уж вы сами предложили меня подождать, что, конечно, большая любезность с вашей стороны, я с благодарностью ею воспользуюсь, В любом случае я скоро вернусь и уж тогда скажу, что собираюсь делать. Полагаю, мне еще понадобится ваша помощь.

— Хорошо, — согласился слуга, поставил фонарь на пол и сел на низкий постамент, почему-то совершенно пустой, что, вероятно, тоже каким-то образом было связано с ремонтом. — Тогда я жду здесь. Свечу, кстати, тоже можете мне оставить, — добавил он, заметив, что Карл собрался идти в освещенный зал с горящей свечой.

— Ах да. Что-то я совсем не в себе, — пробормотал Карл, отдавая свечу слуге, который на это лишь кивнул, и не ясно было — то ли он согласился с утверждением Карла, то ли просто пригладил рукой бороду.

Карл отворил дверь, которая тут же громко задребезжала — не по его, впрочем, вине, а потому, что сделана была из цельного стекла и почти прогибалась, когда ее так резко тянули за ручку. Карл, перепугавшись, даже не стал ее закрывать, он-то хотел войти как можно тише. Не оборачиваясь, он тем не менее спиной почувствовал, как слуга, должно быть, соскочив с постамента, прикрыл за ним дверь — аккуратно и без малейшего шума.

— Извините, что помешал, — обратился он сразу и к Полландеру, и к Грину, поднявшим на него свои большие удивленные лица. Одновременно он окинул взглядом весь зал — не лежит ли где на видном месте его шляпа. Но шляпы нигде не было, обеденный стол уже прибран, не иначе шляпу по курьезному недоразумению унесли на кухню.

— Где же вы бросили Клару? — спросил господин Полландер, ничуть, похоже, не раздосадованный вторжением, ибо с живостью откинулся в кресле и всем корпусом повернулся к Карлу.

Господин Грин, напротив, с напускным безразличием извлек свой бумажник неопишуемой толщины и столь же невероятных размеров и теперь с сосредоточенным видом что-то искал в бесчисленных его отделениях, заодно проглядывая и другие бумаги, которые попадались ему под руку во время этих поисков.

— У меня к вам одна просьба, только вы не поймите меня, пожалуйста, неправильно, — выпалил Карл, быстрым шагом подойдя к

господину Полландеру, и в знак доверительности притронулся к подлокотнику его кресла.

— Что же это за просьба? — спросил господин Полландер, глядя на Карла простодушным, открытым взглядом. — Считайте, что она уже исполнена.

И, обняв Карла за пояс, притянул его к себе между колен. Ему Карл охотно это позволил, хотя, вообще-то, он давно уже не ребенок, чтобы так с ним обращаться. Да и просьбу теперь высказать, конечно, гораздо трудней.

— А как вам вообще у нас нравится? — спросил господин Полландер. — Не правда ли, после города здесь, на природе, как говорится, отдыхаешь душой? Вообще-то, — тут он, пользуясь тем, что Карл его заслонил, недвусмысленно покосился в сторону господина Грина, — вообще-то у меня здесь каждый вечер такое вот отдохновенное чувство.

«Можно подумать, — мелькнуло у Карла, — будто он говорит все не об этом жутком доме и знать не знает о бесконечных коридорах, часовне, пустующих комнатах, крошечной тьме повсюду».

— Ну? — подбодрил господин Полландер. — Так где же просьба?

И он дружески встряхнул Карла, который все еще безмолвствовал.

— Я прошу, — начал Карл, и, как ни приглушал он свой голос, сидящий рядом господин Грин неминуемо должен был все услышать, хотя от него-то эту свою просьбу, вполне возможно, оскорбительную для господина Полландера, Карл очень хотел бы утаить. — Прошу вас, отпустите меня домой, прямо сейчас, ночью. — И поскольку самое трудное было уже сказано, все остальное прорвалось само собой, и он, торопясь и даже не привирая ничуть, заговорил вдруг о таких вещах, о которых прежде и думать не думал.

— Понимаете, мне очень хочется, очень нужно домой. Я с удовольствием приеду еще, потому что рядом с вами, господин Полландер, мне всегда хорошо. Но сегодня я никак не могу остаться. Вы же знаете, дядя неохотно разрешил мне эту поездку. Наверняка у него были на то свои веские основания, как и во всем, что он делает, а я заупрямился и, вопреки его доброй воле, буквально вырвал у него это разрешение. Я попросту злоупотребил его любовью. Какие уж у него были сомнения насчет моей поездки, это теперь и неважно, но одно я знаю совершенно точно — в этих сомнениях нет, да и быть не мо-

жет ничего для вас обидного, господин Полландер, потому что вы лучший, самый лучший дядин друг. Он настолько вам предан, что тут никто даже отдаленно не может с вами сравниться. Это единственное, что извиняет мое непослушание, но извиняет недостаточно. Вы, должно быть, не вполне представляете наши с дядей отношения, поэтому я сейчас о них скажу — главное, конечно. Пока я не выучу как следует английский и не освоюсь хоть немного с практикой торгового дела, я целиком буду зависеть от дядиной щедрости, которой, конечно, как кровный его родственник я, вообще-то, могу пользоваться. Но не думайте, что я уже сейчас сумел бы честным трудом — а от всяких иных способов упаси меня Бог — зарабатывать себе на хлеб. Для этого, к сожалению, мне не привили никаких практических навыков. Я окончил — да и то средним учеником — четыре класса европейской гимназии, а для денежного заработка это даже хуже, чем вообще ничего, потому что в наших гимназиях совершенно допотопные учебные программы. Знали б вы, чему нас там только учили — смех один. Конечно, если дальше учиться, гимназию окончить, потом университет, все это, наверно, постепенно как-то выравнивается, и в итоге можно получить законченное образование, которое еще на что-то годится и дает человеку хотя бы решимость зарабатывать деньги. Но я, к сожалению, из этой связной цепочки выпал, мне иногда кажется, что я вообще ничего не знаю, да если б и знал что — для Америки это ничтожно мало. Правда, сейчас у меня на родине кое-где открыли так называемые реформенные гимназии, там преподают и современные языки, и основы коммерческих наук, но, когда я начальную школу оканчивал, их еще не было. Отец, правда, хотел, чтобы я брал уроки английского, но, во-первых, не мог же я предвидеть, какая беда со мной приключится, а во-вторых, мне и для гимназии ужасно много приходилось зубрить, так что на другое времени все равно бы почти не оставалось. Я к тому все это рассказываю, чтобы вы поняли, до какой степени я от дяди зависим и сколь многим, следовательно, ему обязан. Согласитесь, при таком моем положении не могу я себе позволить хоть в чем-то поступить против его, пусть даже предполагаемого, желания. Вот почему, чтобы хоть частично загладить свою провинность, мне и нужно как можно скорее попасть домой.

Длинную речь Карла господин Полландер выслушал очень внимательно, порой, особенно при упоминании о дяде, слегка, хоть и

незаметно, привлекая Карла к себе и не однажды бросив серьезный и как бы выжидающий взгляд на господина Грина, который с прежней сосредоточенностью занимался своим бумажником. Карл, однако, чем яснее осознавал в ходе речи свои с дядей взаимоотношения, тем становился беспокойнее, непроизвольно порывался высвободиться из-под руки Полландера, все вокруг угнетало и теснило его, а путь к дяде — через стеклянные двери, по лестнице, по аллее, потом проселками, пригородами, предместьями и, наконец, по широкой городской улице, что так плавно притекает к дядиному дому, — путь этот предстал ему во всей своей строгой непреложности, ровный, открытый, прямой, он словно расстелился у ног и властно звал к себе Карла. Куда-то отступили, расплываясь, и доброта Полландера, и мерзость Грина, ему ничего, ничего не нужно в этой дымной, прокуренной комнате, лишь бы поскорее откланяться и уйти. С господином Полландером он, правда, вежливо сдержан, с Грином — начеку и, если что, готов к бою, но что-то еще, какой-то безотчетный страх заполняет все вокруг, толчками заволакивая ему взор.

Он отступил на шаг и теперь стоял на одинаковом отдалении от Полландера и Грина.

— Вы ничего не хотите ему сказать? — обратился господин Полландер к господину Грину и, словно прося о чем-то, даже схватил того за руку.

— Вот уж не знаю, что я такого мог бы ему сказать, — ответил господин Грин, отыскав наконец в своем бумажнике какое-то письмо и кладя его перед собой на стол. — Похвально, конечно, что он хочет вернуться к дяде, и, по человеческому разумению, можно было бы предположить, что дядю он этим несказанно обрадует. Если только прежде он своим непослушанием не слишком дядю разгневал, а это, разумеется, тоже возможно. И тогда, конечно, ему уж лучше остаться здесь. Так что тут трудно сказать что-либо определенное, и хоть мы оба и друзья его дяди и было бы весьма непросто установить в нашей дружбе какие-то ранги и различия, однако в душу к нему заглянуть мы, конечно, не можем, особенно сидя здесь, в стольких километрах от Нью-Йорка.

— Пожалуйста, господин Грин, — сказал Карл и, пересилив себя, даже приблизился к Грину, — я же по вашим словам и по голосу слышу, вы тоже считаете, что мне лучше сейчас же вернуться.

— Вовсе я этого не утверждал, — возразил господин Грин и углу-

бился в созерцание письма, водя по краям конверта двумя пальцами. Он всем видом как бы давал понять, что вопрос ему задал господин Полландер, ему он и ответил, а до Карла ему, собственно, и дела нет.

Тем временем господин Полландер подошел к Карлу и мягко увлек его от господина Грина в сторонку, поближе к одному из огромных окон.

— Дорогой господин Росман, — начал он, чуть склонившись к уху Карла, и, помолчав, отер лицо платком, который затем еще задержал у носа и высморкался. — Надеюсь, вы не думаете, что я намерен удерживать вас против вашей воли. Об этом и речи нет. Машину, правда, я вам предоставить не могу, машина отсюда далеко, в общественном гараже, оборудовать гараж здесь, в доме, где еще все строится, я пока что не успел. Да и шофера нет, он ночует не здесь, а где-то неподалеку от гаража, я, по правде сказать, и сам не знаю где. К тому же он вовсе и не обязан здесь ночевать, он обязан только рано утром точно в срок подать машину. Но это все, конечно, не препятствует вашему отъезду, и, если вы настаиваете, я немедленно провожу вас до ближайшей пригородной станции, до которой, впрочем, отсюда тоже не близко, так что домой вы успеете не намного раньше, чем завтра со мной в машине, ведь я уже в семь утра выезжаю.

— В таком случае, господин Полландер, я предпочел бы все-таки поехать поездом, — сказал Карл. — О поезде я как-то не подумал. Вы же говорите, что поездом я доберусь раньше.

— Но разницы-то почти никакой!

— Тем не менее, господин Полландер, тем не менее, — настаивал Карл. — А я, помня о вашей любезности, всегда с удовольствием буду к вам приезжать, если, конечно, вы меня пригласите после такого моего поведения, и тогда, в следующий раз, я, наверно, лучше сумею объяснить, почему сегодня, торопясь увидеться с дядей, я дорожу буквально каждой минутой. — И, словно уже испросив разрешение уйти, он добавил: — Только ни в коем случае не надо меня провожать. Это совершенно излишне. За дверью ждет слуга, он охотно проводит меня до станции. Теперь бы мне еще шляпу свою найти.

Последние слова он произнес уже на ходу, решив напоследок пробежаться по комнате — вдруг шляпа где и отыщется.

— Может, я кепкой вас выручу? — спросил господин Грин, неожиданно доставая из кармана кепку. Вот эта, часом, не подойдет?

Карл озадаченно остановился и сказал:

— Зачем же мне отнимать у вас вашу кепку? Прекрасно и без шляпы могу уйти. Не надо мне ничего.

— Да это не моя. Ну же, берите!

— Тогда спасибо, — пробормотал Карл, лишь бы отделаться, и взял кепку. — Он натянул ее и даже усмехнулся — кепка оказалась в самый раз, — потом снял, повертел в руке, пытаясь понять, что в ней такого особенного. Да вроде ничего, кепка как кепка, только совершенно новая. — В самый раз! — сказал он.

— Вот видите, в самый раз! — воскликнул Грин и пристукнул ладонью по столу.

Карл уже направился к двери, чтобы позвать слугу, но тут Грин нехотя встал, сладко потянулся после сытной еды и приятного отдыха, удовлетворенно похлопал себя по груди и тоном то ли совета, то ли приказа произнес:

— Прежде чем уйти, вам надо попрощаться с Кларой.

— Да, это надо, — сказал господин Полландер, тоже поднимаясь.

Но слышно было, что слова эти идут не от сердца, он безвольно уронил руки по швам, а теперь теребил, то застегивая, то расстегивая, пуговицу своего пиджака, скроенного по последней моде очень коротко и едва прикрывавшего бедра, что таких толстяков, как господин Полландер, совсем не красит. Кстати, именно сейчас, когда он вот так стоял рядом с господином Грином, бросалось в глаза, что полнота его была какая-то нездоровая: ватная спина понуро сгорблена, рыхлый живот вываливается мешком, настоящее брюхо, а бледное лицо смотрит устало и измотанно. Господин Грин, напротив, хоть с виду даже, пожалуй, потолще господина Полландера, но это ладная, крепко сбитая, со всех сторон уравновешенная полнота: ноги солдатски сомкнуты, голова молодецки посажена на упругой шее, казалось, в прошлом он был великим атлетом, а теперь стал тренером.

— Так что сходите сперва к Кларе, — продолжал господин Грин. — Вам это наверняка доставит удовольствие, да и меня такой расклад вполне устраивает. Дело в том, что я действительно имею сообщить вам кое-что интересное до вашего ухода, к тому же известие это, полагаю, решит и все вопросы с вашим возвращением. Но, к сожалению, я связан строжайшим приказом ни о чем не уведомлять вас до полуночи. Как понимаете, мне и самому это совсем не с руки, ибо лишает меня заслуженного сна, но я обязан придерживаться данного



мне поручения. Сейчас четверть двенадцатого, я как раз успею обсудить с господином Полландером все свои дела, чему ваше присутствие могло бы только помешать, вы же тем временем проведете, так сказать, приятные минуты в обществе обворожительной Клары. А ровно в двенадцать явитесь сюда, где и узнаете все дальнейшее.

Ну как же было не выполнить это требование, напомнившее Карлу о простейшем долге вежливости и благодарности перед господином Полландером, да еще устами даже столь грубого, бездушного человека, как Грин, тем более что сам господин Полландер, которого все это непосредственно касалось, деликатно помалкивал и прятал глаза? И что там такое интересное, что ему дозволено узнать лишь в полночь? Если эта новость не ускорит его возвращение по меньшей мере на те же сорок пять минут, на которые сейчас задерживает, то она мало его интересует. Но главное сомнение было в другом: стоит ли вообще идти к Кларе, к этой врагине? Будь у него с собой кастет — подаренное дядей пресс-папье, — еще куда ни шло. А так комната Клары представлялась весьма опасным логовом. Но сейчас, здесь, против Клары и заикнуться нельзя, ведь она дочь господина Полландера, да еще, как он только что услышал, и невеста Мака. Поведи она себя с Карлом хоть чуточку иначе — и он бы из одной только симпатии к Полландеру и Маку во всеуслышанье ее расхваливал. Так он размышлял, пока не заметил, что никаких размышлений от него не ждут, ибо господин Грин уже распахнул дверь и сказал слуге, мигом соскочившему с постамента:

— Отведите этого молодого человека к госпоже Кларе.

«Вот как выполняют приказы», — успел подумать Карл, когда слуга почти бегом, кряхтя от старческой немощи, каким-то особенно коротким коридором потащил его в Кларину комнату. Проходя мимо своей комнаты, дверь которой по-прежнему стояла настежь, Карл захотел было — просто так, успокоения ради — туда заглянуть. Но слуга не позволил.

— Нет-нет, — возразил он. — Вам же надо к барышне, вы сами слышали.

— Но я только на минуточку! — запротестовал Карл, а сам подумал, как хорошо бы сейчас прилечь для разрядки на тахту, заодно и время до полуночи пролетит быстрее.

— Не затрудняйте мне исполнение моей службы, — строго сказал слуга.

«Он, похоже, думает, что к Кларе меня послали в наказание», — мелькнуло у Карла, и он, пройдя несколько шагов, теперь из упрямства остановился.

— Пойдемте же, молодой человек, — с укором настаивал слуга, — раз уж вы все равно здесь. Я знаю, вы еще нынче ночью хотели уйти, но не все желания сбываются, я же вам сразу сказал, что это вряд ли возможно.

— Да, я хотел уйти и уйду, — вспыхнул Карл, — а сейчас хочу просто попрощаться с вашей барышней.

— Вот как, — заметил слуга, и по его глазам Карл понял, что тот ни одному его слову не поверил. — Что же вы тогда не торопитесь попрощаться? Пойдемте же.

— Кто там идет? — разнесся по коридору голос Клары, и тут же показалась она сама, высунувшись из ближайшей двери с большой, в красном абажуре, настольной лампой в руках.

Слуга поспешил к ней с докладом, Карл неохотно поплелся за ним.

— Поздновато вы приходите, — сказала Клара.

Ничего ей покуда не отвечая, Карл тихо, но твердо — он уже раскусил его натуру, — тоном строгого приказа сказал слуге:

— Подождите меня здесь, прямо у двери.

— А я уже собиралась спать, — сказала Клара, ставя лампу на стол. Как и недавно в столовой, слуга и здесь неслышно прикрыл за Карлом дверь. — Ведь уже половина двенадцатого.

— Половина двенадцатого? — переспросил Карл, словно бы испуганно прислушиваясь к самому звучанию чисел. — Но тогда я вынужден сразу же попрощаться, — спохватился он. — Ровно в двенадцать мне нужно быть внизу, в столовой.

— Какие такие у вас неотложные дела, — то ли спросила, то ли заметила Клара, небрежно обирая складки свободного, ниспадающего пеньюара; все лицо ее светилось, и она беспрерывно чему-то улыбалась. Карл с облечением почувствовал, что опасность новой ссоры вроде бы ему не грозит. — А разве вы мне не поиграете, как вчера обещал папа, а сегодня — вы сами?

— А не поздно? — спросил Карл. Он был бы только рад ей угодить, ведь вон и она совсем не та, что прежде, словно каким-то образом вступила в фазу влияния Полландера и даже Мака.

— Вообще-то поздно, конечно, — ответила Клара, и, похоже, от ее страстной любви к музыке и следа не осталось. — К тому же здесь любой звук по всему дому отдается, и боюсь, если вы начнете играть, мы перебудим даже прислугу на чердаке.

— Тогда лучше отложим, я надеюсь непременно приехать сюда еще, да и вы, кстати, если не сочтете за труд, могли бы как-нибудь посетить моего дядю, а при случае и ко мне заглянуть. Пианино у меня замечательное. Дядя подарил. И уж тогда, если вам будет угодно, я сыграл бы вам все свои вещицы, их, к сожалению, не так много, да они и не слишком подходят для столь ценного инструмента, на котором не меня, а виртуозов надо бы слушать. Но и это удовольствие будет вам доставлено, если вы заблаговременно известите меня о вашем визите, ведь дядя намерен вскоре пригласить ко мне знаменитого педагога — представляете, как я этому рад, — а уж его игра, несомненно, будет стоить того, чтобы навеститься ко мне во время урока. Если совсем начистоту, я даже рад, что уже поздно и играть не надо, я ведь еще ничего не умею. Вы бы сами удивились, как мало я умею. А теперь позвольте откланяться, время и вправду позднее, вам пора спать. — И, поскольку Клара смотрела на него по-доброму, даже в мыслях вроде не поминая их недавней стычки, он с улыбкой добавил, протягивая ей руку: — Как говорят у меня на родине: «Спи спокойно, сладких снов!»

— Подождите, — сказала она, не притрагиваясь к его руке. — Может, вам все-таки придется сыграть. — И исчезла за маленькой боковой дверцей как раз возле пианино.

«Это еще что? — недоумевал Карл. — Долго я ждать не могу, как она ни мила».

Из коридора в дверь тихо постучали, и слуга, не отваживаясь отворить дверь целиком, прошептал в узкую щелочку:

— Извините, меня вызывают, я не могу больше ждать.

— Ладно уж, идите, — смилостивился Карл, почему-то вдруг решив, что и сам найдет дорогу в столовую. — Только фонарь под дверью оставьте. Который час, кстати?

— Скоро без четверти, — ответил слуга.

— Как медленно время идет, — пробормотал Карл.

Слуга уже хотел прикрыть дверь, но тут Карл вспомнил, что не дал ему на чай, достал из кармана брюк монету — мелочь он теперь носил в карманах брюк, на американский манер небрежно ею позвя-

кивая, а бумажки, наоборот, в жилетном кармане — и протянул слуге со словами:

— Это вам за добрую службу.

Клара уже снова вошла, обеими руками поправляя на ходу тугой узел прически, когда Карл спохватился, что зря, наверно, отпустил слугу — кто теперь отведет его на станцию? Ну ладно, найдется у господина Полландера другой слуга, а может, и этого вызвали туда же, в столовую, и потом предоставят в его распоряжение.

— Я все-таки попрошу вас сыграть что-нибудь. Здесь так редко услышишь музыку, что упускать такую возможность просто грех.

— Тогда не будем терять времени, — сказал Карл и без раздумий сел за пианино.

— Может, вам ноты нужны? — спросила Клара.

— Спасибо, я их и читать толком еще не умею, — ответил Карл, уже беря первые аккорды.

Это была простенькая песенка, которую — Карл прекрасно это понимал, — чтобы хоть как-то донести настроение, надо играть довольно медленно, особенно для иностранцев, он же отбарабанил ее в темпе разухабистого марша. Он уже кончил, а звуки еще долго метались в испуганной тишине огромного дома, пока не улеглись. Наступила неловкая, томительная пауза.

— Очень мило, — произнесла наконец Клара, но Карл понимал: мир еще не изобрел формулу вежливости, чтобы благодарить за такую безобразную игру.

— Который час? — спросил он.

— Без четверти двенадцать.

— Тогда еще есть немножко времени, — сказал он, подумав про себя: «Была не была. Все десять песен, что я умею, играть не обязательно, но уж одну-то я могу сыграть как следует».

И он начал свою любимую, солдатскую. Так медленно, так протяжно, чтобы растревоженная душа слушателя тянулась, рвалась к каждой следующей ноте, а он, Карл, эту ноту удерживал и все не хотел, не хотел отдавать. Он и так-то, играя все свои песенки, сперва искал клавиши глазами, но сейчас, он чувствовал, в нем возникла какая-то особая, иная песня, готовая пролиться за края знакомой мелодии и там, за краями, стать собой, — но не могла, не проливалась, не становилась.

— Я же не умею играть, — сказал Карл, когда песня кончилась, и посмотрел на Клару со слезами на глазах.

За стеной из соседней комнаты вдруг раздались громкие одобрительные хлопки.

— Нас кто-то слушает! — всполошился Карл.

— Это Мак, — тихо сказала Клара.

А из-за стены его уже звал голос Мака:

— Карл Росман! Карл Росман!

В один миг Карл обеими ногами перемахнул через скамеечку и кинулся к дверце. Открыв ее, он увидел огромный шатер кровати, под которым, полусидя, небрежно накинув на ноги одеяло, возлежал Мак. Голубого шелка балдахин был единственным и, пожалуй, несколько девчоночьим украшением в общем-то простой, тяжелого дерева, прочно, но без затей сработанной кровати. Рядом на ночном столике горела лишь одна свечка, но постельное белье и рубашка Мака были такой белизны, что слабый свет отражался от них с нестерпимой, почти ослепительной яркостью; и балдахин, по крайней мере по кромкам полога, матово мерцал своими чуть волнистыми, свободной натяжки складками тяжелого шелка. Зато за спиной Мака и постель, и все нутро балдахина проглатывала крошечная тьма. Клара, облокотясь на высокие подушки, уже не сводила с Мака влюбленных глаз.

— Привет, — сказал Мак, протягивая Карлу руку. — Вы, оказывается, очень недурно музицируете, прежде я мог оценить только ваше жокейское искусство.

— Да я ни того, ни другого толком не умею, — смутился Карл. — Если б я знал, что вы здесь, ни за что бы не сел играть. Но поскольку ваша... — тут он осекся, не решаясь выговорить «невеста», слишком очевидно было, что Мак и Клара друг с другом спят.

— Я давно подозревал, что вы играете, — как ни в чем не бывало продолжал Мак, — вот и пришлось Кларе заманить вас сюда из Нью-Йорка, иначе где бы я смог вас послушать. Чувствуется, конечно, что это еще первые шаги, и даже в этих песенках, которые вы все-таки разучивали и которые, что скрывать, весьма примитивно сложены, вы несколько раз ошиблись, однако мне было очень приятно, не говоря уж о том, что ничью игру я не считаю достойной презрения. Но не хотите ли присесть, поболтать с нами немного. Клара, дай же ему кресло.

— Благодарю, — пробормотал Карл, запинаясь. — Я не могу остаться, как бы мне этого ни хотелось. Слишком поздно я узнал, что в этом доме есть такие уютные комнаты.

— О, я здесь все перестрою в том же духе, — сказал Мак.

В тот же миг двенадцать мощных колокольных ударов, один за другим, торопясь и подгоняя друг друга, прогремели в ночи, и Карл почувствовал, как потрясенный тяжелой раскачкой колоколов воздух испуганными волнами лизнул его по щекам. Что же это за деревня, если у нее такие колокола?!

— Время! Мне пора, — сказал Карл, лишь протянул, не пожимая, Маку и Кларе руки и выбежал в коридор. Фонаря он там не обнаружил и пожалел, что преждевременно дал слуге чаевые. Он решил ошупью, по стенке, добраться до раскрытой двери своей комнаты, но не прошел и половины пути, когда завидел вдали поспешающего вразвалку господина Грина с поднятой свечой. В той же руке, что и свечу, он держал письмо.

— Росман, где вы пропадаете? Почему заставляете себя ждать? Чем вы там у Клары занимались?

«Сколько вопросов, — усмехнулся про себя Карл. — А сейчас, чего доброго, еще притиснет к стене и раздавит», — ибо Грин, действительно, уже грозно нависал над Карлом, которому, прислонившись к стене, некуда было отступать. Под сводами коридора и без того необъятная фигура Грина разрослась уже просто до смешного, и Карл в шутку задался вопросом, не сожрал ли он, часом, добрейшего господина Полландера.

— Вы и вправду не держите слово. Обещали в двенадцать быть внизу, а сами шастаете под дверью у Клары. Я же, напротив, обещал вам к полуночи кое-что интересное и вот принес сам.

С этими словами он протянул Карлу письмо. На конверте было написано: «Карлу Росману. Передать в полночь лично в руки, где бы он ни находился».

— В конце концов, — бубнил господин Грин, пока Карл вскрывал конверт, — по-моему, спасибо надо сказать, что я из-за вас в такую даль из Нью-Йорка притащился, а не гонять меня вместо этого вад-вперед по коридорам.

— От дяди, — сказал Карл, едва он заглянул в конверт. — Я этого ожидал, — добавил он, обращая лицо к Грину.

— Ожидали вы этого или нет, мне до чертиков все равно. Читайте! — буркнул он и протянул Карлу свечу.

В ее свете Карл прочел:

## Любимый племянник!

Как ты, надеюсь, успел усвоить за время нашей, к сожалению, увы, слишком непродолжительной совместной жизни, я до мозга костей человек принципов. Не только для окружающих, но и для меня самого это свойство весьма неприятно и, быть может, даже прискорбно, но лишь своими принципами я обязан всем, что я есть, и никто не вправе требовать от меня оторваться от этой взрастившей меня почвы, никто, включая и тебя, любимый племянник, хотя ты, несомненно, был бы первым в ряду других, кому бы я это позволил, вздумай я допустить подобное всеобщее посягательство на мои жизненные устои. Будь оно так, тебя и только тебя прежде других подхватили бы мои руки, которые сейчас держат и исписывают этот лист, да, подхватили бы и радостно подняли в воздух. Но поскольку ничто пока не указывает на вероятность подобной моей уступки, я вынужден после сегодняшнего происшествия всенепременно тебя отторгнуть, и убедительно прошу впредь ни самому, ни письменно либо через посредников не искать со мной ни встреч, ни сообщения. Вопреки моей воле ты решил сегодня вечером меня покинуть, а раз так, оставайся при своем решении всю жизнь, только тогда это решение будет достойно мужчины. Для передачи тебе этого известия я избрал господина Грина, лучшего моего друга, который, не сомневаюсь, найдет для тебя достаточно утешительных слов, ибо мне в данную минуту, поверь, утешить тебя просто нечем. Он человек влиятельный и из одной только любви ко мне поддержит тебя в первых твоих самостоятельных шагах советом и делом. Чтобы осознать наш разрыв, который сейчас, в конце этого письма, в очередной раз представляется мне невысказанным, я вынужден снова и снова повторять себе: от твоей семьи, Карл, ничего хорошего ждать нельзя. Если господин Грин захочет вручить тебе твой чемодан и твой зонт, напомни ему об этом. Желаю тебе всяческих благ в дальнейшем.

Твой преданный дядя *Якоб*.

— Вы готовы? — спросил Грин.

— Да, — ответил Карл. — Чемодан и зонтик вы принесли?

— Принес, — сказал Грин и поставил у ног Карла старый дорожный чемодан, который до этого каким-то образом прятал в левой руке за спиной.

— А зонтик? — настойчиво спросил Карл.

— Все здесь, — успокоил его Грин, выхватывая из темноты зонтик, который, оказывается, висел у него за ручку из кармана брюк. —

Эти вещи принес некто Шубаль, главный механик корабельной компании «Гамбург — Америка». Он утверждал, что нашел их на корабле. Так что сможете поблагодарить его при случае.

— Ну вот хотя бы старые вещи опять при мне, — сказал Карл и положил зонтик на чемодан.

— Только впредь следите за ними получше. Господин сенатор так и просил вам передать, — заметил господин Грин, а затем, уж из чистого любопытства, поинтересовался: — А что это за чемодан у вас такой странный?

— С таким чемоданом у нас на родине отправляют в армию призывников, — объяснил Карл. — Это старый солдатский чемодан моего отца. Вообще-то он очень удобный. — И с улыбкой добавил: — Если, конечно, не оставлять его где попало.

— Что ж, полагаю, жизнь достаточно вас проучила, — изрек господин Грин, — а второго дядю вы в Америке вряд ли найдете. Вот вам билет третьего класса до Сан-Франциско. Я выбрал для вас это направление, во-первых, потому, что там возможности заработка куда предпочтительней, а во-вторых, потому, что здесь во всяком деле, к какому вы ни вздумаете пристроиться, у вашего дяди свой интерес имеется, встречаться же вам с ним никак нельзя. А во Фриско вы без помех сможете работать, начните спокойненько с самого низу и постепенно выбивайтесь наверх.

Карл не улавливал в его словах ни крупинки злости, роковая весть, что распирала Грина целый вечер, теперь наконец передана, и он разом предстал вполне безобидным человеком, с которым, пожалуй, говорить даже легче и проще, чем с кем-либо еще. На его месте и самый задушевный добряк, нежданно-негаданно избранный посланцем столь секретного и тягостного сообщения, поневоле бы, покуда держит при себе такое, выглядел весьма подозрительным субъектом.

— Я намерен, — сказал Карл, ища поддержки в суждении более опытного человека, — немедленно покинуть этот дом, поскольку принят здесь лишь как племянник моего дяди, теперь же я посторонний, и, следовательно, мне тут больше делать нечего. Не будете ли вы так любезны показать, где тут выход и где дорога, чтобы добраться до ближайшей гостиницы.

— Но только быстро, — буркнул Грин. — С вами хлопот не оберешься.



Однако при виде гигантского шага, который сделал Грин, срываясь с места, Карл тотчас остановился — что за подозрительная спешка — и, ухватив Грина за фалду пиджака, пронзенный внезапной истинностью своей догадки, сказал:

— Одно только еще вы мне должны объяснить. На конверте, что вы мне вручили, ведь ясно написано, что передать мне его следует в полночь, где бы я ни находился. Почему же в таком случае вы, ссылаясь на это самое письмо, меня удержали, когда я собрался отсюда уходить в четверть двенадцатого? Ведь вы тем самым превысили свои полномочия.

Грин предварил свой ответ красноречивым жестом, с преувеличенной наглядностью показывающим всю вздорность, да и бесполезность подобных препирательств.

— Может, на конверте еще написано, что мне надо, высунув язык, гоняться за вами повсюду? — спросил он язвительно. — Или, может, содержание письма позволяет толковать надпись именно в таком духе? Не удержи я вас, значит, пришлось бы вручать вам письмо ровно в полночь где-нибудь в чистом поле.

— Нет, — возразил Карл, не давая сбить себя с толку, — это не совсем так. По сути-то, на конверте написано «передать после полуночи». Раз уж вы так устали, могли вовсе за мной не ходить, или, что, правда, даже господин Полландер отрицает, я бы к полуночи успел доехать до дяди, а может, ваш долг состоял как раз в том, чтобы усадить меня в свой автомобиль, о котором вы почему-то даже не заикнулись, и отвезти обратно к дяде, ведь я рвался к нему вернуться. Разве надпись не ясно указывает, что полночь — последний для меня срок? И вы, вы один виновны в том, что я этот срок упустил.

Впившись в Грина глазами, Карл, кажется, заметил, как на лице его стыд внезапного разоблачения борется с удовлетворенным злорадством. Наконец Грин собрался и резким тоном, будто решив на полуслове оборвать Карла, хотя тот и так давно молчал, бросил:

— Ни слова больше! — и, подтолкнув Карла, едва успевшего подхватить чемодан и зонтик, к какой-то узкой дверце, которую он вдруг распахнул, выставил его вон.

Карл с изумлением огляделся. Узкая, пристроенная к дому лесенка без перил круто сбегала вниз. Надо только спуститься по ней, свернуть направо к аллее, а там уж и до проселка рукой подать. При такой ясной луне просто невозможно заблудиться. Правда, снизу до-

носился разноголосый лай псов, которые беспривязно бегали по саду в черной тени деревьев. В тишине хорошо были слышны их азартные прыжки и тяжелое, всеми четырьмя лапами плюханье в траву.

Однако псы его не тронули, и Карл благополучно выбрался из сада. Он затруднялся определить, в какой стороне Нью-Йорк, когда ехали сюда, он не слишком-то присматривался к дороге, а зря, пригодилось бы. В конце концов он сказал себе, что ему совсем не обязательно в Нью-Йорк, где его никто особенно не ждет, а кое-кто не ждет и подавно. А коли так — он выбрал направление наугад и тронулся в путь.

#### IV. Пешком в Рамзес

**В** небольшой гостинице, куда Карл вскоре добрался, — по сути, это был последний на подъезде к Нью-Йорку придорожный трактир, где на ночлег мало кто останавливался, — Карл потребовал койку, самую дешевую, какая есть, ибо твердо решил, что сразу же начнет экономить. В соответствии с запросом хозяин взмахом руки, словно коридорного, отправил Карла вверх по лестнице, где его встретила заспанная, растрепанная старуха, злющая оттого, что ее подняли среди ночи, и, почти не слушая Карла, зато шикая, чтобы не топал, отвела в комнату, дверь которой, не преминув напоследок еще раз прошипеть «т-с-с», тут же за ним затворила.

Сперва Карл вообще не мог понять, то ли в комнате наглухо задернуты шторы, то ли в ней вовсе нет окон, — такая была вокруг темнотища; наконец он заприметил оконце, скорее даже просто люк, занавешенный какой-то тряпкой, которую он отодвинул, чтобы хоть что-то разглядеть. В комнате обнаружились две койки, но обе уже были заняты. Карл узрел на них двух молодых людей, погруженных в мертвецкий сон, и вид этих постояльцев особого доверия ему не внушил — хотя бы по той причине, что спали оба почему-то в одежде, а один так и вовсе в сапогах.

В тот миг, когда Карл отдернул занавеску, один из спящих беспокойно потянулся, приподняв одновременно все четыре свои конечности, и проделал это столь уморительно, что Карл, как ни одолевало его беспокойство, поневоле усмехнулся.

Вскоре он убедился, что, невзирая на отсутствие в комнате софы, кушетки и каких-либо иных спальных мест, спать ему тут все равно нельзя: не может он рисковать своим только что возвращенным чемоданом и деньгами, которые у него в пиджаке. Уходить, однако, тоже неловко — не красться же, в самом деле, мимо старухи горничной и хозяина обратно на улицу? Да и навряд ли здесь, в гостинице, он подвергается большей опасности, чем среди ночи на проселочной дороге. Настораживало, впрочем, что нигде в комнате, насколько можно было ее в этом полумраке разглядеть, не видно никакого багажа. Но ведь вполне возможно и даже весьма вероятно, что эти молодые люди просто гостиничные слуги, им скоро вставать, ублажать постояльцев, вот они и спят одетыми. Тогда, конечно, для Карла не слишком-то лестно спать в одной с ними комнате, но тем безопасней. Однако сейчас, покуда все сомнения полностью не развеялись, спать нельзя ни в коем случае.

На полу возле одной из кроватей он углядел свечу, а рядом спички и, крадучись, перетащил все это в свой угол. Свет он имеет право зажечь, в конце концов, он в этой комнате такой же хозяин, как и те двое, тем более что они уже полночи спят и кровати им достались, — словом, у них и так достаточно преимуществ. Впрочем, возясь со спичками и зажигая свечу, он старался производить как можно меньше шума, чтобы их не потревожить.

Первым делом он намеревался исследовать содержимое чемодана, дабы учинить смотр своему имуществу, большую часть которого он помнил уже лишь смутно, а самое ценное заведомо числил утерянным безвозвратно. Ибо если уж Шубаль к чему приложил руку, мало надежды получить это обратно в целости и сохранности. Шубаль, правда, наверно, рассчитывал получить от дяди щедрые чаевые, но, с другой стороны, при недостатке каких-то вещей мог запросто свалить все на первого хранителя чемодана — господина Буттербаума.

В первый миг вид открытого чемодана попросту ужаснул Карла: сколько часов потратил он во время путешествия, укладывая и перекладывая свои вещи, теперь же все было перевернуто и напихано как попало, так что, едва он щелкнул замком, крышка сама упруго отскочила вверх. Но вскоре, к радости своей, Карл убедился, что причина беспорядка лишь в том, что ему дополнительно упаковали еще и его дорожный костюм, на который чемодан, собственно, не был рассчитан. Все до последней мелочи оказалось на месте. В потайном карма-

не пиджака, помимо паспорта, нашлись даже родительские деньги, так что, если приложить к ним еще и те, что у него при себе, денег ему на первое время вполне хватит. Даже нательное белье, в котором он приехал в Америку, лежало тут же, чисто выстиранное и отглаженное. Не мешкая, он сунул в столь надежный потайной карман оставшиеся деньги, а заодно и часы. Досадно вот только, что колбаса, веронская салями, которая тоже оказалось на месте, пропитала все вещи своим пряным духом. Если не сыщется средство как-то отбить этот запах, придется Карлу еще не один месяц распространять вокруг себя аромат копченостей.

Выживая некоторые предметы с самого дна, как-то: карманную Библию, пачку почтовой бумаги, фотографию родителей, — он наклонился, и кепка слетела у него с головы прямо в чемодан. Здесь, среди старых своих вещей, он тотчас ее узнал, это же его собственная кепка, та самая, которую мама дала ему с собой в дорогу. Он из предусмотрительности на корабле ее не носил, ибо слышал, что в Америке вообще в шляпах не ходят, только в кепках, вот и решил свою поберечь до прибытия на место. Теперь же ею попользовался господин Грин, чтобы на его, Карла, счет позабавиться. Может, и трюк с кепкой дядя ему поручил проверить? В ярости Карл невольно схватился за крышку чемодана, которая тут же с громким стуком захлопнулась.

Теперь все пропало — соседи пробудились. Сперва потянулся и зевнул один, за ним, как по команде, другой. И это при том, что почти все содержимое чемодана вывалено на стол будто специально для воров — налетай и бери. Отчасти дабы предотвратить эту возможность, отчасти чтобы сразу установить в отношениях полную ясность, Карл со свечой в руке приблизился к кроватям и объявил, кто он такой и по какому праву здесь находится. Соседи, похоже, никаких объяснений не ждали вовсе, плохо соображая со сна, они только тарасились на Карла без малейшего, впрочем, удивления. Это были еще совсем молодые ребята, однако тяжелая работа и нужда прежде времени заострила и ожесточила их лица: подбородки заросли клочковатой щетиной, давно не стриженные волосы свалялись и топорщились, и они тщетно пытались продрать свои глубоко запавшие глаза, спросонок потирая веки костяшками пальцев.

Карл спешил воспользоваться их сиюминутной слабостью и поэтому сказал:

— Меня зовут Карл Росман, я немец. Пожалуйста, раз уж мы вместе в комнате, скажите, как зовут вас и кто вы по национальности. Сразу же хочу предупредить, что на кровать не претендую, поскольку пришел позже вас и к тому же вообще спать не намерен. Кроме того, прошу не придавать значения моему дорогому костюму, я крайне беден, и видов у меня никаких.

Тот из парней, что поменьше — это он спал в сапогах, — всевозможными гримасами, отмахиваясь руками и даже отбрыкиваясь ногами, дал понять, что ему все это совершенно неинтересно и что сейчас вообще не время для разговоров, после чего снова улегся на кровать и мгновенно заснул; второй, смуглый лицом, тоже снова улегся, но, прежде чем уснуть, произнес, лениво махнув рукой:

— Его вон зовут Робинсон, он ирландец, а меня Деламарш, я француз, и прошу оставить нас в покое.

С этими словами он, набрав в грудь побольше воздуха, задул у Карла свечу и уронил голову на подушку.

«Эта опасность покуда миновала», — сказал себе Карл и вернулся к столу. Если их сонливость не уловка, тогда все хорошо. Неприятно только, что один из них ирландец. Карл уже не помнил точно, в какой книге он еще дома вычитал, что в Америке надо очень остерегаться ирландцев. Пока он жил в доме дяди, у него были все возможности изучить вопрос об опасности ирландцев всесторонне, но он, опрометчиво полагая, что отныне от любых бед избавлен, начисто их упустил. Сейчас он решил при свете свечи, которую снова зажег, по крайней мере хоть рассмотреть этого ирландца как следует и убедился, что он-то как раз выглядит побезобидней, чем француз. В лице ирландца еще сохранился намек на детскую округлость, и он, насколько Карл, приподнявшись на цыпочки, издали мог разглядеть, даже слегка улыбался во сне блаженной и мирной улыбкой.

Сохраняя, несмотря на все это, твердую решимость не спать, Карл уселся на единственное в комнате кресло, отложив упаковку чемодана на потом, благо у него вся ночь впереди, и рассеянно, не читая, полистал Библию. Потом взял в руки фотографию родителей, на которой низкорослый отец стоял, распрямившись, а мама сидела впереди него в кресле, чуть ссутулясь. Одну руку отец положил на спинку кресла, а другой, сжатой в кулак, оперся на раскрытую книжку с картинками, что лежала сбоку от него на хлипком туалетном столике. Была еще одна фотография, на ней вместе с родителями снял-

ся и Карл: отец и мать пристально на него смотрят, а он, в центре, по указанию фотографа смотрит прямо в камеру. Но эту фотографию ему с собой не дали.

Тем внимательней вглядывался он сейчас в лежащий перед ним снимок, то так, то этак пытаясь перехватить отцовский взгляд. Но, с какой стороны ни держал Карл свечку, отец никак не хотел оживать, даже его пышные усы торчком были какие-то не такие, как обычно, — это вообще неудачный снимок. Мама, правда, вышла уже получше, только губы странно скривлены, будто ей делают больно, а она пробует улыбнуться. Карлу казалось, что этот контраст так бросается в глаза, что всякий, едва взглянув на фотографию, первым делом заметит именно его, а потом, присмотревшись, даже удивится — уж слишком явно, почти до несуразности он очевиден. И как это вообще может снимок столь неопровержимо изобличить чьи-то скрытые чувства? На секунду он отвел глаза от фотокарточки. Когда же взглянул на фото снова, вдруг обратил внимание на мамину руку, что безвольно свесилась с подлокотника — совсем рядом, близко, словно подставленная для поцелуя. И подумал, что неплохо было бы все-таки написать родителям, как оба они, а отец напоследок, уже в Гамбурге, даже со всей строгостью, от него того требовали. Он-то, правда, еще тогда, в тот ужасный вечер, когда мама, стоя у окна, объявила ему об Америке, клятвенно себе пообещал никогда им не писать, но что значат подобные клятвы несмышленного мальчишки, особенно здесь, в совсем иных обстоятельствах. С тем же успехом он мог бы тогда себе поклясться, что за два месяца жизни в Америке станет генералом американской полиции, а на самом деле вон он где — ютится вместе с двумя бродягами на чердаке захудалой гостиницы под Нью-Йорком, да еще вынужден признать, что тут ему самое место. И он с улыбкой всматривался в родительские лица, словно пытаясь угадать, по-прежнему ли они хотят получить весточку от заблудшего сына.

Погруженный в созерцание, он вскоре почувствовал, что все-таки очень устал и вряд ли продержится всю ночь без сна. Фотокарточка выпала у него из рук, и вскоре он прильнул к ней лицом, ощущая, как глянцеви́тый лист холодит щеку. С этим приятным чувством он и заснул.

Проснулся он под утро оттого, что кто-то щекотал его под мышкой. Это француз разрешил себе подобную вольность. Но и ирландец уже стоял перед Карлом у стола, и теперь оба они изучали Карла с не

меньшим интересом, чем Карл разглядывал их ночью. Карл не удивился тому, что не слышал, как они встали: видимо, они — и отнюдь не с преступными умыслами — старались не шуметь, а спал он крепко, к тому же сама процедура одевания и мытья не требовала от них больших трудов.

Теперь наконец они друг другу представились как положено и даже не без официальности, после чего Карл узнал, что соседи его по профессии слесари-механики, долго мыкались в Нью-Йорке без работы и потому изрядно обнищали. В доказательство Робинсон распахнул пиджак, под которым не обнаружилось рубашки, о чем, впрочем, нетрудно было догадаться и раньше по сбившемуся накладному воротничку, пристегнутому к пиджаку на одной пуговице. Теперь они держали путь в городишко Баттерфорд, что в двух днях ходу от Нью-Йорка, — там, по слухам, давали работу. Они ничуть не против, если Карл пойдет с ними, и даже пообещали, во-первых, подсобить ему тащить чемодан, а во-вторых, если сами работу получают, подыскать и ему место ученика, ибо уж это — если только работа вообще есть — проще простого. Не успел Карл толком согласиться, как они уже по-дружески ему посоветовали нарядный костюм снять, ибо при поступлении на любую работу это только помеха. А в этой гостинице как раз имеется прекрасная возможность от костюма избавиться, ведь здешняя горничная скупает ношенные вещи. Они споро помогли Карлу, который и насчет костюма тоже еще сомневался, стянуть с себя костюм и тут же его унесли. Когда Карл, оставшись один, еще полусонный, медленно надевал свой старый дорожный костюм, он уже начал раскаиваться, что продал костюм, который в поисках места ученика, возможно, и повредил бы, зато для места получше очень бы даже пригодился, и распахнул дверь, чтобы окликнуть своих новых знакомцев, но только столкнулся с ними нос к носу, ибо они уже принесли и выложили на стол полдоллара, да еще с такими сияющими физиономиями, что невозможно было усомниться: они тоже заработали на этой сделке свою долю, и притом бессовестно большую.

Но сейчас некогда было с ними на этот счет объясняться, ибо ввалилась старуха горничная, по-прежнему заspanная, словно все еще ночь, и стала гнать всех троих в коридор, объявив, что надо прибрать комнату для новых постояльцев. Было совершенно ясно, что это только предлог и выставляет она их исключительно из вредности.

Так что пришлось Карлу, который как раз собрался аккуратно уложить чемодан, молча наблюдать, как старуха, сгребя его вещи в охапку, с силой упихивает их в чемодан, словно каких-то непослушных зверьков обратно в клетку. Ребята-механики начали к ней приставать, дергать за юбку, похлопывать по спине и ниже спины, но если они полагали, будто оказывают этим Карлу услугу, то явно ошибались. Захлопнув крышку, старуха сунула чемодан Карлу в руки, стряхнула с себя непрошенных ухажеров и вытолкала всех троих вон из комнаты, пригрозив, что, если не будут слушаться, не получают кофе. Она, похоже, начисто позабыла, что Карл все-таки в этой компании сам по себе, ибо не делала между ним и механиками никаких различий — одна, мол, шайка. С другой стороны, эти двое уже продали ей костюм Карла, выказав тем самым, что теперь они в известном смысле все заодно.

В коридоре им еще долго пришлось слоняться в ожидании, причем особенно француз, ухвативши Карла под руку, непрерывно ругался, грозил послать хозяина, если только тот посмеет высунуть нос, в нокаут и, видимо, в доказательство нещуточности своих намерений, яростно потирал друг о друга грозно сжатые кулаки. Наконец появился беззащитный мальчуган, еще совсем ребенок, которому пришлось, подавая французу кофейник, чуть ли не встать на цыпочки. К сожалению, кофейник был только один, а втолковать мальчугану, что не худо бы принести, по крайней мере, чашки, оказалось делом безнадежным. Так что кофе пили по очереди — один присасывался к кофейнику, а двое других стояли и ждали. Карлу сразу же пить расхотелось, но неловко было обижать новых товарищей, поэтому, когда очередь доходила до него, он только подносил кофейник к губам, делая вид, что пьет.

Напоследок ирландец швырнул металлический кофейник на каменный пол, и они, так ни с кем и не попрощавшись, вышли из гостиницы, окунувшись с порога в густой желтоватый рассветный туман. Шли по обочине, в основном молча, хоть и рядом, Карл тащил свой чемодан, и никто вроде бы не собирался его подменять, пока он сам не попросит; время от времени, выскакивая из тумана, мимо них проносился автомобиль, и все трое провожали его глазами — как правило, это были огромные грузовики, столь причудливые в своих очертаниях и столь стремительные в промельке, что взгляд даже не успевал различить, есть ли вообще в кабине люди. Потом колоннами,



по пять в ряд, потянулись подводы, что везли в Нью-Йорк провизию, они занимали всю ширину дороги и шли таким сомкнутым строем, что перейти на другую сторону было немыслимо. Время от времени дорога вдруг расширялась, образуя площадь, в центре которой на высоком, вроде башни, помосте расхаживал туда-сюда полицейский, обозревая движение и регулируя жезлом его мощный главный поток и притоки из боковых улиц, после чего — до следующей площади и следующего полицейского — все снова двигалось само собой, сохраняя, однако, благодаря дисциплине и выдержке молчаливых кучеров и шоферов, добровольный и вполне терпимый порядок. Это всеобщее деловитое спокойствие более всего удивляло Карла. Если бы не мычание и визг не ведающей своей участи убойной скотины, сосредоточенную тишину над дорогой нарушал бы лишь мерный топот копыт да поскрипывание плохо смазанного колеса. И это при том, что скорость передвижения, понятное дело, вовсе не везде была одинаковой. Если на иных площадях вследствие большого наплыва повозок и машин с боковых улиц образовывались пробки и вся колонна, разом запнувшись, ползла черепашьям шагом, то потом вдруг все неслись вперед чуть ли не опроретью, куда движение, словно повинуюсь некоему единому тормозу, снова не замедлялось и едва не застопоривалось. И, что странно, дорога совершенно не пылила, воздух над ней был чист и казался недвижим. Пешеходов не было, торговки не брели здесь на рынок поодиночке, как у Карла на родине, зато время от времени проезжали длинные грузовики, в плоских кузовах которых, стоя, с корзинами за спиной, — значит, наверно, все-таки рыночные торговки, — ехало до двадцати женщин, и все, как по команде, вытянув шеи, смотрели вперед, в надежде разглядеть причину затора и поскорее добраться до места. Попадались, впрочем, такие же грузовики, но без пассажиров: тут в кузове, руки в брюки, одиноко прохаживался мужчина. На бортах у этих машин красовались различные надписи, и на одном Карл, даже слегка вскрикнув от изумления, вдруг прочел: «Экспедиционная фирма Якоб — срочный найм портовых грузчиков». Грузовик как раз медленно проползал мимо, и маленький шустрый человек, примостившийся на подножке, радушным жестом пригласил всех троих в кузов. Карл поспешил юркнуть за спины своих попутчиков, словно испугавшись, что в кабине сидит сам дядя Якоб и сейчас его увидит. Он был рад, что механики приглашение отклонили, хоть его и несколько раздосадовали

презрительные мины, которые они при этом скорчили. Пусть не воображают, будто поступить на службу к дяде ниже их достоинства! Он немедленно, хотя, конечно, в более осторожной форме, довел эту мысль до их сведения. На что Деламарш попросил его сделать одолжение и не лезть в дела, в которых он, Карл, ничего не смыслит: мол, подобный способ нанимать людей — чистейшей воды надувательство, а фирма «Якоб» своими махинациями печально известна на все Соединенные Штаты. Карл ничего ему не ответил, но держался теперь поближе к ирландцу и вскоре даже попросил его немного понести чемодан, что тот в конце концов — Карл, правда, был вынужден не один раз повторить просьбу — и соблаговолил сделать. Однако тут же принялся ныть, что чемодан тяжеленный, покуда не выяснилось, что он явно не прочь облегчить свою ношу за счет колбасы, которая, надо понимать, весьма приглянулась ему еще в гостинице. Пришлось Карлу достать колбасу, которую француз сразу же забрал себе и, орудуя своим острым, похожим на финку ножом, почти целиком съел в одиночку. Робинсону еще время от времени перепадал ломтик, Карлу же, которому снова пришлось тащить чемодан — не бросать же на дороге, — не досталось вообще ни кусочка, словно он свою долю съел раньше. Клянчить свою же колбасу было неловко, да и мелочно, но Карла, конечно, разбирала обида и злость.

Туман тем временем рассеялся, вдали засияли вершинами неприступные горы, волнистой грядой уходя все дальше и теряясь в солнечной дымке. По сторонам дороги тянулись сиротливые, плохо возделанные поля, обтекая мрачные острова огромных фабрик, черневших на фоне летней зелени копотью стен и труб. То тут, то там, разбросанные как попало, возвышались многоэтажные жилые казармы, в их бесчисленных окнах прихотливой игрой движения и цвета пестрела и подрагивала просыпающаяся утренняя жизнь, на углые, хлипкие балкончики уже высыпали женщины и дети, а вокруг них, то открывая, то скрадывая их крохотные фигурки, то взбучиваясь, то опадая, колыхалось под порывами утреннего ветра развешанное или попросту разложенное на перилах белье. Отведя взгляд от домов, можно было увидеть выщегося высоко в небе жаворонка, а чуть пониже — шустрых ласточек, что беззаботно носились над дорогой, едва не чиркая по головам возниц и пассажиров.

Многое здесь напомнило Карлу о родине, и он засомневался, верно ли поступил, покинув Нью-Йорк и направляясь куда-то в

глубь страны. В Нью-Йорке все-таки рядом океан, а значит, и возможность в любую минуту вернуться домой. При этой мысли он остановился и сказал своим попутчикам, что лучше, пожалуй, ему остаться в Нью-Йорке. Когда же Деламарш попросту попытался силой потащить его дальше, Карл воспротивился, заявив, что он, наверно, все-таки вправе распоряжаться собой по собственному усмотрению. Так что ирландцу пришлось его уговаривать, объясняя, что Баттерфорд куда красивей Нью-Йорка, но и после этого оба они долго еще его увещевали, прежде чем Карл согласился идти дальше. Да и то, может, не согласился бы, если бы не сказал себе, что для него, наверно, даже лучше попасть в такое место, откуда не так-то просто вернуться домой. Там он наверняка будет лучше работать, не забывая себе голову всякими ненужными мыслями и быстрее выбьется в люди.

И, приняв такое решение, он теперь уже сам чуть ли не подгонял своих спутников, которые так радовались его рвению, что добровольно и без всяких просьб по очереди несли чемодан, предоставив Карлу только недоуменно гадать, в чем, собственно, причина их столь живой радости. Дорога мало-помалу забиралась в гору, и, когда они, время от времени останавливаясь передохнуть, оглядывались назад, им открывалась все более просторная панорама Нью-Йорка и прилегающей гавани. Мост, соединивший Нью-Йорк с Бостоном, тоненькой ниточкой протянулся над Гудзоном, и, если сощурить глаза, казалось, будто ниточка подрагивает. Ни людей, ни движения на мосту не было видно, а полоса воды под ним поблескивала безжизненной гладью. Оба огромных города казались отсюда мертвыми, бессмысленными нагромождениями. Между зданиями, большими и поменьше, не угадывалось *иньж*, кроме величины, видимых различий. В прорезях улиц, где-то в незримой их глубине, вероятно, шла своим чередом привычная городская жизнь, но ее укутывала легкая дымка, хоть и неподвижная, но, казалось, вот-вот готовая улетучиться. Даже в порту, крупнейшем в мире, наступило затишье, и только кое-где, да и то скорее по воспоминаниям, чем наяву, взгляд как будто различал бороздящий воду корабль. Но проследить за его движением было невозможно — едва померещившись, корабль исчезал и больше уже не отыскивался.

Однако Деламарш и Робинсон, судя по всему, видели гораздо больше, руки их тянулись то направо, то налево, описывая в воздухе

очертания площадей и парков, и оба так и сыпали незнакомыми названиями. Они решительно отказывались понимать, как это Карл, проведя в Нью-Йорке два с лишним месяца, умудрился почти ничего не увидеть, кроме одной-единственной улицы. И пообещали, как только заработают в Баттерфорде денег, отправиться вместе с ним в Нью-Йорк и показать ему все достопримечательности, в особенности, конечно, те места и заведения, где можно от души повеселиться. Как бы в доказательство Робинсон в полный голос затянул песню, а Деламарш принялся похлопывать в ладоши, — Карл с изумлением узнал знакомую мелодию из оперетты, которая сейчас, с английскими словами, понравилась ему даже больше, чем нравилась на родине. Так что у них получилось маленькое представление на открытом воздухе, в котором все трое приняли участие, и только огромный город внизу, где якобы так любили под эту мелодию развлекаться, внимал им холодно и равнодушно.

Потом Карл между прочим спросил, где находится экспедиционная фирма «Якоб», и пальцы Робинсона и Деламарша дружно вскинулись, указывая то ли действительно в одну, то ли в две совершенно разные точки. Когда они снова тронулись в путь, Карл поинтересовался, скоро ли они заработают достаточно денег, чтобы вернуться в Нью-Йорк. Деламарш ответил, что, возможно, даже через месяц, ведь в Баттерфорде нехватка рабочих рук и платить должны хорошо. Разумеется, деньги они будут складывать в общий котел, неважно, у кого какое жалованье, надо жить по-товарищески. Почему-то идея с общим котлом Карлу не понравилась, хотя он как ученик, ясное дело, должен был зарабатывать меньше своих спутников, у которых была специальность. Кроме того, Робинсон вскользь заметил, что, если в Баттерфорде работы не будет, они, конечно, пойдут дальше и либо где-нибудь устроятся сельскохозяйственными рабочими, либо отправятся в Калифорнию на золотые прииски, что, судя по его увлеченным рассказам, и было его самой заветной мечтой.

— Зачем же вы обучились на механика, если собирались на золотые прииски? — спросил Карл, с явной неохотой прислушиваясь к столь дальним и ненадежным проектам.

— Зачем на механика обучился? — переспросил Робинсон. — Да уж, ясное дело, не для того, чтобы подыхать с голоду, как вот сейчас. А на приисках заработка хоть куда.

— Были когда-то, — буркнул Деламарш.

— И остались, — заверил Робинсон и с жаром принялся рассказывать о своих многочисленных знакомых, которые на приисках разбогатели и до сих пор там сидят, хоть им, конечно, уже палец о палец ударять не надо, однако ему и, само собой, его товарищам они по старой дружбе помогут стать богачами.

— Ничего, в Баттерфорде какую-нибудь работу раздобудем, — сказал Деламарш, словно угадав затаенные помыслы Карла, однако особой уверенности в его словах слышно не было.

В течение дня они только однажды сделали привал — перед трактором, прямо на улице, за столом, который, как показалось Карлу, был из железа, они поели почти сырого мяса, которое даже не резалось, его можно было только рвать ножом и вилкой. Хлеб был необычный, продолговатой формы, и в каждом каравае торчал воткнутый в него длинный нож. К еде подали странную жидкость черного цвета, от которой першило в горле. Но Деламаршу и Робинсону этот напиток был явно по вкусу, они то и дело поднимали кружки за исполнение всевозможных желаний и чокались, сдвигая кружки в воздухе и некоторое время подержав их на весу. За соседними столами сидели рабочие в забрызганных известкой робах, и все пили ту же черную жидкость. Мимо по дороге непрерывно проносились машины, оставляя за собой клубы пыли, оседавшей прямо на столы. Кругом из рук в руки передавали огромные газетные листы, все возбужденно обсуждали забастовку строителей, причем то и дело упоминалось имя Мака, Карл поинтересовался, кто это такой, и узнал, что это отец того самого Мака, его знакомого, крупнейший строительный предприниматель Нью-Йорка. Забастовка уже обошлась ему в миллион и чуть ли не грозила разорением. Карл не поверил ни слову из этой злорадной болтовни неосведомленных и завистливых людишек.

Помимо этого, обед был омрачен для Карла мучительным вопросом, кто и как будет расплачиваться. По здравому рассуждению, каждый вроде бы должен платить за себя, однако Деламарш, да и Робинсон уже не однажды успели заметить, что за последний ночлег выложили все свои оставшиеся деньги. Часов, колец или еще чего-нибудь ценного ни на том, ни на другом не было видно. А напрямик заявить, что они кое-что заработали на продаже его костюма, Карл тоже не мог — это означало бы оскорбление и разрыв навсегда. Однако, что самое удивительное, ни Деламарш, ни Робинсон нисколько насчет оплаты не беспокоились, а, напротив, пребывали в прекрасном рас-

положении духа и при малейшей возможности даже пытались заигрывать с официанткой всякий раз, когда та величавой, гордой походкой проплывала мимо их стола. Расчесанные на пробор тяжелые волосы слегка сползли ей на лоб и щеки, и она то и дело поправляла их ленивым движением своих полных рук. Наконец, когда уже казалось, что она вот-вот отзовется на заигрывания, официантка подошла к столу, оперлась на него обеими руками и спросила:

— Кто платить будет?

Никогда еще не взлетали руки с такой скоростью, как взлетели сейчас руки Деламарша и Робинсона, указующие на Карла. Тот не испугался, он к такому обороту был уже готов и даже не видел ничего предосудительного в том, что товарищи, от которых он ведь тоже ждал для себя кое-каких выгод, понадеялись на его кошелек, хотя куда приличней было бы с их стороны со всей прямоотой сказать ему об этом заранее. Неприятно только, что деньги-то ему надо выуживать из потайного кармана. Его же первоначальная задумка состояла в том, чтобы сберечь эти деньги на самый черный день, а пока что поставить себя со своими спутниками как бы на равных. Выгоды, которые он благодаря этим деньгам, а главное, их утаиванию, приобретал по сравнению со своими товарищами, с лихвой перевешивались тем обстоятельством, что они-то жили в Америке с детства, имели достаточно опыта и навыков в добывании денег и, наконец, в отличие от Карла, не были избалованы иным, не столь нищенским образом жизни. Так что задумка относительно денег была совершенно правильная и из-за теперешнего недоразумения с оплатой обеда ни в коем случае не должна пострадать, в конце концов, расход невелик, он может спокойно выложить на стол четверть фунта мелочью и заявить, что это последние его деньги, которые он готов пожертвовать на их совместное путешествие в Баттерфорд. Для пешего похода и такой суммы вполне хватит. Но беда в том, что он не знал, наберется ли у него столько мелочи, к тому же монеты вместе со сложенными купюрами хранились где-то глубоко в недрах потайного кармана и отобрать нужную сумму удобней всего было, вытряхнув содержимое на стол. А кроме того, весьма желательно, чтобы его попутчики об этом кармане вообще не узнали. Правда, их сейчас вроде бы куда больше занимала официантка, нежели то, как и чем Карл намерен расплачиваться. Деламарш потребовал счет и под этим предлогом заманил официантку между собой и Робинсоном, так что теперь она могла от-

бываться от их приставаний лишь одним способом — попеременно упираясь то одному, то другому ухажеру всей пятерней прямо в лицо и отпихивая. Тем временем Карл, взмокнув от напряжения, под столом собирал в горсть мелочь, по монетке нашаривая и выуживая ее из глубин потайного кармана. Наконец, хотя он еще плохо знал американские деньги, ему показалось, что — по крайней мере по весу — нужная сумма набирается, и он высыпал мелочь на стол. Звон монет мгновенно оборвал все шутки. К досаде Карла и ко всеобщему изумлению, обнаружилось, что он выложил чуть ли не целый фунт. Никто, правда, не спросил, почему Карл раньше молчал об этих деньгах, которых вполне хватило бы на проезд до Баттерфорда по железной дороге, но все равно Карл почувствовал себя ужасно неловко. После того как за еду было уплачено, он медленно собрал со стола оставшиеся деньги, причем Деламарш успел еще выхватить одну монету у него из ладони, чтобы весьма игриво дать на чай официантке, которую он обхватил за талию и прижал к себе, а монетку протянул с другой стороны.

И после, когда они снова пустились в дорогу, ни один из попутчиков ни словом не обмолвился о деньгах, за что Карл был им очень благодарен и какое-то время даже подумывал, не открыть ли им все свои сбережения, но потом оставил эту мысль, не найдя удобного предлога для такого признания. Ближе к вечеру дорога привела их в иную, более плодородную и на вид явно сельскую местность. Вокруг, куда ни глянь, простирались неразмежеванные поля, раскинув свою первую зелень по мягким склонам холмов, богатые поместья подступали с обеих сторон прямо к обочинам, и дорога часами тянулась между позолоченными решетками садовых оград, они много раз пересекли один и тот же плавный, ленивый поток и не однажды слышали гулкий грохот поездов, проносящихся где-то в вышине по взметнувшимся над дорогой виадукам.

Солнце только-только закатилось за ровную кромку дальних лесов на горизонте, когда на каком-то взгорке, посреди уютной рошцы, они устало повалились в траву передохнуть от тягот долгого пути. Деламарш и Робинсон блаженно растянулись на земле, собираясь с силами, а Карл сидел рядом и смотрел вниз на дорогу, по которой, как и весь день, стремительно и легко проносились навстречу друг другу автомобили, словно где-то в одной стороне их выпускали, а в другой, тоже бог весть где, принимали и отправляли встречные стро-

го в том же количестве. С самого раннего утра и в течение всего дня Карл ни разу не видел, чтобы хоть один автомобиль остановился, чтобы хоть кто-то из пассажиров вылез.

Робинсон предложил провести ночь здесь — они, мол, уже порядком умаялись, чем раньше лягут, тем раньше завтра встанут и с новыми силами тронутся в путь, к тому же до наступления темноты вряд ли им найти более удобное и дешевое место для ночлега. Деламарш с ним согласился, и только Карл счел необходимым заметить, что вообще-то у него хватит денег, чтобы оплатить за всех троих ночлег в гостинице, Деламарш на это сказал, что деньги им еще пригодятся, пусть лучше Карл их побережет. Иными словами, Деламарш ничуть не скрывал, что они на деньги Карла всерьез рассчитывают. Теперь, когда предложение его было одобрено, Робинсон, однако, поспешил добавить, что перед сном и перед завтрашней дорогой неплохо бы как следует подкрепиться, так что надо бы кому-то сбегать за едой в гостиницу, светящаяся вывеска которой — «Отель Оксиденталь» — виднелась неподалеку, в той стороне, куда вел ответвившийся от дороги проселок. Поскольку никто из попутчиков не вызвался, Карл как младший без колебаний предложил свои услуги и, выслушав поручение принести сала, хлеба и пива, направился к гостинице.

Видимо, где-то поблизости был большой город, ибо первый же зал в гостинице, куда Карл вошел, был битком набит народом: вдоль стойки, что тянулась не только по продольной, но и по двум поперечным стенам, непрерывно и во множестве сновали официанты в белых фартуках, но и они явно не успевали удовлетворить нетерпение многочисленных посетителей, ибо то тут, то там из разных углов доносились ругань, проклятия и возмущенный стук кулаков по столам. На Карла никто не обращал ни малейшего внимания; к тому же в самом зале, похоже, никого и не обслуживали, гости, теснившиеся за неудобными столиками — даже три человека закрывали собой такой столик почти целиком, — сами заказывали себе все, что нужно, у стойки и сами приносили все это на место. На каждом столике стояла большая бутылка то ли с маслом, то ли с уксусом, то ли еще с какой-то приправой, и все блюда, принесенные от стойки, тут же из этой бутылки сдабривались. Чтобы добраться до стойки, где, очевидно, учитывая солидный объем его заказа, главные трудности еще только бы начались, Карлу пришлось протискиваться между столиками, что, разумеется, при всей осторожности немислимо было про-



делать, не беспокоя, порой весьма бесцеремонно, многочисленных гостей, которые, однако, сносили все это совершенно бесстрастно, даже тогда, когда Карл, впрочем, не сам, его тоже кто-то пихнул, один из столиков чуть не опрокинул. Он, правда, тут же извинился, но его явно не поняли, как и он ни слова не разобрал из того, что ему прокричали в ответ.

У стойки он с трудом разыскал клочок свободного места, откуда долгое время ничего не мог разглядеть за выставленными локтями соседей. Здесь, похоже, у людей вообще была такая привычка — сидеть, выставив локоть и подперев голову рукой; Карл поневоле вспомнил, как у них в школе латинист Крумпаль пуше всего на свете ненавидел именно эту позу и, тихо и всегда незаметно подкравшись к зазевавшемуся ученику, молниеносно выхватывал из-за спины линейку и весьма чувствительным тычком сшибал выставленный локоть с парты.

Карл стоял, вплотную притиснутый к стойке, ибо едва он к ней пробился, как позади него тут же поставили новый столик и один из усевшихся за него гостей, стоило ему, что-то рассказывая приятелям, слегка откинуться назад, уже задевал спину Карла полями своей большой шляпы. А надежды хоть что-то получить от официанта даже сейчас, когда оба громоздких соседа, урвав свое, наконец-то ушли, не было почти никакой. Карл уже несколько раз пытался прямо через столик ухватить пробегающего мимо официанта за передник, но те, затравленно оглянувшись, с ожесточением вырывались. Казалось, они вообще не умеют стоять — только и знают, что бегать. Если бы поблизости от Карла еще нашлось хоть что-то подходящее из еды и питья, он бы взял что нужно, спросил, сколько с него причитается, положил бы деньги и с превеликой радостью ушел. Но перед ним, как назло, стояли только блюда с какой-то рыбой вроде селедки, поблескивавшей черными, с золотистым отливом, чешуйчатыми спинками. Рыба, должно быть, очень дорогая, да ею толком и не наешься. Можно было еще дотянуться до маленьких бочонков с ромом, но снабжать своих товарищей ромом он не хотел, они и так, похоже, когда надо и не надо готовы были злоупотребить самыми крепкими спиртными напитками, и поощрять их в этом пагубном пристрастии он не намерен.

Оставалось, выходит, только одно — поискать другое, более удачное место у стойки и начать все сызнова. А он уже и так потерял

слишком много времени. Часы в другом конце зала, стрелки которых отсюда, если как следует приглядеться, с трудом, но все же угадывались сквозь дым, показывали уже начало десятого. Однако в других местах возле стойки давка была еще больше, чем там, немного на отшибе, откуда Карл только что выбрался. Да и народу в зале становилось чем позднее, тем больше. Двери главного входа ходили ходуном, впуская вместе с громким «хэлло!» все новых и новых посетителей. Кое-где гости уже самочинно расчищали пространство на стойке и усаживались прямо на прилавок, весело друг с другом чокаясь; это, несомненно, были самые лучшие места, откуда просматривался весь зал.

Карл, правда, все еще протискивался куда-то, но уже без всякой надежды хоть что-то получить. Он корил себя за легкомыслие: не зная здешних порядков, вызвался выполнять такое сложное поручение. Товарищи с полным правом его отругают, да еще, пожалуй, решат, что он своих денег пожалел, потому ничего и не принес. Теперь к тому же он очутился в той части зала, где все вокруг ели горячие мясные блюда с золотисто-желтой вареной картошкой, и ему казалось непостижимой загадкой, как это людям удается такое себе раздобыть.

И тут в нескольких шагах от себя он заметил пожилую женщину, явно из гостиничного персонала, которая весело беседовала с кем-то из гостей. При этом она не переставала прилаживать заколку к своей прическе. В тот же миг Карл решил, что попросит помощи у нее — хотя бы потому, что она, единственная в зале женщина, показалась ему как бы оазисом покоя среди всеобщего гама и столпотворения, а еще по той простой причине, что она, единственная из обслуживающего персонала, находилась в пределах досягаемости, если предположить, конечно, что при первых же обращенных к ней словах она не убежит по делам. Но ничего подобного — совсем наоборот. Карл еще даже не заговорил с ней, он, стоя рядом, еще только выжидательно прислушивался, а она, вдруг мельком глянув в сторону, как это бывает в разговоре, посмотрела на Карла, прервала беседу и приветливо, на ясном, как учебник грамматики, английском спросила, не нужно ли ему чего-нибудь.

— Очень нужно, — ответил Карл. — Только я ничего не могу здесь получить.

— Тогда пойдёмте со мной, малыш, — сказала она, попрощалась

со своим знакомым, который в ответ приподнял шляпу, что выглядело здесь знаком поистине невероятной учтивости, взяла Карла за руку, подвела его к стойке, решительно кого-то отодвинула, откинула дверцу барьера, миновала вместе с Карлом проход за стойкой, где надо было остерегаться неумоимо снующих туда-сюда официантов, отворила какую-то потайную дверь в стене — и в тот же миг они очутились в большой прохладной кладовой.

— Просто надо знать, что к чему, — улыбнулась она Карлу. — Так что вам угодно? — спросила она, услужливо к нему склоняясь. Это была очень полная женщина, все тело ее колыхалось, но лицо, особенно, конечно, в сравнении с фигурой, сохранило почти детскую нежность очертаний.

При виде стольких припасов, тщательно разложенных вокруг на столах и полках, Карл чуть было не поддался соблазну заказать ужин повкуснее, тем более что эта добрая женщина явно пользовалась здесь влиянием и, наверно, отпустила бы ему все недорого, но, поскольку ничего особенного ему с ходу в голову не пришло, он назвал все те же сало, хлеб и пиво.

— Больше ничего? — удивилась женщина.

— Нет, спасибо, — ответил Карл. — Но, пожалуйста, на троих.

На вопрос женщины, где же остальные двое, Карл вкратце рассказал о своих спутниках, ему было приятно, что его так участливо расспрашивают.

— Но это же еда для арестантов, — все еще недоумевала женщина и явно ждала, не попросит ли Карл чего-нибудь еще. Но тот, опасаясь, что она решила его пожалеть и денег вообще не возьмет, застенчиво промолчал. — Что ж, это-то мы мигом устроим, — сказала она, после чего с удивительной для ее комплекции подвижностью подошла к столу, отрезала длинным, похожим на саблю и таким же острым ножом большой шмат сала, обильно прослоенного мясом, достала с полки каравай хлеба, выхватила из ящика на полу три бутылки пива и, уложив все в легкую соломенную корзинку, протянула корзинку Карлу. Прodelывая все это, она еще успела объяснить Карлу, что потому привела его именно сюда, что в зале, на стойке, продукты, хоть они долго там и не залеживаются, все равно теряют свежесть от духоты и табачного дыма. Но для этой публики и так сойдет, они все слопают. Карл и тут промолчал, ибо не мог понять, чем заслужил такое предпочтение. Однако подумал о своих попутчиках, кото-

рым, хоть они и мнят себя в Америке старожилами, а до этой вот кладовки вряд ли бы добраться и наверняка пришлось бы довольствоваться прокуренной, испорченной пищей с общего прилавка. Из шумного зала сюда не доносилось ни звука, наверно, только очень толстые стены могли сохранить под этими сводами такую тишину и прохладу. Карл уже довольно долго стоял с корзинкой в руках, но платить вроде бы не думал и с места не двигался. Лишь когда женщина вдобавок ко всему протянула ему бутылку наподобие тех, что стояли в зале на столах, он, словно очнувшись, испуганно поблагодарил и отказался.

— А далеко ли вы направляетесь? — спросила она.

— В Баттерфорд, — ответил Карл.

— О, так это еще очень далеко, — протянула женщина.

— Еще день пути, — пояснил Карл.

— Разве? А не дольше? — удивилась она.

— Да нет, — ответил Карл.

Женщина продолжала что-то перекладывать на столах, тут вошел официант, торопливо озираясь, женщина указала ему на большое блюдо с сардинами, слегка присыпанными зеленью петрушки, официант подхватил блюдо и, вскинув над головой, вынес в зал.

— А почему, собственно, вы решили спать на улице? — спросила женщина. — У нас тут места достаточно. Могли бы и в гостинице переночевать.

Предложение звучало очень заманчиво, тем более что прошлую ночь Карл провел скверно.

— У меня там багаж, — ответил он в нерешительности, хотя и не без доли тщеславия.

— Так несите его сюда, — удивилась женщина. — Багаж в гостинице не помеха.

— Но мои товарищи, — Карл запнулся, только сейчас поняв, что они-то главная помеха и есть.

— Они, разумеется, тоже могут у нас переночевать, — сказала женщина. — Давайте приходите! Не заставляйте себя так упрашивать.

— Мои товарищи, вообще-то, люди славные, — мялся Карл, — но не слишком опрятные.

— Вы что, не видели, какая грязь в зале? — спросила женщина, безразлично поморщившись. — Уж к нам-то действительно всякий мо-

жет прийти. Так что я распоряжусь приготовить три постели. Правда, только в мансарде, отель сейчас забит, я сама на мансарду перебралась, но все же это куда лучше, чем под открытым небом.

— Не могу я привести своих товарищей! — вырвалось у Карла.

Он живо представил себе, какой шум поднимут эти двое в коридорах respectable отеля. Робинсон тут же все, что можно, перепачкает, а Деламарш наверняка еще и приставать начнет к этой милой женщине.

— Не могу понять, что вас так смущает, — сказала женщина, — но если уж вам так не хочется, оставьте ваших друзей на улице, а сами приходите сюда.

— Нет, это не годится, никак не годится, — возразил Карл. — Они мои товарищи, и я останусь с ними.

— Вы, однако, упрямый, — заметила женщина, отводя глаза. — Вам хотят добра, предлагают помощь, а вы отбиваетесь изо всех сил.

Карл и сам все это прекрасно понимал, но выхода все равно не видел и потому сказал только:

— Большое вам спасибо за вашу любезность. — Но тут же спохватился, что еще не заплатил, и спросил, сколько с него причитается.

— Когда корзину вернете, тогда и рассчитаемся, — ответила женщина. — Учтите, корзина мне нужна самое позднее к завтрашнему утру.

— Хорошо, — ответил Карл.

Она отворила дверь, что вела из кладовой прямо на улицу, и, когда Карл, поклонившись ей, уже выходил, сказала на прощанье:

— Спокойной ночи. Только все равно поступаете вы неправильно.

Он уже отошел на несколько шагов, когда она крикнула ему вдогонку:

— Так, значит, до завтра!

Едва он очутился на улице, как до слуха его долетел все тот же неутраченный шум из зала, к которому теперь добавилось еще и громахание духового оркестра. Он порадовался, что ему не пришлось выбираться обратно через эту жуткую толчею. Отель теперь сиял всеми окнами своих шести этажей, ярко и во всю ширь освещая дорогу у него под ногами. Где-то впереди по-прежнему, хоть и не столь плотной чередой, проносились машины, вырастая из темноты стремительней, чем днем, они жадно ошупывали полотно дороги белыми лучами своих фар, которые как бы меркли, когда машины пересека-

ли световое пятно отеля, а потом, разгораясь все ярче, снова вбуравливались в черноту ночи и постепенно исчезали вдали.

Спутников своих Карл застал уже спящими глубоким сном, но он и правда отсутствовал слишком долго. Только он собрался аппетитно разложить добытую снедь на листах бумаги, которые тоже нашлись в корзинке, чтобы уж потом, все приготовив, разбудить товарищей, как вдруг с ужасом увидел, что его чемодан, который он оставил запертым, а ключ унес с собой в кармане, теперь разинут настежь и почти все содержимое разбросано вокруг на траве.

— Вставайте! — закричал он в панике. — Пока вы тут дрыхнете, у нас побывали воры!

— Что-нибудь пропало? — заспанным голосом спросил Деламарш.

Робинсон, еще полусонный, сразу же потянулся за бутылкой.

— Не знаю, — крикнул Карл, — но чемодан открыт. Какое разгильдяйство — самим завалиться спать, а чемодан оставить без присмотра!

Оба спутника почему-то рассмеялись, а Деламарш сказал:

— В следующий раз не будете так надолго исчезать. Гостиница в двух шагах, а вы три часа где-то бродите. Мы же голодные, подумали, может, у вас в чемодане найдется что-то съестное, вот и пощекотали замок, пока он не открылся. Только там нет ничего, так что можете спокойно складывать все обратно.

— Вот как, — только и вымолвил Карл, глядя на стремительно пустеющую корзину и прислушиваясь к странным звукам, издаваемым присосавшимся к бутылке Робинсоном: жидкость сперва тихо булькала в горле, потом как бы с присвистом вырывалась обратно и лишь после этого с утробным урчанием устремлялась внутрь, как в воронку.

— Ну что, вы все съели? — спросил он, когда оба начали сыто отдуваться.

— А вы разве не перекусили в гостинице? — спросил в ответ Деламарш, полагая, видимо, что Карл претендует на свою долю.

— Если вы еще не наелись, извольте поторопиться, — сказал Карл, направляясь к чемодану.

— Э, да он никак капризничает? — притворно изумился Деламарш, обращаясь к Робинсону.

— Я не капризничаяю, — ответил Карл, — но мне не нравится,

когда в мое отсутствие взламывают мой чемодан и разбрасывают мои вещи. Я знаю, между друзьями допустимы кое-какие вольности, и я был к ним готов, но это уж слишком. Я заночую в гостинице и в Баттерфорд с вами не пойду. Доедайте скорее, мне надо вернуть корзину.

— Видишь, Робинсон, — произнес Деламарш, — как с нашим братом говорят. Вот что значит хорошие манеры. Одно слово — немец. Ты-то меня сразу предупреждал, но я, дурак, тебя не послушал, принял его в компанию. Мы к нему со всей душой, с чистым сердцем, целый день с собой тащим, по меньшей мере, полдня из-за него теряем, а он теперь, благо кто-то там его в гостинице поманил, хочет сказать нам до свиданья, и дело с концом. Но поскольку он не просто немец, а плохой немец, он не говорит нам это в открытую, он находит предлог с чемоданом, а поскольку он к тому же еще и немец-грубиян, он не может уйти просто так, не оскорбив напоследок нашу честь и не обозвав нас ворами — и все из-за невинной шутки, которую мы разыграли с его чемоданом.

Укладывая вещи, Карл, не оборачиваясь, сказал:

— Продолжайте в том же духе, мне только легче будет уйти. Уж я-то знаю, что такое товарищество. Там, в Европе, у меня тоже были друзья, и никто из них не упрекнет меня в неверности, а в подлости и подавно. Сейчас-то, конечно, они далеко, но, если я когда-нибудь вернусь на родину, все они встретят меня с радостью и каждый опять будет мне другом. А вас, Деламарш, и вас, Робинсон, — это вас-то я предал, после того, как вы, не отрицаю и никогда не стану отрицать, проявили ко мне дружеское участие и даже посулили место ученика в Баттерфорде? Нет, причина не в этом, а совсем в другом. У вас нет ничего, и в моих глазах это нисколько вас не унижает, а вот вы не можете мне простить то небольшое, что у меня есть, и всячески стараетесь меня обидеть, чего я, конечно, стерпеть не могу. Теперь же, когда вы вскрыли мой чемодан и ни словом не сочли нужным извиниться, а вместо этого оскорбляете, и не только меня, но и мой народ, — теперь вы сами лишили меня всякой возможности с вами оставаться. Впрочем, к вам, Робинсон, все это, пожалуй, почти не относится. Вас можно упрекнуть лишь в том, что вы слишком зависите от Деламарша.

— Вот теперь-то и видно, — сказал Деламарш, подойдя к Карлу и слегка ткнув его в спину как бы для того, чтобы тот обернулся, — те-

перь-то и видно, что вы за птица. Сперва он целый день ходит за мной, как за нянькой, чуть ли не за юбку держится, смотрит в рот, каждое движение повторяет и вообще ведет себя пай-мальчиком. А потом, когда его в гостинице кто-то приветил, он начинает нам тут мораль читать. Да вы, оказывается, мелкий прохвост, и я еще не знаю, потерпим ли мы такое обхождение. И не потребуем ли должок за обучение, раз уж вы целый день за нами подглядывали. Ты слышал, Робинсон, он полагает, мы позавидовали его богатству. Да один день работы в Баттерфорде, не говоря уже о Калифорнии, — и у нас будет в десять раз больше монет, чем те, которыми вы тут звенели и которые еще у вас в подкладке припрятаны. Так что поосторожнее в выражениях.

Бросив чемодан, Карл встал и увидел, что, все еще заспанный, но несколько повеселевший от пива Робинсон тоже направляется к нему.

— Пожалуй, если я тут с вами останусь, меня ждут еще кое-какие сюрпризы, — сказал Карл. — Вы, как я погляжу, собрались меня избить.

— Всякому терпению приходит конец, — изрек Робинсон.

— Вы, Робинсон, лучше помолчите, — оборвал его Карл, не спуская глаз с Деламарша, — в душе-то вы признаете, что я прав, но показать боитесь, потому что вы с ним заодно.

— Что, решили переманить его на свою сторону? — ехидно спросил Деламарш.

— И не подумаю, — ответил Карл. — Я рад, что от вас уйду, и ни с одним из вас не хочу больше иметь дела. Еще только одно я вам скажу, раз уж вы попрекнули меня моими деньгами, которые я от вас скрыл. Даже если и так — разве это неправильно по отношению к людям, с которыми ты знаком всего несколько часов, и разве вы своим поведением сейчас не подтвердили правильность моих действий?

— Только спокойно, — сказал Деламарш Робинсону, хотя тот и не думал двигаться. Потом спросил у Карла: — Раз уж вы так обнаглели в своей откровенности, раз уж у нас такой задушевный пошел разговор, то не стесняйтесь, выкладывайте всю правду до конца: что это вас так потянуло в гостиницу?

Карл невольно попятился, перешагнув чемодан, — так близко подступил к нему Деламарш. Но того это ничуть не смутило, он ногой отпихнул чемодан в сторону и сделал еще шаг вперед, водрузив



ботинок прямо на белую манишку, что оставалась лежать на траве, и повторил вопрос.

Словно в ответ ему где-то внизу, на дороге, вдруг появился мужчина: светя себе ярким карманным фонариком, он уже взбирался по склону, явно направляясь в их сторону. Это был официант из отеля. Едва завидев Карла, он сказал:

— Я уже полчаса вас разыскиваю. Все кусты вдоль дороги облазил. Госпожа главная кухарка просит вам передать, что корзина, которую она вам одолжила, срочно ей понадобилась.

— Вот она, — ответил Карл сдавленным от волнения голосом.

Деламарш и Робинсон с напускной скромностью тут же отошли в сторонку, как всегда это делали при появлении любого добропорядочного человека. Официант забрал корзинку, но добавил:

— Еще госпожа главная кухарка просила узнать: может, вы все-таки передумали и заночуете в отеле? И двое других господ тоже могут пожаловать, если вы желаете взять их с собой. Постели уже приготовлены. Ночи сейчас, правда, теплые, однако спать на траве совсем небезопасно, у нас тут змеи водятся.

— Раз уж госпожа главная кухарка столь любезна, я, пожалуй, воспользуюсь ее приглашением, — ответил Карл и выжидательно посмотрел на своих спутников.

Но Робинсон стоял столбом, а Деламарш, засунув руки в карманы, изучал звезды. Оба, очевидно, предполагали, что Карл и теперь, после всего, что произошло, возьмет их с собой.

— В таком случае, — продолжил официант, — мне велено проводить вас в отель и доставить ваш багаж.

— Тогда подождите, пожалуйста, минутку, — попросил Карл и нагнулся, чтобы собрать в чемодан немногие оставшиеся вещи.

Внезапно он выпрямился. Фотографии не было, она лежала в чемодане с самого верху, а теперь куда-то подевалась. Все остальное на месте, и лишь фотографии не было.

— Я не вижу фотографию, — почти умоляюще обратился Карл к Деламаршу.

— Какую фотографию? — переспросил тот.

— Фотографию моих родителей, — пояснил Карл.

— Не видели мы никакой фотографии, — сказал Деламарш.

— Не было там никакой фотографии, господин Росман, — язвительно поддакнул Робинсон со своего места.

— Но этого же быть не может, — простонал Карл, беспомощным взглядом подзывая на подмогу официанта. — Она лежала сверху, а теперь ее нет. И надо было вам устраивать шутки с моим чемоданом!

— Это совершенно исключено, — заявил Деламарш. — Фотографии в чемодане не было.

— Она мне дороже, чем все остальное в чемодане, — сказал Карл официанту, который ходил вокруг, осматривая траву. — Ее ничем не заменишь, второй такой у меня не будет. — И когда официант прекратил безнадежные поиски, сокрушенно добавил: — Это единственная родительская карточка, какая у меня была.

Официант в ответ на это громко и без малейшей щепетильности заявил:

— Что ж, полагаю, тогда надо бы поискать у обоих господ в карманах.

— Да! — немедленно согласился Карл. — Я должен ее найти. Но прежде чем мы обыщем карманы, я хочу им сказать вот что: тот, кто добровольно вернет мне фотографию, получит чемодан со всем содержимым. — Повисло напряженное молчание, потом Карл сказал официанту: — Что ж, очевидно, мои товарищи предпочитают обыск. Но и теперь я по-прежнему обещаю чемодан тому, у кого в кармане найдется фотография. Это все, что я в силах сделать.

Официант тут же приступил к обыску Деламарша, тот показался ему покрепче, чем Робинсон, которого он предоставил Карлу. Он предупредил Карла, что обыскивать надо непременно обоих сразу, чтобы они ничего не могли потихоньку выбросить или передать друг другу. В первом же кармане у Робинсона Карл с ходу обнаружил собственный галстук, но забирать его не стал и крикнул официанту:

— Что бы вы там у Деламарша ни нашли, пожалуйста, все ему оставьте. Мне нужна только фотография, а кроме фотографии — ничего.

Обыскивая внутренние карманы Робинсона, Карл ненароком коснулся его горячей жирной груди, и только тут до его сознания дошло, что он, должно быть, подвергает своих товарищей страшному унижению. Он заторопился, стараясь поскорей покончить с этим неприятным делом. К тому же все оказалось напрасным: ни у Робинсона, ни у Деламарша фотографии не нашлось.

— Бесполезно, — сказал наконец официант.

— Наверное, они ее порвали, а клочки выбросили, — предположил Карл. — Я-то думал, они мне друзья, но втайне они хотели мне

только напакостить. Вряд ли это Робинсон, у него бы ума не хватило догадаться, что фотография для меня — самое дорогое, зато Деламарш наверняка.

Карл говорил это, видя перед собой только официанта, чей фонарик выхватывал из темноты маленький кружок света, за пределами которого все, в том числе Робинсон и Деламарш, тонуло в глубоком мраке.

Теперь, разумеется, и речи быть не могло о том, чтобы брать этих двух с собой в гостиницу. Официант вскинул чемодан на плечо, Карл взял корзинку, и они пошли. Уже на дороге, очнувшись от тягостных дум, Карл остановился и крикнул куда-то вверх, в темноту над склоном:

— Эй, вы, послушайте! Если фотография все еще у кого-то из вас и он принесет мне ее в гостиницу, я отдам ему чемодан и в полицию — клянусь! — заявлять не буду.

Ответа как такового не последовало, долетел какой-то обрывок слова, а может, выкрик Робинсона, которому Деламарш, очевидно, мгновенно зажал рот. Карл долго еще дожидался — может, они там, наверху, передумают. Потом дважды, с расстановкой, крикнул:

— Я все еще тут!

Но ни звука не было в ответ, лишь неожиданно скатился по склону камень — то ли случайно, то ли брошенный наугад чьей-то рукой.

## И. Отель «Оксиденталь»

В отеле Карла сразу же отвели в комнату наподобие конторы, где главная кухарка с блокнотом в руках диктовала деловое письмо сидевшей тут же машинистке. Отчетливая, словно наизусть, диктовка и плотный, уверенный перестук клавиш дружно заглушали уловимое лишь изредка тиканье стенных часов, которые показывали уже почти половину двенадцатого.

— Так, — сказала главная кухарка, захлопывая блокнот, после чего машинистка тут же вскочила и накрыла машинку деревянным футляром, проделав это чисто автоматически и не спуская с Карла глаз. Выглядела она еще почти школьницей: передник очень тщательно отутюжен, на плечах даже оборки воланами, волосы аккурат-

но собраны в довольно высокую прическу, и все эти мелочи как-то не вязались с недетской серьезностью ее лица. Поклонившись сперва начальнице, потом Карлу, машинистка вышла, и Карл невольно перевел на главную кухарку свой вопрошающий взгляд.

— Это замечательно, что вы все-таки пришли, — сказала та. — А где же ваши товарищи?

— Я их не взял, — ответил Карл.

— Они, должно быть, очень рано завтра выходят, — предположила кухарка, словно подыскивая за Карла подходящее объяснение.

«Уж не думает ли она, что и я завтра выхожу с ними?» — мелькнуло у Карла, и во избежание дальнейших недоразумений он пояснил:

— Мы поссорились и расстались окончательно.

Главная кухарка, похоже, восприняла эту новость как приятную.

— Так вы, значит, свободны? — спросила она.

— Да, свободен, — отозвался Карл, и ничто не казалось ему сейчас ничемней его свободы.

— Послушайте, а вы не хотите получить место у нас в отеле? — спросила вдруг главная кухарка.

— Я бы с радостью, — ответил Карл, — только знаний у меня почти никаких. Я вот, к примеру, даже на машинке печатать не умею.

— Это не страшно, — успокоила его главная кухарка. — Начать, конечно, придется с самой скромной должности и потихоньку пробиваться наверх, а уж дальше все будет зависеть от вашего усердия и терпения. Но, по-моему, для вас же лучше где-то осесть и укрепиться, чем так вот по белу свету болтаться. Сдается мне, такая жизнь не для вас.

«Тут бы и дядя под каждым словом подписался», — подумал Карл и утвердительно кивнул. В тот же миг он спохватился — о нем проявляют столько заботы, а он даже не представился.

— Извините, пожалуйста, — сказал он, — Я забыл представиться, меня зовут Карл Росман.

— Вы немец, не так ли?

— Да, — подтвердил Карл, — я недавно в Америке.

— А откуда вы?

— Из Праги, это в Чехии, — пояснил Карл.

— Смотрите-ка! — воскликнула главная кухарка по-немецки с сильным английским акцентом и чуть не всплеснула руками. — Да мы, выходит, земляки; меня зовут Грета Митцельбах, и я из Вены! А Прагу

я отлично знаю, ведь я полгода проработала в «Золотом гусе» на площади Святого Вацлава. Нет, подумать только!

— А когда это было? — поинтересовался Карл.

— О, много-много лет назад.

— «Золотого гуся» два года как снесли, — сообщил Карл.

— Да, конечно, — рассеянно кивнула главная кухарка, мыслями все еще витая где-то в прошлом. Но потом, вдруг разом оживившись, схватила Карла за руки и воскликнула: — Но раз уж вы мой земляк, вам ни за что нельзя от нас уезжать! Обещайте мне, что этого не сделаете. Как вы смотрите на то, чтобы, допустим, стать у нас лифтером? Одно ваше слово — и вы им станете. Вот обживетесь немного — сами увидите: получить такое место совсем не просто, ведь для начала ничего лучше не придумаешь. Вы встречаетесь со всеми гостями, всегда у них на виду, они дают вам мелкие поручения, — короче, у вас каждый день есть возможность подыскать что-нибудь получше. А уж об остальном предоставьте позаботиться мне.

— В лифтеры я с удовольствием пойду, — сказал Карл после непродолжительного раздумья.

Было бы величайшей глупостью с его-то пятью классами гимназии — и отказаться от места лифтера. Здесь, в Америке, этих пяти классов впору скорее стыдиться. К тому же мальчишки-лифтеры всегда нравились Карлу, они казались ему как бы украшением отеля.

— А разве не требуется знание языков? — спросил он еще на всякий случай.

— У вас есть немецкий и превосходный английский, этого вполне достаточно.

— Английский я только в Америке выучил за два с половиной месяца, — сообщил Карл, решив, что глупо умалчивать о своем единственном достоинстве.

— Одно это уже говорит за вас, — похвалила его главная кухарка. — Как вспомню, сколько я в свое время с английским мучилась! Но это, правда, уже давно, тридцать лет назад. Как раз вчера об этом думала. У меня вчера день рождения был, пятьдесят стукнуло. — И она с улыбкой глянула на Карла, пытаясь по его лицу угадать, какое впечатление произвел от того ее уже столь солидный возраст.

— Я вас поздравляю и желаю счастья, — сказал Карл.

— Счастье никогда не помешает, — ответила она, пожимая руку Карла и слегка погрузнев от этой вспомнившейся вдруг присказки,

произнесенной на родном языке. — Но я совсем вас заговорила, — снова всполошилась она. — Вы же наверняка очень устали, а обсудить все куда лучше будет завтра днем. Пойдемте, я отведу вас в вашу комнату.

— У меня только еще одна просьба, госпожа главная кухарка, — сказал Карл, заметив на одном из столов телефонный аппарат. — Не исключено, что завтра утром, возможно, даже очень рано утром, мои бывшие товарищи занесут фотографию, которая крайне мне нужна. Не затруднит ли вас позвонить портье и сказать, чтобы он этих людей ко мне пропустил или меня к ним вызвал.

— Разумеется, — с готовностью откликнулась главная кухарка, — но почему бы портье просто не взять у них фотографию, а потом передать вам? И что это за фотография, если не секрет?

— Фотография моих родителей, — ответил Карл. — Нет, я должен сам с ними переговорить.

На это главная кухарка ничего больше не сказала, позвонила на стойку портье и передала соответствующее поручение, назвав при этом и номер комнаты Карла — пятьсот тридцать шестой.

Потом они вместе вышли в вестибюль и через дверь, что как раз напротив парадного входа, попали в узкий коридорчик, в конце которого, возле лифта, облокотившись на перила, спал стоя совсем еще маленький мальчишка-лифтер.

— Мы и без него справимся, — шепотом сказала главная кухарка, пропуская Карла в лифт. — Конечно, работать по десять-двенадцать часов — многовато для такого мальчика, — пояснила она, пока они поднимались в лифте. — Но в Америке так принято. Взять, к примеру, этого мадыша: он итальянец, только полгода, как приехал сюда с родителями. Сейчас у него такой вид, будто ему эту работу нипочем не осилить: с лица совсем осунулся, засыпает на посту, хотя от природы он совсем не лентяй, — но проработает еще полгода здесь или в другом месте и будет с легкостью все выдерживать, а через пять лет станет настоящим сильным мужчиной. Я знаю множество таких примеров и могла бы часами о них рассказывать. При этом вас я даже не имею в виду, вы-то крепкий юноша. Вам ведь семнадцать, верно?

— Через месяц шестнадцать исполнится, — ответил Карл.

— Даже еще только шестнадцать? — удивилась она. — Тем более. Главное — не терять мужества!

Наверху она отвела Карла в комнату, которая скосом одной из стен хоть и обнаруживала свое расположение в мансарде, но в остальном выглядела при веселом свете двух лампочек очень даже уютно.

— Обстановка пусть вас не пугает, — предупредила главная кухарка, — это не гостиничный номер, а всего лишь комната в моей квартире, но у меня три комнаты, так что вы мне нисколько не мешаете. Смежную дверь я запру, так что можете не стесняться. Завтра, став сотрудником отеля, вы, конечно, получите свою комнатку. Если бы вы пришли с товарищами, я бы распорядилась постелить вам в общем спальном зале для прислуги, ну а так, раз вы один, я думаю, вам здесь будет удобней, хоть и придется спать на софе. Ну а теперь спите как следует и набирайтесь сил для работы. Завтра, впрочем, день у вас еще не тяжелый.

— Большое вам спасибо за вашу доброту.

— Погодите, — проговорила она, останавливаясь на пороге, — этак вас скоро опять разбудят. — И, подойдя к одной из боковых дверей, постучала в нее и крикнула: — Тереза!

— Слушаю, госпожа главная кухарка! — донесся оттуда голос маленькой машинистки.

— Завтра, когда будешь меня будить, пройди коридором, тут в комнате спит гость. Он до смерти устал. — Говоря все это, она улыбалась Карлу. — Ты поняла?

— Да, госпожа главная кухарка.

— Тогда спокойной ночи.

— Спокойной ночи и вам.

— Дело в том, — сочла нужным объяснить главная кухарка, — что я в последние годы ужасно плохо сплю. Сейчас-то должность у меня хорошая, и можно ни о чем не тревожиться. Но, наверное, прежние тревоги дают себя знать, оттого и бессонница. Если в три удастся заснуть, это, считайте, хорошо. Но поскольку в пять, самое позднее в полшестого мне уже надо быть на рабочем месте, приходится просить, чтобы меня будили, причем осторожно, иначе я весь день буду еще больше нервничать, чем обычно. Вот Тереза меня и будит. Но теперь вы уж и вправду все знаете, а я никак не уйду. Спокойной ночи!

С этими словами, несмотря на свою полноту, она почти выпорхнула из комнаты.

Карл с радостью предвкушал блаженный сон, ибо день и вправду выдался тяжелый. А более уютного места для сладкого, беспробудно-

го сна и желать было нельзя. Комната, правда, обставлена не как спальня, скорее это жилая комната, если не парадная гостиная главной кухарки, и умывальный столик внесли сюда только на сегодняшней вечер исключительно ради него, тем не менее Карл совсем не чувствовал себя здесь пришельцем, а, пожалуй, напротив, — желанным гостем, о котором позаботились. Чемодан его уже принесли, вот он стоит поблизости и, похоже, давно уже не был в большей безопасности. На низком комодке, укрытом вязанной в крупную петлю скатерткой, в рамочках и под стеклом были расставлены фотографии, возле которых Карл, обходя комнату, невольно задержался и теперь их разглядывал. Фотографии в большинстве были старые и запечатлели в основном молоденьких девушек в чопорных, давно вышедших из моды платьях, в маленьких, но высоких шляпках, чудом удерживающихся на голове, — опираясь правой рукой на зонтик, девушки вроде бы и смотрели прямо перед собой, но перехватить их взгляд не удавалось. Среди мужских снимков внимание Карла привлек портрет молодого солдата: положив перед собой пилотку на столик, он стоял навытяжку, явно гордясь своей буйной черной шевелюрой и с трудом сдерживая распирающий его озорной смех. Пуговицы мундира фотограф тщательно раскрасил позолотой. Все фотографии, судя по всему, были еще из Европы, в чем нетрудно было бы убедиться, прочитав подписи на обороте, но Карл не решился трогать чужие вещи. Вот так же, как здесь, на самом виду, и он мог бы поставить фотографию родителей в своей будущей комнате.

Едва он, весь как следует вымывшись и проделав это как можно тише, дабы не потревожить соседку, в предвкушении блаженного сна растянулся на кушетке, как вдруг ему послышалось, будто в одну из дверей робко постучали. Сразу невозможно было определить, в какую именно, к тому же это мог быть и просто случайный шорох. Звук вроде бы не повторился, и Карл уже почти заснул, когда он раздался снова. Но теперь уже не было сомнений, что это именно стук и доносится он из-за двери машинистки. Карл на цыпочках подбежал к двери и на всякий случай еле слышно, чтобы никого не разбудить, если там все-таки спят, спросил:

— Вам что-нибудь нужно?

Из-за двери тотчас же и так же тихо донеслось:

— Вы бы не могли открыть дверь? Ключ с вашей стороны.

— Конечно, — ответил Карл, — только сперва оденусь.



Возникла небольшая заминка, потом тот же голос произнес:

— Это необязательно. Откройте, а сами ложитесь в кровать, я подожду.

— Хорошо, — сказал Карл и сделал все, как ему посоветовали, только включив вдобавок электричество.

— Я уже лег, — произнес он чуть громче.

В тот же миг из темноты своей комнаты на пороге возникла маленькая машинистка, одетая точно так же, как недавно в конторе, словно все это время она и не думала ложиться спать.

— Простите, ради бога, — пролепетала она и уже очутилась возле кушетки, слегка склоняясь над Карлом, — и, прошу вас, не выдавайте меня. К тому же я совсем ненадолго, я знаю, что вы очень устали.

— Да нет, не настолько, — ответил Карл, — но, наверно, лучше бы мне все-таки было одеться.

Ему приходилось лежать пластом, до подбородка укрывшись одеялом, ведь у него не было ночной рубашки.

— Я только на минуточку, — сказала она, хватаясь за спинку стула. — Можно я сяду на кушетке?

Карл кивнул. Она тут же села, да так близко, что Карлу пришлось отодвинуться к стене, иначе ему трудно было на нее смотреть. У нее было округлое, правильное лицо, только лоб, пожалуй, высоковат, но, возможно, это из-за прически, которая не очень-то ей шла. Одетая очень чистенько и аккуратно. В левой руке она нервно тискала платочек.

— Вы надолго у нас останетесь? — спросила она.

— Это еще не вполне ясно, — ответил Карл, — но думаю, что останусь.

— Хорошо бы вы остались, — вздохнула она, проводя платком по лицу, — а то мне здесь так одиноко.

— Вот уж не ожидал, — удивился Карл. — По-моему, госпожа главная кухарка очень к вам добра. И относится к вам вовсе не как к подчиненной. Я даже решил, что вы родственницы.

— О нет, — ответила девушка. — Меня зовут Тереза Берхгольд, я из Померании.

Карл тоже представился. В ответ девушка впервые подняла на него глаза, словно он, назвав свое имя, почему-то стал ей чуточку более чужим.

Они помолчали немного. Потом она сказала:

— Не подумайте, что я такая неблагодарная. Без госпожи главной кухарки мне бы совсем худо пришлось. Раньше-то я здесь, в отеле, на кухне работала и была уже на волосок от увольнения, потому что не справлялась с тяжелой работой. Тут требования очень суровые. Месяц назад одна девушка, тоже с кухни, от переутомления просто упала в обморок и две недели пролежала в больнице. А я, вообще, не очень сильная, в детстве много болела и из-за этого такая хилая, вы, вон, наверное, тоже не догадались, что мне уже восемнадцать. Но ничего, теперь-то я скоро окрепну.

— Да, служба здесь, похоже, и впрямь не сахар, — сказал Карл. — Только что я видел внизу мальчишку-лифтера, так он стоя спал.

— И это при том, что лифтерам еще живется лучше всех, — живо откликнулась девушка, они кучу денег зарабатывают на чаевых, и им все же не приходится так надрываться, как людям на кухне. Но тут мне и вправду хоть раз в жизни повезло, госпоже главной кухарке понадобилась помощь — салфетки к банкету приготовить, и она послала на кухню нас, там девчонок человек пятьдесят, я оказалась под рукой и сумела угодить: уж что-что, а салфетки я всегда хорошо складывала. Вот с тех пор она и стала держать меня при себе и постепенно сделала своей секретаршей. Мне, конечно, многому пришлось научиться.

— Неужели тут так много писанины? — удивился Карл.

— Ой, очень много, — пожаловалась девушка, — вы даже представить себе не можете. Вы же видели, я работала сегодня до половины двенадцатого, а это мой самый обычный день. Хотя вообще-то я не все время на машинке, иногда хожу в город, за покупками.

— А что за город, как хоть называется? — поинтересовался Карл.

— Вы разве не знаете? — изумилась она. — Рамзес.

— Большой? — спросил Карл.

— Ой, очень, — ответила девушка. — Я не люблю туда ходить. Но вы, правда, еще спать не хотите?

— Нет-нет, — заверил ее Карл. — Я ведь еще не знаю, зачем вы пришли.

— Так ведь не с кем поговорить. Не подумайте, что я плакса, но, когда у тебя совсем никого нет, такое счастье хоть кому-то излить душу. Я вас еще внизу, в зале, заметила, пришла позвать госпожу главную кухарку и видела, как она вас в кладовую повела.

— Жуткий зал, — вспомнил Карл.

— А я уже внимания не обращаю, — обронила девушка. — Так я что хотела сказать: госпожа главная кухарка добра ко мне почти как покойная мама, Царство ей Небесное. Но слишком уж большая разница в нашем служебном положении, чтобы мне говорить с ней по душам. Среди девушек с кухни у меня были раньше хорошие подружки, но их уже давно здесь нет, а новых я почти не знаю. И потом мне иногда кажется, что нынешняя работа выматывает меня куда больше, чем прежняя, и что справляюсь я с ней даже хуже, чем на кухне справлялась, а госпожа главная кухарка держит меня вроде как только из жалости. В конце концов, не такое уж хорошее у меня образование для секретарши. Грех, конечно, такое говорить, но я страшно боюсь того и гляди сойти с ума. Боже правый! — спохватилась вдруг она и заговорила быстро-быстро, произвольно даже тронув Карла за плечо, поскольку руки он спрятал под одеялом. — Только ни слова об этом госпоже главной кухарке, иначе я и вправду пропала. Если вдобавок ко всем хлопотам, которые я причиняю ей на работе, она еще за меня переживать начнет, это уж точно будет конец.

— Разумеется, я ничего ей не скажу, — заверил ее Карл.

— Вот и хорошо, — успокоилась девушка. — Только вы оставайтесь. Я буду рада, если вы останетесь, — мы бы подружились, если вы, конечно, не против. Я — как вас увидела — сразу почувствовала к вам доверие. Хотя — представляете, какая я нехорошая, — мне и страшно сделалось: вдруг госпожа главная кухарка возьмет вас секретарем на мое место, а меня уволит. И только потом, пока вы были внизу в конторе, я тут долго одна сидела и в конце концов решила, что даже хорошо будет, если вы смените меня на этой работе, ведь вы наверняка гораздо лучше в ней разберетесь. А если не захотите делать закупки в городе, эта обязанность могла бы остаться за мной. Хотя, вообще-то, на кухне от меня куда больше толку, особенно теперь, когда я уже немного окрепла.

— Все уже решено, — сказал Карл. — Я буду лифтером, а вы останетесь секретаршей. Но если вы хоть словом обмолвитесь госпоже главной кухарке об этих ваших замыслах, я, как ни жаль, буду вынужден рассказать ей все, что вы мне тут наговорили.

Эта шутливая угроза столь сильно, однако, подействовала на Терезу, что та с плачем бухнулась перед кроватью на колени, испуганно зарывшись лицом в одеяло.

— Да не скажу я ничего, — успокаивал ее Карл, — но и вы ничего не говорите.

Теперь уже прятаться под одеялом было просто неловко, Карл осторожно поглаживал девушку по руке, не зная, чем ее утешить и размышляя о том, какая все-таки несладкая здесь жизнь. Наконец она худо-бедно успокоилась, даже устыдилась своих слез и, подняв на Карла благодарные глаза, стала уговаривать завтра утром спать подольше, обещая, если работа позволит, подняться к нему около восьми и разбудить.

— Я слушал, будить вы умеете замечательно, — польстил ей Карл.

— Да, кое-что я умею, — улыбнулась она, на прощанье ласково провела рукой по его одеялу и убежала к себе.

На следующий день Карл настоял на том, чтобы приступить к службе немедленно, хотя главная кухарка намеревалась предоставить ему этот день для знакомства с городом. Но Карл без обиняков заявил, что на это время еще найдется, а сейчас для него самое главное — начать работать, ибо одно дело в жизни он уже успел в Европе забросить и теперь начинает лифтером в том возрасте, когда его сверстники, по крайней мере усердные из них, уже на подходе к местам ступенькой повыше. Вполне справедливо, что он начинает простым лифтером, но справедливо и то, что ему надо особенно торопиться. А коли так, то и осмотр города не доставит ему никакой радости. Даже на короткую прогулку, несмотря на уговоры Терезы, он не соблазнился. В голове все время свербила мысль, что если он не будет прилежно трудиться, то в конце концов докатится до того же, что Деламарш и Робинсон.

У гостиничного портного Карлу подобрали лифтерскую форму, на вид просто шикарную, с золотыми галунами и пуговицами, но, надев ее, он невольно содрогнулся — так жестко и зябко стиснул ему плечи форменный сюртук, к тому же под мышками неистребимо влажный от пота всех, кто носил его до Карла. Форму, однако, еще пришлось разгонять по его фигуре, особенно в груди, поскольку ни один из десяти наличных комплектов решительно не хотел на него лезть. Несмотря на потребовавшиеся пошивочные работы и крайнюю, казалось бы, придирчивость мастера — принесенная и якобы совершенно готовая форма дважды летела от его руки обратно на доделку, — вся процедура заняла не более пяти минут, и Карл покинул ателье уже законченным лифтером в облегających брюках и весьма

узком, несмотря на решительные опровержения мастера, кительке, который то и дело подбивал своего обладателя на робкие попытки дыхательных упражнений, дабы убедиться, что он еще способен дышать.

Затем Карл явился к одному из старших распорядителей, под чье начало он теперь поступал, — это был стройный красивый мужчина лет сорока, с большим носом. Времени на разговоры с Карлом у него не было ни секунды, и он звонком немедленно вызвал другого лифтера — по случаю, им оказался как раз тот мальчишка, которого Карл вчера видел. Старший распорядитель назвал его только по имени — Джакомо, но Карл даже это выяснил лишь потом, ибо в английском произношении имя изменилось до неузнаваемости. Этому мальчишке и было поручено показать Карлу все необходимое для лифтерской службы, но он проделал это столь запуганно и торопливо, что даже то, в сущности, немногое, что следовало показать, Карл от него не усвоил. К тому же Джакомо явно был не в духе, так как, очевидно, именно из-за Карла лишился вчера лифтерского места и теперь был придан в помощь горничной, что, по каким-то соображениям, о которых он, впрочем, умалчивал, воспринималось им как бесчестье. Более всего Карла разочаровало, что лифтер, оказывается, лишь постольку имел дело с механикой лифта, поскольку нажатием кнопки приводил его в движение, тогда как ремонт двигателей и все прочие технические работы выполнялись гостиничными монтерами, так что Джакомо, например, за целых полгода службы ни разу не видел своими глазами ни машинного отделения в подвале, ни механизмов в самом лифте, хотя его, как он честно признался, это очень интересовало. Вообще, это была монотонная работа, к тому же из-за двенадцатичасовых смен, попеременно то днем, то ночью, до того тяжелая, что, по мнению Джакомо, ее вообще невозможно выдержать, если не научиться хоть на минуточку иногда засыпать стоя. Карл на это ничего не сказал, но про себя подумал, что, наверное, именно это искусство и стоило Джакомо места.

Зато очень порадовало Карла, что лифт, который ему предстояло обслуживать, предназначался лишь для верхних этажей, и, значит, ему не придется иметь дело с богатыми постояльцами, самой капризной и привередливой публикой. Правда, на этом участке и всем тонкостям нового ремесла не обучишься, так что место это хорошо лишь для начала.

Первая же неделя работы убедила Карла, что лифтерская служба вполне ему по плечу. Латунные ручки, решетки и поручни его лифта всегда были отдраены до блеска, ни один из тридцати других лифтов не мог с ним тут соперничать, и они, наверно, сияли бы еще ослепительней, проявляй его сменщик хоть долю такого же усердия вместо того, чтобы пользоваться рвением Карла для прикрытия и поощрения собственной лени. Этот сменщик был урожденный американец, по имени Реннел, темноглазый форсистый парень с чуть впалыми щеками на гладком красивом лице. Предметом его особой гордости был элегантный костюм, в котором он в свободные от работы вечера, слегка надушившись, уходил в город; иногда он и в свою смену просил Карла подменить его вечером, ссылаясь на какие-то семейные обстоятельства и нимало не смущаясь тем, что его внешний вид подобным отговоркам никак не соответствует. Карл тем не менее вполне с ним ладил и даже любил, когда Реннел в такие вечера, перед тем как отправиться в город, неизменно останавливался возле лифта в своем нарядном костюме, еще раз бормотал какие-то извинения, натягивая перчатки на тонкие пальцы, и уж потом спешил по коридору к выходу. Хотя, вообще-то, соглашаясь на такие подмены, Карл всего лишь оказывал дружескую услугу старшему товарищу по работе, что на первых порах считал только естественным, но вводить в привычку отнюдь не собирался. Ибо бесконечная езда на лифте вверх-вниз была все же достаточно утомительна, а уж и подавно вечером, когда ездить приходилось почти беспрерывно.

Вскоре Карл научился и коротким, но почтительным поклонам, которые полагалось делать лифтерам, а чаевые подхватывал на лету. Монеты мигом исчезали в кармане его жилетки, и по его лицу никто бы не смог догадаться, насколько щедрым или, наоборот, скупым было вознаграждение. Перед дамами он распахивал дверь с едва заметным налетом галантности и следовал за ними в лифт с подчеркнутой осторожностью, ибо они, оберегая свои юбки, шляпки и оборки, ступали обычно нерешительней, чем мужчины. В самом лифте он старался держаться как можно неприметней, стоя вплотную к дверцам спиной к пассажирам и ухватившись за ручки, дабы в момент остановки раздвинуть дверцы как бы внезапно, никого, однако, при этом не испугав. Редко кто из гостей, случалось, трогал его за плечо, чтобы о чем-то узнать, и тогда он стремительно оборачивался, будто только того и ждал, и ясным, четким голосом отвечал на вопрос. Не-

смотря на то, что лифтов в отеле было много, довольно часто — особенно вечерами после театра или по прибытии некоторых скорых поездов — в вестибюле возникала такая толкучка, что он, едва выпустив наверху очередную партию пассажиров, стремглав летел вниз забрать следующую. В таких случаях у него имелась возможность, подтягивая проходящий через кабину трос, увеличивать обычную скорость лифта, что, впрочем, запрещалось техническим предписанием и вроде бы было опасно. Карл никогда этого не делал, везя пассажиров, но, выпустив их наверху и зная, что внизу ждут новые, он забывал о всякой предосторожности и перебирал трос резкими, равномерными рывками не хуже заправского матроса. Он прекрасно знал, что другие лифтеры поступают точно так же, и не хотел упускать своих пассажиров. Отдельные постояльцы, из тех, кто живут в гостинице подолгу, что, кстати, отнюдь не было здесь редкостью, уже стали дружески улыбаться Карлу, показывая, что признали в нем своего лифтера, и Карл принимал эти мелкие знаки отличия хоть и без ответной улыбки, но с видимым удовольствием. В те часы, когда работы было не слишком много, он успевал выполнять и разные мелкие поручения, например, принести гостю, которому лень было возвращаться, позабытую в номере вещицу, — тогда он один взлетал в своем, в такие минуты особенно ему послушном лифте наверх, входил в чужую комнату, полную диковинных, по большей части никогда прежде не виданных им вещей, разложенных вокруг или висящих на вешалках, вдыхал незнакомый запах чужого мыла, духов, зубного эликсира и, найдя, несмотря на обычно весьма приблизительные указания, то, что нужно, ни секунды не задерживаясь, спешил обратно. Порой он весьма сожалел, что не может выполнять более серьезные поручения — для таких надобностей в отеле имелись специальные слуги и рассыльные, которые совершали далекие поездки на велосипедах и даже на мотоциклах, Карл же мог услужить гостям только мелкими побегушками из номера в ресторан или игорный зал, да и то лишь при благоприятном случае.

Когда он после двенадцатичасовой смены, трижды в неделю в шесть вечера, еще три раза — в шесть утра, приходил с работы, он был настолько измотан, что, никого и ничего вокруг не замечая, сразу направлялся к своей койке. Койка стояла в спальном зале лифтеров, ибо госпожа главная кухарка, чье положение в отеле, видимо, было все же не столь влиятельно, как ему показалось в первый вечер,

хоть и прилагала усилия, дабы раздобыть для него отдельную комнату, и усилия эти в конце концов, возможно, даже увенчались бы успехом, но, когда Карл увидел, с какими это сопряжено трудностями и как часто ей приходится вести по этому поводу долгие телефонные переговоры с его начальником, тем самым чрезвычайно занятым старшим распорядителем, он сам предложил от этой затеи отказаться и убедил главную кухарку в серьезности своего решения, сославшись на то, что не хочет вызывать зависть других лифтеров этим ничем пока не заслуженным преимуществом.

Правда, чем-чем, а спокойным местом для сна назвать этот спальный зал было никак нельзя. Поскольку каждый из обитателей по-своему распределял двенадцать часов свободного времени на еду, сон, развлечения и побочные заработки, в зале постоянно бурлила жизнь. Одни спали, натянув на голову одеяла, чтобы ничего не слышать, но если все же кто-то просыпался от шума, то в ярости так истошно вопил, требуя тишины, что неминуемо разбудил бы и мертвеца, не говоря уже об остальных спящих. Почти у каждого парня была своя трубка, это считалось здесь особым шиком, Карл тоже завел себе трубку и вскоре пристрастился к курению. Но на службе курить не разрешалось, и, как следствие этого запрета, здесь, в зале, всякий, кто сколько-нибудь бодрствовал, всенепременно и дымил. Вследствие чего каждая койка тонула в своем облаке дыма, а весь зал — в общем сизом чаду. Невозможно было добиться, хотя большинство в принципе эту идею с готовностью поддерживало, чтобы ночью свет горел лишь в одном конце зала. Осуществись это предложение — и каждый, кто хотел спать, мог бы спокойно предаться сну в одной, темной половине зала — а это был большой зал на сорок коек, — тогда как остальные в освещенной части могли бы играть в карты, в кости и предаваться всем прочим занятиям, которым без света предаваться невозможно. Даже если чья-то койка оказывалась в освещенной половине зала, выспаться можно было бы на любой другой, благо свободных коек всегда было в избытке и никто не возражал против такого временного использования своего спального места. Однако не было ни одной ночи, когда удалось бы соблюсти это вроде бы всеми одобренное правило. Всегда находились, допустим, двое, которые, худо-бедно отоспавшись под покровом темноты, решали перекинуться в картишки, положив между собой на кровати доску и, разумеется, включив подходящую для такого случая электрическую лам-



почку, чей нестерпимый свет яркой вспышкой бил в лицо спящему соседу, отчего тот испуганно вскакивал. Конечно, сосед после этого мог еще некоторое время поворочаться с боку на бок, пытаясь снова заснуть, но в конце концов не находил ничего лучшего, как вместе с другим разбуженным соседом затеять свою партию в карты и включить еще одну лампочку. И, разумеется, все при этом нещадно дымили своими трубками. Были, впрочем, и такие, кто пытался спать любой ценой — Карл, как правило, принадлежал к их числу, — и, вместо того чтобы просто положить голову на подушку, клали подушку на голову или зарывались в нее изо всех сил, но как тут будешь спать, если ближайший сосед встает среди ночи, чтобы перед работой еще успеть в поисках развлечений прогуляться по городу, если он, громко фыркая и брызгаясь, начинает мыться под умывальником, установленным возле изголовья каждой кровати, если он не только надевает и при этом попутно чистит сапоги, но еще и притопывает, чтобы как следует в них влезть — сапоги здесь почти все носили по американской моде, короткие, с широким голенищем, но почему-то очень узкие на ноге, — и под конец, не досчитавшись какой-то мелочи в своем туалете, попросту сдергивает подушку с головы спящего, который, впрочем, давно уже проснулся и, распираемый яростью, только и ждет повода наброситься на обидчика с кулаками. Но тут каждый был спортсмен, благо ребята все были молодые, в большинстве физически крепкие, и возможности помериться силами не упускал никто. Так что если среди ночи ты вскакивал, разбуженный внезапными криками, можно было не сомневаться, что где-нибудь поблизости, а то и прямо на полу возле твоей койки, ты обнаружишь сцепившихся в яростной схватке противников, а вокруг, при ярком свете электричества, стоящих на всех кроватях заинтересованных болельщиков в кальсонах и ночных рубашках. Однажды во время подобного ночного боксерского поединка один из участников рухнул прямо на спящего Карла, и первое, что тот увидел, раскрыв глаза, была кровь, ручьем хлеставшая у парня из носа и залившая всю постель, прежде чем Карл успел опомниться. Порой Карл все двенадцать часов проводил в тщетных попытках урвать хоть немного сна, как ни подмывало его разделить с остальными их беззаботные развлечения, однако ему все время казалось, что они, остальные, получили в своей жизни какое-то перед ним преимущество, которое ему надо наверстывать прилежной работой и отказом от некоторых удовольствий. Так что хоть его —

главным образом из-за монотонности работы — то и дело клонило в сон, он ни словом не посетовал ни главной кухарке, ни Терезе на обстановку в спальном зале, ибо, во-первых, от нее, в общем-то, все ребята страдали одинаково и никто по этому поводу особенно не скулил, а во-вторых, эти мучения, надо понимать, были неотъемлемой частью его лифтерской службы, которую ведь он именно из рук главной кухарки с благодарностью принял.

Раз в неделю, при пересменке, ему полагались сутки отдыха, лучшую часть которых он использовал на то, чтобы заглянуть разок-другой к главной кухарке и повидаться с Терезой, чьи жалкие крохи свободного времени приходилось подкарауливать, дабы перемолвиться с девушкой словечком где-нибудь в уголке или на ходу в коридоре и лишь изредка — у нее в комнате. Иногда он сопровождал Терезу в ее походах в город по делам, которые всегда бывали крайне спешными. Тогда они почти бегом, Карл с ее сумкой в руке, устремлялись к ближайшей станции подземки, поезд мчал их, как во сне, словно влекомый неведомо куда могучей и необоримой силой, и вот они уже вылезали, взбегали, не дожидаясь слишком медленного для них подъемника, вверх по ступенькам, и их взорам распахивались просторные площади со звездообразным разлетом улиц, с грохотом и мельканием стекающего со всех сторон и столь же торопливо растекающегося бурного и целеустремленного городского движения, но Карлу и Терезе было некогда; рука об руку, чтобы не потеряться в толчее, они спешили в различные конторы, прачечные, склады и магазины, куда надо было передать мелкие, по телефону трудно выполнимые, а вообще-то не слишком ответственные заказы или претензии. Вскоре Тереза убедилась, что помощь Карла в таких делах совсем не пустяк, а, напротив, позволяет многие из них весьма ускорить. В сопровождении Карла ей уже не приходилось, вопреки обыкновению, подолгу дожидаться, пока перегруженные делами приказчики обратят на нее внимание и выслушают. Карл решительно направлялся к конторке и до тех пор требовательно стучал по ней костяшками пальцев, покуда к нему не подходили, он не тушевался перед стеной людских спин, а, привстав на цыпочки, что-то выкрикивал через головы на своем, все еще немножко слишком отчетливом, а потому и среди сотни голосов легко различимом английском, он без колебаний проходил к нужному начальнику, сколь бы высокомерно ни укрывался тот в самых недоступных глубинах бесконечных конторских залов. И поступал так

вовсе не из нахальства, давая понять, что ценит чужую занятость, но исключительно в интересах своей фирмы, которая наделяла его правом на такую настойчивость, ведь как-никак отель «Оксиденталь» не та клиентура, с которой можно шутки шутить, да и Тереза, в конце концов, несмотря на весь ее деловой опыт, явно нуждалась в его мужской помощи.

— Если бы вы всегда со мной ходили! — говорила она иногда со счастливым смехом, когда они возвращались после особенно удачно выполненного поручения.

Лишь трижды за полтора месяца, что Карл провел в Рамзесе, ему удавалось подольше, по несколько часов, побыть у Терезы в комнате. Была она, разумеется, поменьше, чем любая из комнат главной кухарки, вся скудная мебель, что тут стояла, можно сказать, теснилась вокруг единственного окна, но Карл по горькому опыту жизни в спальном зале уже мог оценить достоинства собственной, отдельной, более или менее тихой комнаты, и хоть не говорил об этом вслух, однако Тереза заметила, как ему у нее нравится. У нее не было от него секретов, да и нехорошо было бы что-то от него скрывать после того, как она пришла к нему тогда в первый вечер. Она росла внебрачным ребенком, отец ее устроился в Америке полировщиком на стройке и вызвал их с матерью к себе из Померании, но то ли посчитал на этом свой долг выполненным, то ли ожидал увидеть совсем других людей, а не изможденную женщину с чахлым ребенком, которых он встретил на причале, — как бы там ни было, но вскоре после их приезда он без долгих объяснений перебрался на жительство в Канаду, а они, оставшись в Америке, не имели с тех пор от него ни писем, ни иной весточки, что, впрочем, отчасти и неудивительно, поскольку в бедняцких районах на востоке Нью-Йорка они и сами затерялись без следа.

Однажды Тереза рассказала ему — Карл стоял рядом у окна и смотрел на улицу — о смерти своей матери. О том, как они вместе с мамой — Терезе было тогда, наверно, лет пять — зимним вечером, каждая со своим узлом за плечами, быстро шли куда-то по пустынным улицам в поисках ночлега. Как мама сперва вела ее за ручку, потому что была метель и идти было трудно, пока рука ее не ооченела, и тогда мама, даже не обернувшись, выпустила ладошку Терезы, которой пришлось теперь идти самой и что есть сил цепляться за мамину юбку. Тереза часто спотыкалась и даже падала, но мама была словно в

беспамятстве и не останавливалась. А метели на длинных и прямых нью-йоркских улицах ужас какие! Карл вот еще не знает, что такое зима в Нью-Йорке. Идешь против ветра, а он такие буруны закручивает, что глаза открыть невозможно — все время снег по лицу, как наждаком, ты бежишь и не можешь сдвинуться с места, хоть плачь. Ребенку-то по сравнению со взрослым легче, он бежит как бы под ветром, и ему это все даже весело, вроде игры. Вот и Тереза тогда не вполне понимала, что творится с мамой, она и сейчас уверена, веди она себя в тот вечер поумней — но она-то была еще совсем ребенок, — мама не умерла бы такой ужасной смертью. Мама тогда уже два дня была без работы, денег в кармане ни гроша, весь день они провели на улице, без куска во рту, а в узлах одно бесполезное тряпье, выбросить которое они не решались, наверно, просто из суеверия. Но назавтра маме вроде бы пообещали место на стройке, только она очень боялась — и весь день твердила и втолковывала это Терезе — упустить такую удачу, потому что еле жива от усталости, — она еще утром, к ужасу прохожих, прямо на улице кашляла кровью, и очень сильно, а теперь единственным ее желанием было где-нибудь отогреться и прийти в себя. Но как раз в тот вечер, как назло, свободных мест в ночлежках не было. Там, где управляющий домом не гнал их прямо из парадного, в котором все-таки можно было хоть немного отдышаться от ветра и стужи, они бродили по длинным стылým коридорам, взбирались с этажа на этаж по высоченным лестницам, обходили темные колодцы дворов, стучали без разбора во все двери, то не решаясь ни с кем заговорить, то умоляя о помощи каждого встречного, а раз или два мама без сил опускалась прямо на ступеньки в тихом подъезде, рывком притягивала к себе Терезу, которая чуть ли не сопротивлялась, и целовала крепко, до боли прижимаясь губами к ее лицу. Задним числом, зная, что это были последние поцелуи, вообще невозможно понять, до чего надо быть бестолковой — пусть хоть ты и совсем несмышленная кроха, — чтобы этого не почувствовать. В иных комнатах, мимо которых они проходили, двери были настежь, чтобы выпустить дымный чад, что валил оттуда, словно при пожаре, и лишь на пороге можно было разглядеть человеческую фигуру, которая, загородив дверной проем, либо одним своим безмолвным присутствием, либо скупым словом отказа подтверждала невозможность найти в этой комнате пристанище. Припоминая все это, Тереза лишь теперь осознает, что мама только в первые часы искала ночлег по-настоящему,

потому что позже, наверно, уже за полночь, она вроде бы ни с кем даже не заговаривала, хотя блуждали они — с короткими передышками — до самых утренних сумерек, а в домах этих, где ни входные, ни квартирные двери никогда не запираются, жизнь не затихает круглые сутки, и люди встречаются на каждом шагу. Конечно, это только от усталости и крайнего измождения казалось, будто они все время куда-то бегут, на самом же деле они, наверно, еле тащились. К тому же Тереза и не помнит точно, сколько домов они обошли от полуночи до пяти утра — может, двадцать, может, два, а может, и вовсе только один. Коридоры в этих домах бесконечно петляют, в их планировке все подчинено хитроумному расчету — как бы получше использовать жилую площадь, а об удобствах ориентирования никто не думает, так что она и сейчас не может сказать, сколько раз они по одним и тем же коридорам плутали. Смутно Тереза припоминает подъезд какого-то дома, в котором они рыскали целую вечность, а едва вышли в переулок, почему-то — или, может, ей это только показалось — тут же повернули обратно и опять в тот же самый подъезд ввалились. Для нее, ребенка, все это было, конечно, непостижимым бедствием — то мама ее тащит, то она сама в страхе за маму цепляется, и все это без единого словечка утешения, и все время надо куда-то идти, чему она в неразумии своем могла тогда подыскать только одно объяснение: мама, наверно, хочет от нее убежать. Поэтому Тереза, даже когда мама держала ее за руку, для пущей верности тем крепче цеплялась за мамины юбки и то и дело начинала реветь. Она не хотела, чтобы ее тут бросили одну среди этих чужих людей, которые так громко топают, поднимаясь перед ними по лестнице, и тех, что идут следом, еще незримые за поворотом, и тех, что скандалят в коридоре у дверей, грубо заталкивая друг друга в комнату. Пьяные, что-то мыча и напевая, бродили по дому поодиночке и сбиваясь в группы, сквозь которые мама и Тереза едва-едва успевали благополучно прошмыгнуть. Конечно же, совсем поздно ночью, когда уже не так строго соблюдается порядок и мало кто способен настаивать на своем праве, по крайней мере в одной из общих ночлежных комнат — а они прошли таких несколько, — они могли бы незаметно приютиться, но Терезе это было невдомек, а мама уже не хотела никакого отдыха. Под утро, когда уже занимался погожий зимний денек, обе они притулились к стене какого-то дома и то ли вздремнули ненадолго, то ли просто с открытыми глазами смотрели в пустоту. Тут обнаружилось, что Тереза поте-

ряла свой узелок, и в наказание за ротозейство мама принялась ее бить, но Тереза не слышала ударов и не чувствовала их. Потом просыпающимися переулками они пошли дальше, мама вдоль стены, миновали мост, с чугунных перил которого мама ладонью стряхнула иней, и попали наконец — тогда Тереза восприняла это как должное, а сегодня не могла понять, как они там очутились, — как раз на ту стройку, куда маме утром надо было явиться. Она не сказала Терезе, ждать той или уходить, и Тереза истолковала это как приказ ждать, поскольку это больше отвечало ее желаниям. Так что она присела на грудку кирпича и стала смотреть, как мама раскрывает свой узел, достаёт оттуда какую-то пеструю тряпицу и повязывает на голову прямо поверх платка, который был на ней всю ту ночь. Тереза так устала, что ей даже в голову не пришло помочь маме. Не зайдя, как положено, в будку урядника и никого ни о чем не спросив, мама стала взбираться по лестнице, словно уже сама знала, какая работа ей поручена. Терезу это удивило, ведь обычно подсобные работницы заняты только внизу на гашении извести, подноске кирпича и прочих простых работах. Поэтому она решила, что мама сегодня выбрала себе работу получше, за которую больше платят, и сонно улыбнулась, глядя ей вслед. Стройка еще не очень продвинулась, стены доросли лишь до первого этажа, но высоченные опоры лесов, правда, еще без деревянных перекрытий, взмывали ввысь, упираясь прямо в голубое небо. Наверху мама ловко обходила каменщиков, что споро клали кирпич к кирпичу и почему-то ее не останавливали, нежной рукой она легонько придерживалась за дощатые поручни, а Тереза внизу сквозь дрему восхищалась этой ее ловкостью и однажды, как ей почудилось, поймала на себе мамин ласковый взгляд. Но тут мама дошла до горки кирпича, возле которой кончались поручни и, видимо, сам проход, но мама этого не заметила, она шла прямо на кирпичи, ловкость, похоже, вдруг ей изменила, она наткнулась на кирпичи, повалила их и, потеряв равновесие, рухнула вниз. Следом полетели кирпичи, а потом, не сразу, а словно помедлив, откуда-то сорвалась тяжеленная доска и грохнулась туда же. Последнее, что Тереза помнит о матери, — это как та, с раскинутыми ногами, лежит на земле в своей старой, еще из Померании, клетчатой юбке, почти целиком накрытая этой громадной неструганой доской, как со всех сторон сбегаятся люди, а сверху, с лесов, какой-то мужчина в ярости что-то кричит.

Было уже поздно, когда Тереза закончила свой рассказ. Она рассказывала подробно, что вообще-то было ей не свойственно, и как раз в самых, казалось бы, спокойных местах, как-то при описании опор строительных лесов, которые, каждая отдельно, сама по себе, упирались в небо, ей вдруг приходилось умолкать, сдерживая застилавшие глаза слезы. Она и сейчас, десять лет спустя, совершенно точно, до самых незначительных мелочей помнила все, что тогда произошло, и поскольку образ мамы там, наверху, на лесах недостроенного первого этажа, был последним ее дочерним воспоминанием, а ей все никак не удавалось сполна поверить его своему другу, она, завершив рассказ, попробовала было объяснить все еще раз, но запнулась, спрятала лицо в ладони и больше не проронила ни слова.

Но ему случалось проводить в комнате Терезы и не столь грустные часы. В первый же визит Карл углядел у нее учебник по коммерческой корреспонденции и, попросив почитать, немедленно его получил. Одновременно было условлено, что Карл будет делать предписанные учебником задания, а Тереза, которая уже освоила книгу в объеме, необходимом для ее скромных обязанностей, будет его проверять. И вот Карл ночи напролет с ватой в ушах лежал внизу на своей койке в спальном зале, принимая для разнообразия всевозможные позы и чиркая задания в тетрадке, пользуясь для этого авторучкой, которую подарила ему главная кухарка в награду за то, что он весьма умело составил и аккуратно переписал для нее большую инвентарную опись. Многочисленные помехи со стороны соседей ему удалось обернуть к своей пользе, спрашивая у них мелких советов относительно тех или иных английских выражений, покуда тем это не надоело и они не оставили его в покое. Про себя он нередко удивлялся, как это остальные столь беззаботно мирятся со своим нынешним положением, не чувствуют всю его временность и ненадежность — ведь старше двадцати в лифтерах никого не держат, — не осознают необходимость выбора будущей новой профессии и, невзирая на пример Карла, не читают ничего, кроме разве что замызганных и затрепанных до дыр детективных книжонок, что гуляли по залу из койки в койку.

Теперь при встречах Тереза с чрезмерной дотошностью исправляла его работы, у них возникали разногласия. Карл ссылался на своего ученого нью-йоркского профессора, чей авторитет, однако, значил для Терезы ничуть не больше, чем грамматические соображения

лифтеров. Она решительно забирала у него ручку и вычеркивала места, в ошибочности которых была убеждена, однако Карл в таких сомнительных случаях — хотя, вообще-то, ни на чей более высокий суд не рассчитывал — истины ради зачеркивал поправки Терезы. Иногда, впрочем, приходила главная кухарка и неизменно решала в пользу Терезы, что опять-таки еще ничего не доказывало — ведь Тереза была ее секретаршей. Однако ее приход всегда означал всеобщее примирение, ибо тут же заваривался чай, на столе появлялось печенье, а Карлу надо было рассказывать о Европе, правда, то и дело прерываясь, поскольку главная кухарка чуть ли не поминутно его переспрашивала и всему удивлялась, наводя Карла на мысль о том, сколь многое там, в Европе, за относительно короткий срок в корне изменилось и сколь многое, должно быть, стало совсем по-другому за время его отсутствия или сейчас вот становится.

Карл уже около месяца жил в Рамзесе, когда однажды вечером Реннел мимоходом сообщил ему, что возле отеля его остановил какой-то парень по имени Деламарш и расспрашивал о Карле. Реннел, конечно, не считал нужным о чем-то умалчивать и рассказал все по правде — что Карл, мол, работает лифтером, но благодаря протекции главной кухарки рассчитывает в будущем на совсем другие должности. Про себя Карл тут же отметил, как хитро и осторожно Деламарш обошелся с Реннелом, — по такому случаю даже пригласил того вместе поужинать.

— Я этого Деламарша больше знать не хочу, — сказал Карл. — Советую и тебе его остерегаться.

— Мне? — переспросил Реннел, потянулся и поспешил прочь.

Он был самым смазливый парнем в отеле, и среди остальных ребят ходил слух, источник которого, впрочем, так и не удалось установить, будто бы одна весьма знатная дама, уже давно живущая в отеле, по меньшей мере целовала Реннела в лифте. Для всякого, кто этот слух знал, было, конечно, совершенно особым соблазном пропустить мимо себя в лифт эту надменную даму, весь облик которой — уверенная легкая поступь, нежное шуршание платья, неприступно затаенный корсет — не допускал даже мысли о возможности подобного поведения. Она жила на втором этаже, и лифт Реннела был не ее лифтом, но, разумеется, если другие лифты заняты, таких постояльцев не попросишь минуточку обождать. Так и выходило, что эта дама от случая к случаю пользовалась лифтом Карла и Реннела, причем, дейст-



вительно, только тогда, когда работал Реннел. Возможно, это случилось случайно, но в случайности все равно уже никто не верил, и, когда Реннел вслед за дамой скрывался в лифте, всю шеренгу лифтеров охватывало плохо сдерживаемое возбуждение, которое уже привело однажды к вмешательству старшего распорядителя. Вправду ли дама тому причиной или только слух — как бы там ни было, но Реннел сильно переменялся, стал мнить о себе пуще прежнего, уборку и чистку всецело предоставил теперь Карлу — тот уже ждал подходящего случая основательно с ним по этому поводу объясниться — и в спальном зале не объявлялся вовсе. Никто другой не позволял себе столь демонстративно отдалиться от клана лифтеров, ибо, вообще-то, все они — по крайней мере, в служебных вопросах — крепко держались заодно, и эту их сплоченность уважала даже дирекция гостиницы.

Обо всем этом размышлял Карл, успев подумать и о Деламарше, справляя, как обычно, свою службу. Около полуночи выпала ему и маленькая радость: Тереза, которая любила удивлять его неожиданными мелкими подарками, принесла ему большое яблоко и плитку шоколада. Они немного поболтали, ничуть не смущаясь вынужденными перерывами в беседе, когда Карлу приходилось кого-то отвезти наверх. Потом разговор зашел о Деламарше, и Карл вдруг понял, что это Тереза внушила ему, будто Деламарш очень опасный человек, ибо именно таким он почему-то представлялся Терезе из его, Карла, рассказов. Сам-то Карл считал его всего лишь бродягой, опустившимся под ударами судьбы, но, вообще-то, ладить с ним вполне можно. Тереза на это, однако, весьма энергично возражала и в пылких речах пыталась вытребовать у Карла обещание, что он с Деламаршем больше и словечком не перемолвится. Не давая такого обещания, Карл снова и снова уговаривал Терезу идти спать, ведь уже давно за полночь, но она продолжала стоять на своем, пока он не пригрозил ей покинуть свой пост и отвести ее в ее комнату. Когда она наконец собралась уходить, он сказал:

— Что ты так всполошилась из-за пустяков, Тереза? Для твоего спокойствия, чтобы ты лучше спала, охотно обещаю тебе, что буду говорить с Деламаршем лишь в самом крайнем случае, когда это уже неизбежно.

Потом начались бесконечные ездки, потому что парня с соседнего лифта отозвали для каких-то других поручений и Карлу пришлось

обслуживать оба лифта сразу. Некоторые гости жаловались на непорядок, а один господин, сопровождавший даму, желая поторопить Карла, даже легонько ткнул его тростью в плечо, хотя подгонять его не было никакой нужды. Если бы гости по крайней мере — ведь видят же, что один из лифтов стоит без лифтера! — сразу шли в лифт Карла, так нет, они направлялись к соседнему и ждали там, требовательно положив ладонь на ручку, а иные даже самочинно заходили в лифт, чему в соответствии с самым строгим параграфом служебного предписания лифтер должен воспрепятствовать любой ценой. Так что эта смена обернулась для Карла хлопотной и весьма утомительной беготней взад-вперед, не дав никакой уверенности в точном исполнении своего долга. А тут еще около трех ночи знакомый носильщик, пожилой человек, с которым Карл уже успел слегка подружиться, попросил ему подсобить, чего Карл никак сделать не мог, ибо как раз в эту минуту возле его обоих лифтов дожидались гости и от него требовалось незаурядное присутствие духа, чтобы, выбрав одну из двух нетерпеливых групп, решительным шагом к ней направиться. Поэтому он был просто счастлив, когда наконец появился второй лифтер, но, не сдержавшись, даже крикнул ему что-то укоризненное по поводу его долгого отсутствия, хотя тот, вероятно, отсутствовал вовсе не по своей вине. После четырех наступила долгожданная передышка, в которой Карл, видит Бог, уже очень нуждался. Тяжело облокотившись на перила возле своего лифта, он медленно жевал яблоко, из которого уже после первого надкуса заструился душистый аромат, и смотрел вниз в шахту, на окаймляющие ее высокие окна кладовой, в чьих проемах слабым желтым мерцанием проступали гигантские гроздья спеющих в темноте бананов.

## VI. Происшествие с Робинсоном

**В**друг кто-то тронул его за плечо. Решив, что это, конечно, очередной пассажир, Карл торопливо сунул яблоко в карман и, толком даже не взглянув на гостя, поспешил к лифту.

— Добрый вечер, господин Росман, — произнес, однако, тот. — Это же я, Робинсон.

— Вас, однако, не узнать, — сказал Карл, тряхнув головой.

— Да, у меня теперь все хорошо, — ответил Робинсон, не без гордости оглядывая свой пестрый наряд, каждый из предметов которого сам по себе, возможно, был очень даже не плох, но все вместе они производили скорее жалкое впечатление. Особенно бросалась в глаза явно впервые надетая белая жилетка с четырьмя отороченными черной тесьмой кармашками, на которую Робинсон, выпячивая грудь, изо всех сил старался обратить внимание Карла.

— И одеты вы шикарно, — заметил Карл, невольно вспомнив о своем красивом строгом костюме, в котором и рядом с Реннелом не стыдно было бы показаться, если бы эти двое, с позволения сказать, дружков его не продали.

— Да, — откликнулся Робинсон, — я почти каждый день что-нибудь себе покупаю. Как вам нравится жилетка?

— Жилетка знатная, — похвалил Карл.

— Но это не настоящие карманы, а так, для виду, — сообщил Робинсон и даже схватил Карла за руку, дабы тот сам мог в этом убедиться. Карл, однако, отпрянул, ибо на него дохнуло нестерпимой волной перегара.

— Опять вы много пьете, — сказал Карл, снова очутившись возле перил.

— Нет, — возразил Робинсон, — вовсе не много. — И, вопреки своему только что объявленному благополучию, сокрушенно добавил: — Да и что еще остается нашему брату.

Очередная ездка прервала их беседу, а едва Карл спустился, раздался телефонный звонок и от него потребовали немедленно привести врача, поскольку у дамы с седьмого этажа случился обморок. Направляясь за врачом, Карл втайне надеялся, что Робинсон тем временем уберется восвояси, ибо не хотел, чтобы их видели вместе, и, помня о Терезиных предостережениях, не желал ничего слышать о Деламарше. Но Робинсон по-прежнему его ждал в неестественно прямой и неподвижной позе очень пьяного человека, а тут как раз один из высших чинов гостиничной администрации — в цилиндре и во фраке — мимо прошел, но, по счастью, вроде бы не обратил на Робинсона никакого внимания.

— Почему бы вам, Росман, как-нибудь к нам не зайти, мы шикарно устроились, — сказал Робинсон, глядя на Карла как можно приветливей.

— Меня приглашаете вы или Деламарш? — спросил Карл.

— И я, и Деламарш, — ответил тот. — Мы оба вас приглашаем.

— В таком случае я отвечу вам и попрошу передать мои слова Деламаршу: между нами, если это вам еще не ясно, все кончено раз и навсегда. Вы оба причинили мне больше зла, чем кто бы то ни было. Или вы вбили себе в голову и дальше не оставлять меня в покое?

— Но мы же ваши товарищи! — воскликнул Робинсон, и в глазах его блеснули отвратительные пьяные слезы. — Деламарш просил вас передать, что все прежнее он готов с лихвой возместить. Мы теперь живем у Брунелды, она замечательная певица.

В доказательство последних своих слов Робинсон уже изготовился фальцетом затянуть какую-то песенку, если бы Карл вовремя на него не шикнул.

— Да замолчите вы немедленно, вы что, забыли, где находитесь?!

— Росман, — продолжал Робинсон, урезоненный, видимо, лишь по части пения, — я же ваш товарищ, скажите, что для вас сделать? У вас тут такая видная должность, не могли бы вы подбросить мне немного денег.

— Так вы их только пропьете, — сказал Карл. — У вас вон, я вижу, даже в кармане бутылка бренди, из которой вы наверняка успели как следует хлебнуть, пока я уходил, потому что вначале-то вы еще были ничего.

— Это только для подкрепления сил, когда я куда-нибудь отправляюсь, — пояснил Робинсон извиняющимся тоном.

— Да я вовсе не желаю вас перевоспитывать, — сказал Карл.

— А как же деньги? — спросил Робинсон, широко раскрыв глаза.

— Видимо, Деламарш поручил вам раздобыть денег. Хорошо, я дам вам денег, но при одном условии: вы немедленно отсюда уйдете и никогда больше не будете меня здесь беспокоить. Если вам понадобится что-то мне сообщить, можете написать. Карлу Росману, лифтеру, отель «Оксиденталь», — такого адреса вполне достаточно. Но сюда, повторяю, вы ко мне приходить не будете. Здесь я на службе, и у меня нет времени принимать гостей. Вы согласны взять деньги на таких условиях? — спросил Карл и уже полез в карман жилетки, решив, так и быть, пожертвовать чаевыми сегодняшней ночи. Робинсон вместо ответа только кивнул и громко сопел. Карла его молчание не устраивало, и он спросил еще раз: — Так да или нет?

На это Робинсон вялым взмахом руки поманил Карла к себе и, уже явственно покачиваясь, прошептал:

— Росман, мне очень худо.

— Вот черт! — вырвалось у Карла, и, обхватив Робинсона обеими руками, он потащил его к перилам.

В тот же миг зловонная жижа полилась изо рта Робинсона в глубину шахты. Разом обмякнув, он только беспомощно тянулся к Карлу в редких промежутках между приступами дурноты.

— Вы и вправду добрый мальчик, — приговаривал он тогда. Или: — Сейчас все пройдет, — хотя до этого было еще очень далеко. Или: — Сволочи, какой дрянью они меня там напоили!

Карл не мог возле него находиться — не в силах побороть беспокойство и отвращение, он нервно прохаживался взад-вперед. Здесь, в закутке за лифтом, Робинсон еще как-то укрыт от посторонних глаз, но что если его все-таки заметят — кто-нибудь из капризных богатых постояльцев, которые только и ждут случая заявить претензии шныряющим повсюду представителям гостиничной администрации, а те потом, в отместку, житья не дают всему обслуживающему персоналу; или, еще того хуже, один из постоянно меняющихся гостиничных детективов, которых, кроме дирекции, никто в лицо не знает, — вот и приходится подозревать шпиона в каждом встречном, едва тот, пусть даже просто по близорукости, глянет на тебя чуть пристальней, чем обычно. А уж внизу, где ресторан работает ночь напролет, стоит кому-то зайти в кладовую и с изумлением обнаружить заляпанные бог весть чем окна световой шахты, как тут же раздастся звонок и Карла потребуют к ответу: что там у вас наверху, черт возьми, происходит? Как тогда быть, как отмежеваться от Робинсона? И если даже, допустим, Карлу это удастся, где гарантии, что Робинсон со страху и по глупости, вместо того чтобы молить о прощении, не свалит все как раз на него, на Карла? А уж тогда — разве не логично будет его, Карла, немедленно уволить, ибо где это видано, чтобы мальчишка-лифтер, последний и самый никчемный чин в грандиозной служебной пирамиде гостиничного персонала, поганил отель с помощью своего дружка, приводя в негодование, а то и вовсе отпугивая постояльцев? Да и кто захочет терпеть лифтера, у которого подобные дружки, чьи посещения он к тому же допускает в свое рабочее время? И разве не напрашивается сам собой вывод, что такой лифтер и сам пьяница, если не что похуже, ибо как тут не заподозрить, что он давно уже потчует до положения риз своих дружков из гостиничных припасов, а те потом оксверняют где попало этот образцовый, прямо-таки в безупречной

чистоте содержимый отель, вытворяя в нем всяческие свинства, как вот сейчас Робинсон? И кто поручится, что этот мальчишка ограничивается только кражей спиртного и съестного, когда возможности для воровства при общеизвестной рассеянности постояльцев, оставляющих незапертыми платяные шкафы, забывающих на столах ценные вещи и даже раскрытые денежные шкатулки, бездумно бросающих где придется свои ключи, воистину неисчислимы?

Тут как раз Карл заметил вдалеке группу гостей, что поднимались из винного погребка, где только что закончилось представление гостиничного варьете. Он поспешил занять свой пост, не решаясь даже оглянуться на Робинсона из страха увидеть нечто совсем уж неподобающее. Его мало успокаивало, что оттуда не доносится ни звука, ни даже вздоха. Он, правда, продолжал обслуживать пассажиров, развозя их по этажам, но не мог вполне скрыть свою несобранность, и при всякой езде вниз сердце его тоскливо сжималось от дурных предчувствий.

Наконец снова выдалась свободная минута, чтобы взглянуть на Робинсона: тот по-прежнему сидел в своем углу, скорчившись комочком и уткнув лицо в колени. Его новенькая, с твердыми полями шляпа сползла на самый затылок.

— Так, а теперь уходите, — сказал Карл тихо, но твердо. — Вот деньги. Если вы поторопитесь, я еще успею показать вам кратчайший путь.

— Не могу я никуда уйти, — промямлил Робинсон, отирая лоб крохотным носовым платочком, — я умру тут. Вы себе представить не можете, до чего мне худо. Деламарш вечно таскает меня с собой по шикарным кабакам, поит дорогими винами, а я этой дряни не переношу, я ему каждый день объясняю.

— Но здесь вам никак нельзя оставаться, — настаивал Карл. — Вспомните, где вы находитесь. Если вас тут найдут, вас оштрафуют, а я лишусь места. Вы этого хотите?

— Не могу я уйти, — твердил Робинсон — лучше уж мне туда прыгнуть. — И он ткнул пальцем между прутьями решетки в глубину шахты. — Когда так сижу, еще терпимо, а встать не могу, я уже пробовал, пока вас не было.

— Тогда я сейчас вызову машину, и вас отвезут в больницу, — сказал Карл и слегка потряс Робинсона за коленку, ибо тот уже снова норовил впасть в пьяное забытье.

Однако, едва заслышав слово «больница», по-видимому, внушавшее ему неподдельный ужас, Робинсон зарыдал в голос, простирая к Карлу руки в мольбе о пощаде.

— Тише! — прикрикнул на него Карл и даже шлепнул по рукам, чтобы тот успокоился, потом сбегал к лифтеру, которого заменял ночью, попросил ненадолго оказать ему ответную услугу, спешно вернулся к Робинсону, подхватил его, все еще всхлипывающего, под мышки и изо всех сил приподнял, шепча ему на ухо: — Робинсон, если хотите, чтобы я вам помог, потрудитесь держаться на ногах и пройти хоть самую малость. Я уложу вас в свою кровать, а там лежите, пока не полегчает. Но сейчас ведите себя прилично, в коридорах полно людей, да и койка моя тоже в общем спальном зале. Если кто-то обратит на вас внимание, я уже не смогу вас выручить. И глаза держите открытыми, чтобы не подумали, что я тут таскаю припадочных.

— Да я бы рад сделать то, что вы велите, — пробормотал Робинсон, — только один вы меня не доведете. Лучше позовите Реннела.

— Да нет же его!

— Ах да, — вспомнил Робинсон, — Реннел же с Деламаршем. Ведь это они оба меня за вами и послали. Что-то у меня уже все путается.

Пользуясь этими и подобными же невразумительными рассуждениями Робинсона, Карл тем временем тащил его чуть ли не на себе, и они благополучно добрались до поворота, за которым начинался уже не столь ярко освещенный коридор, ведущий в спальный зал лифтеров. Оттуда как раз выскочил мальчишка-лифтер и, едва не налетев на них, промчался мимо. Впрочем, никаких опасных встреч у них пока что вроде бы не было; в этот час, между четырьмя и пятью, в отеле самое затишье, и Карл прекрасно знал, что если уж не избавиться от Робинсона теперь, то позже, на рассвете, а тем более в начинающейся утренней суете об этом и вовсе думать нечего.

В спальном зале на дальней от них половине был как раз самый разгар драки или какого-то иного увеселения, оттуда доносилось ритмичное хлопанье в ладоши, возбужденное притопыванье и азартные выкрики. Здесь же, возле входа, расположились на кроватях только несколько безучастных ко всему охотников поспать, большинство из которых, впрочем, просто глазели в потолок, лежа на спине, и лишь изредка то один, то другой, в чем есть, одетый или нагишом, вскакивал с койки посмотреть, что творится в другом конце

зала. Так что Карл почти незаметно довел Робинсона, который уже мало-помалу начал передвигаться самостоятельно, до койки Реннела, поскольку та была совсем рядом с дверью и, по счастью, не занята, тогда как в собственной кровати он еще издали разглядел совсем незнакомого парня, который преспокойно там дрыхнул. Едва Робинсон ощутил под собой кровать, как он мгновенно — левая нога, свесившись, еще болталась — заснул. Карл хорошенько натянул ему на голову одеяло и решил, что, по крайней мере, на ближайшее время он от этой заботы избавлен — раньше шести Робинсон точно не проснется, а там уж и он вернется, и, может быть, вместе с Реннелом они придумают способ, как его отсюда убрать. Проверки же зала всевозможным вышестоящим начальством можно было ждать лишь при чрезвычайном происшествии, отмены подобных проверок, которые прежде устраивались сплошь и рядом, лифтеры добились уже много лет назад, так что и с этой стороны опасаться было вроде бы нечего.

Когда Карл вернулся к своему лифту, он обнаружил, что и его собственный, и соседний лифт только что отъехали наверх. В беспокойстве он стал ждать, как эта странность разъяснится. Его лифт спустился первым, и оттуда вышел тот самый мальчишка, который совсем недавно промчался мимо них по коридору.

— Где ты пропадаешь, Росман? — спросил он. — Почему ты ушел с поста? Почему не сообщил об отлучке?

— Так я же ему сказал, чтобы подменил меня ненадолго, — ответил Карл, указывая на парня с соседнего лифта, который как раз подъехал. — Я же целых два часа его замещал, когда было полно народу.

— Это все замечательно, — отозвался тот, — только этого недостаточно. Разве ты не знаешь, что даже о короткой отлучке во время службы надо предварительно сообщить в кабинет старшего распорядителя. Для того у тебя и телефон. Я-то с удовольствием бы тебя подменил, но ты же сам знаешь, не так-то это просто. Только ты ушел — у обоих лифтов тьма народу с четырехчасового экспресса. Что же мне — к твоему лифту бежать, а своих пассажиров бросить? Конечно, я на своем поехал.

— Ну? — нетерпеливо спросил Карл, поскольку оба парня молчали.

— Ну, — ответил парень с соседнего лифта, — а тут как раз распорядитель идет, видит — возле твоего лифта люди, а тебя нет, приходит



в ярость, накидывается на меня, потому что я сразу к твоему лифту помчался, спрашивает, куда ты запропастился, а я понятия не имею, ты же мне даже не сказал, куда идешь, ну а он сразу же звонит в спальный зал, чтобы немедленно прислали другого лифтера.

— Я же еще встретил тебя в коридоре, — сказал мальчишка, которого вызвали Карлу на смену.

Карл кивнул.

— Я, конечно, первым делом сказал, — заверил другой лифтер, — что ты попросил тебя подменить, да только разве он слушает такие оправдания? Ты, наверное, его еще не знаешь. Приказал только передать тебе, чтобы ты немедленно явился к нему в кабинет. Так что лучше не задерживайся и беги туда. Может, он тебя еще простит. Тебя ведь и правда всего две минуты не было. Можешь спокойно говорить, что просил меня о подмене, я подтверждаю. А вот о том, что ты меня подменял, мой тебе совет, лучше помолчи, мне-то ничего не будет, у меня разрешение, просто у нас о таких вещах говорить не принято, особенно в связи с совсем другим делом, к которому они отношения не имеют.

— В первый раз я покинул свой пост, и вот, — проронил Карл.

— Так оно всегда и бывает, только никто этому не верит, — изрек в ответ парень и опрометью кинулся к своему лифту, завидя приближающихся гостей.

Сменивший Карла лифтер, мальчишка лет четырнадцати, с явным сочувствием в голосе сказал:

— Было уже много случаев, когда такие вещи сходили с рук. Обычно просто переводят на другую работу. Уволили за это, сколько мне известно, только однажды. Но тебе надо придумать хорошее оправдание. Ни и коем случае не говори, что тебе вдруг стало плохо, он тебя просто засмеет. Вот если ты скажешь, что кто-то из постояльцев поручил тебе срочно что-то передать другому постояльцу, которого ты не нашел, а кто передал, не помнишь, это уже лучше.

— Да ладно, — сказал Карл, — обойдется как-нибудь, — хотя после всего, что он сейчас услышал, надежды на благоприятный исход не было. Впрочем, даже если ему простят это служебное упущение, наверху, в спальном зале, живой уликой куда большей его вины лежит Робинсон, а зная вьедливую натуру старшего распорядителя, нетрудно предположить, что уж он-то поверхностным расследованием не удовлетворится и рано или поздно до Робинсона докопается.

Правда, формально не было запрета приводить в спальный зал посторонних лиц, но не было его лишь потому, что глупо запрещать вещи заведомо недопустимые.

Когда Карл вошел в кабинет распорядителя, хозяин как раз сидел за утренним кофе и только что глотнул из чашки, после чего снова углубился в просмотр какой-то описи, очевидно, принесенной ему присутствующим здесь же главным швейцаром на утверждение. Швейцар был мужчина крупный, а пышная, богато украшенная форма — по плечам и даже по рукавам змеились золотые галуны и цепочки — делала его и без того статную фигуру еще внушительней. Лоснистые черные усы на венгерский манер воинственно топорщились в стороны, и острые концы их не подрагивали даже при стремительных поворотах головы. Под тяжестью формы он мог двигаться лишь с трудом, а стоял не иначе, как расставив ноги на ширину плеч, дабы распределить свой вес равномерно.

Карл вошел легкой и спешной походкой, которую уже успел усвоить, работая в отеле, ибо степенность и осторожность в движениях, означающая у обычных людей вежливость, считалась у лифтеров признаком лени. Кроме того, он не хотел прямо с порога всем видом выказывать чувства вины и раскаяния. Старший распорядитель, правда, бросил рассеянный взгляд в сторону открывшейся двери, но затем снова обратился к чтению и кофе, нисколько больше о Карле не заботясь. Швейцар, однако, то ли просто усмотрев в присутствии Карла досадную помеху, то ли желая высказать некое секретное сообщение либо просьбу, ежесекундно и зло поглядывал на Карла исподлобья, чтобы затем, когда взгляды их, явно в соответствии с его желанием, скрещивались, немедленно снова перевести глаза на распорядителя. Карл, однако, счел, что вряд ли произведет хорошее впечатление, если сейчас, раз уж он все равно вошел, снова покинет кабинет, не получив на сей счет недвусмысленных указаний хозяина. Тот между тем продолжал изучать опись, доедая попутно кусок торта, с которого время от времени, не отрываясь от чтения, небрежно стряхивал сахарную пудру. Тут как раз один из листов описи упал на пол, швейцар даже и не шелохнулся, чтобы его поднять, очевидно, зная, что это все равно не удастся, да это и не требовалось, Карл был уже тут как тут и протянул лист старшему распорядителю, который взял его таким движением, словно тот сам взлетел с пола прямо ему в ладонь. Видно, эта маленькая услуга ни-

чуть Карлу не помогла, ибо швейцар по-прежнему бросал в его сторону злобные взгляды.

Тем не менее Карл приободрился и собрался с духом. Уже одно то, что распорядитель не придает его делу ровно никакой важности, можно считать хорошим знаком. В конце концов, оно и понятно. Кто такой, в сущности, мальчишка-лифтер? Да никто, потому и не имеет права ничего себе позволить, но именно потому, что он никто, он и ничего чрезвычайно злостного натворить не может. В конце концов, распорядитель и сам в юности был лифтером, что, кстати, остается предметом гордости даже нынешнего поколения лифтеров, ведь это именно он был первым, кто организовал лифтеров в их сплоченный союз, и, разумеется, в свое время он тоже хоть разок да покидал без разрешения свой пост, пусть сегодня и нет силы, которая заставила бы его об этом вспомнить, особенно если учесть, что он, именно как бывший лифтер, быть может, видит теперь свой долг в том, чтобы неусыпно и строго блюсти дисциплину и порядок среди лифтерской братии. А кроме того, немалые надежды Карл возлагал на бег времени. Судя по часам в кабинете, миновало уже четверть шестого, а это значит, что с минуты на минуту может вернуться Реннел, не исключено, что уже вернулся, ведь не мог он не заметить, что Робинсона так долго нет, к тому же Карлу вдруг пришло в голову, что вряд ли Деламарш и Реннел так уж далеко от отеля расположились, иначе Робинсон, в его-то состоянии, просто не нашел бы сюда дорогу. Лишь бы Реннел обнаружил Робинсона в своей кровати, что неминуемо должно случиться, а уж дальше все будет хорошо. Ибо Реннел, при его-то сметливости, особенно когда дело касается его интересов, обязательно найдет способ немедленно убрать Робинсона из отеля, тем более что сейчас, когда Робинсон уже малость пришел в себя, а Деламарш наверняка ждет его около отеля, сделать это будет гораздо легче. А уж когда Робинсона из отеля выпроводят, Карл куда спокойнее будет держать ответ перед старшим распорядителем и на этот раз, быть может, отделается всего лишь наказанием, пусть даже и суровым. А потом посоветуется с Терезой, говорить ли всю правду главной кухарке — со своей стороны он не видел к тому никаких препятствий, — и, если Тереза сочтет такую откровенность возможной, на всем деле можно будет без особого ущерба поставить крест.

Только-только Карл слегка успокоил себя этими размышлениями и уже начал потихоньку подсчитывать в кармане набежавшие за ночь

чаевые, ибо чутье подсказывало ему, что в этот раз добыча у него особенно щедрая, как распорядитель, отложив опись на стол со словами:

— Погоди-ка еще минутку, Федор, — вдруг упруго вскочил и заорал на Карла так, что от испуга тот в первую секунду вообще ничего не видел, кроме огромной черной дыры его разинутой глотки.

— Ты без разрешения оставил свой пост! Знаешь, что это означает? Это означает увольнение! Не желаю слушать никаких оправданий, свои лживые отговорки можешь оставить при себе, мне же вполне достаточно того, что тебя не было на месте. Да если я потерплю такое хоть раз и прощу тебя сегодня, завтра же все сорок лифтеров разбегутся в рабочее время кто куда, а мне придется на своем горбу растаскивать пять тысяч наших гостей по лестницам.

Карл молчал. Швейцар подошел поближе и с силой одернул на Карле сюртук, на котором набежало несколько складок, проделав это, несомненно, с одной лишь целью — обратить особое внимание начальника на беспорядок в выправке Карла.

— Может, тебе стало плохо? — спросил старший распорядитель с подвохом.

Карл пристально посмотрел на него и ответил: — Нет.

— Значит, тебе даже не стало плохо? — заорал распорядитель пуще прежнего. — Значит, ты придумал какую-то совсем несусветную байку. Что ж, выкладывай. Что ты можешь сказать в свое оправдание?

— Я не знал, что надо спрашивать разрешение по телефону, — ответил Карл.

— Это, однако, прелестно, — сказал распорядитель и, схватив Карла за воротник, почти поднес его к прикнопленному на стене лифтерскому предписанию.

Швейцар тоже поспешил за ними к стене.

— Вот! Читай! — гаркнул распорядитель, тыча пальцем в нужный параграф.

Карл решил, что ему предлагают прочесть про себя.

— Вслух читай! — потребовал, однако, распорядитель.

Вместо того чтобы читать вслух, Карл, в надежде хоть как-то смягчить начальника, сказал:

— Я знаю этот параграф, мне же давали предписание, и я его внимательно прочел. Но как раз те указания, которыми никогда не пользуешься, легче всего забываются. Я служу уже второй месяц и еще ни разу не покидал свой пост.

— Зато теперь ты покинешь его раз и навсегда! — изрек распорядитель, вернулся к столу, взялся было снова за опись, как будто намереваясь продолжить чтение, но тут же раздраженно ее бросил и даже прихлопнул, словно бесполезный клочок бумаги, после чего, багровея пятнами на щеках и на лбу, принялся нервно расхаживать по комнате.

— Из-за какого-то сопляка такие волнения. Да еще в ночную смену! — приговаривал он, пыхтя и отдуваясь. — Да вы знаете, кому потребовалось воспользоваться лифтом как раз тогда, когда этот мерзавец вздумал сбежать? — обратился он к швейцару.

И он назвал какое-то имя, при одном упоминании которого швейцар — а уж он-то наверняка знал всех постояльцев и цену каждому из них — от страха весь передернулся и глянул на Карла с бесконечным изумлением, словно только его, Карла, живьем и во плоти присутствие способно подтвердить, что обладатель такого имени вынужден был попусту терять время из-за мальчишки-лифтера, оставившего свой пост.

— Это ужасно, — все еще не в силах поверить в случившееся, вымолвил швейцар, изумленно покачивая головой и по-прежнему не сводя глаз с Карла, который, в свою очередь, грустно смотрел на него, понимая, что теперь ему еще и за бестолковость этого человека придется расплачиваться.

— Я тебя тоже давно приметил, — сказал вдруг швейцар, наставив на Карла толстый, грозный, подрагивающий от возмущения указательный палец. — Ты единственный мальчишка, который со мной не здоровается. Ишь чего о себе возомнил! Каждый, кто проходит мимо швейцарской, обязан со мной поздороваться. С остальными швейцарами можешь вести себя как вздумается, но я такого обхождения не потерплю. Я, правда, иногда делаю вид, будто не замечаю, но будь уверен, я прекрасно вижу, кто со мной здоровается, а кто нет, наглец ты этакий.

И, отвернувшись от Карла, он торжественно направился к распорядителю, который, однако, ничуть не заинтересовавшись этим новым сообщением, спешил закончить завтрак и пробежать утреннюю газету, только что принесенную в кабинет слугой.

— Господин главный швейцар, — начал Карл, решив воспользоваться временной отрешенностью хозяина, дабы уладить по крайней мере это недоразумение, ибо понимал, что страшны не столько сами

упреки швейцара, сколько вообще его враждебность. — Я, безусловно, с вами здороваюсь. Я ведь недавно в Америке, а вырос в Европе, где, как известно, вообще принято здороваться куда чаще, чем следует. И я, конечно, еще не вполне успел избавиться от этой привычки, вот и два месяца назад, в Нью-Йорке, где я по случайности вращался в высшем свете, мне то и дело советовали умерить мою преувеличенную вежливость. И это я-то с вами не здороваюсь! Да я здороваюсь с вами по нескольку раз на дню! Но, конечно, не каждый раз, когда я вас вижу, ведь я иногда по сто раз в день мимо вас прохожу.

— Ты обязан каждый раз со мной здороваться, каждый раз без исключения, и фуражку снимать, когда с тобой разговаривают, и говорить мне «господин главный швейцар», а не просто «вы». И все это каждый раз, каждый, понятно?

— Каждый раз? — тихо переспросил Карл и только теперь вспомнил, как строго и укоризненно поглядывал на него швейцар все то время, что он, Карл, здесь работал, начиная с того самого первого утра, когда он, еще не вполне осознавая свое подчиненное положение, как раз этого швейцара весьма настырно и не вполне любезно, чересчур, быть может, придиричиво расспрашивал, не приходили ли к нему двое молодых людей и не оставляли ли для него фотографию.

— Теперь ты видишь, к чему приводит нахальство, — сказал швейцар, снова подходя совсем близко к Карлу и указывая на все еще склоненного над газетой распорядителя как на живое воплощение своей долгожданной мести. — На новой работе будешь знать, как здороваться со швейцаром, даже если это будет в распоследней ночлежке.

Карл понял: место он считай что потерял, ибо распорядитель свой приговор уже изрек, да и главный швейцар говорил об этом как о свершившемся факте, а подтверждать увольнение какого-то мальчишки-лифтера письменным приказом дирекции, должно быть, во все и не требуется — слишком много чести. Все произошло, надо признать, куда быстрее, чем он предполагал, ведь, в конце концов, он два месяца отслужил не за страх, а за совесть и работал наверняка получше многих. Но когда решается судьба, такие пустяки, видно, нигде на белом свете — ни в Европе, ни в Америке — в расчет не идут; что у кого сгоряча с языка сорвалось, то и получай, вот и весь разговор. Должно быть, лучше всего ему теперь сразу попроситься и уйти, главная кухарка и Тереза, наверно, еще спят, так что он, по крайней

мере, избавит и себя, и их от тягостной сцены расставанья, от горестных недоумений и расспросов, — попросается с ними письмом, бестрепыхо соберет чемодан и уйдет подобию-поздорову. Если же он останется хоть на день — а вообще-то немного соснуть ему бы не помешало, — его ждет только раздувание его дела в грандиозный скандал, упреки со всех сторон, непереносимое зрелище слез Терезы, а быть может, даже главной кухарки, и под конец, в довершение всего, возможно, еще и наказание. С другой стороны, смущало и удерживало его лишь то, что стоит он сейчас против двух врагов и каждое вымолвленное им слово оба они, если не один, так другой, готовы вменить ему в вину и перетолковать к его невыгоде. Поэтому он молчал, наслаждаясь покуда воцарившимся в комнате покоем, ибо старший распорядитель все еще продолжал читать газету, а главный швейцар принялся приводить в порядок свою рассыпавшуюся по столу опись, складывая ее по номерам страниц, что давалось ему, при очевидной и сильной близорукости, с превеликим трудом.

Наконец распорядитель, зевнув, отложил газету, мельком глянул на Карла, удостоверившись, что тот еще тут, и пододвинул к себе рупор настольного телефонного аппарата. Он несколько раз крикнул в рупор: «Алло», но ему никто не ответил.

— Никто не отвечает, — доверительно сообщил он главному швейцару.

Тот, как показалось Карлу, следил за телефонным звонком с каким-то особо пристальным интересом.

— Уже без четверти шесть, — сказал он. — Она наверняка встала. Позвоните еще.

В ту же секунду, прежде чем распорядитель дотронулся до телефона, раздался ответный звонок.

— Старший распорядитель Избари слушает, — сказал тот, хватая трубку. — Доброе утро, госпожа главная кухарка! Надеюсь, я вас, часом, не разбудил? Мне очень жаль. Да-да, уже без четверти шесть. Но мне, честное слово, искренне жаль, что я вас так перепугал. Вам надо отключать телефон на ночь. Нет-нет, все равно мне нет оправдания, особенно учитывая ничтожность дела, которое я намеревался с вами обсудить. Ну конечно, это терпит, пожалуйста, я подожду у телефона, ради бога.

— Говорит, что подбежала к телефону в одной ночной рубашке, — с улыбкой сообщил распорядитель швейцару, который все это время

с напряженным выражением лица склонился над аппаратом. — Я ее и впрямь разбудил, обычно ее будит девчонка, маленькая такая, которая у нее машинисткой работает, но как раз сегодня она почему-то этого не сделала. Жаль, конечно, что я ее перепугал, она и так нервная.

— А сейчас-то она почему молчит?

— Пошла посмотреть, что там с девчонкой, — объяснил распорядитель, прикладывая наушник к уху, ибо телефон снова зазвонил. — Да найдется она, — проговорил он в трубку. — Прежде всего, вам нельзя так волноваться, вам действительно пора хорошенько отдохнуть. Да, так вот мой мелкий вопрос. Тут у меня сейчас мальчишка-лифтер, по имени... — он вопросительно обернулся на Карла, который, внимательно следя за разговором, тут же, конечно, подсказал ему свое имя, — ...по имени Карл Росман, вы, если не ошибаюсь, как-то еще про него спрашивали. К сожалению, он плохо оплатил вам за вашу доброту, без разрешения покинул свой пост, причинив мне тем самым весьма крупные, я пока что даже не знаю, насколько крупные, неприятности, и я его только что за это уволил. Надеюсь, для вас это не трагедия? Что вы сказали? Да-да, уволил. Да говорю же вам: он покинул свой пост. Нет-нет, дорогая госпожа главная кухарка, я тут и вправду никак не могу пойти вам навстречу. Мне безразличен мой авторитет, слишком многое тут поставлено на карту, один такой мальчишка способен испортить мне всю эту шайку. Как раз с лифтерами нужно все время быть начеку. Нет-нет, в этом случае я никак не могу оказать вам такую услугу, сколько ни стараюсь обычно вам услужить, вы же знаете. И если бы я вздумал, несмотря ни на что, все же его оставить — исключительно из любви к острым ощущениям, чтобы пощекотать себе нервы, — я бы и тогда ради вашего блага этого не сделал, да-да, ради вашего блага, госпожа главная кухарка, ему никак нельзя здесь оставаться. Вы принимаете в нем участие, которого он совершенно не заслуживает, и, поскольку я знаю не только его, но и вас, я прекрасно вижу, что все это принесет вам лишь безмерные огорчения, от которых и хочу вас избавить любой ценой. Говорю вам это со всей прямоотой, хотя этот прожженный мальчишка и стоит сейчас в двух шагах от меня. Он будет уволен, нет-нет, госпожа главная кухарка, уволен окончательно и бесповоротно, нет-нет, никаких переводов на другую работу, он совершенно непригоден. Кстати, на него поступают и другие жалобы. Главный швейцар, например, — что



там было, Федор? — да, так вот главный швейцар обижен на невежливость и даже наглость этого мальчишки. То есть как этого недостаточно? Но, позвольте, дорогая госпожа главная кухарка, неужели ради этого мальчишки вы готовы поступиться даже вашим безупречным характером? Нет-нет, вы не вправе на меня наседать.

В это мгновение швейцар склонился к уху главного распорядителя и начал ему что-то нашептывать. Тот сперва удивленно на него глянул, а потом заговорил в трубку с такой быстротой, что Карл поначалу вообще толком ничего не мог разобрать и на цыпочках подошел чуть ближе.

— Дорогая госпожа главная кухарка, — тараторил распорядитель. — Честно говоря, вот уж не думал, что вы так плохо разбираетесь в людях. Мне тут как раз сообщают некоторые сведения об этом вашем ангеле, которые в корне изменяют ваше мнение, мне даже жаль, что именно я вынужден вам об этом говорить. Так вот, этот ваш паинька, которого вы называете образцом благовоспитанности и порядочности, ни одну свободную от службы ночь не пропускает без вылазки в город, откуда возвращается лишь под утро. Да-да, госпожа главная кухарка, это подтверждают свидетели, безупречные и надежные свидетели, да. Может, вы мне объясните, откуда у него берутся деньги на подобные увеселения? И как при подобном образе жизни он может внимательно нести службу? Или, может, вы хотите, чтобы я в подробностях вам расписал, чем он там в городе занимается? Ну нет, от такого мальчишки я поспешу избавиться в самом срочном порядке. А вы уж, пожалуйста, примите это как урок на будущее, чтобы впредь быть поосторожнее со всякими проходимцами с улицы.

— Но господин старший распорядитель, — вскричал Карл, испытывав истинное облегчение оттого, что, видимо, произошла какая-то вопиющая ошибка, разъяснение которой, скорее всего, против всяких ожиданий еще может повернуть его дело в лучшую сторону. — Тут явное недоразумение! Полагаю, это господин главный швейцар вам сказал, будто я каждую ночь ухожу. Но это совершенно не так, я, совсем напротив, каждую ночь бываю в спальном зале, и все ребята это могут подтвердить. Я либо сплю, либо изучаю коммерческую корреспонденцию, но из спального зала я ночью ни ногой. Это же легко доказать. Господин главный швейцар, очевидно, с кем-то меня перепутал, и теперь я понимаю, почему он решил, будто я с ним не здороваюсь.

— Замолчи сейчас же! — заорал главный швейцар, потрясая кулаком, хотя нормальный человек на его месте не погрозил бы и пальцем. — Это я-то тебя с кем-то спутал! Какой из меня тогда главный швейцар, если я буду путать людей? Нет, вы только послушайте, господин Избари, какой же, я спрашиваю, из меня главный швейцар, если я буду людей путать? За тридцать лет службы никого никогда не спутал, и любой из сотни распорядителей, что у нас за это время сменились, может это подтвердить, а начиная с тебя, мерзкий ты мальчишка, я, выходит, стал путать! Это тебя-то я спутал — с твоей-то приметной гладкой рожей! Да что там путать — ты можешь хоть каждую ночь за моей спиной в город шнырять, а я только разок на тебя гляну и сразу скажу, что ты отъявленный мерзавец!

— Оставь, Федор, — сказал распорядитель, чей телефонный разговор с главной кухаркой, похоже, внезапно оборвался. — Дело-то совершенно ясное. А его ночные развлечения, в конце концов, должны нас волновать в последнюю очередь. Не то он, чего доброго, напоследок еще захочет, чтобы по его милости тут учинили подробное разбирательство его ночной жизни. Сдается мне, ему это даже доставит удовольствие. Как же — вызовем всех сорок лифтеров, заслушаем каждого как свидетеля, и все они, конечно, тоже с кем-то его спутают, постепенно в дело втянется весь обслуживающий персонал, а гостиницу, разумеется, на часок-другой можно и прикрыть, так что в итоге, перед тем как его с треском вышибут, он хоть повеселится от души. Нет уж, этого мы затевать не будем. Главную кухарку, эту добрейшую женщину, он уже одурачил, но нас он не проведет. Больше ничего не желаю слушать, за служебное упущение ты с этой минуты уволен. Вот тебе записка в кассу, чтобы тебе выплатили жалованье по сегодняшней день. Вообще-то, между нами говоря, учитывая твое поведение, можешь считать, что это просто подарок, который я тебе делаю исключительно из уважения к госпоже главной кухарке.

Телефонный звонок, однако, не дал ему подписать записку.

— От этих лифтеров мне сегодня житья нет! — заорал он в трубку, едва услышав первые слова. — Но это же неслыханно! — вскричал он немного погодя. И, повернувшись от телефона к главному швейцару, сказал: — Будьте добры, Федор, попридержите-ка немного этого героя, у нас к нему еще будет разговор. — А в трубку приказал: — Немедленно ко мне!

Теперь-то наконец главный швейцар получил возможность вы-

местить на Карле все, что ему не удалось высказать в словах. Он схватил Карла за руку чуть пониже плеча, но не спокойно, просто чтобы попридержать — это бы еще терпимо, — а вцепился всей клешней, то ослабляя хватку, то стискивая руку все больше и больше, что при его физической силе превращалось в нескончаемую пытку, от которой у Карла уже темнело в глазах. И он не только держал Карла, а вдобавок, словно получив еще и приказ как следует его оттащить, подтягивал его вверх и то и дело встряхивал, полувопросительно приговаривая при этом:

— Может, я и сейчас его спутал? Может, я и сейчас его спутал?

На счастье Карла, тут вошел староста лифтеров, некто Бесс, вечно сопевший толстый увалень, и слегка отвлек внимание главного швейцара на себя. Карл к этому времени был настолько измочален, что едва смог кивнуть, когда с изумлением увидел проскользнувшую вслед за старостой Терезу, бледную как смерть, наспех одетую, с кое-как собранными в пучок волосами. В тот же миг она оказалась подле него и шепотом спросила:

— Главная кухарка уже знает?

— Старший распорядитель ей звонил, — ответил Карл.

— Тогда все хорошо, все будет хорошо, — выпалила она, шныряя глазами по сторонам.

— Да нет, — вздохнул Карл. — Ты же не знаешь, что они мне предъявили. Мне придется уйти, главная кухарка тоже в этом убеждена. Прошу тебя, ни к чему тебе сейчас тут быть, иди к себе, я потом зайду попрощаться.

— Да бог с тобой, Росман, что ты такое говоришь? Прекрасно ты у нас останешься и будешь жить, сколько захочешь. Распорядитель сделает все, что главная кухарка ему скажет, он же в нее влюблен, я только недавно случайно узнала. Так что только не волнуйся.

— Пожалуйста, Тереза, уходи, прошу тебя. Я не смогу при тебе как следует защищаться. А мне нужно защищаться очень точно, потому что меня хотят оболгать. Чем лучше я буду следить и защищаться, тем больше надежды, что я останусь. Так что, Тереза, — тут, к сожалению, он вдруг не сдержался и тихо добавил: — Если бы еще этот швейцар меня отпустил. Я даже не знал, что он мне враг. Вцепился в меня, как бульдог.

«Зачем я только это говорю! — подумал он в ту же секунду. — Ни одна женщина не может такое спокойно слушать».

И точно, не успел он даже свободной рукой удержать Терезу, как она уже накинулась на швейцара.

— Господин главный швейцар, будьте добры немедленно отпустить Карла Росмана! Вы же делаете ему больно! Госпожа главная кухарка сейчас сама придет, вот тогда и увидите, что он ни в чем не виноват. Отпустите же его, не понимаю, какая вам радость его мучить!

И она даже схватила швейцара за руку.

— Приказ, милая барышня, приказ! — ответил тот, свободной рукой дружески притягивая ее к себе, другой же рукой тем сильнее стискивая Карла, словно не просто хотел причинить ему боль, а имел на его плечо, ставшее теперь его законной добычей, какие-то особые виды, далеко еще не достигнутые.

Понадобилось какое-то время, прежде чем Тереза сумела высвободиться из объятий главного швейцара и направилась было заступаться за Карла к распорядителю, который все еще выслушивал чрезвычайно обстоятельный и многословный рассказ Бесса, когда в комнату быстрым шагом вошла главная кухарка.

— Слава тебе Господи! — воскликнула Тереза, и на секунду этот ее громкий возглас как бы повис в наступившей тишине.

Старший распорядитель тотчас же вскочил, отстранив Бесса движением руки.

— Значит, вы сами пришли, госпожа главная кухарка? Из-за такой-то ерунды? После нашего телефонного разговора я, конечно, мог это предположить, но все равно как-то не верилось. А между тем дело вашего подопечного предстает все в более мрачном свете. Боюсь, я и впрямь не смогу его уволить, потому что его придется арестовать. Вот послушайте сами, — и он поманил к себе Бесса.

— Сперва я хотела бы переговорить с Росманом, — произнесла главная кухарка, усаживаясь в кресло, которое распорядитель настойчиво ей предлагал. — Карл, пожалуйста, подойди сюда, — попросила она.

Карл подошел, впрочем, скорее это швейцар его подтащил.

— Да отпустите же его, — гневно приказала главная кухарка, — он, в конце концов, не бандит и не убийца.

Главный швейцар и вправду его отпустил, но напоследок стиснул с такой силой, что от натуги у самого на глазах проступили слезы.

— Карл, — спокойно сказала главная кухарка, сложив руки на коленях, и посмотрела на Карла, чуть наклоня голову, так что это вовсе

не походило на допрос, — прежде всего хочу тебе сказать, что все еще полностью тебе доверяю. Да и господин старший распорядитель тоже человек справедливый, за это я ручаюсь. И мы оба, в сущности, хотим, чтобы ты тут остался. — В этом месте она мельком глянула на распорядителя, как бы прося ее не перебивать. — Так что забудь все, что тебе тут, возможно, успели наговорить. А прежде всего не принимай слишком близко к сердцу то, что, возможно, сказал тебе господин главный швейцар. Он, правда, человек вспыльчивый, что при его службе совсем неудивительно, но у него тоже есть жена и дети, и он тоже способен понять, что не стоит понапрасну мучить мальчика, у которого никого на свете нет и который и так достаточно наказан жизнью.

В комнате стало совсем тихо. Главный швейцар, ожидая объяснений, требовательно смотрел на распорядителя, но тот не сводил глаз с главной кухарки и только покачивал головой. Лифтер Бесс довольно бессмысленно ухмылялся из-за спины распорядителя. Тереза потихоньку всхлипывала то ли от горя, то ли от радости, изо всех сил стараясь, чтобы ее никто не услышал.

Карл, однако, смотрел — хотя и понимая, что это может выставить его в невыгодном свете, — не на главную кухарку, которая, конечно же, ждала от него взгляда, а упорно изучал пол у себя под ногами. Боль в руке волнами расползлась во все стороны, рубашка налипла на больное место, и ему, по правде сказать, хотелось сейчас снять сюртук и поглядеть, в чем там дело. Все, что говорила главная кухарка, шло, конечно, от чистого сердца, но ему, как на беду, казалось, что как раз поэтому все и решат, что он этой доброты не достоин, что он два месяца вероломно пользовался благодеяниями главной кухарки, заслуживая на самом деле лишь одного — попасть в лапы главного швейцара.

— Я к тому это говорю, — продолжала главная кухарка, — чтобы ты отвечал честно и прямо, как ты, сколько я тебя знаю, всегда и отвечаешь.

— Извините, можно я пока сбегаю за врачом, парень-то там весь в крови, — ни с того ни с сего вмешался вдруг лифтер Бесс очень вежливо, но очень некстати.

— Иди, — бросил ему распорядитель, и Бесс стремглав выбежал вон. — Тут вот такая история, — обратился распорядитель к главной кухарке. — Главный швейцар держал мальчишку вовсе не шутки ра-

ди. Дело в том, что внизу, в лифтерском спальном зале, на кровати обнаружили совершенно постороннего человека, он тщательно укрыт одеялом и пьян в стельку. Его конечно, разбудили и потребовали немедленно удалиться. Он же в ответ поднял шум, начал кричать, что это спальня Карла Росмана, а он его гость, что Росман лично его сюда привел и сурово накажет всякого, кто осмелится хоть пальцем его тронуть. А ждет он, дескать, Росмана потому, что тот обещал ему денег и пошел их где-то раздобыть. Покорнейше прошу обратить внимание, госпожа главная кухарка: обещал денег и пошел их где-то раздобыть. Тебе, Росман, тоже не мешает послушать, — небрежно бросил он Карлу, который как раз оглянулся на Терезу: та, не отрываясь, смотрела на распорядителя во все глаза и лишь время от времени проводила рукой по лбу — то ли убирая выбившийся волосок, то ли просто так. — Или, может, я напомнил тебе еще кое о каких обязательствах? Ведь тот человек внизу среди прочего утверждает, что, как только ты вернешься, вы с ним должны совершить ночной визит к некоей певице, чье имя, однако, никто так и не сумел разобрать, ибо нормально его произнести этот чужак не способен и все время норовит пропеть.

Здесь распорядитель прервался, поскольку главная кухарка, явственно побледнев, стремительно встала, даже слегка оттолкнув кресло.

— Лучше я избавлю вас от дальнейших подробностей, — поспешил сказать распорядитель.

— Нет-нет, пожалуйста, — возразила главная кухарка и даже тронула его за руку, — рассказывайте дальше, я хочу услышать все, за тем и пришла.

Тут главный швейцар, в подтверждение своей проницательности громко бия себя в грудь кулачищем, шагнул было вперед, однако распорядитель со словами:

— Знаю-знаю, Федор, вы были совершенно правы! — одновременно и утихомирил его, и поставил на место.

— Да больше, собственно, и рассказывать нечего, — неохотно сказал распорядитель. — Мальчишки — они мальчишки и есть, сперва они этого парня подняли на смех, потом началась ссора, ну а после, поскольку хороших боксеров там всегда хватало, его попросту нокаутировали, и я даже побоялся выпытывать, сильно ли и что именно они ему там в кровь расквасили, потому что дерутся эти ребята, как звери, а уж пьяного поколотить для них и вовсе плевое дело.

— Так, — вымолвила главная кухарка, взявшись за спинку кресла и глядя прямо перед собой. — Ну а теперь, Росман, пожалуйста, скажи хоть что-нибудь! — попросила она немного погодя.

Тереза, вдруг сорвавшись с места, подбежала к главной кухарке и взяла ее под руку, чего на памяти Карла никогда прежде не делала. Распорядитель, стоя почти вплотную у главной кухарки за спиной, осторожно поправил ее скромный кружевной воротничок, увидев, что тот слегка завернулся. Главный швейцар над самым ухом Карла гаркнул:

— Ну что же ты? — однако возгласом этим хотел лишь замаскировать тычок в спину, который он Карлу тем временем успел дать.

— Это правда, — ответил Карл, из-за тычка, впрочем, куда менее уверенно, чем ему бы хотелось. — Правда, что я привел этого человека в спальный зал.

— А больше нам ничего и знать не надо, — от имени всех высказался швейцар. Главная кухарка безмолвно оглянулась сперва на распорядителя, потом на Терезу.

— Я просто не мог иначе, — продолжал Карл. — Этот человек мой бывший товарищ, мы с ним два месяца не виделись, а тут он вдруг пришел меня навестить, но так напился, что просто не мог сам уйти обратно.

Старший распорядитель, стоя возле главной кухарки, вполголоса и как бы про себя заметил:

— Он, значит, пришел в гости, а потом так напился, что не мог уйти.

Главная кухарка, оглянувшись, быстро что-то шепнула распорядителю, на что тот с явно не относящейся к делу улыбкой начал тихо возражать. Тереза — Карл смотрел только на нее — в полном отчаянии уткнулась лицом главной кухарке в плечо и никого не желала видеть. Единственным, кого ответ Карла полностью удовлетворил, оказался главный швейцар, который несколько раз со значением повторил:

— Ну конечно, все правильно, собутыльника надо выручать, — пытаясь взглядами и жестами донести до присутствующих истинный смысл своего заявления.

— Так что я виновен, — сказал Карл и сделал паузу, как бы ожидая от своих судей хоть словечка ободрения, которое придаст ему сил для дальнейшей защиты, но так и не дождался. — Виновен лишь в том, что привел этого человека, его зовут Робинсон, он ирландец, в

спальный зал. Все остальное, что он там наговорил, он наговорил спяну, и все это неправда.

— Значит, денег ты ему не обещал? — спросил старший распорядитель.

— Ах да, — спохватился Карл, горько пожалев, что упустил такую важную подробность: видно, то ли второпях, то ли от волнения он слишком уж твердо определил границы своей невинности. — Я обещал ему денег, потому что он меня об этом просил. Но я не собирался нигде их раздобывать, а хотел отдать чаевые, заработанные сегодня ночью.

В подтверждение своих слов он вынул из кармана и показал на раскрытой ладони несколько мелких монет.

— Ты, я погляжу, завираешься все больше, — сказал старший распорядитель. — Чтоб тебе поверить, надо тут же забывать все, что ты утверждал раньше. Выходит, сперва ты отвел этого Робинсона, — кстати, даже тут я тебе не верю, таких фамилий в Ирландии отродясь не было, — сперва ты только отвел этого человека в спальный зал, хотя, между прочим, уже за одно это мог бы с треском отсюда вылететь, а денег вроде бы ему не обещал, но потом, стоит спросить тебя врасплох, выясняется, что ты все-таки обещал ему деньги. Но мы ведь тут не загадки разгадываем, мы хотим услышать твои оправдания. Ты говоришь, что не собирался нигде доставать деньги, хотел отдать ему свои сегодняшние чаевые, а потом оказывается, что чаевые все еще при тебе, значит, ты все-таки хотел раздобыть деньги где-то еще, о чем, кстати, свидетельствует и твое длительное отсутствие. В конце концов, не вижу ничего странного, если бы ты пошел достать деньги из чемодана, но вот то, что ты изо всех сил это отрицаешь, по меньшей мере странно, чтобы не сказать подозрительно. Равно как и твое желание во что бы то ни стало скрыть, что ты этого человека напоил уже здесь, в отеле, в чем нет ни малейших сомнений, ведь ты же сам признался, что пришел он на своих двоих, а уйти не мог, да и сам он на весь спальный зал орал, что он твой гость. Так что неясными остаются пока лишь две вещи, которые ты для простоты дела мог бы и сам нам растолковать, но до которых мы рано или поздно докопаемся и без твоей помощи. Это, во-первых, каким образом ты проникал в кладовые, и, во-вторых, где ты раздобыл столько денег, чтобы так ими разбрасываться.

«Невозможно оправдываться, когда тебе не хотят верить», — по-



думал Карл и решил вовсе распорядителю не отвечать, сколь бы ни страдала от этого Тереза. Он знал: что бы он сейчас ни говорил, все будет истолковано превратно, и лишь чужой прихоти предоставлено здесь судить о добре и зле.

— Он не отвечает, — проронила главная кухарка.

— Это самое разумное, что он может сделать, — заметил старший распорядитель.

— Небось сейчас чего-нибудь еще придумает, — изрек главный швейцар, любовно поглаживая бороду своей еще недавно столь свирепой рукой.

— Прекрати! — прикрикнула главная кухарка на Терезу, которая, прижавшись к ней, снова начала всхлипывать. — Ты же видишь, он не отвечает, чем же мне тогда ему помочь? Выходит, я же еще перед господином распорядителем и виновата? Ну скажи, Тереза, или ты считаешь, что я не все для него сделала?

Откуда Терезе это знать и много ли проку от того, что, во всеулышанье задавая несчастной девушке свой вопрос, главная кухарка как бы оправдывалась и извинялась перед этими двумя господами?

— Госпожа главная кухарка, — сказал Карл, еще раз собравшись с духом, но лишь для того, чтобы избавить Терезу от ответа, и ни с какой другой целью. — Не думаю, чтобы я вас как-то подвел или опозорил, и после тщательного расследования любой другой рассудил бы точно так же.

— Любой другой! — подхватил главный швейцар, указывая на распорядителя пальцем. — Это он в вас метит, господин Избари.

— Что же, госпожа главная кухарка, — произнес тот. — Уже полседьмого, пора, давно пора. Полагаю, вы уж позволите мне сказать заключительное слово в этом более чем терпеливо рассмотренном деле.

Тут в кабинет вошел маленький Джакомо, хотел было приблизиться к Карлу, но, вспугнутый необычной тишиной, не решился и остался стоять у двери.

Главная кухарка, однако, едва Карл произнес свои последние слова, не сводила с него глаз и, казалось, даже не слышит того, что говорит распорядитель. Эти глаза смотрели на Карла в упор — огромные, голубые, но уже слегка затуманенные возрастом и усталостью. Сейчас, когда она так стояла, слегка покачивая перед собой кресло, еще была надежда, что она вот-вот скажет: «Что ж, Карл, дело, как я по-

гляжу, еще не разъяснилось до конца и требует, как ты верно заметил, самого тщательного расследования. И мы его сейчас проведем, неважно, согласны с этим остальные или нет, ибо справедливость прежде всего».

Вместо этого, однако, главная кухарка сказала после непродолжительного раздумья, которое никто не осмеливался нарушить, — лишь часы в кабинете в подтверждение слов старшего распорядителя пробили полседьмого, а вместе с ними, секунда в секунду, это каждый знал, пробили все часы в огромном отеле, и их тяжелый двойной удар пронзил слух и душу, словно всколыхнув воздух судорогой великого нетерпения и гнева:

— Нет, Карл, нет и нет! Не стоит напрасно себя обманывать. Первое дело — оно и выглядит по-особому, а в твоём случае, должна признать, это совсем не так. Я могу и должна это сказать, ибо сама сюда пришла ради тебя и веря в тебя. Видишь, вот и Тереза молчит. (Но она же не молчала, она плакала.)

Главная кухарка на секунду запнулась, словно приняв вдруг какое-то трудное решение, потом сказала:

— Карл, подойди-ка сюда.

И, когда он приблизился — старший распорядитель и главный швейцар у него за спиной тотчас же завели между собой оживленную беседу, — обхватила левой рукой его за плечи, прошла с ним и с безвольно плетущейся следом Терезой в глубину комнаты и там, прохаживаясь вместе с обоими взад-вперед, начала говорить:

— Вполне возможно, Карл, и ты, надеюсь, всерьез на это считаешься, иначе я просто отказываюсь тебя понимать, вполне возможно, расследование и докажет твою правоту во всем до последней мелочи. Почему бы и нет? Может, ты и в самом деле здоровался с главным швейцаром. Тут я даже твердо тебе верю, знаю я, чего этот швейцар стоит, видишь, я и сейчас все еще вполне с тобой откровенна. Но подобные оправдания ничуть тебе не помогут. Господин распорядитель, чье умение разбираться в людях я за долгие годы нашего знакомства научилась ценить, он вообще самый надежный человек из всех, кого я знаю, ясно определил твою вину, и вина эта, на мой взгляд, неопровержима. Быть может, ты просто действовал необдуманно, но, может, ты и вправду не тот, за кого я тебя принимала. И все же, — тут она прервалась, как бы сделав над собой усилие, и мельком оглянулась на швейцара и распорядителя, — и все же мне трудно по-

ка что отвыкнуть от мысли, что ты, в сущности, добрый и порядочный мальчик.

— Госпожа главная кухарка! Госпожа главная кухарка! — окликнул ее распорядитель, перехватив ее взгляд.

— Мы сейчас, — ответила та и заговорила еще быстрее. — Послушай, Карл, по тому, как мне видится это дело, я даже рада, что распорядитель не хочет затевать расследование, а захоти он его начать, я в твоих же интересах этого бы не допустила. Никто не должен знать, как и чем ты угощал этого человека, который, кстати, вовсе не один из твоих бывших товарищей, как ты уверяешь, ты ведь с ними напоследок рассорился, а теперь, выходит, одного из них вдруг решил потчевать. Так что это какой-то совсем другой знакомый, с которым ты по легкомыслию подружился ночью где-то в городской пивнушке. Но как ты мог, Карл, скрывать от меня все эти вещи? Если тебе, допустим, непереносима была обстановка в спальном зале, и по этой, в сущности безобидной, причине начались твои ночные похождения, почему ты мне ни слова об этом не сказал? Ты же знаешь, я хотела устроить тебя в отдельную комнату и лишь по твоим же настояниям от этого намерения отказалась. А теперь все выглядит так, будто ты нарочно предпочел спальный зал, тебе так было вольготнее! Но деньги-то свои ты хранил в моей кассе и чаевые каждую неделю мне приносил, откуда же, мальчик мой, скажи на милость, ты доставал деньги на все твои увеселения и где ты сейчас собирался раздобыть денег для твоего дружка? Ведь это все вещи, о которых я, по крайней мере сейчас, старшему распорядителю даже заикнуться боюсь, не то, чего доброго, расследование и впрямь неизбежно. Так что тебе надо обязательно из отеля уходить, и притом как можно скорей. Отправляйся прямо сейчас в пансион Бреннера, — ты там с Терезой уже много раз бывал — и по этой вот рекомендации они тебя немедленно примут. — И главная кухарка, вынув из кармана блузки золотую авторучку, черкнула несколько строк на своей визитке, продолжая при этом говорить. — Чемодан твой я тебе сегодня же переправлю. Тереза, чего же ты стоишь, беги в гардеробную лифтеров и себе-ри его чемодан!

(Но Тереза все еще не трогалась с места, так ей хотелось теперь, вытерпев столько мучений, сполна насладиться и явным поворотом к лучшему, который принимало дело Карла благодаря доброте главной кухарки.)

Кто-то, не осмеливаясь войти, слегка приоткрыл дверь и тут же снова ее захлопнул. Очевидно, это был какой-то знак, относившийся к Джакомо, ибо тот сделал шаг вперед и произнес:

— Росман, мне велено кое-что тебе передать.

— Сейчас, — сказала главная кухарка и торопливо сунула в карман Карлу, который слушал ее, так и не подняв головы, свою визитную карточку. — Твои деньги пока что останутся у меня, ты знаешь, у меня они будут в сохранности. Сегодня посиди дома, обдумай все как следует, а завтра — сегодня у меня времени не будет, я и так слишком долго здесь задержалась — я зайду к Бреннеру, и мы посмотрим, что для тебя можно сделать. В любом случае я тебя не брошу, говорю тебе об этом уже сегодня. О будущем своем не тревожься, тревожиться тебе надо скорее уж о недавнем прошлом.

С этими словами она потрепала его по плечу и направилась к старшему распорядителю, — Карл поднял голову и посмотрел вслед этой высокой статной женщине, что удалялась от него легкой поступью и с легким сердцем.

— Ты что же, совсем не рад, — спросила оставшаяся подле него Тереза, — что все так хорошо обошлось?

— Еще бы, — ответил ей Карл и улыбнулся, хотя совершенно не мог понять, с какой стати он должен радоваться тому, что его выгоняют, как воришку. Глаза Терезы лучились неподдельной радостью, словно ей решительно все равно, совершил Карл преступление или нет, справедливо его обвинили или облыжно, главное — его отпускают на свободу, а уж с честью или с позором — неважно. И это Тереза, столь щепетильная на собственный счет, что, случалось, неделями переживала из-за какого-нибудь пустякового замечания главной кухарки, толкуя и перетолкуывая его на все лады! Карл с подвохом спросил: — Ты чемодан мой сразу соберешь и отправишь?

И от изумления даже поневоле тряхнул головой — столь мгновенно разгадала Тереза его вопрос, так сразу и поверив, что в чемодане, должно быть, хранятся какие-то вещи, которые никто не должен увидеть, она даже не подумала поднять на него глаза, протянуть ему руку, только прошептала чуть слышно:

— Конечно, Карл, конечно, я сейчас же соберу чемодан.

И тотчас же убежала.

Тут и Джакомо не удержался и, взволнованный долгим ожиданием, громко выкрикнул:

— Росман, там внизу человек валяется и не дает себя вынести. Его хотели в больницу отправить, а он отбивается и кричит, ты, мол, никогда не допустишь, чтобы его в больницу запихнули. Надо, мол, нанять машину и отвезти его домой, а за машину ты заплатишь. Будешь платить?

— Ишь, как он на тебя полагается, — заметил старший распорядитель.

Карл пожал плечами и отсчитал в ладонь Джакомо деньги.

— Больше у меня нет, — сказал он.

— А еще он спрашивает, поедешь ли ты с ним или нет? — спросил Джакомо, позвякивая мелочью.

— Не поедет, — отрезала главная кухарка.

— Итак, Росман, — решительно изрек старший распорядитель, даже не дожидаясь, пока Джакомо уйдет, — с этой минуты ты уволен. — Главный швейцар несколько раз важно кивнул, будто это его собственные слова, а распорядитель их лишь повторяет. — Причины твоего увольнения я даже не решаюсь назвать вслух, иначе мне пришлось бы тебя задержать. — Главный швейцар с подчеркнутой строгостью глянул на главную кухарку, мол, уж он-то прекрасно знает, кому обязан Карл столь незаслуженно мягким обхождением — Отправляйся к Бессу, переоденься, сдай ему ливрею, после чего изволь немедленно — ты слышал, немедленно — покинуть отель.

Главная кухарка, желая ободрить Карла, успокаивающе прикрыла глаза. Поклонившись на прощанье, Карл мельком успел заметить, что старший распорядитель как бы невзначай схватил ее руку и нежно перебирает в своей. Главный швейцар тяжелым шагом проводил Карла до двери, не дав тому ее закрыть, а наоборот, попридержал, и все это лишь для того, чтобы крикнуть вслед:

— Через полминуты жду тебя внизу у главного входа и сам прослежу, как ты уйдешь, запомни!

Карл торопился что есть мочи, лишь бы избежать неприятной встречи у главного входа, но все шло куда медленнее, чем ему хотелось. Сперва он долго не мог найти Бесса, потому что было время завтрака и повсюду толпились люди, потом оказалось, что кто-то позаимствовал у Карла его старые брюки, и пришлось ему почти все вещалки у кроватей обыскивать, пока он наконец эти брюки не нашел, так что миновало, наверно, минут пять, прежде чем он появился у главного входа. Прямо перед ним как раз шествовала какая-то дама в

сопровождении четверых спутников. Все они направлялись к большому лимузину, который их уже ждал и дверцу которого услужливый лакей держал нараспашку, широко отставив левую руку в сторону, что выглядело, конечно, необычайно торжественно. Но напрасно надеялся Карл незаметно прошмыгнуть в дверь, затесавшись в столь знатное общество. В тот же миг главный швейцар уже цапнул его за рукав и, буквально продернув его между двумя господами, перед которыми он еще успел извиниться, подтащил к себе.

— И это называется полминуты? — спросил он, искоса поглядывая на Карла, как смотрят обыкновенно на неисправные часы. — Ну-ка, пойдем, — сказал он затем и повел его в огромную швейцарскую, в которую Карла, по правде сказать, давно подмывало заглянуть хоть разок, но куда теперь, подталкиваемый швейцаром, он шел недоверчиво и с опаской. Уже в дверях он попытался было повернуть, отстранить швейцара и уйти.

— Нет-нет, тебе сюда, — сказал швейцар, хватая Карла за плечи.

— Но ведь я уже свободен, — запротестовал Карл, имея в виду, что теперь, когда он уволен, никто в отеле ему не указ.

— Пока я тебя держу, ты не свободен, — ответил швейцар, кстати, в полном соответствии с истиной.

В конце концов, рассудил Карл, никаких резонансов сопротивляться швейцару вроде бы нет. Ну что еще с ним, в сущности, может случиться? К тому же стены швейцарской сделаны из огромных листов цельного стекла, сквозь которое толпу шныряющих людей в вестибюле видно до того отчетливо, будто ты и сам среди них. Да и во всей швейцарской не было, похоже, такого угла, где можно укрыться от посторонних глаз. И как ни спешили там, в вестибюле, люди, ибо каждый торопился, каждый пробивал себе дорогу сквозь толпу, кто раздвигая встречных рукой, кто сосредоточенно глядя себе под ноги, кто рыская глазами, а кто и вскинув над головой свою кладь, — но редко кто упускал случай бросить взгляд в швейцарскую, за стеклами которой вывешивались всевозможные объявления и правила, памятки и просто записки, предназначенные как для гостей, так и для обслуживающего персонала. Кроме того, между вестибюлем и швейцарской имелась и возможность непосредственного сообщения через два больших раздвижных окна, за которыми располагались два младших портье, чьи обязанности состояли лишь в том, чтобы беспрепятственно давать справки по самым различным вопросам. Вот уж у ко-

го была сумасшедшая работа, но Карл, уже зная теперь натуру главного швейцара, готов был поспорить, что тот все долгие годы службы мечтал и тщился заполнить именно это место. Эти двое, посаженные на справки, неизменно видели перед собой — снаружи, из вестибюля, такое трудно было себе представить — по меньшей мере десятков вопрошающих физиономий. И среди этих десяти вопрошателей, всякий раз новых, зачастую царила такая мешанина языков, будто каждого специально прислали сюда из своей страны. То и дело несколько просунувшихся голов спрашивали что-то одновременно, а иные вдобавок успевали переговариваться друг с другом. Большинству нужно было что-то из швейцарской забрать либо, наоборот, там оставить, так что из чехарды лиц тянулись еще и требовательно размахивающие руки. Одному так не терпелось схватить газету, что та от его рывка нечаянно развернулась в воздухе, разом прикрыв собой все галдящие лица. И весь этот натиск двум младшим портье надлежало стойко выдерживать. Обыкновенной речи при такой работе было явно недостаточно, они тараторили, особенно один, мрачного вида мужчина с черной бородой во все лицо, — этот вообще давал справки, не умолкая ни на секунду. Он не глядел ни на стол, на котором беспрестанно что-то перекладывал, ни на лица сменяющих друг друга клиентов, а исключительно и только прямо перед собой, то ли сберегая, то ли накапливая силы. К тому же его борода, видимо, все же мешала разборчивости его речи, так что Карл, ненадолго возле него задержавшись, почти ничего из сказанного им не понял, хотя, как знать, быть может, как раз в это время портье при всей явственности английского акцента говорил на каком-то иностранном языке? Вдобавок сбивала с толку и сама его манера: всякая новая справка до того плотно примыкала к предыдущей и, можно сказать, сливалась с ней, что зачастую клиент с напряженным лицом все еще слушал, полагая, что ответ адресован ему, и лишь немного погодя соображал, что с ним давно покончено. Привыкнуть надо было и к тому, что этот младший портье в случае неясности никогда не просил повторить вопрос, даже если он в целом был понятен и лишь поставлен не вполне четко, — едва заметным движением головы портье давал понять, что на такой вопрос отвечать не намерен, предоставляя клиенту самому додумываться, где и в чем он дал промашку и как задать вопрос правильно. Именно за подобными раздумьями иные просители и проводили у окна довольно много времени. В помощь каждому портье был

придан мальчишка-ординарец, которому надлежало — и только бегом — приносить с книжных столов и из всевозможных ящиков все, что младшему портье ежесекундно может понадобиться. Это была самая высокооплачиваемая, хотя и самая тяжелая работа, какую мог получить в отеле подросток, в известном смысле ординарцам доставалось даже похлеще, чем младшим портье, потому что портье надо было только думать и говорить, тогда как мальчишкам приходилось думать и бегать. Если ординарец приносил что-нибудь не то, у младшего портье, разумеется, не было времени на долгие разговоры и поучения, чаще всего по ошибке принесенная вещь, едва оказавшись на столе, тут же летела на пол. Очень интересно было наблюдать смену младших портье, она произошла как раз вскоре после прихода Карла. Подобные смены, должно быть, происходили, по крайней мере днем, довольно часто, ибо нормальный человек не в состоянии выдержать такую нагрузку дольше часа. Когда наступило время смены, ударил гонг, и в тот же миг из боковой двери вышли два младших портье, которым надлежало заступить на пост, каждый в сопровождении своего ординарца. Расположившись за спинами товарищей, они некоторое время простояли в бездействии, изучая людей за окном и постепенно вникая в суть вопросов и ответов. Затем, уловив подходящую минуту, сменяющий хлопал сменяемого по плечу, и тот, хотя прежде, казалось, представления не имел о том, что творится у него за спиной, мгновенно все понимал и уступал свое место. Происходило все это так стремительно, что люди за окном нередко пугались и, завидя столь внезапно возникшее перед ними новое лицо, в страхе отшатывались. Смененные портье, с наслаждением потянувшись, шли к двум стоящим неподалеку умывальникам остудить свои разгоряченные головы, тогда как их ординарцам еще рано было потягиваться, им полагалось прежде подобрать с пола все сброшенные за время смены вещи и разложить по местам.

Понаблюдав за всем этим считанные мгновения, но с величайшим интересом, Карл с легкой головной болью безропотно двинулся вслед за швейцаром, который повел его дальше. Очевидно, и от главного швейцара не укрылось впечатление, произведенное на Карла справочной службой, ибо он ни с того ни с сего дернул Карла за руку и сказал:

— Видишь теперь, вот так-то у нас работают.

Карл, правда, здесь, в отеле, тоже не баклуши бил, но чтобы так



работать — этого он даже представить не мог, а потому, почти начисто забыв, что главный швейцар его самый заклятый враг, поднял на него глаза и в знак уважительного согласия безмолвно кивнул головой. Но главный швейцар и этот жест воспринял по-своему, должно быть, усмотрев в нем то ли преувеличение заслуг младших портье, то ли недостаточно почтительное отношение к собственной персоне, ибо с обидой в голосе, будто Карл нарочно решил его позлить, он громко, ничуть не заботясь о том, что его могут услышать, заявил:

— Конечно, это самая дурацкая работа во всем отеле. Часок постоишь, послушаешь и уже заранее знаешь почти все, о чем могут спросить, а на остальное и отвечать не обязательно. Не будь ты таким наглым, невоспитанным мальчишкой, если бы ты не врал, не шатался, не пил и не воровал, глядишь, я бы и приставил тебя к такому окошку, потому как на это дело только такие тупицы и годятся.

Карл легко пропустил мимо ушей ругань на свой счет, но тем больше его возмутило, что честный и нелегкий труд младших портье, достойный только уважения, можно столь бессовестно чернить, да еще устами человека, который, рискни он хоть разок занять место у такого окошка, уже через несколько минут под хохот клиентов бежал бы с позором.

— Отпустите меня, — потребовал Карл, его любопытство по части швейцарской было утолено с лихвой. — Я вас больше знать не хочу.

— Чтобы уйти, одного хотения мало, — возразил главный швейцар и, стиснув Карла за плечи, так что тот шелохнуться не мог, буквально отнес его в дальний угол швейцарской. Неужто люди в вестибюле не видят, какое насилие учиняет над ним главный швейцар? А если видят — не могут не видеть! — как же они такое допускают, почему ни один не остановится, хотя бы не постучит по стеклу, показывая швейцару, что за ним наблюдают и не позволят творить с Карлом все, что тому заблагорассудится?

Вскоре, однако, надежда на помощь из вестибюля отпала совсем, поскольку главный швейцар дернул за шнур и половину стеклянных стен швейцарской в мгновение ока до самого потолка закрыли плотные черные портьеры. Правда, и в этой части швейцарской тоже находились люди, но каждый по уши в своей работе, ничего, кроме этой работы, не видя и не слыша. К тому же все они у главного швейцара в подчинении и, чем помогать Карлу, скорее уж помогут сокрыть любое злодейство, которое главный швейцар замыслит. Тут, к

примеру, сидели шесть младших портье при шести телефонах. Обязанности их, как сразу можно было заметить, распределялись на пару: один лишь выслушивал в трубку указания, в то время как другой, выхватывая у него из-под рук записки, по своему телефону передавал распоряжения дальше. Это были те новые, последнего образца, телефоны, для которых не требуются отдельные кабинки, ибо звонок у них совсем тихий, наподобие стрекота, а в трубку можно даже шептать, и все равно, благодаря особому электрическому усилению, шепот на другом конце провода будет греметь громовым гласом. Вот почему тех троих, что только говорили, было почти не слышно, так что со стороны казалось, будто они, шевеля губами, пристально разглядывают что-то в телефонной трубке, тогда как те трое, что только слушали, словно оглохнув от нахлынувших на них шумов, для окружающих, кстати, совершенно неслышных, склоняли головы над листами бумаги, исписывание которой и составляло, собственно, их задачу. Опять-таки и здесь у каждого из тех троих, что только говорили, стоял за спиной мальчишка-ординарец — в подмогу; вся их работа заключалась лишь в том, чтобы, вытянув шею, прислушаться к каждому слову начальника, а потом, дернувшись, будто их кто ужалил, кидаться рыскать в огромных желтых книгах — шелест переворачиваемых страниц заглушал даже стрекот телефонов — в поисках нужного телефонного номера.

Карл, конечно, и от этого зрелища не мог оторваться, хотя главный швейцар, который тем временем сел, по-прежнему держал его перед собой, как в тисках.

— Я обязан, — заговорил главный швейцар, легонько встряхнув Карла, чтобы тот повернулся к нему лицом, — именем дирекции хотя бы отчасти наверстать упущения старшего распорядителя, чем бы эти упущения ни были вызваны. И так каждый у нас — всегда готов выручить товарища. В таком большом деле иначе и нельзя. Ты, может, станешь тут говорить, что я не твой непосредственный начальник, — ну и что с того? Тем благородней с моей стороны взяться за дело, которое другой недосмотрел. Хотя, вообще-то, как главный швейцар, я, в известном смысле, над всеми тут поставлен, ведь я заведую всеми входами-выходами, то бишь этим вот главным входом, тремя парадными и десятью служебными подъездами, не говоря уж о других бесчисленных дверях, дверцах, проходах и лазах. И, конечно, в этом смысле весь обслуживающий персонал обязан беспрекослов-

но мне подчиняться. Это, понятное дело, большая честь, но, с другой стороны, и ответственность большая, ибо мне поручено дирекцией никого хоть сколько-нибудь подозрительного из гостиницы не выпускать. А как раз ты, вот захотелось мне так, кажешься мне очень даже подозрительным. — И от удовольствия он на секунду отпустил плечи Карла, чтобы тем крепче и больней по ним прихлопнуть. — Вероятно, ты вполне мог, — добавил он, веселясь от души, — незаметно прошмыгнуть через любую другую дверь, не стану же я из-за какого-то сопляка давать особые указания всем швейцарам. Но раз уж ты здесь, я с тобой позабавлюсь. Я, кстати, и не сомневался, назначая тебе свиданьице у главного входа, что ты придешь как миленький, ибо так уж заведено, все нахалы и неслухи становятся тише воды, ниже травы как раз тогда, когда им от этого самый вред. Ты еще не раз на собственной шкуре в этом убедишься.

— Не думайте, — выпалил Карл, вдыхая исходивший от главного швейцара странный замшелый запах, который он только сейчас, стоя к тому вплотную, впервые почувствовал, — не думайте, — выпалил он, — будто я полностью в вашей власти, я ведь могу и закричать.

— А я могу заткнуть тебе рот, — возразил главный швейцар так же быстро и деловито, как он, по-видимому, в случае надобности и осуществил бы это свое намерение. — Да если даже кто и прибежит, неужто ты и вправду думаешь, будто найдется хоть кто-то, кто поверит тебе супротив меня, главного швейцара. Так что ты эти пустые надежды лучше брось. Знаешь, пока ты еще в форме ходил, в тебе, может, и была какая-то представительность, но в этом костюме, который и впрямь только в Европе носить...

И он презрительно одернул костюм Карла в самых разных местах — тот и вправду, хотя всего пять месяцев назад выглядел почти как новый, теперь был весь в складках, заношен, а главное, заляпан пятнами, что в первую очередь объяснялось неряшливостью других лифтеров, которые каждый день, следуя неукоснительному предписанию содержать пол спального зала в чистоте и блеске, должны были производить уборку, но, конечно, ленились и вместо этого просто поливали пол какой-то маслянистой дрянью, нещадно забрызгивая при этом всю одежду на вешалках. И где бы и сколь бы тщательно ты ни хранил свою одежду, всегда находился кто-то, кто свое тряпье куда-то задевал, зато чужое, припрятанное, находил с легкостью и, конечно, без спросу одалживал поносить. Причем ее вполне мог одолжить

и тот, кому в этот день полагалось делать уборку зала, и тогда уж одежда неминуемо была не просто забрызгана мастикой, а залита ею сверху донизу. Один Реннел хранил свои роскошные наряды в каком-то потайном месте, где до них пока вроде бы никто не добрался, тем более что одалживали-то чужую одежду вовсе не по злобе и не из жадности, просто по небрежности, и в спешке каждый хватал что под руку попадется. Но даже на костюме у Реннела посерединке на спине было круглое красноватое пятно мастики, так что сведущий человек, встретив элегантного красавца Реннела в городе, безошибочно распознал бы в нем лифтера по этой отметине.

И, вспомнив все это, Карл подумал, что и он в лифтерах хлебнул достаточно горя, а все равно напрасно, потому что его лифтерская служба не стала, как он надеялся, первой ступенькой на пути к хорошему месту, напротив, он отброшен теперь еще ниже и докатился чуть ли не до тюрьмы. А тут еще главный швейцар вцепился в него мертвой хваткой и не отпускает, как видно, раздумывает, чем бы таким еще Карла унижить. И, начисто позабыв о том, что главный швейцар совсем не тот человек, которого можно убедить, Карл воскликнул, несколько раз пристукнув себя по лбу, благо как раз рука освободилась:

— Ну даже если я и вправду с вами не здоровался, вы же взрослый человек, как вы можете быть таким злопамятным!

— Я не злопамятный, — ответил главный швейцар, — я только хочу обыскать твои карманы. Я, правда, уверен, что ничего не найду, у тебя наверняка хватило ума сплавлять краденое своему дружку, а уж он мало-помалу, день за днем все перетаскивал. Но обыскать тебя нужно. — И с этими словами он с такой силой сунул руку Карлу в карман, что боковые швы сразу же лопнули. — Так, тут уже ничего, — произнес он, изучая на ладони содержимое этого кармана: гостиничный рекламный календарик, листок с заданием по коммерческой корреспонденции, несколько запасных пуговиц от брюк и пиджака, визитную карточку главной кухарки, пилку для ногтей, которую бросил однажды Карлу постоялец, второпях пакуя чемодан, старое карманное зеркальце, преподнесенное Реннелом в благодарность за десять, если не больше, подмен по службе, и еще какие-то мелочи. — Тут, значит, ничего, — повторил главный швейцар и швырнул все под скамью, будто само собой разумелось, что собственности Карла, коли уж она не краденая, только там, под скамьей, и место.

«Ну все, с меня хватит!» — сказал себе Карл — лицо его, должно быть, пылало от стыда, — и, когда главный швейцар в приступе жадности утратив всякую бдительность, начал шуровать во втором кармане, Карл одним рывком выскользнул из рукавов, сиганул, еще плохо соображая, куда-то в сторону, нечаянно, но довольно сильно толкнув при этом одного из младших портье прямо на его телефон, и побежал — от духоты гораздо медленнее, чем рассчитывал, — к двери, но все-таки благополучно выскочил из швейцарской, прежде чем главный швейцар в своей тяжелой шинели успел хотя бы привстать. Видимо, организация охраны поставлена в отеле все же не столь безупречно, с разных сторон, правда, затрезвонили звонки, но один бог ведает, с какой целью, а служащие хоть и сновали туда-сюда по вестибюлю в таком количестве, будто им специально поручено затруднить любому постороннему вход и выход, ибо какого-то иного смысла в их беспорядочном хождении при всем желании усмотреть было нельзя, — как бы там ни было, Карл вскоре очутился на свежем воздухе, однако все еще вынужден был идти вдоль гостиничного тротуара, не имея возможности попасть на другую сторону, поскольку к главному входу сплошняком выстроилась и медленно, с остановками, переползала шеренга подаваемых к подъезду машин. Машины эти, торопясь как можно скорей добраться до своих хозяев, от нетерпения буквально подталкивали друг друга — каждая упиралась носом в хвост предыдущей. Правда, иные из пешеходов, кому было особенно некогда, чтобы попасть на другую сторону, то тут, то там пролезали прямо через кабины некоторых автомобилей, будто это проходной двор, ничуть не заботясь о том, кто в машине сидит — только ли шофер и прислуга или важные господа. Подобная смелость показалась Карлу все же чрезмерной, видимо, надо уж очень хорошо знать здешние порядки, чтобы на такое решиться, ведь этак он сдуру угодит в такой автомобиль, пассажирам которого это вовсе не понравится, и его мигом вышвырнут да еще, чего доброго, устроят скандал, а скандала ему, мелкому гостиничному служащему, к тому же беглому, подозрительному на вид, в одной жилетке, надо остерегаться пуще всего на свете. В конце концов, не вечность же этой шеренге машин тянуться, да и он, покуда как бы прогуливается возле отеля, меньше всего бросается в глаза. Вскоре Карл и впрямь дошел до такого места, где очередь машин хотя и не кончилась, но, завернув за угол, стала пореже. Только он собрался нырнуть наконец в толчею улицы, где

уж наверняка свободно разгуливают личности куда более подозрительного вида, нежели он, как вдруг совсем рядом кто-то окликнул его по имени. Он обернулся и увидел знакомые лица двух гостиничных лифтеров: из каких-то низеньких дверей, более всего напоминавших вход в гробницу, они с превеликим трудом вытаскивали носилки, на которых, как он только сейчас догадался, и вправду лежал Робинсон, с ног до головы весь в многочисленных бинтах и повязках. Жутко было смотреть, как он водит руками по глазам, отирая этими повязками слезы — то ли от боли и иных перенесенных страданий, то ли от радости, что снова видит Карла.

— Росман, — воскликнул он с упреком в голосе, — сколько же можно тебя дожидаться! Я уже целый час отбиваюсь, чтобы меня не смели увозить, пока ты не придешь. Эти гады, — тут он закатил одному из лифтеров подзатыльник, словно повязки дают ему право на полную неприкосновенность, — это же звери какие-то! Ах, Росман, вот и ходи к тебе в гости, видишь, во что мне это обошлось.

— Что же они с тобой сделали? — спросил Карл, подходя к носилкам, которые ребята, решив сделать передышку, опустили на землю.

— Ты еще спрашиваешь, — вздохнул Робинсон. — А ведь и сам видишь, на что я похож. Да ты пойми, я теперь, может, на всю жизнь калеккой останусь, так меня избили. У меня боли жуткие, все болит — от сих до сих, — и он показал сперва на свою голову, потом на пятки. — Видел бы ты, как у меня кровища из носу хлестала. Жилетку всю испортил, я ее даже брать не стал, штаны порвали, я вон в одних кальсонах, — и он приподнял одеяло, предлагая Карлу самому в этом убедиться. — Что теперь со мной будет! Мне же теперь несколько месяцев, это уж точно, пластом лежать, и я тебя сразу предупреждаю, у меня никого нет, кроме тебя, чтобы за мной ухаживать, у Деламарша на это терпения не хватит. Росман, родненький! — и Робинсон потянулся к слегка отпрянувшему от него Карлу, норовя его погладить и хоть так завоевать его расположение. — Зачем только меня к тебе послали! — причитал он снова и снова, не давая Карлу забыть о том, что в приключившемся с ним несчастье есть и его, Карла, доля вины.

Карл, впрочем, давно уже понял, что истинная причина жалоб и стенаний Робинсона вовсе не увечья, а жесточайшее похмелье, ибо, не успев спяну толком заснуть, он был почти сразу же разбужен и, к немалому своему изумлению, тут же в кровь избит, после чего, конеч-

но, с трудом соображал, на каком он свете. Пустяковость же его болячек легко было определить по бесформенным, кое-как накрученным повязкам из старого тряпья, которыми лифтеры потехи ради обмотали его где попало, но с головы до ног. Да и ребята, что несли носилки, то и дело прыскали от смеха. Но сейчас не время и не место было приводить Робинсона в чувство, ибо вокруг них торопливо сновали многочисленные прохожие, ничуть не обращая внимания на странную группу с носилками, некоторые с истинно гимнастической сноровкой даже перепрыгивали через Робинсона, нанятый на деньги Карла шофер уже кричал им: «Живей! Живей!», ребята, собравшись с силами, подняли носилки, а Робинсон, схватив Карла за руку, заискивающе умолял:

— Ну пошли, пошли же!

В этом странном костюме, без пиджака, может, ему и вправду лучше всего укрыться в темном нутре автомобиля? И он уселся рядом с Робинсоном, который тут же положил ему голову на плечо, оставшиеся на тротуаре лифтеры через заднее окошко сердечно пожали ему, бывшему их сотруднику, руку, машина рванула, резко выворачивая поперек улицы, казалось, аварии не избежать, но могучий поток движения спокойно вобрал в себя и эту частицу и понес ее вперед все быстрее и быстрее.

## (VII)

Улица, на которой внезапно остановилась машина, залегла где-то в глухом предместье: вокруг было тихо, на тротуаре, сидя на корточках, беззаботно играли дети, и только старьевщик с узлом тряпья через плечо монотонно что-то выкрикивал, хищно поглядывая на окна верхних этажей, — Карл устало вылез из машины и, едва ступив на асфальт, залитый нестерпимо ярким и знойным утренним солнцем, сразу почувствовал себя неуютно.

— Ты точно здесь живешь? — крикнул он Робинсону в машину. Робинсон, который всю дорогу спал как убитый, буркнул в ответ что-то невнятно утвердительное и, похоже, надеялся, что Карл понесет его на руках. — Тогда мне здесь больше делать нечего. Будь здоров! — бросил Карл и легко шагнул вперед: улица шла под гору.

— Карл, ты куда? — испуганно вскричал Робинсон, мгновенно вскакивая с сиденья, уже вполне способный, как оказалось, держаться на ногах, пусть и не очень твердо.

— Мне надо идти, — просто ответил Карл, окончательно успокоенный признаками столь явного и скорого выздоровления.

— Прямо так, без пиджака? — ехидно поинтересовался Робинсон.

— Ничего, китель я себе еще заработаю, — заверил его Карл, с достоинством кивнув и даже рукой махнув на прощанье, и, наверно, он бы и в самом деле ушел, если бы не водитель, который вдруг его окликнул:

— Минуточку терпения, молодой человек!

Выяснилось — вот ведь незадача, — что таксист требует дополнительной оплаты, ведь с ним рассчитались только за проезд, но не за простой, а он долго ждал у гостиницы.

— Ну да! — выкрикнул из машины Робинсон, подтверждая правоту этих притязаний. — Мы же вон сколько тебя ждали! Так что ты уж ему что-нибудь дай.

— Вот именно, — прибавил таксист со значением.

— Да я бы с удовольствием, если б было что, — растерянно бормотал Карл, шаря по карманам, хотя и знал, что искать там нечего.

— А мне больше не с кого получить, — заявил шофер, расправляя плечи и приосаниваясь. — С того, увечного, какой спрос.

От стены соседнего дома отделился молодой парень с дыркой вместо носа и, подойдя поближе, теперь с интересом прислушивался к разговору. Откуда-то из-за угла возник патрульный полицейский и, увидев посреди улицы человека в жилетке, остановился, исподлобья присматриваясь к происходящему. Робинсон, тоже заметив полицейского, повел себя совсем уж глупо, выкрикнув из машины: «Ничего страшного! Ничего страшного!» — словно полицейского можно отогнать, как назойливую муху. Дети, сперва глазевшие на полицейского, только теперь, когда тот остановился, углядели Карла и шофера и гурьбой бросились к ним. В подъезде напротив, как изваяние, застыла старуха, не спуская с них тяжелого, неподвижного взгляда.

— Росман! — послышалось вдруг откуда-то с высоты. Это был голос Деламарша, доносившийся с балкона последнего этажа. Сам Деламарш был отсюда едва различим, на фоне белесого голубого неба смутно угадывалась лишь чья-то мужская фигура, по-видимому, в до-



машнем халате, — свесившись с балкона, мужчина рассматривал их в театральный бинокль. Рядом с ним веселым, свежим пятном алел раскрытый солнечный зонт, под которым, судя по всему, расположилась женщина.

— Привет! — крикнул Деламарш еще громче, чтобы Карл его услышал. — А Робинсон тут?

— Тут! — отозвался Карл, и еще одно, куда более громкое и радостное «Тут!» Робинсона эхом вторило ему из машины.

— Привет! — снова крикнул Деламарш. — Сейчас спущусь.

Робинсон снова привстал с сиденья.

— Вот это человек! — провозгласил он, обращая свой похвальный отзыв о Деламарше и к Карлу, и к таксисту, и к полицейскому — вообще ко всякому, кто пожелал бы его услышать. Наверху, на балконе, куда как бы по инерции все еще были обращены взоры собравшихся, хотя Деламарша там уже не было, действительно, оказалась женщина: очень полная, в красном платье, она теперь встала под зонтом во весь свой внушительный рост, взяла с перил бинокль и направила на людей вниз, — только тогда те мало-помалу начали отводить глаза. Карл, дожидаясь Деламарша, смотрел в арку ворот и еще дальше, во двор, где, очевидно, шла разгрузка товара: почти непрерывной цепочкой двор пересекали люди, и каждый нес на плече небольшой, но, судя по всему, очень тяжелый ящик. Таксист отошел к машине и, чтобы не терять время попусту, принялся протирать тряпкой фары. Робинсон недоверчиво ощупывал свои конечности, как бы изумляясь отсутствию сильных болей даже при столь придирчивом обследовании, а потом, согнувшись в три погибели, начал осторожно разматывать одну из толстенных повязок на ноге. Полицейский, перехватив дубинку за оба конца, терпеливо ждал в позе человека, для которого ждать — неважно, подкарауливая ли преступника или просто следя за порядком, — самая привычная обязанность. Парень с провалившимся носом уселся на каменную тумбу у ворот, вытянув перед собой ноги. Дети исподволь, робкими шажками, приближались к Карлу, — видимо, он, хоть и не обращал на них никакого внимания, благодаря жилетке казался им здесь самым главным.

По тому, сколько времени прошло до появления Деламарша, нетрудно было судить, какой это высоченный домина. И это при том, что Деламарш не подошел, а почти подбежал к ним в наспех, кое-как запахнутом халате.

— Вот и вы! — выкрикнул он на ходу то ли радостно, то ли сердито. Он шел решительно, и полы халата при каждом шаге слегка распахивались, открывая миру пестрое нижнее белье. Карл не вполне понимал, с какой это стати здесь, прямо в городе, в этом убогом квартале, да еще посреди улицы, Деламарш расхаживает в халате, будто у себя дома или на даче. Как и Робинсон, Деламарш тоже изменился. Его смугловатое, до синевы выбритое, подозрительно гладкое лицо с заплывшими мешками щек источало самодовольство и надменность. Неприятно поражал его взгляд — колкий, холодный, с почти неизменным теперь прищуром. Фиолетовый халат был хоть и старый, весь в сальных пятнах, к тому же явно ему велик, но из-под омерзительной этой хламиды горделиво топорщился темный шейный платок тяжелого шелка.

— Ну? — спросил он, обращаясь ко всем сразу. Полицейский подошел чуть ближе и облокотился на капот машины. Карл дал краткое разъяснение.

— Робинсон немного прихворнул, но, если постарается, вполне сможет сам подняться по лестнице, а шофер вот требует доплаты, хотя за проезд я с ним рассчитался. А теперь я пойду, всего хорошего.

— Никуда ты не пойдешь, — отрезал Деламарш.

— А я что ему говорю? — поддакнул из машины Робинсон.

— Нет, пойду, — твердо сказал Карл, порываясь уйти. Но Деламарш уже подскочил к нему сзади и силой тащил обратно.

— А я говорю, ты останешься! — крикнул Деламарш.

— Да пустите же меня! — возмутился Карл, готовый, если потребуется, кулаками добыть себе свободу, сколь ни малы были его надежды на успех в поединке с таким громилой, как Деламарш. Но ведь рядом полицейский, да и таксист тут, а вдалеке по вообще-то тихой улице группами идут рабочие, — разве все эти люди дадут Карла в обиду? Это где-нибудь в комнате, один на один, он бы не стал с Деламаршем связываться — но здесь? Деламарш тем временем спокойно расплатился с шофером, который, беспрерывно кланяясь, засунул в бумажник незаслуженно щедрое вознаграждение и в знак особой благодарности подошел теперь к Робинсону, вероятно, обсуждая с ним, как поудобнее извлечь того из машины. На Карла никто не глядел; наверно, Деламаршу легче смириться с его молчаливым уходом, что ж, если можно избежать ссоры, тем лучше — и Карл ступил с тротуара на мостовую, намереваясь как можно скорей и незаметней уйти.

ти. Дети гурьбой кинулись к Деламаршу докладывать о бегстве Карла, но его вмешательства даже не потребовалось, ибо полицейский, ткнув в его сторону дубинкой, произнес: «Стой!»

— Как тебя зовут? — спросил он, зажав дубинку под мышкой и неспешно извлекая из сумки какую-то книгу. Карл впервые глянул на него внимательно — это был сильный мужчина, но уже почти совсем седой.

— Карл Росман, — ответил он.

— Росман, — повторил полицейский, повторил, конечно же, лишь по привычке, просто потому, что он вообще человек спокойный и обстоятельный, но Карлу, который, по сути, впервые столкнулся с американскими властями, уже в самом этом повторе почудилась зловещая подозрительность. Видно, дела его и впрямь плохи, вон даже Робинсон, еще недавно всецело озабоченный только своей персоной, теперь из машины подает Деламаршу отчаянные знаки, призывая того все же помочь Карлу. Но Деламарш только головой тряхнул, мол, отстань, и по-прежнему пребывал в бездействии, засунув руки в необъятные карманы своего халата. Парень, рассевшийся на тумбе, уже объяснял женщине, только что вышедшей из ворот, что тут происходит, — по порядку и с самого начала. Дети полукругом расположились у Карла за спиной и молча во все глаза смотрели на полицейского.

— Предъяви-ка документы, — сказал полицейский. Видимо, сказал просто так, для проформы, много ли может быть документов у человека без пиджака. Поэтому Карл промолчал, приготовившись подробно ответить на следующий вопрос и тем самым по возможности сгладить неприятный факт отсутствия у него документов. Но следующий вопрос был:

— Выходит, у тебя нет документов?

Карлу ничего не оставалось, как ответить:

— С собой нет.

— Плохо дело, — произнес полицейский, задумчиво глянув по сторонам и постукивая двумя пальцами по переплету книги. — Ты хоть работаешь где-нибудь? — спросил он наконец.

— Я был лифтером, — ответил Карл.

— Был, а сейчас, значит, уже не лифтер. На что же ты сейчас-то живешь?

— Сейчас я собирался искать новое место.

— Так тебя только что уволили?

— Да, час назад.

— Прямо так, сразу?

— Да, — сказал Карл и, как бы извиняясь, сделал неопределенный жест рукой. Не мог же он рассказать здесь все как было, да если бы и мог, все равно безнадежная это затея — пытаться рассказом о прошлой несправедливости отвести от себя угрозу несправедливости новой. Уж если он не сумел отстоять свою правоту перед лицом доброй кухарки и проникательного распорядителя, то здесь, на улице, от случайных людей ждать сочувствия и подавно не приходится.

— Так прямо без пиджака и уволили? — допытывался полицейский.

— Ну да, — ответил Карл. Выходит, в Америке у представителей власти тоже заведено спрашивать о том, что и так очевидно. (Ох, как злился отец, выправляя ему заграничный паспорт, на бесконечные и бессмысленные расспросы чиновников!) Больше всего Карлу сейчас хотелось просто убежать и куда-нибудь спрятаться — лишь бы не слышать никаких вопросов. Тем более что полицейский как раз задал вопрос, которого Карл пуше всего боялся, в тревожном ожидании которого он и на предыдущие вопросы отвечал не так свободно и складно, как, вероятно, мог бы ответить.

— В каком же отеле ты служил?

Карл потупил голову и промолчал, отвечать на этот вопрос он не станет ни за что на свете. Не хватало еще, чтобы его под конвоем полицейского доставили в отель «Оксиденталь», где начнется новое дознание, на которое вызовут его друзей и его недругов, после чего главная кухарка окончательно изменит свое, и так уже изрядно пошатнувшееся, доброе мнение о Карле, поскольку она-то надеется, что он в пансионе Бреннера, а его, как воришку, в сопровождении полицейского, в одной жилетке, без ее визитной карточки, притащат обратно, и, завидев это, распорядитель, вероятно, ограничится только укоризненно-понимающим кивком, зато уж главный швейцар наверняка изречет что-нибудь о руке Божьей, которая, дескать, наконец-то словила шельму.

— Он служил в отеле «Оксиденталь», — сообщил Деламарш, подойдя к полицейскому.

— Нет! — выкрикнул Карл и даже ногой топнул. — Неправда!

Деламарш только глянул на него и издевательски скривил губы с

таким видом, будто он еще много о чем мог бы порассказать, но покамест повременит. Среди детей внезапный гнев Карла вызвал тихий переполох, и теперь все они переметнулись к Деламаршу, чтобы наблюдать за Карлом с безопасного расстояния. Робинсон, весь высушившись из машины и вытянув шею, замер в полной неподвижности, — лишь редкое подрагивание век оживляло его застывшее лицо. Парень у ворот от восторга даже хлопнул в ладоши, но женщина рядом тут же ткнула его локтем в бок, чтобы он успокоился. У грузчиков как раз начался перерыв на завтрак, они гурьбой высыпали на улицу с большими кружками черного кофе в руках, обмакивая в кофе рогалики. Некоторые усаживались поблизости, на бордюр тротуара, а кофе все прихлебывали с невероятным шумом.

— Так вы его знаете? — обратился полицейский к Деламаршу.

— Лучше, чем хотелось бы, — усмехнулся тот. — В свое время я сделал ему немало добра, только отблагодарил он меня не лучшим образом, о чем, полагаю, вы и сами догадываетесь даже после столь краткого предварительного допроса.

— Да, — согласился полицейский. — Мальчишка, похоже, одичал.

— Так оно и есть, — подтвердил Деламарш, — но это бы еще полбеды.

— Вот как? — оживился полицейский.

— О да! — заливался Деламарш, не вынимая рук из карманов, отчего полы его халата распахивались все энергичней и шире. — Он тонкая бестия! Я и мой друг — вон он, в машине — встретились с ним случайно, помогли в беде, он ведь тогда ничего не смыслил в здешней жизни, только что из Европы приехал, где, видно, в нем тоже не больно-то нуждались, — так мы потащили его с собой, делили с ним кров и пищу, все ему растолковывали, хотели место ему приискать и вообще надеялись, несмотря на все его дурные задатки, сделать из него человека, — как вдруг однажды ночью он исчезает, сбежал — и все, да еще при таких сопутствующих обстоятельствах, что об этом я лучше умолчу. Так было дело или не так? — воскликнул он под конец и даже дернул Карла за рукав.

— Назад, ребятня! — прикрикнул на детей полицейский: те подошли так близко, что на одного малыша Деламарш чуть не свалился. Тем временем грузчики, прежде явно недооценив занимательность происходящего, мало-помалу начали прислушиваться к допросу и

тесным полукольцом сбились за спиной у Карла, так что теперь он назад и шагу не мог ступить, да к тому же в ушах у него стоял непрерывный гомон их голосов на совершенно непонятном наречии — смеси английских и еще каких-то, скорее всего, славянских слов, на котором они то ли переговаривались, то ли вяло переругивались между собой.

— Благодарю за ценные сведения, — сказал полицейский, отдав Деламаршу честь. — Придется мне его забрать и доставить в отель «Оксиденталь».

Но тут Деламарш неожиданно сменил тон:

— Я бы просил вас пока что оставить мальчишку у меня, мне с ним надо кое-что уладить. Разумеется, я обязуюсь потом лично препроводить его в отель.

— Нет, так не пойдет, не могу, — возразил полицейский.

— Вот моя визитка, — важно произнес Деламарш и протянул полицейскому визитную карточку.

Тот взглянул на карточку с уважением, как бы признавая ее значимость, но потом, вежливо улыбнувшись, твердо сказал:

— Нет, это исключено.

Карл, сколь ни остерегался он Деламарша прежде, сейчас лишь в нем одном видел свое спасение. Хоть и подозрительно было, с какой это стати тот захотел вдруг отбить его у полицейского, но Деламарша в любом случае легче уговорить не доставлять его, Карла, обратно в отель. Впрочем, даже если Деламарш хоть силой его притащит, все равно это куда лучше, чем появиться в отеле в сопровождении полицейского. Но пока что, разумеется, нельзя и виду подавать, что он хочет к Деламаршу, иначе все пропало. Он с тревогой посматривал на руку полицейского, готовую, казалось, в любую секунду его сцапать.

— Надо хотя бы выяснить, за что его уволили, — произнес наконец полицейский, как бы оправдываясь перед Деламаршем, который, угрюмо пряча глаза, нервно мял визитку в своих толстых пальцах.

— Да вовсе он не уволен, — ко всеобщему изумлению вскричал вдруг Робинсон, чуть не вываливаясь из машины и хватаясь за шофера. — Наоборот, у него там очень хорошее место. А в спальном зале он вообще за старшего и имеет право пускать кого захочет. Просто работы у него полно, и, когда к нему приходишь, надо долго его ждать. То он, понимаешь, у старшего распорядителя, то у главной кухарки, он там у всех в большом доверии. Так что совсем он даже не

уволен. Просто не знаю, зачем он так сказал. Да и когда могли его уволить? Я был в отеле, сильно поранился, ему поручили отвезти меня домой, ну а поскольку он был без пиджака, он без пиджака и поехал. Не ждать же мне, пока он пиджак наденет!

— Вот видите! — разводя руками, произнес Деламарш укоризненным тоном, словно упрекая полицейского в плохом знании людей и, казалось, двумя этими словами внося абсолютную ясность в путаные рассуждения Робинсона.

— Так это что, тоже правда? — спросил полицейский упавшим голосом. — А если правда, с какой стати мальчишка врет, что его уволили?

— Ну же, объясни! — потребовал Деламарш.

Карл посмотрел на полицейского, которому надлежало блюсти порядок среди этих чужих людей, пекущихся каждый только о себе и своем интересе, и какая-то частица его непомерной, всеобъемлющей заботы передалась и ему, Карлу. Лгать он не хотел и только крепче сцепил за спиной руки.

В воротах показался урядник и хлопнул в ладоши, призывая грузчиков снова приниматься за работу. Разом умолкнув, они вразвалку, тяжелым шагом потянулись во двор, на ходу выплескивая из кружек кофейную гущу.

— Этак мы никогда не разберемся, — сказал полицейский и уже потянулся схватить Карла за плечо.

Карл — еще произвольно — отпрянул, но, ощутив за спиной пустоту освобожденного грузчиками пространства, круто повернулся и в несколько прыжков бросился бежать. Взвизгнули дети и, указывая на Карла ручонками, побежали было следом, но быстро отстали.

— Держи его! — крикнул полицейский и, время от времени оглашая этим криком длинную, почти безлюдную улицу, припустился за Карлом упругой и бесшумной побегой, в которой угадывались и сила, и годами отработанный навык. Еще счастье для Карла, что погоня происходила в рабочем квартале. Рабочие не слишком-то ладят с властями. Карл мчался прямо посреди мостовой, тут было меньше препятствий, и краем глаза видел, как останавливаются по сторонам рабочие и спокойно на него смотрят, игнорируя призывы полицейского, — тот благоразумно бежал по гладкому тротуару, все чаще выкрикивая грозное: «Держи его!» — и указывая на Карла дубинкой. Впрочем, надежды на спасение было мало, Карл утратил ее почти

совсем, когда завидел впереди поперечные улочки, на одной из которых наверняка дежурит еще один патруль, и одновременно услышал за спиной резкие, прямо-таки оглушительные трели полицейского свистка. Преимущество Карла, правда, состояло в том, что одет он легко, — он несся, вернее, почти летел вниз по все более крутому уличному спуску, но бежал как-то вприпрыжку, то ли спросонок, то ли от усталости все чаще делая совершенно бессмысленные и замедлявшие бег скачки. Кроме того, полицейский-то бежал не раздумывая, он постоянно видел свою цель, тогда как для Карла сам бег был, пожалуй, вторым делом, — надо было соображать, прикидывать возможности и решения выбирать на ходу. Пока что его довольно-таки отчаянный замысел состоял в том, чтобы избежать боковых переулков — неизвестно, что его там ждет, можно с ходу напороться прямо на полицейскую будку; лучше уж, доколе возможно, держаться этой прямой, легко обозримой улицы, в самом конце которой, где-то далеко внизу, смутно угадывались контуры начинающегося моста, тонувшие в дымке реки и в знойном летнем мареве. Приняв это решение, он уже собрался припустить что есть духу и как можно скорей проскочить первый перекресток, как вдруг впереди завидел полицейского, — притаившись на теневой стороне возле темной стены дома, тот уже изготовился выскочить из засады и броситься на Карла. Оставался один путь — в переулок, а когда из этого переулка кто-то к тому же тихо окликнул его по имени — Карл сперва даже решил, что ему почудилось, в ушах-то у него давно гудело, — он, ни секунды не раздумывая, резко, чтобы хоть на миг сбить полицейских с толку, метнулся вбок и, чудом удержавшись на ногах, нырнул в переулок.

Едва он — в два прыжка — туда влетел (о том, что кто-то его позвал, он, конечно, мгновенно забыл, тем более что теперь мощно, со свежими силами, засвистел и второй полицейский, отчего случайные прохожие вдалеке, казалось, поспешно ускорили шаги), как вдруг из маленькой двери какого-то дома высунулась рука, сгребла Карла в охапку и со словами: «Только тихо!» — втокнула в темный подъезд. Это был Деламарш — взмыленный, весь мокрый от пота, с налипшими на лоб и затылок волосами. Халат он держал под мышкой, сам был в одних кальсонах и в рубашке. Дверь, которая, как оказалось, вела даже не в подъезд, а в какой-то черный ход, он тут же захлопнул и запер.

— Сейчас, — выдохнул он, откидывая голову к стене и переводя



дух. Карл, почти повиснув у него на руках, в полубеспамятстве уткнулся лицом ему в грудь. — Во, бегут голубчики! — сказал Деламарш, пальцем указывая на дверь и внимательно прислушиваясь. Полицейские, действительно, пробежали мимо — их тяжелый топот отозвался в тишине переулка грозным звяканьем стали о брусчатку. — Э-э, да ты совсем выдохся, — заметил Деламарш, глянув на Карла, который все еще жадно хватал ртом воздух, не в силах вымолвить ни слова.

Он бережно усадил Карла на пол, сам опустился рядом на колени и даже стал гладить Карла по лбу, озабоченно заглядывая ему в глаза.

— Теперь вроде уже ничего, — произнес наконец Карл, тяжело поднимаясь на ноги.

— Тогда пошли, — сказал Деламарш. Он уже снова был в халате и слегка подталкивал Карла в спину — от слабости тот не мог даже голову поднять. Время от времени Деламарш его встряхивал, стараясь взбодрить. — С чего тебе уставать? — рассуждал он на ходу. — Гони по прямой, как конь по степи, не то что я — шмыгай по этим чертовым подворотням. Но ничего, я тоже бегун что надо! — В приливе гордости он с силой хлопнул Карла по спине. — Иногда полезно побегать наперегонки с легавыми.

— Да я еще раньше усталый был, до того, как побежал, — сказал Карл.

— Не умеешь бегать — нечего и оправдываться, — отрезал Деламарш. — Если бы не я, тебя давно бы сцапали.

— Наверно, — согласился Карл. — Я вам очень обязан.

— Да уж не сомневаюсь, — обронил Деламарш.

Шли они какими-то задами по узкому длинному проходу, вымощенному гладким темным камнем. По сторонам, то слева, то справа, открывался то проем черной лестницы, то щель между домами. Взрослых почти не видно, одни дети, играющие на голых лестничных ступеньках. В одном месте, прижавшись к перилам, горько плакала маленькая девчушка — все ее личико влажно поблескивало от слез. Едва завидев Деламарша, она ойкнула и, в ужасе раскрыв ротик и беспрерывно оглядываясь, опроретью кинулась наверх и лишь там, на площадке, слегка успокоилась, убедившись, что никто за ней не гонится и, похоже, не намерен гнаться.

— Я ее сшиб только что, — сказал Деламарш с усмешкой и погрозил девчушке кулаком, на что та с испуганным воплем кинулась бежать еще выше.

И дворы, которыми они шли, тоже были почти безлюдны. Лишь тут и там попадался навстречу то рабочий, толкавший перед собой двухколесную тачку, то женщина у колонки набирала воду в ведро, почтальон мерным шагом пересекал двор, старик с седыми усами, скрестив ноги, отдыхал на лавочке возле застекленной двери, попыхивая трубкой, перед каким-то складом разгружали ящики, лошади, наслаждаясь передышкой, лениво поводили головами, а приказчик в рабочем халате с накладной в руках наблюдал за ходом работ; в какой-то конторе было распахнуто окно, там за пультом сидел чиновник и, отвернувшись от своей писанины, в задумчивости смотрел во двор, — взгляд его безразлично скользнул по проходившим мимо Карлу и Деламаршу.

— Место тут спокойное, тише не придумаешь, — сказал Деламарш. — Вечером, правда, иногда бывает шумно, зато днем — мертвая тишина.

Карл кивнул, ему-то казалось, что здесь слишком тихо.

— Я бы просто не мог жить где-то в другом месте, — продолжал Деламарш, — ведь Брунельда не выносит ни малейшего шума. Ты не знаешь Брунельду? Сейчас увидишь. Так что рекомендую тебе вести себя как можно тише.

Когда они подошли к подъезду дома, где жил Деламарш, автомобиля там уже не было, а парень с провалившимся носом, не выказав при виде Карла ни малейшего удивления, доложил, что отнес Робинсона наверх. Деламарш на это только кивнул, словно парень — его слуга, выполнивший свою повседневную обязанность, и потащил Карла, который было заколебался, оглядываясь на залитую солнцем улицу, за собой по лестнице.

— Сейчас придем, — повторял Деламарш несколько раз, пока они взбирались наверх, но предсказание это всё никак не сбывалось, ибо за каждым поворотом или даже незначительным изгибом лестницы открывался очередной, новый ряд ступенек. Однажды Карл даже остановился — не столько от усталости, сколько от беззащитного изумления перед этой нескончаемой лестницей.

— Да, живем мы высоко, — пояснил Деламарш, когда они двинулись дальше. — Но в этом есть и свои выгоды. Из дому выходишь редко, дома целый день в халате, нет, у нас очень уютно. И гости на такую верхотуру уж точно не доберутся.

«Какие уж тут гости!» — подумал Карл.

Наконец показалась площадка, на которой перед закрытой дверью сидел Робинсон, — они пришли; причем выяснилось, что это еще вовсе не последний этаж — лестница ползла дальше и терялась в полумраке, где ничто не предвещало скорого ее окончания.

— Я так и думал, — тихо, словно все еще невозможная боль, сказал Робинсон. — Я знал: Деламарш его приведет! Росман, что бы ты делал без Деламарша?!

Робинсон, в одном исподнем, без особого успеха пытался закутаться в небольшое одеяльце, на котором его вынесли из отеля «Оксиденталь», — было совершенно непонятно, почему он не заходит в квартиру, предпочитая оставаться здесь и смешить своим видом жильцов дома, которые, надо полагать, все же изредка ходят по этой лестнице.

— Спит? — спросил Деламарш.

— По-моему, нет, — ответил Робинсон, — но я решил лучше дожидаться тебя.

— Сперва надо взглянуть, спит она или нет, — пробормотал Деламарш, наклоняясь к замочной скважине. Прильнув к ней, он долго что-то высматривал, вертя головой то так, то этак, потом наконец распрямился и произнес:

— Не видно толком, штора опущена. Она на кушетке сидит, но, может, и спит.

— Она что, больна? — посочувствовал Карл, желая помочь, поскольку Деламарш явно пребывал в растерянности.

Но тот в ответ только резко переспросил:

— Больна?

— Он же ее не знает, — вступился Робинсон, как бы извиняясь за Карла.

Одна из дверей в глубине коридора распахнулась, оттуда вышли две женщины и, вытирая руки о передники, с любопытством устались на Деламарша и Робинсона, явно над ними потешаясь. Из другой двери выпорхнула совсем юная девушка с ослепительными белокурыми волосами и кокетливо пристроилась к соседкам, взяв их под руки.

— Вот гнусные бабы, — тихо проговорил Деламарш, понижая голос, впрочем, только из-за Брунельды. — Я все-таки донесу на них в полицию и избавлюсь от них на долгие годы. Не смотри туда! — защи-

пел он на Карла, который, со своей стороны, не находил ничего дурного в том, что он смотрит на женщин, раз уж все равно приходится торчать у дверей, дожидаясь, пока Брунельда проснется. В знак несогласия он упрямо мотнул головой и, дабы еще яснее показать, что вовсе не обязан подчиняться окрикам Деламарша, направился было к женщинам, но тут Робинсон со словами: «Росман, ты куда?!» — вцепился ему в рукав, а Деламарш, и так уже разозленный на Карла, услышав громкий смех девушки, пришел в такую ярость, что, размахивая на ходу руками, решительным шагом устремился к женщинам, — тех вмиг как ветром сдуло: каждая шмыгнула в свою дверь.

— Только и знай шугать их из коридора, — пробормотал Деламарш, медленно возвращаясь назад, и тут же, вспомнив о непокорстве Карла, добавил: — А от тебя я жду совсем другого поведения, не то тебе не поздоровится.

В это время усталый женский голос протянул из-за двери с мягкой интонацией:

— Деламарш?

— Да! — ответил тот, преданно глядя на дверь. — Можно войти?

— О да! — отозвался голос, и Деламарш, предварительно смерив своих спутников долгим взглядом, осторожно отворил дверь.

Они очутились в полной темноте. Опушенная до самого пола штора над балконной дверью почти не пропускала свет, а другого окна не было, к тому же комната была сплошь забита мебелью и висевшей повсюду одеждой, что только усугубляло густой мрак. Спертый воздух отдавал сильным запахом пыли, скопившейся по углам, до которых, видимо, годами не добиралась, да и не могла добраться человеческая рука. Первое, что заметил Карл при входе, были три шкафа, плотным рядом составленные в прихожей.

На кушетке возлежала женщина, та самая, что недавно смотрела на них с балкона. Подол красного платья, перекрутившегося внизу, свисал до полу, открывая почти до колен ноги в толстых белых шерстяных чулках, но без туфель.

— Какая жара, Деламарш, — жалобно произнесла женщина, отворачивая лицо от стены и небрежно протягивая руку, которую Деламарш торопливо подхватил и поцеловал. Из-за его спины Карл успел разглядеть только двойной подбородок, тяжело перекатившийся при повороте головы.

— Может, поднять штору? — заботливо спросил Деламарш.

— Только не это! — простонала женщина, не открывая глаз и как бы не в силах превозмочь свое отчаяние. — Будет еще хуже.

Карл подошел к изножью кушетки, чтобы получше ее разглядеть, про себя удивляясь ее жалобам: никакой такой чрезмерной жары он не ощущал.

— Подожди, сейчас тебе станет немного легче, — боязливо приговаривал Деламарш, одну за другой расстегивая пуговицы на вороте ее платья и распахивая ворот почти до груди, пока в вырезе не показалось нежное желтоватое кружево рубашки.

— А это еще кто? — спросила вдруг женщина, указывая на Карла пальцем. — И почему он на меня так уставился?

— Скоро и от тебя будет прок, — шепнул Деламарш Карлу, оттесняя того в сторону. — Это просто мальчишка, — успокоил он женщину, — я его привел, он будет тебе прислуживать.

— Но мне не нужен никто! — вскричала она в ответ. — С какой стати ты приводишь мне в дом посторонних!

— Но ты же сама все время говорила, что тебе нужна прислуга, — лепетал Деламарш, опускаясь возле нее на колени, ибо на кушетке при всей солидной ее ширине для него совершенно не было места.

— Ах, Деламарш, — сказала женщина, — ты не понимал меня и никогда не поймешь.

— Тогда я действительно тебя не понимаю, — огорчился Деламарш, нежно беря ее лицо в ладони. — Но ничего страшного, ты только скажи, и он тотчас же уйдет.

— Раз уж он здесь, пусть остается, — капризно распорядилась Брунельда, и Карл, от усталости уже мало что соображавший, приходя в смутный ужас при мысли о нескончаемой лестнице, по которой, видимо, прямо сейчас надо будет плестись обратно, ощутил такой острый прилив благодарности за эти, возможно, вовсе не столь уж радужные слова, что, перешагнув через мирно спящего на своем одеяле Робинсона и не обращая внимания на грозную жестикуляцию Деламарша, сказал:

— Большое вам спасибо за то, что разрешаете мне хоть ненадолго остаться. Я, наверное, уже сутки не спал, довольно много работал, к тому же пережил немало волнений. Устал ужасно. Даже не знаю толком, где я сейчас. Мне бы поспать несколько часов — а потом можете без всяких церемоний меня прогнать.

— Можешь насовсем оставаться, — сказала женщина и с иронией в голосе добавила: — Места, как видишь, у нас сколько угодно.

— Значит, тебе придется уйти, — изрек Деламарш, — ты нам не понадобишься.

— Нет, пусть остается, — возразила женщина уже вполне серьезно.

— Что ж, тогда ложись где-нибудь, — распорядился Деламарш, как бы нехотя подчинясь ее воле.

— Он может лечь на занавески, только ботинки пусть снимет, а то еще порвет.

Деламарш показал Карлу, куда ему следует лечь. В прихожей между дверью и шкафами обнаружился закуток, где, сваленные в кучу, лежали оконные занавески. Сложив их как следует — тяжелые вниз, те, что полегче, наверх — и вынув заодно всевозможные карнизы с деревянными кольцами, можно было соорудить вполне приличное спальное ложе, а так это была просто бесформенная и вдобавок неустойчивая груда тряпья, на которую Карл тем не менее тотчас же улегся — слишком он устал, чтобы затевать долгие приготовления ко сну, да и неловко было беспокоить хозяев всей этой возней.

Он уже почти провалился в сон, когда вдруг услышал громкий крик и, привстав на локтях, увидел Брунельду: сидя на кушетке, она с жаром раскинула руки и иступленно обняла Деламарша, ерзавшего перед ней на коленях. Неприятно пораженный этим зрелищем, Карл поспешил лечь и поглубже зарылся в занавески, намереваясь снова уснуть. Если так дальше пойдет, он, видимо, и двух дней здесь не выдержит, но тем важнее было сейчас как следует выспаться, чтобы уж потом, на ясную голову, принять быстрое и верное решение.

Но Брунельда уже успела заметить широко раскрытые, неподвижные от усталости глаза Карла, столь напугавшие ее еще в первый раз, и подняла крик.

— Деламарш, — кричала она, — я умираю от жары, я вся горю, мне надо раздеться, я хочу в ванну, выставь их немедленно из комнаты — куда хочешь, в коридор, на балкон, но чтобы я их тут не видела! В собственном доме — и никакого житья! Ах, Деламарш, если бы мы с тобой были одни! Господи, они все еще тут?! Этот наглец Робинсон, да как он смеет валяться в одних кальсонах при даме! А этот мальчишка сперва тарашится на меня, как дикарь, а теперь прикидывается, будто уснул! Да выгонишь ты их или нет, наконец, они же не дают мне жить, они меня душат, учти — если я сейчас умру, это из-за них.

— Их сей же миг не будет, раздевайся, — засуетился Деламарш и, подбежав к Робинсону и поставив ногу ему на грудь, начал его расталкивать. Одновременно он крикнул Карлу: — Росман, вставай! Оба на балкон — живо! И горе вам, если сунетесь в комнату прежде, чем вас позовут! Поднимайся, Робинсон, поднимайся, — он тряс Робинсона все сильнее, — а ты Росман, не жди, пока я за тебя примусь! — прикрикнул он снова, дважды хлопнув в ладоши.

— Да сколько же можно! — вопила Брунельда, сидя на кушетке и широко расставив ноги, дабы дать простор своему необъятному телу; с превеликим трудом, пыхтя, с передышками, она сумела наконец наклониться и приспустить до колен чулки, — снять их совсем было явно выше ее сил, это, видимо, предстояло сделать Деламаршу, помощи которого она теперь с нетерпением ждала.

Превозмогая сон, Карл кое-как сполз со своей груди тряпья и, пошатываясь от усталости, направился к балконной двери — занавеска, которую он зацепил ногой, волочилась за ним по полу, но ему было все равно. Он был настолько не в себе, что, проходя мимо Брунельды, даже пожелал ей спокойной ночи и, миновав Деламарша, который слегка придерживал портьеру, вышел на балкон. Вслед за ним почти сразу же приплелся Робинсон, видимо, ничуть не менее сонный.

— Сколько же можно издеваться над человеком! — бормотал он. — Без Брунельды я на балкон не пойду.

Несмотря на столь решительное несогласие, на балкон он вышел без малейшего сопротивления и, поскольку Карл уже устроился в кресле, без слов улегся прямо на каменный пол.

Когда Карл проснулся, был уже вечер, на небе высыпали звезды и за высокими домами по ту сторону улицы занималось лунное сияние. Лишь с удивлением оглядевшись в незнакомой местности и мало-помалу приходя в себя от освежающей вечерней прохлады, Карл вспомнил наконец, где находится. Как же он был неосторожен, как глупо пренебрег всеми советами главной кухарки, предостережениями Терезы, да и собственными опасениями, — и вот, пожалуйста, сидит, как ни в чем не бывало, на балконе у Деламарша, даже проспал здесь целый день, как будто совсем рядом, за портьерой, вовсе не Деламарш, злейший его недруг. На полу вяло зашевелился ленивый Робинсон и потянул Карла за ногу — видимо, он будил Карла таким же образом, потому что сейчас он сказал:

— Ну, Росман, и силен же ты дрыхнуть! Вот она — беззаботная юность. Сколько ты еще собираешься спать? Я бы и не стал тебя будить, спи себе, но, во-первых, мне тут на полу скучно, а потом — я проголодался. Будь добр, привстань-ка на минутку, у меня там под креслом кое-что припасено, вот теперь я доберусь. И тебе тоже достанется.

Карл, встав со своего места, не без удивления наблюдал, как Робинсон, перевалившись на живот и вытянув руки, пошарил где-то под креслом и извлек оттуда небольшой посеребренный поднос, на каких складывают обычно визитные карточки. На подносе, однако, оказался кусок темной копченой колбасы, несколько очень тонких сигарет, вскрытая, но отнюдь не пустая банка сардин, аппетитно плавающих в масле, а также множество карамелек, по большей части раздавленных и потому слипшихся в комок. Вслед за подносом из-под кресла был выужен порядочный ломоть хлеба и флакончик — вроде бы от духов, но явно с какой-то иной жидкостью, ибо Робинсон показал его Карлу с особым удовлетворением и даже прищелкнул языком.

— Видишь, Росман, — разглагольствовал Робинсон, отправляя в рот сардинку за сардинкой и время от времени обтирая масляные руки о шерстяной платок, вероятно, позабытый Брунельдой на балконе, — видишь, Росман, как надо охранять пропитание, ежели не хочешь подохнуть с голоду. Меня же тут совсем замордовали. А коли с тобой все время обходятся как с собакой, то в конце концов начинаешь думать, что ты собака и есть. Хорошо, что ты здесь, Росман, по крайней мере, есть хоть с кем поговорить. Они-то ведь со мной не больно разговаривают. Сволочная жизнь. А все из-за Брунельды. Баба она, что и говорить, роскошная. Слышишь ты, — и он поманил Карла к себе, чтобы шепнуть ему на ухо, — я ее однажды без ничего видел, ну-у, что ты! — и, придя в полный восторг от одного этого воспоминания, принялся тискать Карла за ляжки, пока тот с криком: «Робинсон, ты что, спятил!» — не перехватил его руки и не отпихнул.

— Ты, Росман, еще ребенок, — продолжал Робинсон, вытащив из-под рубашки финку, которая болталась у него на шейном шнурке, стянул с лезвия кожаный чехол и принялся нарезать твердую колбасу. — Тебя еще учить и учить. Но ничего, у нас ты в надежных руках. Да ты садись. Поесть не хочешь? Ну ладно, может, еще захочешь, на меня глядя. Выпить тоже не хочешь? Ты, я смотрю, ничего не хочешь. И к



тому же не больно-то разговорчив. Но мне-то все равно, с кем быть на балконе, лишь бы был кто-нибудь. Очень уж часто я тут один торчу. Брунельда обожает меня на балкон выставлять. У нее же вечно прихоти — то холодно ей, то жарко, то она спать хочет, то причесываться, то расстегни ей корсет, то опять застегни, а я, значит, чуть что — марш на балкон. Иногда, может, оно и впрямь нужно, но обычно это просто блажь — лежит, как вот давеча, на кушетке и не шелохнется. Раньше я, бывало, занавеску отодвину чуток и смотрю на них, но с тех пор, как Деламарш однажды — сам-то он не хотел, я точно знаю, это Брунельда ему велела — несколько раз стеганул меня плеткой по лицу — вон, видишь рубцы? — я уже боюсь заглядывать. Так вот и лежу на балконе, и никакой тебе радости, кроме жратвы. А позавчера вечером лежу вот тут один, я еще был в своем лучшем костюме, в том самом, который теперь в твоём отеле остался, — вот сволочи, это ж надо, с живого человека хорошую одежду стянуть! — лежу, значит, один, смотрю сквозь перила на улицу, и так мне вдруг тошно стало, хоть вой, ну я и завыл. А тут как раз — случайно, я сперва даже не заметил — Брунельда ко мне на балкон выходит, в красном платье, оно ей особенно к лицу, посмотрела на меня, посмотрела, а потом и говорит: «Робинсон, почему ты плачешь?» И — веришь ли — юбку подняла и давай мне подолом глаза вытирать. И еще неизвестно, как бы оно дальше обернулось, если бы Деламарш ее не позвал — пришлось ей сразу вернуться в комнату. Ну я, конечно, подумал, что теперь-то уж мой черед, и спрашиваю через занавеску — можно, мол, мне в комнату. И знаешь, что она мне ответила? — «Нет!» — говорит. — «С чего ты взял?!» — Вот что она мне ответила.

— Почему же ты тут остаешься, если с тобой так обращаются? — спросил Карл.

— Извини, Росман, но это дурацкий вопрос, — ответил Робинсон. — С тобой, может, еще похуже моего будут обращаться, а ты все равно тоже останешься. И, кстати, обращаются со мной вовсе не так уж плохо.

— Нет уж, — не согласился Карл, — я-то точно уйду, причем еще сегодня. Я с вами не останусь.

— Интересно, как это ты еще сегодня исхитришься уйти? — любопытствовал Робинсон, вырезая мякиш из хлеба и сосредоточенно обмакивая его в коробку из-под сардин. — Как это ты уйдешь, если тебе даже в комнату зайти нельзя?

— А почему нельзя зайти в комнату?

— Пока не позвонят, в комнату заходить нельзя, — просто сказал Робинсон, раскрывая рот как можно шире и запихивая туда пропитавшийся маслом хлеб, — другую руку он заботливо подставил горсткой и ловил в нее капающее с хлеба масло, чтобы потом снова обмакнуть в него остатки хлеба. — Сейчас все строже стало, — продолжал он. — Раньше хоть занавеска была потоньше, не то чтобы прозрачная, но вечером хоть тени было видно. Но Брунельде это не нравилось, и тогда я сшил из ее старой бархатной накидки другую штору и повесил на место прежней. Теперь даже теней не видно, вообще ничего. К тому же раньше я хоть мог в любое время спрашивать, можно мне войти в комнату или нет, и мне, смотря по обстоятельствам, говорили либо «да», либо «нет», но, видно, я слишком часто этим правом пользовался, и Брунельду это стало раздражать, — ты не смотри, что она на вид толстая, на самом-то деле здоровье у нее слабое, мигрень то и дело, да и ноги почти все время болят, подагра у нее, — и тогда решили, что мне больше спрашивать нельзя, а надо дожидаться звонка, — дернут за сонетку, значит, мне можно войти. А звонок очень громкий, даже если я сплю, он меня будит, — раньше я кошку здесь, на балконе, держал, чтобы веселее было, так она от этого трезвона сразу удрала и с тех пор не вернулась. Так вот сегодня еще не звонили, — кстати, когда позвонят, я не просто могу, я обязан зайти в комнату; но когда так долго не звонят, значит, могут и еще столько же не позвонить, а то и дольше.

— Да, но то, что обязательно для тебя, вовсе не обязательно для меня, — возразил Карл. — И вообще, это обязательно лишь для того, кто сам на такое согласился.

— То есть как, — вскричал Робинсон, — для тебя это не обязательно? Очень даже обязательно, это уж само собой. Сиди спокойно и жди, покуда не позвонят. А там посмотрим, как это тебе удастся уйти.

— А сам-то ты почему не уходишь? Только потому, что Деламарш твой друг или, лучше сказать, был твоим другом? Разве это жизнь? Не лучше ли было уехать в Баттерфорд, как вы собирались? Или в Калифорнию, где у тебя друзья?

— Да, — вздохнул Робинсон, — наперед ничего не загадаешь. — И, прежде чем продолжить, со словами: «Будь здоров, Росман!» — сделал затяжной глоток из своего флакончика. — Нам тогда, после того, как

ты нас так подло бросил, совсем туго пришлось. Работы поначалу никакой, Деламарш, впрочем, и не особенно искал, уж он-то нашел бы, но он только и знал, что меня на поиски посылать, а мне вечно не везет. Сам-то просто так где-то болтался, только однажды, ближе к вечеру, дамский кошелек принес, очень красивый, в жемчугах, он его после Брунельде подарил, но внутри считай что пустой. А потом он сказал — будем, мол, по квартирам ходить, просить милостыню, дело нехитрое, да и перепадет, глядишь, кое-что, — ну мы и пошли, а я, чтобы это все покрасивее обставить, даже пел под дверьми. И, представляешь, — я же говорю, Деламаршу всегда везет, — уже возле второй квартиры, — шикарная такая господская квартира на первом этаже, но с высокой лестницей, — только мы собрались кухарке и слуге что-то там спеть, глядим, снизу по лестнице идет дама, хозяйка квартиры, — это и была Брунельда. Не знаю, может, она зашнуровалась слишком туго или еще что, только по лестнице она шла еле-еле. Но красивая, Росман, до невозможности! Платье белое-пребелое и красный солнечный зонтик. Прямо как конфетка, так и съел бы, а начинку высосал! Боже ты мой, Росман, какая это была красавица! Какая женщина! Нет, ты мне только скажи, откуда такие женщины берутся? Кухарка и слуга, конечно, кинулись к ней и чуть ли не на руках внесли ее по лестнице. А мы встали у двери, по бокам, как часовые, и отдали ей честь, принято тут так. Она на секунду остановилась, видно, не отдышалась еще, и тут, не знаю, как это вышло, наверное, у меня с голодухи совсем помутилось в голове, а она вблизи оказалась еще красивей, такая большая, пышная, но при этом, — наверно, на ней был ее особенный корсет, я потом покажу тебе в шкафу, — вся такая плотная, что я чуть-чуть потрогал ее сзади, но слегка, понимаешь, едва прикоснулся. Разумеется, это наглость: какой-то нищий трогает богатую даму. Хотя я ее, можно считать, и не трогал, но все равно получается, что потрогал. Так что еще неизвестно, чем бы это для меня обернулось, если бы Деламарш тут же не закатил мне оплеуху, да притом такую, что я обеими руками схватился за щеку.

— Ишь вы, что вытворяли, — сказал Карл, всецело захваченный этой историей, он даже сел на пол. — Так это, значит, была Брунельда?

— Ну да, — ответил Робинсон, — это была Брунельда.

— Постой, а ты, по-моему, говорил, что она певица, — допытывался Карл.

— Она и есть певица, и притом великая певица, — подтвердил Робинсон, перекатывая на языке огромный ком карамели, и время от времени, поскольку он плохо умещался во рту, подпихивая его пальцем. — Но мы-то, конечно, тогда ничего этого не знали, видим, просто богатая дама, шикарная, и все такое. Она, конечно, сделала вид, будто ничего не случилось, а может, и вправду ничего не почувствовала, я ведь действительно едва до нее дотронулся, самым кончиком пальца. Но на Деламарша она покосилась, а он — он на такие дела мастак — в ответ поглядел ей прямо в глаза. А она ему на это и говорит: «Ну-ка, зайди на минутку», и зонтиком на дверь показывает, мол, проходи в квартиру. Так они оба туда и ушли, а прислуга тут же за ними дверь закрыла. Обо мне они забыли, ну думаю, вряд ли это надолго, и сажусь на лестнице Деламарша дожидаться. Но вместо Деламарша выходит слуга и выносит мне целую кастрюльку супа. Я еще подумал: «Молодец, Деламарш, настоящий друг!» Начинаю есть, а слуга рядом стоит, и, пока я ем, он мне давай про хозяйку рассказывать, — вот тут-то я и смекнул, как нам повезло, что нас пригласили к Брунельде. Женщина она одинокая, разведенная, у нее большое состояние, и она совершенно ни от кого не зависит. Бывший муж, фабрикант какао, все еще ее любит, но она о нем даже слышать не хочет. Он часто приходит к дверям квартиры, одет с иголки, как на свадьбу, — это все чистая правда, я сам с ним знаком, — но слуга, несмотря на щедрые чаевые, даже не отваживается о нем доложить, потому что он уже пробовал докладывать, а Брунельда в ответ всякий раз запускала в него первым, что под руку придется. Однажды даже своей большой фарфоровой грелкой, полной, и выбила ему передний зуб. Вот такие дела, Росман!

— А ты-то откуда знаешь ее мужа? — спросил Карл.

— Так он и сюда иногда взбирается, — ответил Робинсон.

— Сюда?! — от изумления Карл даже прихлопнул ладонью по полу.

— Удивляйся сколько угодно, — продолжал Робинсон, — я сам тоже удивлялся, когда слуга мне все это рассказывал. Сам подумай: когда Брунельды не было дома, этот человек упрашивал слугу пустить его в ее комнату и всякий раз брал на память какую-нибудь безделушку, а Брунельде оставлял дорогой и изысканный подарок, строго-настрого запретив слуге говорить, от кого. Но однажды, когда он принес — так слуга сказал, и я ему верю — какую-то просто бесценную вещицу из фарфора, Брунельда о чем-то то ли вспомнила, то ли

догадалась, — и сразу хрясь ее об пол, и ногами топтать, и плевать, а потом и еще кое-что на нее сделала, так что слугу едва не вырвало, когда он осколки убирал.

— Что же он ей такого сделал? — спросил Карл.

— Я и сам толком не знаю, — ответил Робинсон. — Но думаю, ничего особенного, по крайней мере, сам он тоже не знает. Мы с ним уже несколько раз об этом толковали. Он ведь каждый день поджидает меня вон там, на углу, и, если я прихожу, я ему рассказываю, какие новости, а если не могу вырваться, он полчаса ждет, а потом уходит. Кстати, совсем неплохой был приработок, он со мной всегда щедро расплачивался, но с тех пор, как Деламарш об этом пронюхал, приходится все ему отдавать, — я и ходить стал реже.

— Но что ему надо? — допытывался Карл. — Нет, ты скажи, что ему надо? Ведь он же знает, что она не хочет.

— Да, — вздохнул Робинсон, зажигая сигарету и широкими движениями отгоняя от себя дым. Но потом, видимо, что-то про себя решив, добавил: — А мне-то какое дело. Я знаю одно: он был бы рад отвалить кучу денег только за то, чтобы лежать вот здесь, на балконе, как мы с тобой.

Карл встал и, облокотившись на перила, посмотрел вниз, на улицу. Уже выглянула луна, но ее свет еще не проник в глубины уличных расселин. Такой пустынный днем, переулок сейчас был запружен народом: люди толпились у дверей и подъездов или прохаживались не торопясь; рукава мужских рубашек, светлые платья женщин слабо мерцали из темноты, почти все были без головных уборов. Многочисленные балконы вокруг тоже были усеяны людьми, при свете ламп тут располагались целыми семьями — в зависимости от величины балкона — то вокруг маленького столика, то рядком в креслах, а то и просто стоя или только выглядывая из балконной двери. Мужчины сидели, развалясь, уперев ноги в балконную решетку, и читали огромные, свисавшие почти до полу простыни газет; другие играли в карты — казалось, молча, но с тем большим остервенением колотя козырями по столу; женщины, почти все с рукоделием на коленях, лишь изредка отрывались от своего шитья, чтобы бросить взгляд на окружающее или вниз, на улицу; одна — уже немолодая, болезненно-го вида блондинка на соседнем балконе, — то и дело зевала, всякий раз закатывая глаза и прикрывая рот бельишком, которое она штопала; даже на самых тесных балконах дети исхитрялись затеять бегот-

ню, вызывая недовольство родителей. Во многих квартирах играли граммофоны, оттуда доносилось пение или оркестровая музыка, которую, впрочем, никто особенно не слушал, — лишь изредка глава семейства подавал знак, и кто-то из домочадцев спешил в комнату поставить новую пластинку. В некоторых окнах неподвижно замерли любовные пары, одна как раз стояла в окне напротив: мужчина жадно обнимал девушку, тиская ее грудь.

— Ты хоть кого-нибудь из соседей знаешь? — спросил Карл у Робинсона, который, зябко поеживаясь, встал рядом; помимо своего одеяльца, он теперь укутался еще и в плед Брунельды.

— Да почти никого. В том-то и беда моего положения, — ответил тот и, притянув Карла поближе, шепнул ему на ухо: — Иначе разве стал бы я жаловаться? Но ради Деламарша Брунельда все продала и со всеми своими богатствами переселилась сюда, в эту убогую загородную квартирку, чтобы они могли всецело посвятить себя друг другу и никто их не тревожил, — Деламарш, кстати, тоже этого хотел.

— И прислугу всю уволила? — спросил Карл.

— Именно что, — подтвердил Робинсон. — Да и где ее тут держать? Эти слуги — они тоже с большими претензиями. Деламарш одного из них прямо при Брунельде по щекам отхлестал — оплеухи так и сыпались, пока тот из комнаты не вылетел. Ну а остальные, конечно, с ним заодно, собрались перед дверью и давай шуметь, тогда Деламарш к ним выходит (я тогда еще не был слугой, считался вроде как другом дома, но все равно со слугами был) и спрашивает: «В чем дело?» А старший слуга — был там такой, Исидором его зовут — на это ему: «Нам с вами говорить не о чем, мы служим только нашей милостивой госпоже». Брунельду они, сам понимаешь, сильно уважали. Только Брунельда на них ноль внимания, подбежала к Деламаршу, — она тогда еще не такая тучная была, как сейчас, — обняла его при всех, поцеловала и говорит: «Мой любимый Деламарш», — так прямо и сказала, а потом еще добавила: «Да гони ты прочь всех этих обезьян!» — Это она о слугах так — «обезьяны», представляешь, какие у них сделались рожи! Потом она берет Деламарша за руку и кладет его руку себе на пояс, где у нее кошелек висит, а Деламарш только хватать туда и давай со слугами рассчитывать, а хозяйка их стоит рядом, как ни в чем не бывало, и только кошелек подставляет. Он много раз туда слазил, потому что деньги раздавал не глядя и без всяких там подсчетов: сколько запросят, столько он и сует. А под конец говорит:

«Раз вы со мной разговаривать не желаете, то я вам от имени вашей госпожи приказываю: убирайтесь, только немедленно». Так вот их и уволили, потом было несколько процессов, Деламарша даже как-то раз в суд вызвали, но подробности я не знаю. А как слуги ушли, Деламарш и говорит Брунельде: «Как же ты теперь без прислуги?» А она в ответ: «Но у нас ведь есть Робинсон». И тогда Деламарш хлопает меня по плечу и говорит: «Значит, ты будешь теперь у нас слугой». А Брунельда вдобавок похлопала меня по щеке; Росман, если представится случай, может, она и тебя по щеке похлопает, вот тогда ты поймешь, как это здорово.

— Значит, ты стал слугой у Деламарша? — подытожил Карл.

Робинсон, уловив в голосе Карла сочувствие, немедленно возразил.

— Да, я слуга, но со стороны это почти не заметно. Видишь, даже ты не догадался, хотя вон уже сколько у нас. Зато, видел, как я был одет вчера вечером у вас в отеле? С ниточки — с иголки, разве слуги так одеваются? Жаль только, выходить я могу нечасто, ведь я всегда должен быть под рукой, такое уж хозяйство — дел невпроворот. Столько работы, что одному тут никак не управиться. Ты, верно, заметил, что в комнате полно вещей, — все, что не удалось продать при переезде, мы забрали с собой. Конечно, можно было, наверное, и просто раздать, но Брунельда не такая, чтобы что-то даром раздавать. Представляешь, каково мне было таскать все это по лестнице?

— Как, Робинсон, ты все это перетаскил? — вскричал Карл.

— А то кто же? — невозмутимо ответил Робинсон. — Был, правда, еще один подсобный рабочий, лодырь, каких поискать, так что пришлось мне почти все на своем горбу выволакивать. Брунельда внизу у машины стояла, Деламарш здесь, наверху, командовал, куда что ставить, а я так и бегал взад-вперед. Целых два дня. Долго, скажешь? Но ты же понятия не имеешь, сколько у нас вещей, все шкафы битком, и на шкафах, и за шкафами от пола до потолка. Конечно, если б людей нанять, мы бы в два счета управились, но Брунельда сказала, что такое дело никому, кроме меня, доверить не может. Мне это, конечно, очень приятно, только вот здоровье свое я на этом переезде вконец подорвал, а что у меня еще в жизни есть, кроме здоровья? Теперь же, стоит малость поднапрячься, у меня во всем теле колет — и тут, и тут, и вот тут. Думаешь, эти сопляки из отеля, гниды эти — а кто же они еще, как не гниды болотные? — смогли бы

со мной справиться, если бы не болезнь. Но как бы худо мне ни приходилось, Деламаршу и Брунельде я слова не скажу, буду работать, сколько хватит сил, а как силы кончатся, лягу и помру, вот тогда они поймут, да только поздно будет, что я был болен, а все равно работал на них до последнего и загубил себя у них на службе. Эх, Росман, — всхлипнул он, уткнувшись Карлу в грудь, а немного погодя неожиданно спросил: — Слушай, тебе не холодно так стоять в одной рубашке?

— Хватит, Робинсон, — сказал Карл. — Что ты все хнычешь и хнычешь. Не верю я, что ты так уж болен. Вид у тебя вполне здоровый, просто ты лежишь тут подолгу на балконе, вот и напридумывал бог вещь что. Может, у тебя иной раз и кольнет в груди, так это со всяким бывает, и со мной тоже. Если из-за каждой болячки нюни распускать, так сейчас вон все люди на балконах обливались бы слезами.

— Мне лучше знать, — обиженно сказал Робинсон, утирая глаза кончиком одеяла. — Вот и студент, — он у хозяйки, которая нам стряпает, тоже комнату снимает, — недавно, когда я посуду относил, мне говорит: «Послушайте, Робинсон, вы, часом, не больны?» А мне запрещено с соседями разговаривать, я посуду поставил и собираюсь уходить. Так он ко мне подошел и снова: «Послушайте, как вас там, не доводите себя до крайности, вы точно больны». — «Ну допустим, — говорю, — так что же мне делать?» А он мне: «Это уж ваша забота», — и отвернулся. А остальные за столом как давай хохотать, у нас тут кругом одни враги, ну я и пошел от греха подальше.

— Выходит, людям, которые над тобой издеваются, ты веришь, а тем, кто к тебе по-хорошему, верить не хочешь?

— Но должен же я знать, что со мной! — вскинулся Робинсон, впрочем, тут же снова принимаясь плакать.

— В том-то и дело: ты сам не знаешь, что с тобой, а тебе надо найти приличную работу, чем мыкаться здесь на побегушках у Деламарша. Ведь, судя по твоим же рассказам, да и по тому, что я сам видел, это никакая не служба, а просто рабство. Ни один человек такого не вынесет, тут я тебе верю. Но ты решил, что как друг Деламарша не имеешь права его бросить. Это неверно: раз он даже не замечает, какую жалкую жизнь ты влачишь по его милости, значит, у тебя нет перед ним никаких обязательств.

— Росман, ты, правда, думаешь, что я выздоровлю, если перестану им служить?



— Конечно, — ответил Карл.

— Точно? — переспросил Робинсон.

— Точно, точно, — заверил Карл с улыбкой.

— Тогда я уже прямо сейчас могу начинать выздоравливать, — сказал Робинсон, поглядывая на Карла.

— Это как же? — поинтересовался тот.

— А так: мои обязанности перейдут к тебе, — ответил Робинсон.

— Кто же тебе такое сказал? — усмехнулся Карл.

— Так это давно решено. Об этом еще несколько дней назад говорили. Началось все с того, что на меня рассердилась Брунельда: дескать, я недостаточно тщательно убираю квартиру. Я, конечно, пообещал немедленно навести полный лоск. Но это ведь очень трудно. Понимаешь, при моем здоровье не могу я из всех углов пыль выгребать, тут в центре-то комнаты не протиснешься, а уж во все эти щели среди мебели и припасов — и подавно. И потом, если уж как следует убираться, надо мебель двигать, а как я ее один сдвину? Да еще чтобы очень тихо, ведь Брунельду нельзя беспокоить, а она почти не выходит из комнаты. Так что я хоть и пообещал все прибрать, но толком, конечно, не прибрал. А Брунельда, когда это углядела, сказала Деламаршу: мол, так дальше не пойдет, нужно нанять кого-то еще мне в подмогу. «Не хочу, — говорит, — Деламарш, чтобы ты потом меня упрекал, будто я плохая хозяйка. Самой мне, как ты понимаешь, переутомляться нельзя, а Робинсон один не справляется; поначалу он был такой шустрый и за всем один приглядывал, теперь же чуть что — он устал и все больше в углу сидит. А в такой комнате, как у нас, где столько вещей, порядок сам собой не держится». Ну Деламарш, конечно, стал думать, что тут можно сделать, потому что первого встречного на такое хозяйство брать не годится, даже с испытательным сроком, — за нами же все следят. Тут-то я — я же тебе друг, и к тому же слышал от Реннела, как ты там в своем отеле надрываешься, — тебя и предложил. А Деламарш сразу согласился, хоть ты и некрасиво тогда себя с ним повел, и я, конечно, очень обрадовался, что сумел оказать тебе такую услугу. Понимаешь, это место как раз по тебе. Парень ты молодой, сильный, ловкий, а я — на что я теперь го-жусь. Только учти — это вовсе не значит, что ты уже принят, если ты не приглянешься Брунельде, ты нам не нужен. Так что уж постарайся ей угодить, об остальном я позабочусь.

— А чем же ты займешься, когда я поступлю на службу? — спросил Карл, ощутив прилив необыкновенной свободы: первый страх, который поначалу вызвали у него слова Робинсона, уже миновал. Значит, ничего особенно пакостного Деламарш не задумал, он хочет всего лишь сделать Карла своим слугой, — будь у него на уме что похуже, болтливый Робинсон наверняка бы проговорился, — ну а если только это, подумал Карл, тогда он сегодня же ночью с ними распрощается. Силой никого на работу не нанимают. И если еще совсем недавно, сразу после увольнения из отеля, Карла тревожило лишь одно — как не умереть с голоду и поскорее найти новое, желательное подходящее и не слишком невзрачное место, то теперь, в сравнении с этой службой, которую ему хотят навязать и которая ему противна, любое другое место казалось ему благом, даже безработную нужду он предпочел бы такой службе. Однако объяснить все это Робинсону он даже не пытался, тем более что тот, в напрасной надежде с помощью Карла облегчить себе жизнь, никаких доводов и не хотел слушать.

— Я, — начал Робинсон, облокотившись на перила и сопровождая свою речь рассудительными, спокойными жестами, — первым делом все тебе объясню и покажу, где какие припасы. Парень ты грамотный, и почерк у тебя наверняка красивый, так что сразу составишь опись всего, что у нас тут есть. Брунельда давно об этом мечтает. Если завтра с утра погода будет хорошая, мы попросим Брунельду посидеть на балконе: и сами без помех поработаем, и ее не будем беспокоить. Потому что это, Росман, самое главное. Только не беспокоить Брунельду. Она же все слышит, это, наверно, оттого, что она певица, вот у нее и слух. Допустим, выкатываешь ты бочонок с водкой, он за шкапами стоит, и тихо его не выкатаешь, потому что, во-первых, тяжеленный, а во-вторых, там еще бог весть чего навалено; тут хочешь не хочешь, а шум будет. Брунельда в это время, допустим, спокойно лежит на кушетке и ловит мух, ее вообще очень мухи донимают. Ты думаешь, что ей до тебя никакого дела нет, и катишь бочонок дальше. Она все лежит. Но в тот миг, когда ты этого совсем не ждешь, когда ты уже и не шумишь почти, она вдруг как вскочит на кушетке, как начнет по ней кулаками молотить, — пылища поднимается такая, что ее саму почти не видно, я ведь кушетку с самого переезда не выбивал, а как я ее выбью, если Брунельда целый день на ней лежит, — и кричит, жутко так, прямо как мужик, и может кричать часами. Петь-то ей соседи запретили, ну а кричать кому запретишь, вот

она и кричит, не может она без этого, — правда, в последнее время уже редко, мы с Деламаршем ведем себя тише воды, ниже травы. Да и вредно ей кричать. Однажды она в обморок упала, так я — Деламарша, как назло, не было — соседа-студента притащил, а он принес огромную бутылку и из этой бутылки на нее побрызгал, и помогло, только вонь была страшная от этой дряни, от кушетки, кстати, до сих пор пованивает, если обивку как следует понюхать. Студент тоже, конечно, наш враг, тут все враги, так что ты будь начеку, а лучше ни с кем вообще не связывайся.

— Послушай, Робинсон, — перебил его Карл, — это же тяжелая работа. Хорошенькое местечко ты мне подыскал, нечего сказать!

— Не волнуйся, — успокоил его Робинсон и, закрыв глаза, даже головой покачал, как бы заранее отбрасывая все тревоги Карла. — Тут ведь и выгоды, каких нигде больше не сыщешь. Во-первых, ты постоянно будешь возле такой дамы, как Брунельда, иногда даже спать будешь в одной с ней комнате, а это, сам понимаешь, сулит кое-какие удовольствия. Тебе будут хорошо платить, денег-то навалом, это я как друг Деламарша ничего не получал, только когда на улицу шел, Брунельда обязательно что-нибудь давала, но тебе-то, конечно, будут платить, как всякому другому слуге. Да ты и будешь слугой, кем же еще. А потом, самое главное, я же облегчу тебе работу. В первое время я, само собой, ничего делать не буду, потому что мне надо выздороветь, но, как только малость оклемаюсь, — можешь смело на меня рассчитывать. Собственно, обслуживание Брунельды вообще останется за мной, прическа там, переодевание, когда Деламарш не будет этим заниматься. Ну а за тобой только уборка, покупки и другая тяжелая работа по дому.

— Нет, Робинсон, — сказал Карл, — меня все это не очень соблазняет.

— Не делай глупостей, Росман, — сказал Робинсон, приблизив к Карлу лицо. — Разве можно упускать такую прекрасную возможность? Да где ты вообще сейчас место найдешь? Кто тебя знает? И кого ты знаешь? Мы, двое взрослых, умудренных опытом мужчин, многое в жизни повидавших, и то неделями без работы бегали. Не так-то это просто, это трудно, даже чертовски трудно.

Карл кивнул, удивляясь тому, как разумно, оказывается, способен рассуждать Робинсон. Для него, впрочем, все эти советы не имели смысла, здесь ему оставаться нельзя, а в таком огромном городе

уж где-нибудь найдется для него местечко, ведь ночь напролет, он-то знает, все кафе и рестораны забиты битком, и клиентов кто-то должен обслуживать, а у него в этом деле уже есть навык, нет, он сумеет быстро и неприметно приткнуться к какому-нибудь заведению. Вон в доме напротив, внизу, как раз разместился ресторанчик, откуда и сейчас гремит музыка. Главный вход прикрыт только большой желтой портьерой, которую иногда порывами сквозняка резко выдувает на улицу. Вообще же, в переулке к этому часу стало гораздо тише. На большинстве балконов уже темно, лишь вдалеке кое-где мерцали одинокие огни, но и там, стоило посмотреть подольше, люди через какое-то время поднимались со своих мест, шли в комнату, и только кто-то один, задержавшись на миг, тянулся к лампочке и поворачивал выключатель, бросив прощальный взгляд на улицу.

«Ну вот уже и ночь, — подумал Карл. — Если я еще здесь пробуду, значит, я уже с ними». Он повернулся, собираясь отдернуть портьеру.

— Ты куда? — заслоняя портьеру собой, спросил Робинсон.

— Я уйду, — сказал Карл. — Пропусти. Пропусти меня!

— Не вздумай их беспокоить! — закричал Робинсон. — Ты в своем уме?

Обхватив Карла за шею и повиснув на нем всей тяжестью, Робинсон заплел ему ноги — и в тот же миг оба они повалились на пол. Но среди мальчишек-лифтеров Карл тоже немного научился драться, и сейчас он ткнул Робинсона кулаком в подбородок, но слабо — пожалел. Однако тот в ответ без всякой жалости саданул Карла коленом в живот, после чего тут же схватился обеими руками за подбородок и принялся выть, да так громко, что с балкона поблизости кто-то возмущенно захлопал в ладоши и мужской голос яростно крикнул: «Эй, тихо там!» Какое-то время Карл лежал тихо, стараясь перетерпеть боль после подлого удара Робинсона. Он только голову повернул и посмотрел на портьеру, которая тяжело и неподвижно закрывала вход в комнату. Там, за портьерой, судя по всему, было темно и вроде бы никого не было. Быть может, Деламарш куда-то вышел с Брунельдой, и тогда Карл совершенно свободен. От Робинсона, который и вправду повел себя как сторожевой пес, он теперь-то уж точно отделался.

Но тут откуда-то издали, из глубины переулка, послышалось ритмичное буханье барабанов и залиvistое пение труб. Отдельные вы-

крики, стремительно приближаясь, переросли в единый всеобщий рев. Карл обернулся — на все балконы вокруг снова высыпали люди. Он с трудом поднялся и, не в силах как следует разогнуться, тяжело навалился на перила. Внизу показались какие-то парни, они шли широким шагом, почти маршировали по обоим тротуарам, вскинув над головами шляпы и все время оборачиваясь назад. На мостовой пока что было пусто. Некоторые на длинных шестах несли разноцветные бумажные фонарики, они мерно покачивались, окутанные желтоватым дымком. Наконец из темноты появились трубачи и барабанщики, они выползали широкой колонной, за рядом ряд, и Карл уже начал удивляться их количеству, как вдруг услышал за спиной голоса, обернулся и увидел Деламарша: тот стоял у двери, придерживая портьеру, а из темной комнаты на балкон выходила Брунельда, в красном платье, с кружевной накидкой на плечах и в чепце, из-под которого тут и там выглядывали пряди волос, — очевидно, не успев причесаться, она кое-как собрала их в пучок. В руке у нее был развернут маленький веер, она им не обмахивалась, просто прижимала к груди.

Карл посторонился, пропуская обоих к перилам. Ну конечно же, никто его здесь силой удерживать не станет, а если Деламарш и попытается, все равно Брунельда отпустит его по первой же просьбе. Она же терпеть его не может, так напугал ее его взгляд. Но, едва он шагнул к двери, она тотчас же это заметила и спросила:

— Ты куда, малыш?

Под строгим взглядом Деламарша Карл смешался, и Брунельда притянула его к себе.

— Разве ты не хочешь посмотреть шествие? — спросила она, всем телом притискивая его к перилам. Оказавшись к ней спиной, Карл услышал, как она спрашивает у Деламарша: — Ты не знаешь, что там происходит? — и непроизвольно, но без успеха сделал попытку освободиться из ее объятий.

Он с тоской глянул вниз, на улицу, как будто именно там, внизу, причина всех его несчастий.

Деламарш, скрестив руки на груди, немного постоял у Брунельды за спиной, потом сбегал в комнату и принес ей ее театральный биннокль. Тем временем внизу вслед за музыкантами на улицу вползла главная часть шествия. На плечах у здорового детины важно восседал некий господин, — отсюда, с высоты, можно было разглядеть

только его отсвечивающую лысину, над которой он приветственно помахивал цилиндром. Вокруг него толпа несла, очевидно, плакаты на фанерных щитах, — с балкона они казались совершенно белыми; задумано все было так, чтобы плакаты буквально облепляли господина со всех сторон, а он возвышался над ними в центре. Поскольку шествие двигалось, стена из плакатов то и дело разваливалась, но всякий раз выравнивалась и спланивалась снова. Во всю свою ширину и во всю длину — впрочем, в темноте смутно угадывался лишь короткий ее отрезок — улица была запружена сторонниками господина, они дружно хлопали в ладоши, торжественным хором распевая его имя, краткое, но все равно неразборчивое. То тут, то там, умело рассеянные в толпе, внизу виднелись люди с автомобильными фарами в руках — их резкие, направленные лучи медленно шарили по стенам домов по обе стороны улицы. Здесь, на самом верху, они уже не ослепляли, но было хорошо видно, как люди на нижних балконах, попадая в пятно нестерпимо яркого света, поспешно прикрывают руками глаза.

По просьбе Брунелды Деламарш осведомился у жильцов с соседнего балкона, по какому случаю торжество. Карлу не терпелось услышать, что тому ответят, а главное, как. И в самом деле — Деламарш переспросил трижды, но ответа не удостоился. Он уже с риском для жизни свесился через перила, а Брунелда, злясь на соседей, даже в нетерпении притопнула ногой, слегка задев Карла коленкой. Наконец снизу что-то ответили, но одновременно с балкона, битком забитого людьми, раздался дружный взрыв хохота. Разъяренный Деламарш в свою очередь что-то крикнул соседям, да так громко, что, если бы не сплошной гул с улицы, все вокруг наверняка умолкли бы от неожиданности. Как бы то ни было, этот окрик возымел свое действие, и смех на балконе подозрительно быстро затих.

— Завтра в нашем округе выбирают судью, и вон тот, которого несут, кандидат, — как ни в чем не бывало сообщил Деламарш, снова подходя к Брунелде. — Да-а, — протянул он, ласково похлопав Брунелду по спине, — этак мы совсем от жизни отстанем!

— Деламарш, — произнесла Брунелда, все еще не в силах забыть о поведении соседей, — с каким бы удовольствием я отсюда съехала, не будь это так утомительно. Но, к сожалению, здоровье мне не позволяет. — И, продолжая тяжело вздыхать, она в рассеянности принялась беспокойно теребить рубашку на груди у Карла, который в свою

очередь по возможности незаметно пытался отстранить от себя эти маленькие жирные лапки, что ему, кстати, легко удалось, ибо Брунельда, погруженная в свои мысли, не обращала на него ни малейшего внимания.

Но и Карл вскоре позабыл о Брунельде и терпеливо сносил тяжесть ее рук на своих плечах, настолько увлекли его новые события на улице. Повинуясь указаниям группы мужчин, что, энергично жестикулируя, прокладывали кандидату дорогу и, вероятно, сообщали о чем-то важном — было видно, как все, почтительно прислушиваясь, оборачиваются в их сторону, — толпа неожиданно остановилась перед рестораном. Один из этой командной группы поднял руку, подавая знак одновременно и толпе, и кандидату. Толпа послушно умолкла, а кандидат, несколько раз попытавшись привстать с сиденья, водруженного на плечах у носильщика, и столько же раз плюхнувшись обратно, произнес краткую речь, подкрепляя ее широкими и энергичными взмахами цилиндра. Все это было легко разглядеть, поскольку, едва он начал говорить, лучи всех автомобильных фар разом уткнулись в него, так что он оказался как бы в центре огромной светящейся звезды.

Теперь стал заметен и интерес всей улицы к происходящему. С балконов, где расположились болельщики кандидата, слышались голоса, нараспев скандирующие его имя, тянулись через перила руки, торопясь примкнуть к ритмичным, в такт музыке, рукоплесканиям. С остальных балконов — таких, пожалуй, было даже побольше — в ответ раздавался мощный встречный хор, поначалу, впрочем, не столь слаженный, ибо состоял он из приверженцев разных кандидатов. Но вскоре все противники кандидата нашли способ объединить свои усилия в дружном свисте, а некоторые вдобавок запустили граммофоны. Между отдельными балконами начали назревать политические конфликты, острота которых усугублялась непривычно поздним временем и соответственно чрезмерным возбуждением участников. Большинство повыскакивали на балконы в ночных рубашках, в пижамах, наспех накинув халаты, женщины кутались в большие темные платки, оставленные без присмотра дети с леденящей душу решимостью карабкались на балконные решетки и во все большем числе вышмыгивали из темных комнат, где они только что спали спокойным сном. То с одного, то с другого балкона уже летели трудно различимые предметы, запущенные особо разгоряченными гражда-

нами в своих политических противников, иногда они даже попадали в цель, но чаще падали вниз, в толпу, вызывая в месте падения яростный вопль негодования. Когда командной группе становилось невмоготу, барабанщики и трубачи получали приказ вступать, и их громоподобный, нескончаемый глас в один миг перекрывал своей мощью разноголосый людской галдеж, заполняя все пространство улицы от тротуаров до самых высоких крыш. И потом, всегда с удивительной внезапностью — даже не верилось, — обрывался, после чего толпа на улице, явно специально этому обученная, пользуясь мгновением ошеломляющего безмолвия, дружным ревом затягивала свой гимн — в свете фар хорошо были видны самозабвенно разинутые рты, пока их противники, приходя в себя после секундного замешательства, не отвечали со всех балконов и подоконников вдесятеро громче, принуждая неприятеля, одержавшего было кратковременную победу, к полному — так, по крайней мере, казалось отсюда, сверху, — молчанию.

— Ну что, малыш, тебе нравится? — спросила Брунельда, налегая на Карла пуще прежнего, поскольку вертелась во все стороны, стараясь все разглядеть в бинокль. Карл в ответ только кивнул. Краем глаза он успел заметить, как Робинсон что-то быстро-быстро нашептывает Деламаршу, очевидно, торопясь доложить о неблагоприятном поведении Карла, но Деламарш, судя по всему, не придавал этому никакого значения: обняв Брунельду правой рукой, левой он все время пытался отпихнуть от себя назойливого Робинсона.

— Не хочешь посмотреть в бинокль? — спросила Брунельда и слегка похлопала Карла по груди, давая понять, что имеет в виду именно его.

— Мне и так видно, — ответил Карл.

— А ты попробуй, — настаивала Брунельда, — будет еще лучше.

— У меня хорошее зрение, — заверил ее Карл, — я все вижу.

Когда же она все-таки приблизила бинокль к его лицу, Карл усмотрел в этом жесте отнюдь не любезность, а, скорее, намеренную навязчивость, тем более что прозвучало при этом одно лишь властное словечко: «Ну!» — произнесенное хоть и нараспев, но с угрозой в голосе. И вот уже бинокль уткнулся Карлу прямо в глаза, и Карл действительно перестал что-либо видеть.

— Я же ничего не вижу, — сказал он, пытаясь отстраниться, но не тут-то было: бинокль был прижат плотно, голова Карла утонула в



пышной груди Брунельды, как в подушках, — ни повернуть ее, ни отклонить назад он не мог.

— Но теперь-то видишь? — нетерпеливо спросила Брунельда, крутя ручку настройки.

— Нет, не вижу, — ответил Карл, успев подумать, что, сам того не желая, уже облегчил жизнь Робинсону: теперь вот Брунельда на нем, а не на Робинсоне вымещает свои несносные капризы.

— Да когда же ты, наконец, будешь видеть? — раздраженно спросила Брунельда, крутя ручку и обдавая все лицо Карла своим тяжелым дыханием. — А теперь?

— Да нет же, нет, не вижу! — крикнул Карл, хотя теперь-то как раз он видел, правда, еще очень расплывчато, почти все. Но тут Брунельда отвлеклась на Деламарша, слегка отодвинула бинокль от лица Карла, так что он мог теперь, незаметно для нее, смотреть на улицу поверх бинокля. А потом она уже не настаивала на своей прихоти и смотрела в бинокль сама.

Тем временем внизу из ресторана выскочил официант и, мечась на пороге от одного распорядителя демонстрации к другому, торопливо принимал заказы. Было видно, как он, вытянув шею, высматривает в глубине зала своих товарищей, чтобы позвать их на подмогу. Во время этих приготовлений, предшествовавших, очевидно, задуманной организаторами щедрой бесплатной выпивке, сам кандидат не умолкал ни на секунду. Его носильщик, огромный и только ему одному подчинявшийся детина, после каждых нескольких фраз слегка поворачивался на месте, как бы равномерно распределяя содержание речи среди всех столпившихся. Кандидат же, с трудом сохраняя равновесие при каждом таком повороте и скрючившись, как наездник в седле, резко выбрасывал над головой то одну, свободную, руку, то другую, с цилиндром, стараясь придать своей речи максимально возможную убедительность. Но время от времени, с почти безупречной регулярностью, его будто пронзало током, — он весь вскидывался и, обнимая руками воздух, обращался уже не к какой-то группе в отдельности, а ко всем собравшимся, включая и местных жителей вплоть до самых последних этажей, хотя было совершенно ясно, что даже на нижних этажах его никто не слышит, и более того — никто не хочет слушать и с удовольствием бы не слушал, будь такая возможность, ибо теперь в каждом окне и на каждом балконе уже нашелся по меньшей мере один свой громогласный оратор. Официанты меж-

ду тем вынесли из ресторана огромный, величиной с бильярдный стол, поднос с наполненными до краев золотисто искрящимися кружками. Распорядители немедленно организовали раздачу, которая совершалась как бы в форме парадного марша толпы вдоль ресторанный подъезда. Но хотя пустые кружки на подносе обновлялись мгновенно, на всех этого было явно мало, поэтому официанты, образовав справа и слева от подноса две живые цепочки, сновали из ресторана и обратно, пытаясь таким образом обслужить всех желающих. Кандидат, разумеется, на это время прервал свою речь и, пользуясь паузой, собирался с силами. В стороне от толпы и яркого света носильщик неспешным шагом прогуливал его туда и обратно, и только несколько ближайших соратников семенили рядом, время от времени почтительно, снизу вверх, к нему обращаясь.

— Посмотри-ка на малыша, — сказала Брунельда. — Так загляделся, что просто забыл, где находится. — Неожиданно для Карла она схватила его за голову обеими руками и, с силой повернув к себе лицом, взглянула ему прямо в глаза. Правда, смотрела она недолго. Карл отбросил ее руки и, злясь на то, что его ни на секунду не оставляют в покое, испытывая желание поскорее побежать на улицу, самому вблизи посмотреть на все, что там происходит, изо всех сил рванулся из объятий Брунельды.

— Пожалуйста, отпустите меня, — попросил он.

— Ты останешься у нас, — бросил Деламарш, не отрывая взгляда от улицы, — только руку вытянул, преграждая путь Карлу.

— Брось, — сказала Брунельда, отводя руку Деламарша, — он и так никуда не уйдет.

И еще крепче притиснула Карла к перилам, — теперь, захоти он освободиться, ему пришлось бы попросту бороться с ней. Но и тогда, в случае успеха, чего бы он достиг? Слева от него стоял Деламарш, справа как бы невзначай пристроился Робинсон, — да он просто в плену.

— Скажи спасибо, что тебя вообще не выбрасывают, — вставил Робинсон, ухитрившись просунуть руку под локтем у Брунельды и хлопнуть Карла по плечу.

— Зачем же выбрасывать? — рассудительно сказал Деламарш. — Беглых воров положено не выбрасывать, а выдавать полиции. И завтра же утром я могу ему это устроить, если он не утихомирится.

С этой секунды грандиозное зрелище внизу перестало радовать

Карла. Лишь поневоле — объятия Брунельды все равно не давали ему как следует выпрямиться — смотрел он на улицу, слегка склонившись над перилами. Поглощенный своими тревогами, он рассеянным взглядом следил за тем, как люди внизу, сбиваясь в группы человек по двадцать, подходят к ресторанному подъезду, словно по команде, хватают кружки, а затем, дружно повернувшись кругом, салютуют ими кандидату, который даже не смотрел в их сторону, выкрикивают партийное приветствие, опустошают кружки и — наверняка с грохотом, хотя отсюда, с высоты, грохота не слышно, — ставят кружки обратно на поднос, чтобы уступить место очередной возбужденно галдящей группе. По команде одного из распорядителей оркестр, игравший до этого в ресторане, теперь в полном составе вышел на улицу, мощные духовые инструменты золотисто поблескивали в черной толпе, но самой музыки было почти не слышно, она терялась во всеобщем шуме. Улица — по крайней мере, та ее сторона, где находился ресторан, — была уже битком забита народом. С горы, откуда Карл вчера приехал на автомашине, люди стекались вниз, снизу, где был мост, они со всех ног бежали в гору, и даже те, кто сидел по домам, не устояли перед соблазном, так сказать, приложить руку к даровому угощению, — на балконах и в окнах остались теперь почти сплошь женщины и дети, зато мужчины валом валили из ворот и подъездов. Но, видимо, музыка и выпивка уже сделали свое дело, народу скопилось достаточно, поэтому один из распорядителей, эскортируемый светом двух автомобильных фар, взмахом руки остановил оркестр и громко свистнул — тут все снова увидели носильщика, уже порядком взмыленного; с кандидатом на плечах, он спешно пробирался сквозь толпу по проходу, который прокладывала для него группа помощников.

Едва добравшись до входа в ресторан и снова очутившись в кольце автомобильных фар, на сей раз, правда, наставленных на него почти в упор, кандидат немедленно начал новую речь. Но теперь все шло куда тяжелей, чем раньше: носильщику, стиснутому со всех сторон, было уже не до поворотов, а толпа все напирала. Ближайшие сторонники кандидата, стремившиеся прежде всеми возможными средствами усилить эффект его речи, теперь помышляли лишь об одном: как бы от него не отбиться; человек двадцать из них вцепились в носильщика и держались за него изо всех сил. Но даже этот богатырь не мог уже и шагу ступить по своей воле, а уж о том, чтобы как-

то повлиять на толпу, подчинить ее каким-то своим маневрам — двинуться вперед, уклониться, отступить, — нечего было и думать. Толпа бурлила водоворотами, люди наваливались друг на друга, всех куда-то несло, армия противников кандидата, похоже, за счет новоприбывших сильно увеличилась, носильщик какое-то время еще стойко держался подле ресторана, но потом, судя по всему, прекратил сопротивление и вверил себя людскому потоку, который бросал его, как щепку, из стороны в сторону, кандидат у него на плечах по-прежнему говорил без умолку, но было не вполне ясно, излагает ли он свою предвыборную программу или просто зовет на помощь; к тому же, насколько можно было понять, у него обнаружился соперник, и даже не один, ибо то тут, то там в беспорядочных вспышках света над толпой вдруг появлялась фигура то одного, то другого оратора, — бледный, со вскинутым кулаком, он произносил свою речь, сопровождаемую бурными возгласами одобрения.

— Что там происходит? — воскликнул Карл и в полном смятении оглянулся на своих тюремщиков.

— Смотри-ка, как малыш разволновался, — сказала Брунельда Деламаршу и взяла Карла за подбородок, намереваясь снова прижать его голову к своей груди. Но Карлу это решительно не понравилось, и он, видимо, тоже одичав от уличной сумятицы, дернулся с таким остервенением, что Брунельда не только отпустила, но даже оттолкнула его от себя, неожиданно возвращая ему полную свободу. — Ну хватит, посмотрелся уже, — сказала она, явно рассерженная строптивостью Карла. — А теперь отправляйся в комнату, постели постель и приготовь все на ночь.

И она властно указала рукой в направлении комнаты. То есть в ту сторону, куда Карл уже который час тщетно рвался — теперь он, естественно, ни словом не возразил. Но тут с улицы донесся звон разбитого стекла, потом еще и еще. Карл не удержался и подскочил к перилам, чтобы напоследок еще разок взглянуть вниз. Очередная и, по всей видимости, решающая атака противников кандидата увенчалась успехом, автомобильные фары в руках его приверженцев, чей сильный свет позволял, по крайней мере, основным событиям протекать на глазах общественности и как-то сдерживать их в известных границах, были все и, очевидно, разом разбиты, кандидат и его носильщик мгновенно потерялись в слабом уличном освещении, скудость которого по внезапности контраста смахивала скорее на крошечный

мрак. Теперь при всем желании даже приблизительно невозможно было догадаться, где находится кандидат, а обманчивое впечатление полной тьмы только усилилось, когда откуда-то снизу, со стороны моста, вдруг грянуло и, грозно приближаясь, разнеслось по улице мощное многоголосое пение.

— Тебе, по-моему, сказано, чем заняться, — напомнила Брунельда. — Поторопись, я устала, — добавила она и, раскинув руки, потянулась, выпятив свой и без того необъятный бюст. Деламарш, все еще обнимая ее за плечи, увлек ее в угол балкона. Робинсон поспешил за ними, чтобы успеть убрать остатки еды, которые все еще лежали там на полу.

Столь благоприятную возможность Карлу нельзя было упустить, сейчас не время глазеть на улицу, он еще успеет наглядеться — и не издали, сверху, а там, вблизи. В два прыжка проскочив красноватый полумрак комнаты, Карл очутился у двери, но дверь оказалась закрыта, и ключа в замке не было. Надо сейчас же его найти, но где же его найдешь в этом бедламе, особенно в спешке, в считанные драгоценные минуты, что у Карла в распоряжении. Подумать только, он бы уже мог быть на лестнице, и уже бежал бы, бежал без оглядки! А он все ищет этот проклятый ключ! Шарит по всем ящикам, роется на столе, где все свалено в кучу — всевозможная посуда, салфетки, какое-то незаконченное вязанье, — тут его взгляд упал на кресло со сваленным на него ворохом старого тряпья, среди которого, возможно, и спрятан ключ, только попробуй его найти в этой гряде, потом он кинулся к кушетке, от которой и вправду воняло какой-то дрянью, намереваясь перерыть ее всю в надежде нащупать ключ в складках покрывала или под подушкой. Наконец он бросил поиски и, не зная, как быть, остановился посреди комнаты. Ну конечно, ключ висит у Брунельды на поясе, догадался он, у нее там бог весть что повешено, так что искать бесполезно.

В отчаянии он схватил два ножа и просунул их лезвиями между дверных створок, один сверху, другой снизу, чтобы распоры получились в двух местах. Едва он нажал на рукоятки, ножи, разумеется, тут же обломились. Карлу только того и надо было, он еще глубже вогнал рукоятки в образовавшуюся щель — лучше будут держаться. И, для упора расставив ноги пошире, обеими руками что есть сил навалился на рукоятки, постанывая от натуги, но при этом внимательно следя за дверью. Долго она не выдержит, Карл с радостью это понял по

тихому скрежету защелки в замке, но чем медленнее она подавалась, тем лучше, выламывать замок было никак нельзя, треск наверняка услышат с балкона, нет, его надо именно разжать, раздвинуть, и как можно аккуратней, что Карл и стремился сейчас проделать, все ниже склоняясь над замком.

— Ты посмотри, — услышал он вдруг голос Деламарша. Все трое стояли в комнате, портьера была уже задернута, — видимо, Карл не услышал, как они вошли, — теперь же от неожиданности выпустил рукоятки ножей. Но что-либо объяснить или хоть слово сказать в свое оправдание он не успел: в приступе дикой ярости, чрезмерной для столь ничтожного предлога, Деламарш бросился на него — полы распахнутого халата взметнулись в воздухе, как крылья. Карл, однако, в последнюю секунду сумел увернуться, он мог бы, кстати, и ножи выхватить из дверной щели, чтобы обороняться с оружием в руках, но не стал, а вместо этого, поднырнув под Деламарша и внезапно выпрямившись, ухватил того за ворот халата и что есть силы дернул вверх, а потом еще и еще, пока — благо халат Деламаршу был очень велик — весьма ловко не натянул его Деламаршу на голову; первое время Деламарш, ошавев от неожиданности, беспомощно молотил кулаками воздух и только немного погодя, но зато уже со всей мощностью, обрушил свои удары на спину Карла, который, стараясь защитить лицо, прятал теперь голову на груди противника. Терпеливо, хотя и содрогаясь от боли, Карл сносил эти удары, с каждым разом все более чувствительные, но он знал, что все стерпит, ибо уже предчувствовал победу. Еще крепче ухватив голову Деламарша, большими пальцами уже нащупывая под халатом его глаза, он тащил его за собой через весь этот беспорядочный лабиринт мебели и еще пытался по пути мысками ботинок зацепить шнур халата и обвить этим шнуром ноги Деламарша, чтобы повалить своего врага на пол.

Но поскольку он всецело сосредоточился только на Деламарше, тем более что сопротивление того возрастало и он чувствовал, как все яростней упирается упругое тело противника, он начисто забыл, что дерется с Деламаршем не один на один. Однако скоро, слишком скоро ему пришлось об этом вспомнить, ибо внезапно ноги перестали его слушаться — это Робинсон, подкравшись сзади, с гиканьем бросился на пол и схватил его за лодыжки. Карл со вздохом отпустил Деламарша, который и после этого по инерции все еще пятился. Необъятная фигура Брунельды возвышалась посреди комнаты: широко

расставив ноги и слегка присев от возбуждения, она жадно следила за развитием событий. Словно сама участвуя в драке, она пыхтела как паровоз, грозно вращала глазами и, сжав кулаки, наносила незримо-му противнику короткие, неуклюжие удары. Деламарш сдернул с головы халат, ну и теперь, когда он снова все видел, поединок как таковой кончился — началось наказание. Схватив Карла за грудки, Деламарш шутя оторвал его от пола и, даже не удостоив взглядом, с такой силой отшвырнул от себя, что Карл, отлетев на несколько шагов и со всего маху врезавшись в шкаф, в первый миг оглушительной боли, молнией пронзившей затылок и позвоночник, даже не понял, что это от удара о шкаф, и решил, что Деламарш каким-то образом ухитрился напасть на него сзади.

— Ах ты, мразь, — услышал он сквозь черноту, зыбкой пеленой подступающую к глазам, гневный крик Деламарша. Теряя силы, он стал медленно оседать на пол, и следующие слова Деламарша: — Ну подожди у меня! — донеслись до него уже только слабым отголоском.

Очнулся он в полной темноте, видимо, была еще глубокая ночь, и только из-за портьера в комнату проникал робкий отсвет лунного сияния. Где-то рядом слышалось ровное дыхание спящих, по самому громкому он сразу узнал Брунельду — когда разговаривала, она пыхтела точно так же; однако точнее установить, кто и где спит, было совсем не просто — казалось, мерное сопение заполнило собой всю комнату. Лишь теперь, оглядевшись и мало-помалу придя в себя, Карл вспомнил, где находится, и тут не на шутку испугался, ибо, хотя все тело у него ныло и от боли страшно было пошевелиться, он только сейчас сообразил, что, возможно, серьезно ранен и истекает кровью. И действительно, в голове он чувствовал непривычную тяжесть, а все лицо, шея и грудь под рубашкой были мокрые, — неужто от крови? Надо поскорее на свет, как следует разглядеть, что с ним, может, его вообще изувечили, тогда-то уж Деламарш наверняка его отпустит, только калекой кому он нужен, тогда он и вправду пропал. Ему вспомнился парень с провалившимся носом, и на секунду он даже закрыл руками глаза.

Потом он произвольно вспомнил о двери и ползком, на четвереньках, ощупью двинулся в ту сторону. Вскоре пальцы его наткнулись на сапог, а в сапоге нащупали чью-то ногу. Это, конечно, Робинсон, кто же еще додумается спать в сапогах? Значит, ему приказали лечь в прихожей перед дверью, чтобы не дать Карлу улизнуть. Но раз-

ве они не знают, в каком он состоянии? Он пока что и не помышляет о бегстве, ему бы на свет выбраться. Что ж, раз в дверь нельзя, надо ползти на балкон.

Обеденный стол оказался совсем не там, где стоял вечером, а тахта, к которой Карл, разумеется, приближался с особой осторожностью, вообще была пуста, зато посредине комнаты, на самом ходу, он наткнулся на какую-то странную, но очень плотно сложенную грудку из одежды, покрывал, занавесок, подушек и ковров. Сперва он решил, что это просто небольшая куча разного тряпья, наподобие той, что он вчера перевернул в кресле, когда искал ключ — наверно, ее второпях сбросили на пол, — но, ползя дальше, он с изумлением обнаружил, что это целая свалка вещей, зачем-то специально извлеченных на ночь из шкафов, где они хранились днем. Ползком огибая грудку, он вскоре догадался, что это грандиозное спальное ложе, на котором, как он убедился путем осторожного ощупывания, почивают Деламарш и Брунельда.

Теперь он знал наконец, кто где спит, и поспешил на балкон. Здесь, за портьерой, был совсем другой мир, очутившись в котором, Карл с облегчением встал на ноги. Наслаждаясь свежестью ночной прохлады и ярким светом луны, он несколько раз прошелся по балкону туда и обратно. Потом глянул вниз, на улицу: там было совсем тихо, правда, из ресторана еще доносилась музыка, но приглушенно, да дворник у подъезда подметал тротуар, — с трудом верилось, что там, где совсем недавно в несусветном тысячеголосом гаме беспомощно тонули вопли кандидата, теперь только мягкое шарканье метлы по мостовой нарушает сонную тишину.

Скрип отодвинутого стола на соседнем балконе привлек внимание Карла — там, оказывается, кто-то сидел и занимался. Это был молодой человек с острой бородкой, которую он, склонившись над книгой и сосредоточенно шевеля губами, то и дело пощипывал. Он сидел лицом к Карлу за маленьким, заваленным книгами столиком, лампу со стены он снял и приспособил тут же, зажав патрон между двумя толстенными книгами, яркий свет этой лампы освещал его с ног до головы.

— Добрый вечер, — сказал Карл, так как ему показалось, что молодой человек на него смотрит.

Но, по-видимому, он ошибся — молодой человек, похоже, даже не видел его; прикрыв ладонью глаза от слепящего света, он теперь



тщетно пытался разглядеть, кто это с ним здороваются, а потом, поскольку разглядеть все равно не удалось, слегка приподнял лампу, чтобы осветить соседний балкон.

— Добрый вечер, — ответил он наконец, какое-то время пристально вглядываясь в Карла, а потом добавил: — Ну и дальше что?

— Я вам мешаю? — спросил Карл.

— Да уж, конечно, — ответил тот, определяя лампу на прежнее место.

После этих слов все пути к знакомству были отрезаны, однако Карл все равно не уходил из балконного угла, откуда до молодого человека было ближе всего. Он молча наблюдал, как тот читает свою книгу, переворачивая страницы, время от времени — неизменно с молниеносной быстротой — хватает другую книгу, чтобы что-то в ней посмотреть, и то и дело что-то записывает в толстую тетрадь, почему-то низко-низко склоняя над ней лицо.

Может, это и есть тот самый студент? Похоже на то, ведь он явно что-то учит. Почти совсем как когда-то Карл, — как же давно все это было! — сидя дома за родительским столом, писал свои домашние задания; отец в это время либо газету читал, либо делал записи в конторской книге и отвечал на корреспонденцию фирмы, а мама шила, высоко выдергивая из ткани иголку на длинной нитке. Чтобы не мешать отцу, Карл клал перед собой на столе только тетрадь и ручку, а учебники и задачки по порядку раскладывал в креслах. Как же тихо было дома! Как редко заходили к ним в комнату чужие люди! Еще совсем маленьким Карл очень любил смотреть, как мама вечером запирает дверь их комнаты щелкающим поворотом ключа. Ей и невдомек, до чего докатился ее сыночек: взламывает чужие двери ножами!

Да и много ли проку было от его ученья? Ведь он же все позабыл, и, случись вдруг снова пойти здесь, в Америке, в школу, ох и трудно бы ему пришлось. Он же помнит, как однажды, еще дома, целый месяц проболел и каких трудов и мучений стоило ему тогда наверстать упущенное. А теперь тем более: ведь, кроме английского учебника коммерческой корреспонденции, он давным-давно ни одной книги в руки не брал.

— Эй, молодой человек! — услышал вдруг Карл обращенные к нему слова, — вы не могли бы встать где-нибудь в другом месте? Сколько можно глазеть, вы же ужасно мешаете. В два часа ночи на собст-

венном балконе — и то спокойно поработать не дадут. Или вам что-нибудь от меня надо?

— Вы занимаетесь? — спросил Карл.

— Да, да! — ответил молодой человек, используя эти, все равно уже потерянные для работы мгновения, чтобы навести какой-то новый порядок в своих книгах.

— Тогда не буду вам мешать, — сказал Карл, — я вообще уже ухожу. Спокойной ночи.

Молодой человек даже не ответил: в приступе внезапной решимости, благо помеха теперь была устранена, он с новыми силами уткнулся в свои книги, подперев лоб правой рукой.

Только тут, уже вплотную подойдя к портьеру, Карл вспомнил, зачем он, собственно, сюда вышел: он же хотел посмотреть, что с ним. Почему у него такая тяжесть в голове? Он потрогал голову и, к немалому своему изумлению, обнаружил на ней не кровавую ссадину, а тугую и все еще влажную повязку наподобие тюрбана. Судя по свисавшим остаткам кружева, это было старое Брунельдино белье, очевидно, наспех разорванное на бинты, которыми кто-то, скорее всего Робинсон, и обмотал Карлу голову. Только потом забыл снять, и, пока Карл лежал в беспомощности, вода стекала по лицу и под рубашку Карла, отчего он потом и напугался.

— Вы все еще тут? — спросил молодой человек, подслеповато щурясь на Карла.

— Теперь я и правда ухожу, — успокоил его Карл. — Просто хотел рассмотреть кое-что, а в комнате темно.

— А кто вы такой, собственно? — спросил молодой человек, положив ручку на раскрытую книгу и подходя к перилам. — Как вас зовут? Что делаете у этих людей? Вы давно здесь? И что вам понадобится рассматривать? Да включите, наконец, лампу, вас же не видно.

Карл включил, но, прежде чем ответить, поплотнее задернул портьеру, чтобы свет не заметили из комнаты.

— Извините, — сказал он полушепотом, — что я так тихо говорю. Но если они услышат, мне опять устроят взбучку.

— Опять? — переспросил молодой человек.

— Ну да, — с готовностью пояснил Карл. — Я и так сегодня вечером с ними поссорился. Шишка у меня, наверно, здоровущая. — И он осторожно пощупал свой затылок.

— Из-за чего же вы поссорились? — спросил молодой человек, и,

поскольку Карл замялся с ответом, поспешно добавил: — Можете спокойно выкладывать все, что имеете против этих господ. Я-то их всех троих ненавижу, в особенности мадам. Не удивлюсь, впрочем, если они уже наговорили вам обо мне кучу гадостей. Меня зовут Йозеф Мендель, я студент.

— Да, — сказал Карл, — мне про вас рассказывали, но ничего плохого. Ведь это вы помогли госпоже Брунельде, правильно?

— Точно, — подтвердил студент и засмеялся. — Что, от тахты все еще воняет?

— Еще как!

— Весьма рад, — с удовлетворением произнес студент, проводя рукой по волосам. — А за что вам набивают шишки?

— Поссорились, — задумчиво сказал Карл, не зная, как бы лучше все объяснить студенту. Но потом передумал и спросил: — А я вам не мешаю?

— Во-первых, — сказал студент, — вы мне уже помешали, а у меня так плохо с нервами, что, если меня прервут, мне потом долго нужно сосредотачиваться. С тех пор, как вы устроили себе моцион на балконе, я ни на йоту не продвинулся. А во-вторых, в три я всегда делаю перерыв. Так что рассказывайте спокойно. К тому же мне это интересно.

— Да все очень просто, — начал Карл. — Деламарш хочет, чтобы я стал у него слугой. А я не хочу. Будь моя воля, я бы еще вечером ушел. Но он меня не пускал, дверь запер, я хотел ее взломать, потом дошло до драки. Мне не повезло, и вот я пока что здесь.

— А у вас есть другое место? — поинтересовался студент.

— Нет, — ответил Карл, — но мне это не важно, мне лишь бы вырваться отсюда.

— Послушайте-ка, — спросил студент, — для вас, значит, это не важно? — Оба немного помолчали. — А почему вы так не хотите у них остаться?

— Деламарш очень скверный человек, — объяснил Карл. — Я давно его знаю. Однажды я с ним целый день прошел пешком и был до смерти рад, когда от него избавился. А теперь мне у него слугой быть? Нет уж.

— Если бы все слуги, выбирая себе хозяев, были столь шепетильны, — сказал студент и, похоже, усмехнулся. — Взять хотя бы меня: днем я работаю продавцом, причем младшим продавцом, скорее даже мальчиком на побегушках в универмаге Монтли. Этот Монтли, мой

хозяин, несомненно, подлец из подлецов, но меня это совершенно не волнует, в ярость меня приводит только мое убогое жалованье. Вот и берите пример с меня.

— Как? — изумился Карл. — Днем вы, значит, продавец, а ночью учитесь?

— Ну да, — ответил студент. — Иначе не выходит. Я уже все перепробовал, и, поверьте, такой способ существования — еще самый благополучный. Когда-то я был просто студентом, так сказать, и днем и ночью, так я едва не умер от голода, спал чуть ли не в собачьей конуре, а одевался так, что стыдно было ходить на лекции. Но с этим покончено.

— Но когда же вы спите? — спросил Карл, удивляясь все больше.

— Когда сплю? — переспросил тот. — Вот доучусь, тогда и высплюсь. А пока что пью черный кофе. — И с этими словами он нагнулся, вытащил из-под стола большую бутылку, налил себе чашечку кофе и залпом выпил, как горькое лекарство, которое торопятся проглотить, чтобы не успеть почувствовать его вкус. — Отличная штука — черный кофе, — проговорил студент. — Жалко, что вы так далеко, а то я бы и вас угостил.

— Я не люблю черный кофе, — сказал Карл.

— Так я тоже не люблю, — студент засмеялся. — Но что прикажете делать? Если бы не кофе, Монтли бы и часа меня не продержал. Да что там, это я только так говорю — Монтли, хотя сам Монтли, конечно, даже не подозревает о моем существовании. Не знаю, право, как бы я смог работать, если бы не держал под прилавком такую же вот бутылку, она у меня всегда под рукой, я еще ни разу не пробовал обойтись без кофе, а если б попробовал, можете не сомневаться, так прямо за прилавком бы и заснул. К сожалению, на работе об этом пронюхали, они меня так и прозвали — Черный Кофе, идиотская кличка, из-за нее-то я наверняка и не могу продвинуться по службе.

— И когда же вы окончите университет? — спросил Карл.

— Это долгое дело, — ответил студент, опустив голову. Он отошел от перил и снова сел за стол, оперев локти на раскрытую книгу, зарылся руками в волосы и потом добавил: — Еще год, а то и два.

— Я тоже хотел учиться, — сказал Карл, словно это желание давало ему право на еще большее доверие, чем то, которое уже проявил к нему студент, снова сосредоточенно умолкший.

— Вот как, — откликнулся тот, и было не ясно, то ли он уже углу-

бился в чтение, то ли смотрит в книгу просто так. — Так скажите спасибо, что не учитесь. Я и сам-то последние годы учусь скорее по привычке — просто бросать неохота. Радости от этого мало, а видов на будущее и того меньше. Да какие там виды! В Америке полно шарлатанов с липовыми дипломами.

— А я хотел стать инженером, — торопливо сказал Карл, видя, что студент снова теряет к нему всякий интерес.

— А вместо этого приходится стать слугой, да еще у этих, — студент мельком взглянул на Карла. — Обидно, конечно.

Столь безусловный вывод относительно будущего Карла был, конечно, недоразумением, но, как знать, может, ему это даже на руку. И он спросил:

— А нельзя ли и мне получить место в универмаге?

Вопрос этот настолько озадачил студента, что на миг тот даже забыл о своих книгах; видимо, мысль о том, чтобы помочь Карлу устроиться на работу, ему даже в голову не приходила.

— Попробуйте, — вяло сказал он, — хотя лучше и не пытайтесь. Место у Монтли — это пока что самый большой успех в моей жизни. И если бы вопрос встал ребром — либо работа, либо университет, я бы, уж конечно, выбрал работу. Другое дело, что саму возможность такого выбора я изо всех сил стараюсь предотвратить.

— Значит, так сложно получить там место, — то ли подумал вслух, то ли спросил Карл.

— А вы как думали? — воскликнул студент. — Да легче стать здесь окружным судьей, чем швейцаром у Монтли!

Карл молчал. Этот студент, а он куда опытней Карла и к тому же по каким-то неизвестным причинам ненавидит Деламарша, а Карлу, напротив, вовсе не желает зла, — и, однако же, услышав о желании Карла уйти от Деламарша, он не нашел для него ни слова одобрения. А ведь он и представить себе не может, чем грозит Карлу встреча с полицией, от которой его один Деламарш и способен хоть как-то защитить.

— Вы ведь видели вчерашнюю демонстрацию? Видели? Так вот, несведущий человек может подумать, что этот кандидат — фамилия его Ломтер — вправе рассчитывать на успех или, по крайней мере, имеет хоть какие-то шансы, верно?

— Я не разбираюсь в политике, — признался Карл.

— И напрасно, — укорил его студент. — Но все равно, глаза и уши-то у вас есть. И вы не могли не заметить, что у этого человека

есть и друзья, но есть и враги. Так вот, представьте себе, у него, по моему прогнозу, нет ни малейших шансов на избрание. По чистой случайности, мне все про него известно, живет тут у нас один, он хорошо его знает. Человек он не без способностей, и по своим политическим взглядам, да и по политической биографии именно он больше всего подошел бы для нашего округа на место судьи. Вы думаете, кто-нибудь полагает всерьез, что его выберут? Да ни одна душа! Он провалится, причем с таким треском, что лучше некуда, только зря потратится на предвыборную кампанию, считай что выбросит деньги на ветер, вот и все.

Некоторое время Карл и студент молча смотрели друг на друга. Потом студент с улыбкой кивнул и пальцами провел по усталым глазам.

— Ну как, вам еще спать не пора? — спросил он. — А то мне ведь тоже пора заниматься. Видите, сколько еще проработать надо. — С этими словами он быстро пролистнул полкниги, чтобы Карл мог воочию убедиться, какая большая работа ему предстоит.

— Тогда спокойной ночи, — сказал Карл и вежливо поклонился.

— Заходите как-нибудь к нам, — пригласил студент, поплотнее устраиваясь за столом, — если захочется, конечно. У нас тут всегда большое общество. С девяти до десяти вечера у меня и для вас найдется время.

— Значит, вы советуете мне остаться у Деламарша? — спросил Карл напоследок.

— Безусловно, — ответил студент, снова склоняя голову над книгой. И Карлу почудилось, что это вовсе не студент ему ответил, а чей-то другой, мощный и басовитый голос, эхо которого, казалось, все еще звучит у него в ушах. Медленно подошел он к портьеру, оглянулся еще раз на студента, который сидел теперь совершенно неподвижно, один посреди бескрайней тьмы, выхваченный ярким кругом света, — и проскользнул в комнату. Со всех сторон его сразу обдало мерное, напористое посапывание. Двигаясь по стенке, он стал искать тахту и, найдя, спокойно растянулся на ней, словно это давнее и привычное его ложе. Раз уж студент, который хорошо знает и Деламарша, и здешние порядки, и вообще человек образованный, посоветовал ему остаться, значит, пока и думать не о чем. Таких непомерных целей, как студент, он перед собой не ставит, еще неизвестно, удалось ли бы ему дома окончить школу, а если уж даже дома это казалось делом почти невозможным, то

тем более никто не вправе требовать этого от Карла здесь, в чужой стране. Зато надежда найти работу, на которой он смог бы проявить себя и, соответственно, чего-то добиться в жизни, — такая надежда будет верней, если он пока что займет место слуги у Деламарша и уж отсюда, из безопасного укрытия, станет поджидать благоприятную возможность. А на этой улице, судя по всему, полным-полно контор — и средней руки, и совсем третьеразрядных, и уж, наверное, их хозяева в случае надобности не слишком придирчиво набирают служащих. А он, если надо, с удовольствием пойдет в такую контору даже рассыльным, но ведь, в конце концов, не исключено, что ему предложат и чисто канцелярскую работу, так что со временем, быть может, и он будет сидеть за своим письменным столом и изредка — но недолго — беззаботно поглядывать в окно, как тот чиновник, которого он сегодня видел, когда они с Деламаршем шли дворами. Он уже закрыл глаза, когда в голову пришла новая успокоительная мысль: он еще очень молод, а Деламарш рано или поздно все-таки должен вернуть ему свободу — ведь и вправду не похоже, что они с Брунельдой обосновались тут на веки вечные. Ну а уж если он получит место в бюро, он ничем другим, кроме своей канцелярской работы, заниматься не будет и, в отличие от студента, не станет распыхивать свои силы. Если понадобится, он и ночами будет работать, — пожалуй, при скудных азах его коммерческого образования вначале это даже неизбежно. Он будет думать только об интересах дела, которому служит, и не погнушается никакими обязанностями — даже такими, которыми другие чиновники будут пренебрегать, считая их ниже своего достоинства. Благие намерения сонмом роились у него в голове, словно его будущий начальник уже стоит над тахтой и пристально вглядывается в лицо Карла.

С этими мыслями Карл заснул, но уже в полусне его вспугнул могучий вздох Брунельды, — вероятно, ей привиделся скверный сон, и она тяжело заворочалась на своем ложе.

### (VIII)

**В**ставай-вставай! — услышал Карл голос Робинсона, едва он на следующее утро открыл глаза. Балконная портьера была задернута, но по пробившимся в щели ровным, сильным лучам теплого солн-

ца чувствовалось, что близится полдень. Робинсон с озабоченным лицом метался по комнате взад-вперед, неся в руках то полотенце, то ведро с водой, то различные предметы белья и одежды, и всякий раз, пробегая мимо Карла, кивками головы призывал того вставать поскорее и, приподняв над собой очередную вещь, как бы показывал Карлу: вот, мол, последний раз за тебя отдуваюсь, но уж так и быть, поскольку ты сегодня первый день и все равно не знаешь всех тонкостей службы.

Вскоре, однако, Карл увидел и тех, кого Робинсон обслуживает. В углу, отгороженном от остальной комнаты двумя шкапами — Карл вчера этого закутка не заметил, — происходила ответственная процедура: там мыли Брунельду. Над шкафом возвышалась ее голова, голая шея — волосы облепили ей лицо — и бычий загривок; вокруг нее то и дело мелькала рука Деламарша с брызжущей во все стороны мыльной губкой. Слышались отрывистые команды, отдаваемые Деламаршем Робинсону, который выполнял их, доставляя требуемые вещи не через проход в закуток — проход этот был сейчас заставлен ширмой, — а воровато просовывал в узкую щель между ширмой и шкафом, причем всякий раз, боязливо протягивая руку, он отворачивал лицо в противоположную сторону.

— Полотенце! Полотенце! — орал Деламарш. И не успевал Робинсон, который как раз в это время лихорадочно нашаривал что-то под столом, вздрогнуть от этого нового приказа и вынырнуть из-под стола, как уже звучал следующий: — Да где же вода, черт возьми! — и разъяренное лицо Деламарша грозно взмывало над шкафом.

Все, что, по мнению Карла, может понадобиться нормальному человеку для мытья и одевания только один раз, здесь требовалось — и доставлялось — многократно и в самой немислимой последовательности. На электрической плитке постоянно подогревалось ведро с водой, и то и дело Робинсон, согнувшись и раскорячив ноги, таскал это тяжеленное ведро к банному закутку. При таком объеме работы было неудивительно, что он не всегда точно придерживается указаний, а однажды, когда в очередной раз потребовалось полотенце, просто схватил рубашку с большого спального ложа в центре комнаты и, скомкав ее узлом, перебросил за шкаф.

Но и Деламаршу приходилось не легче, и, возможно, он только потому и злился на Робинсона — в своем раздражении Карла он просто не замечал, — что сам не мог угодить Брунельде.



— Ах! — вопила она, и даже непричастный к мытью Карл вздрагивал от испуга. — Ты мне делаешь больно! Убирайся! Лучше уж самой мыться, чем так мучиться! Опять вся рука онемела — чуть не оторвал. Кто же так трет — этак и изувечить недолго. У меня, наверное, вся спина в синяках. Ты-то, конечно, мне не скажешь. Вот погоди, я попрошу Робинсона посмотреть или нашего малыша. Нет-нет, я этого не сделаю, но будь же немного поласковой. Осторожнее надо, Деламарш, осторожнее, но тебе хоть каждое утро об этом тверди — все без толку. Робинсон! — позвала она вдруг, призывно помахивая над головой кружевными трусиками. — Робинсон! Иди сюда, помоги мне, взгляни, как я страдаю! И эту пытку он еще называет мытьем, этот Деламарш. Робинсон, где же ты? Или у тебя тоже нет сердца?

Карл молча подал Робинсону знак, пальцем указав в сторону Брунельды, но тот только прикрыл глаза и умудренно покачал головой: мол, мне лучше знать.

— Ты что, спятил? — шепнул он, наклоняясь к уху Карла. — Это она только так, в шутку. Один раз я сдуру сходил, с меня хватит. Они в меня как вцепятся — и с головой в ванну, я чуть не утонул. А потом Брунельда целыми днями меня изводила, бесстыдником обзывала, да еще и приставала: «Что-то давненько ты со мной не мылся» или: «Когда же ты снова придешь посмотреть, как я моюсь?» И только после того, как я несколько раз на коленях просил у нее прощения, перестала. Нет, этого я никогда не забуду.

Пока он все это рассказывал, Брунельда то и дело его звала:

— Робинсон! Робинсон! Да где же этот негодник Робинсон! И хотя никто на помощь к ней не шел и даже на зов не откликнулся, — Робинсон уселся рядом с Карлом, и оба они молча поглядывали на шкафы, над которыми попеременно высовывались головы Брунельды и Деламарша, — несмотря на это, громкие сетования Брунельды на неуклюжесть Деламарша не прекращались.

— Ну же, Деламарш, — негодовала она. — Теперь я совсем ничего не чувствую! Разве так трут! Где у тебя губка? Так пошевеливайся! Если б я могла нагнуться, если б я сама двигалась! Уж я бы тебе показала, как надо мыть. Где мои девичьи годы, где поместье моих родителей, когда я каждое утро плавала в Колорадо и никто из моих подружек не мог за мной угнаться. А теперь! Когда же ты научишься меня мыть, Деламарш! Ты только губкой туда-сюда водишь, и вроде стараешься, а я ничего не чувствую. Если я просила не тереть меня

до крови, это еще не значит, что я намерена торчать тут на сквозняке и простудиться. Прямо хоть прыгай из ванной и беги в чем мать родила.

Но до исполнения этой угрозы — хотя Брунельда так и так не в состоянии была ее исполнить — дело не дошло: по-видимому, Деламарш, не на шутку перепуганный упоминанием о простуде, силой за-пихнул ее в ванну, о чем свидетельствовал мощный бухающий всплеск.

— Это ты умеешь, Деламарш, — слышалось немного погодя, но уже тише. — Подлизываться, только подлизываться, вместо того чтобы хоть что-то сделать как надо.

Потом наступила тишина.

— Теперь они целуются, — сообщил Робинсон, многозначительно вскинув брови.

— Так, какая дальше работа? — спросил Карл. Раз уж он решил здесь остаться, надо немедленно приступить к своей новой службе. И, махнув рукой на Робинсона, который, ничего ему не ответив, продолжал сидеть на тахте, Карл принялся разбирать огромное, плотно утрамбованное за ночь телами спящих ложе, намереваясь каждую вещь, извлеченную из этой груды, сложить аккуратно и как следует, что не делалось, по-видимому, уже давным-давно.

— Взгляни-ка, Деламарш, — услышал он вдруг голос Брунельды, — по-моему, они разбрасывают нашу постель. Нет, обо всем надо помнить, ни минуты покоя в доме! Надо тебе быть с ними построже, иначе они совсем отобьются от рук.

— Это, конечно, малыш выслуживается, черт бы его побрал! — воскликнул Деламарш, собираясь, очевидно, выскочить из закутка (Карл от испуга все выронил из рук), но, к счастью, его удержала Брунельда.

— Не уходи, Деламарш, — произнесла она томным голосом, — не уходи. Ах, какая горячая вода, я так устала. Останься со мной, Деламарш, прошу тебя.

Почему-то только сейчас Карл заметил поднимающийся над шкафом легкий, клубистый парок.

Робинсон, приложив руку к щеке, смотрел на Карла так, будто тот и вправду совершил нечто ужасное.

— Все оставить как есть! — гремел грозный голос Деламарша. — Вы что, забыли, что Брунельда после ванны еще час отдыхает? Ублюдки несчастные! Ну подождите, я еще до вас доберусь. Робинсон,

ты опять там заснул? Учти, ты один мне за все ответишь! Присматривай за мальчишкой, пусть не вздумает наводить здесь свои порядки! Как что надо, их не дождешься, а как делать нечего — у них, видите ли, зуд работать! Убирайтесь куда-нибудь и замрите, пока вас не позовут.

Но в тот же миг все было забыто, ибо Брунельда еле слышно, словно совсем обессилев в горячей воде, прошептала:

— Духи! Принесите мне духи!

— Духи! — вскричал Деламарш. — Пошевеливайтесь!

Хорошо, но только где они? Карл посмотрел на Робинсона, тот на Карла. Придется ему все брать в свои руки, подумал Карл. — Робинсон понятия не имел, где духи, а потому поспешно улегся на пол и принялся обеими руками шарить под тахтой, но извлек оттуда лишь клубок пыли да спутанных женских волос. Карл первым делом поспешил к умывальному столику, что стоял в прихожей у двери, но там в ящике обнаружил только несколько старых английских романов, какие-то журналы и ноты, причем все это в таком беспорядке, что, выдвинув ящик, тщетно было бы пытаться задвинуть его обратно.

— Духи! — тем временем причитала Брунельда. — Сколько же можно! Дождусь я сегодня своих духов или нет?!

Ее нетерпение подгоняло Карла, мешая как следует сосредоточиться: пришлось ограничивать поиски поверхностным и торопливым осмотром. В шкафчике над умывальником флакона не было, на шкафчике вообще стояли только старые пузырьки с лекарствами и какими-то мазями, все остальное, очевидно, уже было отнесено Брунельде в закуток. Может, флакон в ящике обеденного стола? Но, направляясь к столу, Карл — ни о чем, кроме духов, он уже думать не мог — со всего маху налетел на Робинсона, который прекратил наконец поиски под тахтой и, вдруг сообразив, где еще можно поискать духи, в порыве внезапного озарения мчался наперерез Карлу. Послышался глухой удар двух лбов, Карл, оглушенный, молча остановился, а Робинсон, хоть и взвыл, но побежал дальше, продолжая истошно подвывать, чтобы смягчить боль и всех оповестить о своих страданиях.

— Им велено искать духи, а они дерутся! — возмущенно воскликнула Брунельда. — Эти негодяи меня доконают, учти, Деламарш, и я умру у тебя на руках. Духи мне! — крикнула она, с шумом вскидываясь в ванне. — Я требую! Не вылезу из ванны, пока мне не принесут

духи, хоть до вечера буду сидеть! — и даже кулаком по воде пристукнула — во все стороны с шумом полетели брызги.

Но и в ящике обеденного стола духов не было, хоть здесь и вправду хранились сплошь туалетные принадлежности Брунельды: старые пудреницы, горшочки с румянами, щетки для волос, накладные локоны и еще ворох всякой иной, замызанной и перепутанной всячины, — но духов там не было. И Робинсон, все еще подвывая, копошившийся в углу над кучей — не меньше сотни — шкатулок и коробочек, каждую из которых он поочередно открывал, вороша и вываливая половину содержимого, по большей части шитье и старые письма, прямо на пол, где они так и валялись, — Робинсон тоже не мог найти духов, о чем время от времени нервно сигнализировал Карлу покачиванием головы и пожатием плеч.

Тут из закутка в одном исподнем выскочил Деламарш — Брунельда тем временем зашлась безутешным, судорожным плачем. Карл и Робинсон, прекратив поиски, уставились на Деламарша, который, мокрый до нитки, с волос и по лицу тоже текло, заорал:

— А теперь извольте начать искать! Ты — здесь! — приказал он Карлу. — А ты — там! — это Робинсону.

Карл-то и вправду искал, успевая заодно проверить и те места, что поручены Робинсону, но проку от этого было ничуть не больше, чем от суеты Робинсона, который не столько искал, сколько испуганно косился на Деламарша, — тот в ярости топтался по комнате, как зверь в клетке, и, уж конечно, с величайшей радостью предпочел бы просто их обоих избить.

— Деламарш! — крикнула Брунельда. — Иди сюда, вытри меня, по крайней мере. Эти балбесы все равно духи не отыщут, только всю квартиру перевернут. Пусть прекратят искать. Но сейчас же! Пусть все немедленно бросят! И ничего больше не трогают! Им лишь бы превратить дом в свинарник. Сверни им шею, Деламарш, если они сейчас же не перестанут! Как, они все еще безобразничают? Я же слышу, шкатулка упала. Пусть не поднимают, все оставят как есть, и вон из комнаты! Запри за ними дверь и иди ко мне. Я и так слишком долго лежу в воде, ноги совсем застыли!

— Сейчас, Брунельда, сейчас, — отвечал Деламарш, подталкивая Карла и Робинсона к двери. Но, прежде чем выпроводить, он велел им принести завтрак и, если найдут, одолжить у кого-нибудь для Брунельды хорошие духи.

— Ну у вас и грязь, ну и беспорядок, — сказал Карл, едва они очутились в коридоре. — Сразу после завтрака начнем уборку.

— Будь у меня здоровье получше, — заныл Робинсон. — А это обхождение!

Конечно, Робинсону было обидно, что Брунельда не делает между ним, который прислуживает ей уже много месяцев, и Карлом, заступившим только вчера, ни малейшего различия. Но лучшего он и не заслуживал, поэтому Карл сказал:

— Тебе надо чуть-чуть собраться. — Но чтобы уж не совсем оставлять его в отчаянии, добавил: — Это же работа только на один раз. Я устрою тебе за шкафом спальное место, и, после того, как мы для начала все хоть немного приберем, будешь лежать там целыми днями, ни о чем не беспокоиться и скоро поправишься.

— Вот теперь ты и сам видишь, как мне худо, — всхлипнул Робинсон, отворачивая от Карла лицо, чтобы побыть наедине с собой и своим страданием. — Как же, дадут они мне спокойно полежать, жди...

— Если хочешь, я сам поговорю об этом с Деламаршем и Брунельдой.

— Да разве Брунельде есть до кого-нибудь дело?! — горестно воскликнул Робинсон и с досадой совершенно неожиданно для Карла ткнул кулаком в дверь, к которой они как раз подошли.

Они очутились в кухне, где от плиты, очевидно нуждавшейся в руке печника, едкими облачками поднимался к потолку даже не сильный, а черный сажистый дым. Перед печной дверцей на коленях стояла старуха, которую Карл вчера мельком видел в коридоре, и голыми руками подкладывала в огонь большие куски угля, стараясь равномерно распределить пламя по всей топке. При этом она кряхтела и постанывала, как это свойственно людям ее возраста в столь неудобном положении.

— Ну конечно, еще и эти на мою голову заявили, — произнесла она, увидев Робинсона, и тяжело поднялась с колен, опершись на ящик с углем, после чего закрыла дверцу, прихватив ее ручку передником. — Пришли, да? В четыре часа дня — Карл с изумлением глянул на часы — завтрак им подавай! Паразиты! — Потом добавила: — Садитесь и ждите, когда у меня руки до вас дойдут.

Робинсон потянул Карла на скамеечку у двери и прошептал:

— Надо ее слушаться. А что делать — мы от нее зависим. Она сдаст нам комнату и, конечно, в любой день может отказать. А менять

квартиру никак нельзя — куда мы столько вещей денем, а главное — Брунельду невозможно перевезти.

— А здесь, в коридоре, другую комнату снять нельзя? — спросил Карл.

— Нас же не возьмет никто, — вздохнул Робинсон. — Во всем доме никто нас не возьмет.

Так они и сидели на скамеечке и терпеливо ждали. Старуха хлопотала по хозяйству, мечась между двумя столами, плитой и стиральным корытом. Из ее крикливых причитаний мало-помалу выяснилось, что дочь ее занемогла и вся работа — а у нее тридцать человек жильцов, каждого накорми, за каждым уברי — свалилась на нее одну. А тут еще печка дымит, и еда никак не поспеет, — в двух огромных кастрюлях у нее варилась густая похлебка, и сколько старуха ее ни мешала, сколько ни поднимала над кастрюлей половник, сколько ни сливала его содержимое с большой высоты, похлебка ни в какую не хотела поспевать, наверное, все из-за плохой тяги, и тогда она, садясь перед плитой чуть ли не на пол, яростно шуровала раскаленные угли кочергой. Дым, наполнявший кухню, вызывал у нее приступы кашля, иногда столь сильные, что старуха, схватившись за стул, долго за него держалась, не в силах продыхнуть от кашля. Она уже не в первый раз обронила, что завтрака они сегодня, наверно, вообще не получают, нет у нее на это ни времени, ни охоты. Но поскольку у Карла и Робинсона, с одной стороны, был строжайший приказ принести завтрак, с другой же стороны — ни малейшей возможности это сделать, они на замечания старухи не отвечали и продолжали молча сидеть, как будто их это не касается.

Между тем вокруг на стульях и скамейках, на столах и под столами, и даже просто в углу на полу — всюду стояла оставшаяся после завтрака грязная посуда жильцов. Были тут кофейнички и молочники с остатками кофе и молока, на иных тарелках налипло недоеденное масло, из перевернувшейся жестяной банки горкой просыпалось печенье. При желании вовсе не трудно собрать из всего этого приличный завтрак, к которому даже Брунельда не придерется, если не узнает о его происхождении. Едва Карл так подумал, едва взгляд на часы показал ему, что они ждут уже полчаса и что Брунельда, наверно, уже в ярости и опять натравливает Деламарша на нерадивых слуг, как старуха, зайдясь в новом приступе и выпученными глазами глядя прямо на Карла, сквозь кашель прокричала:

— Можете ждать сколько угодно, завтрака вы не получите! Вместо завтрака часа через два будет ужин.

— Давай, Робинсон, — сказал Карл, — мы сами соберем себе завтрак.

— Что? — вскричала старуха, грозно набычив голову.

— Прошу вас, будьте же благоразумны, — попытался урезонить ее Карл, — почему вы не хотите дать нам завтрак? Мы уже полчаса ждем, это достаточно долго. Мы вам за все платим, притом платим наверняка лучше, чем все остальные. Конечно, для вас это хлопотно, что мы так поздно завтракаем, но мы ваши квартиранты, и у нас такая привычка — завтракать поздно, значит, пора бы и вам немного к этому приспособиться. Сегодня из-за болезни дочери вам это, конечно, особенно сложно, но и мы зато, со своей стороны, готовы сами собрать себе поесть из этих вот остатков, раз уж иначе нельзя и свежий завтрак вы нам дать не можете.

Но к дружественным переговорам с кем-либо старуха была явно не расположена, а для этих жильцов ей, должно быть, даже объедки чужих завтраков казались слишком шикарной трапезой, но, с другой стороны, их назойливые слуги ей тоже поднадоели, посему она схватила поднос и ткнула его в живот Робинсону, который не сразу понял — а поняв, страдальчески скривился, — что ему надо держать поднос, куда старуха, так и быть, сложит для них еду. И она, действительно, на скорую руку побросала на поднос много всего, но в целом это выглядело скорее как гора грязной посуды, нежели как приготовленный для постояльцев завтрак. Еще по дороге, когда старуха выталкивала их из кухни, а они, пригнувшись, словно опасаясь оскорбления или удара, торопились к выходу, Карл перехватил поднос у Робинсона из рук, ибо не слишком на его руки полагался.

В коридоре, подальше от старухиной двери, Карл, не выпуская поднос из рук, уселся на пол: первым делом надо почистить сам поднос и рассортировать еду — слить в один кувшинчик молоко, соскрести с нескольких тарелок остатки масла, потом устранить все следы предыдущего использования — значит, обтереть ножи и ложечки, надкусанные ломтики хлеба подровнять ножом и вообще придать всему более или менее приличный вид. Робинсон считал всю эту возню совершенно напрасной, уверяя, что им здесь случалось видеть завтраки и похуже, но Карл на эти уверения не поддался и был только рад, что Робинсон не встречается в его работу своими грязными паль-

цами. Чтобы как-то его успокоить, Карл сразу же милостиво разрешил ему — но, как он подчеркнул, в первый и последний раз — съесть несколько печений и допить толстый слой гуши, оставшейся в кувшинчике из-под шоколада.

Когда они подошли к дверям квартиры и Робинсон без церемоний ухватился за дверную ручку, Карл его остановил: он не знал, можно ли им войти.

— Ну конечно, — удивился Робинсон, — сейчас он ее причесывает, только и всего.

И действительно, посреди комнаты, по-прежнему зашторенной и непроветренной, в кресле, широко расставив ноги, сидела Брунельда, а Деламарш, стоя у нее за спиной и низко над ней склонившись, расчесывал ее короткие, густые и, судя по всему, очень жесткие спутанные волосы. На Брунельде снова было очень свободное платье, на сей раз блекло-розовое, но, видимо, покороче вчерашнего — во всяком случае, ее ноги в белых, грубой вязки шерстяных чулках оно открывало почти до колен. Утомленная бесконечным ритуалом причесывания, Брунельда в нетерпении водила кончиком толстого красного языка по губам, а иногда с истерическим криком: «Ну же, Деламарш!» — и вовсе вырывалась от Деламарша, который, приподняв гребень, спокойно ждал, пока она снова не откинет голову на спинку кресла.

— Долго же вы ходили, — встретила их Брунельда, а затем, обращаясь уже к Карлу отдельно, добавила: — Надо быть порасторопнее, если хочешь, чтобы тебя хвалили. И не вздумай брать пример с этого лодыря и обжоры Робинсона. Сами-то, наверно, уже успели где-то позавтракать, так учтите, впредь я этого не потерплю.

Это была вопиющая несправедливость, в опровержение которой Робинсон энергично затряс головой и даже зашевелил губами, правда, беззвучно. Карл, однако, уже смекнул, что убедить хозяев можно лишь безупречностью своей работы. Поэтому он выдвинул из угла низкий японский столик, накрыл его скатертью и быстро расставил принесенную еду. Знающий о происхождении завтрака был бы, несомненно, удовлетворен таким поразительным результатом, но в целом, как отметил про себя Карл, до совершенства было еще далеко.

К счастью, Брунельда была голодна. Наблюдая за приготовлениями Карла, она благосклонно кивала ему, но и мешала изрядно, по-



сколько ее неопрятная жирная рука, давя и размазывая все на своем пути, то и дело торопилась схватить какой-нибудь лакомый кусочек.

— Он хорошо все сделал, — сказала она, громко чавкая и увлекая Деламарша, который, видимо, на потом так и оставил гребень в ее волосах, в соседнее с собой кресло.

И Деламарш при виде еды тоже подобрел, они оба сильно проголодались, — их руки так и замелькали над столом. Карл понял: чтобы им угодить, надо просто приносить как можно больше, и, вспомнив, сколько еще на кухне на полу осталось съестного, сказал:

— На первый раз я не знал как и что, но завтра обязательно сделаю лучше.

Однако, еще не закончив фразу, он вспомнил, кому все это говорит, — слишком он был захвачен своим новым делом.

Брунельда удовлетворенно кивнула Деламаршу и в награду протянула Карлу пригоршню печенья.

## Фрагменты

### (1). Отъезд Брунельды

Однажды утром Карл выкатил коляску, в которой восседала Брунельда, из ворот дома. Произошло это намного позже, чем он рассчитывал. Они-то замыслили тронуться в путь еще с ночи, дабы не привлекать к себе чрезмерного внимания прохожих, что при свете дня — даже учитывая похвальную скромность Брунельды, которая по такому случаю хотела с головой укрыться большим серым платком, — все равно было неизбежно. Но спуск Брунельды по лестнице отнял слишком много времени, несмотря на самоотверженную помощь студента, который, как выяснилось при этой оказии, был куда слабее Карла. Сама Брунельда держалась геройски, почти не стонала и, как могла, стремилась облегчить своим носильщикам их нелегкую работу. Но дело все равно продвигалось медленно, через каждые пять ступенек приходилось сажать Брунельду на лестницу, чтобы и ей, и себе дать необходимую передышку. Утро выдалось прохладное, с улицы веяло стылым, как из погреба, сквозняком, тем не менее Карл и студент напрочь взмокли и во время остановок то и дело утирали потные лица каждый своим концом Брунельдиного платка, которые та, кстати, сама весьма любезно им протягивала. Вот и вышло, что они лишь через два часа спустились вниз, где еще с вечера стояла коляска. Водрузить туда Брунельду тоже стоило немалых усилий, но, когда они и с этим управились, самое трудное, можно считать, было позади, ибо катить удобную, на высоких колесах коляску представлялось делом, в общем-то, нехитрым, и тревожило лишь одно — как бы коляска под

Брунельдой не развалилась. Что ж, этот риск Карлу просто пришлось взять на себя, не тащить же, в самом деле, еще и запасную коляску, раздобыть и везти которую не то в шутку, не то всерьез вызвался студент. Тут они со студентом распрощались, и даже весьма сердечно. Все раздоры между Брунельдой и студентом были разом забыты, он даже извинился за какое-то давнее оскорбление, сорвавшееся у него с языка, когда Брунельде было плохо, но та ответила, что все это былем попросило и давно с лихвой заглажено. А напоследок попросила студента принять от нее в подарок доллар, который она потом долго выискивала, роясь в своих необъятных юбках. Учитывая жадность Брунельды, подарок был просто царский и, кстати, весьма обрадовал студента — от радости он даже подбросил монету высоко в воздух. Потом, правда, пришлось ему, бедняге, эту монету долго искать, а Карлу помогать ему в поисках, — в конце концов именно Карл ее и нашел у Брунельды под коляской. Прощание Карла со студентом было, разумеется, намного проще: они протянули друг другу руки и оба выразили надежду, что наверняка еще встретятся и что тогда один из них, — студент уверял, что это будет Карл, а Карл — что студент, — непременно прославится, хотя пока что этого про них, увы, сказать нельзя. Ну а потом Карл, собравшись с духом, ухватился за поперечину, стронул коляску с места и выкатил ее со двора. Студент смотрел им вслед и, пока они не скрылись из виду, махал платком. Карл тоже время от времени оглядывался и кивал на прощанье, да и Брунельда с радостью бы обернулась, будь это в ее силах. Все же, давая ей такую возможность, Карл в самом конце улицы описал вместе с коляской широкий круг, так что и Брунельда смогла напоследок еще разок посмотреть на студента, который, видя это, особенно энергично замахал платком.

Но уж после этого Карл твердо сказал, что больше они себе ни единой задержки не позволят, путь неблизкий, а они и так выехали гораздо позже, чем он надеялся. И действительно, то тут, то там по улицам уже гроыхали подводы, да и первые, правда редкие, прохожие спешили на работу. И хотя Карл своим замечанием хотел сказать только то, что сказал, Брунельда при ее душевной тонкости поняла его иначе и с головой накрылась серым платком. Карл не стал возражать: разумеется, покрытая серым платком ручная тележка тоже — и даже очень — бросается в глаза, но все-таки несравненно меньше, чем просто непокрытая Брунельда в тележке. Ехал он очень осторожно, прежде чем завернуть за угол, пристально осматривал улицу, в ко-

торую собирался направиться, а при необходимости даже бросал коляску и забегал вперед, если же замечал неладное, то останавливался и выжидал, пока опасность не минует, а то и вовсе выбирал другую дорогу. Он и в этих случаях был уверен, что не даст слишком большого крюка, ибо заблаговременно и тщательно изучил все закоулки и даже проходные дворы по пути следования. Впрочем, все же попадались препятствия, которых хоть и надлежало опасаться, но предусмотреть, а тем более каждое в отдельности предотвратить, не было никакой возможности. Так, на одной из улиц, — с пологим подъемом, прямой и легко обозримой, к тому же, по счастью, совершенно безлюдной (удача, которую Карл особенно торопился не упустить, прибавляя ходу) — навстречу им из глухой подворотни внезапно вышел полицейский и спросил у Карла, что это за поклажу он так заботливо укутал в своей тележке. Но, сколь ни суров был полицейский на вид, однако и он не смог удержаться от улыбки, когда, слегка раздвинув складки покрывала, обнаружил под ним раскрасневшуюся и перепуганную Брунельду.

— Как? — воскликнул он. — Я-то думал, у тебя тут мешков десять картошки, а это, оказывается, всего одна баба! Куда это вы едете? И кто вообще такие?

Брунельда, не осмеливаясь взглянуть на полицейского, с отчаянием смотрела на Карла, явно сомневаясь, сумеет ли даже он ее спасти. Карлу, однако, было уже не впервой иметь дело с полицией, и на сей раз он не видел особых причин для страха.

— Покажите же, сударыня, — обратился он к Брунельде, — документ, который вам прислали.

— Ах да! — спохватилась Брунельда и принялась искать, но с такой неуклюжей суетливостью, что это и впрямь выглядело подозрительно.

— Сударыня документ не найдет, — с нескрываемой иронией произнес полицейский.

— Ну что вы, — как можно спокойнее возразил Карл. — Документ при ней, просто она его куда-то засунула.

Пришлось Карлу искать самому, и вскоре он действительно извлек бумагу у Брунельды из-за спины. Полицейский пробежал ее глазами.

— Вот оно что, — протянул он с ухмылкой. — Вот, значит, сударыня, какая вы сударыня! А вы, малыш, выходите, обеспечиваете клиентов и доставку? Что, получше занятия не нашлось?

На это Карл только передернул плечами: полиции вечно надо во все соваться.

— Ну, тогда счастливого пути, — так и не дождавшись ответа, сказал полицейский.

В его тоне, вполне возможно, звучало презрение, зато и Карл поехал дальше, не попрощавшись, а презрение полиции куда лучше, чем ее пристальный интерес.

Немного погодя их поджидала еще более неприятная встреча. На сей раз к ним привязался какой-то мужик, он толкал перед собой тачку с молочными бидонами, и ему до смерти захотелось узнать, что это такое Карл везет. Навряд ли им было по пути, однако мужик пристроился рядом и не отставал, в какие бы глухие переулки Карл ни сворачивал. Сперва он ограничивался общими замечаниями вроде «Тяжеленько тебе приходится, верно?» или «Плоховато нагрузил, верх, вон, заваливается». Но потом, обнаглев, спросил напрямик:

— Что у тебя там?

— Тебе-то какое дело? — огрызнулся Карл, но, поскольку такой ответ мужика только пуще раззадорил, в конце концов сказал: — Яблоки это.

— Столько яблок! — удивился мужик и, не переставая удивляться, время от времени на все лады повторял свое восклицание. — Это же целый урожай, — заключил он наконец.

— Ну да, — нехотя отозвался Карл.

Но то ли мужик ему не поверил, то ли хотел позлить, — во всяком случае, он пошел в своих домогательствах еще дальше: сперва — и все это на ходу — как бы в шутку тянул к платку руку, а под конец уже просто внаглую стал его шупать. Каково было Брунельде все это вынести! Из страха за нее Карл не хотел ввязываться в ссору, а потому просто свернул в первые же открытые ворота, будто ему туда и надо.

Мужик, опешив, остался у ворот и смотрел вслед Карлу, который невозмутимо двигался дальше, готовый хоть весь двор пройти насквозь и, если надо, углубиться в следующий. Поняв, что Карл не врет, и желая напоследок хоть как-то выместить досаду, мужик бросил свою тачку, мелкой вороватой побегжкой нагнал Карла и с такой силой дернул за платок, что чуть было не сорвал его с головы Брунельды.

— Это чтоб твои яблоки малость подышали! — злобно крикнул он и кинулся обратно.

Карл, так и быть, стерпел и это, лишь бы избавиться от мужика окончательно. Он завел коляску поглубже во двор, в самый угол, где

кучей громоздились сваленные пустые ящики, чтобы там, в укромном месте, шепнуть Брунельде несколько утешительных слов. Но ему пришлось долго ее успокаивать — вся в слезах, она совершенно все-речь умоляла его пробыть весь день здесь, за ящиками, а уж ночью двигаться дальше. Карлу, возможно, так и не удалось бы отговорить ее от этой безумной идеи, но, как только по другую сторону кучи ухнул и с жутким грохотом покатился по брусчатке сброшенный кем-то пустой ящик, она так перепугалась, что, не издав больше ни звука, мгновенно накрылась платком и, должно быть, себя не помнила от счастья, когда Карл, недолго думая, снова тронулся в путь.

Между тем на улицах становилось все оживленней, но коляска, вопреки опасениям Карла, отнюдь не привлекала к себе чрезмерного внимания. По здравому размышлению, может, вообще стоило выбрать для перевозки Брунельды другое время. Если понадобится повторить поездку, Карл, пожалуй, рискнет предпринять ее в середине дня. Наконец, проделав остаток пути без сколько-нибудь серьезных злоключений, он свернул в узкий сумрачный переулок, где и располагалось заведение № 25. У дверей, видимо, давно их поджидая, стоял управляющий с часами в руках.

— Ты всегда так опаздываешь? — напустился он на Карла.

— Были затруднения, — ответил Карл.

— Затруднения, как известно, имеются всегда, — изрек управляющий. — Но для нас это не оправдание, запомни.

Однако Карл давно уже пропускал подобные речи мимо ушей: на слабом всякий норовит отыгаться, власть свою показать, да еще и обругает в придачу. Привыкнув, обращаешь на это не больше внимания, чем на исправный бой часов. Гораздо больше испугала его грязь в помещении, куда он вкатил коляску, хоть он и не ждал, что здесь будет образцовая чистота. Но эта грязь, если присмотреться, была какая-то особенная, неосязаемая. И каменный пол вестибюля вроде бы выметен, покраска стен тоже как будто не старая, искусственные пальмы в кадках лишь слегка запылились — и все же на всем лежал какой-то липкий, мерзкий налет, словно все нарочно осквернили и теперь, сколько ни наводи чистоту, от этой пакости уже не избавиться. Во всяком новом месте Карл, осмотревшись, первым делом любил прикинуть, что тут можно улучшить, испытывая радость при мысли об этой работе и желание немедленно за нее взяться, каких бы, пусть даже бесконечных, трудов она ни потребовала. Но сейчас

он не знал, что и как тут можно поправить. Медленно снял он с Брунелды платок.

— Добро пожаловать, сударыня, — заворковал управляющий.

Несомненно, Брунелда произвела на него самое наилучшее впечатление. Едва заметив столь благоприятный эффект, она, к вящему удовольствию Карла, весьма умело им воспользовалась. Все ее недавние страхи как рукой сняло. Она<sup>1</sup>

(2)

**Н**а углу улицы Карл увидел большое объявление с броской надписью, которая гласила:

На ипподроме в Клейтоне  
сегодня с шести утра до полуночи  
производится набор  
в театр Оклахомы!  
Великий театр Оклахомы приглашает вас!  
Приглашает только сегодня, сегодня или никогда!  
Кто упустит свой шанс сегодня,  
упустит его безвозвратно!  
Если тебе не безразлично собственное будущее —  
приходи к нам!  
Мы всякому говорим — добро пожаловать!  
Если ты хочешь посвятить себя искусству —  
отзовись!  
В нашем театре каждому найдется дело —  
каждому на своем месте!  
Если ты остановил свой выбор на нас, —  
поздравляем.  
Но торопись, чтобы успеть до полуночи!  
В двенадцать прием заканчивается  
и больше не возобновится!  
Кто не верит — пусть пеняет на себя!  
Все в Клейтон!

---

<sup>1</sup> На этом фрагмент обрывается. (Прим. переводчика).

Перед объявлением хоть и толпились люди, но особого восторга оно не вызывало. Объявлений всяких много, да только кто им верит? А в этом, похоже, правды еще меньше, чем в остальных. Главное же упущение — ни слова об оплате. Будь оплата хоть сколько-нибудь приличной, о ней наверняка бы упомянули, такую приманку не забывают. Просто «посвятить себя искусству» охотников нету, а вот от работы за деньги какой же дурак откажется?

И все же одно место в объявлении звучало для Карла необыкновенно заманчиво. Ведь написано же: «Мы всякому говорим — добро пожаловать!» Всякому — значит, и Карлу тоже. Обо всем, чем он занимался прежде, можно забыть, и никто не попрекнет его этим неприглядным прошлым. Ему предлагают работу, которая не считается зазорной, напротив, — на нее даже приглашают во всеуслышанье. И так же во всеуслышанье обязуются принять! Большого ему и не надо, он давно мечтает отыскать достойную дорогу в жизни, может, именно сейчас она ему и открылась! Пусть даже все зазывные слова в объявлении — сплошное вранье, пусть это не Великий театр Оклахомы, а всего лишь маленький бродячий цирк, — там требуются люди, этого довольно. Карл не стал перечитывать объявление еще раз, только выхватил глазами запомнившееся место: «Мы всякому говорим — добро пожаловать!»

Сперва он хотел пойти в Клейтон пешком, но это часа три напряженной ходьбы, и не исключено, что придет он, как говорится, к шапочному разбору. Правда, судя по объявлению, число мест не ограничено, но это так только пишут. В общем, рассудил Карл, надо либо распроститься с надеждами на место, либо ехать. Он пересчитал деньги — если не ехать, хватило бы еще на восемь дней — и погрузился в задумчивость, перебирая на ладони эти свои последние гроши. Какой-то мужчина, понаблюдав за Карлом, хлопнул его по плечу и сказал:

— Счастливо съездить в Клейтон!

Карл молча кивнул и продолжал считать. Но вскоре решился, приготовил деньги на билет и побежал к подземке.

В Клейтоне, едва сойдя с поезда, он сразу услышал голоса множества труб. Шум стоял невообразимый, ибо трубы играли не в унисон, а каждая сама по себе, зато тем громче. Но Карла это не смутило, скорее даже обрадовало: значит, оклахомский театр и вправду заведение солидное. Но то, что он увидел, выйдя из вестибюля станции, пре-



взошло все его ожидания — такого размаха он и вообразить не мог и просто не понимал, что же это за предприятие, способное только ради вербовки персонала пойти на такие несусветные расходы. Перед воротами ипподрома был выстроен длинный невысокий помост, на котором, переодетые ангелами, в белых хитонах и с крыльями за спиной, сотни женщин дули в длинные золотистые трубы. Но стояли они не прямо на помосте, а каждая на своем пьедестале, причем самих пьедесталов видно не было — длинные, ниспадающие одеяния ангелов скрывали их целиком. Поскольку пьедесталы были высокие, иные до двух метров, фигуры женщин выглядели гигантскими, только их маленькие головы несколько нарушали это впечатление величия, да и распущенные волосы казались коротковатыми, даже смешными, куце свисая между огромными крыльями или просто падая на плечи. Во избежание однообразия пьедесталы сделали разной высоты, поэтому и среди женщин одни были низкие, немногим выше нормального человеческого роста, но рядом с ними другие взмывали в такую высь, что при малейшем дуновении ветерка за них становилось боязно. И все они дули в трубы.

Слушателей у них было немного. Коротышки в сравнении с высоченными ангелами, молодые парни, человек десять, слонялись взад-вперед вдоль помоста, поглядывая на женщин. Указывали друг другу на ту, на эту, но видимых намерений идти наниматься на работу не обнаруживали. И лишь один пожилой мужчина робко стоял в сторонке. Этот зато пришел сразу с женой, а заодно и с ребенком в детской коляске. Жена одной рукой придерживала коляску, другой опиралась мужу на плечо. На их лицах, хоть и захваченных диковинным зрелищем, все же читалось нескрываемое разочарование. Видимо, оба всерьез надеялись получить работу, теперь же вой труб сбивал их с толку.

Карл был в таком же положении. Он подошел к мужчине поближе, еще немного послушал трубы и потом спросил:

— Скажите, ведь это здесь принимают в театр Оклахомы?

— Я тоже так думал, — ответил мужчина. — Но мы уже час ждем и, кроме труб, ничего не слышим. Нигде ни объявления, ни зазывалы, даже спросить и то не у кого.

— Может, ждут, пока народ соберется, — предположил Карл. — Вон людей-то мало.

— Может быть, — согласился мужчина, и они снова замолчали.

Впрочем, в таком грохоте вообще было трудно разговаривать. Но потом женщина что-то шепнула мужу, тот кивнул, и она тотчас же крикнула Карлу:

— Вы не могли бы сходить на ипподром и узнать, где они принимают?

— Да, но ведь это через помост пробираться надо, мимо всех этих ангелов, — заколебался Карл.

— Разве это так уж трудно? — удивилась женщина. Для Карла, значит, это сущие пустяки, а мужа послать побоялась.

— Ладно, — сказал Карл. — Схожу.

— Вы очень любезны, — обрадовалась женщина, и оба — и она, и муж — пожали Карлу руку.

Парни сбежались посмотреть, как Карл полезет на помост. Казалось, что и женщины громче задули в трубы, приветствуя первого смельчака, рискнувшего попытаться счастья. А те, мимо чьих пьедесталов Карл проходил, даже отрывали трубы ото рта и наклонялись, глядя ему вслед. На другом конце помоста Карл увидел мужчину, который в нервном ожидании ходил взад-вперед, очевидно, готовый дать желающему любую справку. Карл уже направился было в его сторону, но тут услышал прямо над собой голос, окликающий его по имени.

— Карл! — звал его один из ангелов.

Карл поднял глаза и от радостного изумления даже рассмеялся: это была Фанни.

— Фанни! — крикнул он и помахал ей рукой.

— Иди же сюда! — позвала Фанни. — Ты, надеюсь, не пройдешь мимо?

И она распахнула полы своего одеяния, освобождая от их белоснежного покрова пьедестал и ведущую на него узенькую лесенку.

— А можно подняться? — спросил Карл.

— Кто же нам запретит пожать друг другу руки? — воскликнула Фанни и даже возмущенно оглянулась, словно ища глазами того, кто осмелился бы подступить к ней с таким запретом.

Но Карл уже взбегал по лесенке.

— Осторожно, — крикнула Фанни. — А то еще свалимся оба.

Но ничего не случилось, Карл благополучно добрался до последней ступеньки.

— Ты посмотри, — сказала Фанни, когда они поздоровались. — Ты только посмотри, какая у меня работа!

— Красиво, — согласился Карл, оглядываясь по сторонам. Все женщины поблизости, конечно, уже заметили Карла и хихикали. — Ты почти самая высокая, — сказал он и вытянул руку, сравнивая, насколько Фанни выше остальных.

— А я тебя сразу увидела, — тараторила Фанни, — как только ты со станции вышел. Но я, к сожалению, здесь в последнем ряду, так что меня не видно, а кричать ведь нельзя. Я, правда, трубила изо всех сил, но ты меня не услышал.

— Трубите вы все ужасно плохо, — сказал Карл. — Дай-ка я попробую.

— Ну конечно, — Фанни протянула ему трубу. — Только не выбивайся из хора, а то меня уволят.

Карл начал трубить, он-то думал, что это просто какая-нибудь дудка, так, для шума, но оказалось, что это довольно тонкий инструмент, способный выводить любую мелодию. Если и остальные трубы не хуже, значит, используют их из рук вон плохо. Вдохнув полной грудью и стараясь не обращать внимания на окружающий шум, Карл сыграл песенку, которую однажды слышал в каком-то кабачке. Он был рад, что встретил давнюю приятельницу, что его уже выделили, позволив сыграть на трубе, и что, возможно, он совсем скоро получит хорошее место. Многие женщины прекратили трубить и слушали, как он играет; когда он внезапно оборвал мелодию, чуть ли не половина труб безмолвствовала и лишь постепенно вокруг восстановился прежний невообразимый разнобой.

— Да ты просто артист! — восхитилась Фанни, когда Карл протянул ей трубу. — Просись в трубачи.

— А мужчин тоже принимают? — спросил Карл.

— Конечно, — ответила Фанни. — Мы трубим два часа, а потом нас сменяют мужчины, переодетые чертями. Половина трубит, половина барабанит. Очень красиво, да и вообще тут все оформлено шикарно. Посмотри на наши платья — разве не красиво? А эти крылья? — Она оглядела себя.

— Ты думаешь, — спросил Карл, — мне тоже еще достанется место?

— А как же! — воскликнула Фанни. — Ведь это самый большой театр в мире. Как удачно сошлось, что мы опять будем вместе. Правда, еще неизвестно, какую работу ты получишь. Может выйти и так, что работать будем вроде бы в одной фирме, а видаться не сможем.

— Неужто там все такое огромное? — изумился Карл.

— Это самый большой театр в мире, — повторила Фанни. — Я, правда, сама еще не видела, но некоторые из наших сотрудниц уже побывали в Оклахоме и говорят, что театр почти не имеет границ.

— Но охотников что-то немного, — заметил Карл, указывая на парней и мужчину с семьей.

— Верно, — согласилась Фанни. — Но ты не забывай: мы набираем людей по всем городам, наша рекламная труппа постоянно переезжает с места на место, и таких трупп у нас еще много.

— А разве театр еще не открылся? — спросил Карл.

— Что ты! Это очень старый театр, но он постоянно расширяется.

— Удивляюсь, — сказал Карл, — почему люди не валят к вам толпами.

— Да, — подтвердила Фанни, — мне самой странно.

— Может, — предположил Карл, — вся эта кутерьма с чертями и ангелами не столько привлекает народ, сколько отпугивает?

— Ишь ты, какой умный, — сказала Фанни. — Хотя, возможно, ты и прав. Скажи об этом нашему директору, вдруг он твоим советом воспользуется.

— А где он? — спросил Карл.

— На ипподроме, — кивнула Фанни, — на судейской трибуне.

— Этого я тоже понять не могу, — продолжал удивляться Карл. — Почему вы набираете людей именно на ипподроме?

— Понимаешь, — объяснила Фанни, — мы везде принимаем максимальные подготовительные меры к максимальному скоплению людей. Ну а на ипподроме места много. И во всех городах, там, где обычно принимаются ставки на скачки, мы оборудовали свои приемные канцелярии. Говорят, у нас двести таких канцелярий...

— Но откуда, — воскликнул Карл, — откуда у театра такие сумасшедшие доходы, чтобы держать столько рекламных трупп?

— Нам-то какое дело? — беззаботно ответила Фанни. — А теперь, Карл, иди, а то все упустишь, да и мне, сам понимаешь, трубить надо. Постарайся, если получится, устроиться в нашу труппу, а потом сразу приходи ко мне, все расскажешь. Учти, я буду беспокоиться и ждать.

Она пожала ему руку, велела спускаться по лестнице осторожно, снова приставила трубу к губам, но трубить начала лишь после того, как убедилась, что Карл внизу и в полной безопасности. Карл аккуратно прикрыл лестницу полами ее одеяния, чтобы все было, как раньше, Фанни благодарно кивнула, и Карл, обдумывая и со всех

сторон взвешивая услышанное, направился к мужчине, который давно уже заприметил Карла рядом с Фанни на пьедестале и в нетерпении сам двинулся ему навстречу.

— Желаете к нам поступить? — спросил он. — Я в этой труппе ведаю отделом найма и рад сказать вам: Добро пожаловать!

От избытка вежливости он, казалось, никогда не разгибается и, хоть и не двигаясь с места, слегка пританцовывает, поигрывая цепочкой от часов.

— Благодарю, — сказал Карл учтиво. — Я прочел объявление вашей фирмы и вот явился, как там указано.

— И очень правильно сделали, — горячо подхватил мужчина. — К сожалению, не каждый ведет себя здесь столь же правильно.

Карл подумал было сказать мужчине о том, что рекламные средства труппы, возможно, не действуют именно по причине их чрезмерности. Но говорить не стал: ведь это даже не руководитель труппы, а кроме того, вряд ли хорошо вот так, с порога, еще не будучи принятым, предлагать свои усовершенствования. Поэтому он сказал только:

— Там еще один ждет, он тоже хотел явиться, но послал меня разузнать. Можно я его приведу?

— Разумеется, — ответил мужчина. — Чем больше придут, тем лучше.

— Но у него там еще жена и маленький ребенок в коляске. Им тоже приходиться?

— Разумеется, — снова повторил мужчина и, казалось, даже улыбнулся при виде столь странных сомнений. — У нас каждому найдется дело.

— Я сейчас вернусь, — сказал Карл и бегом бросился обратно к краю помоста.

Он махнул супружеской паре и громко крикнул, что приходиться можно всем. Потом помог поднять на помост коляску, и они, теперь уже вместе, двинулись к мужчине. Парни, видя это, посоветовались между собой и нерешительно, все еще колеблясь, тоже влезли на помост и медленно, руки в карманах, последовали за Карлом и семейством. Как раз в эту же минуту из станции подземки вывалилась большая группа пассажиров, которые при виде ангелов на помосте начали изумленно размахивать руками. Похоже, желающих получить место не так уж мало, и дело наконец сдвинулось. Карл был очень рад, что пришел так рано, вероятно, даже самый первый, супруги же,

напротив, явно робели и наперебой расспрашивали, какие — и не слишком ли строгие — предъявляются требования. Карл ответил, что в точности еще сам ничего не знает, но, насколько он понял, принимают действительно всех без исключения. Так что, на его взгляд, тревожиться не о чем.

Начальник отдела найма уже спешил им навстречу, он был очень доволен, что их столько пришло, потирал руки, каждого в отдельности поприветствовал легким поклоном, а потом выстроил их всех в очередь. Карл был самый первый, за ним стояла супружеская чета, а уж потом и остальные. Когда они все наконец выстроились, — парни сперва устроили толкучку, и понадобилось время, чтобы они успокоились, — трубы внезапно стихли и начальник сказал:

— От имени театра Оклахомы рад приветствовать вас. Вы пришли заблаговременно, — между тем был уже почти полдень! — наплыв еще не столь велик, тем скорее можно будет уладить все формальности вашего приема. Разумеется, удостоверения личности у всех при себе?

Парни немедленно извлекли из карманов какие-то бумаги и помахали ими, показывая начальнику, мужчина подтолкнул свою жену, и та вытащила из коляски спрятанный под матрасом целый сверток бумаг, — и только у Карла ничего не было. Неужели без документов совсем не принимают? Не исключено, что так. Но по опыту Карл уже знал: немного решимости — и все эти неукоснительные предписания легко можно обойти. Начальник оглядел очередь, удостоверился, что у всех документы при себе, и, поскольку Карл тоже поднял руку, правда, пустую, решил, очевидно, что и у него все в порядке.

— Прекрасно, — сказал он и отмахнулся от парней, которые все еще протягивали свои бумаги, ожидая, когда он их проверит. — Документы у вас проверят в приемной канцелярии. Как вы уже знаете из нашего объявления, у нас каждому найдется дело. Но, разумеется, мы должны знать, кто чем раньше занимался, чтобы поставить каждого на то место, где ему легче будет применить свои навыки.

«Но ведь это же театр», — мысленно возразил Карл и стал слушать еще внимательней.

— Поэтому, — продолжал начальник отдела найма, — мы оборудовали в букмекерских кабинах приемные канцелярии, по одной канцелярии для каждой профессиональной группы. Члены семьи, как правило, проходят прием по профессии мужа. Немного погодя я каждого из вас направлю в соответствующую канцелярию, где спер-

ва ваши документы, а затем и ваши знания будут проверены специалистами, — экзамен короткий, простой, бояться не надо. После чего вас сразу же и оформят и дадут дальнейшие указания. Итак, начнем. Вот это — первая канцелярия, предназначенная, как явствует уже из этой таблички, для инженеров. Может, среди вас есть инженеры?

Карл поднял руку. Он полагал, что, раз уж у него нет документов, надо как можно скорее проскочить все формальности, тем более что кое-какие основания вызваться у него были: ведь он и правда хотел стать инженером. Однако парни, заметив, что Карл вызвался, вероятно, позавидовали и тоже подняли руки, — словом, руки подняли все. Привстав на цыпочки и через голову Карла обращаясь к парням, начальник спросил:

— Вы все инженеры?

Тогда все они медленно опустили руки, Карл же, напротив, продолжал свою тянуть. Начальник, хоть и посмотрел на него недоверчиво: слишком жалко одет, да и слишком молод для инженера, но ничего не сказал, возможно, из благодарности за то, что Карл — во всяком случае, он считал, что это Карл, — привел ему столько претендентов. Поэтому он просто жестом пригласил Карла пройти в канцелярию, что Карл и сделал, а сам снова обратился к оставшимся.

В канцелярии для инженеров по бокам большого прямоугольного пульта сидели два господина и сверяли два длинных списка, положив их перед собой. Один зачитывал фамилии, другой их из своего списка вычеркивал. Как только Карл вошел и поздоровался, оба немедленно отложили списки в сторону и взялись за огромные конторские книги, раскрыв их как по команде. Один, очевидно, просто секретарь, сказал:

— Попрошу ваше удостоверение личности.

— К сожалению, у меня нет с собой удостоверения, — ответил Карл.

— У него нет с собой удостоверения, — сообщил секретарь второму господину и тут же записал ответ Карла в свою книгу.

— Вы инженер? — спросил тот. Похоже, он-то и был начальник канцелярии.

— Пока что нет, — быстро начал Карл, — но...

— Достаточно, — еще быстрее оборвал его господин. — Вы не к нам. Внимательнее читайте таблички. — Карл стиснул зубы, и, очевидно, его досада от господина не укрылась. — Ничего страшного, —

успокоил он Карла. — У нас каждому найдется дело. — И взмахом руки подозвал одного из служителей, что без толку слонялись между конторскими барьерами. — Отведите этого молодого человека в канцелярию для людей с техническими познаниями.

Служитель воспринял приказ буквально и схватил Карла за локоть. Они пошли бесконечной вереницей комнатушек, по пути Карл увидел одного из парней, того уже приняли, и он благодарно тряс чиновнику руку. В канцелярии, куда Карла доставили на сей раз, произошло, как он и ожидал, примерно то же, что и в первой. Правда, отсюда, услышав, что он учился в средней школе, его отослали в канцелярию для бывших учеников средней школы. Но и там, едва Карл заикнулся, что учился в Европе, с ним не пожелали разговаривать, заявив, что это не по их части, и отправили в канцелярию для бывших учеников европейской средней школы. Это была комнатка в самом конце, не только меньше, но почему-то еще и ниже остальных. Служитель, приведя его сюда, был уже в бешенстве от долгих хождений и все новых отказов, в которых, как он считал, виноват только сам Карл и больше никто. Здесь он даже не стал дожидаться вопросов и сразу убежал. Впрочем, дальше этой канцелярии, вероятно, и идти было некуда. Завидев начальника канцелярии, Карл чуть не вздрогнул от неожиданности, настолько тот был похож на учителя, который, должно быть, и сейчас еще вел уроки в его, Карла, бывшей школе. Сходство, как тут же выяснилось, было, разумеется, лишь частичным, но водруженные на толстой картофелине носа очки, окладистая, безупречно ухоженная, будто напоказ выставленная русая борода, сутуловатый изгиб спины и резкий, каркающий, а потому всегда как бы неожиданный голос на какое-то время повергли Карла едва ли не в оторопь. К счастью, особой внимательности от него не потребовалось, тут все шло как-то попроще, чем в других канцеляриях. Правда, и здесь в соответствующей графе поместили, что у него нет с собой удостоверения, а начальник даже успел назвать это необъяснимой халатностью, но секретарь, который, похоже, здесь верховодил, быстро это дело замял и вскоре, как только начальник, задав первые нехитрые вопросы, изготовился наконец приступить к вопросу посложней, неожиданно объявил, что Карл принят. Начальник с разинутым ртом уставился на секретаря, но тот, решительно рубанув рукой воздух, еще раз повторил: «Принят», и тут же занес этот вердикт в свою книгу. Очевидно, по мнению секретаря, факт обуче-



ния в европейской средней школе был уже сам по себе настолько постыдным, что всякий, кто имел мужество в этом признаться, заслуживал безусловного доверия. Со своей стороны и Карл не усмотрел в этом ничего обидного и подошел к секретарю, намереваясь его поблагодарить. Однако тут возникла еще одна заминка: был задан вопрос, как его зовут. Он ответил не сразу, он боялся назвать свое настоящее имя, не хотел, чтобы его записывали. Вот получит хоть самое никудышное местечко, покажет себя дельным работником, тогда пусть и узнают его настоящее имя, а сейчас — нет, слишком долго он его утаивал, чтобы теперь так сразу выдать. И он назвал — поскольку ничего другого в голову не пришло — кличку, которая прилипла к нему на последней работе: Нэгро.

— Нэгро? — переспросил начальник, оборачиваясь к Карлу с такой гримасой, будто в своей лжи тот достиг пределов наглости.

Даже секретарь смерил Карла долгим испытующим взглядом, но потом повторил: «Нэгро», и записал в свою книгу.

— Надеюсь, вы не написали «Нэгро»? — напустился на него начальник.

— Ну да, Нэгро, — невозмутимо ответил секретарь и жестом показал начальнику, чтобы тот занимался своим делом, а главное, поскорее его заканчивал.

Тогда, скрепя сердце, начальник встал и объявил:

— Итак, Великий театр Оклахомы... — Но продолжить не смог и, не в силах совладать с собственной совестью, снова сел, сокрушенно уронив: — Его зовут не Нэгро.

Секретарь вскинул брови, но, раз такое дело, встал сам и произнес:

— В таком случае я уведомляю вас, что вы приняты в театр Оклахомы и сейчас будете представлены нашему директору.

Снова позвали служителя, который препроводил Карла к судейской трибуне.

Внизу у лестницы Карл увидел коляску, а по лестнице уже спускалась и знакомая супружеская чета, женщина несла на руках ребенка.

— Вас приняли? — спросил мужчина. Вид у него был куда веселее, чем прежде, да и женщина радостно улыбалась у него из-за плеча. Карл ответил, что его только что приняли и он идет на представление к директору. — Тогда поздравляю, — сказал мужчина. — Нас тоже приняли, фирма вроде и вправду хорошая, только вот вникнуть во все поначалу трудновато, но это везде так.

Они сказали друг другу: «До свидания», и Карл полез на трибуну. Он поднимался не спеша, все равно около крохотной площадки наверху теснился народ, ему толкаться не хотелось. Он даже приостановился, засмотревшись на округлый простор скакового поля, окаймленный со всех сторон кромками леса. Ему вдруг страстно захотелось побывать на скачках, в Америке у него пока не было такой возможности. В Европе, еще ребенком, его однажды брали на скачки, но с того раза ему запомнилось только, как мама тащила его через толпу людей, которые нипочем не желали расступаться. То есть, можно считать, он самих скачек вообще еще не видел. Он услышал за спиной механический треск, обернулся и увидел, как на огромном фанерном барабане, с помощью которого во время скачек объявляются имена победителей, теперь поползла вверх табличка с надписью: «Коммерсант Калла с женой и ребенком». Таким образом, очевидно, имена принятых сотрудников сообщались всем канцеляриям.

Тут вниз по лестнице навстречу Карлу бодро сбежали, оживленно о чем-то беседуя, три господина с карандашами и блокнотами в руках, Карл прижался к перилам, давая им дорогу, и, раз уж наверху все равно освободилось место, поднялся на площадку. Там, в самом углу огороженной перилами платформы — со стороны все это выглядело как плоская крыша узкой башни — сидел, небрежно бросив руки на перила, важный господин, через всю грудь которого тянулась широкая, белого шелка лента с надписью: «Директор десятой рекламной труппы театра Оклахомы». Возле него на столике стоял телефонный аппарат, который наверняка тоже использовался во время скачек, но сейчас по этому телефону директор, очевидно, еще до представления, узнавал все необходимые данные о кандидатах, поскольку сперва он Карла вообще ни о чем не спрашивал, только бросил другому господину, что, скрестив ноги и обхватив рукой подбородок, прислонился рядом с ним к перилам:

— Нэгро, ученик европейской средней школы.

И, словно после этого его интерес к Карлу иссяк окончательно, устремил взгляд на лестницу, не идет ли кто еще. Но, поскольку никто больше не шел, он иногда прислушивался к разговору, который вел с Карлом другой господин, однако чаще просто смотрел на скаковое поле, постукивая пальцами по перилам. Эти длинные холеные, но сильные и подвижные пальцы то и дело отвлекали Карла, хотя, казалось бы, другой господин вовсе не дает ему отвлекаться.

— Так вы были без места? — спросил он для начала.

И этот, и почти все последующие вопросы, которые он задавал, были очень просты, без малейшего подвоха, к тому же он не прерывал ответа уточнениями и промежуточными вопросами, тем не менее во всей его повадке — в том, как он, округляя глаза, тщательно выговаривает слова, как, весь подавшись вперед, жадно следит за их воздействием, как, уронив голову на грудь, задумчиво выслушивает ответы, иногда громко их повторяя, — чувствовалось, что он придает своим вопросам какой-то особый смысл, собеседнику хоть и неясный, но наполнявший его душу томительной и безотчетной тревогой. Поэтому, наверно, Карла то и дело подмывало, уже ответив на вопрос, тут же свой ответ опровергнуть, заменить другим, возможно более благоприятным, но он всякий раз сдерживался, зная, сколь неприглядное впечатление производят подобные колебания, тем более что последствия ответов, как правило, все равно предугадать невозможно. К тому же его прием был вроде бы делом уже решенным, мысль об этом давала ему спасительную опору.

На вопрос, был ли он без места, Карл ответил простым «да».

— А ваше последнее место работы? — поинтересовался господин. И не успел Карл ответить, со значением повторил, строго воздев указательный палец: — Последнее!

Карл и так прекрасно понял вопрос, уточнение показалось ему излишним, он даже непроизвольно отбросил его, мотнув головой, и ответил:

— В конторе.

Пока что он сказал правду, но, если господину потребуются более точные сведения об этой конторе, придется врать. Господин, однако, об этом не спросил, а, напротив, задал вопрос, на который вообще было легче легкого ответить правду.

— Вам нравилось там работать?

— Нет! — выкрикнул Карл, даже не дав господину закончить. Краем глаза он заметил, как улыбнулся директор, и пожалел о своей запальчивости, но слишком уж соблазнительно было крикнуть это «нет!», ведь на той работе Карл каждый день только и мечтал, чтобы к ним зашел какой-нибудь чужой хозяин и задал ему этот вопрос. Однако ответ его был еще и тем плох, что господин теперь мог поинтересоваться, что именно Карлу не нравилось. Но господин вместо этого спросил:

— К какой же работе вы чувствуете склонность? Этот вопрос, видимо, уж точно был с подвохом, иначе зачем бы его задавать, раз Карла все равно уже наняли актером, но, даже распознав ловушку, не мог он выдать из себя, что чувствует особую склонность к актерской профессии. Поэтому он уклонился от ответа и, рискуя навлечь на себя подозрение в упрямстве, сказал:

— Я прочел объявление в городе, там написано, что у вас каждому найдется дело, вот я и пришел.

— Это мы знаем, — заметил господин и умолк, всем видом показывая, что продолжает настаивать на вопросе.

— Меня приняли актером... — неуверенно произнес Карл, давая почувствовать господину всю затруднительность своего положения.

— И это верно, — согласился господин и снова выжидательно замолчал.

— Так вот, — решился Карл, и все его надежды получить место разом заколебались, — не знаю, гожусь ли я для театра. Но я буду стараться и готов выполнять любые обязанности.

Господин глянул на директора, оба кивнули: очевидно, Карл ответил правильно. Он снова воспрянул духом и, ободренный удачей, ждал следующего вопроса. Вопрос оказался вот какой:

— Какой же профессии вы намеревались себя посвятить? — И, желая уточнить вопрос — точности он вообще придавал очень большое значение, — господин добавил: — Я имею в виду, еще в Европе.

Тут он даже отнял руку от подбородка и сопроводил сказанное невнятным жестом, словно желая обозначить, как далеко затерялась Европа и сколь ничтожны давнишние планы, когда-то с нею связанные.

— Я хотел стать инженером, — сказал Карл.

Слова эти дались ему не без труда: оглядываясь на бесславный путь, пройденный тут, в Америке, смешно было воскрешать в памяти детскую мечту, к тому же почти несбыточную, — да разве сумел бы он даже в Европе стать инженером? — но другого ответа он не знал, поэтому ответил так.

Однако господин отнесся к его словам серьезно, он ко всему относился серьезно.

— Ну инженером так сразу не становятся, — сказал он. — Но, быть может, на первых порах вас устроит какая-нибудь несложная техническая работа?

— Конечно, — ответил Карл с радостью: хоть его и переводили из разряда артистов в технический персонал, он и сам надеялся, что на этой работе сумеет лучше проявить себя. А кроме того, — он это повторял себе непрестанно, — неважно, какая будет работа, лишь бы получить место и хоть за что-то уцепиться.

— А вы справитесь с тяжелой работой? — спросил господин.

Господин поманил Карла к себе и пощупал его мускулы.

— Сильный мальчик, — заключил он и, все еще удерживая Карла за бицепс, подвел его к директору.

Директор с улыбкой кивнул, не меняя своей расслабленной позы, протянул Карлу руку и сказал:

— Ну вот мы и закончили. В Оклахоме все еще раз проверят. Не уроните честь нашей рекламной труппы!

Карл поклонился, потом хотел попрощаться и с другим господином, но тот с видом человека, закончившего все дела, уже прогуливался по платформе, глядя куда-то в небо. Когда Карл спускался по лестнице, сбоку от него на фанерном барабане появилась и поползла вверх табличка с надписью: «Нэгро, технический сотрудник». Раз уж тут во всем такой порядок, Карл, пожалуй, теперь не слишком бы огорчился, если бы увидел на табличке свое настоящее имя. Да, продумано тут все было даже с чрезмерной тщательностью: у подножия лестницы Карла уже поджидал служитель, повязавший ему нарукавную повязку. Карл выставил локоть, посмотрел, что написано на повязке, — все правильно: «Технический сотрудник».

Впрочем, куда бы сейчас Карла ни собирались вести, сперва надо сбегать к Фанни, доложить ей, как удачно все прошло. Но, к немалой своей досаде, Карл узнал от служителя, что ангелы, равно как и черти, уже отбыли к новому месту назначения, где им предстоит все подготовить к приезду рекламной труппы на завтра.

— Жаль, — вздохнул Карл, это было его первое разочарование на новой работе. — У меня там среди ангелов знакомая.

— В Оклахоме увидите, — сказал служитель. — А теперь пойдемте, вы и так последний.

И он повел Карла вдоль тыльной стороны помоста, где еще недавно стояли ангелы, а теперь сиротливо возвышались пустые пьедесталы. Однако предположение Карла, что без труб и ангелов желающих получить место будет больше, не подтвердилось: теперь перед помостом взрослых вообще не было, и лишь несколько детей затеяли

возню из-за длинного белого пера, очевидно, оброненного кем-то из ангелов. Один мальчишка держал перо на вытянутой руке, а остальные прыгали вокруг него, норовя пригнуть ему голову и выхватить желанную добычу.

Карл кивнул на детей, но служитель, даже не взглянув в их сторону, сказал:

— Пойдемте скорей, вас и так очень долго принимали. Вероятно, были сомнения?

— Не знаю, — удивленно ответил Карл; он, по крайней мере, так не считал.

Почему всегда так — даже при самых безоблачных обстоятельствах непременно отыщется собрат, готовый испортить тебе настроение? Однако отрадная картина, открывшаяся ему при виде зрительской трибуны, к которой они приближались, заставила Карла забыть о неприятном вопросе служителя. На этой трибуне целая скамья во всю длину была накрыта белой скатертью, а на нижней скамье, спиной к полю, сидели все новопоступившие, приглашенные за этот праздничный стол. Все были радостно возбуждены, и, как раз, когда Карл, стараясь проскользнуть незамеченным, тихо присел на край скамьи, многие вскочили, подняв бокалы, и кто-то стал произносить тост за директора десятой рекламной труппы, называя его «отцом всех, кто без места». Тут же кто-то другой заметил, что директора отсюда можно увидеть, и действительно, судейская трибуна находилась отсюда не слишком далеко и два господина на ней были хорошо различимы. Все, конечно, протянули бокалы в ту сторону, Карл тоже схватил стоявший перед ним бокал, но, сколько они ни кричали, сколько ни пытались обратить на себя внимание, ни малейшее движение на судейской трибуне не свидетельствовало о том, что их заметили или хотя бы пожелали заметить. Директор, по-прежнему откинувшись, сидел в своем углу, а другой господин все так же стоял рядом, обхватив рукой подбородок.

Слегка разочарованные, все снова сели, еще какое-то время то один, то другой изредка оглядывался на судейскую трибуну, но вскоре всех увлекло богатое угощение, — носили на блюде какую-то диковинную огромную птицу, Карл таких и не видел никогда, с множеством вилок, воткнутых в сочное, с хрустящей корочкой мясо, беспрерывно и как-то незаметно подливали вино, — только склонишься над тарелкой, а в бокал уже падает искристая бордовая струя, — а

кто не склонен был участвовать в общей беседе, мог рассматривать открытки с видами театра Оклахомы, которые стопкой лежали на другом конце стола и, по замыслу, должны были передаваться из рук в руки. Но открытки мало кого занимали, и получалось так, что до Карла, который сидел последним, дошла лишь одна. Но, судя по ней, в остальных тоже было на что посмотреть. На этой же была запечатлена ложа президента Соединенных Штатов. С первого взгляда вообще можно было решить, что это не ложа, а, наоборот, сцена — так плавно, величаво и непреклонно взмывал ее парапет над окружающим пространством. Сам парапет — до последней мелочи — был из чистого золота. Между точеными, словно вырезанными тончайшими ножничками, столбиками его балюстрады были укреплены медальоны с портретами бывших президентов, особенно выделялся один, с надменным прямым носом, выпяченными губами и угрюмым, неподвижным взглядом из-под набрякших, приспущенных век. Со всех сторон, по бокам и сверху, ложа была высвечена снопами мягкого света; этот свет, достаточно яркий и одновременно ласковый, буквально заливал ложу снаружи, тогда как глубины ее, надежно укрытые пурпурными складками тяжелого переливчатого бархата, который окаймлял ложу по всему периметру и раздвигался на шнурах, таили в себе темную, зияющую красноватыми отблесками пустоту. Почти невысказанно было вообразить в этой ложе человека — настолько царственно выглядела она сама по себе. Не забывая о еде, Карл время от времени все же поглядывал на картинку, положив ее рядом со своей тарелкой.

В конце концов ему захотелось взглянуть еще хотя бы на одну из открыток, но пойти и попросить он не осмелился, поскольку служитель в конце стола прикрыл стопку ладонью и, видимо, следил за соблюдением очередности, — тогда Карл оглядел стол, пытаясь обнаружить, нет ли у кого открытки на руках и не передают ли ее в его сторону. И тут с изумлением, поначалу даже не поверив своим глазам, среди физиономий, с особым усердием склонившихся над едой, заметил хорошо знакомую — ну конечно, это Джакомо! Карл радостно кинулся к нему, окликая по имени. Джакомо, как всегда смущенный в минуты неожиданности, оторвался от еды, пытаясь неловко повернуться в узкой щели между скамейками и поспешно утирая рот рукой, но, увидев Карла, очень обрадовался, предложил сесть рядом с собой или, наоборот, перебраться туда, где сидит

Карл, — им хотелось многое порассказать друг другу и вообще больше не разлучаться. Но Карл не стал никого беспокоить, пусть пока что каждый сидит, где сел, обед все равно скоро кончится, а уж потом они, конечно же, всюду будут держаться вместе. Однако возвращаться на место не спешил, уж очень приятно было смотреть на Джакомо. Сколько же воды утекло! Где-то теперь главная кухарка? И что подельывает Тереза? Сам Джакомо внешне ничуть не изменился, предсказание главной кухарки, что он через полгода превратится в настоящего, крепкого американца, не сбылось, он по-прежнему был хрупкий, худенький, с впалыми щеками, — сейчас, правда, щеки как раз были круглые, потому что он засунул в рот и тщетно пытался прожевать огромный кусок мяса, то и дело недоуменно извлекая оттуда кости и бросая их на тарелку. Надпись на его нарукавной повязке свидетельствовала, что и Джакомо взяли не артистом, а лифтером, похоже, театр Оклахомы и вправду любому готов был подыскать занятие.

Но, заглядевшись на Джакомо, Карл и так слишком надолго покинул свое место, — только он надумал вернуться, как появился начальник отдела найма, влез на одну из скамеек над ними, хлопнул в ладоши и произнес краткую речь, во время которой большинство сразу встали, а те, кто, не в силах оторваться от еды, продолжали сидеть, сделали это чуть позже, понуждаемые тычками и шиканьем остальных.

— Хочу надеяться, — произнес он, пока Карл на цыпочках пробирался к своему месту, — что вы довольны нашим торжественным обедом. Наша рекламная труппа вообще славится своими обедами. К сожалению, я вынужден завершить вашу трапезу, так как поезд, на котором вы отправитесь в Оклахому, отходит через пять минут. Путь хоть и не близкий, но, как вы сами убедитесь, о вас хорошо позаботились. Сейчас я вам представляю господина, который отвечает за вашу транспортировку и которому вы должны беспрекословно подчиняться.

Тощий низенький господин вскарабкался на ту же скамью, в спешке не счел нужным даже поклониться, а сразу же, нервно размахивая ручонками, принялся объяснять и показывать, где, кому, как и в каком порядке строиться и куда направляться. Но сперва его не послушали, поскольку тот из их компании, кто уже произносил тост за директора, теперь хлопнул ладонью по столу и начал длинную бла-



годарственную речь, хотя — Карл не на шутку беспокоился — ясно ведь было сказано, что поезд вот-вот отходит. Но речистый, не смущаясь даже тем, что начальник давно его не слушает, а поспешно отдает их проводжатоу последние указания, все не унимался, похоже, он задумал целый доклад, перечислял все блюда, которые им подали, оценивал каждое из блюд по отдельности и наконец завершил свое выступление шутливым возгласом:

— Господа, только так нас и надо завоевывать!

Все, кроме тех, к кому он, собственно, обращался, рассмеялись, но правды в этом возгласе было, пожалуй, больше, чем шутки.

За эту его речь всем им вдобавок пришлось расплачиваться ускоренной пробежкой к вокзалу. Что, впрочем, оказалось не так уж тяжело, ибо — Карл только сейчас это заметил — багажа ни у кого не было, единственным предметом багажа была разве что коляска, которая, ведомая отцом семейства, трясясь и подпрыгивая на ухабах, мчалась во главе их странной, неустойчивой колонны. Что же это за неимущий, подозрительный сброд, ради которого столь пышный прием и вообще все эти хлопоты? А проводжаты так и вовсе, можно подумать, им отец родной. То, ухватившись одной рукой за коляску, другой призывно машет в воздухе, подбадривая колонну, то, уже в самых последних рядах, подгоняет отстающих, то, пристроившись сбоку и выразительно поглядывая на уставших, энергично работает локтями, показывая, как надо бежать.

Когда они ворвались на вокзал, поезд уже стоял под парами. Люди на вокзале оживленно показывали на них друг другу, слышались возгласы вроде: «Эти из театра Оклахомы», похоже, театр пользовался куда большей известностью, чем Карл предполагал, впрочем, он никогда и не интересовался театром. Для их группы был выделен целый вагон, проводжаты руководил их погрузкой куда более рьяно, чем кондуктор. Сперва он тщательно осмотрел каждое купе, кто как расселся, все ли у всех в порядке, и только потом отправился на свое место. Карлу повезло, ему досталось место у окна, и он успел усадить рядом с собой Джакомо. Притиснутые друг к другу, они ждали отправления и, стараясь ни о чем больше не думать, радовались предстоящей поездке — ведь так, без забот, без хлопот, им по Америке путешествовать не приходилось. Когда поезд тронулся, они начали махать из окна, а ребята напротив, подталкивая друг друга локтями, смеялись над ними.

\* \* \*

Они ехали два дня и две ночи. Только теперь Карлу открылось величие Америки. Без устали смотрел он в окно, и Джакомо так долго и так упорно тянулся туда же, что ребятам, непрерывно игравшим в карты, это стало надоедать и они сами предложили ему место напротив. Карл их поблагодарил — английский Джакомо не каждому был понятен — и мало-помалу, как это и водится между дорожными попутчиками, они стали вести себя куда дружелюбней, но и дружелюбие нередко становилось в тягость, когда, например, у них падала карта и они, ползая за ней по полу, пребольно щипали Карла или Джакомо за ногу, Джакомо всякий раз испуганно орал от боли и неожиданности и вскидывал ноги, Карл же иногда пытался ответить пинком, но в основном сносил эти шутки молча. Что бы ни происходило в тесном, даже при открытом окне насквозь прокуренном и дымном купе, все это меркло в сравнении с тем, что он видел в окно.

В первый день они ехали через высокие горы. Черно-синие каменные громады острыми клиньями подступали вплотную к путям, и, сколько ни высовывайся из окна, тщетно было разглядеть их вершины; мрачные, узкие, обрывистые долины открывались внезапно и тут же исчезали, так что палец, едва успев показать на них, вновь утыкался в каменную стену; мощные горные потоки, упруго вскидываясь на перепадах, неся в своих кипящих водах тысячи пенистых волн, всей тяжестью рушились под опоры моста, по которому торопился проскочить поезд, и были так близко, что их холодное влажное дыхание ветерком ужаса обдавало лицо.

## *Содержание*

<i>Замок. Перевод Р. Райт-Ковалевой</i> . . . . .	5
<i>Процесс. Перевод Р. Райт-Ковалевой</i> . . . . .	277
<i>Америка. Перевод М. Рудницкого</i> . . . . .	461

Литературно-художественное издание

Франц Кафка  
Три романа

Редактор *Е. Микерина*

Художественный редактор *М. Суворова*

Компьютерная верстка *К. Москалев*

Корректор *Е. Селиверстова*

ООО «Издательство «ЭКСМО»  
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.  
Home page: [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru) E-mail: [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru)

**Оптовая торговля книгами «ЭКСМО»:**  
ООО «ТД «ЭКСМО». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,  
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.  
E-mail: [reception@eksmo-sale.ru](mailto:reception@eksmo-sale.ru)

Подписано в печать 15.08.2008.  
Формат 60x90<sup>1/16</sup>. Печать офсетная. Бумага тип. Усл. печ. л. 44,0.  
Тираж 5100 экз. Заказ № 4970.

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».  
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.



ISBN 978-5-699-30548-3



9 785699 305483 >

Три несгоревшие рукописи, три безысходные сказки, три молитвы. Три романа Франца Кафки. Творчество стало для него самоистязанием и единственной возможностью не задохнуться. Он страшился самой жизни, но отваживался широко раскрытыми глазами глядеть в бездну бытия.

Это не внутренний мир несчастного, пугливого, вечно сомневающегося австрийца, изменившего облик литературы XX века, – это реальность, в которой мы живем, глазами прорицателя. Апокалипсис давно наступил.